СБОРНИК СТАТЕЙ

В ЧЕСТЬ АКАДЕМИКА

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА СОБОЛЕВСКОГО

ИЗДАННЫЙ КО ДНЮ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИЕЮ НАУК ПО ПОЧИНУ ЕГО УЧЕНИКОВ
ПОД РЕДАКЦИЕЮ АКАДЕМИКА В. Н. ПЕРЕТЦА

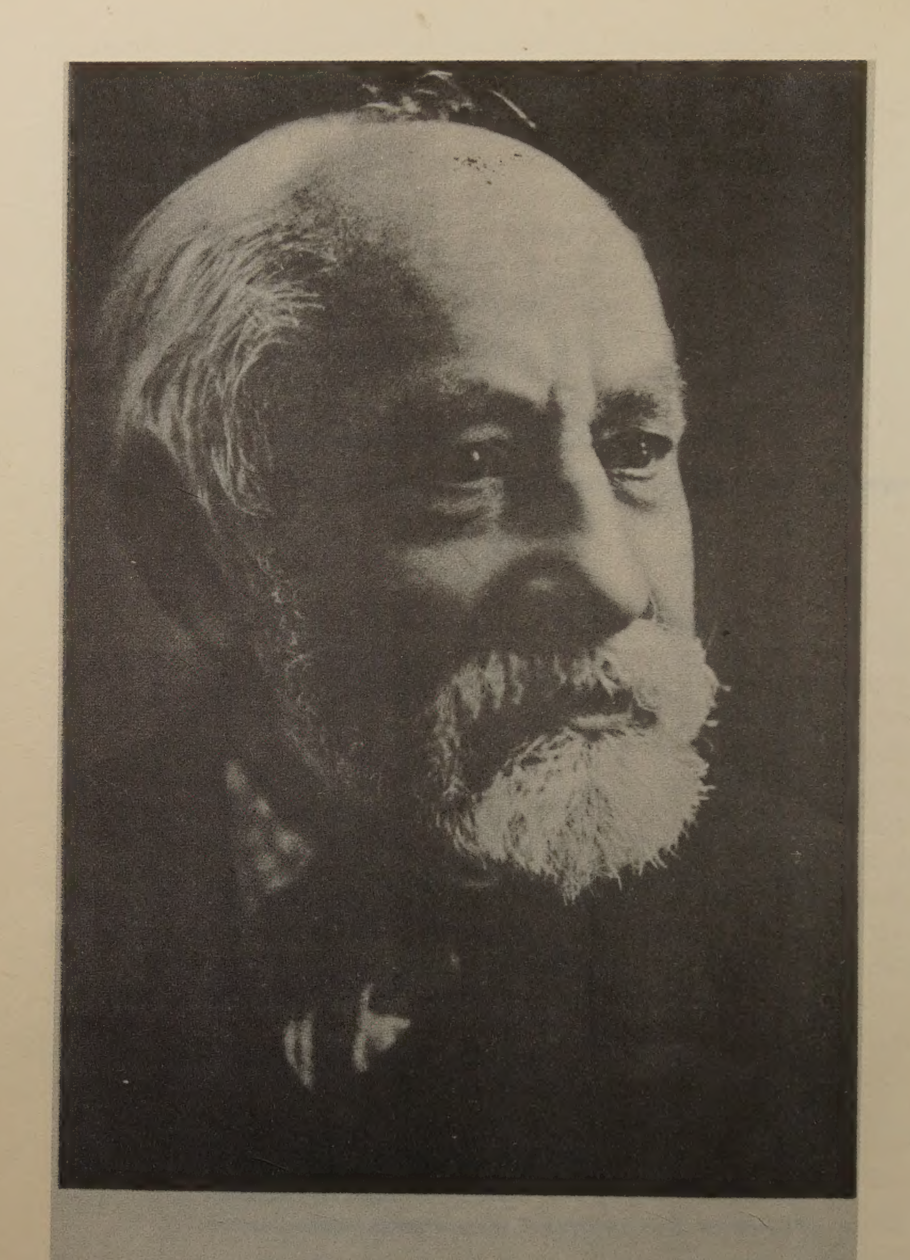
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД. 1928

1 9

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Июнь 1928 г.
Непременный Секретарь, академик *С. Ольденбург*

Начато набором в январе 1927 г. — Окончено печатанием в июне 1928 г.

Тит. л. + VIII + 507 стр. (4 рис.) + 2 табл.
Ленинградский Областлит № 36117. — 31 $^{6}/_{8}$ печ. л. — Тираж 650
Государственная Академическая Типография. В. О., 9 линия, 12



А. Соболевскій

Глубокоуважаемый

Алексей Иванович!

Ваша полувековая научная работа на поприще славянской вообще и, в частности, русской филологии обогатила науку во всех ее отраслях, куда заглядывал Ваш пытливый взор.

До Вас были попытки охарактеризовать особенности древнерусского языка, но Вам принадлежит бесспорно честь быть первым историком его. Вами создана русская палеография, как система знаний. Вы объединили материал и построили схему русской диалектологии как древнего времени, так и нового, положив твердую базу для дальнейших изучений. В области славянской филологии Вы значительно углубили сделанное Вашими предшественниками и подарили науке ряд ценных наблюдений, гипотез и выводов. Русская этнография обязана Вам, кроме единственного в своем роде свода великорусских песен, — рядом остроумных и значительных по содержанию, несмотря на краткость, исследований и статей. История русской литературы, как древней, так и новой, — всегда занимала Вас; но в особенности важны Ваши работы для освещения переводной литературы до-монгольского и московского периода. Не мало времени и сил отдали Вы изучению проблемы славянской и русской археологии, в частности же — древнерусскому искусству.

Десять лет тому назад Вы понесли тяжелую потерю: погиб Ваш архив, Ваши научные материалы, собиравшиеся в течение десятилетий. Но Вы бодро продолжаете Вашу научную работу, подавая этим пример неутомимой энергии нам, младшему поколению.

Вы много лет делились и в аудитории Университета и вне ее — своими мыслями и знаниями. Масса Ваших учеников, рассеянных повсюду, и ученики этих учеников радостно приветствуют Вас в день Вашего семидесятилетия, видя в Вас прежнюю молодость и свежесть мысли, ту же независимость, живость и остроту суждений, которые сверкали нам в давние годы.

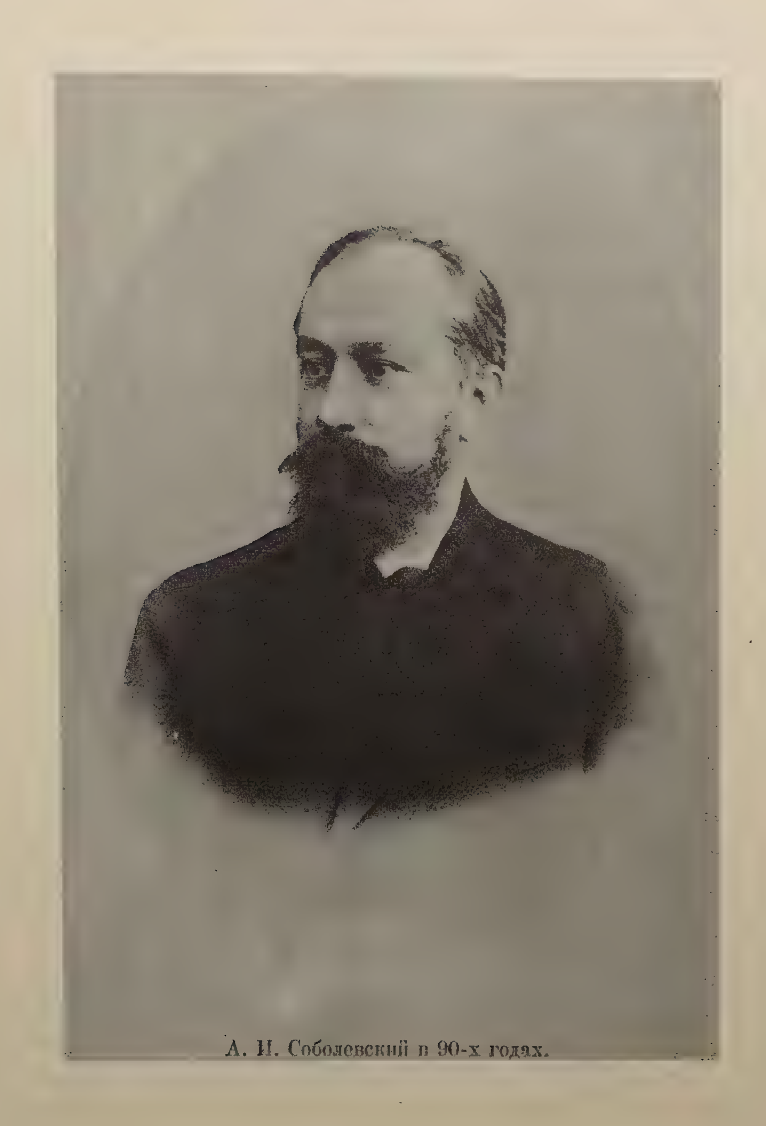
К 8 января 1927 г. — дню Вашего семидесятилетия — группа Ваших учеников и почитателей решила издать этот Сборник статей и поднести его Вам, как дар глубокого искреннего уважения своему учителю — и в тесном, и в широком смысле этого слова. Академия Наук оказала содействие появлению этого сборника в свет, приняв его в число своих изданий. Состав его разнообразен, как разнообразны были Ваши интересы на протяжении полувека; здесь представлены все отрасли русской и славянской филологии — история языка и литературы, палеография, диалектология, этнография и фольклор, история искусства и литературы вообще.

Примите же благосклонно, глубокоуважаемый Алексей Иванович, этот скромный наш дар, вдохновенный Вами, — вместо шумных юбилейных оваций, которых Вы, со свойственной Вам скромностью, пожелали избежать.

Ваши ученики и почитатели.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.



А. И. Соболевский в 90-х годах.

Юмористические лечебники.

Древняя Русь лечилась по цветникам или травникам, лечебникам, переведенным с немецкого языка и переработанным много раз уже на русской почве. Но наряду с этими врачебниками широко пользовались старыми заговорами, которые ценились не менее, а иногда и больше лекарств, иногда соединяясь с ними, чтобы усилить их действие. Вторая половина XVII века была временем расцвета врачебной литературы, и к началу XVIII века русские книжные люди прекрасно освоились с формой рецептов, наполнявших эти лечебники. Недоверие к иноземцам вообще, а в частности к заезжим врачам — факт, хорошо известный в Московской Руси. Достаточно вспомнить пословицы, записанные уже в сборниках XVII века: «Аптекари лечат, а хворыя кричат», «Аптека улечит на полвека», «Аптекам предатся, денгами не жатся».[1] Одним из проявлений насмешки и даже озлобления против этих чужестранцев было создание пародий на их лечебники, где иногда приводились специальные рецепты для лечения именно иноземцев. Таков, например, лечебник в рукоп. Гос. Публ. Библиотеки Q. XVII. № 96,[2] нач. XVIII века, видимо, сложенный в Москве, так как в рецепты входит «москворецкая вода».

Пародия в русской рукописной литературе конца XVII и XVIII веков была одной из любимых форм юмористики. Пародировались и литературные жанры, и различные типы делового языка, и таким путем создавалось широкое поле для применения старых литературных форм для новых целей. Пародии-лечебники были одним из проявлений этого общего направления в нашей юмористике. Изданный В. Н. Перетцем лечебник-пародия прекрасно подражает формальной стороне серьезных лечебников, но наполняет ее содержанием в манере народных сказок-небылиц. В соответствии с типичными заглавиями рецептов[3] — «аще у кого утроба обезсилеет или чрево болит», или «аще у человека утроба держит», — читаем и в пародии:

---

[1] П. К. Симони. Старинные сборники русск. пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII — XIX ст. СПб. 1899, стр. 75, 173, 174.

[2] Изд. В. Н. Перетца — Литер. Вестник, 1902, кн. 7, стр. 203.

[3] Цитирую по лечебнику 1763 г. собр. В. Н. Перетца. Q. 76.

«когда у кого заболит сердце и отяготеет утроба» (стр. 203, рец. 1). Внутри рецепта расположение материала в пародии то же, что и в лечебнике, но для создания комического эффекта даются самые невероятные комбинации и советы. Приведу параллельные рецепты. «Сала ветчинного три золотника, коему лет 5 или 6, да ртути три золотника, масла бобкова три зол., бобка три свежих, нашатырю три зол., киноварь три зол., вина горячего две лошки, доброго перепуску уксусу пивного две лошки, соли половину; осоля и смешать все вместо, а класти того зелья . . . лопаткою помаленку . . .» (Q. 76, гл. 125) или конец другого рецепта (гл. 131): «. . . истолокши всыпать в уксус ренской да поливать на камешки серыя половыя, да пар шол, глотать и пущать в себя». В пародии — «взять женского плясания и сердечного прижимания и ладонного плескания по 6 золотников, самого тонкого блохина скоку 17 золотников и смешати вместе и вложить в ледяную в сушеную иготь и перетолочь намелко железным пестом и принимать 3 дни неетчи, на тще сердце, в четвертый день поутру рано после вечерень по 3 конопляные чаши, принимать вровень непереливая, а после того принимать самой лехкой прием» (стр. 203, № 4), или: «. . . потеть 3 дни на морозе нагому, покрывшись от солнечного жаркого луча неводными мережными крылами в однорядь. А выпотев велеть себя вытереть самым сухим дубовым четвертным платом . . .» (№ 1). В пародии первая часть рецепта с точной дозировкой явно восходит к лечебникам, но составные части лекарства и способ пользования ими повторяют манеру рукописной и позже лубочной описи приданого с ее невероятными предметами: «сухой дубовый четвертной плат» — напоминает в приданом «дубовые простыни, липовые штаны, два полатина из дубового клина», «березовой шлафор», «перина кленова»; фантастическое обозначение времени приема лекарства — «на одно утро после полден в одиннадцатом часу ночи . . . ввечеру на заре до свету . . .», по своей манере вполне соответствует у автора росписи такому же фантастическому адресу невесты: «за Яузою, на Арбате, за Красные ворота на Вшивой горке близь Марьиной рощи . . .».[1] В сказочной небылице то же нагромождение курьезных сочетаний, напр., «на босу ногу топор надевал, трое лыжи за поес затыкал, пашол возле лыко гору драть . . .» и т. д.[2]

Наряду с лечебниками автор пародии вспомнил и заговоры и последний очень злой рецепт для лечения немцев составил по заговорной формуле «как-так»: «А буде болят ноги, взять ис под саней полоз, варить в соломяном сусле и приговаривать слова: как таскались санныя полозье, так же бы таскались немецкия ноги» (№ 10). Здесь сохранен даже обряд, сопровождающий заговор; параллельных формул «как-так» в народных заговорах встречается очень много, напр.: «как те три цвет-розы

---

[1] Рук. Ист. Музея, № 2857.
[2] Ончуков. Сев. сказки, стр. 73.

изнистожились, так бы и моя болись пропала и высохла», «как мертвец лежит во гробе... онемевши и одубевши, так бы и у меня, раба божия, зубы онемели и одубели» и т. д.[1]

Несомненную пародию на лечебники, хотя и не такую близкую к ним формально, как рассмотренная выше, представляет рифмованный рецепт «Чем лечитца человеку похмелному | от протчих головою отменному. | Выписано из лечебника небывалова | и кто читал неслыхалова».[2]

В лечебниках встречаются рецепты под заглавием «на тяжелое похмелье», или «кто не похочет подчас компании быть пьяным, да и как пьянство омерзит»,[3] где предлагается ряд предохранительных мер, чтобы не пьянеть от выпивки. Рифмованный рецепт вышучивает эти лекарства, предлагая средство, с помощью которого «похмелной человек исцеляетца, | отяхченная тежелость отходит | и в прежнее здравие того приводит, | познает себя во всем быть права, | голова ево сыщетца здрава». В общем это то же средство, к которому приглашает лубочная картинка «Аптека целительная с похмелья»,[4] т. е. новая выпивка, но уже по определенной системе: «поутру встать | да в руку вина бутылку взять | и хорошей пивной стакан налить, | не думавши до капли хватить... | Потом... другой стакан нальет... | выпивши ни в чем не трусить, | чем нибуть соленым закусить...» и так по рецепту выпивка продолжается до тех пор, пока «будет похмелной валятца, | не знает, куда уж и деватца... Особливо в том лечебнике в некоторой главе повествует | и подлинно явно о том показует: | похмелному надобно так напитца, | штоб опять на землю повалитца».

К этому рецепту присоединен другой, также шутливый, от болезни желудка, при чем из настоящих лечебников в него включены все средства, приводящие больного как раз к обратному результату.

Этот рифмованный лечебник, автор которого глухо заметил о себе в последнем стихе — «тако и иному лечебнику конец, а сочинял вышеписанной молодец», — примыкает по своей стилистической манере к обширному циклу юмористических произведений рукописной литературы XVIII века, написанных римфованной прозой, и только замысел его, самое содержание, переработанное в шутливом тоне, ведет нас как к оригиналу — к старому врачебнику. Таким образом, в противоположность первому лечебнику, римфованный рецепт дает пример более идейной, чем формальной пародии.

В то время, как рукописная литература XVIII в. использовала форму рецепта с чисто юмористическими целями и при этом отчетливо показала свою связь именно

1 Виноградов. Заговоры, обереги... в. 1, стр. 72, 75.

2 Рук. Погод. 1777, Унд. 904.

3 Собр. Перетца Q. 75, гл. 53, 54.

4 Ровинский. Русск. народные картинки, кн. 1, СПб. 1881, стр. 329—331.

со старыми лечебниками, в печатной литературе второй половины XVIII века мы встречаем рецепты сатирические, иногда хорошо выдерживающие стиль рецепта. Журнал Н. И. Новикова «Трутень» довольно часто пользуется рецептом, чтобы отметить те или другие недостатки общества своего времени и указать средства к их исправлению. Г. Злораду он советует, например, «чувствований истинного человечества 3 лота, любви к ближнему 2 золотника и соболезнования к нещастию рабов 3 золотника: положа вместе истолочь и давать больному в теплой воде».[1] Почти через сто лет Н. Щербина предлагал «против повальной болезни, вызванной у петербуржцев присутствием в воздухе особого химического вещества, называемого «фразеином», — такой рецепт: «здравого смысла драхм столько-то, честности — столько-то гранов, знания России . . . прочного образования . . . труда».[2]

Так на протяжении почти 200 лет прожил один и тот же литературный прием, получая своеобразное направление в зависимости от вкусов и целей автора.

В. Адрианова-Перетц.

Ленинград.
1926. XI. 20.

[1] Изд. Суворина, стр. 199; см. там же, стр. 171 — 179; 198 — 200. Подобное см. и в «Аптеке духовной», известной в рукописях XVIII в.

[2] Полное собр. соч., 1873, стр. 366.

Декламация Симеона Полоцкого.

Праздничные декламации, широко распространенные в XVII веке в украинских школах и перенесенные оттуда в Московскую Русь, в своем громадном большинстве могут быть разделены на 2 группы, как это уже указано акад. В. Н. Перетцем: одна «с правильным расположением речей отроков, замкнутых между прологом и эпилогом»; в другой — «речам отроков предшествует лишь заглавие, вместо эпилога — орация; посредине — песнопение, порою переносимое на конец диалога».[1] Но помимо этих двух типов, наиболее распространенных, существовали несомненно и другие декламации, которые строились по иному плану, что доказывает одна из декламаций Симеона Полоцкого, искусного составителя подобных произведений. Имею в виду его «Стихи краесогласныя на Рождество Христово, глаголемыи в церкви во славу Христа Бога».[2] В произнесении этого произведения принимали участие 16 отроков, которые были разделены на 8 пар, и перед речами каждой из таких пар пелся тот или иной рождественский ирмос, начальные слова которого и приводятся в декламации. С этих то слов и начинается обычно речь первого из каждой пары отроков, развивающая далее, иногда и в сходных выражениях, мысль, высказанную в начале ирмоса; например:

Декламация	Ирмос
«*Христосъ родися,* людіе хвалите, Богъ воплотися, вси ся поклоните. Истинный се Богъ *на землю* приходитъ, Его же Дѣва пречистая родитъ, Приде *истлѣвшій* род нашъ *обновити,* И образ Божій въ людех направити,	«*Христосъ рождается* славите, Христосъ съ небесе срящите, Христосъ *на земли* возноситеся, пойте Господеви вся земля и веселіемъ воспойте людіе, яко прославися. *Истлѣвша* преступленіемъ по Божію образу, всего истлѣнія

1 К истории польского и русского народного театра, XV, 7. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., 1912 г.

2 Рук. Синод. Библ., XVII в., № 731, лл. 38 об. — 52.

Иже грѣховным мраком очернися
И неподобенъ Богу сотворися.
Самъ убо Господь изволилъ создати,
Мудростію си хощет исправляти».
(лл. 38 об. — 39).

суща лучша, отпадша божественныя жизни паки *обновляетъ* мудрыи содѣтель, яко прославися. Видѣвъ зиждитель гиблема человѣка, рукама его же созда, преклонь небеса сходить».

Для начальных строк речей вторых отроков каждой пары Симеон Полоцкий, не указывая источника, берет обычно начало иного ирмоса той же рождественской песни, следующего за взятым для речей первых отроков, и развивает его так же, как указано выше. Что же касается продолжения и окончания речей всех отроков, то они не зависят от песен, использованных в начале и представляют собою перепевы рождественских мотивов церковных песнопений, иногда более или менее близких текстуально, иногда отдаленных, чаще же всего составленных в духе таких песнопений. Приведем по одному примеру на каждый случай. Стих более или менее близкий текстуально:

Декламация

«Безплотенъ бо сый и невидим бяше,
Нынѣ да видим пріятъ тѣло наше»
(л. 41).

Служба

«Невидимый видится, безплотныи воплощается, слово одебелѣеваетъ» (Мин. служ., 27 дек., стих самогл., гл. 5).

Стих более отдаленный:

«Изъ египетских изведенъ чрез воды
Чермнаго моря во страну породы.
Сего силою море раздѣлися
И в непреходнѣ безднѣ пут явися.
Сухъ Израилю свободи ходящу,
Но Фараону бысть гробом гонящу»
(л. 39 об.).

«Моря Чермнаго пучину немокрыми стопами, древле шествова Израиль, крестообразно Моісеовыма рукама, Аммаликову силу въ пустыни побѣдилъ есть» (Служ. Мин., 26 дек., гл. 5, песнь 1, ирм.).

Стихи в духе церковных песнопений:

«Хвалите его мужіе з женами,
А онъ пред отцемъ своим ны похвалитъ
И во день судный преславно прославитъ» (л. 41 об.).

Приведенные примеры дают представление о характере стихов Симеона Полоцкого и указывают на их зависимость от церковных песнопений. Что же касается содержания декламации в целом, то оно очень небогато; через все произведение красной нитью проходит только одна мысль: Христос своим сошествием на землю оказал людям благодеяние, за что они должны благодарить его, ведя праведную жизнь; он же их вознаградит за это на небе.

Итак, рассматриваемая декламация по своему построению отличается от обычного вида аналогичных произведений, но это построение соответствует правилам, читаемым в поэтиках. Так «Poetyka szkolna» конца XVII века, сохранившаяся в библиотеке Оссолинских во Львове,[1] различает 3 вида декламаций, из которых первый вид охарактеризован так: «Первый способ древних учителей, уже почти вышедший из употребления, был чужд какого либо вымысла. Он заключается в том, что после краткого предисловия об избранном предмете произносятся несколькими участниками различные речи, стихи и проч., или сидя, или стоя, или с кафедры».[2] Этому определению и отвечает произведение Симеона Полоцкого; правда, в нем нет предисловия, но поэтика допускала такой пропуск, так как дальше при рассмотрении декламаций о страстях Христовых говорится, что в простой декламации — «приступ или вовсе упраздняется или предпосылается декламации».[3]

Тема декламации Симеона Полоцкого также соответствует указаниям поэтики, где при перечислении «предметов» для декламаций указываются «праздники, падающие на тот месяц, когда исполняется декламация, напр. Рождества Христова в декабре».[4]

Кроме общих правил о составлении декламаций, в упомянутой школьной поэтике имеются указания, относящиеся к декламациям на отдельные праздники. К сожалению, рассмотрение рождественских декламаций отсутствует в ней, но несомненно правила для их составления были сходны с таковыми же для других праздников, а некоторым из этих правил соответствует декламация Симеона Полоцкого. Так, говоря о декламациях на вербное воскресенье, составитель отмечает, что «предметом этой декламации служит торжественный вход господень в Иерусалим и ликование Иерусалима. В католических приходских церквах ликование это представляется юношами путем изъяснения по частям евангелия о входе Христа в Иерусалим. Евангелие это разделено на свои составные части в старинном песнопении, которое исполняется на вербное воскресение: «Z nieba zesłany Syn Boga Żywego». Должно заметить: а) в стихах этой декламации должно изъяснить содержание строф, которые поются, а в конце прибавить соответственное излияние чувств; б) в этом случае не должно отступать от церковного обычая декламировать такого рода стихи после каждой пропетой строфы, или после пары таких строф, или после трех строф».[5] В декламации Симеона Полоцкого мы как раз и имеем подобное располо-

---

[1] Проф. В. Резанов. К вопросу о старинной драме. Теория школьных декламаций по рукописным поэтикам. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., 1913, № 1.

[2] Перевод проф. Резанова, op. cit., стр. 11.

[3] Ibid., стр. 17.

[4] Ibid, стр. 8.

[5] Ibid., стр. 26—27.

жение материала: после пения того или иного богослужебного стиха следуют речи, заимствующие и разъясняющие материал, а далее добавляющие излияние чувств.

Одиннадцати-сложный размер декламации Симеона Полоцкого также соответствует правилам поэтики, которая допускает для таких произведений «всякий размер», добавляя, что «обыкновенно же употребляется 13-сложный или 11-сложный».[1]

Наконец, и указание Симеона Полоцкого, что декламация должна говориться в церкви, находит соответствие в поэтике, где читаем, что в провинции сохранэны ежемесячные декламации, а «также декламация у алтаря во время процессии на праздник тела Христова и в пятницу утренняя и вечерняя декламация у гроба Господня»,[2] т. е. в церкви.

Как видим, декламация Симеона Полоцкого составлена в соответствии с правилами, даваемыми в поэтике, отличаясь от них разве в том, что после каждого богослужебного стиха произносится не одна, а две речи, а также в том, что все произведение написано одним Симеоном Полоцким, а не учениками под его руководством, как это требовала поэтика. Что касается первого отличия, то оно, конечно, несущественно и представляет собою лишь некоторое расширение данного поэтикой правила. Такой параллелизм встречаем у Симеона Полоцкого и в другом произведении; имею в виду «Стихи на слова, яже Христос, распятый на кресте, мовил до Бога Отца»;[3] здесь на каждое изречение Христа составляются два стихотворения.

Будучи сходна по форме с указанным произведением Симона Полоцкого, его декламация имеет точки соприкосновения с другими его декламациями и стихотворениями. Так, отметим прежде всего, что конец ее, прославляющий царское семейство, князей, бояр и архиерея, обычен и в других произведениях Симеона Полоцкого.[4] Кроме того можно отметить целый ряд отдельных почти тожественных параллельных мест в рассматриваемой декламации и других произведениях. Например: «Рыдаетъ за ны, да мы веселимся»,[5] имеет соответствие — «Онъ нынѣ плачетъ, абы мы се веселили»;[6] или: «Дари съ поклономъ Богу принесите, Сердце даръ ему есть зѣло прiятный»;[7] соответствие — «Принеси въ дарѣхъ сердце твое Богу»[8] и др. Сходство в построении, мыслях и выражениях между рассматриваемой декламацией Симеона Полоцкого

---

[1] В. Резанов, op. cit., стр. 22.

[2] Ibid., стр. 5.

[3] Синод. рук. № 731, л. 17.

[4] См. Синод. рук. № 731, л. 64 об. или приветствия в виде декламации в той же рукописи.

[5] Л. 41 об.

[6] См. Синод. рук. № 731, л. 59.

[7] Л. 47 об.

[8] Синод. рук. № 877, л. 36 об.

и его другими произведениями указывает на то, что декламация составлялась Симеоном Полоцким без помощи учеников, в пользу чего говорит и одинаковое построение речей отроков: 1) развитие слов богослужебной песни, 2) прославление Христа, 3) обращение к слушателям с тем или иным советом или молитвословие, и, наконец, однородный стиль всего произведения: часто употребляемые сравнения, и противоположения, игра одним словом, много раз повторяемым в различных формах в одном и том же предложении (напр.: «Ты царю мирный утверди миръ въ мірѣ», л. 40 об.).

Если же мы обратимся теперь к аналогичным произведениям XVII века, то увидим, что отличаясь от обычного типа декламаций, декламация Симеона Полоцкого сходна с виршами Луки Голосова [1] под заглавием «Діалоги о премудрости воплощенія Сына Божія» (1682 г.), во второй их части. В этом произведении после пролога и речей 12 отроков следуют 9 песен на темы рождественских ирмосов, начальные слова которых приводятся в заглавии. Надо отметить, что Лука Голосов передает текст рождественских песен гораздо точнее, чем Симеон Полоцкий, местами же почти буквально. Говорить здесь о взаимном влиянии этих двух произведений не приходится, так как они сходны лишь отчасти и зависели скорее всего от теоретических правил поэтики.

Попытаемся теперь определить время написания Симеоном Полоцким его декламации на Рождество. Она написана книжным языком Московской Руси XVII века, без полонизмов и с очень редкими украинизмами (пастирь, с корене, до сердца, мирѣ — вѣрѣ), следовательно, относится к московскому периоду его жизни. Вместе с тем она составлена при жизни царя Алексея Михайловича, так как в ней говорится о царе, царице, их сыновьях и дочерях, а это могло относиться только к Алексею Михайловичу, а не к Федору Алексеевичу. Следовательно, декламация составлена между 1663 годом (время переселения Симеона Полоцкого в Москву) и 1676 годом (год смерти Алексея Михайловича).

С. Щеглова.

Ленинград.
1926. XI. 22.

---

[1] И. А. Шляпкин. Царевна Наталия Алексеевна и театр ее времени. Пам. древн. письм. CXXVIII, 1898 г., 41—68 стр.

«Слово о полку Игоревѣ» и исторические библейские книги.

В моей книге «Слово о полку Ігоревім» (Київ 1926) мною указан ряд параллельных мест к словам и выражениям «Слова» — в библейских книгах; систематичнее сделано это в книге «К изучению Слова о полку Игореве» (Лнгр. 1926, гл. II и сл.); но я ограничился тогда лишь необходимым при богослужении кругом библейских текстов, добавив лишь Апокалипсис и некоторых пророков. Теперь остановим наше внимание на некоторых исторических книгах ветхого завета, не бывших широко известными, но все же обращавшихся в среде древнерусских любителей религиозного чтения. Разумею книги Иисуса Навина, Судей, четыре книги Царств (1-я — наз. и кн. Самуила) и Есфирь. Эти книги мною использованы по рукописи Публичной Библиотеки XIV—XV в. Q. I № 2. Текст сохранился здесь в древнем переводе (в книг*а*хъ фарисейск*а*х 242, ногама мужьск*а*ма 190, древомъ кедров*о*мь, кипарисн*о*мь 165 и др.; употребление аориста 2-го) но в нем встречаются в большом количестве русские особенности (*ж, ч* вм. *жд* и *шт;* полногласие — в сковородѣ 131, гороху 204 об., полони 242 об.; местоим. тобѣ, собѣ 44, 45 и др. — обычно; имперфект 3 л. на *-тъ:* побѣжахуть 76, 81, искахуть 80, хотяхуть, бяхуть 101, бяшеть 102 об., падахуть 112 об., понужахуть 109 об., одѣвахуть, помагахуть 153 об., слышахуть 163 и мн. др.); обычны и местные особенности говора, нашедшие себе отражение в орфографии (*ѣ* вм. *е* в закрытом слоге — мѣчь 45; *ѣ* вм. *и* — сѣм же удалившемся 55 об.; обѣтѣлища 169, до Версавѣя 139, старийшина 198 об. — при обычном старѣйшина, свѣдитель 81 и об., 96 об., 98 и др.; *ы* вм. *и* — ширыня (ter) 164 об., от средына 164 об.; *у* вм. *в* — уселишася 244 об.; наречия сд*е* 56 об., 77 об. и др. и кд*е* 57 об., 77 об. и др.; ряд слов — охвота 250, приклякну, приклякая 244, свита 247 об., добротварна (= доброзрачна) 242 об. и т. п.), которые ведут нас на югозапад, к диалектам промежуточным между украинскими и белорусскими, т. е., может быть, на север Черниговщины.

Присматриваясь к тексту исторических библейских книг, находящихся в этой рукописи, мы замечаем ряд слов и выражений, относящихся к военному делу и встречающихся как в Летописи, так и в «Слове»:

Полкъ: «и бѣ полкъ израилев на Гавафонѣ» 3 Царств, л. 184 об.; «в полцѣ силнѣ» ib. 197.

Полчище: «въ полчище къ Исусу», Ис. Нав., 13 об.

Рать: «и изиде на рать» Ис. Нав., 33 об.; «на рать минуша» ib., 5.

Сѣчь: «сѣчь великъ зѣло» Ис. Нав., 13.

Трубы: «въструбите трубою» 6 об., «въ трубы въструбять» 7, «въструбиша трубами» 7 и об.; Саулъ «въструби трубою въ всю землю глаголя» кн. Сам., 82; «и воструби Иоавъ трубою и сташа вси людье», Царств, 2, 117; еще 145 об., 147 и др. — Срв. в «Слове»: «Трубы трубять в Новѣградѣ» 2, «трубы трубять Городеньскіи» 14 v.[1]

Хоругвь: «хоруговью възмахающе» Суд., 36 об.; «азъ есмь мнии хоругъве колѣна израилева... от всея хоругве вениаминовы» кн. Сам., 78; «и вънесе хоругви вениаминя» ib., 80; «хоругви колѣна израилева» ib., 88 об., и др.; — в «Слове»: «бѣла хорюговь» 4 v.

Мечь: «извлѣци мѣчь и убий мя» Суд., 45.

Копье: «острьи копья» Суд., 35 об.

Встречаются *лукъ* и *стрѣлы*, 220 и др.

Кроме того можно отметить ряд сходных со «Словом» мест — и стилистически, и по содержанию:

Сравнение с орлом, быстро летающим под облаками («Слово» 1) встречает себе параллель в 2 кн. Царств: Саул и Ионафан «бѣста *паче орла* льгчае, а лва крѣпльше» 114 об. К месту «иже истягну умь крѣпостію своею» 1 v. — «Лукъ силныхъ изнеможе, а немощнии *прѣпоясашася силою*» Суд., л. 67. Обращения к воинам с увещанием быть стойкими («Слово» 3 и 11 v.) нередки; напр. «и рече к нимъ Ісусъ: не бойтеся ихъ и ужасайтеся, възмужайтес(я) и крѣпитес(я)» Ис. Нав., 13 об., речь Авессалома, 2 Царств., 132 об. и др. Похвала отличным воинам («Слово» 2 v.) в схеме дана в кн. Судей: «сих же сьчтесе 7 сътъ и 20 мужь изборьнъ, бо ему художьници сии вси пращьници, мечюще камениемь ни власа грѣшающе»... 58. В другом месте — 2 кн. Царств — читаем аналогичное: «ты вѣси отця своего и мужѣ его, яко силни сут зѣло и гнѣвливи душами своими, яко медведици въ бърлозѣ ражающи, или яко сьрна бърза на поли, и отець твой мужь борець» 139.

---

[1] Цитаты из «Слова» — по моему изданию; цифры означают листы реконструированной рукописи.

Перечисление трофеев, как прием повествования о победе, встречаем в рассказе о Сауле; он «ятъ Агага царя жива и благая стадъ, и буволица, одежа, и винограды и все благое и не надѣяхуся всего испровръщи и всяко дѣло почтеное» кн. Сам., 88. — Срв. «Слово» 4 и 4 v.

Возможно, что и слова о переносе Святополком отца своего «междю угорьскыми иноходьцы» («Слово» 6 v.), не взирая на связь с бытовыми особенностями XI—XII вв. (комм., с. 205), навеяны 4 кн. Царств: по убиении ц. Амесия «взяша и на конихъ и погребенъ бысть съ отци своими въ Иерусалимѣ» л. 222.

К выражению «погыбашеть жизнь (т. е. имущество, достояние) Дажьбожа внука» (6 v.) укажем параллель из кн. Судей: «не оставиша бытия жизньнаго въ земли израили, стадо тельць и ослятъ» 37.

Картина поля сражения: «орли клектомъ на кости звѣри зовуть» 4, и «врани граяхуть трупіа себѣ дѣляче» 6 v. напоминает библейское: «дамь плоть твою птицам небеснымъ и звѣремъ земным» кн. Сам., л. 92 об.

В «Слове» — «Готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю», 10 v., по случаю побѣды; в кн. Самуила (XVIII, 6) 93 — «изидоша дѣвы ликоствующе на срѣтение Давидови от всего града израилева . . . тумпанѣхъ с радостию и гусльми», празднуя победу.

Картину боя, начинаемого на заре с дурной приметой — кровавыми лучами, находим в 4 кн. Царств: «и ураниша заутра и солнце восия на воды, и видѣ Моавъ противу на водахъ яко луча кръвавы, и рече: кръвь есть от оружья», 202; Моавляне терпят поражение. — Срв.: «вельми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдають» («Слово», 5) и печальную развязку боя кн. Игоря с половцами.

Нападение и в летописи и в «Слове» обычно сопровождается криком нападающих: «кликом поля прегородиша» 5 v. То же и в библейском повествовании: «мужи израилеви . . . въскликнувше и гнаша съзади», кн. Сам., 93; «вси моавитяне слышаша на ня побѣду и въспиша отинудь препоясани поясы и сташа при горѣ» . . . 4 кн. Царств, 202. Далее — картина боя.

«Гроза» = страх («ту бяше успилъ . . . грозою») имеет параллель в кн. Есфирь: когда евреи получили преобладание «никый же человѣкъ не остояше пред ними, яко възиде гроза ихъ над всѣми людми», 250.

Плачь, как прием изложения, встречаем и во 2 кн. Царств — дважды: Давида по Ионафане, л. 114, и Давида по Авессаломе, 142 об.

Можно догадываться, что и изображение Ярослава Осмомысла: «Высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмь столѣ» и т. д. (12 v.) — возникло не без влияния аналогичного изображения сильного царя в кн. Самуила: «и Саулъ сѣдяше на хълмѣ въ Вамѣ, и огнище бяше поставлено подъ нимъ с вонями, и копие в руку его, и вся отроци его предстояхуть ему» 1 Царств, XX, 1.

«Могуты», упоминаемые в «Слове» 11, конечно, не народ (см. наш комментарий, с. 113), а то же, что в кн. Судей: «да посадить я съ могутьми людьскыми» 67 об.

К «мое веселіе по ковылію развѣя» «Слово» 16 v. отметим: «и расѣя по тьрнию и по былью» (Гедеон), кн. Судей, 40 об.

К сочетанию «пробилъ еси каменныя горы» 16 v. — параллельное выражение в кн. Судей: «и жити в горѣ въ камянѣ» 32.

Выражение «Слова» 10 «а самою опуташа в путины желѣзны» имеет соответствие в кн. Судей: «и въведоша и въ Газу и оковаша и путы желѣзны» 53.

В рассказе о бегстве кн. Игоря «стукну земля, въшумѣ трава» (17 v.), и в кн. Самуила: «и возпи весь Израиль гласомь вельемь, и вошумѣ земля, и услышаша иноплеменницы гласъ вопля» 70 об. Срв. также крик дива, дающего весть «землѣ незнаемѣ».

В библейском тексте слово «лугъ», как и в «Слове» (17 v.), употребляется в значении «лес», «роща», а не «поле»: «и вьсь сборъ вниде в лугъ и вся земля бысть учрѣжена, и се лугъ пълънъ бяше бъчелъ» кн. Сам., 85 об.; «въ *чащю луга* великого» 2 Царств, 141; «и се изидостѣ двѣ медвѣдици от луга и уѣста ихъ» 4 Царств, 201.

Приведем еще несколько словарных данных.

Птичь («Слово» 15 v.): «снѣдь бываше Соломону . . . от курятъ тученъ и до всякаго птича, иже на потребу» 3 Царств, 160.

Смыслънъ («Слово» 15 v.): «и се уже дах ти сердце смысльно и мудрость» 3 Царств, 161; «паче смысльных всѣхъ егуптянъ» ib., 163.

Хоть («Слово» 6): «и бысть ему женъ ведовиць 700 а хотии 300», 3 Царств, 175; «вниди къ хотемъ отця своего» . . . 2 Царств, 138 об. и др.

Сочетание с dat. опред., аналогичное «Дунаю ворота» 12 v., «полю ворота» 13 v., «Киеву врата» 12 v., встречается и в библейском тексте: «и раздрушу храму врата» 4 Царств, 236.

Отметим в заключение еще одну особенность в расположении слов: помещение указательного наречия «ту» в конце предложения. В «Слове» — это обычно (см. в моем издании сс. 110, 235), точно также и в библейских книгах. В 3 кн. Царств имеем: «и веде Илья на потокъ Кисовъ и закала ихъ ту» 189 об.; в 4 кн. Царств: «и остави отрочища своего ту» 190; «и бѣжа в Македонъ и умре ту» 214; «положите я могылама двѣма при вратѣх града до свѣта да суть ту» 215 об.; «и пустиша по немь въ Лахисы и убиша и ту» 222; «и уселишас(я) ту» 224 об.; «и видѣ гробы и сущая в градѣ ту» 236 об.; «и поимъ веде и в Егупетъ и умре ту» 237 об. и др.

Мы, конечно, далеки от мысли видеть в указанных случаях непосредственное заимствование или подражание автора «Слова» указанным библейским книгам, но для нас несомненно, что этот автор в своем творчестве, как и летописец (о чем будет речь особо), шел в колее стилистических приемов, данных библейскими книгами, используя не только детали, но и крупные композиционные единицы, встречавшиеся в богатой и разнообразной библейской письменности.

В. Перетц.

Ленинград.
1926. XI. 23.

«Аристотелевы врата» и «Тайная тайных».

Наиболее обстоятельные, хотя по обыкновению и сжатые, сведения о «Тайная тайных» псевдо-Аристотеля, иначе об «Аристотелевых вратах», впервые даны были А. И. Соболевским еще в 1903 году.[1] В 1908 г. был мной издан текст самого памятника с вводной статьей и приложениями.[2] Издание вызвало небольшой отзыв того же А. И. Соболевского.[3] Этим, сколько мне известно, ограничилась дальнейшая разработка литературной истории « Аристотелевых врат ». Естественно, поэтому, в этой истории остались не разрешенными и даже не поставленными вопросы, связанные с этой историей. Я и хотел бы обратить внимание на один из таких вопросов, думается, не лишенный интереса для литературной истории: если «Аристотелевы врата» уже в XVI веке были запрещены (Стоглавом) и считались писанием апокрифическим, то в какой степени это запрещение относилось к известному нам и изданному мною тексту, и даже, к нему ли оно относилось? Законность этих вопросов вытекает из того материала, которым мы до сих пор располагали для суждения: он скуден, и истолкование его именно в сторону отождествления запрещаемых Стоглавом «Аристотелевых врат» с известным нам текстом «Тайная тайных» не может считаться безусловно необходимым и единственно правильным, хотя до сих пор такое толкование сомнений не возбуждало.[4] В самом деле: начать с того, что известный нам текст «Тайная тайных» по известным нам до сих пор спискам нигде не носит названия «Аристотелевых врат»;[5] название же «Тайная тайных» дано ему в соответствии с заглавием западно-

---

1 Переводная литература Московской Руси XIV — XVII веков стр. 419—423; (Сборник Отд. Русск. Яз. и Слов., т. 84), коснулся их А. И. Соболевский и в более ранней своей работе: Западное влияние на литературу Московской Руси XV — XVII в. (СПб. 1899), стр. 97—99.

2 Из истории отреченных книг. IV. Аристотелевы врата или Тайная тайных (Пам. древн. письм. и искусства, выпуск 171).

3 Ж. М. Н. П., 1909 г., январь.

4 Такой вывод о тождестве обоих памятников из сопоставления известия Стоглава и текста «Тайная тайных» был в свое время принят и А. И. Соболевским (стр. 419) и мною.

5 Обычно не нося никакого заглавия, он назван «Аристотель мудрый»: на переплете, современном рукописи, в списке Воскресенского мон. (Истор. Музея) № 160; бывш. Синод. 723 (там же) на листе при переплете он назван: «Книга, нарицаемая Тайны, сложения мудрого Аристотеля»; надпись позднее рукописи.

европейских аналогичных текстов (Secretum secretorum), а приписывание его Аристотетелю (о чем говорится в «Сказании о сотворении книги сея» в начале сочинения) и деление текста на «врата» (главы) повело к названию текста «Аристотелевыми вратами»; какое же название носил этот текст в XVI или XVII в., остается не выясненным: ни Максим Грек (в послании к Федору Карпову, если только он имел в виду наш текст, что еще не доказано), ни составитель «Оглавления книг, кто их сложил» (несомненно имевший перед собой наш текст) «Аристотелевых врат» не называют. Таким образом отожествление «Тайная тайных»[1] с «Аристотелевыми вратами» Стоглава не может счесться обоснованным прочно. Не более прочно обстоит дело и с сопоставлением «Тайная тайных» с «Аристотелевыми вратами» и по содержанию: если содержание (или, правильнее, отдельные места) «Тайная тайных» (ср. в моем изд. стр. 121—124 введения) и представляют как будто данныя, могшие подать повод к неодобрительному отношению и даже к признанию заслуживающею запрещения самой книги, то этим еще не решается вопрос о тождестве ее с запрещенными Стоглавом «Аристотелевыми вратами»: Стоглав имеет в виду под названием «Аристотелевых врат» гадательное писание, применявшееся, когда «на поле бьются и кровь проливают» (Вопр. 17), — «Тайная тайных» (см. стр. 171 изд.) говорит о том, как решать царю вопрос, выходить ли на бой, при помощи гадания по имени своему и противника (так наз. ὀνομομαντεία); эти, приводимые в аналогию места, однако, полного совпадения не дают. Что же касается общего характера «Аристотелевых врат» Стоглава, то, судя по месту их в ряду других запрещаемых им писаний (Вопр. 22), под ними надо подразумевать, скорее всего, сочинение специально-гадательное, быть может, гадательно-астрологическое, тогда как в «Тайная Тайных» этот специфический элемент играет роль едва ли даже второстепенную: это — скорее всего, своего рода «царственный Домострой» (откуда и второе заглавие его в латинских текстах — De regimine regum).[2] Таким образом и в данном случае отождествление «Тайная тайных» с «Аристотелевыми вратами» не может считаться доказанным бесспорно. Наконец, еще больше колеблет уверенность в возможности такого отождествления тот факт (до сих пор бывший неизвестным), что старая русская письменность знала произведение, которое, действительно, носило название «Аристотелевых врат», но которое в содержании и по тексту общего с известными нам «Тайная тайных» ничего не имело. Такой текст оказался в приложении к лечебнику по рукоп. Историч. Музея (в Москве) № 1226 Муз., в 4-ку, полууст. XVII в.,

---

[1] Имея в виду историю текста в восточных и западно-европейских литературах отождествление нашего текста с Secretum secretorum можно считать установленным.

[2] Этим, надо полагать, объясняется и нахождение списков «Тайная тайных» в числе книг царских библиотек (ср. И. Е. Забелин. Быт русских царей, II, 591, 599. Изд. 2-ое, М. 1915) и в числе книг патриарха Никона (список Воскр. мон. № 160) у людей близких к власти, и среде, где должны были скорее, чем где либо, отличать книгу запретную от всякой другой.

на лл. 292—307. Это — специально-гадательная книжка, носящая в рукописи такое заглавие:[1] «Сия книга, глаголемая врата | Аристотеля | премудраго | (учителя?) Александра царя Макидонскаго. Прообразуетъ многия изостренныя премудрости, разумѣетъ и *смотрит* мудрости, и знати единому или двумъ крѣпкимъ и многимъ не повѣдатъ(-ь). Аще начнеши *взиратъ* в сии врата, то буди чист и *смотри* посным образом, а нѣ самовольством, про всякое дѣло, и гадат(ь) бы с разсуждением своим, в коем дни хощеши, *смотри*, отставит(ь) бы ему во умѣ своем всякое помышление и мыслить об едином, что ему годно». После этого длинного заглавия идет «Указ, как по сей книге ходить», т. е. способ гадания по ней; он нам знаком и по другим гадательным книжкам: это — гадание по костям или точкам (χυβομαντεία); всякая схема, получаемая таким способом, состоит из «палок», т. е. двойных точек, и «точек», т. е. одиночных точек, смотря потому, остается ли от отчеркиванья точек попарно в результате две точки, или одна.[2] Эти различные, двойные и одиночные, сочетания даются в гадательной книжке при каждом гадании группами по две, по три или по четыре и даже пяти, составленными из палок и точек, в четыре ряда каждая схема. Далее следует указание, в какие дни месяца можно «смотреть» во «врата», в какие не следует — опять знакомое нам расписание «добрых и злых дней». Затем — «Главы вратам» — всего 33; вот первый десяток их: по ним можно до некоторой степени судить об общем характере всей книжки: «1) У кого сердоболь есть на чужей сторонѣ; 2) Оживет ли больной или умретъ? 3) Про дорогу — итти кому; 4) О войнѣ: кая рать одолѣетъ? 5) Про государево жалованье: будет ли? 6) Отъ чего имѣние нажить? 7) Не проживет ли имѣния своего? 8) Избуду ли я бѣды своей и кручины? 9) Быть ли ему женату или нѣтъ? 10) О животѣ и о смерти». Остальные главы в том же роде: о девице, о детях, приятеле, новом доме, верности супружеской, пропаже, охоте, скоте и т. п.

Для образца выписываю целиком 4-ую главу текста, как более других интересную для нас в данном случае.[3]

«*Врата о войнѣ:* кая рать одолѣетъ: наши ли, или невѣрныя?

1.2.2.2; 2.2.2.1. будет велика брань и *кровопролитие* в нашей рати от иноплеменных, а надостали едва наши одолѣютъ.

1.2.2.2; 1.2.2; 2.2.1.2. будут межь ими послы великия, от них к шейяклей (? sic), *промиется кровъ* от нашихъ силъ.

1.1.1.2; 1.2.1.1; 1.2.1.1; 1.2.2.1; 2.1.1.2. будетъ *кровопролитие*, много великих людей побьютъ, а иных наша сила побьетъ надостали.

---

[1] Даю текст в гражданской транскрипции, как и дальнейшие цитаты.

[2] Ср. мои «Гадания по псалтири» (Спб. 1899), стр. 115 и сл., или Archiv für slav. Philologie, XXV, 239 и сл.

[3] Типографского ради удобства «палки» и «точки» заменяю цифрами 2 и 1 и пишу их не столбцом, а в строку.

2.1.1.1; 2.2.1.1; 1.1.2.2; 2.1.2.1; *биться* много, раз(ой)дутся по себѣ, никоторая сторона не изойметъ.

1.1.1.2; 2.1.1.1; 1.1.1.1; 2.2.2.2. не будетъ брани никакия, будет мирно и вѣрно и весело».

Судя по приведенной выписке, «Аристотелевы врата» рукописи Истор. Музея имеют такое же, если не большее, право на сопоставление с «Аристотелевыми вратами» Стоглава, как и «Тайная тайных». Принимая же во внимание словесную близость приведенной выписки (ср. подчеркнутое) и сказанное выше о характере книжки, упоминаемой в Вопросе 22 Стоглава, и отдельность книжки рукописи Музея, можно думать, что составитель Стоглава в этом вопросе скорее имел в виду нашу книжку, нежели «Тайная тайных», где гадательный элемент к тому же занимает такое незначительное место.

Таким образом вопрос о тождестве «Тайная тайных» с «Аристотелевыми вратами», при наличии в нашем распоряжении иного текста «Аристотелевых врат», по заглавию совпадающего с упоминаемым в Стоглаве, нуждается в пересмотре, от чего будут зависеть и права «Тайная тайных» на зачисление их в число отреченных.

Текст «Аристотелевых врат» по списку Исторического Музея в отношении языка и словаря не древен и чисто великорусский, как о том можно судить уже по приведенным выпискам; ближайший его оригинал нам неизвестен; не исключена возможность, что он и не переводный.

М. Сперанский.

Москва.
1926. XI. 25.

Отрывок из хроники Иоанна Малалы в Златоструе XII века.

На лл. 110d — 111d так называемого Златоструя XII в. (рукоп. Гос. Публ. Библ. F. п. I, № 46), под заглавием «Поученик с҃тго петра и павьла», читается отрывок из X книги хроники Иоанна Малалы: прение ап. Петра с Симоном волхвом (без конца). Сличение этого отрывка с текстом Хроники в Архивском хронографе[1] и в обеих редакциях Еллинского летописца[2] позволяет думать, что перед нами *два различных перевода*. В самом деле —

Ἐπὶ τῆς ὑπατείας (по Боннск. изд. *250,* 14):

Зл. «по власти»; *АПС* «въ оупатию».

Ἦν δὲ μακρός, λεπτός, εὔμορφος, εὔρινος, ἀνθηροπρόσωπος, μεγαλόφθαλμος, ἁπλόθριξ, ὁλοπόλιος, δασυπώγων, εὔτακτος (*250,* 15—17):

Зл. «бѣ же низъкъ тънъкъ лѣпъ дългъмь носъмь роуманъмь лицьмь. великыма ѡчима простꙑ власꙑ. вьсь сѣдъ простою брадою»; *АПС* «бѣ же высокъ и҆ то́нокъ сѣдъ густъ (и густою) брадою строинъ (строенъ)».

Ἦ μόνον δὲ ἐβασίλευσε (*250,* 17—18):

Зл. «иже тъчию вълѣзъ»; *АПС* «абие же нача ц҃ртвовати».

Θαύματα ποιοῦντα (*250,* 20):

Зл. «чюдеса творѧща»; *АПС* «чюдотворца».

Ἦν γὰρ ὁ αὐτὸς Νέρων βασιλεὺς τοῦ δόγματος τῶν λεγομένων Ἐπικουρείων, ὅ ἐστι τῶν αὐτοματιστῶν τῶν λεγόντων ἀπρονόητα εἶναι τὰ πάντα (*250,* 22 — *251,* 1—2):

---

1 Летопись Ист.-Фил. Общества при Новоросс. Унив., XXII, стр. 19—22 = *А*.

2 Рукоп. Погодинск. собр. № 1437 = *П* и Новгор. Соф. б. № 1520 = *С*.

2*

Зл. «бѧше бо цр҇ь (н) иродъ оученим кпикоурьска. иже гл҇еть нбс҇и ни земьли. ни иномоу ни чемоу же сътроитела. нъ ѿ собѣ к»;

АПС «бѣ же сии неронъ вѣры нарицаемыхъ ѐпикоуръ и҆же гл҇еть (гл҇ють) безъ промысла гл҇еть (гл҇ють) вса».

Καὶ μαθὼν ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Νέρων ὅτι πρὸ πολλοῦ χρόνου ἐστούρωσαν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ζήλῳ φερόμενοι καὶ μόνον ἐν μηδενὶ μεμφθέντα, ἠγανάκτησε (*251*, 2—4):

Зл. «и оувѣдѣвъ неронъ цр҇ь. ꙗко давьно распатъ ксть ѿ жидовъ завидами. ничимь же простѣ живъше и разгнѣваса неронъ зѣло»;

АПС «оу҆вѣдѣвъ неронъ ꙗ҆коже прежде много лѣтъ распали соу́ть соудѣи за́висти дѣла то́чию ни (не) при че́м же винна разгнѣвавса».

Μετὰ διαδοχὰς τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἀνήγαγε διὰ Μάξιμον (*251*, 6—7):

Зл. «по ѿставлении. и повелѣ и привести скоро неволею»;

АПС «по изверженїи ѐго приведе ѐго свѧзана».

Ἐν δὲ τοῖς χρόνοις τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοῦ Νέρωνος ὁ ἅγιος Παῦλος ἀπῆλθεν ἐν Ἀθήναις τῇ πόλει τῆς Ἑλλάδος (*251*, 12—13):

Зл. «во врѣмѧ же то цр҇ѧ нерона. ст҇ыи павьлъ приде въ антиѡхию въ градъ лажьданьскъ оуча»;

АПС «въ лѣта же цр҇тва его (сего) нерона ст҇ыи павелъ възыде въ а҆фины въ гра҇ ѐладѣ».

Καὶ ηὗρεν ἐκεῖ φιλόσοφον ὀνόματι Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην τὸν Ἀθηναῖον τὸν περιβόητον, βρύοντα φιλοσοφίας διδάγματα (*251*, 13—15):

Зл. «и ѡбрѣте тоу филосода именьмь диѡноусиꙗ ареѡпагита афинеанина славьна филосода клюдащаго оучениkмь филосодьскъıмь»;

АПС «и҆ ѡ҆брѣте тоу философа и҆менемъ диѡ҆нисїа а҆реѡ҆пагита а҆финꙗнина (а҆ѳпнѐнина) сущаго (словоущаго) кипа́ща философьскыми оу҆че́нїи».

Ὃς ἐξέθετο περὶ τοῦ ἡλίου ὅτι ἀπὸ τῆς ἀποῤῥοίας τοῦ φωτὸς τοῦ θεοῦ ἐστι, καὶ ἄλλα τινὰ εἰπὼν περὶ τοῦ δημιουργήματος (*251*, 15—17):

Зл. «иже съказакть сл҇нце ѿ бж҇иꙗ свѣта соуще. и ина нѣкаꙗ гл҇юще ѡ сътворенъıхъ»;

АПС «иже исписа ѡ҆ со́лнци. ꙗ҆коже ѿ стицанїа (истицанїа) свѣта бж҇їа ѐсть. и҆но дроугое ре́къ ѿ сътворени (ѡ҆ строенїи, ѿ створїи)».

Καὶ ἐπηρώτα τὸν ἅγιον Παῦλον ὁ Διονύσιος· Τίνα κηρύσσεις θεόν, σπερμολόγε (*251*, 18—19):

Зл. «и въпраша стго павьла дишнисии. кокго се ба пропов҄ѣдакши соущи ѿ рѣчи глоубоцѣ»;

АПС «и въпроси стыи диѡнисїи, коего бга проповѣдаеши ѿ (ὦ) празнословче».

Καὶ ἀκούσας τοῦ ἁγίου Παύλου ὁ αὐτὸς Διονύσιος διδάσκοντος αὐτὸν προσέπεσεν αὐτῷ, αἰτῶν αὐτὸν φωτισθῆναι (*251*, 19—21):

Зл. «и слышавъ стго павьла бесѣдоующа ѿ хсѣ и паде прѣдъ нимь проса крьщенија»;

АПС «и слыша (слышавъ) павла оучаща диѡнисїи и припаде къ нему. моласа. да и просвѣтить крщенїем».

Καὶ ἑωρακὼς ὁ ἅγιος Παῦλος τὸ θερμὸν τῆς πίστεως τοῦ αὐτοῦ Διονυσίου ἐποίησεν αὐτὸν ἐπίσκοπον ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ (*252*, 1—2):

Зл. «и видѣвъ стыи павьлъ скороую вѣроу кго постави кппа земли тои»;

АПС «видѣвъ павелъ теплое вѣры диѡнисьевы. сътвори и еппа въ тои странѣ».

Ὅστις Διονύσιος ὁ ἀπὸ φιλοσόφων καὶ βίβλους καθ' Ἑλλήνων ἐξέθετο (*252*, 2—3):

Зл. «тъ же диѡнисии книгы клиньскыја преложи»;

АПС «идеже (иже) диѡнисїи книгы (на еллины, еллиньскы) списа».

Καθὼς ὁ σοφὸς Θεόφιλος ὁ χρονογράφος συνεγράψατο (*252*, 16—17):

Зл. «јако премоудрыи хронографъ съписа»;

АПС «јакоже феѡфилъ списа».

Καὶ ηὗρεν ἐκεῖ κύνα μέγαν ἐν τῷ πυλεῶνι ποιμενικόν (*252*, 20—21):

Зл. «и ѡбрѣте пьсъ пастоушьскыи великъ»;

АПС «и ѡбрѣтъ пса велика».

Ἁλύσεσι δεδεμένον (*252*, 21):

Зл. «вазащь оужи желѣзны»;

АПС «веригами привазанна».

Καὶ τοῦτο ἦν πρῴην θαῦμα τῷ μέλλοντι ἀνιέναι πρὸς τὸν αὐτὸν Σίμωνα (*252*, 25):

Зл. «и то баше пьрвок чюдо хотащимъ вълѣсти къ немоу»;

АПС «и се бѣяше чюдо хотащемоу влѣзти к нему (симону)».

Μαθὼν (*253*, 2):

Зл. «слышавъ»;

АПС «оувидѣвъ (оувѣдѣвъ)».

Ἀλλ' ἐπερχόμενος φονεύει τὸν πλησιάζοντα αὐτῷ (*253*, 4—5):

Зл. «нъ нападъ оубиєть ѥже пристоупить къ немоу»; *АПС* «но наскочивъ оу҆морить же (оу҆мръщваѐть) входащаго».

Ἐθαύμασαν (*253*, 12):

Зл. «начаша чюдитиса»; *АПС* «въчюдишаса (възчюдишаса)».

Τίς ἐστι Πέτρος (*253*, 13):

Зл. «къто ѥсть петръ»; *АПС* «что се ѐсть петръ».

Οὐ εἶπεν ὁ κύων, ὅτι ἐποίησε τὸν κύνα ἀνθρωπιστὶ λαλῆσαι καὶ ποιῆσαι αὐτῷ τὴν ἀπόκρισιν (*253*, 13—15):

Зл. «чьто ѥсть ѡнъ иже може пьсъ чл҃вчскы провѣщати»; *АПС* «ѡ҆ неᲂже то гл҃еть песъ. ꙗ҆коже сътвори пса чл҃ческымъ (гл҃сѡ҆) сътвори (сътворити) ѐму посолъ».

Λέγει (*253*, 15):

Зл. «рече»; *АПС* «гл҃а».

Θαυμάζουσι (*253*, 15):

Зл. «чюдащимъса»; *АПС* «диващимса».

Τοῦτο ὑμᾶς μὴ ξενίσῃ. ἰδοὺ γὰρ κἀγὰ λέγω αὐτῷ τῷ κυνὶ τῇ αὐτῇ ἀνθρωπίνῃ φωνῇ ἀπόκρισιν αὐτῷ κατενέγκαι (*253*, 16—19):

Зл. «да вы не боудеть то дивьно нъ се вы азъ рекоу къ нему. да ѥмоу ѿвѣтъ чл҃вчьскы ѿвѣщаѥть»; *АПС* «се и васъ дн҃е (да не) страшить. се бо и҆ а҆зъ псу томоу чл҃ческымъ гласомъ ѿтвѣты (ѿтвѣтъ) ѐмоу велю сътворити».

Καὶ συνέβαλε μετὰ Σίμωνος τοῦ Αἰγυπτίου (*253*, 20—21):

Зл. «и съвъкоуписа съ симонъмь ѥгуптанинъмь»; *АПС* «и҆ сна́стаса съ си́мономъ ѐгипетскымъ».

Καὶ ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ ταραχὴ μεγάλη καὶ θρύλλος ἕνεκεν τοῦ Σίμωνος καὶ τοῦ Πέτρου ὅτι κατέναντι ἀλλήλων ἐποίουν θαύματα (*254*, 1—3):

Зл. «и҆ бы҃ въ римѣ матежь великъ и мълва ѿ петрѣ и ѡ симонѣ. ꙗко противьна себѣ твораста чюдеса»; *АПС* «(сице бо въ) римѣ же великъ матежь въста и҆ боура симона ради и творай (твораста) чюдеса».

Ὁ ἔπαρχος (*254*, 3):

Зл. «соудии»; *АПС* «епархъ».

Ἀνήγαγε τῷ βασιλεῖ Νέρωνι, ὅτι εἰσί τινες ἐν ταύτῃ τῇ βασιλευούσῃ πόλει θαύματα ποιοῦντες κατέναντι ἀλλήλων (*254*, 4—5):

Зл. «и повѣда цр҃ю нероноу. ꙗко ѥста нѣкаꙗ моужа въ градѣ семь цр҃ьствоующимъ. творѧщимъ тъчьнаꙗ себѣ чюдеса»; *АПС* «повѣда цр҃ю нерону рекыи. есть цр҃ю въ семъ градѣ (цр҃иградѣ) нѣкто чюдеса творѧща противна собѣ».

Καὶ ὁ μὲν εἷς λέγει αὐτὸν Χριστόν (*254*, 5—6):

Зл. «ѥдинъ ѥю твориться хс҃ъ»; *АПС* «единъ нарицаѐтсѧ (нарицашеся самъ) хс҃».

Καὶ εἰσηνέχθησαν πρὸς τὸν βασιλέα (*254*, 9—10):

Зл. «и приведоша ꙗ прѣдъ цр҃ѧ»; *АПС* «и въведени быша къ цр҃ю».

Σὺ εἶ ὃν λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι Χριστόν (*254*, 11):

Зл. «ты ли ѥси ѥго мьнѧть хс҃а»; *АПС* «ты ли ѐси хс҃».

Ὁ δὲ εἶπε, ναί (*254*, 11—12):

Зл. «пилатъ же рече знаю»; *АПС* «ѡ҆нъ же рече. ѐи».

Καὶ ἐπ' ἐμοῦ εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνελήφθη (*254*, 13—14):

Зл. «и прѣдъ мъноѭ възиде на нбо҃»; *АПС* «и҆ при мнѣ ѐсть въсшелъ на нбс҃а».

Καὶ προσεσχηκὼς αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος εἶπεν, οὐκ ἔστιν αὐτός· οὗτος γὰρ καὶ καρηκομόων ἐστὶ καὶ περιπληθής (*254*, 16—18):

Зл. «и възрѣвъ пилатъ и рече нѣсть се частыꙗ власы и тълъстъ»; *АПС* «и҆ приступивъ пилатъ. и рече. нѣсть се. се бо есть длъговласъ (длъгъ власы) и҆ дебелъ (не бѣлѣ)».

Ὡς μαθητὴν αὐτοῦ (*254*, 20):

Зл. «творѧще оученика ѥго»; *АПС* «акы оученика ему (его)».

В некоторых случаях *Зл.* полнее передает греческий текст, чем *АПС*, напр.: Καὶ ἀκούσας τοῦ ἁγίου Παύλου (*251*, 19—20):

Зл. «и слышавъ ст҃го павьла»; *АПС* «и слыша павла».

Καὶ βαπτίσας αὐτὸν ὁ ἅγιος Παῦλος ἐποίησε χριστιανόν (*251*, 21—22):

Зл. «и крьстивъ и с҃тыи павьлъ сътвори хрьстьꙗна»; *АПС* — нет.

Καθὼς ὁ σοφὸς Θεόφιλος ὁ χρονογράφος (*252*, 16—17):

Зл. «ꙗко прѣмоудрыи хронографъ»; *АПС* «ꙗкоже феѡфилъ».

Ἀνῆλθεν ἐν Ῥώμῃ (*252*, 5):

Зл. «приде въ римъ»; *АПС* «прииде».

Καὶ ηὗρεν ἐκεῖ κύνα μέγαν... ποιμενικόν (*252*, 21—22):

Зл. «и ѡбрѣте пьсъ пастоушьскыи великъ»; *АПС* «и ѡбрѣтъ пса велика».

Καὶ τοῦτο ἦν πρώην θαῦμα (*252*, 25):

Зл. «и то бѧше пьрвоѥ чюдо»; *АПС* «и се бѣꙗше чюдо».

Ὁ δὲ αὐτὸς κύων ἀνῆλθεν εὐθέως δρομαίως (*253*, 8):

Зл. «пьсъ же текъ тоу абиѥ бързо»; *АПС* «песъ же поиде текыи».

Καὶ ἐπηρώτησε καὶ τὸν Πέτρον ὁ Νέρων λέγων· Ἀκριβῶς οὗτος ἐστιν ὁ Χριστός (254, 12—13):

Зл. «и въпраша петра неронъ се ли ѥ х҃съ»; *АПС* — нет.

Добавление против греческого текста (*251*, 11—12) читается как в *Зл.*, так и в *АПС:* «а иродъ (sic) тоу ѡста въ тьмьници» (*Зл.*) и «и пилатъ же пребы въ темници» (*АПС*).

Таким образом, хроника Иоанна Малалы известна была въ древне-русской письменности не только в составе исторических компиляций, называемых «Еллинскими Летописцами» разных редакций.

Д. Абрамович.

Ленинград.
1926. XII. 3.

Несколько словарных разысканий.

1. *Бешметь.* С мягким окончанием слово это известно в «Фелице» Державина: «Хвалы мои тебе приметя, | Не мни, чтоб шапки иль *бешметя* | За них я от тебя желал». Рифма *приметя-бешметя* не поэтическая вольность, но несомненное отражение живого языка. В сообщении свящ. Наз. Коханова: «Образцы говора Копановской станицы Енотаевского у. Астрах. г.» мы находим фразу: «купите к празднику мне на *бешметь* (стеганый кафтан)»;[1] в словаре Пермской губ. свящ. Ал. Луканина[2] тоже имеем: *бешме́ть*, с примером: «у *бешметя* локти проносились». Вероятно, Державин знал это слово по живым говорам Поволожья, его родины. Впрочем, в его время оно вполне принадлежало и литературному языку. «Словарь Академии Российской» (ч. I, 1789 г.) дает именно форму *бешме́ть,* род. п. *бешме́тя.*

2. *Здо.* В литературном языке слово это тоже известно лишь по стихотворению Державина «Сетование» (подражание псалму 101-му, 1807 г.): «Как птица в мгле, унывна, | Оставленна *на зде*»... Я. К. Грот в «Словаре к стихотворениям Державина» считает первоначальной формой данного слова речение *зид,* а в примечании к тексту, рядом с объяснением Державина, указывавшего, что *на зде* значит: «на кровле», замечает: «*Зид* значит, собственно, стена».[3] Но из слова *зид* никак нельзя получить предл. пад. *на зде* (*и* в склонении не выпадает). При том это слово не известно ни в ц.-славянских, ни в русских текстах, поэтому говорить о его значении применительно к стиху Державина затруднительно. Слово *зид* — «стена», известное в языках болгарском, сербском и словинском, сюда не идет, потому что его не оказывается в переводах соответственных мест псалтири на названные языки. Разъяснение дает «Словарь Академии Российской» (ч. III, 1792 г.), в котором читаем: «*Здо* — кровля, крышка. Слово церковное». В подтверждение даны два примера

---

1 Арх. Г. Геогр. Общ., № 24.

2 Рукоп. II-го Отд. Акад. Наук.

3 Жизнь Державина, т. II, стр. 379; Сочинения Державина, т. II. изд. 1865 г., стр. 670.

из псалтири (Псал. 128, ст. 6, с формой: трава̀ на здѣ́хъ, и псалом 101,[1] ст. 8, с сочетанием: птица на здѣ). Ц.-слав. библия при этом показывает в сносках, что темное слово *здо* значит: «кров».[2] Это объяснение и использовано Державиным в его примечании.

3. *Несеко́мое.* В сочинениях Державина, по изданию 1808 г., XIX-я строфа оды «На взятие Измаила» начинается так: «Он спит! — и *несекомы* гады | Румяный потемняют зрак». В академическом издании Я. К. Грот исправил конец 1-го стиха на: «насекомы, гады». Конечно, Державин предпочитал форму «насекомое»,[3] но словоупотребление *несекомое* было ему также не чуждо. Оно в XVIII веке довольно обычно. Например, в «Парнасском Щепетильнике» (1770 г., стр. 140) есть «Нравоучительные надписи . . . на *несекомых*». В книге Мих. Бенедиктова: «Непорочные забавы» . . . (М. 1783) читаем: «Премудрость его равно непостижима в каждом *несекомом*» (стр. 21). У Сумарокова находим: «К ползущим причитаются и летающие *несекомые*».[4] У Хераскова в повести «Кадм и Гармония» та же форма: «Любители забав и нетрезвенного жития, будто *несекомые* вкруг сладких снедей к Кадму прилепляются».[5]

4. *Пирей.* У Гоголя находим странное слово *пирей* в поговорочном выражении: «Эх ты, *пирей,* не нашел дверей!» в значении «простофиля, недогадливый человек».[6] Вероятно, Гоголь слышал данное выражение в приведенном им искаженном виде. Правильную форму поговорки: «Ах! ты *Кирей,* не нашел дверей», находим в книге Княжевича «Полное собрание русских пословиц и поговорок» (СПб. 1822, стр. 2, № 26).

5. *Молебен* (= панихида). С. И. Пономарев, редактор посмертного издания «Стихотворений Н. А. Некрасова» (СПб. 1879) в 4-м томе этого издания, на стр. XXXIII, дает следующее примечание к стихотворению «В деревне»: «В первоначальном тексте[7] встречаем несколько совсем мелких вариантов и одну странную обмолвку: «добрая барыня . . . на три *молебна* дала (по покойнике-то!)». Словоупотребление Некрасова, конечно, неудовлетворительно с точки зрения литературного языка, но оно оправдывается языком народным. Например, в Великолуцком у. «*молебном* называется лития по усопшем».[8] Переделанный поэтом, известный теперь стих: «На панихиду дала» не выражает вполне первоначальной мысли. Добрая Марья

---

[1] Т. е. тот, который переводил Державин.
[2] См. Библия 1756 г., 1759 г. и др., позднейшие издания.
[3] См. в изд. 1808 г., т. I, стр. 34, т. II, стр. 189.
[4] Сочинения, изд. 1787 г., ч. IX, стр. 300.
[5] Творения, т. IX, стр. 34.
[6] Женитьба, д. I, явл. 21.
[7] Современник, 1854, ноябрь, стр. 5.
[8] Архив Г. Геогр. Общ., Псковск. г., № 37; сообщение свящ. И. Златинского, 1855

Романовна, очевидно, дала бедной старухе денег отслужить 3 панихиды в дни, установленные церковным обычаем, напр., 3-й, 9-й, 40-й после смерти Савушки.

6. *Обеднóй*. Слово это встречаем у Толстого[1] в фонетической форме *обидной*: «Ведь это не *обидной* лес, сказал Степан Аркадьевич..., — а дровяной больше». (Облонский не понимал, что *обидной* лес — мелкий и стоит дешевле дровяного!). Правильную форму слова находим у Н. В. Успенского, в рассказе «Старое по старому»: «Лес обедной, полозья и грядки[2] выдут хорошие!»[3] Значение: лес, годный лишь на мелкие изделия (ободья, оглобли, полозья). Ср. *óбедь* — обод, в Павловском у. Ворон. г.[4]

7. *Верзиул*. Темное древнее выражение: *Верзиулово коло*[5] счастливо объяснено акад. А. И. Соболевским. Это: «Вельзевулово собрание». *Верзиул* получилось из *Вельзевул* вследствие диссимиляции плавных, подобно *верблюд* из *вельблуд*.[6] Установленная лишь теоретически форма *Верзиул*, оказывается, живет еще в русском языке. В записанной М. Б. Едемским сказке Тотемского у. Волог. губ., конец которой говорит о спасшемся от мучений на кумовой кровати грешнике, находим: «Вдруг ангели господни литят души вынать. Полтора часа прошло — и *верзоулы* литят души вынать».[7] Различия формы и значения в данных случаях очень невелики, и Тотемская сказка довольно ясно отражает словоупотребление, встретившееся в «Сказании о книгах истинных и ложных».

8. *Орь (конь)*. Слово это известно лишь в немногих переводных памятниках древней русской литературы.[8] Академик А. И. Соболевский считает его одним из лексических признаков, доказывающих русское происхождение того или другого переводного текста.[9] Почти также высказывается и акад. В. М. Истрин.[10] Слово *орь* мы находим в говоре уральских казаков. См. рассказ И. И. Железнова: «Камык-камень самоцвет», где говорится о бесе, заключенном крестным знамением в рукомойнике. Когда пустынник, выпуская его на свободу, разбил посохом рукомойник, освобожденный «чорт с радости заржал, словно *орь*, и улетел».[11] Ср. обычное русское «заржал, ржет, как жеребец» о громко, несдержанно смеющемся.

---

1 Анна Каренина, ч. II, гл. XVI.

2 Продольные жерди в телеге, образующие бока кузова (Даль).

3 Сочинения, изд. 1883 г., т. III, стр. 49.

4 Дополн. к Опыту областн. словаря.

5 См. Словарь Срезневского, т. I, стр. 244.

6 Русский Филолог. Вестн., т. XXIII, стр. 79—80.

7 Живая Старина, 1912, стр. 248.

8 Хроника Георгия Амартола и др.

9 См. Особенности русских переводов до-монгольского периода, стр. 175 и 176 и Русск. Филол. Вестн., 1911, № 2, стр. 416.

10 См. Хроника Георгия Амартола, т. II, стр. 302.

11 Железнов. Уральцы, т. III, изд. 2-е, 1888 г., стр. 410.

9. *Некмь (неимь)*. «Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе», изданная акад. В. М. Истриным, имеет выражение: «бык некмь» в значении: «дикий, лютый, свирепый» (т. I, стр. 337; II, 233). Слово *некмь* не вошло в словари Миклошича и Срезневского, но есть, в несколько измененной форме, и в «Опыте областного великор. словаря» (*не́имь* — неимкая скотина, Шенкурск. у.) и у Даля (*не́им* и *не́имь* — лошадь и иная домашняя скотина или животное, которое не дается в руки, которое трудно поймать, северное и восточное), и в «Словаре Архангельского наречия» Подвысоцкого (стр. 59: *не́имъ* — дичащееся, не дающее подступить к себе домашнее животное). Ср. «Несутся прочь, завидев нас, *кони-не́имы*».[1] Переход звука *е* в *и* совершился, вероятно, — вместе с вымиранием глагольных форм ряда *яти-емлю*, — под влиянием более распространенных в северных говорах глагольных и именных образований с корнем *им: има́ть—има́ю, има́лка, имки́, имко́й* и под.

10. *Щи, шти, сти*. Этимология темного слова *щи* указана академиком А. И. Соболевским. Первоначальную форму его он видит в церк.-славянск. «Похвальном слове Кириллу и Мефодию» (список XII в.) дающем выражение: «*съти* медвьнии словеса ваю». Форма *съти* сопоставляется с древне-русскими *сътъ, сыта* и под. Современное *щи* объясняется из старого и областного *шти* уподоблением последующего согласного предыдущему.[2] Данные народного языка подтверждают эту этимологию. Во-первых, есть говор, в котором произносят *сти* вместо *щи*. В. В. Шастовский, бывший учитель Кирилловского городского училища (Новгородск. губ.), некогда сообщал мне, что, преподавая русский язык ученикам названного училища, он встречал большое затруднение при слове *щи*: дети обыкновенно говорили и писали: *сти*. Во-вторых, областной словарь указывает на более широкое значение слова *щи*, как варева, приготовляемого не только из капусты, но также из других припасов, без капусты. Так, в Шенкурском у. Арханг. г. *постные шти* значит: кушанье из крупы, сваренной в воде;[3] в том же уезде, в Шахановской волости *щи* — кушанье из ячной крупы, приправленное сметаной или сливками;[4] в Вологодской г. «*щи, шти* — вариво из овсяной крупы с говядиной».[5] См. еще в Словаре Даля: *щи* — похлебка с крупой, картофелем и морковью (Тобольск.). Любопытно, что у обрусевших зырян «капуста есть, но щи варятся без нее, из крупы; капусту — едят так».[6] Важно также название *кислые щи* (известный шипучий напиток). По своему первоначальному значению *щи*, очевидно, есть

---

1 О. Озаровская. За жемчугом. Речь 1915, № 245.
2 Лекции, изд. 4-е. М. 1907, стр. 119.
3 Арх. Г. Геогр. Общ., № 54; сообщ. Штерна, 1854 г.
4 Там же, № 57; сообщ. Боголепова 1887 г.
5 Волог. Губ. Вед., 1866 г., № 11 июня.
6 Засодимский. Сочинения, т. 1, стр. 552.

нечто насыщающее, питающее вообще. Может быть, одного происхождения с этим словом и темное старое русское *сто* (из *съто*?), известное по нескольким духовным завещаниям XIV—XV вв., в которых говорится об оставлении лесов и земель детям *у сто*, повидимому: «на пропитание».[1] Ср. нередкие в русском языке родовые разновидности: *мыт* и *мытó*, *нутр* и *нутрó*, *плес* и *плесó* и под.

В. Чернышев.

Ленинград.
1926. XII. 4.

---

[1] Словарь Срезневского, т. III, стр. 645.

Народные заговоры в церковных Требниках.

(К истории быта и мысли).

В одном сербском Требнике письма конца XVI века, хранящемся в Библиотеке Академии Наук, в собрании Срезневского под № 16, читается (л. 64 об. — 65 об.) несколько молитв «Отъ запора воды».[1] Редкие вообще в Требниках, здесь эти молитвы выделяются еще своей формулировкой, носящей характер чистого заговора. Вот текст этих молитв.

1) м҃ ѿ запора во҃ы. Гиѡнь, фисонь. фигарь[2] ефра҃. стоꙗхꙋ. г҃ дв҃це на рѣци ӥ дрьжахꙋ ракова чрьва на блю҃е. а҃. веже. в҃. рѣши, г҃. б҃га м҃ли. ст҃ы саваѡ҃е ѿврьзы во҃ни прохо҃ рабꙋ своѥмꙋ ӥме.

2) м҃ в҃. томꙋже. г҃. Пойдоше трїи деветы дв҃ць ӥ трїи деветы невѣсть. и тры деветы ю҃нөь. ӥ гнаше водꙋ вь ѥдинь стꙋденць. теци во҃ пꙋтемь свой.:~г҃.

3) Йдеше ѳ҃ дв҃ць. ӥ. ѳ҃. невѣсть и. ѳ҃. юно҃ь. ӥ ношахꙋ. ѳ҃ ꙁ҃ѣль[3] || (л. 65) сребрьни. пльне бѣхꙋ бж҃їа порода.[4] поусты водꙋ рабꙋ своѥмꙋ. ӥме҃. да не оумр҃. въ ӥме ѡ҃ца ӥ сн҃а ӥ ст҃го дх҃а.: г҃.

4) м҃. Й ӥзыдо҃ь на полѥ медено ӥ пламенито ӥ налѣзо҃ь. г҃. сестренице дрьжахꙋ на блю҃ ракова чрьва. стар҃а ве҃. срѣ҃нꙗ др҃ши. г҃. б҃га м҃ли. поусти водꙋ рабꙋ бж҃їю. їме҃. да не оумреть. въ ӥме ѡ҃ца ӥ сн҃а ӥ ст҃го дх҃а ӥ всѣ҃ ст҃ы҃ ӥ ве҃хь м҃нкь ӥ ве҃хь м҃нць ст҃ць.[5]

5) Стаꙗше ѥла[6] посрѣ҃ мора. по҃ но́мь сѣ҃хꙋ г҃ мтерице дрьжахꙋ.

---

[1] Указанием этого Требника я обязан учен. хранит. Рукоп. Отд. Библиотеки Академии Наук Ф. И. Покровскому, за что и приношу ему мою благодарность.

[2] Т. е. Тигр.

[3] Сербск. здѣла = patina, блюдо.

[4] Встречается в значении «манна» (Слов. др.-рус. яз. Срезневского).

[5] Т. е. свѣтаць (?).

[6] ѥла = ель.

г҃ блюе а҃ веже. в҃ тврьды. г҃ пȣща водȣ. йспȣсты йс косты″ на поу^т.[1] йс поути на̀ месо̀. йзь меса оў кожȣ. ис коже̑ на землю.·:·г҃. Гȣ помли^м.

6) || (65 об.) Съ̑хоу. г҃ дв҃це на бв҃ы стȣдениȣ вь себѣ млеще̑ гȣ. а҃. веже. в҃ др^ьши. г҃. пȣщаше̑. теци во^х кȣдѣ си й текла. г҃и вь йме твоѥ·:·~

Совершенно в иных редакциях читаем мы эту молитву во всех прочих известных в литературе Требниках и Служебниках. Помещаем их в порядке большей близости к нашим текстам. Так, 1) в одном греческом Евхологионе письма XVI века[2] читаем: Περὶ δυσουρίας. Πέρα τοῦ ποταμοῦ στήκει λίμνη μεγάλη καὶ ἐπάνω τράπεζα χρυσῆ καὶ ἄνω δίσκος ἀργυρός, καὶ εἰστήκουσιν τρεῖς ἄγγελοι· ὁ εἷς δένει, ὁ ἄλλος λύει καὶ ὁ ἕτερος λέγει· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, ὁ λύσας τὰς οβ′ φλέβας τῶν ὑδάτων, λύσει ὁ θεὸς καὶ τὸν δοῦλόν του (δεῖνα) εἰς τὸ χεσ[ειν], εἰς τὸ οὖρος καὶ εἰς πᾶσαν αἰτίαν, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου πνεύματος. И приписано еще: Γράφε αὐτὸ εἰς σχουτέλια ἀφόρια καὶ απόπλυνον μετὰ ἁγιάσματος, καὶ ἰᾶται.

2) Иная редакция в русском сборнике письма 1476 г.:[3] Млтва. е̑гда прется вода. Ѡбонъ полъ ѥ̑рдана. стоıать трие а҃ггли мѣдна чрева имоуще. е̑динъ вѧжеть. і едѝнъ рѣшить. третіи б҃а молить. й сие гл҃еть. ст҃ъ. ст҃ъ. трист҃ыи г҃и. поусти прохо^д. фисонъ. геѿнъ. тигръ. е̑фратъ. поусти прохо^д. да потечеть вода коуды е̑сть текла. во йма ѡ҃ца й сн҃а и ст҃го дх҃а. нн҃ѣ и пр҃но й в вѣкы вѣко^м ами҃. Варьяцию этой молитвы представляет текст Служебника письма 1602—3 г. из собрания Хлудова № 115, л. 308: Молитва егда вода въ человѣке запрется. Обонъ полъ іердана стоят три аггелы. единъ вяжет и второй разрѣшает и третій Бога молит и вопіет. святъ, святъ, святъ господь саваофъ. исполнь небо и землю славы твоея. геонъ. фисонъ. тигръ. ефратъ. поустите проход рабоу божію имр. во имя отца и сына и святаго духа. нынѣ и присно и во вѣкы вѣком. аминь.[4] Такой же[5] текст читается в сербском сборнике XVI—XVII в. из собрания Шафарика, но с дополнением: ѿ запо́ра. пиши сіа слова на двѣю па[л]цȣ рȣчны^х. по два̀ сло́ва. и на но́жны^х тако̑же. рȣчная а҃. ф҃. ѿ. г҃. но^жнаа. м҃. т҃. н҃. к҃. || (л. 189) 'Еще ѿ запора. Растлъцѝ зрѣно дафи̑ново й піи. добро ѥ҃ ве^хми.

---

[1] Т. е. на плоть.

[2] Париж. Нац. Библ. № 142, ф. 158. Напечатано у А. И. Алмазова в его книге «Апокрифич. молитвы...» Одесса. 1901, стр. 97.

[3] Кирилло-Белоз. библ. № 6/1083, л. 83. Напеч. в «Пам. отреч. лит.» Тихонравова, т. II. М. 1863, стр. 357.

[4] Напечатано у Алмазова, ibid., стр. 122.

[5] По словам М. Н. Сперанского, Описание рукописей. М. 1894, стр. 85 (но заголовок там приведен другой: Млт҃ва ѿ запора водѣ).

3) Следующая редакция читается в сербской рукоп. XV в.:[1] Молитва отъ[а)] запора водѣ[б)]. Обонь[в)] поль іордана стоеть три аггели[г)] единь[д)] вежеть и[е)] единь[д)] рѣшить[ж)] и[е)] единь[д)] вопіеть. свять[з)]. свять[з)]. свять[з)]. господь саваоѳъ. испльнь[и)] небо и земля[і)] славы[к)] его. хинень. игись. мантись. вь име оца[л)] и сына[м)] и святаго[н)] духа. нынѣ[о)] и присно и вь вѣкы вѣком.

4) Наконец, отличная редакция читается в сербской рукописи XV в. из собр. Шафарика:[2] Кои чловѣкь не може воду пустити. Въ име оца и сына и светаго доуха и светыхь моученикь христовѣхь хлора, лавра и аполита. кокошъ воду піе, а вода не пуща. помощь т[ри]ю моученикь божіихь да се ѡтвори вода ѡт сего чловѣка (имерекь) вь име оца и сина и светаго доуха... || (стр. 110) б҃а. Егда не может чловекь водоу поустити. Пелинь сваривь с водѡмь и егда сварит се добрѣ примѣси вино и дай пити. Друго. Чпароге сваривь с водѡмь даждь пити. Друго. Степице растлци добрѣ и полагай ихь вь самы водопоусть. Друго. Дѣтелние сѣме растлькь с винѡмь напои.

Сравнивая наш текст с другими, мы находим сходство главным образом в первой молитве: 1) упоминание райских рек Геон, Фисон, Тигр и Ефрат; 2) три девицы или три ангела, стоящие на реке, и 3) одинаковые функции этих девиц или ангелов: 1-я вяжет, 2-я разрешает и 3-я бога молит. Но выражения и образы 1) «раковое чрево на блюде»; 2) «тріи деветы девиць... и тріи деветы юношь гнаше воду вь единь студенець»; 3) «9 девиць... и 9 юношь... ношаху 9 здель сребрених, пльне бѣху божіа порода»; 4) «поле медено и пламенито»; 5) «ела (= ель) посреде мора» и 6) «сѣдеху 3 девице на боговы студенцу» — являются оригинальными, если не считать параллельным для «ракового чрева» — «медное чрево» ангелов в молитве № 2 и для «здѣль сребрених» — δίσκος ἀργυρός греческой редакции. Но параллели им мы найдем в целом ряде народных заговоров. Так, выражение «тріи деветы», встречающееся в заговоре от сглаза («отъ тридевяти жилъ, отъ тридевяти суставов»)[3] или в заговоре от золотухи («тридзевяць столы дубовых, тридзевять панны»)[4] известно и в сказках: «за тридевять земель»; число 9 (в выражении «9 девиц», «9 юношь», «9 здѣль») встречаем, напр., в заговоре от золотухи: «мав жовнарь... 9 жинок... 9 сынивъ... 9 донекъ», причем весь заговор читается

Вар. а) ѡть. б) води. в) ѡнѡнь. г) аньгели. д) едань. е) и нет. ж) дрешить. з) свеіь. и) испльни. і) землю. к) слави. л) ѡтьца. м) сина. н) светаго. о) и нині.

[1] Моск. Синод. Библ. № 374, л. 201 об. Напеч. в опис. рукоп. т. III, стр. 175. Варианты взяты из Савинской (Далмация) рукоп. XVI в., напечат. в XIII кн. Starine, 1881 г., стр. 156. Тот же текст в русск. Требнике письма XVI в. Соф. библ. № 1090, л. 419 об. — 420, и в серб. рук. проф. Сречковића, бр. 3.

[2] В Чешск. Нар. Музее, № 14. Напечатано Ягичем в Starine, кн. 10, 1878, стр. 92.

[3] А. Ветухов. Заговоры..., стр. 187.

[4] Ibid., стр. 295.

9 раз,[1] или в заговоре от жабы (angina), где предлагается «взять 9 пучков соломы, обмотать всѣ вмѣстѣ 9 разъ ниткой, завязать 9 узлов...» и т. д.;[2] выражение «поле медено» с варьяциями «мѣдно гумно», «мѣденъ токъ», встречается в преданиях и славянских (у сербов, болгар, чехо-словаков, русских) и греческих («χάλκινον ἅλων»),[3] причем по сербским, напр., преданиям «мѣдено гувно» это — место, где собирались «вѣщици», т. е. ведьмы, чтобы сговариваться, «какво ћемо зло учинит коме»;[4] картине «ели посреди моря», под коей «сѣдѣху 3 материце» можно найти параллель в белорусском заговоре «...на рѣкѣ на иордани стоит древа купарес. Надъ тымъ древом...стаять сталы...за тыми за столами сидят три сястрицы... и прядуть...»,[5] или по другому заговору «На кіяни-мори стоит дубъ, подъ тымъ дубомъ... столъ... перадъ тымъ...сидить три царики...раковъ,... вовчій... и ясенъ мѣсяцъ».[6] Это напоминает в норвежской мифологии картину исполинского ясеня, осеняющего вселенную; у корней его — источник, над которым боги каждый день собираются для совещаний (ср. в наших сказках совещательные собрания чертей под деревом в болоте); рисующийся в этой же молитве не совсем подходящий к болезни процесс ее излечения, когда вода должна идти «из кости на плоть, из плоти на мясо, из мяса в кожу и из кожи на землю», встречаем в одном древнем немецком заговоре «gegen die Wurmsucht», где этот червь, выходя из человека, проходит подобный же путь «aus dem Mark in die Knochen (или in die Sehnen), aus den Knochen in das Fleisch, aus dem Fleische in die Haut» и т. д.[7] Обращаю, наконец, внимание на повторяющийся почти во всех редакциях наших молитв мотив о трех девицах или ангелах, сидящих или на реке вообще или на реке Иордане — этот мотив часто встречается в заговорах, напр., в белорусских заговорах читаем: «тякеть рѣчка крававая, на тэй рѣчки бѣлэй каминь, на ёмъ три дявицы; яны шіють красныю нитачкыю»,[8] или: «на св. рѣкѣ на Ерданѣ бѣлъ горючь камень..., а на томъ камнѣ три дѣвицы — прекрасные мастерицы...»;[9] тоже в немецких заговорах: «Es kamen drei Jungfrauen von der Sündflut her...», или: «Es gingen drei Jungfern'en hohlen Weg...»[10] Эти три девицы, конечно, восходят к трем классическим мойрам или паркам или исландско-норвежским норнам — богиням судьбы.

---

1 Ветухов, op. cit., стр. 353.

2 Ibid., стр. 349.

3 М. С. Дринов «Мѣдно (бакърно) гумно, мѣденъ токъ въ словѣнскитѣ и гръчки умотворения» в «Сборниче за юбилея на проф. М. С. Дринов». София, 1900, стр. 77—116.

4 Ibid., стр. 95.

5 А. Ветухов. Заговоры..., стр. 246.

6 Ср. в греческом тексте нашей молитвы: στήχει λίμνη... καὶ ἐπάνω τράπεζα... καὶ εἱστήκουσιν τρεῖς ἄγγελοι.

7 H. Paul. Grundr. d. German. Philol., II B. 1 abt. Strassburg, 1901—1909, p. 66.

8 А. Ветухов. Заговоры, стр. 245.

9 Ibid., стр. 247.

10 Ibid., стр. 245.

Они также сестры («сестреницы» по нашему тексту), также связываются с водными источниками (по северно-германскому поэтическому представлению, норны сидят на облаках, источниках вод, почему эти последние и называются «Urđarbrunnr» по имени старшей норны Urd)[1] и те же у них аттрибуты — прясть, вязать и разрывать... нити жизни.[2]

Таким образом мы видим, что все рассматриваемые нами молитвы представляют чистые народные заговоры, в которых церковный элемент носит явно характер уже позднейшего и чисто внешнего додатка: река названа Иорданом (ср. греческий текст, где нет названия, а просто «πέρα τοῦ ποταμοῦ»), внесены еще имена четырех райских рек, а девицы заменены ангелами.

Что эти заговоры попали в Требник — это понятно. Требники, Служебники, Молитвословы — это такие сборники молитв, правил и обрядов, в которых церковь стремится охватить все важнейшие моменты в обиходе человеческой жизни: рождение, брак, важнейшие виды труда и деятельности вообще, стихийные бедствия и злая воля человека, болезни, смерть, словом — почти каждый шаг жизни здесь предусматривается и ему дается определенное освещение и направление. Понятно, что заговоры и заклинания, вызванные к бытию нуждами жизни и пользовавшиеся в народе полным доверием, не могли не проникнуть в эти церковные руководства. А. И. Алмазов, один из исследователей «врачевальных» молитв Требников, говорит, что заговоры вносились в Требники «невежественными компиляторами».[3] Но «невежество» — термин слишком растяжимый, и поэтому он ничего здесь не объясняет. Кто были компиляторами таких сборников — об этом можно судить, между прочим, по оставшимся в них приписками их владельцев. Владельцами, напр., нашего Требника были: в XVII в. священник,[4] а в XVIII — два учителя,[5] как видим, слой культурный, и если говорить о его невежестве, то оно для своего времени было не больше, чем наше для нашего времени. Для пояснения своей мысли я воспользуюсь одним из своих личных воспоминаний. Еще мальчиком я знал одного священника, человека в своем кругу образованного, а главное — большого законника-церковника, который, казалось, на все смотрел с точки зрения церковной догматики и вообще строго охранял раз на всегда принятый им церковный status quo. И вот этот священник однажды, в беседе о силе заговоров, вместо ожидаемых от него возражений, рассказал, как его в молодые годы долгая мучительная зубная боль и недействительность всевозможных медицинских средств заставили, под влиянием еще уговоров родственницы, обратиться к знахарке, и как та действительно «заговорила» его зубы

[1] H. Paul. Grundr. d. German. Philol., III B., 1900, p. 281—284.

[2] И имя «норн» производят от *norhni — сплетение, связывание (Paul, ibid.).

[3] Врачевальные молитвы. Одесса, 1900 г.

[4] Л. 117.

[5] Лл. 94, 95, 99, 180 об., 191, 204 об., 205, 206 об., 232 об., 245 об. и л. 147.

(у рябины): с того момента, говорил он, вот уж более 20 лет мои зубы не болят. Обсуждать эти факты он отказался. Нужно иметь в виду, что в то время еще не были распространены теории гипнотизма. Я уверен, что не один подобный случай рассказали бы и из жизни других культурных слоев. И никто не стал бы здесь говорить о невежестве. Также, думается, обстояло дело и с компиляциями церковных сборников. Не невежество, а жизнь, нужды жизни вводили в церковные сборники эти якобы остатки «язычества». Дело тут не в язычестве как религии. Язычество — это более естественная религия, и оно ближе народу, чем религия церковная — плод отвлеченного, богословствующего мышления. Но с введением христианства оно перестает быть религией, а остается как традиционный уклад жизни; старую же религиозную окраску поддерживает на нем уже христианская «воинствующая» церковь в своей борьбе против него в качестве, так сказать, удобного полемического приема. Но, как выработанный жизнью, этот уклад и уступает только жизни. Так называемое «двоеверие», которое тянется от начала церковной истории и до наших дней, так сильно, так стойко не невежеством, а теми жизненными в нем элементами, с которыми оффициальная церковь не хотела считаться. Если мы видим, что церковь иногда снисходительно примирялась с этим укладом, а иногда, как в нашем случае, как будто и прямо брала его под свое покровительство, то это вовсе не было актом братской любви к слабому, еще непросвещенному члену, а результатом ея бессилия стереть его с лица земли, а отсюда — компромисс. Вот эту борьбу народной жизни с церковной идеологией и можно наблюдать в текучем, подвижном составе таких церковных сборников, как Требники, Служебники, Молитвословы, которые, при своем свободном обращении в житейском обиходе, естественно легко подвергались его воздействию. Но лишенная сама определенной идеологии, народная жизнь заключает в себе элементы будущего более естественного, более реального жизневоззрения и миропонимания, чем какое предлагали ей церковь и старая «наука». С последней произошло тоже, что и с церковной религией, к которой, впрочем, она вначале и стояла очень близко: в результате самомнения и высокомерия у неё также возникли антипедагогические, враждебные отношения к народной жизни; и народ, с своей стороны, платил ей тем же. Но и в его отрицательном отношении к науке лежала доля здоровых, верных наблюдений, выразившихся, напр., в пословице: «аптека убавит полвека». И только сравнительно с недавнего времени наука бросает понемногу свой нетерпимый догматический тон, ближе, доверчивее подходит к народной жизни, и во многом, что раньше она отрицала и осуждала как сплошное невежество, теперь находит факты живой жизни, делающие честь народному чутью, а также и его упорству.

С. Розанов.

Ленинград.
1926. XII. 6.

О церк.-слав. предлоге ꙁа с родительным падежом.

В таких выражениях, как ꙁа оутра (ꙁа ютра), ꙁа прьва, древне-церковно-славянское сочетание предлога ꙁа с родительным падежом без всякого сомнения праславянского происхождения. За то в значении ‘διά, propter’ тот же предлог встречается с родительным падежем только в некоторых текстах не из самых древних, и совсем ясно, что здесь род. пад. позднейшего происхождения. Стоит остановиться на происхождении этого род. пад., тем более, что в грамматиках ц.-славянского языка Лескина, Вондрака, Лося этот вопрос или совсем не решается, или решается неудовлетворительно; если Лось[1] сопоставляет ц.-сл. ꙁа страха прежде всего с выражением ꙁа ц҃ра борѭштє сѧ (Супр. 69,26), он совсем теряет из виду, что в первом случае страха — родит. пад., а ц҃ра во втором — родит.-винит. пад.

Для объяснения конструкции ꙁа с родит. пад. особенное значение имеет одно место в Супрасльской рукописи, а именно (Супр. 483,11—12: вьси оубо оученици раꙁбѣгошѧ сѧ ꙁа страха июдеиска ‘διὰ τὸν φόβον τῶν ἰουδαίων’. Те же самые слова встречаются несколько раз в евангелии; здесь славянский перевод употребляет два выражения: ꙁа страхъ июдеискъ Ио. XIX, 38, — страха ради июдеиска Ио. VII, 13. Совсем ясно, по моему, что выражение ꙁа страха возникло контаминацией двух конструкций: ꙁа cum acc. и ради c. gen. Обращу еще внимание на другого рода контаминацию тех же конструкций: ꙁа сего раді Клоц. 88—89; примеры того же типа и в других памятниках; встречается тоже ꙁа — дѣлꙗ (пример из Златоструя у Срезневского I, 793). Ср. тоже Супр. 90, 23—25: ꙁа ꙁмиꙗ (διὰ τὸν ὄφιν) облѣкохомъ сѧ, х҃а дѣльма (διὰ τὸν Χριστόν) съвлѣцѣмъ сѧ, где предлоги ꙁа и дѣльма (синоним слова ради) чередуются, вероятно, для избежания однообразия; здесь нельзя сказать определенно, что такое ꙁмиꙗ, родит. ли падеж или родит.-винит.

---

[1] Gramatyka starosłowiańska, 193.

В древне-болгарских рукописях ȥа с родит. пад. — явление весьма редкое, встречающееся только в некоторых номерах Супрасльской рукописи, а именно в номерах 6, 42, 43. Кроме приведенных уже примеров ср. еще: ȥа чадъ молашти... ȥа въȥвраштенија молашти 95, 22—24, промысл̑ити ȥа своѥго сътворенија 484, 2, ȥа велика ȥапрѣштенија 487, 12 (ἀντὶ τοῦ μεγάλου ἐπιτιμίου), ȥа чловѣчьскаѧго съпасенија веселатъ са 490, 19. В номере 2 встречается: ȥа въı и ȥа вьсего рода крьстиіаньска 17, 1—2, что могло бы быть и родит.-винит., ср. родит.-винит. джба, д͠ха, храма в той-же легенде (18, 16—17; 22, 4; 22, 12).

Те тексты из Супрасльской рукописи, в которых встречается ȥа с. gen., отличаются (вместе с номером 41) еще одной общей чертою, свидетельствующей о довольно подвинутой степени развития их языка: из всех текстов, находящихся в др.-ц.-слав. рукописях, только эти четыре номера Супр. рукописи употребляют 3 лицо перфекта без формы ѥстъ. Что касается род. падежа после ȥа, весьма возможно, что к контаминации двух конструкций более старинных присоединилась еще общая путаница в различении родит. и винит. падежей, вызванная во 1) распространением родит.-винит. падежа на предметы неодушевленные, во 2) чередованием этих двух падежей в функции объекта, в 3) родит. падежем в предложениях отрицательных, где рядом с родит. пад. употреблялся иногда тоже винительный.

Среди примеров предлога ȥа с родит. пад., приведенных Миклошичем,[1] из позднейших рукописей, находится несколько мест из весьма старинного текста, а именно из Апостола. Один из этих примеров попал сюда по ошибке I Кор. 10, 28: ȥа оного повѣдавъшаго и свѣстъ (Слепч. Ап.; в Охридской и некоторых других рукописях без и: 'δὶ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν'); здесь имеем дело с родит.-винит.[2] Остаются еще два места: I Кор. 7, 5 и I Тим. 2, 15. Первое место Миклошич цитирует по Шишатовск. Апостолу, где в самом деле читаем: ȥа неоудръжанија вашего; но из материала, собранного Воскресенским,[3] сразу видно, что в первоначальном переводе был здесь винит. пад. (ȥа неоудьржаниѥ ваше Толк. Ап. 1220 г. и другие, ȥа питѣниѥ ваше Слепч. Ап. и др.). Второе место находится в первом послании к Тимофею, не изданном Воскресенским, так что здесь не распоряжаемся таким богатым материалом; в Охридской рукописи нет этого стиха, Слепч. Ап. употребляет родит. пад. точно так же как Шишатовск.: ȥа чадоприжитиѣ 'διὰ τῆς τεκνογονίας'.

---

1 Vgl. Syntax, 528 и сл.

2 Точно так же Супр. 371, 8 (по изданию Миклошича). Миклошич, loc. cit., 528, напрасно приводит это место.

3 Древне-слав. Апостол, вып. 2, стр. 64.

Надо предположить, что и здесь в первоначальном тексте стоял винит. падеж и что разночтение Христинопольского Апостола: ꙁа чадоприжитиѥ сохранило конструкцию самого перевода.

В других славянских языках употребление предлога ꙁа с родит. пад. для обозначения причины весьма редко. Миклошич приводит один словенский пример, но Плетершник знает эту конструкцию только для обозначения времени,[1] а что касается сербохорватских примеров,[2] ясно, что эти редкие, отчасти диалектические выражения также мало доказывают праславянское происхождение сочетания предлога ꙁа, обозначающего причину, с родит. падежем, как приведенные выше места из Супрасльской рукописи.

Н. Ван-Вейк.

Лейден.
1926. XI. 30.

[1] Slovensko-nemški slovar, II, 815.

[2] См. у Маретича Gramatika i stilistika, 546 и в словаре Ивековича и Броза на стр. 758 второго тома.

Из синтактических наблюдений над языком Лаврентьевского списка летописи.

1. Раздѣлишаса на двоє· *половину* ихъ иде к погребу· а половина их иде к мосту, 57 об.; того же лѣ҃ Кыѥвъ погорѣ *половину* Подолья, 104. В приведенных примерах «половину» рядом с «половина» стоит на месте ожидаемого именительного подлежащего. Однако вопрос «сколько»? переводит подлежащее с формальной стороны в область пояснительных слов (винит. п.), и предложение оказывается бессубъектным, с безличным глаголом, особенно, если он бывает в прошедшем времени в среднем роде. Подобные обороты известны и современному русскому языку: было сотню овец; в белорусском: палавину сад цвице, палавину вяне; трацину шлюбоў бяруць, што верна кахаюцца (Полымя 1924 № 3, 108).

2. Ярополкъ выторгну изъ себе саблю и возпи великы҃ гл҃мь· ѡхъ тот мѧ *враже* оулови 69. То же в Радз. сп.: ѡхъ тот мѧ *враже* погоуби 120. В Радз. списке встречаем и другой подобный пример: то҃ вы *брате* не каза҃ 180, при Лавр.: рѣ҃ имъ Володимеръ· того въ братъ мои не приказа҃ 105 об. Здесь в роли подлежащего употреблена звательная форма вместо именительного падежа. Из старых памятников подобные случаи нередки в Сборнике Кирши Данилова, напр., согрешил *Адаме* во светлом раю 170, коли тебе *гди҃* дочеря дастъ 106 и др. Из живых языков звательная форма в роли подлежащего употребляется, как известно, в народных песнях белорусских, малорусских и сербских.

3. Иде к брату своѥму Ст҃ополку *Новугороду* 103 об., в Радз. и Акад. сп. к Новугороду; послашаса *Переяславлю* къ Изаславу 104, в РА к Переяславлю; бѣжа *Корачеву* 104 об., РА к Корачеву; посла Ст҃ослава *Чернигову* 105, РА к Чернигову; по Ростислава посла *Смолинску* 106, РА ко Смоленску; таковы же: приде *Чернигову*, зова к собѣ *Кыеву*, поиди *Переяславлю* 106, РА к Переяславлю, и т. п. Во всех подобных случаях после глаголов движения для означения пункта, к которому движутся, обыкновенно употребляется в Лаврентьевском сп. летописи дательный падеж без предлога, при-

бавление предлога в этом списке встречается редко (напр., приде к Перѥславлю, поидѣта по мнѣ к Чернигову 105 об.). В списках Радз. и Акад. во всех таких случаях бывает предлог. Ясно, что в древнейшую пору русского языка такое употребление дательного падежа было живым явлением, как теперь в сербском языке; предлог постепенно начал прибавляться в таких случаях для большей точности и в XV в. уже был обычным явлением.

4. Несколько напоминает отмеченное явление употребление винительного падежа без предлога для означения направления действия на вопрос «куда?», напр., Оулѣбъ же внида *Черниговъ* 105, РА въ Черниговъ. В современном русском языке такие случаи, как «Идет он княженецкой двор» (Рыбн. I, 135), не могут считаться нормальным явлением; отражение указанного винительного представляют некоторые наречные выражения: иди *вон!* (ср. Супр. р. гради вънъ), ступай *прочь!* (др.-р. иди проче).

5. Сюда примыкает и старинный винительный цели, выражавшийся особой глагольной формой достигательного (supinum). Случаев такого употребления в Лавр. летописи немало, напр., Новгородци . . . поѧша Ростислава *кнѧжитъ* оу себе 101 об.; посла к нимъ Стослава *кнѧжитъ* 102 об.; поити же хочет *битъсѧ* за своѥго кнѧзѧ 105 об., РА битисѧ; поидошѧ *оубитъ* Игорѧ ib., и т. п. Рядом с супином встречается и неопределенное, которое вскоре и вытеснило его окончательно.

6. Формы местного п. без предлога, которыми особенно изобилуют памятники русского извода, известны и Лавр. л. для обозначения места и времени, напр. сна своѥго Ӕрославъ посади *Туровѣ* 104 об., РА в Туровѣ; *том же дни* створи мир 104, РА в том; Володимеру сущю в засадѣ *Перѥславли* 107, РА в Переяславли.

7. Того *вы* братъ мои не приказалъ 105 об., то же в РА; «вы» не представляет из себя формы винительного в зависимости от «приказалъ», а форму дательного, что в др.-русских памятниках иногда бывает: ср. Слово о п. Игореве не лѣпо ли *ны* бяшетъ братїе (другие примеры в «Материалах» И. И. Срезневского, I, 438); брате лучче *ны* ѥсть оумрети предъ златыми вороты, Акад. лет. 241.

8. Как будто не хватает предлога при дополнении и в следующем примере: сказа ѥму· ѡже *ѥго* ѿступилисѧ кнѧзи черниговьстии 105, РА оступили. Конечно, можно рассматривать «ѥго» и как родительный аблятивный.

9. Андрѣи . . . *въ третии межю десѧ* похоронен оу стаго Михаила 103. То же место в Радз. сп. читается: межи десѧма, в Акад. ·в҃· десѧтьма. Таким образом рассматриваемые место Лавр. летописи должно быть восстановлено в следующем виде: въ третии межю десѧтьма; двѣма (·в҃·) не является необходимым, так как десѧтьма уже само обозначает «двумя десятками», по формуле:

10+3+10=23. Этот редкий способ выражения чисел, состоящих из двух десятков с единицами мне известен еще из следующих памятников — в Бреславском списке Храброва сказания о письменахъ: ѿ сихъ всихъ сѫть четыры междесѧтма подобна гречскымъ писменомъ (=24); Добровский отмечает еще: въ седмое между десѧтма летами (=27); в Сборнике Г. Публ. Библ. 1348 г., л. 125: пѧтыи между десѧтма днь (=25). Из живых славянских языков такой способ выражения известен только чешскому языку; в старину он, повидимому, имел широкое распространение.

10. *Кртмъ* кназе в бране *пособить* 58 (во всех списках ЛРА), но в Комм. Акад. крестъ. В тех списках летописи, где употреблен творительный падеж, имеем дело с предложением бессубъектным: главный помощник на войне поставлен в творительном орудия (instrumenti).

11. В древнерусском языке, как и в старославянском при сказуемом, выраженном именем, в настоящем времени обыкновенно бывает связка ѥсть — суть. Лаврентьевская летопись, как нередко и другие памятники, представляет и случаи отсутствия вспомогательного глагола и притом не только в предложениях, имеющих характер пословиц, напр.: оувидѣ ꙗко ис Корсунѧ близь оустьѥ Днѣпрьскоѥ 3 об., вса земла наша велика и ѡбильна 7, на горѣ гдѣже нъıне оувозъ Боричевъ 4 (в Троицк. сп. было есть) и под. Очевидно, пропуск связки уже был живым явлением, по крайней мере в XIV веке. Пропуск ѥсть — суть начинался и в прошедшем сложном.

12. Несколько редких случаев употребления причастий: ту оумъıкаху женъı собѣ· с нею же кто съвѣщашеса 5 (Троицк. *свещавсѧ*); ѥлико *могуще* по силѣ кормите 80; ѥго же *оумѣючи* того не забъıваите доброго· а ѥгоже *не оумѣючи* а тому сѧ оучите 80 об. Приведенные примеры находят то или другое соответствие и в других памятниках, изредка употребляющих причастия, особенно в придаточных предложениях, вместо verbum finitum. Первоначально при всех таких причастиях можно предположить соответствующие формы глаголов ѥсмь — бъıти. Такие случаи известны и живой речи — великорусской (ищо не отошедши служба, а уж цяй пьете — Вытегор. у.) и белорусской (сам паехаў к атцу. Маць памёршы, тольки три дни ни заспеў — Городок. у.).

13. В сложных предложениях части их нередко соединяются союзами, сходными по происхождению, но обозначающими различные отношения: а) *ато*: се прислалъ бра̑ мои ·в̑· мужа къıꙗнина· ато молвѧть бра̑ѣ своѥи 105 об. — обозначение цели; рекоста се оуже Игорѧ ѥсте оубили· ато похорони̑ тѣло ѥго 106 — следствие; б) *ати:* да има Берестии· река Новагорода не березѣта· ати сѣдѧть о своѥи силѣ 102 об. — финальный оттенок «пусть сидят»; ре̑· иди ко Ѡлговиче̑... ати ти дадѧть волость 106 об. — такой же отте-

нок; в) *атъ*: поидѣте со мною· атъ ми сѧ будѣ добро ѿ силы мирити 107— тоже примыкает к предыдущим примерам.

14. Очень показателен в разных отношениях случай: «на своеи *воѡчинѣ*» 102 при «на своеи ѡчинѣ» ib. (ниже). Здесь интересно и удвоение гласного *о* и приставочное *в*. В памятнике, писаном в Суздальской области, в -оѡ- вряд ли придется видеть указание на долготу. Приставка *в*, бывающая в северновеликорусских говорах перед начальным ударяемым *о*, на котором первоначально было восходящее ударение, объяснит нам этот случай.[1]

Е. Карский.

Ленинград.
1926. XII. 8.

---

[1] Ср. М. Г. Долобко. Der sekundäre v-Vorschlag im Russischen. Zeitschr. f. sl. Ph. III.

Погодин и Островский.

А. И. Соболевский в своем разборе «Истории русской этнографии» А. Н. Пыпина,[1] кажется, первый указал на всеми к тому времени забытые повести М. П. Погодина и, остановившись на их художественных достоинствах, справедливо допускал, что ими была проложена дорога крупнейшим мастерам русской повести: Пушкину с его «Повестями Белкина», Гоголю и Квитке. В этой заметке я хотел бы подробнее остановиться на повести «Черная Немочь».[2] Здесь изображена судьба молодого московского купчика Ганюшки, кончающего самоубийством перед самой женитьбой из-за отказа отца позволить ему учиться, а не заниматься постылой для него торговлей. Этот юноша — прямая родня исковерканного отцовским самодурством Капитона Титыча Брускова («В чужом пиру похмелье»). Их обоих сближает стремление выйти из узкого круга торговых интересов и найти себе дело «по душе». Для нее Погодин воспользовался тем, что слышал от проф. Перевощикова,[3] но только прекрасное знакомство с этой средой дало ему возможность дать такую яркую, до мелочей выдержанную бытовую картину нравов, что понятен восторг Пушкина после того, как Погодин прочел ему ее.[4] Уже самая первая сцена прихода богатой купчихи к попадье, в то время, как она занята хозяйскими хлопотами на погребе, и беседа со священником, по складу своего характера напоминающим о. Туберозова из Лесковских «Соборян», и вся дальнейшая обрядность смотрин и сговора полны редкой в тогдашней словесности правды. Купец Семен Авдеевич, мечтающий женитьбой сына расширить свои торговые обороты, его жена, безответная сердечная мать — это образы, создать которые мог только тот, кто хорошо знал таких людей и зорко присматривался к их душевному складу. Выступающая в повести сваха Прасковья Савишна (стр. 21—22) по выдержанности своего языка не многим уступает свахам Гоголя и Островского, а та сцена, где она вместе с родителями жениха «по статьям»

---

[1] Журн. Мин. Нар. Просв. 1891, № 2, стр. 422—430.

[2] В Московском издании 1832 г., том III, стр. 1—99, типография С. Селивановского.

[3] Н. Барсуков. Жизнь и труды Погодина, II, стр. 287.

[4] Там же, стр. 257.

разбирает роспись приданого, безо всяких переделок целиком годилась бы в любую комедию последнего.

Это не только позволяет в Погодине видеть одного из ближайших предшественников Островского по изображению купеческой среды: во всяком случае эта повесть куда ближе к его пьесам, чем те произведения старинной литературы, которые с ними сближал А. А. Фомин.[1] Здесь надо видеть почву для сближения молодого драматурга с издателем «Москвитянина». Н. П. Гиляров-Платонов засвидетельствовал, как радовался Погодин всякому новому таланту.[2] Как же должен он был обрадоваться, когда в Островском встретил художника, отдавшего свою кисть изображению той среды, которую сам Погодин так близко знал и так ярко изобразил в своей собственной повести. С 1850 г. по 1855 г. пять его пьес печатает Погодин на страницах своего «Москвитянина» и превлекает его к работе внутри редакции журнала. Если справедливо наблюдение Гилярова-Платонова насчет неизменного стремления Погодина сблизиться со всяким человеком, «которого находит замечательным», то вполне допустимо, что за эти годы и входившего в славу драматурга Погодин старался включить в круг своего влияния. Нельзя ли видеть прямых следов этого в том, что, когда впоследствии Островский обратился к сочинению исторических хроник, в них обнаружилось глубочайшее изучение и подлинных древних источников и Устрялова и Карамзина,[3] особенно любезного сердцу Погодина? Где, как не в «древлехранилище» М. П. Погодина на Девичьем поле, мог Островский получить вкус к этим материалам и войти в круг их изучения?

Б. Варнеке.

Одесса.
1926. XII. 4.

---

[1] Старое в новом. Русск. Мысль, 1893, № 2.
[2] Ист. Вестн. 1892, № 4, стр. 37.
[3] Н. П. Кашин. Журн. Мин. Нар. Просв. 1917, № 6, 137—197.

Два старейших печатных сборника народных песен.

(К пересмотру сборников Трутовского и Прача).

XVIII век положил начало не только собиранию народных песен в нотной записи, но и их печатных изданий. Из двух подобных сборников — Василия Трутовского и Ивана Прача — известностью, и до сих пор, пользуется второй, выдержавший ряд изданий (1790, 1806, 1815 и 1896), тогда как «Собрание простых русских песен с нотами» придворного гуслиста В. Ф. Трутовского (I часть 1776, «вторым тиснением» — 1782, третьим — 1796; II часть — 1778, III ч. — 1779, IV ч. — 1795) известна очень немногим исследователям и только по имени их издателя, в свое время даже не обозначенного на самом издании.[1] Между тем, этот сборник должен быть признан первым, по времени издания, русским народным песенником, поскольку, конечно, его песни были народными.[2]

Если в виду исключительной редкости сборника Трутовского — полного экземпляра всех его 4-х частей не имеется, повидимому, ни в одном из крупнейших наших книгохранилищ — «Простыми песнями» камер-гуслиста Трутовского никто до сих пор, кроме П. К. Симони, не интересовался, то сборник Прача, помимо своих

---

1 Только «Предуведомление» *третьего* издания I-й части «Собрания» (1796) подписано инициалами *В. Т.*, а в IV части (1795) последняя песня «На бережку у ставка» подписана полностью: *В. Трутовский.* — В первые после более чем 100-летнего промежутка времени напомнил о В. Ф. Трутовском и его сборнике П. К. Симони в своем докладе, прочитанном на Археологическом съезде в Харькове, затем напечатанном (Москва, 1905). В своей ценной работе П. К. Симони дал, между прочим, 18 снимков нот и текста первых 3-х выпусков «Собрания» Трутовского (4-й был ему тогда еще неизвестен). Современник последнего, М. Д. Чулков, издатель известного «Собрания разных песен» (1770—73), может, до некоторой степени, считаться предшественником Трутовского. В изданных им «Русских сказках» (СПб. 1780—83, стр. 138), он сообщает: «К крайнему моему сожалению, в пожарный случай, погибло у меня *собрание древних богатырских песенъ*», между коими и о . . . подвиге Добрыни Никитича. *Голос оныя* и отрывки слов остались еще в моей памяти, кои и прилагаю здесь». Далее следуют 2 строки «голоса» (9 тактов напева) и начало текста.

2 Этот вопрос затронут мною в статье «Сборники российских песен XVIII в.», см. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. Акад. Наук, т. XXXI, 1926, стр. 286.

полных перепечаток, продолжал интересовать любителей народной русской песни и работавших над ней. «Записанные» Прачем песни перепечатывались с новой гармонизацией хотя-бы Римским-Корсаковым, а редактор последней полной перепечатки (в издании Суворина 1896), А. Пальчиков, даже решительно назвал этот сборник так — «Русские народные песни *собранные Н. А. Львовым*. Напевы записал и гармонизовал Иван Прач». Таким образом покойный Пальчиков даже отнял у Прача право собственности, хотя последний, уже после смерти Н. А. Львова (ум. в 1803 г.) дополнил свой сборник новыми 50-ю песнями, т. е. увеличил свое собрание на целую треть. Поводом к такому решительному действию последнего редактора «Сборника Прача» было, конечно, следующее заявление автора небезызвестной брошюры 1834 г. «О пении в России» тогдашнего директора Придворной Капеллы, Ф. П. Львова (отца автора гимна, наследовавшего его директорство в Капелле): «в 1790 г., член нашей академии художеств, покойный тайный советник Ник. Ал. Львов, при помощи охотников и родственников, в его доме безпрестанно певших, в числе которых имел честь быть и я (т. е. Ф. П. Львов), *сделал новое собрание песен*, которые с наших голосов положил на ноты г. Прач». Следует заметить, что в том же 1790 году и был издан «Сборник Прача», заключавший 100 песен, и только 3-е его издание, уже через 12 лет после смерти Н. А. Львова, было дополнено 50-ю новыми песнями, о способе записи которых Ф. П. Львов в брошюре 1834 г. ничего не говорит.

В настоящее время, имея пред собою проверенную копию всех 4-х выпусков «Простых песен» Трутовского, полученную при обязательном содействии П. К. Симони, следует внести серьезную поправку и в показание Ф. П. Львова 1834 г., и в «исправление» титула «Сборника Прача», допущенное А. Пальчиковым: в «львовском» издании последнего (1790 г.) более половины песен оказались так или иначе заимствованы из сборника Трутовского. По крайней мере 20 песен оттуда взяты почти без изменения их напевов. Таким образом, нельзя говорить о собрании и записи весьма значительной части песен «Сборника Прача» — ни Львовым, ни Прачем. Можно лишь говорить о выборе и редакции (в смысле исправления или вариантов напева и новой гармонизации)[1] этой части.

Песня (напев) *Ходила младешенька по борочку* (Трутовский, вып. II № 2) взята Прачем (№ 44)[2] нота в ноту; только у последнего темп обозначен Allegro, а у Трутовского — Allegro moderato. Точно также и целый ряд других песен Трутовского были взяты Прачем или вовсе без изменения или с очень незначительным:

---

[1] Т. е. тоже, что проделал в 1870-х гг. Римский-Корсаков с некоторыми мотивами сборников того же Прача и Кирши Данилова.

[2] №№ песен сборника Прача указаны по изданию Суворина 1896 г., как наиболее доступному в настоящее время.

иногда просто добавлены 1 или 2 ноты. Таковы именно следующие песни по порядку I части «Собрания» Трутовского:

№ 1. *У дороднова доброва молодца* (Прач № 74, — изменена лишь одна нота).

№ 2. *Во лесочке комарочков много* (Прач № 42 — слегка варьированы 5-й и 7-й такты).

№ 4. *Ах, деревня от деревни* (Прач № 62 — изменена лишь 1 нота в 3-м такте).

№ 6. *Я пойду, пойду в зеленой сад* (Прач № 15 — изменена 1 нота в 3-м такте и слегка варьирован 4-й).

№ 7. *Ах, ты душечка, красна девица* (Прач № 102 — пропущена 1 нота в 4-м такте и слегка варьировано заключение).

№ 9. *Осердился мой милой друг* (Прач № 13 — нота в ноту без изменения).

№ 11. *Земляничка ягода* (Прач № 50 — без изменения).

№ 16. *Ах, во саду, саду* (Прач № 32 — без изменения).

№ 18. *Еще вниз-то было по матушке Камышенке реке* (Прач № 90 — без изменения).

№ 20. *Из под камышка* (Прач № 11 — почти без изменения, в 6 и 9 тактах изменена одна и та же нота).

Итого — из 20 песен I части «Собрания» Трутовского взяты Прачем 10 — почти без изменения, с сохранением тональностей первоисточника. С более или менее незначительными изменениями в напеве взяты также песни: № 3 *Не пой, не пой мой мой младенькой соловейко* (Прач № 113), № 8 *Вы раздайтесь, раступитесь добрые люди* (Прач № 29), № 10 *Как на дубчике* (Прач № 107), № 12 *Ах, ты поле мое* (Прач № 104), № 14 *По горам, по горам* (Прач № 92), № 15 *Во селе, селе Покровском* (Прач № 18), № 17 *Уж как по мосту мосточку* (Прач № 17, переложено в другую тональность) и № 19 *Ах, по морю* (Прач № 100 — напев изменен ритмически).

Таким образом, неиспользованными остались только 2 песни I части сборника Трутовского. Из II части Прачем использованы почти без изменения №№ 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 19, с изменениями — 1, 3 и 13, все его 11 номеров.

Из III части использованы №№ 1, 6, 7, 13 и 14 (без изменения) — 5 номеров, и из IV-й — уже для издания 1815 г. (дополненного 50-ю песнями) №№ 11, 12, 13 и 22 (без изменения) — 4 номеров.

Благодаря пересмотру и сравнению этих двух старейших русских печатных нотных песенников, теперь устанавливается несомненная преемственность передачи

значительного ряда народных песен из «Собрания» В. Ф. Трутовского в сборник Ив. Прача. Их не нужно было, следовательно, собирать, слушать и записывать вновь «в доме Н. А. Львова», где они, может быть, и распевались по печатным тетрадкам Трутовского. Их достаточно было переписать, отчасти исправить или слегка варьировать, ибо там ведь собирались люди, знавшие и любившие народную песню, и придать выбранным песням Трутовского более грамотный *с тогдашней точки зрения* гармонический наряд: малоискусный и музыкально-малограмотный В. Трутовский подлаживал к своим песням аккомпанемент своего природного инструмента — гуслей (столового типа, т. е. на ножках, так наз. «поповских гуслей»), а музыкально-образованный чех Иван Прач укладывал их в банальный европейский гармонический наряд, для сопровождения песен — клавикордом.

На очереди стоит дальнейший и более подробный пересмотр обоих сборников, которому, конечно, должно предшествовать переиздание «Собрания» В. Трутовского, одинаково интересного и для исследователей текста песен, и для русских музыкантов.

Ник. Финдейзен.

Ленинград.
1926. XII. 9.

Праслав. rǫ̑kǫ : лит. rañką.

1. В праславянском языке Acc. Sg. основ на ā и (i)i̯ē имел акцентологические особенности, свойственные формам, где слог окончания был некогда geschleift lang. Эта форма *не испытала* действия закона Фортунатова — de-Saussure'а, по которому слог окончания gestossen lang перетягивал на себя ударение с предшествующего слога geschleift lang или kurz. Поэтому не rǫkǫ̀, zeml'ǫ̀, а rǫ̑kǫ, zȅml ǫ (первоначальное ударение — на слоге корня; слог корня — geschleift lang или kurz). Далее, эта форма *испытала* действие закона Фортунатова-Meillet, по которому слог окончания geschleift lang или kurz передавал с себя ударение на предшествующий слог gestossen lang, причем этот предшествующий слог из gestossen lang становился geschleift lang. Поэтому gȏlvǫ (первоначальное ударение — на слоге окончания; слог корня — gestossen lang).

2. В литовском языке Acc. Sg. основ на ā и (i)i̯ē имеет несколько темные особенности. С одной стороны, эта форма имеет одну особенность, свойственную формам, где слог окончания был gestossen lang. Эта форма *испытала* действие закона Leskien'а, по которому последний в слове слог gestossen lang сократился. Поэтому -ą, -ę. С другой стороны, эта форма обнаруживает явления ударения, которые не соответствуют тому, чего мы ожидаем от формы, где слог окончания был gestossen lang. Эта форма совершенно не знает ударения на окончании. Мы ожидали бы *mergą̀, *pelę̀ (первоначальное ударение — на слоге окончания; слог корня — geschleift lang или kurz), *ranką̀, *žemę̀ (первоначальное ударение — на слоге корня; слог корня — geschleift lang или kurz), gálvą, gė́smę (первоначальное ударение — на слоге окончания; слог корня — gestossen lang), lė́pą, kárvę (первоначальное ударение — на слоге корня; слог корня — gestossen lang). А имеем мы meřgą, pẽlę, rañką, žẽmę, gálvą, gė́smę, lė́pą, kárvę.

3. Думаю, что явления ударения в литовском Acc. Sg. основ на ā и (i)i̯ē находят простое объяснение в некоторых аналогических тенденциях, свойственных литовскому склонению.

Взглянем на образцы литовского склонения основ на o.

Sg. N.	tākas	rātas	dárbas	tìltas
V.	takè	ratè	dárbe	tìlte
G.	tāko	rāto	dárbo	tìlto
D.	tākui	rātui	dárbui	tìltui
A.	tāką	rātą	dárbą	tìltą
I.	takù	ratù	dárbu	tìltu
L.	takè	ratè	dárbe	tìlte
Pl. NV.	takaĩ	rātai	darbaĩ	tìltai
G.	takũ	rātũ	darbũ	tìltũ
D.	takáms	rātams	darbáms	tìltams
A.	takùs	ratùs	dárbus	tìltus
I.	takaĩs	rātais	darbaĩs	tìltais
L.	takůsè	rātůse	darbůsè	tìltůse
Du. NVA.	takù	ratù	dárbu	tìltu
D.	takám	rātam	darbám	tìltam
I.	takam̃	rātam	darbam̃	tìltam
(Перв. уд.)	(на оконч.)	(на корне)	(на оконч.)	(на корне)
(Сл. корня)	(geschl. l. или k.)	(geschl. l. или k.)	(gest. l.)	(gest. l.)

Нетрудно видеть, что, хотя в Pl. и Du. перед нами четыре акцентологических типа склонения основ на o, но в Sg. их всего два, так как в Sg. тип tākas совершенно совпадает с типом rātas, а тип dárbas — с типом tìltas. Дело очевидным образом в том, что в Sg. два акцентологических типа склонения основ на o вытеснили два других, именно, тип rātas вытеснил тип *takàs, а тип tìltas — тип *darbàs.

Результатом того, что в Sg. два акцентологических типа основ на o вытеснили два других, оказалось, что в Sg. ряд форм основ на o совершенно не знает ударения на слоге окончания. Это формы: Nom. Sg., Gen. Sg., Dat. Sg. и Acc. Sg.

По аналогии с основами на o незнакомство с ударением на слоге окончания установилось в сходно оканчивающихся формах и у других основ. Литовский язык не знает *ни одной* формы Dat. Sg. с ударением на слоге окончания и *ни одной* формы Acc. Sg. с ударением на слоге окончания.

Acc. Sg. основ на ā усвоил незнакомство с ударением на окончании тем легче, что окончание этой формы (-ą) совпадало с окончанием Acc. Sg. основ на o (-ą).

4. Слог окончания Acc. Sg. основ на ā и (i)jē в праславянском языке был некогда geschleift lang. Тот же слог в литовском языке был некогда gestossen lang. Возникает вопрос: как объяснить древнее различие в характере долготы слога окончания Acc. Sg. основ на ā и (i)jē в праславянском и литовском языке? Заметим,

что в греческом языке слог окончания Acc. Sg. основ на ā был некогда gestossen lang (θεᾶ́ν).

5. Думаю, что возникший сейчас вопрос находит сравнительно простой ответ, если мы подумаем о происхождении основ на (i)i̯ē и о первоначальной акцентологии Acc. Sg. основ на ā, с одной стороны, и основ на (i)i̯ē, с другой.

В праиндоевропейском языке основ на (i)i̯ē не было. Эти основы появились лишь в части индоевропейских языков как результат переработки несколько иначе построенных праиндоевропейских основ.

В праиндоевропейском языке были основы на ei:

Sg.	N.	u̯l̥k^{u}ē(i̯)	ср. pətē(r),	poi̯mē(n)
	G.	u̯l̥k^u(i)i̯es	ср. pət(r̥)res,	poi̯m(n̥)nes
	D.	u̯l̥k^u(i)i̯ai̯	ср. pət(r̥)rai̯,	poi̯m(n̥)nai̯
	A.	(u̯l̥k^{u}ei̯m̥ ~) u̯l̥k^{u}ēm	ср. pəterm̥,	poi̯menm̥

и т. д.

В части индоевропейских языков произошло обобщение того вида основы, который оканчивался на (i)i̯. Возникли: Sg. N. u̯l̥k^{u}i͜is = u̯l̥k^{u}īs (i͜i = ī — в положении перед согласным; s — в силу неизбежного в данной обстановке действия аналогии со стороны других основ), G. u̯l̥k^u(i)i̯es, D. u̯l̥k^u(i)i̯ai, A. u̯l̥k^{u}i͜im = u̯l̥k^{u}īm (i͜i = ī — в положении перед согласным) и т. д.

В другой части индоевропейских языков возникла контаминация того вида основы, который оканчивался на (i)i̯, и того вида основы, который оканчивался на ē(i̯), причем это ē(i̯) выступило в варианте ē. Создались основы на (i)i̯ē. Формы этих основ были построены по аналогии форм основ на ā. Возникли: Sg. N. u̯l̥k^u(i)i̯ē, G. u̯l̥k^u(i)i̯ēs, G. u̯l̥k^u(i)i̯ēi̯, A. u̯l̥k^u(i)i̯ēm и т. д.

Какова была первоначальная акцентология Acc. Sg. основ на ā и основ на (i)i̯ē? Слог окончания Acc. Sg. основ на ā, т. е. ām, был первоначально gestossen lang. За это показания греческого языка и теоретические соображения. Но слог окончания Acc. Sg. основ на (i)i̯ē, т. е. (i)i̯ēm, первоначально отнюдь не был gestossen lang. Это (i)i̯ēm в u̯l̥k^u(i)i̯ēm продолжало тот характер долготы, который раньше существовал в ēm в u̯l̥k^{u}ēm, — а ēm в u̯l̥k^{u}ēm (из ē͜im) было geschleift lang, как ēm в rēm, di̯ēm (из ē͜im, ē͜um) или ōm в g^{u}ōm (из ō͜um). О том, почему были geschleift lang ēm и ōm в rēm, di̯ēm, g^{u}ōm, см. в Приложении II к моей работе «Северно-кашубская система ударения».

Поскольку создавался параллелизм в склонении основ на ā и основ на (i)i̯ē, неизбежно было, чтобы *либо* и в Acc. Sg. основ на ā и в Acc. Sg. основ на (i)i̯ē обобщилась gestossene Länge, *либо* и в Acc. Sg. основ на ā и в Acc. Sg. основ на (i)i̯ē обобщилась geschleifte Länge.

Литовский язык обобщил gestossene Länge, праславянский язык — geschleifte Länge.

Само собой разумеется, что в тех языках, которые не выработали основ на (i)i̯ē, Acc. Sg. основ на ā должен был сохранить слог окончания gestossen lang.

Примечание. Рядом с праиндоевропейскими основами на ei [в части форм ē(i̯), в части форм (i)i̯] существовали и праиндоевропейские основы на oi [в части форм ō(i̯), в части форм (i)i̯, ср. др.-инд. Sg. N. sakhā, G. sakhyur, D. sakhyē A. sakhāyam и т. д.]. Те и другие праиндоевропейские основы, с их различной переработкой в отдельных индоевропейских языках, следует строжайшим образом отличать от праиндоевропейских основ на ii̯ā [в части форм ii̯ə, ср. греч. πότνια и т. д., или ī, ср. др.-инд. patnī и т. д.]. Нельзя сказать, чтобы в науке точно проводилось необходимое различение. Как на пример неточности укажу на Grundriss Brugmann'a, глава Suffix -ī-(-i̯ē-).

6. Чтобы не было недоразумений, здесь необходимо коснуться вопроса о geschleifte Länge, которая отражается в Nom. Sg. основ на (i)i̯ē в литовском языке.

Думаю, что перед нами результат смешения основ на (i)i̯ē и возникших при них основ на (i)i̯ēn, причем Nom. Sg. основ на (i)i̯ē восходит собственно к (i)i̯ēn. Лит. pelẽ, žẽmė, gẽsmẽ, kárvė < . . . (i)i̯ēn имеют geschleifte Länge по той же причине, что̀ лит. šũ < k̑u̯ōn, pẽmũ < poi̯mōn и т. д. О том, почему возникала geschleifte Länge в случаях последнего рода, см. в Приложении II к моей работе «Северно-кашубская система ударения». Следы смешения основ на (i)i̯ē и возникших при них основ на (i)i̯ēn есть и на праславянской почве, но представлены они в другой падежной форме. Праславянский Gen. Sg. на i̯ę || i̯ě восходит к Gen. Sg. на (i)i̯ēns.

7. То, что̀ сказано об Acc. Sg. основ на ā и (i)i̯ē, можно mutatis mutandis сказать и об Acc. (-Nom.) Pl. и Acc. (-Nom.) Du. основ на ā и (i)i̯ē.

Д. Бубрих.

Ленинград.
1926. XII. 2.

И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом.

(«Война и Мир» и «Азбука»).

Среди обширного собрания бумаг И. И. Срезневского, заключающего в себе научные труды и материалы по языкознанию, славяноведению, исследованию памятников, палеографии и др., сохранился листок, совершенно не похожий по характеру на другие, посвященный роману Л. Н. Толстого «Война и Мир». Этот листок интересен тем, что ясно указывает как глубоко затронуло И. И. Срезневского произведение Толстого, во многих литературных и общественных кругах встретившее в то время иное отношение, иногда не только холодное, но даже отрицательное. Как смотрел Срезневский на «Войну и Мир», рассказывает один из его университетских слушателей 1860—1870-х гг. в своих воспоминаниях о нем, говоря, что от него первого студенты того времени «услышали восторженный отзыв» о только что появившемся в печати романе Толстого.[1] Погруженный в научные труды, в университетские курсы, в академические работы, И. И. Срезневский, как видно из сохранившегося листка, был так «увлечен», так «покорен» «Войной и Миром», так высоко ставил «ум, даровитость» автора, «доходящие иногда до гениальности», его «искренность», правдивость и силу его «как воспитателя», что хочет писать работу с широким замыслом, посвященную «Войне и Миру». Конспект будущей работы и дает этот сохранившийся в бумагах листок. Он не докончен, но и то, что есть, чрезвычайно показательно.

Рукопись конспекта писана карандашом на обрывке бумаги очень поспешно и неразборчиво; многие слова не дописаны. Судя по тому, что на оборотной стороне листка находится часть протокола заседания одной из комиссий Петербургского Университета с точной датой, замысел работы о «Войне и Мире» относится к маю 1868 г. или немного позже, приблизительно к тому времени, когда вышел четвертый том «Войны и Мира». Вот этот листок:

---

[1] И. В. Цветаев. Из студенческих воспоминаний о И. И. Срезневском.

23*

Вступление. Критика: сравнение ее с состоянием медицины, с юриспруденцией и т. п. Критика внутреннего чувства: его разложение, его смерть.

Война и Мир: как встречены не критикой, а внутренними чувствами. Припоминая о стар[ых] встречах: (Пушкин), Марлинский, Сенковский, Гоголь, Островский, (Аксаков), (Достоевский).

Что влечет и увлекает меня, как читателя, в этом произведении:

— Занимательность происшествия и рассказа.

— Простодушие рассказа, не придуманное, не возведенное на степень искусства, а естественное: картинность без картин.

— Искренность и правдивость без придуманных эффектов покоряют читателя.

— Ум, даровитость, доходящие иногда до гениальности.

— Живые люди и не только живые, но *люди:* и лучшие и худшие люди, а не куклы, не актеры, не паяцы для самого писателя и для читателя: видно, что автор человек и добрый человек, знает что дурно, но без желчи передает это.

— Писатель человек и человек сознательно добрый и русский.

Все это вместе так сильно действует на читателя, что ему не хочется оторваться от книги: прочетши, хочется перечитать, если не все, то хоть по частям перечитывая, вновь жить тем, чем жилось.

— Сила образовательная, сила писателя, как воспитателя.

Таков конспект задуманной И. И. Срезневским работы, вернее, начало конспекта, недоконченного конечно, из за многих его ученых работ. С дней появления в печати до самых последних дней жизни И. И. Срезневского (ум. 8 февр. 1880 г.), «Война и Мир» была его любимой книгой. Он перечитывал ее и сам в одиночку, и в семейном кругу, и любил слушать ее отрывки; книга эта была его последним чтением: она была найдена открытой на его рабочем столе после его смерти.

Толстого, «поэта Войны и Мира», Срезневский резко выделял из ряда других писателей, русских и иностранных; «Детство и Отрочество», «Война и Мир», «Копперфильд» и «еще очень немногое в том же роде» он любил, как писал он Н. Л. Чаеву,[1] писателю 1860—1870-х гг. «не как любовник, а как любящий, не влюбленный, а верный привязанности». Эти творения вполне отвечали тому, что он искал в произведениях литературы: «Для меня — писал он — никакие подборы и сочетания красок, линий, звуков, слов, образов . . . — не поэзия, . . . никакое

---

[1] О. И. Срезневская. Художественные произведения И. И. Срезневского и его отношение к поэзии вообще.

озлобление, ни какая насмешка — не поэзия. Для меня поэзия — сила чистая, святая. . . сила задушевной правды, передуманной и перечувствованной, заставляющей чувствовать и думать всей душой». Совсем иначе он относился к «Анне Карениной»: признавая глубину мысли и красоту формы в этом романе, он сердцем не любил его; «Анна Каренина» нарушала главные требования, которые И. И. Срезневский ставил художественному произведению. Это было последнее творение Толстого, которое застало его в живых.

В ряду писаний Толстого еще одно произведение совсем иного порядка чрезвычайно высоко ценилось И. И. Срезневским. Говорим о вышедшей первым изданием в 1872 г. «Азбуке». Близкая к работам самого Срезневского, она им названа явлением «замечательным современной литературы», как он сказал в заседании Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук 12 янв. 1873 г., перечисляя лучшие книги последнего времени.[1] Кроме «Азбуки», он назвал тогда еще три сочинения, которые считал наравне достойными внимания: М. А. Колосова «Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие», М. Ф. Владимирского-Буданова «Хрестоматия по истории русского права» и П. И. Савваитова «Путешествие новгородского архиепископа Антония в Цареграде в конце XII века».[2]

К сожалению не осталось никакой заметки И. И. Срезневского об «Азбуке»; в свое время он был очень увлечен вопросом о начальном обучении языку, внимательно вникал в этот вопрос, близко стоял и к практическому его применению, сам постоянно занимаясь со своими детьми. Когда появилось первое издание «Азбуки» Толстого, он признал ее лучшим современным руководством, и с младшим своим сыном, уча его грамоте, прочел ее всю от доски до доски.

7 декабря 1873 г. Отделение Русского Языка и Словесности выбрало Толстого своим членом-корреспондентом;[3] избрание это было утверждено на Общем Собрании Академии того же 7 декабря[4] и 29 декабря оглашено в торжественном годовом собрании Академии Наук.[5] Мы склонны думать, что сообщение И. И. Срезневского в заседании II Отделения 12 января 1873 г. об «Азбуке» не прошло бесследно и что на избрание Толстого в члены-корреспонденты не столько повлиял роман «Война и Мир», конченный печатанием еще в 1869 г., сколько вышедшая в 1872 г. «Азбука», «замечательное явление современной литературы»; «Азбука» и напомнила о четыре года тому назад вышедшем романе «Война и Мир». Это пред-

---

[1] Архив Акад. Наук. Отд. Русск. Яз. и Сл. Протоколы.
[2] Сборник Отд. Русск. Яз. и Слов., т. X, стр. XXXV.
[3] Архив Акад. Наук Отд. Русск. Яз. и Слов. Протоколы.
[4] Список членов Академии Наук, составл. Б. Л. Модзалевским, стр. 239.
[5] Б. Рум. Муз. Толстовская комната, ящ. IV, № 34.

положение еще более определенно подтверждается официальным письмом Непременного Секретаря Академии Наук К. С. Веселовского к Л. Н. Толстому, в котором говорится, что Академия Наук избрала Толстого в свои члены-корреспонденты по Отделению Русского Языка и Словесности, «желая выразить свое глубокое уважение» к его «ученым трудам».

В. Срезневский.

Ленинград.
1926. XII. 11.

К апокрифическому «Деянию ап. Фомы».

Апокрифические Πράξεις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ или Περίοδοι τοῦ ἁγίου ἀποστ. Θωμᾶ ἐν Ἰνδίᾳ или Περίοδος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θωμᾶ τοῦ ἀποστόλου, как значится в греческих списках, представляют собою цепь рассказов о странствиях, проповеднической деятельности и смерти ап. Фомы. Πράξεις примыкают к обширному циклу апокрифических сказаний о других апостолах, известных под аналогичными наименованиями. Греческие списки Πράξεις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ были впервые изданы Thilo (Acta s. Thomae Apostoli. Leipzig. 1823), затем полнее Tischendorf'ом в Acta apostolorum apocrypha (Lipsiae. 1851 и, наконец, в полном виде вместе с латинскими переработками и с богатым критическим аппаратом M. Bonnet в Supplementum codicis apocryphi. I. Acta Thomae. Lipsiae, 1883 и 1902 г. В 1897 г. M. James издал греческий текст новой редакции (Apocrypha anecdota. II. Texts and Studies. Vol. V. № 1).

Из трудов, посвященных актам Фомы, отметим исследование изданных списков в связи с происхождением и эволюцией памятника в капитальном труде Lipsius'a «Die apocr. Apostelgeschichten und Apostellegenden», v. I. 1883, s. 225 — 347 (там же и иноязычная литература). Судьба этого памятника на славянской почве еще не обследована. Нечто мы найдем в библиогр. материалах А. Н. Попова (Чтения Общ. Ист. и Др. 1889, кн. III), в предисловии С. Новаковича к изданному сербскому списку (Starine, VIII, 1876) в статье U. Jagiča «Opisi i izvodi . . .» (Starine, V, 1873) и в предисловии к изданным текстам И. Франко (Памятки укр.-русь. мови і літ. т. III. Апокрифи новозавітні. Львов. 1902).

Все рассказы про ап. Фому и его проповедническую деятельность в Индии возникли из гностических актов, написанных по сирийски предположительно в III в. В основе «Деяний» лежит буддийское аскетическое мировоззрение, что позволяет считать повествовательную основу актов (вроде начального эпизода о построении палаты на небе) индийской, гностическую же переработку относить ко времени появления актов на сирийском языке. Gutschmid отметил ценность «Деяний Фомы», указав, что упоминаемый здесь царь Гундафор — историческая личность. Первоначальные греческие акты не сохранились до нашего времени в полном виде; изданные тексты, носящие следы подправления их католиками, сохраняют, однако, много гностических деталей и всю канву первоначального рассказа.

Основная редакция в греческих наиболее полных списках состоит из следующих эпизодов: 1. Вступление, аналогичное началам актов других апостолов, о делении апостолами по жребию стран света. Фома, которому достается Индия, отказывается туда итти. Инсус продает его в неволю индийскому купцу Аввану. — 2. Путешествие ап. Фомы с Авваном и приход его в город Ἀνδράπολιν на свадебный пир дочери царя. Здесь же чудо с рукою виночерпия, заушавшего апостола (гл. 1—16 по изданию Tischendorf'a и Bonnet). — 3. Приход в Индию, построение палаты и обращение царя Гундафора (гл. 17—29). — 4. Воскрешение юноши, убитого ядом дракона за сношения с женщиной в воскресный день, и эпизод с ослом— потомком осла, везшего Инсуса Христа в Иерусалим (гл. 30—39). — 5. Избавление женщины от власти демона, в ней поселившегося (гл. 39—47). — 6. Прощение грехов юноши, убившего свою возлюбленную, и воскрешение последней (гл. 48—57). — 7. Обширный текст «Деяний Фомы» и царя Μισδαῖος. — 8. Мучение и смерть ап. Фомы, имеющееся в двух отличных редакциях.

В славянских индексах запрещенных книг упоминание об апостольских Деяниях находим впервые в Святосл. Изб. 1073 г. под общим наименованием — «обиходи и учения апостольская» (περίοδοι καὶ διδαχαὶ τῶν ἀποστόλων).

Изданы следующие славянские списки:

1. Моск. Чуд. мон. № 20, датирован А. Н. Поповым вт. пол. XIV в., изд. в Чт. Общ. Ист. и Др. 1889 г. кн. III (Ч). — 2. Сербского письма серед. XIV в., изд. С. Новаковичем в Starine, VIII, 1876 г. (Н). — 3. Сербской рецензии вт. пол. XIV в. рукоп. Григоровича, изд. Ягичем вместе с более поздним (из Дубровинского сборника 1520 г.) пересказом той же редакции в Starine, V, 1873 (Г). — 4. Львовской рукописи XVI в. (Оссол. 38, л. 328—331), изд. И. Франко в Памятках, т. III (Л). — 5. Замойской рукописи XVI в. (л. 269—273), изд. И. Франко, ib. (Фб). — 6. Перемиського пролога XVI в. (л. 209—295), изд. И. Франко, ib. (Фв). 7. — Дорожевськой Минеи XVI в. (Оссол. 3617, л. 101), изд. И. Франко, ib. (Фж). — 8. Минеи Четьи Макария ($М_1$, $М_2$) под 6 окт. — 9. Минеи Четьи Димитрия Ростовского (Д) под 6 окт. — 10. Болгарский список XVII в. рукоп. Тихонравова, изд. П. Лавровым в «Апокрифических текстах», СПб. 1899 (Т). — 11—13. Списки XVII—XVIII вв., изд. И. Франко, ib.: Перемиського Пролога (Фг), рукоп. С. Теслевцьового (Фд), рукоп. С. Самборини (Фе). — 14. Списки русских проложных редакций.

Апокриф в основной, наиболее распространенной, греческой редакции представлен в славянских списках лишь частично и при том в двух, существующих обычно отдельно, рассказах.

Начало апокрифа (чудо на свадьбе дочери царя и построение палаты на небе) представлено сп. Ч, Л, Н, $М_1$; конец апокрифа (мучение и смерть ап. Фомы) пред-

ставлен списками $М_2$, Фб. Список Ч первого рассказа, отчасти обследованный А. Н. Поповым, издан с вариантами из Минеи-Четьи Макария и из Сб. Синод. Библ. 1541 г. № 556. Сравнение списка с греческим оригиналом позволяет установить следующее. Список Ч, сравнительно с изданными Тишендорфом греческими списками представляет по эпизодам тот же самый апокриф, но местами сокращенный, а в общем значительно укороченный, так как Ч содержит лишь 24 главы из 57 глав греч. оригинала. Из приводимых Тишендорфом греч. списков самый близкий Cod. B XI в. Помимо соответствия в размере (в Cod. B также только 24 главы), ряда точно совпадающих мест и дословного окончания, сп. Ч, как и Cod. B опускает гимн апостола Фомы. Изданные к сп. Ч. варианты при тожественной канве рассказа привносят небольшой ряд мелких стилистических отличий, частью исправляющих чтение сп. Ч, частью же дающих параллель к месту, не совпадающему с оригиналом. Бо́льшую близость к греческому тексту какого-либо одного списка нельзя установить определенно.

Список Л, изданный с вариантами из Замойской рук. (Льв. унив. 1. F. 15) в чтении не совпадает со сп. Ч и дает ряд незначительных пропусков и добавлений также стилистического характера. Наблюдения И. Франка над языком сп. Л наводят его на мысль о переводе апокрифа в Болгарии в XIII—XIV вв.

Список Н дает соответствие переводу, представленному предидущими списками. Но этот сп. дефектный: в середине текста недостает места, на которое приходятся гл. XII—XVI (деление по изд. Tischendorf'a). От конца гл. XVI имеется лишь последняя строка. Недостает также нескольких слов конца рассказа: рукопись обрывается на доксологической формуле: «отьцоу и сыноу и светому доухоу Богоу наше...». Эта особенность позволяет думать, что сп., не имея продолжения, включал лишь те эпизоды из Деяния Фомы, которые представлены сп. Ч и Л Сравнение сп. Н с Ч дает множество стилистических отклонений.

Списки, передающие второй рассказ — «Мучение ап. Фомы», — не тожественны в чтении. Помимо разности в стиле, $М_2$ и Фб отличаются различным чтением молитвы Фомы перед смертью: в сп. Фб молитва Фомы обрывается почти в самом начале, в сп. $М_2$ эта молитва имеет длинное продолжение, соотв. греческому оригиналу 1-ой редакции, к которому и относятся списки. Оба они в сравнении с греческим текстом имеют ряд пропусков и дополнений в середине текста, отсутствующих в основной греческой редакции, но находимых в списках других редакций и в латинской компиляции псевдо-Авдия. В рукописи сп. Фб следует тотчас за первой апокрифической статьей.

«Деяние ап. Фомы» по основной редакции дошло к нам и в ряде переделок, представленных списками, собранными И. Франком на карпато-русской территории — Фг, Фд, Фе и Фж.

Список **Фг** озаглавлен: Мца ѡктовріа дна ѕ житіе с и всехвалнаго апла хва Θомы, писано ѿ Авдеа, першого еппа вавилонскаго, єдиного з лику о апль и хотя в заглавии помещено имя Авдия, однако текст ни в деталях, ни в передаче основы рассказа не сходится с текстом апокрифич. «Деяний ап. Фомы», помещенного в девятой книге псевдо-Авдиевской компиляции, известной в латинском переводе под заглавием: Historia certaminis Apostolorum (J. A. Fabricius. Codex Apocryphus Novi Testamenti. Hamburgi. 1719, pp. 687—736). Переделка сохраняет остов и последовательность эпизодов по основной греческой редакции. Царь, на свадьбу дочери которого приходит ап. Фома, отожествлен с царем Мисдайем, от которого апостол принимает смерть. После рассказа о пребывании у царя Гундафора упомянуто о проповеди Фомы парфянам, викторянам и маргам—добавление, взятое из псевдо-Ипполитовского реестра апостолов. В «Мучение» вставлены речи. Изложение содержания вольное. Весь склад рассказа изобличает перевод с польского.

В сп. **Фд** вначале излагается кратко происхождение Фомы и перечисляются народы, среди которых проповедывал апостол (подобно вставке сп. **Фг**). Свадьба не дочери, но сына персидского царя. Вместо Гундафора — царь Савро. Умирает не брат царя, но сам царь. На небе царю показывают сначала ад, потом рай, где он видит брата. Видя собственную палату без крыши, царь просит отдать ее ему. Ему не отдают, и хотят спустить его в ад. Царь обещает отдать пол-царства нищим и построить церковь с тем, чтоб его отпустили на землю... Фома от царя Савро идет к маргам, где и принимает мучение. «Мучение» изложено без чудес, кратко (в 7 строках) по основной редакции. Изложение всюду вольное с массой своеобразных деталей, которые едва ли восходят к письменным источникам. — Список дефектный, с рядом пропусков.

Последние два списка в издании И. Франко **Фе** и **Фж** представляют краткие проложные статьи. Сп. **Фе** назван «Житием», но передает, после перечисления посещений апостолом народов, только то, что ап. Фома с учеником Онисифором заточен индийским царем в тюрьму. В тюрьме их посещает сын царя Византий, дает апостолу дары и просит научить вере. Апостол его научает; царь убивает Фому копьем. Византий с Онисифором погребают апостола. Приходит ап. Варфоломей и утверждает церковь. В переделке пропущен эпизод с построением палаты. «Мучение» передано по второй, более полной, греческой редакции, что̀ видно из вставочного эпизода с Византием. — Сп. **Фж** имеет подзаголовок «стрть стго апла Θомы» и представляет синаксарную статью, помещенную в праздничной Минее перед каноном ап. Фоме. Статья основана на «Деянии» основной редакции, но дает некоторые свои детали. Так, по заточении апостола в темницу к нему приходит сын царя, жена царя и др. *для чего дают тюремщику золото*. Царь убивает апостола копьем и *мечем*. Эпизода с построением палаты, подобно предыдущему списку, нет.

Переделку основной редакции «Деяния», на ряду с рассмотренными списками, представляет также и сп. **Т**. Он передает подробно «Деяние», но в сравнении со славянским текстом основной редакции имеет ряд сокращений, пропусков, добавлений и изменений. Сокращения и пропуски в большинстве стилистического характера, или же касаются деталей рассказа; канва повествования сохранена в целости. Добавления и распространенное чтение дают вставки, вытекающие из контекста, и лишь изредка вольные детали. Местами усилен церковно-поучительный элемент. Изменения носят характер весьма свободного переложения отдельных мест «Деяния». С концом «Деяния» связано краткое (5 строк) «Мучение» по первой редакции, пред которым дано упоминание о Персии, где апостол творил чудеса, и о посещении им парфян и мидян.

В славяно-русском Прологе под памятью ап. Фомы приводится краткое указание на народы, посещенные ап. Фомой, и его смерть у царя Мисдайя. Далее идет пространное изложение апокрифа по основной редакции с некоторыми индивидуальными деталями (апостол делает из дерева орала, колеса и *хомуты*, царь сажает апостола в *ров;* виночерпий зачерпнул воды для *размешения вина* — сходно с **Т**, но могло явиться самостоятельно как невольная интерполяция).

Кроме основной редакции и ее переделок, в славянских списках известен особый апокрифический рассказ, совершенно отличный по сюжету от рассмотренного нами. Впервые об этом апокрифе узнаем из эфиопского сборника Gad'la Hawaryiat, переложенного на английский язык Маляноном в 1871 г. (см. И. Франко. Памятки... с. XXXIX). В 1873 г. Ягич издал сербский текст этой статьи из пергаменной рук. проф. Григоровича вместе с переделкой того же рассказа, писанной в Дубровниках в 1520. В своем предисловии Ягич отмечает, что Фабрициус очевидно знал греческий текст рассказа, так как он упоминает о нем при редактировании своего Codex Apocryphus. В Bibliotheca graeca (ed. 1737, т. IX, 150) Фабрициус приводит рассказ про св. Фому, который начинается словами «Ἐγένετο κατὰ τὸ ἀναστῆναι...», дословно передающими начало текста изданного Ягичем: «Бысть по вьскрьсении господа нашего Ісоу — Христа ѡть мрьтвыхь сьбра...». Липсиусу замечание Ягича осталось неизвестным. Про другую редакцию актов Фомы он говорит на основании пересказа Малянона и объясняет ее появление специальной эфиопской традицией. В 1897 г. Р. Джемс нашел греческий оригинал этой редакции, изданный им во II т. Apocrypha anecdota. Два года спустя Боджем в Лондоне был издан эфиопский оригинал. Сравнение эфиопского рассказа с текстом **Фв**, произведенное И. Франком, дает, кроме небольших отличий в именах и во вступлении, сходное содержание. Сравнение текстов **Г** и **Фв** указывает на близкие копии одного и того же церк.-слав. перевода.

Рассмотрение изданных славянских списков апокрифического «Деяния ап. Фомы» со стороны редакционных особенностей позволяет сделать следующие выводы:

1. «Деяние ап. Фомы» по изданным спискам известно в двух самостоятельных рассказах (основная редакция и редакция списков Г и Фв), при чем каждый из них по эпизодическим данным не может служить версией другого.

2. Основная, наиболее известная, редакция (в списках Ч, Л, Н, М) дает соответствие лишь началу и концу того апокрифа, который в греческом оригинале приводится полностью.

3. «Деяния» в этой первой редакции пользовалось особенной популярностью, о чем свидетельствует наличность дошедших до нас переделок распространительного характера (в списках Фг, Фд, Т).

4. Переделки не ограничивались какой-либо одной территорией (представленной, например, у И. Франко карпато-русскими текстами), но имели место и у южных славян (список Т).

5. Число переделок не исчерпывается теми, которые дошли до нас в списках-копиях с них (так, особенности в тексте славяно-русского Пролога позволяют видеть в прототипе Пролога версию незнакомой нам переделки).

6. Тексты переделок не дают указаний на то, что весь апокриф был переведен на церковно-славянский язык. Их индивидуальное чтение не отражает пропущенных эпизодов греческого полного текста.

7. «Мучения ап. Фомы» отделено от «Деяния», и оба рассказа существуют в виде самостоятельных статей. В случае, когда «Мучение» следует за «Деянием», оно органически с ним не связано. Связкой обоих статей иногда служит вставка о народах, просвещенных ап. Фомой, — вставка подвижная, ибо в других списках она переносится к началу «Деяния».

8. «Мучение» дает перевод первой греческой редакции, в некоторых же списках оно со следами других редакций, даже более полных, чем известные нам (Фе, Фж).

9. В зависимости от приноровления к определенному чтению (прологи, синаксарное чтение) «Мучение» подвергалось переделкам в сторону крайнего сокращения текста, иногда с выпуском основных эпизодов (Фе).

10. Вариант к первой редакции, но не переделку, можно видеть в списке «Мучения», сокращающем только одно, но значительное место, и сохраняющем в остальном текст рассказа неизменным (сп. Фб).

11. Второе апокрифическое «Деяние», вообще малоизвестное, пользовалось в нач. XVI в. популярностью у южных славян, что видно из дошедшего до нас его пересказа.

С. Балухатый.

Ленинград.
1926. XII. 11.

Русский исторический роман первой половины XIX ст.

ТЕЗИСЫ.[1]

I. Прежде, чем говорить об «историческом» романе, необходимо условиться относительно понимания этого термина, — необходимо установить его объем и содержание.[2] Как «история» вообще, так и «исторический» роман в частности — понятия, менявшие свое значение в течение XVIII и первой половины XIX ст. В XVIII ст. автор свободно черпал содержание для своего произведения не только из истории, но и из мифологии, библии, героического эпоса, сказки и bona fide называл свое произведение «историческим романом», если оно хотя отчасти примыкало к какому-нибудь историческому имени или событию.

С течением времени объем этого понятия сужается, содержание делается все более определенным и точным, и, к концу 20-ых гг., понятие «исторический роман» окончательно устанавливается в нашем современном смысле.

II. Исторический роман в западно-европейской и русской литературах с XVIII ст. до середины XIX переживает большую эволюцию — *от романа типа классического* (Кальпренед, Скюдери) — *к романам типа вальтер-скоттовских.* «Исторического», в современном нашем смысле, в романе «классическом» искать не приходится. Этот жанр есть, так сказать, «побочный брат» трагедии и эпопеи, — герои «высокого стиля» снижаются в романе до степени нежных, счастливых, или несчастных любовников.

III. Эпоха романтизма свела интересы автора и читателя от «общечеловеческого», — к «индивидуальному»: романтизм индивидуализировал человеческую личность, эпохи, народности и природу.[3] Решающую роль, в этом отношении, сыграл Вальтер-Скотт[4] и его школа.

---

[1] К работе, часть которой должна выйти в свет в недалеком будущем.

[2] Употребляю понятие: «роман» в широком смысле слова, включая в это понятие также стихотворные произведения (эпопеи, поэмы), повести исторические и «отрывки» романов.

[3] См. подробнее мою работу «Пушкин и романтизм» («Пушкин и его современники»).

[4] О сущности исторических романов В. Скотта см. Maigron «Le roman historique» и Dibellius «Englische Romankunst», ч. II.

IV. Исторический роман (как его понимали на западе в XVII—XVIII вв.), возникает у нас в XVIII в., и процесс его формации идет по четырем направлениям. Появляется —

А) Роман чисто-подражательный классическому (придворный-галантный). При этом мы имеем *две* разновидности:

а) Роман любовный: исторический герой ставится в положение любовника.

б) Роман политический по преимуществу; под покровом древности разрешаются жгучие политические проблемы XVIII в.

Б) Роман авантюрно-рыцарский, обычно-фантастический, черпающий свое содержание из эпоса устного и литературного. В этой группе тоже *две* разновидности:

а) Роман пародийный, травестирующий фантастику средневековья.

б) Роман сентиментальный, в котором нет элемента пародии.

В) Роман исторический (в узком смысле), черпающий свое содержание из истории древней, до-петровской Руси и летописей.

Г) Роман мемуарно-исторический, воспроизводящий факты русской истории XVIII в. Этот роман черпает содержание из устных преданий и мемуаров — и сам часто представляет собою нечто среднее между романом и мемуарами.[1]

V. Все эти четыре типа романов переходят в XIX в. и, втечение первых десяти лет держатся довольно прочно, но осложняются теперь новыми литературными влияниями, русскими и иностранными.

К 20-ым годам умирают постепенно две первые группы (классический и рыцарский), зато широко развертывается эволюция двух других групп. При этом обе группы скрещиваются.

VI. По *содержанию* русский исторический роман первой половины XIX ст. распадается на три группы:

1) Изображается жизнь древней Руси (по преимуществу Киевской). Развитие романов этой группы захватывает по преимуществу первые три десятилетия XIX ст.

2) С 20-ых гг. (1816 г.) появляются романы, изображающие бурную жизнь Украины эпохи гетманщины.

3) Роман, изображающий русскую жизнь XVII и нач. XIX вв. Этот романический вид в XIX в. делается особенно устойчивым и не умирает втечение всего XIX в. (романы Загоскина, Лажечникова, Мосальского, Пушкина и др.), сливаясь постепенно с бытовым романом. «Война и Мир» — блестящее завершение эволюции этого вида.

VII. Роман первого типа (древняя Русь) оказался самым неустойчивым.[1] Первоначальная летопись давала слишком скудный и сухой материал, который к тому же

---

[1] См. мою работу «Очерки из истории романа и повести XVIII в.», гл. VIII.

не поддерживался великорусским эпосом. Эпос этот слишком оторвался от истории и сблизился со сказкой. Обычно, в романах этого вида материал черпается из двух источников — летописи и эпоса (позднее с 1818 г. из «Истории» Карамзина). Но все-таки, по преобладанию того или другого материала, приходится говорить о двух разновидностях романа этого вида: о романе летописном и романе былинно-сказочном.

а) Летописный роман, примыкает, по характеру и композиции, к «классическому» XVIII в., но осложняется влияниями «песен Оссиана» и «Слова о полку Игореве».[1] В романе этого типа в первое десятилетие ясно определяется сознательное стремление воссоздать утраченный исторический эпос древней Руси, путем обработки летописных сюжетов по образцу «песен Оссиана» и «Слова о полку Игореве»[2] — стремление, аналогичное тому, которое вызвало создание «Краледворской рукописи».

Нарежный в своих «Славянских вечерах» первый делает такую попытку: его «исторические повести» — «песни», он не «повествует», а «воспевает». Один из его подражателей прямо заявляет, что его образец — Оссиан.

Попытки воссоздать исторический эпос, однако, оказались неудачными, и к 20-ым годам развитие этого романа отчасти сливается с романом типа вальтерскоттовских (произведения Загоскина и Вельтмана) и примыкает к «Истории» Карамзина.

Романы, изображавшие жизнь древней Руси, отчетливо распадаются на два цикла: киевский и новгородский. Содержание романов «киевского цикла» централизуется сперва около княгини Ольги (семь №№), Игоря и Ольги (три), Рогнеды (девять) и в конце около Святополка окаянного (шесть). Владимир появляется почти во всех произведениях, но ни в одном произведении не представляет собою центральной фигуры. Центром «новгородского цикла» является, главным образом, Вадим (в поэмах, но не в романах).

б) Былинно-сказочный роман, примыкающий к аналогичному типу романов XVIII в. (типичным и первым образцом в XVIII в. — «Русские сказки» Чулкова).[3] Основным стимулом появления романов этого типа было определившееся стремление не столько романизировать сюжеты древне-русской истории, сколько — воссоздать ту фантастику и мистику древней Руси, которые, в эту эпоху романтизма, казались характерными для древней Руси, когда язычество и христианство

---

1 Карамзин первый на стр. «Spectateur du Nord» заявил о родстве «Слова о полку Игореве» с «песнями Оссиана», и это сближение, повидимому, в те годы было ходячим мнением.

2 Так еще в XVIII в. проявилось стремление воссоздать русскую мифологию по образцу античной.

3 См. мою работу «Очерки из истории русского романа и повести XVIII в.», гл. VI, стр. 162—232.

находились еще в состоянии обостренной борьбы. «Песни Кирши Данилова» значительно освежили тот былинный материал, который раньше черпался только из «Русских сказок» Чулкова (впрочем, литературная манера Чулкова прочно удерживается во многих произведениях).

Романы этого типа распадаются на две разновидности:

1) Романы пародийные (в духе «Русских сказок» Чулкова).

Этот тип оказывается неустойчивым, хотя к нему можно отчасти отнести и «Руслана и Людмилу» Пушкина (комические образы Черномора, Наины и др.).

2) Романы, в которых древне-русская фантастика представлена серьезно — в трактовке романтической. В этих произведениях хаос космической мистики языческой Руси воссоздается без ее критики, — писатель старается, по отношению к фантастике, стать на точку зрения человека языческой Руси. «Пролог» к «Руслану и Людмиле» — один из первых образцов такой трактовки древне-русской фантастики (хотя по существу «Пролог» и не связан с содержанием поэмы). Типичным и лучшим произведением этого типа — роман Вельтмана: «Светославичь, питомец вражий». В качестве действующих лиц в этих романах, на ряду с лицами вымышленными (традиция чулковская), являются герои былинного эпоса[1] (особенно часто Добрыня). Любопытна в романах этого типа попытка воссоздать летописного Рогдая (повторяется во многих произведениях) и Мстислава Удалого (победитель Редеди). За этими двумя образами писатели начала XIX ст. учуяли наличность героического эпоса, не сохранившегося в былинах, и попытались его воссоздать.

Несмотря на разноличие романов обеих этих групп (от произведений с вымышленными героями и событиями и лишь отчасти прикрепленными к Владимиру, Киеву, или Новгороду — до романов типа вальтер-скоттовских) — в них исчерпаны все главнейшие исторические переживания древней Руси: язычество, раннее христианство, борьба с варягами, с печенегами, половцами, с Византией, княжеские междуусобицы.

---

[1] Владимир является героем только одного произведения — эпопеи Хераскова (1785 г.) и одной не оконченной поэмы Елагина: поэмы «Владимир Великий» (1829). Собирался и Жуковский сделать его героем поэмы, но замысла не выполнил. Сохранился план затеянной им поэмы, и он очень характерен для произведений этого типа. «Сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснословным блеском, который может заменить самое историческое вероятие» — говорит Жуковский: «поэма будет не героическая, а то, что немцы называют romantisches Heldengedicht — следовательно, я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но, на ряду с баснею, постараюсь соединить и верное изображение нравов характера времени, мнения». Для своей поэмы Жуковский хотел перечитать летописи, «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве», народные русские песни, сказки. Из иностранных произведений он хотел использовать Гомера, Виргилия, Овидия, Ариосто, Тасса, Камоэнса, Мильтона, Соути, Вальтер-Скотта, Оссиана, «Эдду», «Песнь о Нибелунгах», западно-европейские баллады.

VIII. Романы второго типа (история Украины) оказались более устойчивыми, потому что история Украины была содержательна (обилие тем), динамична, свежа в памяти и, главное, поддерживалась живым устным эпосом («думы»). Не оторвавшийся от истории украинский эпос дал историческому роману не только богатый материал в количественном, но и в качественном отношениях, подсказал не только психологическую разработку героев, но и стилистическую разработку тем и разнообразный элемент фольклора.[1] Кроме того, украинская бытовая сказка внесла в эти романы «быт» и «бытовые типы», а также свойственный ей сочный живой юмор.

Романы этой группы распадаются по содержанию на три центра: Хмельницкий (одиннадцать №№), Мазепа (семь №№) и Гайдамаки-Гаркуша (девять №№). Первый опыт в этом направлении сделан Ф. Глинкой в 1816 г.

В истории развития этого романического типа необходимо отметить влияния:

а) русские—«Думы» Рылеева, «Полтаву» Пушкина. Исторический материал черпался, главным образом, из «дум», из «Истории Руссов» Конисского, «Истории Малой России» Бантыша-Каменского;

б) иностранные — поэма Байрона «Мазепа», романы Вальтер-Скотта.

IX. Романы третьего вида (мемуарно-исторические) примыкают к аналогичным русским романам, возникшим еще в XVIII в. (см. выше) и поддерживаются интересной литературной модой запада на романы из русской жизни XVIII—XIX вв.[2]

Романы этого типа представляют собой историко-бытовые произведения и потому легко с 20-ых годов подчиняются влиянию Вальтер-Скотта.

По содержанию своему, они распадаются на изображающие: 1) жизнь Московской Руси; 2) жизнь XVIII в.; 3) жизнь начало XIX в. Романы первой группы черпали свое содержание, главным образом, из «Истории Государства Российского» Карамзина и др. исторических сочинений; романы двух других типов, главным образом, из преданий и мемуаров.[2]

---

[1] См. интересную, в этом отношении, оценку украинских песен, сделанную Гоголем в «Арабесках».

[2] В XVIII в. мы имеем роман из «русской» жизни «Прекрасная Россиянка» (1784, 1790, 1796 г.). В XIX в. — в 1800 г. Коцебу «Заида, прекрасная Россианка»; в 1804 Август Лафонтен «Князь Д. и княжна М.» (2 изд. 1805; под заглавием «кн. Федор Д.» в 1807); в 1808 Сент-Элен «Приключения одной Россианки»; в 1809 «Русская Амазонка»; в 1809 Арманд-Роланд «Александра», «Алексей, русский крестьянин», «Любовники, сосланные в Сибирь»; Арнод «Русский крестьянин»; в 1810 Радклиф «Две повести: Мария и гр. М-в»; Коттень «Елизавета Л.» (Лупалова)—переиздав. в 1816, 1823, 1824, 1830 (в 1840 та же тема разработана Ксавье де-Местром «Молодая Сибирячка»); в 1812 Август Лафонтен «Живописная картина. Российский Армейский офицер и графиня Л.»; в 1814 Август Лафонтен «Русские качели на берегах Рейна»; в 1816 А. Коцебу «Русской военнопленной»; в 1818 Август Лафонтен «Александр Михайлович, вел. кн. Тверской» (др. изд. «Приключения Александра Михайловича...»); в 1821 Байрон «Мазепа»; в 1825 «Славянская картина V века», «Славянский Вертер».

Начиная с 40—50 гг., исторический роман вытесняется «обыкновенными историями», — героями являются «обыкновенные люди»: мелкие провинциальные дворяне, чиновники, купцы, крестьяне, мещане и рабочий люд; входят в моду «физиологические очерки», и, задолго до романов Достоевского, появляются на страницах русского романа «бедные люди», «униженные и оскорбленные» противоречиями социального порядка.

Наиболее устойчивый из всех типов исторического романа — историко-бытовой (мемуарно-исторический), апогея своего развития достигает в 1831—1834 гг.

X. Изучение «массовой» романической литературы дает возможность сделать ряд наблюдений над эволюцией литературных явлений и процессов:

а) Русский роман от «героического», постепенно «снижаясь», эволюционирует (чрез историко-бытовой) к бытовому.

б) Эволюцией литературного эпоса-романа управляют те же исторические необходимости, что и эволюцией устного эпоса (циклизация и централизация, установка шаблонных типов — типов-героев). Это явление наблюдается в начальный период истории романа.

в) Жанры трансформируются один в другой (былины, думы — в роман)[1] и фиксируются в определенный литературный вид.

г) Устанавливается эволюция романических типов в зависимости от литературного направления и индивидуальностей писателей.

д) Выявляется эволюция крупных произведений (подготовка их предшественниками), напр., «Полтавы», «Тараса Бульбы», «Дум» Шевченка; точно и ясно обнаруживается (благодаря выявлению деятельности литературных эпигонов) удельный вес крупных произведений, а также отчетливо устанавливаются пределы и размеры литературных влияний иностранных и русских.

В. Сиповский.

Ленинград.
1926. XII. 12.

[1] В украинских романах наблюдается интересный факт трансформации героев лирических песен в героев романических (паробки и дивчата, напр., у Гоголя в «Вечерах» ...).

Хождение патриарха Константинопольского на жребяти в неделю ваий в IX и X веках.

Чин «действа ваий» или «хождение патриарха или митрополита на осляти в неделю ваий» пользовался на Руси в XVI и XVII ст. широкою популярностью. Этот чин совершался в Москве, в Новгороде, Вологде, Смоленске, в Астрахани, в Тобольске и в других кафедральных соборных храмах. Происхождение этого чина наши ритуалисты и историки вели — одни из Иерусалима (прот. К. Т. Никольский), другие из Византии (акад. Е. Е. Голубинский, проф. Н. Ф. Красносельцев и др.), но положительного решения этого важного вопроса никто из них не дал, возлагая надежду на счастливое открытие греческого его оригинала в будущем. Ныне эту надежду можно считать осуществившейся: греческий обряд шествия патриарха в неделю ваий на жребяти в Константинополе и притом в знаменательную для русской истории эпоху IX и X веков — найден.

В рукописном пракс-Апостоле Дрезденской, б. Королевской библиотеки IX—X в.в. № 140 данный чин[1] излагается так:

«По окончании утрени в вербное воскресенье, патриарх некоторое время отдыхает в мутатории, находящемся в соседстве с алтарем Софийского храма. В это время очередной клир, взяв с собою большой литийный крест, стоящий обычно за престолом, но на сей раз не открыто, как он носится на литаниях, а в футляре (μετὰ τῆς θήκης), отправляется в храм 40 мучеников, чтобы приготовить все необходимое для встречи там патриарха. За ними следует и всякий желающий при-

---

[1] Греческий текст его с вариантами и переводом см. в моей книге: «Древнейшие Патриаршие Типиконы, Святогробский Иерусалимский и Великой Константинопольской церкви». Киев 1907, стр. 110—111.

сутствовать при встрече патриарха. В определенный час патриарх, облачившись в архиерейские одежды, имея в одной руке большой животворящий крест, а в другой финиковую пальму и ваия, обвитые благовонными цветами, какие позволяет иметь данное время, выходит из храма и, прикрыв свою главу покрывалом (τὸ περιπτάριον), садится на коня, при пении певчими на амвоне тропаря «Общее воскресение», и направляется (ὀχούμενος ἐπὶ πώλῳ или ἀνέρχεται μετὰ τοῦ πώλου) в храм 40 мучеников. Архонты патриаршие, епископы и духовенство с певчими в фелонях (литийных кратких), неся в руках финиковые пальмы, ваия и кресты, которые для них заготовляет саккелия, пешком идут впереди коня, на котором восседает патриарх (τῶν ἄλλων πάντων πεζῶν μετὰ φελωνίων ὀφικευόντων или προπορευομένων ἔμπροσθεν) с пением тропаря праздника. По приходе патриарха в храм 40 мучеников, совершается им с чтением установленной молитвы, освящение ваий и раздача их всему присутствующему на этом величественном торжестве народу. Совершив раздачу ваий, по произнесении диаконом обычной литийной ектении, патриарх омывает руки (νίπσεται), входит в алтарь, совершает обычное каждение св. трапезы и благословение свечами, при пении многолетия (ἡ φήμη). В это время готовится в обычном порядке литания на форум к колонне св. Константина, во главе которой шествует крест св. Константина, заранее сюда отправленный для литании. У колонны св. Константина читается патриархом евангелие, архидиаконом произносится ектения литийного характера и, при пении певчими кондака праздника, литания направляется в св. Софию, где патриарх совершает литургию, по окончании которой участники торжества приглашаются на обед к патриарху».

Анализируемый нами памятник с несомненностью устанавливает факт существования в IX—X вв. в Константинополе обряда «шествия на жребяти», по примеру спасителя,[1] вселенского патриарха в храм 40 мучеников, сопровождаемого духовенством и певцами, имеющими в руках ваия, финиковые пальмы и кресты металлические — малые и большие, с пением тропаря праздника. Но тот же памятник позволяет нам и углубить время образования этого обряда в Константинопольской церкви. Рукопись, приводя текст обряда, как мы изложили его выше, в конце замечает, что она излагает этот обряд κατὰ τὴν νῦν συνήθειαν, по ныне действующему обычаю, тогда как прежний порядок его, κατὰ τὴν πρώτην συνήθειαν, был иной, и патриарх совершал шествие на жребяти не в храм 40 мучеников, а в мартирий св. Трифона близ Хамунда и оттуда в мартирий св. Романа в Елевихе и, наконец, на форум св. Константина. Какие причины вызвали эти изменения в обряде недели ваий — трудно сказать определенно, но, по всей вероятности, его сложность и отда-

---

[1] Матф. XI 2, 4; Марк. XIX 30, 35.

ленность названных пунктов от св. Софии и форума — вот причины к этому. Но было необходимо, конечно, иметь время на то, чтобы признать неудобство этого второго направления в шествии патриарха на жребяти для освящения ваий. В виду этого можно с полною несомненностью датировать данный обряд по времени его образования в Константинополе IX в.

Переходя теперь к нашему обряду шествия первоиерарха русской церкви на осляти в неделю ваий и оставляя пока в стороне вопрос о времени перехода его в русскую церковь в до-монгольский период, о чем нерешительно высказывается академик Е. Е. Голубинский в своей «Истории русской церкви»,[1] чему нисколько не противоречит дата установления обряда в Византии, мы намереваемся здесь указать черты сходства и различия в византийском и русском обрядах.

Черт сходных сравнительно мало, но это можно объяснить тем, что мы имеем не одинаковые по времени памятники: славяно-русские памятники чина «действа ваий» мы имеем не ранее XVI в., а большею частию XVII столетия и притом в полных уставных и самостоятельных изложениях в отдельных сборниках, тогда как византийский чин находится в рукописи X—XI века и притом с практикою краткого уставного изложения. Но тем ценнее те особенные черточки их, на которых можно остановиться исследователю с полным интересом. Главное их сходство заключается в том, что весь обряд распадается на две части и в том, и в другом памятниках: из св. Софии патриарх шествовал на жребяти только до храма 40 мучеников, а отсюда на форум св. Константина и обратно в св. Софию *пешком*, по чину обычных литаний. По славяно-русскому чину — в более древней редакции, патриарх едет на осле до Входо-иерусалимской церкви, а оттуда на «лобное место» шествует тоже *пешком*, и таким же образом возвращается в Успенский собор. На лобном месте, которое заменило в обряде форум св. Константина, по нашему чину, совершается такой же литийный молебен, какой практиковался у колонны св. Константина в Константинополе. По обоим чинам, обряд шествия совершается между утренею и литургиею. Оба патриарха, и константинопольский и русский, по приходе — первый в храм 40 мучеников, а второй во Входо-иерусалимский, совершают — и тот и другой — торжественный вход в алтарь этих храмов для каждения св. престола. Можно указать и еще мелкие черточки сходства в обоих чинах.

Но разности в тех же чинах прямо поразительны. Наш русский чин имеет характер строго церковный. Литании предшествует св. крест и иконы. Самое превращение жребяти при помощи попоны в осла несомненно преследовало желание сделать у нас обряд как можно более умилительно-трогательным. Константиноноль-

---

[1] Т. I, половина II, стр. 371.

ский чин получает характер полуцерковного зрелища, где все внимание богомольцев занимает патриарх, величественно восседающий на жребяти с предъидущим ему духовенством. Литийный крест и евангелие литания получает только в храме 40 мучеников, куда они были отосланы заранее в футлярах (μετὰ τῆς θήκης). Но самая крупная особенность, — это совершенное отсутствие царя в византийском обряде. В ту пору, как русский царь, по словам отцов Собора 1678 года, в этом обряде «благоволит в нем, показания ради народу православному *образа смирения своего* и благопокорения пред Христом господом, ибо обычай *всесмиренный* прияша, еже вседшу патрарху на жребя, в память въехания господня в Иерусалим, *смиряти высоту свою царскую* и скипетрокрасными рукама си узде того осляти прикасатися, и тако ведуще то даже до храма»,[1] византийский император в великий двунадесятый праздник «недели ваий» или «входа господня в Иерусалим», не только не участвовал в шествии патриарха на жребяти, но не присутствовал и на патриаршем служении во св. Софии, оставаясь целый день в стенах своего дворца и в кругу ближайших царедворцев. «Обрядник», более известный в науке под именем «De ceremoniis aulae Byzantinae» приписываемый, кажется, без достаточных оснований византийскому императору Константину VII Порфирородному, этому дню посвящает целых две главы — 31 и 32 и рисует быт этого невольного узника данного дня весьма любопытными чертами.

Внутренние торжества недели ваий во дворце начинались с субботы праведного Лазаря. Император раздает синклиту и важнейшим чинам двора нарядные ваия в дворцовом храме св. Димитрия, а остальным чинам малые и большие серебряные кресты, употребляемые в литаниях и присутствует на вечерне в дворцовом храме богоматери Фара, а после на литании, которую совершают дворцовые клирики и чины кувуклия, раздает φοίνικας μεγάλας.

Рано утром, едва папий открывает ворота дворца в триклиний Юстиниана, появляются орфанотроф (заведующий сировоспитательными домами), который приносит ваия (τὰ σύμβολα) для всех придворных, οἱ ἐξ ἔθους λαμβάνουσιν, и димархи с крестами для той же цели. Император, облачившись в праздничный наряд, выходит в хризотриклин, садится на трон и дает препозиту знак начать прием. В тронный зал вводится остиарием и церемониймейстером орфанотроф, имея в правой руке τὸ τῆς πίστεως σύμβολον (в «Обряднике» повторено это выражение дважды, но это несомненно ошибка или в рукописи, или у издателя ее, Рейске), а на левом плече держа целый пук τὰ σύμβολα. Орфанотроф делает три поклона поясных, οὐ πίπτων βάτω τελείως, и, не падая ниц, вручает императору, целуя его руку τὸ τῆς

---

[1] Акт. арх. эксп. т. IV № 223.

πίστεως, т. е. νίκης,[1] σύμβολον. Император, встав с трона и приняв его, целует ваия и передает их рядом стоящему препозиту. Передав остальные τὰ σύμβολα, императору, орфанотроф делает ему земной поклон и, не показывая ему своей спины, отходит на свое место, а затем удаляется из зала. Вводится второй ранг (τὸ βῆλον). Сакелларий Софийского храма, имеющий в руке большой крест для императора, на левом плече множество серебряных больших и малых крестов, употребляемых в литании, передает их императору тем же порядком, как и орфанотроф, и, пав ниц перед императором, удаляется. За ним следует третий ранг. Скевофилакс Влахернского храма и хартулларий придела при нем в честь пояса богоматери вручают императору свои кресты. Далее следовал прием ксенодохов, заведующих странноприимными домами и домами призрения бедных и престарелых, с своими крестами, в количестве 6 человек. Прием демокритов τῶν περάτων шел в пятом ранге, после ксенодоха Самсоньевской богадельни. В одиннадцатом ранге удостаивались приема и городские димархи (οἱ δήμαρχοι τῆς πολιτικῆς) с своими крестами. Прием всех совершался, как и орфанотрофа, а кресты их передавались препозиту. От царя все названные лица тотчас же отправлялись к императрице и подносили ей с описанною церемониею такие же подношения т. е. τὰ σύμβολα и τοὺς σταυρούς.

Император, кончив этот прием, дает распоряжение препозиту, а тот церемониймейстеру, готовить к приему придворных чинов всех классов и, выйдя в лавсиакий, раздает им полученные кресты, соответственно их служебному положению, после чего все чиновники отправляются в хрисотриклин, размещаясь там на указанных им местах. Император, окончив раздачу крестов, шествует в хрисотриклин. Его встречает выходящая ему на встречу из храма богоматери Фара литания, совершаемая придворным духовенством этого храма, с пением тропаря «Общее воскресение». Царю подается литийная свеча, и зажигают свечи все присутствующие во дворце и, держа в руках кресты и ваия, устанавливаются в порядке для следования за духовенством и императором. Литания совершается внутри дворца по дворцовым храмам, по принятому чину, с заходом императора в храм богоматери в Дафне для возжжения свечи и каждения в алтаре, и в скевофилакии пред тремя крестами с древом господним, и в храм св. Стефана, и снова возвращается в тронный зал, где совершается праздничная литания с чтением евангелия и с произнесением литийной ектении. По окончании ее император распускает чиновников низших рангов и с высшими приближенными чинами идет на литургию в храм богоматери Фара. С этою интимною свитою император, по окончании литургии, и садился в этот день за свою «честную» трапезу.

---

1 См. тропарь праздника: Ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς παῖδες τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες βῶμεν. Εὐλογομένος.... τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου.

Таким образом византийский император, вознесенный судьбою на престол могущественного царства, упоенный своею властию, пред которой вся и все падали ниц, дорожа своим престижем, не хотел снизойти с той высоты, на которой он стоял, и занять второе место, хотя бы и на один день или несколько часов уступив главе православной церкви — патриарху первенство и внимание своих подданных, несомненно, с живым интересом относившихся к этому редкому величественному зрелищу. Император византийский в данном случае изобразил из себя узника во дворце и правителя равнодушного к тому, чем жила его столица, и как билось сердце его подданных. Но жизнь нередко, наперекор всем самым предусмотрительным расчетам, создает такие коллизии, избежать которых нет никакой возможности. И в жизни византийского императора эта коллизия должна была бы разыграться, и император волею-неволею должен был бы выйти из своего невольного затвора, покинуть дворец и явиться на улицах Константинополя. Мы разумеем случай редкий, но периодически повторяющийся — это стечение праздников вербного воскресенья с благовещением. По издавна установившемуся придворному этикету, в праздник благовещения император всегда неопустительно совершал пышный выход на литургию в Халкопратийский храм, праздновавший свой храмовой праздник, а, по окончании ее, давал обед духовенству и чинам двора во дворце близ этого храма. Не мог император, и при указанном стечении, избежать строго обусловленного этикетом выхода. «De ceremoniis» или «Обрядник» предусматривает этот случай и дает указания в таких, ничего не говорящих словах: τελεῖ ἅπαν ἀκολούθως, ὃν τρόπον ἀνωτέρω ἐν τῇ προελεύσαι τοῦ εὐαγγελισμοῦ ἐπὶ λεπτῷ ἐξεθέμεθα.[1] Очевидно, ссылка направляет внимание читателя на 30 гл. «Обрядника», где изложен действительно ἐπὶ λεπτῷ случай совпадения праздника благовещения с крестопоклонным воскресеньем. Но напрасно он стал бы искать там разъяснения, как в неделю ваий император встречался с патриархом на празднике благовещения в Халкопратийском храме, и совершался ли в этот день обряд шествия патриарха на жребяти из Софийского храма. «De ceremoniis» хранит на этот счет полное молчание. Ответ на этот любопытный вопрос дает нам памятник X—XI века, Типикон Великой Церкви, в такой короткой фразе, при изложении указанного совпадения праздников: Ὡσαύτως ἐὰν ἐστὶν ὁ βασιλεύς (Ркп. Дрезд. библ. л. 165). Итак, царь несомненно был на празднике в Халкопратийском храме и выполнял все, что ему предписывал придворный установленный церемониал. Естественно является теперь вопрос: как же произошла встреча императора с патриархом, в каком месте и как избежал император необходимости участвовать в обряде шествия патриарха на жребяти? Придворная камарилья, ловко в «Обряднике» отмежевав царя от патриарха

---

[1] De ceremoniis, cap. XXXII, pag. 176.

и игнорировав последнего совершенно в день недели ваий, несомненно помогла ему и выйти из затруднений создавшейся коллизии, при указанном стечении праздников. Уступчивые и услужливые Константинопольские патриархи пошли навстречу придворной камарилье и обеспечили ей возможность и в «Обряднике», при изложении церемониала на этот день, избежать всякого рода осложнений. В угоду императору, чтобы не страдал его престиж и высокое представление об императорском абсолютизме, решено было пожертвовать некоторыми особенностями церковной торжественной литании и обряду шествия на жребяти патриарха придать характер полуцерковной церемонии. Крест и евангелие отправляются μετὰ τῆς θήκης заранее в храм 40 мучеников и в шествии на жребяти в праздник благовещения отменяется из года в год совершавшаяся торжественная праздничная благовещенская литания из Софийского в Халкопратийский храм. Что касается императора, то он, как это видно из Типикона Великой Церкви, в этот день совершал все, что было положено, по «Обряднику», во дворце (в гл. XXXI и XXXII «De ceremoniis») и слушал литургию в храме богоматери в Дафне, очевидно, тоже имевшим этот праздник храмовым. Затем, когда шествие патриарха на жребяти из храма Софийского в храм 40 мучеников оканчивалось, и патриарх раздавал ваия, император с архонтами кувуклия и другими придворными чинами, с пением тропаря праздника, выходил из дворца и, минуя св. Софию, отправлялся в храм 40 мучеников. Отсюда, соединившись с патриархом установленным чином, он вместе с ним *пешком* в литании отправлялся на форум св. Константина, и потом, возвратившись в Халкопратийский храм, совершал с патриархом обычный малый вход и слушал литургию, по окончании которой обедал вместе с патриархом и с своими чинами в близком к храму дворце. Так были улажены и устранены в Византии возможные конфликты и шероховатости между императором и патриархом.

Таким образом в обряде хождения патриарха на жребяти в неделю ваий *византийский император никогда не принимал участия* — и это составляет его крупное отличие от того же обряда у нас на Руси. Следовательно, правы были отцы Собора 1678 года, когда говорили, что у нас на Руси присутствие царя в обряде шествия патриарха на осляти «благочестия ради венценосцев *попустися*» «*и от иные страны* (т. е. кроме Москвы) не весьма видится быти прилично».[1] Поэтому, как только на русском престоле явился самодержец с иным взглядом и отношением к русской обрядности и благочестию народа, с иными убеждениями и воззрениями на свои права и преимущества и на отношение верховной власти к главе русской церкви — патриарху, царь и самодержец русский Петр I-й не только

---

[1] Акты арх. эксп. т. IV, № 223.

не участвовал в данном обряде, но совершенно отменил его, а вскоре и правление патриаршее в 1722 году заменил синодальным.

В литургической драме в настоящее время остается нерешенным только вопрос о происхождении двух «действ»: очень интересного и драматически изложенного в памятниках богослужения чина «омовения ног», совершаемого в великий четверток [1] и чина «действа страшного суда» в неделю мясопустную.

А. Дмитриевский.

Ленинград.
1926. XII. 12.

---

[1] Ркп. XIV—XV в. бывш. моск. патриарш. библиот. № 371 (675) лист 18 об.; ркп. XVI в. бывш. Соловецк. библ. (Казанск. Дух. Акад.) № 1085 л. 463; № 1090 л. 49 об. 50.

Из заметок о Пушкине.

Обязанный интересом к вопросам критики текста университетским курсам Алексея Ивановича Соболевского, позволяю себе предложить здесь небольшую заметку о неправильном, как мне кажется, понимании двух мест в тексте сочинений Пушкина.

I.

В «Руслане и Людмиле», в рассказе Финна о колдунах, читаем:

«Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб и самая любовь».

По поводу этого места покойный академик Ф. Е. Корш в статье: «Разбор вопроса о происхождении «Русалки» пишет:[1]

«Образ выражений Пушкина отличается даже в стихах такою точностью и ясностью, что в этом отношении с ним не по силам соперничать и многим прозаикам. Однако, у него, — правда, очень редко, — встречаются места не только темные, но даже прямо непонятные... Таков давно отмеченный стих о финских колдунах:

«Все слышит голос их ужасный»,

где следующий за этим стих

«Что было и что будет вновь»

исключает возможность понимания местоимения «все» в смысле именительного падежа, а существительного «голос» — в смысле винительного, хотя именно к такому пониманию ведут дальнейшие стихи:

«И грозной воле их подвластны
И гроб и самая любовь».

---

[1] Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. 1898 г., т. III, кн. 3, стр. 686—687.

«Мыслимо, пожалуй, объяснение, что «голос их ужасный» сказано вместо «они, которых голос так ужасен по причине их всеведения, позволяющего им обнаруживать перед людьми прошедшее и будущее»..., но как бы кто ни истолковывал это странное место, уже самая необходимость толкования, да еще неизбежно более или менее натянутого и спорного, отнюдь не говорит в пользу ясности выражения в данном случае».

Редактор II тома Академического издания сочинений Пушкина (Пбг. 1905) В. Е. Якушкин, останавливая внимание на интересующих нас стихах, излагает мнение Корша и продолжает:

«Таким толкованием (т. е. «голос их ужасный» — вместо «они, которых голос ужасен») и надо удовольствоваться, и при этом надо иметь в виду, что здесь со стороны рукописи мы не можем получить дополнительных разъяснений: в рукописи это место до нас не дошло; к тому же мы не можем в данном случае видеть неправильную передачу текста изданием, опечатку или путаницу, так как Пушкин для II издания поэмы останавливался над этим стихом, исправляя его, — но какое это было исправление? В «Невском Зрителе» и в I издании этот стих читался:

«Все внемлет голос их ужасный»...

Пушкин для II издания исправил стих:

«Все слышит голос их ужасный»

Так осталось и в III издании».

Приведенные рассуждения Корша и Якушкина — очень характерный пример того, как трудно мысли, попавшей в русло неправильного понимания текста, выбиться на истинный путь. Даже человек такого остроумия, как Корш, мог самый простой вариант понимания проглядеть, отбросить как негодный и предложить вариант, который сам же признает натянутым и спорным. Корш отрицает возможность понимания слова «все» в смысле именительного падежа, а между тем здесь несомненно именительный падеж, и понимать приведенные стихи, очевидно, надо так: все [подлежащее] слышит [сказуемое] голос их ужасный [винительный падеж — дополнение к слову «слышит»], что было и что будет вновь [эти слова — определение к слову «все»]. Дальнейшие слова: «и грозной воле их подвластны и гроб и самая любовь» подтверждают, что Пушкин имел в виду мысль: могущество финских колдунов столь велико, их голос так ужасен, что его слышит все, что было, что умерло, и что только еще будет.

Может быть, не лишним будет выяснить причину неправильного понимания приведенных стихов:

1) в данном контексте слово «все», отделенное от своего определения [«что было и что будет вновь»] слишком мало́, слишком безо́бразно сравнительно с словами

«голос их ужасный»; внимание привлекается именно к этим словам, и они получают ошибочно характер подлежащего;

2) слово «все» находится в неударяемой части стопы, и потому на нем внимание не задерживается с достаточной силой;

3) вследствие сложного построения фразы [определение к «все» отделено от него словами «слышит голос их ужасный»] слово «что» легче всего связывается [ошибочно] с словом «слышит».

II.

С. А. Венгеров в I томе редактированного им издания сочинений Пушкина (Пбг. 1907) поместил вступительную статью методологического характера, в которой говорит о принципах, положенных в основу этого издания, причем одно из положений подтверждает следующим примером:

«Взять, например, «Пирующих студентов». Стихотворение это при жизни Пушкина напечатано не было. Значит, решающею инстанциею является автограф. А между тем в этом автографе, не отделанном, окончательно не просмотренном, есть вещи, с которыми нельзя примириться. Подшучивая над мало даровитым товарищем своим, поэтом Кюхельбекером, Пушкин обращается к нему так:

«Писатель за свои грехи
Ты с виду всех трезвее
Вильгельм прочти свои стихи
Чтоб мне уснуть скорее».

«Выходит, что Кюхельбекер стал писателем за свои грехи, — мысль совершенно непонятная. Дело объясняется, однако, очень просто, если напечатать стихи со знаками препинания:

«Писатель! За свои грехи
Ты с виду всех трезвее».

«Так неужели же», спрашивает Венгеров, «издатель должен довести свое благоговение до того, чтобы не поставить от себя явно пропущенный здесь знак обращения — запятую или восклицательный знак?».

Оставляя в стороне общий вопрос, возбужденный Венгеровым, отметим здесь, что и Венгеров, попав в русло неправильного понимания текста прежними издателями, поставил знак препинания не там, где следует, и придал фразе не тот смысл, какой, как нам кажется, имел в виду Пушкин. Знак препинания, конечно, следует поставить не перед словами «за свои грехи», а после них:

«Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее».

В самом деле, при пунктуации Венгерова Пушкину приписывается обращение к Кюхельбекеру просто «писатель» без эпитета, без какого бы то ни было пояснения. Но Пушкин и в предшествующих строфах обращается к писателям:

3-я строфа:

«Дай руку, Дельвиг, что ты спишь?
....
....
За здравье нашей музы пей,
Парнасский волокита!»

6-я строфа:

«А ты, который с детских лет
Одним весельем дышешь,
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь» [М. Л. Яковлев].

Таким образом, во-первых, отпадает возможность понимать обращение к Кюхельбекеру со словом просто «писатель», как противопоставление его «не писателям». Во-вторых, такое противопоставление было бы слишком элементарно, даже грубо, для Пушкина, и не вязалось бы с его тонкой шуткой: сравните оттенки в обращениях к Дельвигу и Яковлеву.

Между тем, обращение «писатель за свои грехи» вовсе не непонятно, а заключает в себе совершенно ясную мысль: «ты, обреченный быть плохим писателем за свои грехи», и из такой характеристики Кюхельбекера заключительная шутка Пушкина «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне уснуть скорее», конечно, вытекает гораздо естественнее, чем из характеристики его просто словом «писатель».

Есть ли у нас однако право приписать Пушкину такое выражение, как «писатель за свои грехи» и в духе ли оно языка вообще?

Что шутливое выражение «писатель за свои грехи» заключает Пушкинскую мысль, едва ли нужно доказывать. Если ограничиться даже только лицейскими стихотворениями, достаточно припомнить стихотворение «К другу стихотворцу».

Что выражение «писатель за свои грехи» — вполне в духе языка, равным образом едва ли можно сомневаться. Сравните у Даля пословицу, приведенную под словом «грех»: «За наши грехи и Терехи дьяки».

П. Шеффер.

Ленинград.
1926. XII. 12.

Старинный трактат о письме заставок.

Еще в 1906 г., издавая свой труд «К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книж. и иконном строении. Вып. 1»,[1] я натолкнулся в сборничке XVII—XVIII в., вывезенном Вс. И. Срезневским из Олонецкого края, на тексты «Указа, как заставицы золотить», «О золоченьи заставиц ученье» и проч. и напечатал эти тексты, а вместе с тем продолжал свои поиски в рукописях старого времени и у ревнителей старины и начетчиков. И вскоре же мне удалось приобрести в Москве у старинщика из собрания Никифорова из Нижнего-Новгорода любопытный сборник, как бы свод всего, что обращалось во всенародии по части «указов», «памятей», руководящих рецептов и практических указаний на всевозможные технические секреты по ремеслам и технике мастерства. Судя по записи, сборник этот «о разных составех» писан в 178 году (1669 г.) «горада Арзамаса Николаевского девича монастыря дияконом Ильею Федоровым»; принадлежал сперва Михаилу Мещерскому, а потом с 1896 г. Никифорову в Нижнем-Новгороде; писан на 155 листах в осьминку. Весь текст этого замечательного сборника приготовлен нами к печати и будет издан целиком с необходимыми объяснительными замечаниями. В сборнике этом среди разных указов-рецептов: о чернилах, киновари, красках, калении перьев, глаженьи бумаги и т. под., встретился ряд листов, посвященных «Заставочному письму» — почти целый самостоятельный трактат. Ничего подобного до сих пор мне нигде не встречалось, и потому, в виду исключительной ценности означенного текста, я решаюсь извлечь его из моего сборника и напечатать отдельно, как вполне законченное целое.

«Заставица» — как термин уже встретилась в пергам. рукописи Архангельского Ев. 1092 г. в приписке Мичьки писца над заставицею (на л. 123): «люба заста|вице. . .».[2] В сербском Мирославов. Ев. XII века термин «заставити» равносилен — «украсити».

[1] Пам. др. письмен. CLXI, № VI, стр. 160, 163—4.

[2] См. у арх. Амфилохия «Описание Ев. 1092 г.». М. 1877, в снимке на табл. III; в «Орнаменте» В. Стасова — удалено.

Археолог-художник Ф. Г. Солнцев и составитель текста архит. Н. Жуковский, печатая снимки с заставиц из рукописей, спутал и их с «заложками» книжными (Архитект. Вестн. 1857). Впервые вполне точное и научно-обоснованное исследование о заставках появилось лишь в вышедшей в 1901 году «Славяно-Русской Палеографии» акад. А. И. Соболевского, на стр. 45 и след.

В древней Руси владыки, основатели русских монастырей — аскеты-созерцатели, преподобные, были в большинстве случаев великие эстеты, любители красот природы и творения, умели великолепно избирать красивые по природе местоположения для основания обителей, да и в писаниях их и поучениях нередко можно встречать строки с восторженным восхищением от природных явлений и далее к мыслям к всесовершенству единственного и всесовершеннейшего абсолюта. Что же удивительного, что они любили также иметь в обителях у себя и вырабатывать особый класс среди молодцов-паробков из послушников особо искусных каллиграфов, почти художников-артистов и книжных живописцев. Заставки особенно привились как одна из первых ступеней книжного украшения-орнамента. И вот писцы гордились и щеголяли почти взапуски, изощряясь в писании заставок. Заставки так высоко ценились, что даже библиотекари монастырские и правительственные писчики, дьяки XVI—XVII вв. из-под наряду для отчета переписывая книги в монастырской казне или книгохранительнице-библиотеке, считали своею обязанностью делать точные указания на внешний вид, технику и род заставиц: ими различались заставицы: а) на золоте, б) на красках, в) черные, печатные. По форме украшений: *кресчатыя, кружчатыя, клѣтчатыя, клинчатыя, травчатыя, фрязские* (с травами) с *фряжскими* узорами, т.-е. западными, — далее: *печатные, черные,* т.-е. подражающие орнаменту печатных книг. С течением времени иконные писцы-иконники были втянуты в расцвечивание и художественную обрядку особенно подносных книг и книжная живопись перешла в область чистого художественного искусства, печатные гравюры тоже ими раскрашивались даже иконными красками.

Вот несколько выписок из монастырских описей XVI—XVII столетий. 1. Ермолой не подписан чей. *заставица* на красках одна *кресчата* (Опись Волок. мон. 1591 г.). 2. Книга в полдесть, Правило (Ивана Постника) поволочено кожею, *заставица* писана *кружчатая красками,* в затылок, ветха. В книгохран. (Опись кн. Троицк. Серг. м. 150 г.). 3. Псалтырь в осминку писмяная на бумаге с каноны, а в ней в начале заставица писана красками *клѣтчата,* переплетена вырхе застѣжки мѣдные (Оп. Св. Тр.-С. Л. 1642 г. л. 279). 4. Книга в десть на бумагѣ, Минея на Ноябрь, в началѣ житие Козмы и Даміана, *заставица* писана золотом *травчатая*. В книгохран. (Оп. кн. Троицк. Серг. м. 150 г.). 5. Евангелие архимандрита Юрьевскаго, бывшаго Леонида, *заставицы фрязские на золоте с травами.* А строки и слова обычные.... (л. 116. Оп. Волок. мон. 1591

в десть). 6. Евангелие архиепископа Полоцково Трифона Ступишина *заставица* и слова и статьи *фряские* писаны золотом и строки болшие золотом (Оп. Волок. мон. 1591 в десть). 7. Октай в десть на бумагѣ четырех гласов, писменой, *заставица* писана золотом, *узор фряской*, с начала первой глас. В книгохран. (По описн. кн. Троицк. Серг. м. 150 году). 8. Евангелие печатное Никиты Фуникова, *заставицы* и слова *печатныеж*... (л. 117. Оп. Волок. мон. 1591 г. в десть). 9. Псалтырь в десть на бумаге, а в ней сорок восмь глав черново священика Макар(ь)я, что привезена с Алатаря а в ней сначала писана заставица *чернилом травная* и по полям у псалмов писаны *цветки чернилом* и *красками*, переплетена в коже, застѣжки и жуки мѣдные (Оп. Св. Тр.-С. Л. 1642 г. л. 279).

Трактат — «Ученье о заставничном письмѣ», занесенный в сборник дьяконом Ильею Федоровым, писан скорописью XVII в. с надстрочными знаками и выносными буквами, с титлами, с ѧ, ꙗ, ꙋ, ѡ, ѿ, ѕ, ꙣ.

Что касается *языка*, то он русской рецензии, и даже местами в сторону простонародного, отчасти областного выговора: за́стовица, за́стовничное (письмо), леквас, леквасить, в общем же основа церковнославянская.

СОСТАВ и СОДЕРЖАНИЕ ТРАКТАТА.

§ 1. Очертить по правилу (по линейке), размерив *кружалом* (циркулем), где будет полагаться золотой грунт. — Клеить 3 раза кистью.

§ 2. В жидком клею расстворити *бѣлил* и *левкасить* по бумаге кистию, смотря чтобы не наплавливать густо на бумагу, а чтобы свет сквозь бумагу был виден. — Края очищать желѣзкою. — Очертить около заставиц *графьею* или *свайкою*, чтобы было ясно, где быть золоту.

§ 3. *Подвохрить* жидко в другой раз и засушить.

§ 4. По вохре водою подводить кистью да *золотом* подпустить (с клеем).

§ 5. Когда высохнет, *выгладить зубом*. — Очертить по правильцу золото вокруг заставиц.

§ 6. Сделать *опушки* чернилом и *наугольники*.

§ 7. По кружалу отчертить *поле* для того *узора* — место широкое или узкое, смотря по тому, какого размера будет *окольный узор* около заставицы.

§ 8. Если желательно для окольных узоров *рáзнить* краски, то надо наблюдать эстетическое правило: а) *окольный узор*, бакан или чернило; *опушка* — *лазорь*; б) *окольный узор* — чернило, синь, лазорь; *опушка* — *киноварь* или *бакан*.

§ 9. По золоту *знаменить* узор бѣлилом.

§ 10. *Размерить* кружалом место для заставицы, а для *великой* заставицы нужно размерить ее на крест и вдоль и поперек.

§ 11. Где быть узору и наложению красок, там выскрести золото, белилами и красками покрывать: *корень* и *вѣть* и *стебель* и *круги* — лазорем; покрыв же баканом, или киноварем или лазорем *пробеливать* бѣлилами. — А прокрыти *темно* зеленью, пробелить с *желтью*, а по сурику — чернилом или баканом.

§ 12. Для *закрѣпления* краскам — комедь Цареградская да желток яичной.

§ 13. *Составление* красок: [? желти и сини] с бѣлилом станет *празелень*; *желть* с киноварем станет *сурик*.[1]

Встречать в старых памятниках литературы нашей и письменности мнения русских деятелей с их суждениями о художественных формах, это — великая редкость. В нашем же трактате говорится о стиле заставок уже как бы в виде продолжения того их типа, которым украшен кодекс Геннадиевской Библии 1499 г. с изображением боговидца Моисея внутри. Этот уже совершенно травный тип орнамента в заставках, получив особенное подкрепленье в заставках старопечатных книг, начиная с московского Апостола 1564 г., все изменяясь, конечно, дожил почти до появления книг гражданской печати. Этот травный орнамент в его натуральных типах листьев, трав, плодов стал уже грешить и на русской почве отклонением в сторону отрицания здорового вкуса или скорее охотно шел навстречу в своих исканиях за мертвою или поблекшею природою: он охотно вводит в средину рамки заставок красные и желтые омертвелые или засохшие листья или части их; иногда, впрочем, киноварью суриком и желтью он хочет изобразить только загнувшиеся части листов и стеблей трав и проч., но иногда берет сплошь несколько листов или травных полос и окрашивает в красный или желтый цвет подряд все, что ясно засвидетельствовано в заставках упомянутого типа.

В нашем трактате мы имеем, конечно, в том виде, как проредактировал текст его собиратель XVII в. Илья Федоров, сложный конгломерат-спайку взглядов на художественную композицию и даже в частности технику разных более или менее удаленных друг от друга эпох и местных пунктов работы. Основа, разумеется, греко-византийская: золото и для подволоки-настилки (грунта), оно же и для раздела между многоцветным покрытием внутренних частей заставки, что напоминает золотые перегородочки в византийских эмалях. Серебра же и в помине нет. Золото всюду чистое — ни о потали, ни о серебре, подцвеченном щучьею желчью и т. под. способами нет ни звука. Названия красок — иконописные старые, XVI в. К сожалению места о «составлении» (смешении) красок попорчены, а может быть, было так уже и в оригинале у Ильи Федорова, а оно было бы очень важно для критики текста. Пристрастие к употреблению кроме кисти еще и снастей при художествен-

---

[1] О составлении красок см. в моем издании «Обиход кн. писца....» на стр. 42 и в других местах.

ной работе — «прави́ла» (т.-е. линейки), «кружа̀ла» (циркуля), «графьи» (острый инструмент иконописцев и писцов, унаследованный от греко-романской эпохи), лощильного «зуба», «железца» для вычищения и глажения, для замены графьи дозволено довольствоваться при нужде и «свайкою» — и термины свои и старые, унаследованные от Византии и южных славян, все-таки говорят еще об относительно старой эпохе искусства. Интересно, что линейки фигурной — «лекала» — нет совсем нигде. Художественное «пробеливание» белилом по золоту — прием греческих мастеров и пошедших от них новгородских иконописцев. Особенно любопытны указания на пробеливание сильных мест: «покрывать корень и вѣть и стебель и круги — лазорем. А покрыв баканом или киноварем, или лазорем, пробелить белилом. «А прокрыти тѣмно зеленью — пробелити с желтью; а по сурику — чернилом или баканом».

И так в основе — старое художественное предание, наследие византийско-славянских влияний, осложненное западными и отчасти восточными запасами моды, техники и проч.

Употребление рамок, «опушки», «окольных узоров», и особенно подчерчивание чернилом по «правилу» (линейке) вокруг золота и бортов, вообще прием, стеснявший творческую мысль художника, — все это намёки на западные приемы творчества и, так сказать, централизацию художественных приемов и вкуса в художественном исполнении. С преизящным изографом Симоном Ушаковым и его школой многое унормировалось в деле заставочного письма и вот, по нашему мнению, отсюда и должно выходить стремление автора трактата внести, хотя бы в слабой степени, отчетливость и закономерность в подбор красок-колеров и вообще в применение многокрасочности (полихромии) вообще. Мы не указываем примеров применения правил трактата по «Альбому» Стасова, так как это потребовало бы гораздо более места для изложения, а нам хотелось лишь указать на тот факт, что в старой Руси бывали случаи появления суждений о памятниках изобразительного искусства и в отношении их изящности вкуса и их закономерной формы.

В приложении даем — «Учение Застовничного письма» по рукописи 178 г. = 1669 г. (Л. 90).

Преже, очертивъ по правилу, размѣрить кружаломъ мѣсто, гдѣ быти золоту. Да очертивъ клеити до 3-жды. А *мѣра клею* — какъ лоскъ учнетъ быти отъ клею на бумагѣ. А клей бы былъ не силенъ, как бы бумаги не свело вмѣсто. Да въ томъ же клею разтворити бѣлильца жиденько. Да левкасити ровненко по бумагѣ кистью, ненаплавливать, и какъ свѣтъ сквозь левкасъ знать бы было, ино то левкасить полно. А доглуха не левкась, чтобъ свѣта сквозь левкасъ не знать. А налевкасити, засушиваючи, да чистить заставицъ по левкасу желѣзомъ. А какъ искоробивати ся учнетъ отъ левкасу заставицы, ино их класти въ книгу да выносити вонъ

(л. 91) из великаго тепла въ студеную хоромину. А почистити заставицы по левкасу желѣзцомъ. Да вытрити чистымъ платомъ. Да очертити около заставицы граѳьею или свайкою и сняти была черта около заставицы, гдѣ быти золоту, да протерти платомъ чистымъ заставицы по левкасу, да подвохрити жиденко в другой рядъ. Да засушивъ вытерти платомъ чистымъ. По вохрѣ водою подводити кистью, да золотомъ подпустити, а подпускъ чинить: в воду закинути клейку того же иконного. А подпускъ, подогрѣвъ въ раковинѣ (91 об.) подпущати — какъ бы не горече было. Да какъ высохнетъ, выгладить зубомъ, да очертить по правилцу золото кругъ заставицъ очистити кругомъ желѣзцомъ. Да опушки сдѣлать черниломъ, да наугольники сдѣлать, да по кружалу очертить поле тому узорцу мѣсто, широко или узокъ вздумаешь узоръ окольной около заставицы написати разначеннымъ узоромъ, а не возбранно захошь окольныхъ узоровъ — и краски рознишь: ино бакαномъ окольной узоръ, ино синью, ино лазорью. А котора опушка покроется лазоремъ, а ино окольной узоръ у тое заставицы черниломъ или бακаномъ. У которой (л. 92) заставицы опушка покроется киноваремъ или баканомъ, ино узоръ окольной черниломъ или синью или лазоремъ. А по золоту знаменити узоръ бѣлиломъ размѣривъ кружаломъ. А великую заставицу размѣрити ея на-крестъ и вдоль и поперегъ, да узоры вызнаменавъ, да гдѣ краскамъ быти и туды выскребати золото, бѣлилами и красками покрывати — *корень* и *вѣтъ* и *стебель* и *круги* лазоремъ. А покрывъ баканомъ или киноваремъ или лазоремъ, пробѣлити бѣлиломъ. А прокрыти тѣмно зеленью, пробѣлити з желтию, а по сурику черниломъ или баканомъ. А крепление краскамъ: комѣди цареграцкие моченые. А не лучится (л. 92 об.) комеди, клей вишневой моченой да в кои да тутъ же закидывать в краски желтка яишнаго свежего яйца, а не мерзлова, и не кислова — развести киноварь: не клади яйца в томъ на которомъ киноварь хощешь твореньмъ золотомъ писати. Сице есть учение *застовничному пису*.

Составление краскамъ: (. . . ?) з бѣлиломъ станетъ празелень, желть с киноварем станетъ сурикъ. (л. 97) о сняти(и) заставицъ. Памят(ь) как писати ѳраски. заставицы на проемъ желъчью да шафрану закинути мелѣнко и в прочие такожде (л. 97), да кислыхъ штѣй,[1] припустить маленко, напропис(ь) яри да желти закинути ино не потонетъ ||

П. Симони.

Ленинград.
1926. XII. 12.

[1] На поле отсюда приписано и обрезано при переплете в конце.

Повесть и песни о кн. Михаиле Скопине-Шуйском.

Факт трагической смерти известного героя Смутного времени, князя Михаила Скопина Шуйского, дошел до нас в обильном и разнообразном поэтическом отображении. Он послужил сюжетом трех произведений, сложенных вскоре после самого события. Если прибавить к этому, что и чисто историческая сторона события и связанных с ним обстоятельств может быть установлена с значительной степенью достоверности, то надо признать, что мы располагаем здесь исключительно благоприятным случаем для наблюдений и над литературным творчеством начала XVII века и над свойствами эпической традиции.

Дальнейшие строки представляют собою краткое изложение выводов моей большой статьи, посвященной изучению песен и повести о М. Скопине-Шуйском, и принятой для напечатания в Известиях Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук СССР.

I. Повесть о Михаиле Скопине-Шуйском дошла до нас в двух версиях. Первая — состоит из двух частей, имеющих особые заглавия, а именно: а) «О рожении воеводы князя Михаила Васильевича Шуйского-Скопина»; б) «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина». Вторая версия имеет одно общее заглавие: «О рожении князя Михаила Васильевича». Первая версия является первоначальной, на что, кроме соображений, высказанных проф. П. Г. Васенко, указывает наблюдение над органичностью одного места в самом тексте первой версии. Обе части первой версии повести написаны одним и тем же автором, так как характерные черты манеры письма здесь и там тожественны. Все произведение отличается редкой пестротой стиля. Основным стилистическим слоем его служат формы и приемы житийного повествования. Их можно наблюдать и в заимствовании отдельных выражений из книг ветхого и нового завета, являющемся формальным использованием библейского текста и в сближении соответствующих ситуаций по их содержанию. Далее следует отметить введение композиционной разновидности плачей-причитаний, имеющих ряд общих черт с книж-

ными плачами в житиях и повестях. Агиографические приемы письма лучше всего выявляются в массовых сценах при выносе тела Скопина и отпевании в Архангельском соборе. Обе картины состоят из общих мест, хорошо знакомых житийному письму. Второй стилистический слой составляет устно-эпический элемент, особенно ярко выступающий в рассказе об отравлении Скопина, заимствованном из эпической песни, — и отчасти в других местах повести. Для данного стиля особенно характерны сочетания с эпитетами: дружина хоробрая, хоромы княженецкие, ясные очи и т. д. Пестрота стилевого узора нашей повести еще более осложняется вследствие механического введения отрывка из Сказания Авраамия Палицына, изображающего Калязинский бой — в типичных формулах древней героической повести. На долю личных черт стиля можно отнести отдельные сравнения, навеянные живыми впечатлениями, и прием нанизывания формул. Стилевой пестроте повести вполне соответствует ее композиционная неустойчивость. Автор, обуреваемый впечатлениями современности, не мог выразить их ни в одном из знакомых ему жанров и поэтому бросался от одного к другому и лишь движимый пафосом к оплакиваемому герою с трудом преодолел свою далеко не легкую задачу.

II. Исследование песен о Михаиле Скопине-Шуйском, очень важное для изучения свойств эпической жизни в ее процессе, приводит к следующим результатам.[1] Для восстановления прототипа исторической песни-былины о Скопине, сложенной вскоре после 1610 г., особенно важен вариант Кирши Данилова, записанный в XVIII в. Он нуждается только в восстановлении нескольких забытых имен, да в реставрационных исправлениях в пределах последней своей части. Кроме того, в прототипе песни, слагавшейся вскоре после самого события, не было смешения персонажей шурина Скопина и шведского полководца Делагарди. Нет сомнения, однако, что фактический материал песни уже тогда разработан был с помощью двух эпических мотивов — хвастанья на пиру и непослушания матери. Сопоставление прототипа песни-былины о Скопине-Шуйском с данными истории дает возможность

---

1 Когда настоящая работа была закончена, вышли в свет и были получены в Москве Известия Северо-Кавказского Педагогического Института (II, Владикавказ, 1924) со статьей В. А. Алборова «Песни о Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском». Постановку вопроса в этой статье не могу признать методологически правильной и ограничусь двумя словами об ней: лирическая песня, записанная для Ричарда Джемса не выделена здесь достаточно четко из остального песенного материала, а группировка вариантов исторической песни-былины разрубает на две части старую и ценную запись Кирши Данилова и вообще не мотивирована анализом вариантов. В то же время выводы страдают неопределенностью и совсем не дают «эволюции» песен о Скопине, на что претендует автор. Кроме того, как это ни странно, автор, знакомясь с литературой вопроса, упустил из виду самое главное: посмертный труд В. Ф. Миллера «Исторические песни русского народа XVI—XVII в.», Спб. 1915; поэтому круг вариантов песни, привлеченных к исследованию, оказался неполным: нет вариантов, напечатанных у В. Ф. Миллера под №№ 199, 204, 209.

судить, какую важную роль в ее сложении играл исторический фактор. Дальнейшая судьба песни-былины о Скопине, ее эпическая жизнь в течение трех веков познается путем анализа вариантов, записанных в разное время в различных местностях. Систематический анализ вариантов вскрывает процесс прогрессирующей утраты исторического элемента. Вариант Кирши Данилова, наиболее полно сохранивший песенный прототип, мог быть изложен в виде девяти частей, каждая из которых имела историческую основу. В прототипе была кроме того десятая, последняя часть, заключавшая в себе описание похорон. Разрушение и забвение исторического состава песни шли различным образом и прежде всего с конца ее и с начала. Так, в Олонецких вариантах из 10 частей уцелели только первые две и отчасти шестая — в виде победы над Литвой и очищения Москвы. Во всех же остальных вариантах наоборот совершенно утратилась вся первая половина песни, состоящая из 6 частей. Так, Вологодский вариант сохранил лишь последние части: 7, 8, 9 и 10. А все другие еще меньше: в лучшем случае 7, 8, 9, а иногда лишь две, да и то в измененном виде. Так велико было действие отрицательного фактора — забвения древней исторической песни. То, что уцелело от нее, сохранилось лишь благодаря полученной композиционной опоре: был ли это эпический мотив непослушания матери и хвастанья на пиру, или ассоциации с другими песнями. Далее, анализ вариантов раскрывает общие свойства их и ведет к известной группировке. Одни из них, очень немногие, крепко хранят древнее песенное достояние и имеют большую ценность для восстановления прототипа. Другие варианты, утратив те или иные черты древней песни, претворяют уцелевшие остатки и создают песенные образования, которые являются новыми важными фактами эпической жизни. Третью категорию составляют варианты дефектные. Они часто не имеют значения, будучи неполными параллелями того, что известно в цельном виде, но иногда представляют большой интерес, как ценные обломки старины. Таков, напр., короткий отрывок из «Древних русских стихотворений Суханова» 1840 г. с именем воеводы Головина. Для изучения эпической жизни особенно интересны варианты второй группы, не столько сохраняющие древнюю песню, сколько ее претворяющие. На путях этого претворения можно наметить несколько этапов, которые в сущности являются особыми песнями, находящимися с прототипом в более или менее отдаленном родстве. Таковы именно: а) Олонецкая песня, сюжет которой состоит в том, что Скопин-Шуйский освобождает Москву от Литовского засилья с помощью Никиты Романовича; б) Якутская песня: Скопин, торговый человек, не послушавшись матери, гибнет от отравы кумы; в) Симбирская песня, хотя и сохраняющая исторические черты столкновения Скопина с Шуйскими-Воротынскими, но изменяющая фабулу путем органического изменения развязки: гибнет не Скопин, а кума-отравительница. И наконец, г) Архангельский тип песни, изменяющий фабулу вставными эпизодами и добавлением новых развязок, выдвигаю-

щих роль матери Скопина. Главным источником литературного обновления каждого данного сюжета служил прежде всего былинный эпос и все эпическое достояние в целом. Отсюда черпались и мотивы, и персонажи, и отдельные эпизоды и общие места описаний, а порой и сказочные черты. Таким образом, роль чисто литературного фактора в развитии эпической традиции должна быть выдвинута особенно. Прямые воздействия быта сравнительно редки: быть может на долю их нужно отнести то снижение образа Скопина, которое наблюдается в Якутской песне, в одном случае записанной от мещанина Совикова, в другом от казаков, т. е. попавшей в среду, несколько чуждую прямых продолжателей эпического песнотворчества. Хронология указанных новообразований определяется главным образом временем их записи. Почти все они сложены едва ли ранее XIX в. Только Олонецкая песня сложена по крайней мере в начале XIX в., а быть может во второй половине XVIII.

Что касается песни, записанной для Ричарда Джемса в Архангельске в 1619—1620 г., то она по характеру своему стоит совершенно особо от той песни-былины, которая была предметом нашего изучения. Данная песня — есть чисто лирическая композиция, хотя и возникшая на основе исторических фактов. Сложена она была, вероятно, вскоре же после самого события, раньше, чем повесть и песня-былина. Глубокое различие ее от последней не исключает известного соприкосновения их только в одном пункте, именно в форме начала.

В. Ржига.

Москва.
1926. XII. 13.

К вопросу о выписи о втором браке царя Василия III.

К числу любопытнейших памятников XVI века принадлежит известная «Выпись изъ государевой грамоты, что прислана къ великому князю Василію Ивановичу, о сочтаніи втораго брака и о разлученіи перваго брака чадородія ради. Твореніе Паисѣино, старца Ферапонтова монастыря». Под таким названием этот памятник был напечатан в чтениях Общ. Ист. и Древн. Росс., 1847 г. (№ 8).

Строев в «Библиологическом словаре» приписал авторство выписи Паисію Ярославову (стр. 222), в неопределенной форме это же утверждение повторил В. С. Иконников.[1] Несколько подробнее говорит о выписи Е. Е. Голубинский. Останавливаясь на том месте выписи, где говорится, что наследник Василия от второго брака будет мучителем, Е. Е. Голубинский заключает, что «сказание составлено не ранее второй половины правления Грозного».[2]

Надо заметить, что все исследователи строили свои предположения, опираясь на текст напечатанный по двум рукописям, принадлежащим Погод. собранию (№ 38) и Моск. Синод. Библиотеке (№ 347—466). Но уже Строев знал еще один список выписи, XVII века, находившийся в библиотеке Флорищевой пустыни. Выпись также почти целиком вошла в житие Максима Грека, изданное С. А. Белокуровым по рукописи XVIII века.[3]

В моем распоряжении были еще два списка выписи, которые позволяют мне осветить этот памятник с несколько новой стороны. Первый из них — сборник XVII века из собрания Чудова монастыря за № 355. Здесь, на лл. 276 об.—290, помещена — «выпис(ь) о первомъ и о втором браце, что прислана к великому кнзю Васил(ь)ю Ивановичю о сочтании 2-г(о) брака и о разлучении 1-г(о) брака. Творение Паисѣино старца Серапонскаго мтря». Отличаясь только заглавием, этот список повторяет печатный текст и дает только незначительные варианты. Гораздо интерес-

[1] Максим Грек и его время, 2-е изд., стр. 455—456.

[2] История русск. церкви т. II, перв. полов., стр. 733.

[3] О библиотеке Московских Государей, стр. LV—LXV.

нее та же выпись, которую находим в очень сложном по составу «Летописце князя Хворостинина», пол. XVII века (Увар. собрание, № 1386 (116), лл. 301—307).

Заглавие выписи в «Летописце» почти такое же, как и в напечатанном тексте, но название монастыря иное — «творение Паисѣино старца *Серапонскаго* м҃нтря». Список интересен своими особенностями, сохранившими более исправный текст, чем в напечатанном списке. В дальнейшем я буду ссылаться на поправки Хворостининского летописца. Указанные списки в настоящее время принадлежат Гос. Историческому Музею в Москве.

Заглавия всех списков, как мы видим, очень сходны. Но как объяснить разницу в наименовании монастыря, в котором жил Паисий? В двух списках монастырь назван «Ферапонтовым» (Синод. и Погод.), в двух других «Серапонским» (Чудов. и Хвор. летоп.), список Флорищевой пустыни занимает среднее место, в нем монастырь называется «Ѳерапонским». В тексте выписи еще раз упоминается «Серапонский» (в печ. Ферапонтов, стр. 5) монастырь в числе Афонских монастырей. О каком же Афонском монастыре идет речь? Обращаю внимание на одно летописное известие. В 1518 году в Москву прибыли Афонские старцы, «а напередь тѣхъ старцовъ за годъ пришелъ отъ святыхъ 40 мученикъ от Ксиропотама монастыря Исаія священноинокъ Сербинъ». В другом списке той же Никоновской летописи монастырь назван иначе — «Ксиропонтама» (П. С. Л., XIII, 28). Название — монастырь Ксиропотама для русского слуха было достаточно сложным: так, в Воскресенской летописи название того же монастыря совершенно искажено «отъ Зиропта», «отъ Ксиропта» (П. С. Л., VIII, 263).

Монастырь Ксиропотама носил и другое наименование. В сказании о святогорских монастырях вт. пол. XVII века читаем: «монастырь Ксеропотамъ, Серапотанъ тожъ. Храмъ святыхъ великомученикъ 40-а иже в Севастіи пострадавшихъ; строеніе святаго апостола Павла Серапотанскаго».[1]

На Афоне был и другой монастырь, носивший название Ксиропотама, но еще более известный под наименованием святого Павла. Сведения об этом монастыре находим в одной греческой книге, посвященной истории Афона (Τὸ ἅγιον ὄρος, ἐν Ἀθήναις, 1903). Автор говорит о монастыре святого Павла: «горный поток, выбегающий из вершины Афона, называется Ксиропотамос, от которого получил первое название монастырь (св. Павла), называемый (монастырь) Ксиропотама, откуда и святой Павел, ктитор современного Ксиропотама или Хлоропотама, назван Ксиропотамским» (стр. 599). Следовательно, и этот монастырь, построенный Павлом Серапотанским, мог носить название «Серапотанского» монастыря. Думаю, что Серапо-

---

[1] Арх. Леонид. Рассказ о Святогорских монастырях архим. Феофана. Изд. Общ. Любит. Древн. Письм. Спб. 1883, стр. 9.

танский монастырь может быть отожествлен с Серапонским монастырем нашей выписи. Так, этот монастырь и назван в тексте выписи, изданной Белокуровым: «Серапотанский монастырь Святыя горы» (стр. LXI).

Подтверждение мысли об Афонском происхождении Паисия находим в той же греческой книге. Здесь (стр. 123—124) издан акт, датированный 1544 годом. Под актом читаем подписи представителей Афонских монастырей, среди которых находим подпись — Παΐσιος ἐκ τοῦ ἁγίου Παῦλου (Паисий от святого Павла), сделанную по славянски (σλαυιστί). У нас есть известное право видеть в этом Паисии — автора нашей выписи. Признание Паисия старцем одного из Афонских монастырей позволяет нам несколько по иному отнестись к самой выписи. Прежде всего удовлетворительно объясняется наличие в выписи ряда непонятных слов: они могли быть заимствованы из какого-либо восточного языка и до неузнаваемости искажены. Заглавие также испорчено: слова «выпись изъ государевы грамоты, что прислана къ великому князю Василію Ивановичу» — бессмысленны, их нет в Чудов. списке, несомненно, они вставлены позднее. Кроме того, памятник потерял уже рано начало и конец; в настоящем своем виде — это, действительно, только выпись. По составу памятник тоже мозаичен и распадается на три части: первая говорит о деле Васьяна Косого, вторая — о послании патриархов, третья — о соборах на Афоне. Все эти части основаны на различных источниках и только соединены общей темой.

Когда же была составлена выпись? Автор путает соборы 1526 и 1531 года (см. у Е. Е. Голубинского), следовательно, он писал после 1531 года. Но, рядом с этим у Паисия находим хорошее знакомство с действующими лицами и их яркую характеристику. Для примера я приведу два места выписи, по Хворост. Летописцу, так как списки, послужившие к печати, дают здесь искаженный текст. Выпись такими чертами описывает положение Васьяна при дворе: «Держащу ж ему (Василию III) старца во обители зовомой в Симонове митрѣ Вас(ь)яна Косого от рода кралскаго кнзъ Івановъ снъ Юр(ь)евича а в мире его звали кнзъ Василей Іванович Косой, а был он у отца его великого кнзя Івана Васил(ь)евич(а) боярин за ради бѣседы дшевныя а не сокровенно от него нечтож» (л. 302). Еще ярче изображается участие митрополита Даниила: «и вскоре ж епистолия доиде ко гдрю от патріархъ і великому гдрю о сем скорбь велия налѣжит и посылаетъ отца своего дховнаго к митрополиту сь епистолиею именем Василия протопопа Блговѣщенского. Митрополит же взя и прочет г(лаго)ла во своеи странѣ нечестива имѣет цря, да блажит его сего ж нашего гдря православнаго, укаряет но сну Василие великому гдрю учини блгословение и возмем на ся всем вселѣнскимъ собором и блгословим творити ему тако о чем печал(ь) имѣет» (л. 305 об.). Имя Василия протопопа пропущено в печ. тексте, и можно подумать, что митрополит говорит с самим Василием III. Совершенно точно очерчен и круг соучастников митрополита: арх. Иона, Досифей Сар-

ский, Васьян Топорков, известен сведеный дьяк Трифон Ильин, дьяки Андрей Гостев и Семен Плешивый. На хорошее знание автором описываемых событий указывает и следующее: автор точно называет султанов, правильно указаны Афонские монастыри, правильно назван Иерусалимский патриарх Марк. Наконец последнее замечание. На соборе в Ватопедском монастыре первым держит речь «Гавріилъ, и глаголетъ сице отецъ великіи, прота и учители» (стр. 6). В тексте, изданном С. А. Белокуровым, к имени Гавріил добавлено — «инокъ, Мстиславичъ». Повидимому, Гавриил был протом Святой горы. В упомянутой выше греческой книге читаем, что в 1527 г. протом Святой горы был «Гавриил иеромонах» (стр. 112).

Как же теперь объяснить хронологическую путаницу памятника? Ее можно объяснить только тем, что выпись писалась по памяти или с рассказов людей, знакомых с событиями. Помнились характеристики действующих лиц, падение Васьяна естественно ставилось в связь с разводом великого князя, но даты были забыты и слились уже в одно целое. Можно, впрочем, точнее указать время составления выписи. На него указывает известное место выписи о том, что сын от второго брака будет мучителем. Выражения — «грабитель чюжаго имѣнія», «будутъ въ та лѣта убиванія многа и муки», «затоцы безъ милости», «мнози гради огнемъ попрани будутъ» — не надо обязательно переносить в глубь второй половины XVI века, — они могут относиться и к ранней молодости Ивана IV. «Дела разбойнические», попаление Москвы «презельным огнемъ», «неисповѣдимое пленение» отъ татар случились при молодом Иоанне, до прибытия Сильвестра.[1] Эти несчастья могли побудить Паисия к составлению выписи, которая, таким образом, датируется 1545—1547 годами.

Может быть, выпись была уже известна и Курбскому, который тоже связывает судьбу Васьяна с разводом Василия III, говоря вначале о заточении Васьяна, а потом уже о рождении Ивана IV. Слова Курбского о разводе — «аще и возбраняюще ему сего беззаконія многимъ святымъ и преподобнымъ» — можно сопоставить с рассказом выписи о соборе Афонских старцев (там же, стб. 3—5).

М. Тихомиров.

Москва.
1926. XII. 13.

---

[1] Курбский. История о великом князе Московском. Спб. 1913, 5—9.

Книга «Рай» особый вид Златоустника.

У кн. Курбского, в послании к некоему старцу в Печерский монастырь, мы находим восторженный отзыв о «книге, глаголемой Райской». «Книга глаголемая Райская», пишет он: «отъ вашея святости къ рукамъ моимъ пришла, и нѣкая уже отъ словесъ в ней смотрѣлъ есми, и мню, яко недостаточствуетъ сіе имя, но воистинну небесной красотѣ уподоблена и всякими преудобренными словесы украшена и священными дохматы свидѣтельствована».[1] До сих пор отсутствие указаний на соответствующий рукописный памятник лишало возможности определить, что это за книга.[2] Конечно, нельзя было здесь думать ни о «Рае» — собрании патеричных рассказов и изречений, ни о «Рае мысленом» — сборнике афонских преданий, так как тот и другой появляются в переводе (и в печатных изданиях) на целое столетие позже,[3] от более же раннего времени нет памятника, к которому не по домыслу, а на основании старых рукописных свидетельств можно было бы отнести цитированную фразу.[4]

Что собственно дает эта фраза? Несмотря на ее панегиризм и нереальность, она, частью по связи с последующим текстом, все-таки позволяет проецировать свой объект хотя бы приблизительными очертаниями. Говорится о книге, делившейся на

---

1 Русск. Историч. Библиот., XXXI, 377. — Цитируется применительно к списку б. Казан. Дух. Акад. Соловецкого собрания, № 852, использованному для вариантов к изданию, так как чтение «иже суть в божіихъ церквахъ» изданного текста, вместо слов цитаты «отъ..... пришла и» по соображениям и синтаксиса и общего смысла не может не быть признано заменой, ср. аналогичный ей пропуск в Послании к старцу Васьяну (ц. изд., 383): «а книгу и Герасимово житие и счет лѣтомъ привезли же ко мнѣ», при том же соотношении списков (те же самые). Т. е., в обоих случаях изъятию подверглись места, говорящие о присыле Курбскому книг и устранимые без вреда для главной темы того и другого послания.

2 Ср. у А. И. Соболевского. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., СПб. 1903, стр. 312, примеч.

3 Там же, стр. 311—312; 331.

4 Результатом домысла является название «Рай» в применении к рукописи Азбучного патерика XV в.; см. Сведение о некоторых славяно-русских рукоп., поступивших в библиот. Тр.-Серг. Дух. Семинарии в 1747 г., вып. 1 (М. 1887), стр. 100.

какие то «словеса». «Словеса» эти могли читаться порознь, независимо друг от друга; впрочем, полнота богословской аргументации объединяла их, придавая характер цельности всему собранию. О предметном содержании книги ничего не сказано, но не случайно Курбский, после вышеприведенного отзыва, продолжает: «И повѣсть ону прочтохъ, глаголемую Никодимову», с явным тоном антитезы по отношению к только что восхваленной «книге Райской». Апокрифическое (или «новое», по Курбскому) Никодимово евангелие является в его глазах «. . . воистинну ложь . . . . . и неправда и отъ нѣкоего неискусна и лукава написано»; содержащемуся в нем «лжеплетению» следует противополагать то, что о страстях христовых читается в четырех канонических евангелиях. Экзегетика церковных предпасхальных реминисценций крайне интересует Курбского, с чем нельзя не считаться при анализе послания, открывающегося похвалою «книге Райской», а затем переходящего в критику Никодимова евангелия и до конца ее не исчерпывающего.[1]

Время переписки знаменитого деятеля эпохи Ивана Грозного с Псково-Печерским монастырем падает на 60-ые годы XVI в. Местность, откуда им была получена «книга глаголемая Райская» так же достаточно ясна, сводясь к району Пскова, именно к Псково-Печерскому монастырю, снабжавшему его и другими книгами. Если дело понимать так, что книга впервые встретилась Курбскому, человеку для своего времени высоко образованному, в окраинной великорусской письменности, то это будет хорошо согласоваться с ее малоизвестностью, затерянностью среди массы рукописного материала, сохранившегося от XVI в.; кстати сказать, не знают книги под таким или схожим заглавием и перечни книг чтомых, разнообразно варьирующиеся в XV и XVI веках;[2] между тем, те высокие догматические достоинства, о которых упоминает Курбский, казалось бы, давали книге основание попасть тем или иным путем в число рекомендуемых для чтения.

Обратимся за разъяснением вопроса к самой рукописной традиции. Двумя экземплярами *книги Рай* владеет Государств. Исторический Музей в Москве: собр. Единоверческого монастыря, № 28, 1°, 318 лл. средины или третьей четверти XVI в., и собр. Уваровых, № 539, 1°, 262 лл. кон. XVI или нач. XVII в.[3] Та и другая рукопись по письму могут быть отнесены к средне-западно-русским, но в языке текста каких-либо западнорусизмов не обнаруживается. Область средне-русских говоров, издавна примыкающих с юго-востока ко Пскову, который и сам

---

[1] См. цит. изд. послания, 380, а также следующее затем (383—404) «Послание к старцу Васьяну», где автор вновь полемизирует с Никодимовым евангелием.

[2] Ср. Н. С. Тихонравов. Сочинения, т. I, стр. 147.

[3] Рукоп. Единов. 28 писана несколько косым почерком, с западнорусскими графическими навыками; письмо и вязь близки к Златоусту 1545 г., Гос. Ист. Муз. № 854 (см. снимок с вязи последней рукоп. у В. Н. Щепкина. Учебник русской палеографии, М. 1920, табл. 2). Графика рукоп. Увар. 539 еще в большей степени напоминает западнорусскую.

уже с первой половины XVI в. в значительной степени теряет свою диалектическую физиономию на письме,[1] могла бы служить чрезвычайно подходящею территорией для местного приурочения обеих рукописей «Рая». Обе оне носят на себе пометы — определения, там и здесь на входных листах: Единов. (полууст., может быть перв. пол. XVII в.)[2] «Златаустъ, сіирѣчь рай»; Увар. (скороп. нач. XVIII в.) — «книга глаголемая Іωана Златоута (sic) адреятисъ». По поводу этих наименований не мешает припомнить, что сборники типа Златоуста никогда не достигали объединяющего стойкого названия в нашей древней письменности: не мог не влиять процесс дифференциации, которая шла на почве осложнения основного типа.[3] Пестрота имен авторов и состава оказывали свое действие на Златоуст и родственные ему сборники, а отсюда создавались благоприятные условия для местных озаглавливаний книг; отсюда же, если тип и название той или иной книги не вошли в достаточном размере в традицию, проистекает и неясность в ее дальнейшей судьбе.[4] Возвращаемся к «Раю»: действительно, определяющие пометы на обеих музейских рукописях стоят в связи с отсутствием заглавия, палеографически входящего в процесс изготовления книги; имеющиеся орнаментальные элементы (заставка под оглавлением в Единов.; киноварью — инициалы и вязь в обеих рукописях) не предварены ожидаемым орнаментальным же заглавием; Увар. список начинается — после пустого места на л. 1, как бы оставленного для заставки — киноварной вязью: «*Предисловие*». Нерешимость озаглавить книгу, имея на то прямое указание в предисловии, сказалась достаточно наглядно и на Единов. и на Увар. списке.

Состав обоих списков, при разной полноте, один. Тот и другой открываются (почерки основного текста) одним и тем же предисловием, начин.: «Къ дверемъ бо рая земнаго аще пришедъ внидеши, многоразличніи сади тамо узриши . . .»,[5] и затем вплоть до конца Увар., заключающего 29 слов на период начиная с воскресенья

---

1 А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. М. 1907, стр. 289.

2 Полууст. почерк пометы близок (подражателен) почерку текста, но бумага данного листа относится к первой полов. XVII в.

3 А. С. Орлов. Сборники Златоуст и Торжественник (Пам. Общ. Л. Др. П. CLVIII), стр. 19.

4 В. М. Истрин. Замечания о составе Толковой Палеи, V. Сборн. Отдел. Русск. Яз. и Слов., т. XV, № 6 (1898 г.), стр. 103.

5 Вот текст предисловия по Единов.: Къ дверемъ бо рая земна[г]. аще пришедъ внидеші. многω различніи сади тамо оузріши, ω двою, или тріи[х] вкоусившоу ти насытишися. сія же книгы аще оусердіемъ ωверзеші, плωды небесныя обрящеши, и аще с разоумω[м] чести начнеши, николи же насытишися. Самого бо Хрїста, трапезоу преложеноу обрящеши. слоужителя трапезѣ лоукоу и матθеа еуаннелисты имоуща. врата же трапезы ωваряющи, и входящи, приходящая питати, Іωанна златоустаго имоуща. Осюдоу же исходящоу ти. въ дроугая врата внидеши. и тамо двда прірка и цря трапезоу обрящеши, дхωвною пищею изообилно исполнену, и тамо златословесного слоужителя имоуща. въ третія же врата входящоу ти, апльскыя плωды сладкы ωбрящеши, иже изначала вѣровавши[м] изъобилно преложиша. По сих же рай стых оцъ обрящеши, многоразличныя, і благоюханныя цвѣты имоуща; сего ради рай книга сія наречеся.

3-ей недели поста и кончая вторником страстной недели, единство состава нарушается только раз.[1] Наличность печатного описания Уваровских рукописей,[2] а также Соловецких (б. Казан. дух. академ.), на одну из которых будет сейчас указано, позволяет ограничиться здесь обобщением *о редкой насыщенности словами на страстную неделю* сборника, названного «книгой Рай». Фигурируют следующие авторские имена: Иоанн Златоуст (9 поучений, по Единов. сп.) Григорий «Российский», он же «мних обители Пантократоровы», Цамблак (2), Ефрем Сирин (2), Федор Студит (2), Афанасий Александрийский, Георгий Никомидийский, Григорий Антиохийский, Евсевий Александрийский, Епифаний Кипрский, Иоанн Дамаскин, Никифор Каллист (по одному поучению).

Сравнивать «Рай» по составу приходится, конечно, с постными Златоустниками разных редакций. Руководствуясь существующим схематическим обзором,[3] мы найдем очень близкое соответствие как в составе, так и в порядке глав у соборника постного (по классификации А. С. Орлова — Торжественник постный триодный 2-ой редакции), б. Казан. дух. акад., Солов. собр. №№ 366—367, 1600 г., писанного в Троице-Сергиевом монастыре по тамошнему же типическому оригиналу («переводу»).[4] При этом поздняя и сложная редакция, являющаяся смесью Златоустника и Торжественника, в книге «Рай» оказывается не менее сложною, так как здесь налицо 7 великопостных поучений Феодора Студита, вообще отсутствующего в Соловецкой коллекции.

В свете сближения со Златоустником становится понятным пиетет Курбского перед доставленной ему «книгой Райской».[5] Само собой разумеется, с немалой долей содержавшихся в этой книге статей он был знаком раньше. Вероятно, потому он и «смотрел» в ней только «некая от словес». С другой стороны, темы великопостного сборника редко совпадают с темами, развиваемыми Курбским в посланиях, предисловиях к переводам, сказах-схолиях. Значение знакомства его с «книгой Рай» на

---

1 В конце рукоп. Единов., в виде добавления к «Раю», помещено житие Марии Египетской (1 апреля).

2 Систематич. опис. слав.-русск. рукописей собр. гр. А. С. Уварова, I—IV. См. т. I, № 341—539.

3 А. С. Орлов, ук. соч., стр. 19.

4 Опис. рукоп. Соловецк. мон., наход. в библ. Каз. Дух. Акад., I, 635.

5 Не значит ли «глаголемая» — «так называемая»? При палеографических данных списков «Рая», сопоставив эти данные с следующим у Курбского «глаголемую» (о Никодимовом евангелии, где смысл слова ясен), нужно предпочесть такое понимание тому, по которому Курбский точно передал заглавие «книга гл(агол)емая раиская»... и т. д. Ср. еще обозначение не традиционного заглавия: «.... на книгу словесъ Златоустовыхъ, глаголемую Новой Моргаритъ...». История о великом князе московском, цит. изд. 275. «Райская» — конечно «Рай», в духе языка, точнее словоупотребления Курбского; ср. «мѣсто Дерптское», «мѣсто Казанское» (о городах), Ист. о вел. кн. моск.; «мниховъ Осиелянскихъ», там же 207; «Іоанъ Домаскинскій», История о осьмом соборе, 476; и др.

пороге к литературной деятельности, хорошо всем известной, сводится к тому, что оно обновило его вкусы, симпатии к кругу авторитетов, во главе которых стоял выдвигаемый предисловием книги Златоуст — «златословесный служитель» (ср. в послании к старцу Васьяну: «...златословесный Іоаннъ»).[1] И то отношение, какое Курбскому естественно было проявить, если речь шла о разновидности уставно-четьего сборника, вылилось у него, как видим, в форму перифраза: говоря, что книга «воистину уподоблена небесной красоте», он согласился с предисловием к «Раю», где книга лишь условно уподобляется раю земному, так как в ней «плоды небесные обрящеши».

А. Седельников.

Москва.
1926. XII. 13.

1 Цит. изд., 396.

«Забелинская» редакция первых шести глав «Истории» Палицына.

В нашей статье «Две редакции первых шести глав Сказания Авраамия Палицына» нами был изучен и сличен с текстом полной «Истории» старца-келаря список Московской Духовной Академии, содержащий в себе особую редакцию названного произведения.[1] Результатом наших изучений были следующие выводы: 1) акад. список содержит первоначальную редакцию труда Палицына; 2) редакция эта написана не ранее 1612 и не позднее начала 1613 г.; 3) первые шесть глав «Истории» как в этой, так и в позднейшей редакции являются Введением в Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря.

Одновременно с нашей статьей появилась обстоятельная работа проф. П. Г. Любомирова «Новая редакция «Сказания» Авраамия Палицына».[2] Автор ее, с обычными своими тщательностью и наблюдательностью, обследовал указанный А. С. Орловым еще в 1910 г., но до Любомирова неизученный список шести первых глав «Истории», занимающий 78—107 лл. сборника № 641 (ныне 446) собрания И. Е. Забелина, которое находится в Московском Историческом Музее. Введение в научный оборот нового списка произведения Палицына, при том, как увидим, чрезвычайно любопытного и важного, само по себе является ученой заслугой. Она усугубляется теми интересными заключениями, к каким пришел П. Г. Любомиров. Отметим важнейшие из них. Прежде всего Любомиров утверждает, что Заб. список представляет собою копию с авторского черновика.[3] Затем исследователь ставит себе естественный вопрос, в каком отношении этот черновик находился к тексту,

---

[1] Летопись Занятий Археографической Комиссии, вып. XXXII и отд., 1923 г. (текст набран в 1921 г.).

[2] «Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову» (Петроград, 1922 г.) вышел в 1923 г.; см. 226—248 стр. Сборника.

[3] Любопытно, что и акад. список является в свою очередь подобной копией, это давно доказано академиком С. Ф. Платоновым («Древне-русские сказания ...», изд. 1-ое, стр. 178, прим.).

воспроизведенному в акад. списке. При этом проф. Любомиров приходит к заключению, что Заб. список является рукописью особой, более краткой и первоначальной редакции первых шести глав «Истории» Палицына. Эта редакция, написанная, по утверждению исследователя, в конце 1610 — начале 1611 года, представляет собою отдельное сказание, вызванное настроениями этого времени и трактующее тему, «киих ради грех попусти Господь... праведное свое наказание». При этом, как отмечает проф. Любомиров, «лишних по сравнению с акад. списком мест в «Забелинском» списке немного. Собственно для редакции, представляемой акад. списком, а не для списка, новой является только фраза: «увы, увы и к браку присягнутель бысть».

Все выводы и наблюдения П. Г. Любомирова тщательно им продуманы и остроумно аргументированы. В то же время не все они могут быть приняты. Бесспорны с нашей точки зрения наблюдения о том, что Заб. список содержит особую и более краткую редакцию, чем академическая. Ничего нельзя возразить также и против указания, что Заб. редакция не дает нового фактического материала по сравнению с академической. Безусловно верны также соображения проф. Любомирова, что Заб. список восходит к авторскому черновику.[1]

Не то приходится сказать об утверждении названного исследователя относительно времени появления Заб. редакции и выводах, отсюда вытекающих.[2] Дело в том, что в стройной цепи доказательств и соображений, приведших П. Г. Любомирова к мысли о времени написания Заб. редакции в 1610 — начале 1611 года, есть одно чрезвычайно слабое звено. Исследователь неверно истолковал то место Заб. списка, в котором, по нашему убеждению, заключается несомненное доказательство времени появления Заб. редакции и при том в 1612 — начале 1613 года. Это место читается так: «В тая же лета мнозии имущии глаголаху: не имыи (sic) ничто же. во время же пленения ото всех окольных язык наипаче от своихъ то обретеся бесчисленно расхищаемо всякаго хлѣба и давныя житницы неистощены и поля скирд стояху, гумна же пренаполнены одоней и копенъ и взородовъ и *за 14 лет от смятенія во всей русской земле* и питахуся вси отъ поль старыми труды: орание бо и севъ и жатва мятяшеся, мечу бо на выи всегда належащу» (Заб. список, л. 83 и об. 83 лл., курсив здесь и дальше наш).

---

1 Собственно говоря, Любомиров думает, что Заб. рукопись является копией с авторского черновика. Вероятно, это так и было, но осторожнее все же лишь возводить его к авторскому черновику. Ведь Заб. рукопись, может быть, является лишь списком с такой копии.

2 Забелинскому списку нами посвящена особая работа, бывшая 1924 году предметом доклада в «Обществе древней письменности и искусства» и входящая в состав большого исследования об «Истории» Палицына. Предлагаемая здесь заметка представляет собою лишь краткое извлечение из этой работы.

По мнению проф. Любомирова, который, отметим кстати, пришел независимо от нас к выводу, что начало Смуты Палицын относит к 1598 году,[1] слова «за 14 лет» надо понимать в том смысле, будто в Смуту питались хлебом, собранным в 1584 г.

Нам думается, что при всем желании такого толкования допустить нельзя. В данном отрывке говорится, что уже в то время, когда Смута достигла полного развития и когда правильное хозяйство было почти невозможно, население пользовалось старыми запасами. Вполне естественно здесь указание, на сколько лет хватило этих запасов. И совершенно странно было бы замечание, что хлебные запасы сделаны были именно за 14 лет до начала Смуты. Проф. Любомиров упустил из виду, что предлог «за» имеет часто значение: «в», «в течение».[2] Между тем из контекста ясно, что здесь именно так и надо понимать предлог «за». В данном месте читаем *«за 14 лет от смятения»,* а не «за 14 лет до смятения», как было бы, еслиб П. Г. Любомиров был прав.

Таким образом, зная, что Палицын началом Смуты считал 1598 год, время появления Заб. редакции следует относить к 1612 — началу 1613 года. Поэтому она не могла быть проникнута настроениями 1610—1611 годов[3] и возникла почти одновременно с академической. Они проникнуты, в общем, одинаковыми и имели в виду одну цель, то есть быть Введением в «Историю».[4]

Может показаться странным, почти единовременное написание двух редакций одного и того же произведения. Но это обстоятельство находит себе простое объяснение. Палицын и той и другой редакции придавал значение лишь подготовительных этюдов, другими словами, черновых набросков. Это видно и из вышеотмеченного факта, что обе редакции дошли до нас лишь в виде копий с авторских черновиков.

П. Васенко.

Ленинград.
1926. XII. 13.

---

[1] Мы высказали этот взгляд в статье «Две редакции . . .».

[2] За три года отсутствия, за три дня работы и т. д.

[3] Не могла появиться Заб. редакция позже конца февраля 1613 года: в ней есть знаменитое место о двинутой нелепо иконе на умоление Бориса, невозможное после того, как Палицын сам носил чудотворный образ в процессии умолявших Михаила принять престол.

[4] Считая обе редакции почти одновременными, лично признаем некоторый приоритет академической, но отнюдь не выдаем нашего мнения за бесспорное.

Один из вещных символов у Гоголя.

Вещные символы — один из особенно часто применяемых Гоголем стилистических приемов. Обративший на это внимание В. В. Виноградов отметил, что названия «вещей» выступают у этого писателя не как термины, которые непосредственно ведут к представлению «предметов», но как «определения» лиц. «Рядом с дробным воспроизведением всех деталей костюма комических персонажей», говорит В. В. Виноградов: «Гоголь чертил беглые силуэты эпизодических лиц путем присоединения к их номинативным определениям указаний на какую-нибудь частность туалета, вызывающую отрицательное отношение, либо прямо комическую реакцию. Дальнейшим этапом было метонимическое замещение лица названием его одежды».[1] При всей справедливости этого наблюдения, однако, оно не исчерпывает всех разновидностей использования Гоголем вещных символов. Вещи у Гоголя не только служат для «определения» лиц, не только являются «приметами», но выступают параллельно с героем, как бы подчеркивая переживаемую им основную трагедию. Чрезвычайно показателен в этом отношении «фрак наваринского дыма с пламенем» в финале похождений Чичикова.

Нарочитость, с которой здесь повторяется эта подробность костюма Чичикова через каждые десять строк, не может не обратить на себя внимания даже обыкновенного читателя, не ставящего себе задачи исследования гоголевского стиля.

Чичиков, блестяще завершивший «дело» с мертвыми душами, идет прежде всего заказать фрак, который давно уже обдумал во всех подробностях. Долго и со вкусом выбирает он сукно.

— «Вы истинно желаете такого цвета, говорит ему догадливый купец, какой *нынче в моду входит*».

Предуведомив, что у него есть именно такого рода сукно «высокой цены, но и высокого достоинства», он показывает Чичикову «сукно наваринского дыма с пла-

[1] В. Виноградов. Этюды о стиле Гоголя. Ленинград 1926 г., стр. 86, 88—89.

менем». Чичикову сукно нравится. Он идет к портному, у которого на вывеске красовалась надпись «Иностранец из Лондона и Парижа». Костюм скоро был готов, и у Чичикова явилось желание «посмотреть на самого себя *в новом фраке наваринского пламени с дымом»* . . .

Костюм оказался безукоризненным: «. . . *Фрак наваринского дыма с пламенем,* блистая как шелк, давал тон всему» . . .

Чичиков в восторге. Вдруг, почти как в «Ревизоре», — жандарм, передающий приказание сей-же час явиться к генерал-губернатору. «. . . Что тут делать? Так, как был *во фраке наваринского пламени с дымом,* должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору». Генерал-губернатор накидывается на него с грозной речью, в которой ставит его хуже мерзавцев и разбойников.

— «Хуже их в несколько раз, грозно кричал он: они в армяке и тулупе, а ты» . . . Он взглянул на *фрак наваринского пламени с дымом* . . .

У Чичикова хлынули слезы и он «повалился в ноги князю так, как был: *во фраке наваринского пламени с дымом,* в бархатном жилете с атласным галстухом, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавшей ток сладкого дыхания первейшего одеколона».

Тщетно старался генерал-губернатор освободить из рук Чичикова свою ногу. Чичиков ее не выпускал и «проехался вместе с ногой по полу *с фраком наваринского пламени и дымом».*

Жандармы все-же ввергли его в тюрьму, в какой-то сырой чулан. «. . . Вот где», рассказывает Гоголь, «был помещен наш герой, уже начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом *фраке наваринского пламени и дыма».*

Взволнованный беседой с Мурзаевым, навестившим его в тюрьме, Чичиков «сорвал с себя атласный галстух и разорвал на себе *фрак наваринского пламени с дымом».* Затем, он сам, зарыдал громко и «оторвал совсем висевшую, разорванную полу *фрака* и швырнул ее прочь от себя» . . . Как только его освободили из тюрьмы он сейчас же пошел «к тому купцу, у которого купил сукна *наваринского пламени с дымом,* взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному».

На другой день фрак был готов. Чичиков его примерил. «Фрак был хорош, точь в точь как прежний. Но, увы, он заметил, что в голове белело что то гладкое». И, отмечает Гоголь: «Это был не прежний Чичиков».

В сущности, перед ним новый вариант «Шинели», маленькая, совершенно самостоятельная повесть о фраке наваринского пламени с дымом, вплетенная совершенно незаметно в повесть большую. Это своего рода литературно-художественная криптограмма.

Гоголь как бы ставит точку над «i», подчеркивает основную мысль «Мертвых душ», и даже всей своей идеологии.

Уже Аполлон Григорьев, совершенно верно, видел в Чичикове «трагическую жертву стремлений к комфорту, внешнему блеску, вообще к тому, что на европейском языке называется прогрессом».[1] «Фрак наваринского дыма» — символ этого мещанского прогресса. Символ, такого же значения, как описание блестящего модно-шумного мещанина Парижа в очерке «Рим» на фоне благородно простой античной красоты вечного города. Дым с пламенем парижского угара вполне соответствует дыму с пламенем чичиковского фрака.

В сущности Чичиков, в этом отношении, тот же Евгений Онегин, который:

В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт...

Как и Чичиков,

Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

Два одинаковых типа, только в разных фазисах своего существования. Для Евгения Онегина фрак — уже нечто достигнутое, изжитое, превратившееся в незаметный предмет обихода. Для Чичикова это — мечта, цель жизни.

Евгению Онегину, сорившему деньгами, не приходилось только испытывать ни терзаний, ни радостей Акакия Акакиевича или Чичикова. Тут не может быть трагедии ни «Шинели», ни фрака.

Пушкин ее не знал, но Гоголю она была чрезвычайно понятна, как была понятна «Подростку» Достоевского, Некрасову и др. Его собственные письма к матери и друзьям — лучшая иллюстрация к трагедии Акакия Акакиевича и фраку Чичикова. «... Мне нужно, пишет Гоголь 7 июня 1826 г., не более 80 рублей для сделки платья летнего, которого у меня совершенно нет».[2] «... На фрак и панталоны суконные пойдет как раз до ста рублей».[3] «... Покупка фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня уехала на шляпу».[4] «... Хорошо еще, что я

---

[1] Ап. Григорьев. Собрание сочинений. Ред. Спиридонова, т. I, стр. 242.

[2] Письма Н. В. Гоголя. Под ред. В. И. Шенрока. СПб., изд. Маркса, т. I, 42.

[3] 26 ноября 1826 г., там же, стр. 52.

[4] Там же, стр. 115.

немного привык к морозу и отхватал всю зиму в одной шинели».[1] И так далее и так далее... Но особенно характерно в этом отношении его письмо к другу Высоцкому. «... Напиши пожалуйста, — запрашивает Гоголь, — какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны... Какой то у вас модный цвет на фраки? *Мне очень бы хотелось* сделать себе *синий* с металлическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не могу»...[2] Много ли этот синий фрак отличался от фрака наваринского дыма с пламенем?...

Любопытно, между прочим, обратить внимание на то, как у Гоголя чередуется определение цвета: то «наваринского дыму с пламенем», то «наваринского пламени с дымом»... Мастерской прием, передающий очень тонкий оттенок — переливчатости цвета сукна. Этот внутренний рисунок фрака наваринского дыма с пламенем, искусно вплетенный в основное произведение Гоголя, усиливает и подчеркивает его основную мысль.

Вл. Боцяновский.

Ленинград.
1926. XII. 13.

---

[1] Там же, стр. 148.
[2] Там же, стр. 80.

Брюллов в гостях у Пушкина летом 1836 г.

По справедливому замечанию современного исследователя, «бесконечная серая пелена» «окутала» Пушкина с 1826 года, «развертывалась во все течение его жизни и не рассеялась даже со смертью». Осыпаемый показными милостями с высоты престола и жестоко утесняемый жандармами, Пушкин чувствовал себя в столицах не лучше, чем в глухой деревне, куда, за несколько лет перед тем, «замаранный по службе выключкою», он был сослан «за две строчки перехваченного письма». В глубине души поэт сознавал, что отношения между ним и ц. Николаем ненормальны, что в вежливой форме обращения с ним еще никак нельзя видеть сочувствия ему и его деятельности; он тяготился отеческим попечением и двойной цензурой царя и Бенкендорфа и тем вниманием, какое оказывала полиция его частной, семейной корреспонденции. И, несмотря на горячую любовь к отчизне, Пушкин порою озлоблялся, и у него, как и прежде, вырывались резкие и горькие слова. «Чорт возьми это отечество!» писал он Гнедичу в 1825 году; «чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом», жаловался он жене в 1836 г.[1] Отсюда — желание, страстное, неудержимое желание вырваться из тяжелых жизненных условий. «Святая Русь ему становилась не в терпеж». *Ubi bene, ibi patria,* и он много раз пытался «взять тихонько трость и шляпу», «удрать» в чужие края[2] и никогда в проклятую Русь не возвращаться.[3] Но надзор был бдительный; его не пускали,— он остался на родине, и женился. Он «женился без упоения, без ребяческого очарования». «Будущность являлась ⟨ему⟩ не в розах, но в строгой наготе своей». «Горести входили в ⟨его⟩ домашние рассчеты»; на радость он не очень надеялся...[4] Потянулась женатая жизнь, а с нею мелочные заботы, бесконечные хлопоты по имению, вечное добывание денег... Государь заставлял его жить в Петербурге, а не давал ему способов жить своими трудами: «не позволял ни записаться в поме-

---

1 Переписка, т. I, стр. 182; т. III, стр. 316.

2 См. Голос Минувшего 1916 г., № 1, стр. 35—60.

3 Переписка, т. I, стр. 352.

4 Переписка, т. II, стр. 223.

щики, ни в журналисты».[1] Пушкин «терял время и силы душевные, бросал за окно деньги трудовые, и не видел ничего в будущем». Красавица жена не скрашивала существования... Приходилось завидовать тем из ‹друзей›, у коих жены «не красавицы, не ангелы, не Мадонны etc.».[2]

Тяжелую драму переживал Пушкин, когда судьба свела его с Брюлловым.

Карл Павлович приехал из Италии и в конце мая 1836 г. посетил Петербург. Он сразу понял и семейные неурядицы поэта, и крайнюю необходимость для последнего хотя бы ненадолго покинуть Россию, набраться новых впечатлений и отдохнуть душою и телом. «У нас», говорит Брюллов:[3] «соблюдение пустых форм всегда предпочитается самому делу. Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов и архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу остается необходимою, и против нее нельзя заикнуться; а для развития настоящего таланта никто ни шагу не сделает. Пример налицо — Пушкин. Что он был талант — это все знали; здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу; а ему то и не удалось там побывать, и только потому, что его талант был всеми признан.[4] Вскоре после того, как я приехал в Петербург (1836 г.), вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел итти и долго отнекивался; но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали; он их будил и выносил ко мне по одиночке на руках.[5] Это не шло к нему, было грустно, рисовало передо мной картину натянутого семейного счастия, и я его спросил: на кой черт ты женился? Он мне отвечал: «*Я хотел ехать за границу — меня не пустили; я попал в такое положение, что не знал, что делать — и женился*».[6]

У Пушкина не было «досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя». Он то «кружился в свете», то «работал до низложения риз»... И, кажется, никогда он не испытывал бóльшего желания вырваться на волю,—

Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края...

---

1 Переписка, т. II, стр. 230, 233.

2 Переписка, т. II, стр. 394; т. III, стр. 233.

3 Рассказы Брюллова о Пушкине записаны художником М. И. Железновым и до сих пор не были опубликованы. Рукопись Железнова хранится в Пушкинском Доме.

4 Ср. П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. СПб. 1886 г., т. X, стр. 27: «В Русской судьбе много... странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии» (сл. т. VIII, стр. 168).

5 У Пушкина незадолго до посещения Брюллова родилась дочь Наталья Александровна.

6 Курсив наш. О встречах Пушкина с Брюлловым см. Переписку поэта, т. III, стр. 307, 313—316.

С каким «страданием во взгляде» упоминал он в беседе с Леве-Веймаром (1836 г.) о Лондоне, Париже, об удовольствии навещать «знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей; с какой тоской говорил в салоне Смирновой о невозможности посетить Константинополь, Рим, Иерусалим... «Увидеть Босфор, св. Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море, Иордан. Какой чудесный сон!»[1]

И он мечтал...
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья...
Вот счастье! вот права!

Этого счастья, этих прав ему не дала его родина...

Н. Козмин.

Ленинград.
1926. XII. 13.

[1] Русская Старина 1900 г., № 1, стр. 78. — А. О. Смирнова. Записки. СПб. 1895 г., ч. I, стр. 91.

Украинский рукописный словарь 1835 года.

Собирание материалов для украинского словаря началось давно. Б. Гринченко в предисловии к «Словарю украинского языка», изданному «Киевской Стариной» (т. I. Киев 1908) указал известные ему печатные и отчасти рукописные труды в этой области. И. Огиенко дал характеристику украинских словарей до половины XIX в. в статье «Огляд українського язикознавства».[1] Но, помимо указанных в этих статьях авторов словарных трудов, известен ряд любителей родного языка, которые старались внести посильную лепту в дело подготовки полного словаря украинской речи. Таковы труды П. П. Белецкого-Носенка, Л. И. Боровиковского, Н. А. Маркевича и других. Дошли до нас далеко не все подобные материалы. Настоящая статья имеет задачей ознакомить с одним из рукописных словарей, о котором нет упоминаний в печатной литературе.

В 1925 г. П. К. Симони обратил внимание членов Ленинградского Общества исследователей украинской истории, литературы и языка на составленный в 1834—35 году рукописный словарь, который принадлежит Академии Наук СССР; он дал краткую характеристику этого словаря, но не остановился на вопросе о его происхождении.

Словарь, писаный на толстой сероватой бумаге нач. XIX в., состоит из 19 сшитых тетрадей в четвертку, составляющих 448 страниц. Страницы перенумерованы, повидимому, самим составителем. Обложка и последний листок остались без нумерации. Труд имеет на обложке заглавие: «Словарь малороссійскаго наречія сравнительно с другими славянскими наречиями. Составлен ...». Имя составителя однако не дописано. Тут же имеются два эпиграфа: один на немецком яз. из соч. Joh. Müller «Geschichte der schweiz. Eidgenossenschaft», другой — на французском яз. из соч. Abel Rémusat (известного французского ориенталиста). В обоих эпиграфах говорится о необходимости сравнительного изучения языков. На обороте обложки перечислены следующие источники и пособия, бывшие у автора при соста-

---

1 «Записки наук. товариства ім. Шевченка», 1907, т. LXXX, стр. 36—52.

влении словаря: Запорожская старина И. И. Срезневского (ч. I и II), Собрание малороссийских пословиц В. Н. Смирницкого, Малороссийские приказки Е. Гребенки 1834, 2-ое изд. Енеиды Котляревского 1808, Опыт собрания стар. малор. песень Цертелева 1819, Малоросс. песни, изд. М. А. Максимовичем в 1827 г., Украинские народные песни, изд. Максимовичем в 1834 г., Кроныка Феодосия Софоновича, Диалоги Рождественский и Воскресенский, Вирши говоренные Запорожскому гетману на Велык-день, Замысл на попа, Малороссийские повести Гр. Основьяненка. М. 1834. Карандашом дописано указание на «Российский Магазин» Туманского, кн. II и III.[1] Из списка сокращений видно, что автор пользовался также словарями Павловского и Войцеховича.

На первой странице словарь был озаглавлен первоначально так: «Прибавление к Словарю Малороссийскаго наречия, приложенному к Малороссийским песням, изд. М. Максимовичем. Москва. 1827». Но это заглавие перечеркнуто и заменено другим: «Словарь украинского наречия». Внизу 437-ой страницы читаем: «Кончен 7 февраля 1855». За ней следуют 14 страниц дополнений. Каждая страница разделена на два столбца; в первом имеем основной митериал словаря, во втором — дополнения. Слова расположены в довольно строгом алфавитном порядке, с пропуском между ними по нескольку строк для дополнительных записей; последних на втором столбце мало. Всего в словаре свыше 4500 слов.

Труд вызван появлением краткого словаря при издании М. А. Максимовича «Малороссийские песни» (М. 1827), который выражал желание, «чтобы кто-нибудь из земляков, знающих польский язык и живущих в самой Малороссии (хотя бы, напр., в Харькове) принял на себя сей полезный и любопытный труд».

Эпиграфы на немецком и французском языках, перечисление источников и пособий, приведение цитат при пояснениях слов (хотя и нечастое), сравнение украинских слов со словами на других славянских и европейских языках — все это свидетельствует о том, что составителем словаря был не только любитель, но скорее ученый, хорошо по тому времени подготовленный к этому делу. Перебирая фамилии немногих ученых и писателей 30-х годов прошлого века, интересовавшихся украинским языком (И. И. Срезневского, О. М. Бодянского, А. Л. Метлинского, Н. А. Цертелева, Г. Ф. Квитки, П. П. Гулака-Артемовского, П. И. Прейса) и исключая из числа их М. А. Максимовича в виду того, что наш словарь явился как «прибавление» к словарю Максимовича, я нахожу наиболее вероятным составление его приписать А. Л. Метлинскому.

Доказательства справедливости такого предположения можно найти из сопоставления нашей рукописи и «Объяснением непонятных для великороссиян слов и

---

1 В «Росс. Магазине» 1793 г. помещено составленное Туманским «Изъяснение малор. слов., встречающихся в Летописце Малыя России».

выражений», которое поместил А. Л. Метлинский в конце издания «Думки и песни та шче де-шчо Амвросия Могилы» (Харьков, 1839). Как известно, Амвросий Могила — псевдоним Метлинского. Возьмем для примера объяснения нескольких слов в этом издании и в нашей рукописи.

Думки А. Могилы.	*Рукоп. словарь 1835 г.*
байду́же́, нет нужды!	байдуже́ или байду́же, нужды нет!
бованеть, болванеть, говорится о неподвижном, едва усматриваемом предмете.	бованеть (вм. болванеть), быть едва видимым. — на небѣ чистому гень хмара бованѣе. Г‹ребенка› 12. — кругом могилы бованѣють.
брязкотня́, звук мелких металлических или стеклянных вещей.	брязкотня — звук, происходящий от мелких металлических или стеклянных вещей.
верта́ться, возвращаться.	верта́ться, возвращаться.
вхопы́ть, схватить.	вхопы́ть, схватить.
вырына́ть, вынырять.	вырына́ть, вынырять.
высмыка́ть, выдергивать.	высмыка́ть, выдергивать, исторгать. — злоба очи высмыкала. Ц‹ертелев› 25.
гадю́ка, гадина, змея.	гадю́ка, змея, гадина.
га́лас, шум и смятение.	га́лас, шум, смятение.
га́ять, зедерживать.	га́ять, медлить, мешкать, задерживать.
згнуща́ться, издеваться.	згнущаться, издеваться. О‹сновьяненко›.

Ограничиваясь этими выдержками, мы можем отметить близость объяснений в обоих словарях.

Вслед за основным текстом рукописного словаря, перед дополнениями к нему, помещена следующая заметка: «Однозначущие слова, встречающиеся в малороссийском наречии, если они сохранились в песнях, можно объяснить временем, по различию коего одни слова делались обветшалыми, а другие поступают на их место; если же они и доселе употребляются в разговоре, то надобно обратить внимание: не произошел ли этот избыток слов от различия мест, в которых они употребляются, ибо Малороссия в те времена, когда она была Гетманщиною в полном смысле, пределами своими прикасалась к Крыму, России, Литве, Польше и Молдавии. От сего в разных странах, по различию сопредельных народов, употреблялись разные слова для выражения одинаких предметов; впоследствии некоторые из местных слов сделались общеупотребительными. Это виднее из примеров, так: надилки и пôха

ножны, панис и цици-баба *жмурки*, шыя, вырва и вьязы *шея*; корогва, прапорка *знамя*; жменя и пригоршь *горсть*; доmовина и труна́ *гроб*; гатка, гребля *плотина*; ворье, тын *забор*; финжа́л, чарка *рюмка*; личить, раховать *считать*; прудко, хутко, швыдко *скоро*; килим, коц *ковер*; брести, бродить, чвалать, чимчикувать, швандять, дыбать, чопети, ко́пать, *идти* и *ходить*; казать, балакать, базикать, базувать, слебезувать, варнякать, патякать, балагурить, роздабарювать, дрŷботить, цокотŷть, торохтѣть, мимрить *говорить*.

Эти мысли напоминают следующие слова А. Л. Метлинского в его «VII заметке относительно южно-русского языка» в начале книги «Думки и песни»: «Еще следовало бы поговорить об изобилии в разбираемом нами языке сословов для выражения различных оттенков чувства и понятия, но для полного развития этого предмета потребно целое обширное сочинение, которого он и достоин. Вот какие с первого разу можно припомнить сословы глагола идти и ходить: брести, бродить, чвалать . . .». Здесь перечислены полностью те же примеры, что̀ и в рукописном словаре в приведенном выше отрывке от слова *брести* и до конца. Правда, в словаре эти примеры, начиная от слова *брести*, написаны другими чернилами, но тем же почерком, что и вся заметка; при том перед словом *брести* стоит не точка, а точка с запятой.

Что Метлинский работал над украинским словарем, видно из того, что он приложил словарик к своим «Думкам». Это же свидетельствуют и следующие его слова в том же издании: «Целью моей было не высказывать всего достоинства, всей важности, всех свойств южно-русского языка: это можно сделать только в полной его грамматике и в его словаре или идиотиконе, для которых желал бы и я приложить своих трудов лепту».

Составитель словаря был хорошо осведомлен о современной ему литературе по украинскому языку. Это видно, напр., из упоминания его о «Собрании малоросс. пословиц» Смирницкого, которое вышло без обозначения фамилии составителя, только с его инициалами: В. Н. С. Разъяснил инициалы И. И. Срезневский в «Ученых Записках Моск. ун-та» 1834, ч. VI.[1]

Составление словаря начато в 1834 г., потому что среди его источников показан ряд изданий 1834 г. Правописание его отличается от правописания в его «Думках» 1839 г. Но это не может свидетельствовать против участия Метлинского в составлении словаря. Рецензент «Отечественных Записок»[2] отметил: «Мы не помним ни одной южно-русской книги г. Метлинского, в которой бы он не изменял правописания».

---

1 См. «Україна» 1925, кн. 5, стр. 104.

2 1855, т. XCVIII, стр. 28.

Ценность словаря определяется прежде всего довольно значительным количеством внесенных в него слов (свыше 4500). Интересны некоторые объяснения слов; важны хорошо подобранные цитаты из Котляревского, Гребенки, Квитки-Основьяненка и др. Произведения Основьяненка были мало использованы для «Словаря Киевской Старины», что̀ отметил А. А. Шахматов.[1] Дополнений нового словарного материала к «Словарю Киевской Старины» рассматриваемый труд дает немного; больше дает он для объяснений, а также цитат, подобранных удачно. Сравнив материал рукописного словаря со «Словарем Киевской Старины» на слова̀ начала букв Н, Р, Т, мы можем сказать, что в словаре Б. Гринченка нет слов: навернякать (у Основьяненка), наверсал (универсал), навпрям, навскоки, навскубки, надаток, надще, ракита, табур, таречи. Дополнительные объяснения и цитаты даны в нашем словаре к словам: навдивовижу, наверзиться, навіжний, навіский, наголо, нагосподаревать, надряновати, надѣлки (ножны, у Гринченка под вопросом), надибать, роденький, ралець, ратовать, рахувать, реготать, рогоза, розмотоваться, табин, таляр, тарадайка, твань, тварь, тельбухи, темперувати, термін, тертиця, тетеря и др.

Вообще, украинский рукописный словарь 1835 г. не должен быть оставлен без внимания при составлении полного словаря украинской речи.

А. Лященко.

Ленинград.
1926. XII. 13.

[1] Отчет о III присуждении премии Н И. Костомарова. СПб. 1906, стр. 23—25.

К вопросу о судьбах восточной повести в Чехии и Польше.

До сих пор остается неясным вопрос, представляет ли собою так называемая «восточная» повесть, в таком изобилии запрудившая разные литературы Европы преимущественно в XVIII веке, — нечто вполне обособленное от остальных литературных течений того времени. Не было, правда, недостатка в попытках дать ответ на этот вопрос, — но попытки эти, в виду того, что не были основаны на достаточно широком использовании материала, не могли быть достаточно успешными.[1] Заподозрить необходимость выделения восточной повести в особый литературный вид, требующий специальных приемов изучения, нужно сказать, имели достаточно оснований: ведь нравоучительная традиция, проникающая подавляющее их большинство, свойственна и многим другим повестям того времени; аллегоричность повествования также не представляла собою ничего особенно выделяющего данные произведения, — тем более, что она часто во многих переводах и переделках этих повестей подробно разъяснялась читателю (в видах популяризации), либо еще чаще совсем не выдерживалась; наконец встречающиеся в некоторых восточных повестях описания различных приключений, испытываемых их героями, вполне понятно, приближают их к типу авантюрного романа, столь распространенному в XVIII, а частично и в XIX веке. Тем не менее, несмотря на все это многообразное сходство с соседними литературными видами, восточная повесть долгое время жила своей

[1] Среди относящейся сюда литературы следует отметить: Pierre Martino. L'orient dans la littérature française au XVII-e et au XVIII-e siècle. Paris 1906; Martha Pike Conant. The oriental tale in England in the eighteenth century. New-York 1908. У славян специальных монографий по этому вопросу не имеется, а есть лишь отдельные замечания в трудах, посвященных повести этого времени, либо вообще истории повести: Wojciechowski K. Historya powiesci w Polsce. We Lwowie 1925; Gubrynowicz B. Romans Polski za czasów Stanisława Augusta. We Lwowie 1904; Máchal J., Počatky zábavné prosy novočeské (Literatura česka XIX stoleti. Dil prvni, druhé vydáni, v Praze 1911).

особенной (иногда довольно напряженной, почти кипучей) литературной жизнью, не обнаруживая никакой тенденции раствориться в этих соседних ей слоях. Иной восточный сюжет имел очень короткую литературную историю, другой — необычайно длинную, иногда обходил буквально всю Европу, в том числе все славянские земли, претерпевая довольно существенные изменения своей идеологической стороны, своей аргументации, литературных приемов, но при всем том он не перестает ощущаться его автором (либо переделывателем, переводчиком даже) в качестве сюжета восточного. Эта жизнеспособность литературной традиции данного рода повестей должна наконец заставить внимательнее отнестись к подлежащему материалу, дабы извлечь из него необходимые выводы.

Обращаясь к занимающим нас ближайшим образом чешской и польской литературам, необходимо, в виду отсутствия предварительной детальной разработки данного вопроса,[1] начинать работу с собирания материала и установления ближайших источников для отдельных из попадающихся здесь восточных повестей. Восточная повесть печаталась не только в журналах и периодических изданиях того времени; едва ли не чаще еще мы ее встречаем в разных альманахах, сборниках и т. п., обыкновенно потом больше не переиздававшихся и потому ставших давно библиографической редкостью. Среди этих повестей, попадавших в Польшу и Чехию, некоторые принадлежали перу очень заслуженных авторов: Вольтера, Гольдсмита, Фенелона, Флориана, но наряду с ними были и совершенно анонимные, или произведения авторов, давно забытых широкой читающей публикой. Как известно, существует мнение, что самые повесть и роман нового времени возникли из журнальных фельетонных статей полубеллетристического характера (ср., напр., отношение романа Красицкого «Пан Подстолий» к соответствующим темам и даже их обработке в Spectator'е и других нравоучительных журналах того времени).[2] Так это или не так, но во всяком случае это лишний раз подтверждает, что необходимо начинать изучение происхождения восточной повести, как и других повестей в тесной связи с судьбами журналистики того времени. В рамках настоящей статьи нет возможности подробнее развивать это положение, так как для этого понадобилось бы привлечь довольно значительный по объему имеющийся в моем распоряжении материал. Поэтому я остановлюсь лишь на одной повести «Видение Мирзы», помещенной в польском журнале «Монитор» и в чеш-

---

[1] Для польской литературы большое облегчение приносит в данном случае составленное проф. Губрыновичем и приложенное к его вышеупомянутой книге «Zestawienie bibliograficzne romansów z lat 1763—1795»; для чешской литературы все еще приходится обращаться к труду Юнгманна. Некоторые повести этого рода перечислены в упомянутой выше работе проф. Махала (Lit. čes. XIX st. Dil I, druhé vydáni, стр. 577).

[2] На этом же вопросе останавливается проф. Губрынович на стр. 86—87 своей книги.

ском «Hlasatel Český».[1] Судьба этой повести тем более любопытна, что она обошла решительно все славянские литературы, побывав и у нас в России и на славянском юге. Источник ее не подлежит сомнению — для сербской литературы он был впервые указан Радченком. Теперь его впервые приходится указывать в отношении польского и чешского текста. Это та же самая повесть, которая помещена была во втором томе столь популярного в свое время Spectator'a.[2]

Отношение обеих повестей к оригиналу не настолько далекое, чтобы можно было говорить об особой их переработке, приноровленной для служения определенной идеи или цели. Однако оно и не настолько близко, чтобы можно было уверенно говорить о прямом переводе. Мы тут имеем дело с обычной для популяризующего XVIII века манерой «вольного» пользования заимствованным сюжетом. Воображение наших авторов не разыгралось при этом ни в сторону увеличения колорита Востока, ни в сторону развития каких-либо подробностей до значения самодовлеющих эпизодов; да это и неудивительно — ведь хронологически появление данной повести в Польше относится к тому времени (1766 г.), когда литература там еще только начинала пробуждаться после застоя Саксонской эпохи и не имела еще ни одного образца настоящей более или менее самостоятельной повести нового типа («Досвядчинский» появился в 1775 году); в Чехии, хотя эта повесть появилась почти на полвека позже, однако общие условия литературного развития были там тогда во всяком случае не лучше,[3] ибо там только еще зарождалась тогда более или менее самостоятельная повесть под пером Крамериуса...[4] Таким образом, хотя указанные повести и не обнаруживали больших достижений, они однако при тогдашних условиях вполне могли послужить исходным пунктом для дальнейшего развития и совершенствования. Аллегорический сюжет с трудом может допустить значительные отклонения в собственно литературном материале, — тут больше речь может идти о способе толкования сюжета, манере объяснения аллегории, более или менее пространной.

Однако не исключена возможность и некоторых отклонений чисто сюжетного характера: так в чешском тексте целая первая картина, содержащая аллегорическое

---

1 Monitor, 1766 г. т. II, стр. 604—611; Hlasatel Český. Spis čtwrtletni k prospěchu a potěsseni wssech wlastenců wydaný od Jana Negedlého, doktora praw, etc., Dil třetj, v Praze 1807, стр. 383—389; проф. Махал также кратко говорит об этой повести в своей статье (стр. 577).

2 По вопросу об отношении тем и содержания Spectator'a к польским нравоучительным журналам см. весьма интересную статью проф. Хжановского (Pamiętnik Literacki).

3 «Упадок нашей письменности, начиная с XVII столетия, ни в одной области не проглядывает так ясно, как в литературе повествовательной» (Máchal J. Počatky záb. prosy, стр. 485). По словам проф. Махала, чешские писатели того времени не понимали значения нового романа и повести, развивавшегося в XVIII веке так сильно во Франции и Англии (ibid., стр. 489).

4 О Крамериусе см. Rybička Ant., Předni křis. nár. čes. I, 1883.

повествование о жизненных мучениях человека, существенно изменена тем, что вместо «моря вечности» оригинала,[1] через которое проходят люди (по мосту) — здесь представлена река и мост через нее — «Widjm audolj, . . . kterym široka řeka teče». Рассматривать это как случайную описку нельзя, ибо данное выражение повторяется несколько раз, и лишь во второй части своей повести чешский автор решается перейти к термину moře, но там уже мы имеем дело с совершенно новой картиной блаженной жизни праведников. Неизвестно, какие соображения руководили чешским автором при внесении им таких изменений, быть может он хотел приспособить этим сюжет к географическим условиям своей страны, не знающей моря, но аллегория от этого не выиграла, а потеряла, ибо непонятно тогда, откуда берется мрак (изображающий вечность) по обоим берегам реки. Оттого и самое понятие вечности в чешском тексте передано неясно, а местами совсем выпущено. Зато пришлось внести новую сюжетную подробность, вполне отвечающую произведенному выше изменению: там, где говорится о разрушении части арок моста (символизирующих годы человеческой жизни), оказывается, что это было вызвано внезапным наводнением (náramná powodeň), чего совершенно не знает подлинник, а вслед за ним польский и сербский тексты. Польский текст, не зная в главном отклонений, дает соответствующее в главных частях оригиналу развитие сюжета, но зато иногда содержит пропуски отдельных подробностей — напр., об алмазной скале, которая называется просто высокой горой, об орлиных крыльях, на которых Мирза хотел бы полететь на блаженные острова. Любопытен в польском тексте перевод слова «арки» моста, с которых падали люди в море — «samowłoki». Реже польский текст имеет подробности, которых нет в чешском, напр. о воде, которая была чище чем кристалл, или о человеческом пении, которое доносилось с островов [в чешском тексте в этом случае неопределенно сказано о людских голосах (hlasů lidskych)] . . . Чешский автор считает необходимым несколько подробнее остановиться на наградах, которые получают люди праведные, живущие на блаженных островах: «Na těchto ostrovjch přebýwaji nábožnj po smrti, do nichž býwagj rozděleni podle rozličného stupně a způsobu ctnostj, w kterých prospjwali». В этом усилении моральной точки зрения, отсутствующем в польском тексте, который, в согласии с оригиналом,[2] выражается в этом случае довольно неопределенно о том, что люди согласно своим добродетельным поступкам должны быть распределены по этим островам, мы может быть в праве видеть остатки той идейно-религиозной борьбы, которая так долго раздирала Чехию со времен Гуса; даже если допустить здесь лишь заимствованную черту, — все же характерно, что именно она

---

[1] «The Tide of Water. . . . is part of the great Tide of Eternity». The Spectator, vol. II. London 1733, p. 286.

[2] Впрочем английский автор выражается более точно:. . . «According to the Degree and Kinds of Virtue in which they excelled» (Spectator, t. II, p. 288).

полностью удержалась в чешском тексте, тогда как некоторые другие подверглись изменению. Разумеется, остатки эти лишь очень слабые. К сожалению, мне не удалось добыть никаких более подробных сведений о чешском авторе этой повести (Josef Windyš), а только эти сведения могли бы пролить свет на данный вопрос.

Делать какие-либо выводы о влиянии этих повестей на дальнейшее развитие этого рода литературы — возможно лишь после привлечения всего подлежащего сравнению и имеющегося в моем распоряжении материала. Данная работа есть только первый шаг на этом пути.

В. Чернобаев.

Ленинград.
1926. XII. 13.

К литературной истории «Сказание о 12 снах царя Шахаиши».

Изучению литературной истории Сказания, не говоря о ряде мелких заметок, посвящены две специальные работы: одна из них принадлежит А. Н. Веселовскому,[1] другая — А. В. Рыстенку.[2] Несмотря на это, все еще остается не решенным вопрос о том, как перешло оно с Востока на Русь. Из трех возможных путей, т. е. или непосредственно с Востока, или через посредство Византии и южных славян, или, наконец, через посредство лишь одних южных славян, А. Н. Веселовскому более вероятным представлялся первый: с одной стороны, Сказание было известно исключительно лишь в русских (по языку) списках; с другой, — предположение о византийском посредстве встречало затруднение в смысле передачи имени «Шахаиша».

К тому времени, когда А. В. Рыстенко приступил к своей работе, обстановка изменилась: во-первых, было доказано, что передача *ш* через византийскую письменность возможна;[3] во-вторых, был обнародован список Сказания, написанный на чисто сербском языке.[4] При таких условиях вполне естественно могла возникнуть мысль, что Сказание проникло в русскую литературу обычным, так сказать, путем, т. е. через посредство Византии и южных славян. Вот почему, установив, что тексты русских и сербского списков представляют одну и ту же редакцию и один и тот же перевод, А. В. Рыстенко сделал попытку доказать, что текст первых вышел из текста, известного по сербскому списку.

Прежде всего он старается установить, что чтение этого последнего во многих местах логичнее, последовательнее, а иногда и проще, чем чтение в параллельных местах русских списков. Будь даже это так, все-таки трудно было бы согласиться со взглядом А. В. Рыстенко на взаимоотношение рассматриваемых им текстов,

---

1 Слово о 12 снах Шахаиши (1879 г.; Сб. Отд. Русск. Яз. и Слов. Ак. Н., т. XX, № 2).

2 Сказание о 12 снах царя Мамера (1904) и «Addenda» (1905).

3 В. М. Истрин. Сказание об Индейском царстве, 61—62; А. И. Соболевский. Переводная литература, 436.

4 Поливка. Starine, т. XXI (1889).

поскольку бо́льшая логичность или простота чтения отнюдь не обязательна для более древних текстов вообще: если не всегда, то в отдельных случаях возможно и обратное явление. Но дело то в том, что самые ссылки А. В. Рыстенка на бо́льшую логичность сербского списка в большинстве случаев неосновательны. Чтение, напр., русских списков в толковании IV сна о матери, которая не только отдает свою дочь на блуд, но и водит ее на блужение, без всякого стыда присутствуя при самом акте блужения, по нашему разумению, гораздо логичнее и в бо́льшей мере соответствует общему характеру памятника, рисующего ужасы последних дней, чем чтение сербского списка, в котором идет речь о «стыдливой» матери. И таких, если не ошибочных, то во всяком случае спорных указаний в работе А. В. Рыстенко не мало.

С другой стороны, чтобы доказать, что Сказание пришло к нам через Византию при посредстве южных славян, А. В. Рыстенко пытается отыскать в сербском списке следы грецизмов, исчезнувших в русских списках, как отражающих более поздний текст. Но и «грецизмы» нового исследователя более, чем сомнительны. Главнейшие из них таковы: 1) «добротворение» (не бѹдеть добротворениѥ; в русских списках: не боудеть кто добро сътворити), быть может, представляющее перевод греческого εὐποιία; возможно, что это и так; однако, слово «добротворение» было известно в славянской письменности с первых времен ее существования, а потому любой книжник мог употребить его, перефразируя хотя бы то выражение, которое мы имеем в русских списках; 2) «любовь и трапезы» (в русск. списках этого выражения нет), быть может представляющее перевод греч. ἀγάπαι; конечно, возможно и это; однако, с одной стороны, нет никаких данных за то, что это выражение читалось и в первоначальном славянорусском тексте (ср. русск. списки); а с другой, едва ли в предполагаемом греческом оригинале могло быть выражение ἀγάπαι, поскольку значение его идет совершенно в разрез с общей характеристикой человеческих отношений в последние дни, когда, по Сказанию, исчезнет всякий намек на искреннюю любовь между людьми; 3) «положение» (в русск. списках: положенное), быть может, представляющее перевод греч. παρακαταθήκη; нужно однако имет в виду, что место, где 2 раза встречается это слово, в сербском списке, несомненно, испорчено: толкование почти буквально повторяет содержание сна, — при чем в первый раз слово «положение» ни в коем случае не может соответствовать греч. παρακαταθήκη (люди не получат своих материалов, отданных для работы мастерам); тут гораздо уместнее было бы в греч. оригинале вполне соответствующее чтению русских списков τὰ παραδοθέντα или τὰ εἰσδοθέντα. Таковы главнейшие грецизмы сербского списка. Насколько они мало показательны и надежны, видно из того, что сам А. В. Рыстенко не придавал им более или менее серьезного значения.[1]

---

[1] Сказание, 34—35.

К сказанному добавим с своей стороны еще следующее: русские списки, несомненно, архаичнее сербского с точки зрения языка; так, 1) мы встречаем следующие, напр., древние и чрезвычайно редкие слова и выражения: орь бронъ, щеница субережа, порота и др.; в сербском их или совсем нет, или они подверглись полному искажению; 2) текст русских списков, несомненно, древнее сербского и с точки зрения как символики слов, так и связи с нею толкований. Дело в том, что общий характер Сказания требует, чтобы, с одной стороны, символика слов при всей ее загадочности не выходила за пределы обычного человеческого понимания, а с другой стороны, чтобы толкование в той или иной степени соответствовало символике слов,— иначе толкование окажется беспочвенным, и всякий смысл в произведении утратится. И вот эти требования почти всегда выдерживаются в русских списках, и почти никогда в сербском. Для примера возьму упомянутый уже IV сон. В русских списках дана такая картина: кобыла, ее жеребенок, конь (орь бронъ); конь рвет для кобылы траву, которую она естъ, а жеребенок лижет коня. Толкование сна таково: мать (= кобыла) из-за куска хлеба (= трава, которую дает ей конь) отдает свою дочь (= жеребенка) на блуд чужому мужу (= конь), без стыда присутствуя при акте блужения (= жеребенок тут же лижет коня). Иное мы видим в сербском списке: толкование (в общем сходное с русскими списками) решительно ничем не связано с символикой сна, чрезвычайно к тому же бедной: кобыла и ее жеребенок; последний рвет для матери траву и сам ржет; таким образом в сновидении нет никакого намека ни на блуд с чужим мужем, ни на самого этого мужа, ни на отношения его к матери и т. д. Очевидно, автор сербского списка, не поняв выражения своего оригинала орь бронъ, опустил его, и в результате символика оказалась неполной и неясной, а толкование чисто внешним образом притянутым к сновидению. И таких случаев немало.

Из вышеизложенного, конечно, не следует, что точка зрения А. В. Рыстенка неверна, или что более основательно предположение А. Н. Веселовского, — я хочу лишь подчеркнуть, что и после их во многих отношениях цельных работ вопрос о путях перехода Сказания в славяно-русскую литературу остается открытым. Причина этого, думается мне, лежит в том, что для своих работ они не использовали всего необходимого для решения вопроса материала. А отсюда сама собою вытекает необходимость продолжать собирание и всех относящихся сюда материалов. Исходя из этого, я считаю небесполезным дать хотя бы самые краткие сведения о двух до сих пор почти неизвестных юго-славянских списках Сказания, с которыми мне удалось ознакомиться.

Один из них, указанный еще в 1899 г. проф. Архангельским, находится в сборнике № 309 (68) Нар. Библ. в Софии (лл. 108ᵃ, 113ᵃ, 147ᵃ—152ᵃ).[1] По

[1] К истории ю.-слав. и др.-русск. апокриф. литер. (Изв. О. Р. Я. С. 1899, т. IV, кн. 1).

определению проф. Цонева, сборник относится к XVI в., а по языку принадлежит к сербской редакции.[1] Более внимательное обследование этого сборника привело нас к несколько иным выводам: 1) если не весь сборник, то часть его, содержащая наше Сказание, правильнее относить ко времени до 1492 г., что видно из следующей заметки писца на л. 152^{а}: «кб̑ ві̄-ти^{м} сновъ еже ны пасти... си вѣкь́ на конець сед'мими тисоуща^{м}»; 2) список Сказания имеет определенные данные за то, что оригинал его (или какой-нибудь из предшествующих ему списков) был написан на болгарском языке. Относящиеся сюда данные таковы:

1) при отсутствии замены ъ и ь через *а*, находим несколько случаев замены их через *е*: весь (150^{а}), Мамере (151^{а}), печалень (108^{а}), конець (152^{а});

2) один раз встречается буква ѫ: нѫ (152^{а}) и ряд случаев следов смешения юсов: вьси начнȣть... взыще^{т} (147^{а}), кльнещесе (149^{а} и 150^{б}); сюда же надо отнести: жнють (113^{а}), где *ю* < ѭ через смешение его с ѫ;

3) имеется ряд случаев смешения ѣ и ꙗ, искони чуждого сербскому языку: род. ед. — конѣ (149^{а}), где ѣ < ꙗ; род. ед. — землꙗ (113^{б}), где ꙗ < ѣ; сюда же можно отнести формы имперфекта в роде: кропеше (147^{а}), кыпеше (147^{а}), где *е* < ѣ < ꙗ;

4) случаи употребления буквы ѕ: кнеѕи (113^{а}, 149^{а}), ѕвѣзда (113^{а}), ѕѣло (149^{а}).

Отнести указанные случаи на счет ошибок писца нельзя, потому что список сделан вообще очень аккуратно.

Другой список[1] находится в сборнике № 36 Нар. Библ. в Пловдиве (Филиппополе); по определению Б. Дяковича, части сборника написаны в разное время, но по языку все принадлежат к сербской редакции. Что касается Сказания, то оно занимает лл. 149^{а}—153^{а}; список составлен не ранее конца XV в. Не представляя, как и первый, большого интереса по содержанию (оба они очень близки к списку, изд. Поливкой), этот список очень интересен с точки зрения языка, показывающего, что его оригинал был написан болгарином. За это говорят следующие данные:

1) при отсутствии замены глухих через *а*, имеются случаи смешения их с ъ и ь; так, в одном, правда, слове, но шесть раз имеем *о* вм. ъ: сонь (151^{а}), со̑ (151^{а}), со^{н}ъ (151^{а}) и др.; один раз имеем даже *ло* вм. л̥: протлокование (153^{а}); 3 раза на месте ь находим *е*: красе^{н}ъ (151^{а}), весъ (151^{а}), режаше (150^{а}); наоборот, иногда вместо *о* и *е* имеем ь: ть време (150^{а}, 151^{а}), вьстри (152^{а}), слȣжьтъ (151^{а}), где ь < *е* < ѧ;

2) имеются случаи смешения юсов: всі людиє бȣдеть (150^{а}), или при одном и том же подлежащем: почітаеть... поменоуть... идеть... поменȣть (150^{а});

[1] Опись на рукоп. и старопечатнитѣ книги на Нар. Библ. в Софія.

3) есть случаи употребления *е* на месте ꙗ (очевидно через смешение ꙗ и ѣ): укореють (151[а]), болерѣ (151[а]), свое чеда (152[а]); сюда же надо отнести формы имперфекта типа хранеше (150[а]);

4) встречается в известных случаях буква ѕ: ѕело (149[а]), кнеѕі (150[а]);

5) один раз находим форму I л. мн. ч. с характерным для болгарского языка окончанием *ме:* бѣсме (153[а]);

6) наконец имеются многочисленные случаи, свидетельствующие об упадке склонения; таковы: им. мн. обічіе (150[а]), им. мн. сѹде (150[б]), род. мн. ѹ люди (150[а]), м. мн. в гради и села, тв. ед. с лои (150[а]), им. мн. мѹчені сі (150[а]) и т. д.

Рассмотренные два списка дают нам полное право утверждать, что наше Сказание существовало некогда в Болгарии, откуда, судя по этим спискам, оно проникло, повидимому, в Сербию.[1] Таким образом, в литературной истории Сказания намечается еще один момент, не предрешающий однако вопроса, в какую именно из славянских литератур оно попало впервые. По этому вопросу у нас имеется уже известное решение, но обосновать его теперь не представляется возможным.

Сказание о 12 снах царя Шаханши

по списку из сборника № 309 (68) Народной Библиотеки в Софии с вариантами по списку из сборника № 36 Народной Библиотеки в Пловдиве (Филиппополе).

Протлькованіе в҃і сънове Шаикиша ц҃ра.[2]

(Л. 108[а]). Бѣше ц҃рь вь граде Іеріхонѣ именемь Шаикышь. видѣль бѣ[2] сьнове в҃і[3] и печалень бѣ ѡ ни[х],[4] ꙗко не обрѣташесе[5] раз[д]рѣшитіи сьнове его.[6] и ѡбрѣтоше[7] моужа[8] именѣ[м] Мамера и[9] приведоше его кь ц҃рѹ.[9] и ре[ч] ем[ѹ] ц҃рь,[10] можеши[11] ліи оугодити сьнове в҃і еже есмь виделъ. ѡн҄же ре[ч]. г҃ь б҃ъ хощеть оугодитіи съновь тѣ[х].[11] Сънь прьвы[и] каковь[12] еси видѣ[х] (л. 113[б]) ц҃рѹ. Ре[ч] ц҃рь видѣхь злат...[13] (лист обрезан пропущено 1 слово) ѿ землꙗ до н҃бь. Ре[ч] Мамерь, слыши,[14] ц҃рю. исповѣм҄ ти въсе.[14]

---

1 Слово ѡ Шаикиша ц҃ра. ѡч҃е б҃іві. 2 вне[х]. 3 Ad.: вь е[д]инѹ но[щ]ъ. 4 беше зело. 5 и не бе кто емѹ. 6 тие. 7 обре[т]ѣ мѹдра. 8 Ad.: хи[т]ра кни[ж]ніка. 9—9 om. 10 Мамерь. 11—11 om. 12 како. 13 ст҃ль. 14—14 мѹдьри ц҃рѹ Шаикишѹ. тебе мѹдро сь н҃асте неть (sic!). сьнове сиї нѣ[т]ъ на те ни на твои гра[д] ерихонь. мѹдри ц҃рѹ Шаикишѹ.

[1] За это отчасти говорил и список, изданный еще в 1891 г. Ю. И. Поливкой (Starine, XXIV), оставшийся почему то для А. В. Рыстенко неизвестным.

[2] Впервые указан проф. М. Г. Попруженко (А. В. Рыстенко. Сказание, 2).

еже еси видель ст҃ль [15] злаⷮ ѿ землѥ до нб҃ь. то егⷣа [15] прїидеть злое ть врѣⷨ. рекомы [16] ꙁ҃ вѣⷦ, [16] последные дни, ть ѿ вьстока [17] до запаⷣ много зло боудеⷮ вь [18] градиі и села. [18] метежь вь цр҃ѣⷯ [19] б8деⷮ и не боудеть чиста [20] ч҃лка ни мысль добра ч҃лкѡⷨ вь срⷣци. [20] бж҃їе заповѣди не сьхранеть. дроу҃ др8г8 зло мыслить. [21] цр҃ь на цр҃а станеⷮ плѣновати [22] един' др8гого. [22] и врази крьщени оумножет'се. [23] зло твореще, а добро ни мало. закон8 добр8 [24] оучеще, [25] а сами его не твореще. и глаⷣ б8деть. [26] прѣст8пить зыма на лѣто [27] и зыма боудѣⷮ. . . [28] (113ᵃ срезано около 2 слов) и [29] хощеть ч҃лци сѣати сьблазнетсе и не раз8меюⷮ. [29] много сѣють, а мало жнють. и [30] землꙗ мьзⷣоу не вьсхощеть дати. [30] аще не боудеⷮ зноа, то плода не сьтворить [31] хищенїа [32] рⷣа ч҃лчьскаго. дроугь др8га не вьз'любить тогⷣа. [33] о҃ца и м҃терь не поменоуⷮ, ни почьтоуⷮ ни рода ближнꙗго. [34] ѿ своего рода изыдеть [35] в инь раⷣ новакь [36] б8деть. жен8 поимеⷮ блоуⷣницу, [36] не оусрамлꙗесе о҃ца и м҃терь. тогⷣа [37] кнеѕи и с8діе и [38] ратаие и вьси ч҃лци [38] коуп'ци боуⷣть и далеч'нїй поутїе ближнїи [39] боуⷣть и вьтѣⷯ обичаи прѣстанеⷮ. и [40] в то врѣⷨ ꙗвит'се опашитᵃ ѕвѣзⷣа. [40] и тогⷣа оумалит'се мирь. [41]

(л. 147ᵃ). Р҃е цр҃ь видѣⷯ ѿ [42] земл. . . (срезано одно слово) висеще до нб҃ь. что боудеть. [42] и р҃е Мамерь. слыши, [43] цр҃оу, азь исповѣм' ти вьсе. егда прїидет' злое [43] то врѣⷨ вь [44] в'сѣⷨ мирѣ [44] вѣтхїй соуⷣ' поновит'се. [45] родове [46a] вьси оуклонетсе. бж҃їа врѣмена [46a] не твориⷮ добро. скоупости раⷣ брашьнъ своиⷯ, нь ѿ рода свое҃ изыдеⷮ. [46] и др8говь своих [46] ѿл8чит'се. чюжⷣихь людиі прилѣпитѣ҃. прьв8ю [47] любовь сь чюжⷣими сьврьшаѥⷮ, а своиⷯ сїи изабо-равиⷮ. [48]

Р҃е цр҃. видѣⷯ три кот'ли и пеще. [49] Вь единомь масло, а вь др8зѣⷨ лои. а вь третїемь вода. [50] и [51] тако масло кыпеще, кропеше вь лои, а лои вь масло. [51] а вода сама кыпеше [52] ѿ себѣ. что б8дѣⷮ. [53]

(147ᵇ . . . два слова срезано). [54] слыши, [55] цр҃ю. азь повѣм'то вьсе. егда прїидеⷮ [55] злое то врѣⷨ, боудеть бг҃ать единь ч҃лкь [56] вь единомь мѣстѣ,

---

15—15 ѡгни злата, тогда (sic!). 16—16 om. 17 Ad.: с҃лнц8. 18—18 по вьсеи зем'ли. 19 ч҃лвцехь. 20—20 праⷡьда цр҃е по землиⷯ (sic!). 21 врагь б8деть. 22—22 а турьци на хоуждьшее себѣ. и не б8деть добротворение ꙗзикомь; 23 враговь крьщених много б8ⷣеть; 24 om. 25 Ad.: а по закон8 не ходеще, инемь добро говореще. 26 Ad. по зем'ли. 27 лѣто преступаеть вь зим8. 28 Ad.: посреⷣе лета. 29—29 не разⷨеюще сеати сьблазнетьсе ѡ времени. 30—30 om. 31 не дасть. 32 хищрѣниа. 33 др8голюбие престанеть. 34 рожⷣениа ближних. 35 идеть. 36—36 ꙗко помен8тъ женоу ѿ бл8дниць. 37 ть време. 38—38 om. 39 близь. 40—40 м8чені сї прѣкратиⷮсе. 41 в҃ сьнь како віделъ еси цр҃8. 42—42 срьпь висещь ѿ нб҃и и до земл'е. 43—43 om. 44—44 om. 45 престанеⷮ. 46a—46a нікътоже. 46—46 om. 47 om. 48 своі родь ѡставлꙗеть. г҃ сьнъ како еси виделъ цр҃8. 49 кипеще. 50 а҃. лои, в. масло, г҃. вода. 51—51 масло мешашесе с лои. 52 om. 53 om. 54 р҃е Мамерь. 55 om. 56 plural.

а дроугы въ дрѹзѣⷨ.[57] и тако[58] бг҃ать бг҃атаго призовеⷮ,[59] а оубогаго[60] ник҆то не призовеⷮ,[61] нь саⷨ ѡ себѣ стражⷣеть, ꙗко[62] не имать ничесоже.[62] людїе боуⷣть лицемѣр҆ни и вьси начнуть[63] скѹдно житїи. ниже рода своего възыщеⷮ скѹпости раⷣ.[63] ѻ҃ца и м҃трь вьзненавидѣⷮ. тькмо[64] женѹ свою вьзлюбыть. а[65] рода си изаборавить.[65] жена млаⷣ мѹжѹ прилучитсе,[66] ѡстанет҆се[67] ѻ҃ца и м҃терь и мѹжоу[68] ѡномоу послѣдствуеть.[68] и[69] дроугаго ѡбрѣщеть и мылеишаго забоудеть пръваго при послѣⷣнѥⷨ. моужа раⷣ забоудеть ѿца и м҃терь (148ᵃ, одно слово срезано) и дъщерь . . . (одно слово срезано), мужевы прилѣпитсе.[69] тогⷣа въ четири[70] тисоущаⷯ женаⷯ ни єдина не[71] обрѣщет҆се чиста о мѹжїи своемь.[71]

Сънь д҃.[72] Ре҃ ц҃рь. видѣⷯ старѹ кобилоу съ жⷣрѣбетеⷨ и жⷣрѣбе[73] наскѹбе травѹ дааше кобиле[74] ꙗсти[75] травѹ.[75] а жⷣрѣбе рьзаше. что боудеⷮ.[76] Ре҃ Мамерь. слыши,[77] ц҃роу, азь повѣм҆ти вьсе.[77] Єгⷣа прїидеⷮ злое[78] то врѣⷨ вь[79] послѣдные д҃ни[79] м҃ти дьщⷬ҇е свою прѣдаⷭ҇ на блоуⷣ҆ своего раⷣ гртана да[80] се бы сама наситила.[80] И сестра сестрѹ свою такожⷣе[81] нач҆неть дати.[81] м҃ти[82] же нач҆неⷮ стрещи стидещисе, да не нѣкто назриⷮ.[82] И сноха свекра[83] и свекръвѹ[84] свою не оусрамлꙗетсе.[84] въ врѣⷨ то ни[85] дѣ҃ца не обрѣ . . . (148ᵇ, часть слова срезана). чиста до з҃ лѣⷮ.[85]

[86]Ре҃ ц҃рь. видѣⷯ коучкѹ лежещоу.[87] и щен҆ци лаꙗхѹ вь нѥи. что боудеⷮ.[88] Ре҃ Мамерь. Слыши,[89] ц҃рѹ. исповем҆ти вьсе.[89] Єгда прїидеⷮ[90] злое[90] то врѣⷨ, ѿц҃ь нач҆неть оучити чеда[91] добрѹ законѹ и благовѣрноу.[92] ѡниже не послѹшаюⷮ иⷯ, нь рекоуⷮ имь.[93] ты ли[94] знаешь. и оукореть иⷯ,[94] и ѡни тогⷣа срама ради оумльчеть.[95]

[96]Ре҃ ц҃рь, видѣⷯ мнⷭ҇ство с҃щеници[97] погрѹзноув҆ше[98] въ каль и гор҆ко поюще[99] и немогѹще зрети.[100] что бѹдеⷮ.[101] Ре҃ Мамерь. слыши,[102] ц҃рю. повѣⷨти вьсѣ. Єг҃а[102] прїидеть[103] злое то врѣме нач҆ноуⷮ[104] попове людии оучити добрѹ[105] законѹ и бл҃говѣр҆ноу,[106] а сами его не творяще. инѣхь[107]

---

57 Ad.: месте богати. 58 да. 59 призиваеть на любовь. 60 сиромаха. 61 om. 62—62 om.; ad.: вьсі. 63—63 крадено (sic!) имѹть житие. 64 om. 65—65 om. 66 мѹжа полѹчить. 67 ѡставить. 68—68 поидеть по мѹжи своемь, елико любеше его. 69—69 паки много мишлешего (sic!) ищеть и мѹжа своего забѹдеть и чеда своа оставить последньнего ради мѹжа. 70 м҃. 71—71 верьна мѹжѹ своемѹ. 72 д҃. сьнь како еси видель, ц҃рѹ. 73 ѡрель. 74 хранеше кобилѹ. 75—75 om. 76 om. 77—77 om. 78 om. 79—79 om. 80—80 om. 81—81 om. 82—82 и нач҆нѹтъ сьтрещи нестиⷣещесе. 83 Ad.: своего такожⷣе. 84—84 om. 85—85 жена тѹжⷣа моужа родомь нарⷮеть, а после обличтсе (sic!) мѹжѹ. тьгⷣа не обрѣщетсе ѿ а҃ єдина мома чиста ѿ з҃ лѣⷮ. 86 Ad.: ҃ сонь како еси видель, ц҃рѹ. 87 Ad.: на гноіще. 88 om. 89—89 om. 90—90 вь. 91 Ad.: своа. 92 om. 93 нь иⷯ оукореють, г҃люще. 94—94 старь еси, не смислиши, что велишы. 95 singular. 96 s҃ сьнь како еси видель ц҃рѹ. 97 поповь. 98 оугрезънѹли. 99 вьпиющи. 100 изьлести. 101 om. 102—102 om. 103 будеть. 104 Ad.: влаⷣци и. 105 б҃жию. 106 бл҃говерію. 107—107 om.

(149ⷶ) добр... оучещ... (срезано 2—3 слова). конȣ не ходеще, разȣми разарающе (sic!) именіа раⷯ и пище [107] въметающе дш҃ȣ свою вь ог҆нь вѣч҆ный.[108] Славы раⷣ забивающе бж҃іе законы.[109] прѣⷣ ѡлтареⷨ [110] ѡрекшесе (sic!) славы [111] и жизни [111] сует҆наго сего свѣта [112] бг҃атьства [113] раⷣ тлѣн҆наго и [113] боуⷣть златолюб҆ци, кльнещесе [114] прѣстȣпати [115] агг҃льскый обраⷥ носеще [116] вътирають дш҃у свою в ѡг҆нь вѣч҆ный. именіа раⷣ ѿрекȣтсе вѣч҆ніе пище вь бесконечна҃ вѣка.[116]

[117] Рⷱ҃ цр҃ь. видѣⷯ конѣ ѕѣлѡ [118] краснаа, ꙗдȣща [119] травȣ сь двема главама. едина гл҃а напрѣⷣ, а дрȣга ѡзаⷣ. что бȣдеⷮ.[119] Рⷱ҃ Мамерь, слыши,[120] цр҃ю. исповѣм҆ти вьсе.[120] кнѣѕы [121] и сȣдіе с еп҃кпи не сȣдеⷮ (149ⷡ) по правде,[121] ноу по митȣ,[122] не боещисе бг҃а [123] ни сьмрьти помиш҆лꙗюще [124] ни [125] грѣховь своиⷯ. нȣ право криво прѣтварающе. вьземлюще мито и [125] вьмѣтающе дш҃ȣ свою вь огнь вѣч҆ный [126] бг҃атьства раⷣ, егоже не несоуⷮ сь собою въ гробь.

[127] Сънь и҃. Рⷱ҃ цр҃ь. видѣⷯ по вьсеи вьселенѣи [128] драго каменіе и [129] бисер҆ни вѣн҆ци цр҃стіи.[129] и пріиде [130] ѡгнь сь нб҃ь и пожеже вьсе то [131] и бы҃ ꙗко и праⷯ. что [132] хощеть быти.[132] Рⷱ҃ Мамерь. Слыши,[133] црȣ, азь ти повѣⷨ вьсе.[133] вьси чл҃ци кȣп҆ци [134] (л. 150ⷶ) боуⷣть. бг҃ати и оубогы и вьси людіе [135] клетвою [136] и льстію [137] стежȣть [138] бг҃атьство свое [139] и сь теⷨ бг҃атьствѡⷨ ни бг҃у слȣжеть то [140] ни дш҃и си. и оубогомȣ [141] вь то врѣⷨ не попраⷣȣютсе,[142] а именіе [143] по сребрьноⷦ сь грѣхы сьбранное егда погȣбеⷮ вел҆ми восплачют҆се и рекоуть.[143] сьгрѣшихоⷨ, сьбирающе [144] бг҃атьство се.

[145] Рⷱ҃ цр҃ь. видѣⷯ много болꙗры давающе дѣлателеⷨ. ови злато, ѡви сребро, иниже ризы.[146] и [147] пакы и пріидоше оу ниⷯ възети полога своего и не ѡбрѣтоше ничесоже. что хощеⷮ быти.[147] Рⷱ҃ Мамерь, слыши,[148] цр҃ю, повѣм҆ти вьсѣ.[148] богатіи людіе (150ⷡ) прдадоуⷮ етерѡⷨ людемь [149] имѣніа своа [150] на съхраненіе. они же видѣв҆ше,[151] вел҆ми вьзраⷣȣютсе, ꙗко [152] именіа прѣдадоуⷮ имь. И пакы [152] егⷣа пріидоуть вьзети [153] пóлога [154] своего, они

108 om. 109 заповеⷣи. 110 Ad.: и предь агг҃ли. 111—111 om. 112 мира. 113—113 и паче мери. 114 Ad.: нȣть (очевидно — начьнȣть). 115 Ad.: заповеди бж҃ии. 116—116 om. 117 Ad.: з҃ сьнь како еси видель црȣ. 118 om. 119—119 в҃ главе. едина напредъ, а дрȣга назадъ. и ꙗде травȣ. 121—121 вь тье време соуⷣи нь и влаⷣки неправо сȣдеть. 122 м҆зде. 123 Ad.: чл҃къ не стідещесе. оукриваи (sic!) праваго, вьзимаи мито. 124 поминающее. 125—125 om. 126 тьмȣ кромеш҆нȣю. 127 Ad.: и соⷩъ како есы виделъ, црȣ. 128 земли расипано. 129—129 om. 130 съніде. 131 om. 132—132 om. 133 om.; ad.: вь тье време. 134 и ськȣпъци. 135 om. 136 льжею. 137 клеветою. 138 собѣрȣть. 139 om. 140 om. 141 ни оубогиⷯ милȣетъ. 142 поммілȣюⷮь (sic!). 143—143 егⷣа погȣбеⷮь имение съвое имь пⷮелъ по немъ и плачь, а грѣхь своиⷯ не плачетсе, ꙗко. 144 стежавъше. 145 и҃ соⷩ како еси видель, црȣ. 146 ѡви роухȣ. 147—147 om. 148—148 тогⷣа. 149 инемъ. 150 богат҆ство свое. 151 слишав҆ше ꙗко дають имъ имение свое. 152—152 om.; ad.: ѡни. 153 просити. 154 положение.

не дадоут'[155] имь, вьмѣтающе д҃шу свою вь огнь вѣч'ны,[156] кльнещесе[157] и г҃люще не вѣми[158] именіа[159] вашего̃ еже г҃лете на ны, нь потвор'ници естѣ, льжете на ны.[159]

[160] Рѣ̑ ц҃рь. видѣх много[161] высокіе слѣз'шее стены и зло собр҃нꙋ по землы ходеще. что хощет быти.[161] Рѣ̑ Мамерь. слыши,[162] ц҃рꙋ, повѣм'ти всьса.[162] боудеть весь миръ неистовь.[163] льжею и клетвою величающе се.[164]

[165] (151а) Рѣ̑ ц҃рь видѣх три дѣ... (2—3 слова срезано)... нꙋ врьсть,[166] великые[167] вѣн'це носеще[168] на главах и[169] вь рꙋках имꙋще б҃гоуханіе. вонꙗ бѣ б҃жіа и дрьжаніе. что хощет быти.[169] и рѣ̑ Мамере (sic!). слыши[170] ц҃рю, повѣм'ти[170] вьсе. боудть вьси ч҃лци скврьни,[171] мьздо-ем'ци льживіи.[172] нигде не бꙋдеть вь в'сѣм[173] права г҃лалети. дьщерь[174] вьз'-ненавидит и мрьтва видеть и дивετьсе емꙋ.[174] и брат брата вьзненавидть. оубогы моуж мꙋдро сло (sic!)[175] рѣть, ѡни[176] его не послꙋшають, а б҃гать моужь речет безꙋмно слово и вьси[177] слоушаеють (sic!)[178] его и рекоут.[179] помльчете.[180] болꙗринь говорить и моудра его сьтворет б҃гатьства рад. рекоут[181] емꙋ. добре рѣ̑, болꙗрине.[181]

[182] (л. 151в). Рет (ц҃рь. видѣх) множьство людіе тѣснаа[183] очеса имꙋще, а[183] власи ѡстрі, ноктіи соуровы и ті бѣхоу слꙋжаще діаволꙋ. что[184] хощет быти. и[184] рѣ̑ Мамер. слыши,[185] ц҃рю, повѣм'ти вьсе.[185] б҃гатіи людіе попероут оубогыих оусиліемь[186] и метежь станеть[187] многь.[188] тогда вьз҃глют.[189] поч'то не оумрѣхѡм[190] прѣжде сего врѣмѣне да быхѡм не видѣм д҃ни сіе конеч'ные. и[191] начноут г҃латіи. оубогы, иже прѣжде врѣмене из'мрьли соут,[192] добро-твореще д҃шꙋ[193] с҃пти хотеть, а на̑ вь огнь вѣч'нїи повѣдоут, еже[193] е̑ оуго-товань нам грѣш'никѡм.[194] а мы б҃гатьствоm. своим ни б҃оу слꙋжихѡм то на д҃ши сіи, не м҃лꙋюще оубогые (152а) именіа скꙋпости (2 слова срезаны) сьтворише прѣжде, да вь боудщим вѣце обрѣли соут с҃псеніе. они бо име-

---

[155] вьздадꙋт'. [156] мꙋкꙋ. [157] om. [158] не знаемъ. [159—159] добитиа сего̃, не вемь, что г҃леши. [160] Ad.: і со̑ъ како есы видель. [161—161] стени ходеще и зъли образи носеще. [162—162] om.; ad.: въ то време. [163] om. [164] великою-щесе (sic!). [165] Ad.: а҃і сонь како видь (sic!) ц҃рꙋ. [166] г девици врьстꙋ единꙋ. [167] сльньч'ніе. [168] om. [169] б҃гоуха (sic!) цвети вь рꙋкахь ихь. [170—170] om.; ad.: в то време. [171] скꙋпі и немілостиви. [172] нем҃ітві (sic!). [173] om. [174—174] мати слое чеда вьзьнавидить (sic!). [175] слово. [176] om. [177] om. [178] послꙋшають. [179] г҃люще. [180] ти мльчи. [181—181] om. [182] Ad.: в҃і сѡ како видель еси. [183—183] om. [184—184] om. [185—185] om.; ad.: егада (sic!) придеть тие време. [186] сь оусрьдіемь. [187] встанетъ. [188] великь. [189] Ad.: многи. [190] не зьрехомь. [191] блазе те (очевидно — тем). [192] изьмреше. [193—193] д҃ши своеи и с҃пасе сꙋть, вь мꙋкꙋже не вьведꙋть их, ихьже. [194—194] ѡни богать-ст'вомъ своимъ б҃гꙋ послꙋжише и д҃ши своеи, нікомꙋ зло не творахꙋ, имениа своего не миловахꙋ, несь бо (sic!) никомꙋ понести сь собою вь гробь; они богатьствомь своимь, вьсекꙋ запо-ведь б҃жию сьврьшили соуть.

ніемь свои[м] вьсꙋ заповѣ[д] добрѣ слꙋжеще,[194] а мы бг҃атьствѡ[м] свои[м] никомꙋ послꙋжихомь, г҃люще да богатіи бꙋдемь, а словеса бж҃іа не поменꙋхѡ[м]. г҃лющи[м] прркѡ[м].[195] сьбыраете нж не вѣсте[196] комꙋ сьбираете.[197] нѣ[198] имѣнїа понести сь собою вь гробь. и начноу[т] вьпрашати дроу҇ дрꙋга: нѣ требѣ тамо именїа да не слиши[м], вьсе бо ѥ҇ ин҇ы ѡставити.[198]

И томꙋ[199] поклонисе моудріи моу[ж][200] философь Мамерь и рече. моудріи[201] п҇роу Шаикышꙋ. се протльнованіе[202] сьновь[203] твоихь[203] бꙋдеть вь послѣднѥе дньи (sic!).

Кꙋ҇[204] в҇і-ти сьновь еже ны пости (л. 152[в], одно слово срезано) си вѣкь на конець сед'мими тисоущамь.[204] аминь.

П. Потапов.

Одесса.
1926. XII. 13.

195 Ad.: Да҇о[м] (очевидно — Давидомъ). 196 не веть (sic!). 197 сьбираеши. 198—198 вьсплачемсе, г҃лемъ. ѡ҇ горе намь прельстивьш[м]се лестію діаволою. начнꙋть г҃латі. єликомоу трѣбѣ имение, да миы (sic!) бисме дали. вьсе бо н҇им оставити. 199 потомъ. 200 om. 201 om. 202 протлокованіе. 202—203 om. 204—204 om.

Древне-русская братчина, как обрядовый праздник сбора урожая.

(Краткое изложение большого исследования).

У многих первобытных народов известен обычай, в силу которого первое убитое на охоте животное потребляется не единолично, а коллективно, всей общиной. Напр., у алеутов «мясо первого, с начала промысла, промышленного зверя раздает промысливший оного в своем селении *всем жителям* по частям».[1] У осетин «охотник, первый убивший крупную дичь, вырезывает из правой стороны кусок в 5—6 ребер и дарит встречным охотникам, не успевшим ничего убить».[2]

Мы не будем обсуждать сложный вопрос о происхождении этого охотничьего обычая-обряда. Нас интересует не предшествующая история, а позднейшее развитие данного обряда, к которому, как к прототипу, мы возводим русскую древнюю и современную «братчину». В качестве рабочей гипотезы примем, что это магический обряд; вкушение членами охотничьей общины первой добычи — магический символ того, что все они будут иметь подобную же добычу. Для нас важно установить коллективный характер данного обряда. Эта именно коллективность древнего охотничьего обряда роднит его с позднейшими скотоводческими и земледельческими обрядами, к которым принадлежит русская братчина.

Дальнейшее развитие обряда происходило под влиянием двух главных факторов: 1) усложнения и изменения религиозных верований и 2) изменения соответствующих занятий населения. Под влиянием первого фактора магический, до-анимистический обряд превратился сначала в языческое жертвоприношение при сборе добычи или урожая, а после воспринял много христианских черт. Церковные братства, воспользовавшиеся формами древней братчины, сами в свою очередь наложили на нее свой новый отпечаток, главнейше на братчину пчеловодов.

---

[1] Ст. Крашенинников. Полн. собр. уч. путеш. по России, II, 1810, стр. 290.

[2] Г. Чурсин. Юго-Осетия, I, 1925, стр. 199.

Под влиянием смены занятий, обычай звероловов с течением времени превратился в обряд скотоводов, земледельцев и пчеловодов. А так как скотоводы, особенно же земледельцы и пчеловоды собирают свой урожай всегда более или менее одновременно, то коллективность обряда получила иные формы: дележка добычей заменилась складчиной продуктов, а позднее и денег. «Братчиной» зовется именно угощение в складчину.[1]

О древне-русских братчинах, которые впервые упоминаются в памятниках под 1150 годом,[2] мы знаем очень мало. Все известное было еще в 1854 году собрано А. Поповым в его статье «Пиры и братчины».[3] Меньше всего известна нам бытовая сторона древних братчин, которая в данном случае является решающим фактором. Вот почему мы принуждены иметь дело главным образом с позднейшим наследием др.-русской братчины.

Вряд ли можно сомневаться в том, что великорусские обрядовые праздники, известные и теперь под названиями: «бра̀тчина, мольба̀, канун, ссыпка, ссыпщина», а также «Нико́льщина» и т. п., являются именно остатками древних братчин. Теперь это имеющие религиозно-церковный характер коллективные трапезы-пиры, для которых продукты собираются со всей общины.

Русский обряд братчины, связанный *с охотой и звероловством,* не сохранился до нас, но память о нем еще жива в народных преданиях. На всем русском севере, где только сохранились остатки братчин, широко распространены местные сказания о том, как встарину в Ильин день (обычный здесь день скотоводческих братчин) прибегал из лесу к местной часовне олень, которого община закалала, варила и съедала. Каргопольский и соседние с ним уезды бывш. Олонецкой губ., Вельский и Кадниковский Вологодской губ., Белозерский уезд Новгородской губ., — вот места широкого распространения преданий о чудесном олене.[4] В XX веке легенду эту отметили здесь П. Шереметев,[5] А. Шустиков,[6] С. Скороходов.[7] Не приводим многочисленных свидетельств о том же авторов XIX века. То же предание известно еще зырянам.[8]

Изредка предание говорит о лосе, вместо оленя.[9] Где празднество происходило в день Рождества Богородицы 8 сентября, там предания говорят о прибегавшей

---

1 Д. Зеленин. Опис. рукоп. уч. архива Геогр. Общества, стр. 652, 762, 778, 969 и др.

2 Ипат. летоп. 6667.

3 Архив ист.-юридич. свед. Калачова, II, 2, стр. 19—41.

4 В д. Будогоще Тихв. у. Новг. г. в 1880—90-х гг. такая братчина, связанная с преданием об *олене*, совершалась *на Успение* (15 авг. ст. ст.) после молебна. *(Ред.)*.

5 Зимняя поездка в Белозерский край. М. 1902, стр. 136.

6 Известия Вологодского Общ. изуч. сев. края, II, 1915, стр. 101.

7 Труды Волог. Общ. изуч. сев. края, 1926, стр. 11, 41, 65.

8 Труды Этнограф. Отдела, XIII, вып. 2. М. 1874, стр. 19, прим. 80.

9 Н. Харузин. Олонецкий Сборник, III, 1894, стр. 343.

самке оленя с детенышем.[1] Нередко рядом с оленем оказывается еще и гусь или глухарь,[2] лебедь,[3] а также другие птицы и звери.[4]

В языческой обстановке аналогичный образ звероловов отмечен у корел Кемского уезда, которые ранней весной закалали оленя и «съедали его торжественно с особыми обрядами в честь бога Ке».[5] К тому же циклу мы относим и языческий «праздник лебедей» у вотяков Казанской губ., где пару лебедей выпускали на волю, а вместо них закалали пáрами разных домашних птиц и животных.[6]

Известно, что охотники и звероловы первобытных народов весьма скептически относятся к участью женщин во всем том, что касается их промысла. У русских это недавно еще сохранялось во всей силе, напр., на Каспийском море, у астраханских рыболовов.[7] Отзвук этих поверий мы усматриваем в том, что кое-где и на современные братчины не допускаются женщины.[8] Ниже мы встретимся со специально-женскими братчинами, связанными с женскими занятиями, напр. куроводством.

Переход от звероловства к *скотоводству* вызвал естественную замену жертвенного оленя быком или бараном. На этой, скотоводческой стадии развития обряд встречается еще и в наши дни и много раз описан этнографами. Обряд совершался под кровом церкви и приурочивался к разным церковным праздникам. Эти обстоятельства спасали его от преследования со стороны властей. Но отсутствие особого церковного чинопоследования вело к постепенному вымиранию обряда, и сохранились до наших дней, главным образом праздники обетные.

Коллективность обряда в скотоводческом празднике выражена различно. 1) В распоряжение церкви поступает много животных, из которых одно или несколько избираются для общей трапезы, иногда по жеребью. 2) В церковь поступают от каждого домохозяина лишь отдельные части тех или иных домашних животных, напр. бараньи лопатки, свиньи головы.[9] 3) Производится сбор продуктов или денег, и в складчину покупается жертвенное животное. 4) Обетное («завѣчёно, обречёное») животное откармливается за счет всей общины (Трунов, Завойко).

Вне связи с обетом стоит скотоводческая братчина Пудожского уезда, описанная Н. Харузиным,[10] Вельского у.,[11] а также аналогичные обряды пермяков и вотя-

1 П. Шереметев, op. cit., стр. 137.

2 А. Шустиков, op. cit., стр. 101, 102, 119.

3 Олонецкий Сборник, III, стр. 344.

4 П. Шереметев, op. cit., стр. 136.

5 М. Едемский. Отчет Геогр. Общ. за 1908 год, стр. 39.

6 Н. Афонасьев. Известия Геогр. Общ., XVII.

7 Ив. Михалов. Хоз.-статист. очерки Астр. губ. СПб. 1851, стр. 171.

8 Олонецкий Сборник, III, стр. 343. Н. Харузин, видит тут доказательство происхождения братчины из древних родовых жертвоприношений.

9 Опис. рукоп. Геогр. Общ., стр. 257.

10 Олонецкий Сборник, III, стр. 342.

11 Опис. рукоп. Геогр. Общ., стр. 247.

ков. Древнейшая форма обета равносильна формуле: если будет урожай, благополучие со скотом, то будет и праздник урожая.[1] Дальнейшая эволюция обета: если корова отелится в первый раз бычком, то его «обрекают миру» (Орловск. губ.; Трунов). Современные обеты связаны с болезнью скотины или с иным несчастным случаем (Завойко о Костр. губ. и друг.).

Обряды куроводов превратились в специально-женские праздники, поскольку это женский промысел. «Кузьминки» не связаны с обетом и празднуются, главным образом, девицами, 1 ноября; напротив, обряд «троецыплятницы» совершается на Вятке только пожилыми женщинами — в силу обета, данного вятчанками встарину, «при рождении младенцев».[2]

Связь скотоводческой братчины с древним язычеством ярко сказалась в поверьях о магической силе костей съеденного на братчине животного. Олонецкие охотники и рыболовы убеждены, что кость «Ильинского» быка утраивает их добычу.[3] В Орловской губ. кости «оброшного» быка после братчины закапывают в скотском хлеву, чтоб не переводился скот в доме (Трунов). Кости кур, съеденных в Кузьминки, зарывают в курятнике — для бо́льшей плодовитости кур; кости эти не ломают, а то цыплята будут уродливыми.[4] Вятские женщины в 1739 году кости и перья кур-троецыплятниц почитали «яко бы за святые».

Кроме северных губерний, скотоводческие братчины с жертвенным быком отмечены еще в губерниях Нижегородской Пензенской[5] и Орловской.[6]

На *земледельческой братчине* нет жертвенного животного; обрядовые блюда: пиво (так наз. кану́н, мирщи́нка, бра́тчина) и каша. Пиво варится или из продуктов, собранных в складчину, или же каждый варит у себя дома, но его приносят в церковь и здесь сливают в один общий сосуд, после чего его пьют. Такого рода братчины Восточной Сибири описал А. Макаренко.[7] Ярославские «мольбы́» описаны в Яросл. Губ. Ведомостях 1888, № 76 и 1889, № 50 (статьи Н. Лисицына и Н. Оп-н); Вятские «мольбы» в «Отчете о диалектологич. поездке в Вятск. губ.» Д. Зеленина.[8] У белоруссов они совершаются 9 мая и известны под именем «Микольщины».[9] А. Г. Данилин описал этот обряд в 1925 г. в с. Мантурове Кологривск. у. Костр. губ. (рукопись).

1 Пам. Кн. Олон. губ. на 1867 г., стр. 131.
2 Д. Зеленин. Троецыплятница. В. 1906.
3 Пам. Кн. Олон. губ. на 1867 г.
4 С. Максимов. Неч., невед. и крестн. сила, стр. 520.
5 Опис. рукоп. 762 и 986.
6 Зап. Геогр. Общ., II, 1868, Трунов.
7 «Канун по сибирским селениям». Живая Старина, 1907, № 4.
8 Сборн. Отд. Русск. Яз. и Слов. Акад. Наук, т. 76, 1903.
9 А. Богданович. Пережитки древн. миросозерцания у белоруссов, 1895, стр. 110; Е. Романов. Белорусский сборник, VIII, стр. 189.

Вне связи с обетом стоит зырянская «братчина» в Устьсысольске, 1—3 ноября:[1] ее русское имя говорит о заимствовании зырянами от русских; аналогичный русский обряд 1 ноября описан в Трудах Волог. Общ. изуч. сев. края, 1926, стр. 37.

Редкую и оригинальную форму имеет землед. братчина в Кадниковском у. Волог. губ.: в Ильин день деревня печет сообща громадный коровай хлеба в 2—5 пудов весом; после молебна этот коровай разрезают на мелкие куски и раздают миру; одновременно приготовляется и раздается всем громадный же кусок сыра (творога).[2]

Земледельческие братчины совершаются не всегда осенью, после сбора урожая в поле, но также зимой, летом и весной. Тут сказалась прежде всего генетическая связь их с прежними скотоводческими и охотничьими праздниками, которые по самой своей природе не были связаны с каким-либо одним временем года. Обетный характер братчин способствовал разнообразию их сроков: обет давался во имя какого-нибудь святого, и братчина приурочивалась к дню памяти этого святого. Повторность праздников в честь спасителя, богоматери, св. Николая, свв. Козьмы и Дамиана и др. лишний раз содействовала колебанию сроков совершения братчин. Наконец, естественное стремление населения, чтоб братчины соседних деревень и приходов не падали на одно и то же время (иначе нельзя будет побывать на братчине соседей) и не падали на близкие друг к другу сроки (частые праздники прекратили бы всякую работу), — все эти условия приводим к более или менее равномерному распределению братчин по всем временам года.

Если на русском севере сравнительно хорошо сохранились до наших дней братчины скотоводческие и земледельческие, то на западе и на юге лучше сохранились соответствующие *обряды пчеловодов*. Тут обрядовым блюдом служит мед, главным образом в виде напитка, а жертвой — воск. Последний, в связи с церковным характером обряда, имеет форму свечи, отчего и самая братчина носит большею частью имя: «свеча́, бра́тская свеча́».

Белорусская «свеча» описана в книгах П. Шейна,[3] Дембовецкого, Е. Романова, А. Богдановича, в статье I. Сцепуржинского,[4] В. Добровольского.[5] Об украинском обряде Черниг. губ. см. в книге А. Ефименко «Южная Русь».[6] У великоруссов обряд отмечен только в Жиздринском у. Калужской губ.[7]

Воздействие на пчеловодную братчину со стороны старинных церковных братств, а частью и со стороны цеховых организаций — вне всякого сомнения. Ду-

---

[1] Кичин в Волог. Губ. Вед. 1852, № 28; срв. Труды Этн. Отд., XIII, № 2, стр. 65.
[2] Опис. рукоп. Геогр. Общ., стр. 251.
[3] Матер. для изуч. быта и яз. III, 1902, стр. 174 и сл.
[4] Странник, 1877, № 1, стр. 150 и сл.
[5] Этнографическое Обозрение 1900, № 4.
[6] Т. I, СПб. 1905. «Южно-русские братства», стр. 264.
[7] Опис. рукоп. Геогр. Общ., стр. 574.

мать вместе с некоторыми авторами, что этот обычай и создан братствами, нет оснований. Пчеловодная братчина известна также мордве-мокше Пензенской губ.[1] У мордвы Спасского у., Тамб. губ. воск в обряде братчины представлен не в виде свечи, а в виде «воскового хлеба»,[2] в который усердные вкладывали серебряные деньги.[3]

Коллективный характер пчеловодского обряда сказался и в том, что все члены общины приносят воск для изготовления новой свечи или для дополнения прежней; и в том, что одна и та же свеча хранится по году в доме каждого из домохозяев, пока она не обойдет всей деревни; наконец, часто бывает и сбор продуктов для общей трапезы.

Пчеловодная братчина совершается не всегда осенью, после сбора свежего меда, но и в другие времена года. Мы объясняем это обстоятельство теми же самыми причинами, что̀ и сроки земледельческой братчины; к этим причинам нужно еще присоединить воздействие церковных братств, которые воспользовались традиционною формою братчины для своих целей, чтоб добывать средства на благоустройство храма, при чем они часто объединяли братчину с храмовым праздником.

У русских *рыболовов* специфической формы братчины, повидимому, не было. Олонецких рыболовов мы видели на скотоводческой братчине, где они «хватают ильинское мясо», кости коего служат талисманом при рыбной ловле. В других местах рыболовы пользуются формой братчины пчеловодов: в день своего патрона, 29 июня, собирают «Петру-рыболову на мирскую свечу», которая ставится в храме перед иконою апостола.[4]

У кахетинцев на Кавказе мы встречам обряды, близкие к нашей скотоводческой братчине, а также обряды с приношением в церковь св. Георгию вина, что̀ можно назвать братчиной виноделов.[5] В известном сербском празднике «крсно име» или «слава» нетрудно рассмотреть ряд элементов братчины, слившихся с обрядами иного цикла.[6]

У русских местами еще недавно сохранялся старый обычай приходить на братчину всякому без зова.[7] Этот обычай может служить лишним подтверждением религиозного происхождения братчин. В старых русских жалованных грамотах часто

---

1 Подробное описание М. Евсевьева в «Живой Старине» 1914 г.

2 Здесь лишнее подтверждение ошибочности мнения В. Добровольского, по коему празднование свечи есть «чествование света домашнего очага, а свеча — изображение предка» (Этнографическое Обозрение 1900, № 4, стр. 38).

3 Рукопись 1850 г. в архиве Геогр. Общ.

4 С. Максимов. Неч., невед. и крестн. сила, стр. 476.

5 Г. Чурсин. Нар. обычаи и верования в Кахетии. Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ., т. 25, 1905, стр. 14—15.

6 Годишњица Николе Чупића, I, стр. 99.

7 Яросл. Губ. Ведом. 1889, № 50.

встречается формула об оригинальной льготе местному населению: «въ села и деревни (данной местности) на пиры и въ братчины и о праздницѣхъ незваны пить не ѣздятъ ни ходятъ никто».[1] Историки различно понимали смысл этой формулы. Тут мы имеем замаскированную льготу, освобождающую братчинное пиво и другие напитки от акцизных сборов. Дипломатичность формулы в том, что она не отменяла никаких постановлений о пошлинах, соответствующих позднейшему акцизу, и не противоречила им; равно не мешала многочисленному классу чиновников присутствовать на братчинах, только по приглашению. Приглашенный в качестве гостя чиновник, конечно, «не придирался» к столь возможным на братчинах мелким нарушениям устава о пошлинах.

Д. Зеленин.

Ленинград.
1926. XII. 13.

[1] Грамота 1462—78 г.; см. И. Срезневский. Матер. для слов. др.-русск. языка, I, стр. 174.

Ярослав Врхлицкий и русская литература.

Ярослав Врхлицкий (Эмиль Богуш Фрида, 1853—1912) является самым ярким и даровитым представителем так называемого космополитического направления в чешской литературе и в этом отношении заслуживает гораздо бо́льшего внимания к себе, чем то, какое оказывалось ему у нас. Мы не знаем, кроме наших книжек «Этюды в области новой чешской литературы» (Киев 1884) и «Очерки из истории славянских литератур» (Киев 1893), других работ о Врхлицком. Из незначительного количества переводов из него можно указать небольшой сборничек Н. Новича (Н. Н. Бахтина) «С чужих полей» 1897, перевод сонета «Гоголь» в Киевском изд. «Ruský Čech» 1908, № 47, «Разноцветные осколки» — сборник рассказов, перевод А. Гржимали для «Соврем. библиотеки», изд. В. Саблина, М. 1909, «Психея и Амур» в «Славянском Обозрении» 1892 г. В последнее время на поэзию Врхлицкого обратил внимание К. Д. Бальмонт, нашедший в ней родственные черты и настроения и занявшийся переводами его вещей. Особенно удачными считаются переводы: Три всадника — Tři jezdce из «Epické básně» и Слеза — Slza из поэмы «Твардовский»; затем: Цвет сирени — Květe serik, «Проносятся тучи» — «Idou mračna přes hor vrcholy», Песнь — Píseň из «Ekloga písní» и нек. друг.

Преждевременная смерть Врхлицкого — он умер 59 лет — была большою утратою для славянской, в частности чешской литературы, в которой теперь нет писателя, равного ему по силе творческого вдохновения и по художественности и виртуозности стиха.[1] В настоящем очерке мы коснемся вопроса о его отношении к русским писателям и о том, насколько знакомство его с русскою литературою отразилось на его творчестве. Этот, хотя и не исчерпывающий предмета очерк будет, думается нам, нелишним в виду крайней бедности нашей литературы в отношении изучения великого чешского поэта.

---

1 Об отношении Врхлицкого с славянским литературам см. ст. Яромира Борецкого: «J. Vrchlický a jeho poměr k slovanstvu» в журн. «Slovanský Přehled» 1913.

Врхлицкий очень рано заинтересовался русскою литературою, и со стихами Лермонтова, подходившими к его душевному складу, был знаком еще в юности, читая их в подлиннике. Так, в письме молодого Врхлицкого из Италии встречаем выдержку из стих. Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью»: «Jak často řval jsem do pravdu panora slova Lermontova:

A rodne duše vůkol hledám
Jak zločinec před popravou».

В раннем сборнике стихотворений Врхлицкого «Z hlubin» встречаем в виде эпиграфа к пьесе «Belladonna» стихи Лермонтова из стихотворения «И скучно, и грустно». Все стихотворение является развитием и распространением стихов Лермонтова, послуживших для него эпиграфом. Разбор его читатель найдет в моих «Этюдах по чешской литературе» (стр. 22—24), а перевод его в сборнике Н. Новича «С чужих полей».

Припоминания из Лермонтова, вообще, нередки у Врхлицкого, в душе которого было много созвучных струн. Так, в стих. «Vdova» из «Různých mask» находим такое место при изображении восходящего месяца:

Nad parkem vycházel ten (месяц) v bledé kráse,
Jak demon, který svedl Tamaru.

«Ангел» Лермонтова послужил как бы образцом для одноименного произведения Врхлицкого «Anděl» в сборнике «Dûch a svět». Это же влияние чувствуется в стих. «Anděl smrti» Сборник «Tiché kroky» 1905. Еще сильнее заметно влияние «Демона» в разных поэмах Врхлицкого, напр., «Sandulfon» 1874, Izrafel 1876 «Mythi, cyklus druhý», sv. 2, 1880. Ekloga Andělska Сборник «Perspektivy» 1884. Elloe и др. Иные места первой из этих поэм настолько близки к «Демону», что кажутся иногда просто пересказами. К 50-летию смерти Лермонтова Врхлицкий написал прочувствованное и задушевное стихотворение «Lermontov». Характеризуя вечное художественное значение русского поэта, Врхлицкий говорит:

. . . Nel v hrobě tu je mnohem lepe,
A čiste plá tvé nadšeni,
Jen pro krásu a velkolepe
Plá ryzí tvoje umění.

Пушкин с своим ясным миросозерцанием меньше, чем Лермонтов, подходил к душевному настроению Врхлицкого; тем не менее яркость и многогранность его

творчества не могла не поразить чешского поэта. Так, в книге «Tiché kroky» огромная сила творческого гения Пушкина определяется им так:

Jak do zamlklé stepi třeskl by mocný hrom, —
Tvůj zazněl zpěv, ký život jasal v zvuku tom!
Co krásy, něhy, síly! Však v tom tvůj genius, —
Že, řekne li se: Puškin — slyšme: Celá Rus!

В красивом стихотворении «Puškin a moře» (Různé masky. 1889) Врхлицкий обнаружил глубокое понимание той огромной роли, какую играло море в творчестве Пушкина, навсегда сохранившем в себе очарование этой могучей стихией, с которою поэт хотел даже связать свою судьбу. Врхлицкий весьма ярко отразил эту мистическую связь между вдохновениями Пушкина и морем:

. . . veškeN život před nim stál
I první Musy polibení,
Kdy první oheň v srdci vsplál,
Vzmach prvý věsteckého snění . . .
. . . .
Hřmi valné moře! Velký den,
To v žití pěvce! Vrchovatá
Číš blaha — býti svoboden
A najít v souzvuk snů svých brata.
Ty's bratr ten, ty velké, bezdné
Vše más, čím raj se odmyká . . .

«Pohádka o zlatém klíči» навеяна, повидимому, сказочною поэзиею Пушкина, как в восточн. «Romance» тоже отразилось влияние его произведений. У чешского поэта иногда даже попадаются выражения, взятые, быть может, из Пушкина, напр., «zkazka» вместо чешского pohádka («Mythus» в сб. «Dûch a svět») vzmach.

В «Lautkách» (1907—1908) Врхлицкий, свидетельствуя устами сатирического доктора Семерада о значительности в мировой литературе роли Гоголя и Достоевского, заставляет Семерада привести известное место из VI главы «Евгения Онегина» (строфы XLVI—XLVIII). Даже шутливые стихи Пушкина о женских «ножках» (напр., в «Евгении Онегине») нашли свой отзвук у Врхлицкого, напр., в «Sonetech samotaře».

Указанных примеров достаточно для того, чтобы составить понятие о степени начитанности чешского поэта в произведениях Лермонтова и Пушкина, о силе впеча-

тления, произведенного ими на него, быть может даже о значении их для его творчества.

О том, какое значение придавал Врхлицкий творчеству Гоголя и насколько высоко оценивал его произведения, можно судить на основании сборника «Dujmy a rozmary» 1880, где в сонете из отдела «Masky a profily» Гоголь представляется автору «духом всеобъемлющим, заключившим в себе целый мир, несущим в себе все его заблуждения и муки и страдающим от них под внешним покровом горького смеха». Гоголь выступает в этом сонете титаном, способным вступить с самим богом в состязание о том, кто больше может сотворить...

Jak s bohem v závod, kdo více stvaří...
A lesů ruch a stepi smutek tajný,
Vše dyše z jeho básně, rovné moři,
Z níž na vás «bratře» vola Čičikov.

В «Осенней элегии» «Elegie podzimni» в книге «Západy» 1907 упоминается о сатире Гоголя:

A když Rabelais pyšný s Voltairem u besedu sednou,
Gogol i Havlíček náš přidaji sarkasmu pepř.

Для характеристики отношения Врхлицкого к Тургеневу любопытно отметить эпилог юбилейного сборника «Moje sonata» 1893, где в споре об искусстве и поэзии один из спорщиков ссылается, как на высший авторитет, на этого русского писателя, «избранного поэта». Противник, возражая ему, говорит: «Поэт может ошибочно мыслить о своем искусстве, когда начнет излишне мудрствовать. Тургенев был, конечно, великий поэт, но душа его была ранена бедою его отчизны, бедою всех. Отсюда и некоторые недостатки в его поэзии, тенденция, непонимание Фауста»... Но еще раньше, в книге «Život a smrt» (1891) Врхлицкий в конце «Causerie o astrach» весьма едко выразился об одной из характернейших личностей произведений Тургенева — Базарове: «Я не хотел бы кончить так романтически, как кончил Базаров»:

«Pod krásných ust když dechem lampa hasne,
Tu, věřte, je to umiráni krásné...
Být lampou, jak bych sladký vaš dech vtáhl,
Však ne chci končiti tak romanticky,
Jak skončil nihilista Bazarov».

Л. Н. Толстой для Врхлицкого тринадцатый апостол! В эпилоге книги «Breviř moderního člověka» — moderní majaky — в парафразе Бодлеровых «Les Phares» он так говорит о Толстом:

Tolstoj, ta mystická a velká duše čistá,
Zřel v ruském mužiku, jak trpí lidstvo celé,
Vrhl paprsk soucitu v bludište viny ztměle
Chud sám stal třinadctým se apostolem Krista.

Толстовским духом проникнуто немало произведений Врхлицкого, но его иногда приходится отыскивать, либо вскрывать под не совсем иной раз ясными изображениями. Так, в «Nových zlomcich epopeje» историческая картина революционного 1789 г. «Béthune» набросана совершенно по-толстовски. Трижды полководец приказывает войскам стрелять (palte!) в изможденных и изморенных голодом людей; но они не повинуются...

Tak mnoho může řici toto málo,
Kyn budoucnosti minulost zde dává,
Já vypravuji pouze co se stalo.

Взгляд на войну у него тоже чисто толстовский, поддержанный притом содержанием военных картин В. В. Верещагина, выставлявшихся между прочим и в чешской Праге:

Věk vynalezů, osvěty a snahy
V svém lůně živí, odchovává vrahy.

Лишь художник дерзает сказать человечеству, что «слезы гуманности — ложь, что больницы, храмы, училища — шутка, пока существует проклинаемая всеми война». В этом отношении характерно прочувствованное стихотворение «Straž před palacem Tamerlana» из «Zlomku epopeje» 1886, ярко изображающее то жуткое впечатление, какое было произведено на поэта картинами Верещагина; оно полно захватывающей красочности восточного колорита. Таков же и «Sfinx, basně lyricke» 1883; где в стихотворении, посвященном этому знаменитому русскому художнику, находится и характеристика его кисти, обвеянная тонким гуманным чувством идеалиста-поэта:

Krev hroby v sněhu, lebek celé stopy —
To děsne víc, než krasné řekne mnohy —
Však pravdivé to — dějin soud zas řekne

A člověk dvadcatého věku lekne
Se toho barbarství, jež bez zachvěvu
V ten štětec kladlo barvy mstu a hněvu.

Два сонета из «Bodlači s Parnassu» 1900 тоже навеяны произведениями русского ваяния, напр., «Lucifer», который был выставлен в Праге. Под впечатлением этого изваяния поэт задает себе старый как свет вопрос о взаимном отношении добра и зла и причинах значительных успехов последнего в человечестве:

Proč Satana a zlo vždy lépe umí
Vyjadřit člověk, dobro než a Boha?

С тяжкою мукою сомнения в душе поэт задумывается над такою загадкою: ужели нужно, чтобы демон зла раньше уничтожил сотню миров, дабы после этого уцелевший зародыш добра мог найти себе прибежище в душе человека?

О силе влияния Толстого на мировоззрение и творчество Врхлицкого мы готовим особый этюд, как и об отношении чешского поэта к некоторым другим русским писателям, напр., к Некрасову... Быть может, некоторые читатели найдут суждения и взгляды Врхлицкого восторженно-преувеличенными; тем не менее нам кажутся они знаменательными и показательными в виду того, что принадлежат такому глубокому и всестороннему знатоку произведений мировой литературы, из которых немало было усвоено им родной словесности в удачных, иногда даже прекрасных переводах. Впрочем, взгляды Врхлицкого находят себе значительную поддержку в той оценке великих русских писателей, особенно Толстого и Достоевского, какая делалась и продолжает еще теперь делаться на западе знатоками мировой литературы и критиками.

А. Степович.

Киев.
1926. XII. 13.

Моливдовул с изображением Влахернитиссы.

Богородичные иконы служили палладиумами и в Византии, и на Руси. По мере прославления экземпляров той или иной композиции палладиумы сменялись. Так в Византии Никопея со временем потускнела перед Одигитрией, на Руси рядом с Одигитрией появилась затмившая ее знаменитая святыня Московского государства Владимирская икона божией матери. «Знамение» продолжает оставаться главным образом областным Новгородским палладиумом.

Композиции прославленных византийских икон отличаются торжественностью изображения и символизмом содержания. Это «богородица», «заступница» (молящаяся за мир), иногда «царица небесная». В переводе «Одигитрии» богоматерь держит на руке не младенца (хотя изображение матери и младенца и было древним ее прототипом), а гóспода в отроческом виде, благословляющего правой и держащего в левой свиток или кодекс.

Совершенно иной характер имеет композиция, одним из вариантов которой является Владимирская икона. Младенец, ласкаясь, прижался щечкой к лицу матери. В выражении ликов мы можем искать символическое значение, но перед нами мать и младенец в положении, которое вызывает *умиленное* настроение. Старая Русь и создала для этой композиции термин «Умиления».[1]

В области прославленных «чудотворных» икон такая композиция настолько казалась необычной для Византии, что Rohault de Fleury в своем исследовании о богоматери, назвал этот тип «la vierge slave».[2]

---

1 Термин «*Умиление*» отнюдь не выдуман старообрядческими иконниками, он встречается в очень старых монастырских описях. Перевод русского «*Умиление*» эпитетом «*Элеуса*» правилен по смыслу, но наименование «*Элеуса*» находим на некоторых иконах типа композиции *Одигитрии*. Русское наименование «*Умиление*» не является переводом «*Элеуса*». Проф. И. А. Карабинов нашел в одной рукописной описи термин «*Спасово Умиление*». Это, может быть, и дает разгадку образования термина. Ведь приласкался то к матери, «умилился» бого-младенец, «Спас». У матери, иногда, скорбный взгляд вперед (а не на младенца), как бы предвидящий будущие страдания сына.

2 «La Sainte Vierge» (Paris. 1878. 4⁰), t. II, p. 616.

Между изображением матери с приласкавшимся младенцем и символической картиной богородицы с господом Эммануилом, разница по существу, в самой основе задания.

Опираясь на необыкновенную редкость изображений типа «Умиления» в Византии и приняв во внимание раннее распространение его в Западной Европе в миниатюрах и картинах, я в 1911 году выступил с теорией западно-европейского происхождения этой композиции изображения богоматери.[1] Несмотря на оговорки и указание на существование в настоящем византийском искусстве среднего периода переходной стадии к полному типу в композиции, когда лица матери и младенца только сближены, но не касаются друг друга, я решился выставить положения:

1) Тип «Умиления» не представляет византийской первоосновы. Он развился на почве западно-европейского, французского и итальянского индивидуального художественного творчества.

2) Изображения божьей матери «Умиление», распространившиеся на почве Италии, стали копироваться среди иконописцев-греков и приобрели известность в Византийской империи в последний (Палеологовский) период ее существования.

3) В Россию образа̀ этого типа проникли очень рано, но занесены были не непосредственно из первоисточника, а, повидимому, через Константинополь и через Балканский полуостров ранее, однако, известной струи южно-славянского влияния, так отразившегося на русских рукописях.

Хронологически эта схема предполагала появление композиции в западно-европейском искусстве в XI веке, распространение в XII и прочный перенос в Византию в период Латинской империи (при взаимодействии двух культур). Казалось, что точкой опоры для такого построения служат и другие свободные композиции изображения богоматери, развившиеся одновременно с «Умилением» в Западной Европе, как например, с младенцем, всплеснувшим руками; с младенцем, держащим мать за подбородок; с богоматерью, целующею руку младенца.

Н. П. Кондаков высказался за обратное течение хода вещей. «Исконное происхождение», говорит он,[2] «типа «Умиления», по всем данным, византийское, и установка его относится к XI — XII столетиям . . . эта древняя основа, перешедшая рано в иконописный обиход греко-православной общины в Италии, поступила затем в XIII веке в качестве излюбленной и освященной формы в иконопись Средней и

---

1 «Историческое значенiе итало-греческой иконописи, изображенiя богоматери въ произведенiяхъ итало-греческихъ иконописцевъ и ихъ влiянiе на композицiю некоторыхъ прославленныхъ русскихъ иконъ» (СПб. 1911, in folio), стр. 153, 168—170.

2 «Иконографiя богоматери. Связи греческой и русской иконописи съ итальянскою живописью ранняго Возрожденiя» (СПб. 1910. 8⁰), стр. 150—151.

Северной Италии . . .». М. Алпатов и В. Лазарев[1] собрали весь материал, известный по типу «Умиления» и отметили мнения всех исследователей, касавшихся вопроса.

В настоящее время, когда Владимирская икона божией матери выявлена от всех записей, а Смирнский Физиолог опять определяется более ранним временем, нельзя сомневаться в существовании иконографической композиции «Умиления» на византийской почве.

Отказываясь от своей теории, я в дополнение предложу вниманию читателей издаваемый мною памятник, представляющий византийскую свинцовую буллу малых размеров (19—20 мм., толщ. ок. 2,5 мм.).[2]

Свинцовая печать с изображением Влахернитиссы.

1) Изображение в ободке как бы из шнура или слившихся точек вышло не полно, но несомненно оно представляет композицию богоматери в типе «Умиления», с младенцем, прильнувшим к щеке матери и обнявшим ее за шею.

Кроме обычных титл: $\overline{\text{M-P}}$ $(\overline{\theta\upsilon})$, по сторонам еще идет надпись, сохранившаяся лишь с одной стороны: + HRΛΑΧΕ. . ., то есть = ἡ Βλαχερνιτισα = Влахернитисса, Влахернская.

1 Michael Alpatoff und Victor Lasareff «Ein bizantinisches Tafelwerk aus der Komnenepoche» (в «Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen», 46 Band, II Heft (Berlin. 1925), 140—155 SS.).

2 Рисунок дается в величину подлинника и в увеличенном размере.

2) В центре в линейном ободке изображение погрудное юного воина с копьем и щитом (круглым). По остаткам надписи видно, что изображен св. Димитрий Солунский. Круговая надпись, также в ободке, восстановляется таким образом:

+ ȣСФРАГ, ЄІМ, Т, ГРАФ, RΛ, NOЄΙ

= Οὗ σφραγὶς εἰμὶ τὴν γραφὴν βλέπων νόει. Смысл ясен: «чья печать — поймешь, увидав написанное».

Моливдовул принадлежит к числу нередко встречающихся экземпляров интимных безыменных печатей, служивших для частной корреспонденции.

W. Froehner в «Bulles métriques» (Paris. 1882. 8°) отметил целый ряд подобных под №№ 53—56. К. М. Константопуло в каталоге моливдовулов Афинского музея (в JIAN, tt. V—X) описал несколько вариантов под №№ 703—717.

К какому времени относятся эти памятники? Страсть к стихотворным надписям особенно была распространена в Византии в XI—XII вв., и К. М. Константопуло относит подобные издаваемой анонимные печати к этому времени.

Издаваемый нами моливдовул несомненно старше XIV столетия. Время XII века кажется наиболее подходящим; памятник может относиться к XI столетию, но в то же время было бы рискованно утверждать, что он *не может* быть первой половины XIII века.

Владелец печати был, повидимому, некий Димитрий, изобразивший кроме своего патрона и общую заступницу за весь род христианский — богородицу.

Изображение богоматери, находившееся в Влахернах, известно по надписи на монете Константина Мономаха (1042—1055)—HRΛΑΧЄΡΝΙΤΙCΑ. Это изображение представляет тип Оранты.[1]

На издаваемой нами печати изображен другой образ, также, значит, находившийся в Влахернах, которые именно в эпоху Комнинов получили особое значение.

Неизвестный владелец печати благочестиво поместил на ней копию с памятника, хранившегося в Влахернах и вызвавшего особое почитание.

Так в Московских храмах появились новые святыни — икона божией матери Иверской (прославившаяся не по подлиннику, привезенному с Афона, а по списку) при царе Алексее Михаиловиче, икона «Всех скорбящих радости» при царе Феодоре Алексеевиче.

Значит в Влахернах рядом с исконной Влахернитиссой появилась прославившаяся икона иного перевода и ревностные почитатели стали пользоваться копиями с новой святыни.

---

[1] См. W. Wroth «Catalogue of the imperial byzantine coins in the British Museum», II, 502—503; pl. LIX, 5.

При украшении столичных храмов мозаиками или фресками знаменитые художники вносили новшества стиля и изменения композиций, на предметы же быта попадали точные копии уже установленных в своей известности переводов.

Новшества на мелкие предметы (особенно имеющие религиозное значение) попадали с некоторым опозданием.

Если бы мы и допустили, что издаваемая печать относится к первой половине XIII века (самое позднее определение), то этим самым признали бы существование иконографического типа «Умиления» на иконах богоматери в Византии XII столетия.

Моливдовул невполне сохранился и значительно изъеден ржавчиной, но иконографические очертания и стиль видны. Обширный материал византийской сигиллографии еще даст со временем ценные наблюдения по иконографии священных изображений и по местно чтимым святым и святыням.

Тип «Умиления» продолжает возбуждать большой интерес и к уже существующей литературе мы в праве ожидать появления новых исследований. И. Э. Грабарь в книге «Вопросы реставрации» сообщает (стр. 55), что им подготовляется к печати исследование „Эволюция типа «Умиления» в древнейших памятниках живописи", а А. И. Анисимовым уже подготовлен к печати большой труд, специально посвященный исследованию Владимирской иконы.

Н. Лихачев.

Ленинград.
1926. XII. 14.

К вопросу о природе дифтонгического рефлекса $\bar{o}$ в переходных сев.-украинских говорах Воронежской губернии.

Среди смешанных украинских говоров, исключительно богато представленных своим различным происхождением в таком сложном историческом колонизационном, а следовательно, и диалектическом узле, как Воронежская губерния, особое место занимают говоры группы сел: Ендовища, Шумейки, Латиного, Точильного и Двориков (б. Землянск. у.), в северной части губернии; они окружены сплошь великорусами и от украинско-великорусской границы удалены на сотню верст.

Население названных селений — потомки казацких колонизаторов «степной окраины» Московского государства, оказавшись небольшим островком среди чужой этнической массы, сумели сохранить язык и культурно-бытовые традиции своей народности и успели создать определенный диалектический тип речи, как переходной к южно-великорусскому, в котором сейчас можно различить три слоя: два элемента — южно-украинский и южно-великорусский, сложившиеся на основе третьего — сев.-украинских, предположительно западно-полесских, диалектологических признаков.[1]

В настоящей короткой статье я попытаюсь охарактеризовать наиболее интересную звуковую черту основного слоя: рефлекс старого $\bar{o}$ в «новых» закрытых ударяемых слогах — и изложить свой взгляд, как я понимаю природу его дифтонгического произношения. Попутно я коснусь вопроса о месте такого дифтонга в общей системе сев.-украинских дифтонгов, как он ставится теперь в свете новых исследований данного явления, напр., В. Ганцовым в его работе: «Характеристика поліських дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку» (Зап. іст.-філ. від. УАН за 1923 р.).

В говорах сел Ендовища, Шумейки и Латиного на месте старого $\bar{o}$ долгого в новых закрытых слогах, под ударением явился рефлекс *ў͡е́* или *ве*: *дў͡е́н*, *двен*

---

1 Выяснению вопроса о происхождении переходных воронежских говоров посвящена специальная моя работа, готовящаяся к печати.

(= дон), *ст͡уег, ствег, квен', свел'*, а при известных условиях также под ударением — *е*: *двер, пел, вен*; *рев, ослéн, лíсѐв, кабачкéв.*

Во всех случаях без ударения — *о: до(а)ĭшóу, прúмо(а°)ст, по(а)д нáми.*[1]

Дифтонгический рефлекс *͡уé* рядом с *ве* имеет место после всех согласных, кроме губных и сонорных — *л* и *р*; согласные перед ним не смягчены. Главным образом слышится на первом начальном слоге слова; в окончании из старого *-ов* отмечен исключительно — *е (ев)*: *д͡уéн, ствел, жвенка, сн͡уéп*, но *двер, пел, вез; рев, грем, ослéн, долéвка; чоловікéв, лíсéв.*

В этом дифтонге, позволяющем различать две крайние стадии: первую часть — типа краткого (неслогового) *у*, а вторую — *е* широкого оттенка, ударение падает на вторую часть — *͡уé*. Артикуляция такого звука не после губных и сонорных *(л, р)* в силу редукции первого элемента *у̑* свелась к *в(е)*, т. е. к артикуляции, отличающейся от первой лишь количественно, так как движение губ при *у̑* и *в* в украинском произношении одного порядка.

Если иметь в виду, что к лабиализации способны прежде всего губные согласные и к лабиовеляризации — сонорные, то при ослаблении вообще дифтонга *͡уé* explosio согласного перед ним и implosio редуцированного *у̑* сольются в одном моменте, что имеем в словах: *пел, грем, ослéн.*

При артикуляции же переднеязычных *с, з, д, т, ж, н,* труднее поддающихся лабиализации, при переходе к стадии *е* через *у̑* нельзя было устранить эту первую часть дифтонга, как это произошло после губных и сонорных, почему физиологически *у̑* сохранился или изменяется в согласный *в*. Лабиовеляризованный характер *л* и *р* не допускал развития *у̑* в самостоятельный элемент потому, что близость артикуляций (задней части языка) для названных трех звуков при фрикативном производстве согласных *л* и *р* обусловливала совпадение позиций согласного и слабой части дифтонга; акустически же эффект при произношении лабиовеляризованных согласных с гласным *е*, с точки зрения квантитативности экспирации, соответствовал произношению взрывных в сочетаниях с *ве*. Именно, длительный характер артикуляции сонорных определял судьбу дифтонга в сочетании с ними, ибо другой веляризованный звук *к*, не фрикативный, не мог поглотить первый элемент дифтонга *у̑*, и перед ним он произносится, как самостоятельный: *к͡уéн'* и *квен'*.

Что звук *к* труднее податлив к лабиализации в сравнении, напр., с фрикативным *х*, следует из следующего наблюдения над некоторыми украинскими и южновеликорусскими говорами: в заимствованных словах с *ф* — *форма, фокус, фургон,*

---

1 Здесь *а*, чаще на месте предударного *о*, характерен, как переходная черта данного говора.

фунт, фукция — этот звук субституируется звуком *х* перед лабиализованными гласными, чего не происходит перед другими гласными, ср. *хо́рма*, но *хва́брика*, *хурю́н, хунт*, но *хвӥкус;* при слове *хво́рий* бытует и *хо́рий*; при словах же *кво́рум, кво́лий* нет *корум, колий*, но только с сочетанием *кв.*

Самый факт существования в данных говорах живых пережитков известных стадий развития дифтонгов типа *уо́, уе́* с ударением на второй части противоречит принципиально исходным положениям В. Ганцова, как он их формулировал в своей работе «Характеристика поліських дифтонгів», пытаясь с новыми данными разрешить кардинальный вопрос исторической фонетики украинского языка.

В своей схеме главнейших стадий на пути развития *ō, ē* в новые монофтонги В. Ганцов не дает места дифтонгам типа *уо́, уе́, уи́, уі́*, т. е. дифтонгам с первой неслоговой частью и ударяемой второй; «...ак. Шахматов, встановляючи різні стадії в розвитку дифтонгів», говорит автор названной выше статьи, «оперує більше з графічними фактами, ... хоч иноді за тим графічним фактом криється тільки примітивність в передачі дифтонгічної вимови, або просто недоладність і помилка» (стр. 136).

И дальше делает вывод: «...взагалі помилкою в руській лінгвістичній літературі було приймати походження монофтонга *і* з другої частини дифтонга, при чому перша ставала нескладовою» (стр. 137). «Розвиток *ō, ē* довгих сливе на всьому просторі української язикової території був єдиний у своїй основі» (стр. 137).

Став на такую точку зрения (почему — скажу ниже), В. Ганцов понял природу диалектологических данных, с дифтонгическим характером рефлекса *ō* в словах *квынь, квыт, квышка* из Острогожского уезда Воронежской губ.[1], не верно: «літера «*в*», очевидно, передає тут графічно лабіялізований характер приголосного, як слід колишньої лабіялізації перед дифтонгом з *ō*». Цитата из работы: «Діялектологична класифікація українських говорів» (1923, стр. 22).

По его догадке, здесь когда-то дифтонг *у́и* с ударяемой первой частью (на второй он вообще не допускает ударения) стянулся в монофтонг, где возобладала вторая часть, а первая оставила след в лабиализованном характере согласного.

Конечно, теоретически, не зная о действительном существовании в таких говорах самостоятельного, отдельного после согласного, звукового элемента *у* или *в*, можно оправдать приведенное построение; но раз в живом произношении слышится *у* или *в*, а его я слышал в говоре пригородной слободы Острогожска Новой Сотни: *квин', свил'*, то единственно нужно понимать такой дифтонг — с ударением на второй части, в острогожском говоре — на *и́*. И, следовательно, догадка автора при-

---

[1] Из сводки Кононова по малорусским говорам Ворон. губ. в Трудах Моск. Диал. Ком. за 1908 г. (РФВ т. LXI, стр. 322).

мечания к «Очерку русской диалектологии»,[1] коллективного труда членов Моск. Диал. Комиссии, — о значении буквы «*в*», как знака *у̑*, правильна.

В связи с манерой расширения под ударением *и* в *е* в Ендовищенском говоре, следует признать, что острогожский дифтонг типа *вы*, близкого происхождения к первому, во всяком случае дифтонг с ударяемой второй частью.

Для меня остается загадочным, почему В. Ганцов обошел полным молчанием, в своей работе о полесских дифтонгах, исследования В. Каминского говоров Волынского Полесья.[2] Между тем там сообщаются очень важные факты о дифтонгической природе рефлекса *ō*. «Дифтонги *уо*, *уэ* с вполне определенной огласовкой, отличающейся при том устойчивостью произношения обеих частей, почти не встречаются...» (ИОРЯС, XIX, кн. 2, стр. 79), но в с. Мосур отмечен *бъэльш*, в западной части Волынского Полесья преобладает в дифтонгическом произношении *э, е*. И дальше: ... «дифтонг *уо, уэ* при стяжении дает в большинстве случаев *у*, иногда *э*, напр., в западной части (сс. Штунь, Яревище): *кеп* и очень редко *о*; встречаются также переходные к стянутой форме, напр., в западной части Полесья: *къэп*, *бъэльш*» (ИОРЯС, 1914 г., кн. 2, стр. 87).

Таким образом, картина дифтонгического произношения почти целиком аналогична тому бытованию дифтонгов, которое имеет место и в Ендовищенском и близких с ним говорах. Только воронежские переходные украинские говоры дальше провели «стяжение» В. Каминского, редукцию неударяемого элемента первой части дифтонга, что естественно и последовало в условиях изолированной языковой обстановки, на крайне-восточной окраине распространения сев.-укр. диалектов. Если сопоставить еще и другие особенности фонетики говоров сс. Штунь, Яревище, Ольска, Шацка, Кропивника Владимиро-Волынского уезда, по сообщениям В. Каминского, с явлениями той же категории воронежских украинских говоров, то возникает мысль об общем диалектическом типе упомянутых волынских и воронежских говоров и, дальше, о волынских выходцах жителей сс. Ендовища, Шумейки и других сёл описанного острова.

Сообщая здесь о своих наблюдениях над воронежскими дифтонгами, противоречащих теоретическим построениям В. Ганцова, по крайней мере, в той части, где он претендует на объяснение в целом процесса, как закона монофтонгизации дифтонгов в украинском языке, я хочу указать лишь на то, что виднейший исследователь украинских диалектов проявил значительную поспешность в своих выводах, когда он формулировал утверждение: «процес фонетичного розвитку звуків *ō, ē* довгих під наголосом в основі своїй був єдиний сливе на всьому просторі української язикової території» (стр. 143).

---

[1] Стр. 114, прим. 233.

[2] «Отчеты» последнего о поездке см. в Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. за 1911 и 1914 гг.

Правда, исключение он делает, но предположительно, для смежных с белорусскими полесских говоров: процесс монофтонгизации «міг відбуватися й инакше, тоб-то перевагу могли мати елементи «*o*», «*e*» в дифтонгах» (стр. 138).

С известной долей искусственности, но с размахом таланта теория В. Ганцова построена на основе почти исключительно изученных им самим, в сущности незначительного круга, дифтонгических говоров южной Черниговщины. Слабые стороны ее в свое время послужили Смаль-Стоцкому поводом обвинить автора, хотя довольно огульно, в создании «видуманих родословних и хронологичних схем».[1] Не соглашаясь с своей стороны с большинством обвинений, выдвинутых последним, поскольку он имеет в виду больше Шахматова, чем его ученика, я все же разделяю некоторые упреки рецензента в нелогичности некоторых определений и выводов. Скажу несколько слов в доказательство.

К отрицанию существования в качестве переходной стадии дифтонгов $\widehat{y\acute{e}}$, $\widehat{\ddot{y}\acute{e}}$ В. Ганцов пришел не столько на основании своих непосредственных наблюдений над живыми говорами (район его изучения был весьма ограничен), сколько из логически неправильного определения термина «дифтонг».

Сам он признает: «Матеріял дають мені досліди над говірками південної Чернигівщини, переважно Козелецького повіту... вони дають можливість на певній території спостерегти мало не всі одміни, що в них можна вбачати різні хронологічні стадії» монофтонгизации дифтонгов. И дальше: «при цьому зазначимо, що хоч усе сказане про дифтонги грунтується на безпосередніх дослідах над говірками Чернигівщини, але, оскільки в цих говірках виявляються природні артикуляційні нахили вкраїнської людности..., можна думати, що і в инших поліських говірках ми стрінемося з тими-ж або аналогічними фонетичними відношеннями» (стр. 118).

Для В. Ганцова природа полесского «дифтонга» — это цельная фонема, неделимая ни фонетически, ни психически: «дифтонг — це сполучення в одному складі двох голосних фонем» (стр. 119), а следовательно всякое иное звуковое проявление, позволяющее выделять артикуляционно и акустически части, как элементы гласного образования, неспособные ассоциироваться порознь со смысловыми представлениями, для него не будет уже дифтонгом, так как не подходит под его определение.

Иначе, с такой точки зрения, полесские «дифтонги» — не дифтонги. «Не можна говорити про першу або другу «частину» дифтонга, бо жадна з них не вживається в мові від другої і тільки вкупі становлять вони цілість, одну фонему супроти всіх инших фонем. Фізіологично зовсім немає й межі, що розділяла б ці «частини», як нема й самих частин» (стр. 120). Но в дальнейших своих суждениях он все же не может обойтись без термина «дифтонг» и оперирует с ним, хотя и утверждает,

---

1 Рецензия Смаль-Стоцкого в «Slavia», за 1924, III, стр. 470.

что в полесских рефлексах $\bar{o}$, $\bar{e}$ нельзя выделять частей, разумея их, как фонемы. Но, ведь, такого понимания «частей», ощущаемых на слух никто не отстаивал, так как даже самого понятия «фонема» еще не было в обороте у лингвистов, по крайней мере, у тех исследователей, каких он критикует. В диалектологии шла речь лишь о возможности выделять в полесских рефлексах «части» в точно таком же смысле, как это и делает сам В. Ганцов, когда он, оспаривая место ударения, отводит ему только первую часть, оговариваясь, что в некоторых диалектах ударение могло быть и на второй части. А что представляет собою схема развития «дифтонгов», предложенная им, как не звуки с известными частями?

Со своим определением В. Ганцов должен признать не дифтонгом и английский дифтонг, напр., в словах: *no, so* (транскр. *nóu, sóu*); в них первая часть не составляет самостоятельной фонемы и, будучи выделена из сочетания, не совпадает с тем звуком-фонемой, какую имеем в слове, напр., *sir (sə:)*. Логически разницы здесь с полесскими дифтонгами нет. Узкое определение «дифтонга» принуждает автора не только усматривать, хотя бы ценой собственных противоречий, в полесских рефлексах $\bar{o}$, $\bar{e}$ однородность на всем протяжении их звучания, но и навязывает мысль — придти к выводу, что вообще рефлексы того же происхождения, но с ощутимой разницей в своем составе невозможны. . . «дифтонги *y͡e, y͡i*, що об'єднували б з відтінком звука *y* заднього ряду звукові відтінки *e* або *i*..., в досліджених (поліських) говорах абсолютно неможливі» (стр. 123). Но из того, что в полесских «дифтонгах» (для точности нужно добавить — Черниговщины) они «одноцільні, одностайні що до звукової природи різних своїх елементів . . . і неподільні для свідомости людей . . . на свойому протязі являються звуком одного ряду», не будет доказательным усматривать черниговскую природу в остальных многочисленных, далеко не исследованных, даже не открытых для диалектологии, дифтонгических говорах

И если автор теории происхождения украинских дифтонгов со свойственной ему решительностью отверг всё, что мало-мальски противоречило его изложенным выше соображениям, — в особенности такими фактами оказались, правда, спорные, но заслуживающие точной проверки на местах, интересные и важные данные у ак. А. Соболевского в его «Очерке русской диалектологии» по вопросу о дифтонге «*y͡é*» в западно-полесских говорах, — то оказался ли его прием весьма плодотворным? Мне хотелось в настоящем сообщении показать, что — несовсем.

А. Бескровный.

Воронеж.
1926. XII. 13.

К вопросу о «Хождении Трифона Коробейникова».

Цель настоящей заметки — сообщить два вывода из предпринятых мною в свое время «Разысканий в области списков Хождения Трифона Коробейникова».[1]

Несмотря на громадное количество списков этого памятника и некоторое количество исследований литературная история Хождения не может считаться окончательно выясненной. Так, по вопросу о взаимоотношении «хождений» Трифона Коробейникова и Василия Познякова существуют два диаметрально противоположных взгляда.[2] Причиной такого положения вопроса является, несомненно, отсутствие достаточно надежного текста Хождения Коробейникова.

Полная редакция этого памятника, напечатанная Х. М. Лопаревым (по его терминологии — I, г) вызывает ряд недоуменных вопросов. Исследование большого количества списков — как известных до Х. М. Лопарева, так и впервые им привлекаемых к изучению — заставляет нас поделить всю массу списков так наз. полной редакции (Лопарев — I, г) на 5 групп. Они наглядно отражают переделки, которым подвергался памятник на протяжении своей литературной истории.

Первая группа представлена наиболее полно списком Гос. Публ. Библ. QXVII, 44, который положен Х. М. Лопаревым в основу его издания. Но уже эта группа распадается на две подгруппы по признаку ряда деталей, присутствующих в одних списках и отсутствующих в других. *Вторую группу* составляют те списки, которые к основе первой механически прибавляют дополнительные главы. *Третью группу* составляют те списки, которые в типичный текст первой группы вводят дополнения легендарно-апокрифического характера. *Четвертая группа* — это списки, сокращающие отдельные главы типичного текста первой. *Пятая группа* — списки, содержащие вольный пересказ Хождения (все группы — так наз. «полной» редакции I, г).

---

[1] Работа была принята к напечатанию в Сборник Отд. Русск. Яз. и Слов. в 1922 г., но до сих пор еще не вышла.

[2] Ср. И. Е. Забелин в «Чтениях в Общ. Ист. и Др.» 1884 г., кн. I; Х. М. Лопарев — издание в «Правосл. Пал. Сборн.» IX в. 3—89 г.; М. В. Рубцов — в ЖМНПр. 1901 г. апрель и М. А. Голубцова — в «Чтениях О. И. и Др. Р.» 1911, кн. IV.

Эта группировка намечает некоторую хронологию в литературной истории памятника. Тип первой группы известен в списке конца XVI в., тип четвертой группы — явно позднего происхождения (втор. пол. XVIII в.).

Однако, при внимательном изучении наиболее полных списков «полной» редакции, т. е. при изучении выделенной нами первой группы списков, у нас возникает вопрос, касающийся самого существа списков первой группы «полной» редакции. В какой мере и в каком смысле эту редакцию можно называть «полной»? Не касаясь здесь мелочей или вопросов спорных, отметим два места, явно несообразных по содержанию. Глава о монастырях при перечислении иерусалимских монастырей придерживается порядковой их нумерации. И вот после пятого монастыря называется прямо десятый: ясно, что мы имеем дело с дефектом текста.[1] В таком же положении другое место. Перед так называемой патриаршей повестью Хождение повествует о встрече посланников с патриархом Сильвестром;[2] текст «полной» редакции рассказывает, что посланники приветствуют патриарха и просят пустить их во св. землю. Патриарх же в ответ на их речь изрекает прощение Иоанну Васильевичу и хвалит его за то, что «отогналъ онъ отъ стада Христова» «пребеззаконныхъ жидовъ». Ясно: речь патриарха не соответствует речи посланников. Она заставляет предполагать, что обращение посланников содержало то, на что отвечает патриарх, т. е. какое-нибудь указание на убиение царевича и изгнание евреев.

Среди громадного количества списков, изученных и просмотренных нами, нам удалось найти один, вполне подтверждавший наши догадки о неполноте полной редакции (первой группы). Это — список из собрания И. Е. Забелина в Историч. Музее № 447 (341) — сборник конца XVI — начала XVII в. Хождение «жильца» Трифона Коробейникова помещается в нем на лл. 106—186. Пропущенный отрывок (из беседы патриарха с посланниками) повествует, как патриарх принял послов: перед палатами патриарха поставлено было кресло, вызван толмач, через которого патриарх и задает вопросы «про правослaвн8ю вѣру и божиях цр҃квах». В изложении беседы патриарха с посланниками нет *прямого* рассказа об убиении царевича, но первые же слова посланников на вопрос о церквах формулируются так: «мы же ем8 всю истин8 исповѣдахом». Зато совершенно ясно поставлен вопрос об изгнании евреев, и ясным становится и ответ посланников (л. 155 об. — 159). В другом месте забелинский список имеет еще небольшой отрывок, отсутствующий во всех остальных списках. Характерный отрывок: он говорит, как патриарх «нача им сказывати, что идет в синахскую гор8 за гд҃ря цр҃я бг҃а молити» (л. 169).[3]

---

[1] Изд. Лопарева, стр. 32.

[2] Ibid., стр. 47.

[3] Вставка должна читаться после слов «...одни врата цѣлы», ср. изд. Лопарева, стр. 56.

Отмечу в этой рукописи пропуск рассказа о патриаршей службе (л. 169), который встречается, впрочем, и в других списках.

Из других особенностей списка следует отметить, что имя царя «Гаврила» дается в форме Гаври (л. 159 об.), хотя попадается и в форме Гаврил, как во всех других списках (л. 160, 167 об.). Конечно трудно утверждать, что форма Гаври — не случайно фигурирует в этом списке, но она исторически правильна.[1]

Таким образом, известная нам полная редакция Хождения Трифона Коробейникова в ее наиболее чистом виде (первая группа списков) не может считаться полной: в ней отсутствует центральное место Хождения (ведь цель Хождения — получить прощение патриарха за убийство). Этот дефект первой группы списков значительно, хотя и не вполне, реставрируется Забелинским списком, до сих пор неизвестным в печати.

В. Буш.

Саратов.
1926. XII. 14.

---

[1] Ср. И. Малышевский. «Александр. патр. Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви», т. I. К. 1872, стр. 163.

К характеристике говора Стародубского полка XVIII века.

Стародубский полк занимал в XVIII веке уезды: Новгород-Северский, Стародубский, Мглинский, Суражский и Новозыбковский[1] б. Черниговской губернии и входил в состав тогдашней «Малороссии». Деловой язык полка представлен значительным количеством актов, писаных в полковом городе Стародубе в XVII—XVIII вв. и отчасти уже изданных во второй половине XIX-го века.[2] Огромное же большинство так называемых «справ поточных» и «справ вечистых», начиная с 1691 г., и ряда других актов хранится в Московском Древлехранилище (б. Архив Министерства Юстиции) и ждет своего издания и исследования.

При наличии в этом языке значительного количества украинизмов, в нем нередки случаи как раз обратного явления — проникновения в него черт местного говора, т. е. говора главным образом Стародубского уезда, который, судя по этим примерам и ряду других фактов, никогда *не был украинским*. Со времени «присоединения Малороссии» до 1719 года Стародубским полком управляла преимущественно казацкая старши́на; с 1719 г. по 1782 г. — наказные полковники, разного рода отставные офицеры: отставные майоры, поручики гвардии и проч., а с 1782 г., когда Стародубский полк вошел в состав Новгород-Северскаго наместничества, управление велось на общих для всей тогдашней России основаниях. Во всех этих случаях не было простора местному языку (белорусскому, с некоторыми особенностями по своему составу).

Казацкая старши́на, естественно, держалась языка, имевшего официальное употребление во всей Украине. Это тем более было естественно, что Стародубские полковники почти исключительно были людьми пришлыми, уроженцами главным образом правого берега Днепра;[3] в значительном большинстве пришлыми из-за Днепра были

---

1 Ал. Лазаревский. Описание старой Малороссии, т. 1, стр. 104.

2 См. Записки Історично-філологічного відділу УАН, кн. II—III. Додаток до протоколу № 1, стр. 3—6.

3 Ал. Лазаревский, op. cit., I, стр. 13 — 63.

также и полковые писаря.[1] Все это, разумеется, отводило официальному языку Украины широкое место в деловом употреблении и делало его, надо думать, по мере сил и возможности языком города, по крайней мере его интеллигенции.

То же было и после 1782 г., когда Стародубский полк вошел в состав Новгород-Северского наместничества, с той лишь разницей, что место украинского делового языка теперь занял русский язык, имевший официальное употребление во всей тогдашней Империи. Народный язык таким образом никогда не имел доступа в печатную книгу или рукописную бумагу. Тем интереснее в этом отношении памятники, которые дают возможность судить об этом языке по тем немногочисленным примерам, которые проникли из живого языка в официальный деловой язык.

Интерес в этом отношении представляет архив Успенской церкви г. Погара Стародубского уезда. С архивом я познакомился случайно в конце лета 1923 г., при проезде чрез гор. Погар и, заинтересовавшись им, занялся в течение нескольких дней языком некоторых его актов. Ознакомиться с архивом целиком я, к сожалению, не имел времени: архив довольно обширен. Мною был просмотрен и извлечен материал лишь из некоторых актов.

В настоящей статье я остановлюсь на фактах живого языка, извлеченных мною из следующих источников: 1) из «Метрических книг» за 1722—1771 год; 2) из «Заметок» церковного старосты о приходе и расходе церковных сумм в 1745—1748, 1792, 1794 и 1795 гг. и 3) из «Описи церковного имущества», составленной в 1746 году 16 сентября.

Эти источники, таким образом, всецело относятся к территории сотенного города Погара Стародубского полка и представляют материал для характеристики его говора.

Прежде всего говор характеризуется аканьем: о раждающихся (1722, л. 1), бабилей (1730; 1733), паламара (1732, А,[2] 16 I; 1735, В, 10 VII), паламаря (1737, Б, 8 VIII), панамаря (1738, А, 10 I), Наскова (1739, А, 28 X), Асипова (1740, А, 12 III; 1743, А, 8 III), панамариха (1740, А, 24 VI), Листратав (1741, А, 4 I), Руденъкава (1742, А, 1 IV), Сидаренкова (1744, А, 19 III), асаула (1759, А, 29 III), Ляпехинаго (1763, А, 20 II), Ляпехи (1764, А, 22 I; 1767, А, 5 V), Астровкина (1768, Б, 27 I), деняг (Зам. о прих. рас. сумм, 1745; 1746), Никалаевской (ib. 1794) и т. д.

Наряду с этим гораздо многочисленнее случаи правильного употребления *о* и *е*. Часто, однако, встречаются случаи колебания между написанием с *о а* и наоборот,

---

[1] Ib., стр. 92—100.

[2] Буквы *А*, *Б* и *В* означают части «Метрических книг»: *А* — часть первая о родившихся; *Б* — часть вторая о вступивших в брак и *В* — часть третья об умерших; арабские цифры означают число; римские цифры — месяц.

употребление *о* вместо *а*. В последнем случае автор рукописи, повидимому, сознавал свое аканье и стремился написать пограмотнее (явление весьма обычное в подобного рода написаниях в настоящее время).

Примеры: роботников и тут же работников (1730); поламоря (1734, В, 10 XI) рядом с приведенным выше написанием с *а* после *ѣ*; Холецкого (1742, А, 10 VI) и Халецкого (1742, А, 26 VIII; 1749, А, 13 VII), Котляриха (1736, А, 8 I), Котляра (1744, А, 24 VI) и Катляра (1737, В, 16 III; 1754, А, 5 XII), Гамалеева (1730, А, 22 I). Гамалѣя (1737, В, 8 III). Гамалей (1750, А, 15 VII), Гамалѣй (1750, Б, 1 V), и Гамолѣя (1749, А, 18 VI), Гомолѣя (1752, А, 5 III), Гомолѣевой (1768, Б, 13 I), Расторгуя (1740, А, 9, III), Расторгуева (1742, А, 31 I), Расторгуй (1742, А, 11 IV) и Растаргуй (1749, А, 12 II), Росторгуева (1738, А, 5 X), Шугоев (1738, А, 21 X), Романа (1740, А, 4 II) и Рамана (1738, А, 21 X), Петрачонков (1740, А, 23, III) и Петроченка (1759, В, 17 XII), Петроченки (1760), кравца (1730, В, 22 X; 1737, В, 8 III) и кровца (1742, А, 11 IV), Овсѣенковаго (1755, А, 30 III) и Авсѣенковаго (ib., 8 V), постуха (1753, А, 14 VIII), оксамитніи (Опись, 1746), отласовый (ib.).

В ряде случаев встречается не свойственное живому произношению, вызванное старославянской орфографией, написание некоторых собственных имен: Ирина (1729), Кирилл (1730), Агафія (1732, А, 13 II), Акилина (1737, А, 12 VII; 1739, Б, 2 V), Пелагія (1738, А, 5 X), Герасим (1740, А, 2 VIII), Елена (1741, В, 19 IV), Евфросинія (1760, Б, 14 I), Θеодор (1738, А, 5 X; 1741, А, 17 V) и т. д. Последнее всегда передается чрез *Θ*; лишь в единичных случаях встретились: Федора (1737, В, 16 III) и Хфедор (1740, А, 11 V) — последнее передает народное произношение Хведар — и несколько случаев, передающих ново-греческое произношение *Θ* в словах: Фтеодор (1741, А, 14 V), Фтеодосія (1741, А, 31 V; ib., 14 VI).

Встречается также ряд имен в народной форме: Мосея (1729), Данило (1740, А, 2 II), Гарасим (1741, В, 19 IV), Тимох (1747, Б, 6 III), Михайла (1738, А, 28 XI), Адарка (1740, А, 24 VI), Левона (1764, А, 22 I) и т. д.

Примечание. К случаям колебания между *о* и *а* не отношу весьма распространенного написания форм род. пад. имен прилаг. муж. р. на *-аго* и *-ого*: первые могут быть вызваны старославянской, а вторые — украинской графикой.

Весьма многочисленны случаи употребления *ѣ*, причем *ѣ* употребляется: 1) правильно, в соответствии старому *ѣ*, напр.: мѣщанина (1730; 1731, В, 13 II; 1732, А, 13 II), вѣнчаны (1734, Б, 29 X; 1738), лѣсника (1735,

В, 22 VIII), вѣдомости (1745), Верккѣевская (1730, В, 28 X); 2) *ѣ* в редких случаях употребляется вместо *е:* куплѣно (Зам. о прих. расх. сумм, 1794), четырѣ[1] (ib.); 3) обратно, *е* вместо *ѣ:* ценою (Зам. о прих. расх. сумм, 1794), Веркеевскою (1744); 4) *и* вместо *ѣ:* видомости (1743), престарилая (1729), села Даріевска (1733, Б, 14 I), Веркиевского (1733, В, 19 I; 1742, А, 4 IV), мисяць (1738, А, 14 II), горилка (Зам. о прих. расх. сумм, 1745). Ахрима (1747, Б, 25 VIII), Андріев (1750, Б, 15 II) и т. д.; 5) *ѣ* вместо *и* и *ы:* Ивнѣцкаго (1756), тогда как во всех предыдущих случаях Ивницкаго; цѣганка (1759, А, 1 X), Лялѣча (1762, В, 4 VII); 6) *ѣ* в падежных формах имен существительных жен. рода мягкого склонения в соответствии старым формам на *ѣ* или украинским на *і* и без такого соответствия: деревнѣ (род. п. 1733, Б, 18 I; 1742, Б, 7 II; 1751, А, 12 IX; 1768, Б), сотнѣ (р. п. 1747, А, 29 VI) и жителѣ (р. п. ед. ч. 1734, Б, 20 I), жителѣ (им. п. мн. ч., 1735, Б, 16 I), Зюзѣ (р. п., 1740, А, 20 I), панѣ (р. п., 1768, Б, 13 I), два рублѣ (Зам. о прих. расх. сумм, 1746) и 7) *ѣ* в соответствии звуку *е* в закрытых слогах: восѣмнанцать (Зам. о прих. расх. сумм, 1746), сѣмъдесят (ib. 1745, 1746), сѣм (ib. 1745, 1746), шѣснадцать (ib. 1746).

В огромном, однако, большинстве случаев буквы *и* и *е* не заменяются буквой *ѣ* и обратно. Эти обстоятельства дают право видеть в подобного рода написаниях графическое явление, вызванное украинской, русской и старо-славянской графикой, и полагать что в живом говоре г. Погара, также как и в настоящее время, *ѣ* совпало с *е* и *и*.

Далее довольно многочисленны случаи *отвердения р* пред гласными заднего ряда на ряду со старым мягким *р:* Дегтярова (1730, В, 11 V), бондара (1734, А, 13 X; 1740, А, 22 VII), Дмитраковаго (1737, А, 6 III), Пушкаров (1740, А, 9 III), Пушкарова (1741, А, 26 XI; 1754, А, 11, IX), Лазара (1743, А, 6 XII), Веровочника (1744, В, 3 VII), Царок (1758, А, 28 IV), вибразкал (Зам. о прих. и расх. сумм, 1748, I; III), веровок (ib., 1746) и т. д. и бондаря (1734, В, 7 II; 1743, В, 20 I), писаря (1743, А, 25 X), Лазаря (1744, В, 4 I), Дегтерева (1751, А, 26 X), ноября (Зам. о прих. и расх. сумм, 1746), декабря (ib.), брязкальных (ib.), брянскаго (ib., 1794), Крючкина (ib.).

Таково же и употребление *ры* вместо *ри:* Грыгорыя (1749, А, 26 IX; 1750, А, 11 V), Екатерына (1749, А, 26 IX), воспрыемныки (ib., 8 X), о прыходѣ (1769), рыз (Опись 1746 г.) и т. д. при целом ряде случаев с ри: Григорія (1730; 1737, В, 8 III), Димитрія (1731), Марія (1737, В, 8 III) и т. д.

[1] Или вместо *и* — украинск. чотирі.

Отвердение шипящих представлено следующими примерами: Глушачонка (1734, А, 13 X), жана (1738, А, 28 XI; 1740, А, 12 III), Чаховского (1748, В, 23 III), Чарнухина (1753, А, 20 IX), чорного (1759, А, 28 III), бичавы (Зам. о прих. и расх. сумм, 1794), чысла (ib. 1748, I; IV) и т. д.

Более многочисленны, однако, случаи орфографического старо-славянского или русского написания при таких единичных украинизмах как: чотири (Зам. о прих. и расх. сумм, 1746, 16 IX; 11 XII), шостопала (1735, В. VII 15).

Немногие случаи указывают *на переход л* в *ў* (на письме передается чрез в[1] в сочетаниях, восходящих к старым *ъл* внутри слов и в формах прошедшего времени глаголов: Мовчана (1732, А, 16 III; 1734, В, 2 IV; 1760, А, 20 VII), склав (Зам. прих. и расх. сумм, 1746, 26 XI), топтав (ib.) при многочисленных формах на л.

Двойная или долгая согласная представлена следующими примерами: вуголля (Зам. о прих. и расх. сумм, 1745, дважды), надання (Опись, 1746, 16 IX).

Употребление у вм. *в:* удова (1729, 1730); унука (ib.), удовы (1742, В, 22 I; 1745, В, 12 X; 1748, В, 8 X: 1749, В, 16 V). То же и в предлогах: у Артюшихином дворе (1740, А, 27 III), ув октябри (1741, Б), у сентябрѣ (1743, А) и т. д. Обратно в вм. у: в соборного... дячка (1752, А, 5 III), в служителя (ib.), в жителя (1754, А, 11 IX; 1755, А, 30 III; 1758, А, 4 X; 1760, А, 5 III), в пришедшаго (1760, А, 16 III) и т. д. на ряду с многочисленными примерами правильного употребления.

Об отсутствии перехода звонких шумных согласных в глухие в абсолютном конце слова и внутри слова пред глухими дают основание говорить следующие примеры: Рухлядки (1739, Б, 20 VII; 1742, А, 21 II; 1747, А), Редкин (1741, В, 27 V), Жидкова (1742, А, 4 I), з села (1748, А, 8 II), Жидковнина зятя (1768, А, 20 V), Гладки (ib., Б), один руб (Зам. о прих. расх. сумм, 1746), за водку (ib.), за медъ (ib.), за звоз (1794).

О переходе глухих в звонкие перед звонкими говорить не приходится, он представлен многочисленными примерами: з дочерю (1727), з девицою (1734, Б, 10 II; 1737, Б, 16 I), з дѣвицею (1740, Б, 20 I и т. д. во многочисленных примерах), з вичисленіем (1743, 1745, 1764, 1766, 1770, 1771) и т. д.

Из *мелких явлений* отмечу: а) отпадение звука и в предлоге из: з двора (1725, 1727, 1728 и т. д.), б) отпадение о: сетри́ны (=осетрины, Зам. о прих. расх. сумм, 1746), в) приставочные и вставочные в: Вусиха (1749, А, 1 IV), вусова (1767, А, 16 I), сороковустъ (Зап. о прих. расх. сумм, 1746) и г) отпадение конечного і неслогового, отмеченное в формах имен. пад. имен прилаг. муж. рода: Погарски (1736, В, 20 IX), Гладки (1768).

[1] Говорю об ў на основании современного произношения в говоре г. Погара.

К *графическим явлениям*, повидимому, относятся весьма многочисленные случаи смешения *ы* и *и*, при весьма немногих случаях правильного употребления *ы*: современный говор не знает такого смешения, кроме сочетаний с губными.

Сюда же в большинстве случаев принадлежат и написания: пришел*ц*а (1725), жител*к*а (1729, 1731, В, 1 I), пришел*ц*ы (1730), Никол*с*ки (1732, А, 16 I), мел*н*ика (1735, А, 28 I), бол*ш*ая (1737, В, 5 V) и т. д. с отсутствием обозначения мягкости *л* пред согласными; лишь в единичных случаях мягкость *л* обозначается: мел*ь*ника (1730), свитил*ь*ника (Зам. о прих. расх. сумм, 1746).

Таково и *ъ* в группах согласных: Арътем (1734, А, 3 X), восприемъники (ib., 13 XI), Анътона (1735, В, 23 VIII), погаръскаго (1738, А, 1 XII), Анъдрей (ib.), Синицъкій (ib.), Марътишъкинъ (1740, А, 20 VII) и т. д.

Из *форм слов* отмечу следующие: род. п. ед. ч. на *у* — уезду (1730), полку (1759, А, 29 III), просолу (Зам. о прих. и расх. сумм, 1746), Погару (Опись, 1746); род. п. ед. ч. имен прилаг. жен. р. на *ой* при господстве старославянских форм на *-ыя*—пресвятой (1751) при пресвятыя (Опись, 1746) и т д.

Из *синтаксических явлений* отмечу: а) предлог *до* в значении *к* — до церкви (Зам. о расх. и прих. сумм, 1745), до звонов (ib.), веровок до звону (1746); б) союз *що* в соединении придаточных предложений с главным—Гончару що . . . грубу склав (Зам. о прих. и расх. сумм, 1746). Другому человеку, що грубу топтав (ib.; обычные обороты в современном состоянии говора, лишь союз що звучит, как што).

Приведенные примеры характеризуют живой говор г. Погара XVIII-го века и являются фактами, известными говору в современном его состоянии.

П. Расторгуев.

Москва.
1926. XII. 14.

Некоторые явления ассимиляции согласных в говоре дер. Белой.

Вокализм говора дер. Белой (в 30 верстах от Казани) уже рассматривался мною;[1] в настоящей заметке я предполагаю остановиться на явлениях ассимиляции согласных звуков по звонкости-глухости и твердости-мягкости.

1) Явления ассимиляции по *звонкости-глухости* в нашем говоре в общем сходствуют с общерусскими. Здесь я рассмотрю несколько примеров соприкосновения согласных на границе смежных слов: во́т͡тыгбы (во̀т-так бы), зажыга́д'бы, поб'бг да хлбп, м'ота́т' бу́ду.

Первые два примера представляют озвончение глухого взрывного перед следующим звонким взрывным вполне однородное с таким же озвончением внутри слова, но последний пример является отступлением. Разница в условиях здесь та, что в первом случае имеются не два самостоятельных слова, но одно самостоятельное слово с частицей (*-бы*), которая примыкает к нему как энклитика, между тем как во втором случае соприкасаются два отдельных слова, причем большую роль в отношении уподобляемости или же неуподобляемости играет степень сплоченности соприкасающихся слов. Мною записан даже такой пример, в котором, казалось бы, скорее можно подозревать в записи акустический обман под влиянием орфографии н'æ пост да..., но и такое произношение возможно, если частица *да* в произношении отделена паузой от предшествующего слова. Особенность третьего примера состоит

---

1 См. Богородицкий: 1) Курс грамматики русского языка. Часть I. Фонетика. Варшава 1887, § 67, стр. 211—213 (или Русск. Фил. Вестн. 1887, № 2, стр. 238—240) — общая характеристика неударенного вокализма говора; 2) Исследование говора дер. Белой Казанск. губ. Казань 1900 (отт. из Уч. Зап. Казанск. Унив. 1895, книга V—VI, май—июнь, стр. 111—132, 1896 г., кн. IV, апрель, стр. 191—210) — сведения о происхождении данной деревни, характеристика звуковой системы говора с замечаниями о детском говоре, отражения орф. *А* (*Я*) в разных неударяемых положениях (статья не закончена); 3) Говор дер. Белой Казанск. губ. (Русск. Фил. Вестн. 1914, № 1, стр. 1—14) — система неударяемого вокализма и прочие явления в вокализме говора. В настоящей статье я пользуюсь прежней фонетической транскрипцией, т. е. æ обозначает широкое *э*, е — узкое *э*, *е* — среднее между тем и другим, ъ — слабое краткое *i*, мягкость согласных обозначена знаком апострофа справа от буквы.

в том, что согласный *г* здесь первичен, и, может быть, правильнее видеть в произношении «поб'ог» сохранение древней звонкости при благоприятных условиях фразы, т. е. думать, что в эпоху, когда происходил переход звонких согласных в глухие в абсолютном конце слов, те же согласные могли сохранять свою звонкость при подходящем положении в фразе, а затем в этом виде традиция довела их в аналогичных условиях до настоящего времени.

В примере зу́п, в'і́днå, хотя основным звуком был *б*, но он не удержался в этом виде, а является в том виде, какой свойствен ему в абсолютном конце, хотя далее и следует звонкий согласный. Здесь нужно принять во внимание отсутствие тесного взаимного примыкания слов.

Само собою разумеется, что в тех случаях, где первичная глухость удерживается внутри слов, то тем более она сохранится при тех же условиях и на границе слов, срв.: та́к вот, пон'ôс молокó.

Таким образом уподобляемость согласных по звонкости и глухости на границе слов представляет некоторые различия, зависящие от ряда моментов. Это, повидимому, упускается из виду в новых транскрипциях общерусского произношения, где уподобляемость согласных в соприкасающихся словах проводится как правило. А между тем еще в начале прошлого столетия А. Х. Востоков сообщил весьма тонкие и важные наблюдения над произношением слов в связной речи, как напр., следующее (привожу в новой орфографии): «Когда два ударения случатся сряду, напр., *гдѣ̆ о̄н, поди̇̀ про́чь, сказа́ть ва́м*, тогда которое нибудь скрадывается и уступает другому: напр., *гдѣ̆ о̆н* или же: *гдѣ̆ о̄н, по̆дй про̄чь, скӑза̄ть вӑм*. Еслиже ни которое из двух ударений уступить другому не может, что бывает наичаще при стечении многосложных слов, напр., *простира́ть ру́ки, иска́ть сла́вы;* иногда также и при односложных, сохраняющих ударение свое для важности и выразительности слова, напр., *гро́м гря́нул, а́з ре́х бо́зи есте̂*, тогда непременно должно наблюдать между стекшимися ударениями промежуток или расстановку в голосе *(паузу)*, которая бы соответствовала мерою половине такта и заменяла бы отсутствие краткого слога между двумя долгими; напр., *йска̄ть˘ сла̄вы̆, гро̄м˘ гря̄нўл* и проч.».[1] Проф. Р. Ф. Брандт, очевидно, упустил из виду сложность вопроса, когда ставил возражение точности моей фонетической транскрипции в фразе: «а как уже *раз загорелась* ось», где у меня обозначены рядом звуки *с* и *з*, что проф. Брандту казалось невозможным.[2] Слово «рас» у меня напечатано жирным шрифтом, что

[1] А. Х. Востоков. Опыт о русском стихосложении. Издание второе, значительно пополненное и исправленное (1817), стр. 21—22. Другие выдержки из его труда я привожу в своей книге «Гласные без ударения в общерусском языке», Казань 1884 г., § 5, стр. 4—8.

[2] Р. Ф. Брандт. Лекции по исторической грамматике русского языка. Выпуск 1. Фонетика. Москва 1892, стр. 129.

должно обозначать логическое ударение, а за усиленным *с*, замыкающим слово, легко может следовать начальное слабое *з* дальнейшего слабоударенного слова. С своей стороны я предложу теперь другую поправку: логическое ударение в данной фразе должно падать на слово «загорелась», и в этом случае, при достаточно сплоченном произношении обоих слов, действительно получается *з͡з*.

2) Относительно *смягчения согласных* перед следующими мягкими согласными наш говор характеризуется значительною смягчаемостью согласных, как видно напр., из смягчающего влияния *р'* на некоторые предшествующие согласные или из случаев смягчения губных согласных под влиянием мягкости следующих согласных и т. п. Приведу примеры: смягчения перед мягкими согласными разного образования: ф'п'єр'бт, сос'пéт', с'в'іхнýл, з'м'єја́; с'т'оклб, чі́с'т'ін'ка, пус'т'і́, ф'с'ьн'т'абр'ǽ, ф'с'ý, рос'с'ǽк, каф'н'æтк'і (детский говор = конфекты), в'єс'н'ǽ, прос'н'і́са (в песне), г'н'одбт, с'л'опбт, шп'л'а́чут (детский говор, = спрячут), ф'р'єз'æ (фамилия), с'тр'іжы́ (смягчение второго предшествующего согласного), с'јéс' (= съесть), а́н'г'іл'. В некоторых случаях наблюдаются колебания, напр., посп'éт' || сос'п'éт'. Есть случаи неполного смягчения, напр., в в'едр'ǽ, где *д* полумягкое, на что указывает предшествующее *е*, среднее между широким и узким; тоже в слове л'екс'ǽвна. От приведенных случаев нужно отличать те, где мягкость предшествующего согласного была вызвана старым кратким *ь, затем исчезнувшим, после чего такой согласный при одних условиях продолжал сохранять свою мягкость (срв. зор'н'і́к, с'éд'н'і, одман'ш'ч'ік), при других же условиях—перед твердыми переднеязычными согласными отвердел (срв. зорствб, зорној), но сохранил свою мягкость перед твердыми заднеязычными (срв. д'éр'гат', скбл'ка, вдовын'ка). Существующее рядом с д'éр'гат' произношение д'бргат' с твердым *р* возникло по аналогии к д'брнут'. В слове кбр'н'у сочетание *р'н'* связано с переходом слова путем аналогии в новый тип склонения.

Что касается соприкосновения согласных в смежных словах фразы, то тут наблюдается устойчивость, срв. гр'ǽх п'і́т'. Если бы сочетание *хп'* существовало внутри слова, то х при предшествующем палатальном гласном(æ) и в положении перед следующим мягким согласным (п') приобрело бы смягченность хотя бы неполную. В данном же случае ассоциационная привычка произносить отдельное слово «грех» или ему подобное с твердым конечным согласным (такое произношение является и в сочетании с следующим словом, начинающимся с несмягчающего звука) служит поводом к тому, что такое же произношение по аналогии возникает и при мягком начальном согласном следующего слова.

Подобное явление устойчивости встречается и при обратном порядке, т. е. когда слово оканчивается мягким согласным, а следующее начинается твердым согласным, напр., ш'єс' на мн'ǽ, тогда как внутри слова при сходных условиях,

за отсутствием ассоциационной поддержки, наблюдается отвердение мягкого согласного под влиянием следующего твердого, срв. часныј.

Если я охарактеризовал говор дер. Белой довольно значительною смягчаемостью согласных, то на территории великорусских говоров явление смягчения согласных под влиянием следующих мягких согласных представляется неравномерным: одни говоры проявляют смягчаемость в большем объеме и в большей степени сравнительно с данным говором, другие же наоборот. Вопрос о смягчаемости согласных под влиянием следующих мягких согласных должен войти в программу диалектологических исследований.

В. Богородицкий.

Казань.
1926. XII. 14.

Формат «Летописца» 1305 г.

I.

Лаврентьевская (прежде Пушкинская) летопись, как рукопись или как заказ, выполненный переписчиком, не может быть названа вполне удовлетворительной. В самом деле, нынешние первые 40 ее листов писаны сплошною строкою, остальные до конца в два столбца на каждой странице; уставное письмо первых ее листов с 9-ой строки об. 40 л. переходит в полууставное, которое идет до конца рукописи, прерываясь, однако, в трех местах опять уставным: им покрыт весь об. 157 л., 9 последних строк об. 161 л. и весь 167 лист. Кроме этой смены типов страниц и письма мы встречаем внутри текста еще три досадных, с точки зрения внешнего благообразия рукописи, пробела: на об. 157 л. последние $7^1/_2$ строк второго столбца, на об. 161 л. последние $22^1/_2$ строчки первого столбца и весь второй столбец, наконец, на об. 167 л. последние $21^1/_2$ строчки второго столбца оказываются не заполненными, при чем это вовсе не означает пропуска текста, непрочитанного в протографе, как это имеет место в этой же рукописи, например, в начале «Поучения» Мономаха и в ряде других мест, потому что указанные выше три пробела не мешают правильному, без всяких опущений слов или смысла, чтению в связи с дальнейшим токстом 158, 162 и 168 лл. [об. 158: «изволи его» — л. 159: «поставити служителя»; об. 161 л.: «часто бога прогне» — л. 161: «ваю и часто согрешаю»; сбор. 167 л.: «и бысть бесурме» — л. 168; «нинъ вступивъ в прелесть»].

Если вспомнить, что рукопись наша была исполнена для вел. князя Дмитрия Константиновича «по благословению» его местного епископа (безразлично, как заказ самого вел. князя или как подношение ему), о чем писец не умолчал в своем послесловии, то такая неудовлетворительность внешнего вида рукописи едва ли может быть объяснена небрежностью или неопытностью писца или желанием удешевить

книгу. Если бы вся рукопись в своем выполнении распадалась на две части—уставную в одну строку и на полууставную в два столбца, тогда можно было бы выдвинуть предположение, что начавший работу писец почему-либо отошел от этой работы, и сменивший его новый писец сумел продолжить ее, только как полууставное письмо с короткими строками. Но мы уже знаем, что уставное письмо встречается три раза среди полууставного (и все три раза перед пробелами в тексте), а полууставным письмом покрыты 24 строки об. 40 л., писанного в одну строку. Возможно ли подыскать удовлетворительное объяснение всех выше указанных недостатков работы переписчика Лаврентьевской летописи?

Решаюсь высказать следующие соображения, надеясь услышать решающее слово по этому вопросу от глубокоуважаемого А. И. Соболевского. Предположим, что вина всех промахов работы лежит не на переписчике, а на заказчике, кто бы он ни был, т. е., что заказчик два раза понуждал переписчика ускорить выполнение работы в процессе самой работы. Когда переписчик дошел до 9 строки об. 40 (нынешнего) листа, заказчик в первый раз потребовал ускорить переписку. Это заставило писца перейти на полуустав, которым он закончил об. 40 л., а с 41 л. располагал его в два столбца на странице. Это ускорение не удовлетворило заказчика, и он в какой-то момент переписки между 41 и 156 лл. потребовал новых мер ускорения. Для этого дальнейшая работа была частями распределена между несколькими лицами. Утрата в Лаврентьевской летописи значительного количества листов между нынешними 169 и 170 лл. лишает возможности представить себе всю работу, и мы вынуждены ограничиться рассмотрением хода работы до 168 л. В этих пределах было привлечено к работе основного переписчика два лица: одному из них дали для переписки материал нынешних 158, 159, 160 и 161 лл., другому 162—167 лл., при чем третий одновременно писал 168 и посл. Если все эти писцы выполняли работу одновременно и с рукописи иного формата против формата Лаврентьевской, то неизбежно должны были при некоторой неосмотрительности в распределении работы получиться пробелы в конце работы каждого писца. Когда первый писец, закончив об. 156 л., подсчитал оставшийся ему для переписки материал, он решил, несмотря на значительность его, втиснуть его в один лист своей рукописи: с этою целью писец покрыл лицо 157 л. особо-сжатым и мелким письмом, какого больше мы не встречаем на всем пространстве рукописи, сделав в первом столбце 34, а во втором—33 строки на разлинованной в 32 строки странице; так как от этого получилось слишком большая экономия материала для об. 157 л., писец перешел на этом обороте на уставное письмо, получив в результате только $7^1/_2$ незаполненных строк. Второй писец за это время выполнил переписку своего материала, расположив его на 158, 159, 160 и лице 161 л. На об. 161 л. у него осталось незначительное количество материала, которым он заполнил первые

13 строк первого столбца, и не зная, как закончить работу, обратился к первому писцу за указанием: возможно, что первый писец и докончил последние девять строк уставным письмом. Третий писец за это время выполнил работу над 162, 163, 164, 165 и 166 лл., а оставшийся материал за него решил подогнать к работе четвертого писца первый писец. Он для этого заполнил лице 167 л. уставным письмом, а на обороте дал (тем же письмом) в первом столбце только 30 строк, и все же получилось $20^1/_2$ пустых строк, соотносительно к первому столбцу, во втором столбце.

II.

Предыдущее изложение привело нас к неизбежному предположению, что формат Лаврентьевской летописи не соответствовал формату того «Летописца» 1305 г., который переписывал Лаврентий с 14 января по 20 марта, повидимому, 1377 г.[1]

Возникает далеко не праздный вопрос, какой же формат имел «Летописец» 1305 г.? Если бы можно было удовлетворительно ответить на этот вопрос, разве не получили бы мы некоторого объективного основания для изучения дефектов текста знаменитого «Поучения» Мономаха, сохраненного нам текстом Лаврентьевской летописи?

Нам известно, по указаниям Н. М. Карамзина, что названная им Троицкой пергаменная летопись начала XV в., сгоревшая в Москве в 1812 г., имела в пределах до 1305 г. текст, почти тожественный Лаврентьевскому, и продолжала летописное изложение до 1408 г. А. А. Шахматов указал, что так наз. Симеоновская летопись[2] XVI в. содержит от своего начала (т. е. 1177 г.) и до 1390 г. текст,— за небольшими вычетами годов 1235—37; 1239—49; 1361—64,— этой утраченной Троицкой л.[3] Мне уже представлялись случаи высказаться о том значении, какое имеет, с моей точки зрения, для изучения истории русского летописания возможность восстановления текста Троицкой л., как и о методах, необходимых при этой работе.[4] При изучении соотносительном текстов Лаврентьевской и Троицкой лл. меня не могло не поразить соотношение их форматов в ряде случаев ведущих к мысли, что Симеоновская через Троицкую сохранила нам не только лучший текст «Летописца» 1305 г., чем это сделала Лаврентьевская переписка с обветшавшего

1 В рукописи последние две цифры 6885 г. почти совершенно стерлись и прочтение их вызывает сомнение. Сверх того в послесловии, в конце, после «аминь» видны, за заключительной чертою, киноварные же цифры и буквы, прочесть которые, может быть, и возможно.

2 Теперь издана XVIII т. П. С. Л.

3 См. «Симеон. летопись XVI в. и Троицкая нач. XV». СПб. 1910 г.

4 Ср. Сборник «Века» 1924 г. и Сборник С. Ф. Платонову 1922 г.

экземпляра этого «Летописца», как о том говорит нам сам Лаврентий, но и формат этого «Летописца» 1305 г. Приведу лишь несколько примеров.

Если мы откроем текст Симеоновской л. под 6745 (1237) г. в том месте, которое соответствует об. 161 л. Лавр. л., то увидим почти полное совпадение текста об. 161 л. Лавр. л. с об. 82 л. Симеоновской: действительно, разница будет в Симеоновской против Лавр. л. в том, что об. 82 л. начинается словом «Спасскый», относя слово «Феодосий» к лицу 82 л. и в конце об. 82 л. не хватает нескольких слов: «сто съгрѣшаю и Бога прогнѣ». Точно также в изложении 6770 (1262) г. в том месте, которое соответствует об. 167 л. Лавр. л., мы опять видим (несмотря на некоторую перестановку текста), что конец об. 167 л. Лавр. л. совпадает с окончанием текста об. 121 л. Симеоновской. Если вспомнить, что в Лавр. л. после этих совпадающих текстов с Симеоновской в обоих приведенных случаях идут пробелы, т. е. в «Летописце» 1305 г. здесь оканчивались страницы, то такое совпадение не может объясняться случайностью.[1] Попробуем теперь, взяв материал текста Лавр. л. между двумя пробелами об. 157 л. и об. 161 л., т. е. урок одного из сопереписчиков, прикинуть его на формат Симеонов. л., предполагая в нем формат «Летописца» 1305 г. Формат Симеоновской л. определяется в 20 строк в среднем по 25 букв, т. е. около 500 букв, в странице. Формат Лаврент. л. (от 41 л.) по 32 строки в двух столбцах, в среднем по 21 букве в строке или 1344 буквы в странице. Между 157—162 лл. текст Лавр. л. занимает 7 страниц и $22^1/_2$ строки первого столбца 8-ой стр., т. е. около 9.880 букв. Отбрасывая разницу в 120 букв на 7 слишком страниц, мы получаем вывод, что один из сопереписчиков получил 20 страниц или 10 листов «Летописца» 1305 г.

На страницу Лавр. л. по этому расчету ложилось 2,7 страницы «Летописца». В среднем можно считать, что 27 стр. «Летописца» буква в букву могли лечь на 10 стр. Лавр. л. Это, повидимому, и случилось в работе второго сописца, который, как мы и предполагали раньше, закончил свою работу об. 166 л. Действительно, весь 167 л. исполнен уставом и по материалу текста равен 4 стр. «Летописца». Из расчета: I стр. Лавр. л. $= 1 + 2 + {}^7/_{10}$ 3 стр. «Летописца», II стр. $= {}^3/_{10}$ $3 + 4 + 5 + {}^4/_{10}$ 6 стр. «Летописца» — видно, что если бы 167 л. был выполнен обычным для предыдущих листов полууставом, то пробел на об. 167 л. был бы равен почти половине страницы. Выполнение 167 л. уставом и допущение на его обороте 30 строк, вместо обычных 32, дало возможность довести пробел до $^1/_3$ страницы ($20^1/_2$ строки). То обстоятельство, что весь материал текста 162—167 лл.

[1] К сожалению, текст Симеонов. л. под 6739 (1231) г. не соответствует Лаврентьевской и, вероятно, Троицкой, почему мы лишены возможности использовать для наблюдения третий пробел среди текста Лавр. л. на об. 157 л.

Лавр. л. составляет 31, т. е. нечетное число, страниц «Летописца» могло объясняться тем, что третий сописец начал по ошибке переписывать свой урок с оборота первого листа, и это, может быть, заставило ответственного переписчика прервать работу предыдущего на 27 стр., самому выполнив три оставшиеся от его урока страницы и одну от урока последующего сописца.

Теперь нам будет ясным своеобразие 157 л. Лавр. л., где, как мы говорили, писец на лицевой стороне применил особо сжатое и мелкое письмо, дав в столбцах 34 и 33 строки (вместо 32), а на обороте перешел на устав, получив в конце страницы лишь $7^1/_2$ строк пробела. Если подсчитать материал текста этого листа (в печатном лицо 157 л. содержит 58 строк, об.—30), то получим около 3960 букв, т. е. почти точно 8 страниц «Летописца». При том типе письма, которым были выполнены предыдущие листы, 8 стр. «Летописца» грозили взять почти полных три страницы Лавр. рукописи, и тогда пробел равнялся бы целой странице (из двух листов). Писец втиснул эти 8 страниц на один лист и даже получил на обороте пробел в $7^1/_2$ строк.

Как известно, между 170 и 171 лл. Лавр. л. наблюдается перерыв текста. Издатель (см. 3-е изд.) объясняет этот перерыв утратою листа. Недостающий текст восполняется по Симеонов. л. при полной уверенности в ее тожестве здесь с Троицкой на основании использования Троицкой Н. М. Карамзиным (оно гораздо значительнее указанного издателем XVIII т. П. С. Л.). Недостающий текст Лаврентьевской составляет в Симеоновской ровно шесть страниц от об. 142 до 145 л. вкл., при чем об. 145 л. начинается словами: «къ Москве а не бяше», тогда как лицо 171 л. Лавр. л. начинается лишь несколькими буквами раньше: «де близъ къ Москве а не бяшеть»... Если утраченный лист был написан обычным типом письма, как предыдущий 170 или последующий 171 л., то шесть страниц «Летописца» уместиться на нем не могли: I стр. $= 1 + 2 + {^7/_{10}}\ 3$, II стр. $= {^3/_{10}}\ 3 + 4 + 5 + {^4/_{10}}\ 6$, т. е. для $^6/_{10}$ 6-ой стр. места бы не хватило. Это обстоятельство наводит на мысль, что никакой утраты листа здесь и не было, потому что утрата шести страниц (или 3 листов) была в «Летописце». В самом деле, обратим внимание, что об. 170 л., изложив в своем конце содержание 142 л. Симеон. л., на последней своей строке дает: «в лѣто 6794. в лѣто 6795. в лѣто», т. е. не передает последних слов 142 л. Симеонов. л., где читается: «в лѣто 6794 оженися князь Иван Переяславсии сын князя великаго». Заметим, что по Симеоновской и 6795 и 6796 гг. не пустые. Представляется поэтому более вероятным думать, что лист «Летописца» 1305 г., соответствующий 142 л. Симеонов. л., кончался изложением 6793 г., которое писец Лавр. л. и переписал на своем об. 170 л., а оставшуюся строчку, которая могла получиться при переписке 8 или 16 страниц «Летописца» использовал, чтобы отметить дефект ряда годов между об. 170 л. и 171 л., получившийся от

дефекта в «Летописце» 1305 г. 3 листов. К сожалению, проверку такого предположения, по состоянию переплетения Лавр. л., по рукописи произвести трудно.

Конечно, вопросу о том, как может быть применен добытый результат о формате «Летописца» 1305 г. к изучению дефектов «Поучения» Мономаха, должно предшествовать рассмотрение отношений переписчиков Лаврентьевской л. к тексту «Летописца» 1305 г.

М. Приселков.

Ленинград.
1926 XII. 14.

К вопросу о морфологическом изучении народной сказки.[1]

§ 1. Подъем интереса в литературоведении XX века к вопросам теоретического порядка отразился хотя пока еще слабо и на изучении сказки. Мысли о новом методологическом подходе к сказке, который можно назвать морфологическим, пробиваются и в иностранной и в русской научной литературе. Таковы отдельные места в книгах K. Spiess,[2] W. A. Berendsohn,[3] A. van Gennep,[4] у нас у В. Шкловского[5] и Р. Волкова.[6] Хорошо сформулировал новые задачи В. Шкловский. Теория миграции недостаточна для понимания жизни сказки. Сходства сюжетов «объясняются только существованием особых законов сюжетосложения. Даже допущение заимствования не объясняет существования одинаковых сказок на расстоянии тысяч лет и

---

1 Миграционная историческая школа Бенфея, породив ряд блестящих имен (E. Cosquin, R. Köhler, G. Paris, А. Веселовский, Вс. Миллер и др.) и целых школ второго порядка (египтологическая Маsреrо, классическая Rhode, историко-географическая I. Krohn, I. Polivka, A. Aarne) в настоящее время сильно ограничена в ее широких претензиях как существованием школ антропологической, сексуальной (Freud), сновидений (v. d. Leyen), так и сокрушительной критикой J. Bédier, от которой несмотря на энергичную самозащиту (см. рецензии на Bédier—P. Regnaud, Ch. M. des Granges, J. Jacobs, W. Cloëtta, K. Euling, v. d. Leyen, С. Ф. Ольденбург) не может оправиться до последних дней (см. полемику с Bédier у K. Krohn'a. Die folkloristische Arbeitsmethode. Oslo. 1926, cap. 16 и признание G. Huet. Les contes populaires. Paris, 1923, p. 50).

2 K. Spiess. Das deutsche Volksmärchen. 2 Aufl. Leipz.-Berl. 1924 на стр. 37—47 утверждает, что правильнее при изучении сюжетов исходить не из сказки в целом, а из более мелких величин-мотивов. «Как камни калейдоскопа, отдельные мотивы сказки сами по себе остаются в существенном неизменными, но их меняющимися взаимосплетениями создают постоянно новые картины» (46). Интересно также установленное A. Aarne (Verzeichniss der Märchentypen. Helsinki. 1910) понятие «Märchentyp».

3 Grundformen volkstümlicher Erzählerkunst in den Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm. Hamburg 1922, § 223, 224.

4 A. van Gennep. Le folklore. Paris. 1924, p. 33.

5 В. Шкловский. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля (Сборн. «Поэтика». П. 1919, стр. 117). Перепечатано в книге того же автора «Теория прозы». М. 1925.

6 Р. М. Волков. Сказка. I. Одесса. 1924.

десятков тысяч верст... На самом деле сказки постоянно рассыпаются и снова складываются на основании особых, еще неизвестных, законов сюжетосложения».

§ 2. Первичные наблюдения над морфологией народных повествовательных сюжетов приводят к необходимости диференциации их по нескольким жанрам. W. Berendsohn прав, различая жанры саги, сказки и шванка, хотя в настоящее время еще нельзя дать точное определение признаков каждого жанра. Шванк, анекдот, повидимому, обладает совершенно особой морфологической структурой (основным законом ее является своеобразный point, заострение, кульминация, специфические для каждого отдельного сюжета), которая не позволяет анекдотическим сюжетам рассыпаться и вновь складываться, а сохраняет их в раз где-нибудь созданном виде. Сага, былина, историческая или историзованная легенда (агиографическая, апокрифическая и т. п.) морфологически сложнее и подвижнее в строении сюжета, но они никогда не достигают той большой внутренней подвижности и способности сюжета к «рассыпанию» и перегруппировкам, какая характерна для сказки. Впрочем и то, что можно ограничивать, как сказочный жанр, представляет очень сложный конгломерат явлений. Едва ли можно говорить об единой морфологической системе в сказке о животных, бытовой, эротической, чудесной или в Ursprungssage. Такое объединение возможно лишь для теории будущего синтезирования отдельных морфологических систем, добытых индукцией.

§ 3. Одна группа работ морфологического анализа должна направляться в сторону наблюдений над композиционными закономерностями в строении каждого сказочного варианта. Материал подсказывает следующие главнейшие из этих закономерностей.[1]

1) Закон *повторения* динамических элементов сказки в целях замедления и усложнения общего хода ее.[2] Наиболее частый тип конструкции отдельных частей — (2 + 1), но сказка знает случаи: (1 + 1), (3 + 1), (5 + 1), (2 + 3) и др. Специально надо отметить действие этого закона и в отношении целых сложных сюжетных масс. Сказка, завершив цепь действий, приуроченных к одному герою или цели, повторяет ту же цепь, приурочивая к другому герою или цели и повторяет этот круг два, три и больше раз. Получается спиральный ход действия, в котором каждый новый круг отличается или персонажами, или мотивировкой ввода действия,

---

[1] Предлагаемые наблюдения представляют схематическое изложение моего еще не законченного исследования по морфологии великорусской чудесной сказки. Национальные и племенные границы материала для морфологических штудий не только допустимы, но и методологически первичнее, чем широкие международные сопоставления. При этом, если для исторических школ изучения сказки основной метод состоял в сближениях родственных сюжетов, то для морфологического анализа выдвигается метод сближения разных, далеких друг от друга, мало схожих сюжетов, с целью обнаружения общих конструктивнотворческих основ в их сложении и бытовании.

[2] Закон этот относительно мелких элементов сказки отмечен давно. Сводка его см. в работах Р. Волкова и K. Krohn'а.

или некоторыми частными эпизодами. Сюда относятся напр. многие сказки о трудных задачах (ср. напр. Афан. № 106 a, b, где в первом круге выполняют трудную задачу добывания невесты три брата, во втором круге — добывание чудесных животных три зятя царя).

2) Другой закон структуры сказки — закон композиционного *стержня*, каким является герой. Сказка бывает *одногеройная*, *двугеройная* (с разновидностями: два героя равноправны; два героя неравноправны — герой и помощник; два героя противники) и никогда не бывает *безгеройной* (как это наблюдается, напр., в художественной повести событий, в исторической повести). Сказка безгеройная (напр., основанная на игре слов и т. п.) является сказкой аморфной и представляет совершенно особый жанр народного устного творчества, который нельзя изучать вместе с обычной сказкой. В последней число действующих персонажей, конечно, больше, чем два, но организующую роль несут всегда один или два.

3) Третий закон — закон *категориальной или грамматической формовки действия*. Он состоит в том, что частные сказочные действия складываются в единый ход по категориям, аналогичным морфологическим категориям словообразования в языке. Если взять в варианте отдельный законченный круг действия (а вариант может, как указано, состоять из нескольких таких кругов), то окажется, что в нем есть ядровое (корневое) действие и тяготеющие к нему в порядке предшествования (префиксальные) и в порядке следования (суффиксальные и флексийные) действия, причем связь всех аффиксов с ядром не просто логически-причинная, а именно категориально данная традиционным бытованием. Различие между префиксальными рядами действий и суффиксами и флексиями действий настолько велико, что можно говорить: а) о совершенно особых принципах их жизни в сказке (широкие возможности, напр., замен и богатая скала действий в префиксах и бедность их в суффиксах и флексиях) и б) об отличиях в применении закона повторения к разным категориям действий (напр., корневое действие никогда не утраивается). Закон грамматической формировки действия особенно интересен потому, что ведет нас к признанию наличия в народной сказке действия естественных сил, которые побуждают разные области творческой продукции народа (язык и сказочный сюжет) протекать по сходным формальным категориям.

4) Кроме названных крупных законов композиции, в сказке действует ряд более мелких, напр. а) органическая необязательность присказки и концовки, б) нагромождение однородных функций и действий (ср. Афан. 178), в) градационность наращений (при утроении каждое последующее звено усилено или ослаблено сравнительно с предшествующим) и др.

§ 4. Вторая группа работ морфологического анализа должна пойти по пути изучения схематического рисунка сказочных действий, хода сказки после того, как ока-

жется учтенной общая закономерность композиционно-структурного порядка. Каждый конкретный вариант после такого учета можно будет сжать в простую схему, вроде следующей для Афан. 169 (Верлиока): Вор [чудесный] + 3 (Дежурство [слабого] + Дежурство [неудачное]) + (Дежурство [героя] + Встреча [с врагом] + Борьба [героя] + Бегство [героя]) + (Выход [героя]) + 4 (Добывание [помощников] + Встреча [с врагом] + Борьба [бой] + Победа [героя]) или даже в еще более упрощенную.

Наблюдения над значительным числом таких схем показывают наличие следующих постоянных явлений.

1. Конкретные персонажи сказки не являются чем-то устойчивым. Они бесконечно изменчивы по вариантам. Постоянной является лишь функция персонажа, его динамическая роль в сказке. Напр., врагом героя часто выступает змей или Яга, но они же выступают и другом героя (Афан. 120 а); женщина добывает смерть Кощея для героя (Афан. 93) и, наоборот, женщина добывает смерть героя для его врага (Афан. 120 a, b) и т. п. Очевидно, что постоянны лишь функции — дружбы, вражды и добывания смерти, а не их носители.[1]

2. Персонажи сказки бывают двух типов: герой или стержневой персонаж и вторичные персонажи — помощники, сотрудники героя или его враги, противники. Героиня в сказке мужского типа (см. ниже) носит функции вторичных персонажей, когда выступает активно действующей.

3. Круг функций каждого из типов персонажей численно весьма невелик, по крайней мере в великорусской чудесной сказке: а) главный персонаж носит функции так сказать биографического порядка (чудесное рождение, быстрое развитие, проба сил, добывание оружия, коня, помощников, выбор цели, путешествие, бои, решения трудных задач, добывание чего-нибудь, счастие и т. п.); б) вторичные персонажи носят функции так сказать авантюрно-осложняющего порядка: помощи герою (в разных видах), препятствий ему (прямая вражда или косвенная помеха) или функции объекта его домогательств (невеста, чудесные предметы и т. п.). Причем *группировка частных функций главного персонажа и вторичных персонажей в некоторое количество комбинаций по принципу весьма (но не абсолютно) свободных сочетаний и составляет основную пружину сказочного сюжетосложения.* Факторами сочетаний являются реже посылки каузально-логического характера, чаще частные мотивировки (чудесные или бытовые) отдельных функций, вовлекающие в известное сочетание функций новые, наиболее ходовые в сказках данного территориального, племенного или культурного района.

---

[1] R. Köhler (Kleinere Schriften. Weimar 1898, S. 1—3) приводит интересный случай, когда одна и та же схема сюжета известна и в форме сказки, и в виде басни с действующими лицами животными и даже в форме легенд о св. Варваре или о св. Георгии.

4. Особенно важно подчеркнуть, что функциональная связь вторичных персонажей со стержневыми выступает всегда в виде устоявшихся, типизированных тематических двучленов, трехчленов и даже многочленов (напр., указание пути и совет, или: встреча врага + борьба бой + победа героя и т. п.). Если их назвать типичными эпизодами, то можно сказать, что эпизоды чудесного бегства, боя со змеем, дежурства на могиле, указания пути и т. п., будучи в самих себе сложными морфологическими гнездами, по отношению к сказке в целом вступают в разные комбинаторные сочетания как постоянные, неменяющиеся морфологические единицы. Этой сложностью частных компонентов сюжетосложения и объясняется тот факт, что сказка дает не абсолютную свободу сочетаний большого числа мелких элементов (частных функций, тем, мотивов), а сравнительно ограниченное (хотя и не малое) их количество, что иногда создает иллюзию устойчивости сказочного сюжета вообще. Впрочем, возможны временные и более устойчивые сочетания некоторых морфологических сюжетных комплексов. Именно к ним применим термин проф. W. Anderson'a[1] «нормальная» форма сказки. Но предполагать длительную устойчивость этих нормальных форм в чудесной сказке совершенно невозможно в виду наличия непрерывного воздействия сказок подвижного морфологического состава.

§ 5. Конкретная сюжетная схема чудесной сказки, т. е. частный вариант, если он не бывает простым механическим повторением (что случается), определяется основным целеустремлением главного героя. С точки зрения этого целеустремления все чудесные сказки должны быть разбиты на три больших группы: сказки мужские, женские и нейтральные.

1. Сказки мужские строются по специфическим схемам. Из них можно выделить три наиболее характерных типа схем: а) сказки о добывании (главным образом невесты), б) о трудных задачах, в) о специальном обмане (ловкое воровство, состязание с кем-нибудь и т. п.).

2. Сказка женская знает два преобладающих типа схем: а) о добывании (главным образом жениха, но с морфологическим составом эпизодов совершенно иным, чем в мужской сказке о добывании), б) о страданиях невинно-гонимой (девушки или женщины).

3. Сказка нейтральная включает остальные схематические рисунки, чаще всего это Beispielmärchen, сказки-иллюстрации к этическим положениям (правда и кривда, испытание ума, о глупцах и т. п.) или Ursprungssagen.

Каждый из типов обладает особым фондом функциональных связей между персонажами, специфических именно для данного типа и комбинирующихся по указанному выше закону сюжетосложения в конкретные сказочные варианты.

---

[1] W. Anderson. Kaiser und Abt. Helsinki 1923, cap. II, § 2 (см. мою рец. в Изв. Отд. Р. Яз. и Слов. А. Н., т. XXXI, 1926).

§ 6. Каково значение морфологических штудий для объяснения международного сходства сюжетов? Морфолог не может отрицать известных миграционных и исторических факторов в жизни и бытовании сказки, но поскольку он вскрывает некоторые не исторические, а чисто формальные закономерности в сюжетосложении сказки, он неизбежно выдвинет и еще одно специальное объяснение. Чисто естественная ограниченность числа возможных функций простых человеческих взаимоотношений (сказка не уходит в сферу сложных отношений высокой цивилизации) de facto и даже в области фантазии и очевидный параллелизм этих взаимоотношений, несмотря на все многообразие форм быта и переживаний, в которые эти взаимоотношения облекаются по векам и народностям, дают такое объяснение для международного сходства сюжетов, которое примиряет, кажется, все противоречия исторических школ. Теория полигенезиса сказки в целом выправляется в теорию полигенетического сюжетосложения (а не сюжетосоздания). Историзм финской школы сохраняет свою ценность, если перенести исторические разыскания с сюжетов в целом на эпизоды, на стойкие частные морфологические элементы целого. Больше того, установление морфологической подвижности компонирующих сказку частей облегчает историко-генетические штудии, подводя более простые частные эпизоды сказки для их объяснения к сферам первобытной мифологии, бытовой этнографии или народной эстетики.

А. Никифоров.

Ленинград.
1926. XII. 14.

К палеографическому изучению «Слова о полку Игореве».

При всяком изучении Слова о полку Игореве центральным местом является его текст. В нем еще слишком много неясного и непонятного и это неясное и непонятное едва ли может быть разгадано каким-либо иным путем, кроме палеографического. Между тем палеографии погибшей рукописи «Слова» мы совсем не знаем. Какого формата была рукопись, каким почерком писана, по скольку строчек на странице, в один или два столбца, какой сохранности она была и сколько листов занимало в ней «Слово о полку Игореве» — издатели 1800 г. ничего не говорят. В предисловии очень глухо и неопределенно сказано только, что рукопись в лист. Из последующих сообщений лиц причастных к изданию узнаём, что почерк рукописи близок к белорусскому — и только. Обстоятельные палеографические соображения о рукописи дал Тихонравов в своем учебном издании «Слова», затем И. И. Козловский и П. К. Симони,[1] отчасти Е. В. Барсов. Палеографическая сторона памятника, насколько мне известно, до последнего времени ничьего внимания больше не привлекала. Но вот акад. А. И. Соболевский, высказывавший раньше на лекциях, а потом опубликовавший в Известиях Отд. Русск. Яз. и Слов. 1916 г., кн. 2, свое соображение о необходимости перестановки двух отрывков «Слова», оказывающихся не на своих местах, дал толчек к попыткам разбить памятник по страницам, причем указанные им отрывки были использованы, как мерки. Такую попытку сделал П. Л. Маштаков,[2] но не довел ее до конца. В последнее время акад. В. Н. Перетц в большом труде о «Слове о полку Игореве» напечатал памятник с распределением его по листам и страницам, отчасти соответственно соображениям А. И. Соболевского, отчасти по своим собственным. Не входя в рассмотрение этого распределения акад. В. Н. Перетца и не пытаясь пока дать своего, ограничусь несколькими замечаниями о задачах палеографического изучения и исследования памятника. С одной стороны нам нет надобности отрицать указания издателей 1800 г.

---

[1] Древности. Труды Моск. Археологич. Общ., т. XIII, вып. 2.

[2] Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. 1918 г., т. XXIII, кн. 2, стр. 74—76.

на то, что рукопись была в лист. С другой стороны по величине переставляемых А. И. Соболевским отрывков видно, что на каждом из перепутанных в рукописи листов помещается слишком мало текста для заполнения листа (folio): его только-только хватит на восьмушку, особенно, если это скоропись. Поэтому нужно предположить, как это и сделал А. И. Соболевский, что предложенные им к перестановке листы были перепутаны еще в рукописи, послужившей оригиналом для Мусин-Пушкинской. Таким образом, распределяя текст «Слова» по страницам в объеме указанных А. И. Соболевским листов, мы восстанавливаем внешний вид не Мусин-Пушкинской рукописи, а ее оригинала, или одного из его предшественников, который, как оказывается, был малого формата и писан был, повидимому, в один столбец.

Что же мы можем сказать об исправности и сохранности Мусин-Пушкинской рукописи? Повидимому, в ней и то и другое с внешней стороны было удовлетворительно, иначе издатели это как-нибудь отметили бы; между тем они ничего не говорят о неисправностях рукописи. Удовлетворительностью внешнего вида рукописи можно объяснить то, что непонятные, испорченные места Слова не были приняты издателями за искажения, а отнесены ими на счет невразумительности старинного языка. Если это так, т. е. если Мусин-Пушкинская рукопись казалась исправной по своей внешности, то для нас ясно, что писец ее аккуратно, без указания на пропуски, вырванные места и перебивку листов, переписал неисправный, ветхий оригинал или скопировал механически переписанный испорченный текст, не заметив неисправностей или не умея их поправить. Если бы он отметил, где были изъяны в его оригинале, как это сделал мних Лаврентий, переписывавший «ветшаные книги» летописи, то вся история изучения памятника могла быть другой; возможно, что не понадобились бы или были бы невозможны многие из многочисленных коньектур и исправлений испорченных мест. И может быть, задача палеографического изучения «Слова» в настоящее время заключается в том, чтобы установить, в какой именно рукописи и где, в каких местах страниц были изъяны, не совпадают ли эти места с углами листов или с концами текста на оборотах листов. Не поведет ли такое изучение к восстановлению не только оригинала Мусин-Пушкинской рукописи, но и к оригиналу ее оригинала. Если в том распределении по листам, какое находим в издании акад. В. Н. Перетца, дающем картину одного из списков, предшествовавших Мусин-Пушкинской рукописи, испорченные места не совпадают с началами или концами страниц, где легче всего предположить возможность дефектов в ветхой рукописи, то нельзя ли сделать попытку другого распределения, которое с этими местами совпадало бы и дало бы, может быть, другой формат, чем тот, который находим в реставрации акад. А. И. Соболевского и В. Н. Перетца; таким образом мы пришли бы к третьей рукописи «Слова», которая по времени оказалась бы еще более ранней. Это могло бы дать основания устано-

вить, что перед нами теперь не столько испорченный переписчиками, сколько просто неполный текст «Слова». Как велики пропуски, этого установить не удастся, но указать, где они, сколько их и чем они вызваны, а главное — в какой мере нужны и возможны конъектуры, мне кажется вполне достижимым.

П. Булычев.

Ленинград.
1926. XII. 14.

К вопросу о «генеалогической» поэзии.

Мифологи любили оперировать с собственными именами поэтических произведений и охотно возводили их к «первозданным» мифам. Например, в старинах о Сухане и Дунае, из крови которых текут соименные реки, они усматривали отголоски верований в происхождение рек от стихийных титанов. Однако, не всякая номенклатура легко связывалась с мифом. Уже Буслаев заметил, что «оторванный отъ своей первобытной мифической основы эпос не переставал возрождать новые формы, питаясь легендами, демонологией и вообще мечтательным настроением умов, символическим и мистическим». Этим заявлением из генеалогии собственного имени удалялся миф и открывалась возможность для иных воздействий.

Толковать значение собственного имени (географического, личного) приходилось тогда особенно, когда забывалось его подлинное значение. Попытки подобного рода встречаются уже в глубокой древности. Геродот, Теренций Варрон известны объяснениями географических терминов. Последние происхождением своим обязаны, в значительной степени, именам личным. Какой-нибудь владетель, основатель, заимщик оставлял свое имя за городом, урочищем, новооткрытой землею. Города — Владимир, Ярославль, Харьков названы по именам основателей. Практика эта применяется и в настоящее время: земля Петермана, Берингов пролив. Поэтому объяснить неясный географический термин личным именем всегда казалось простейшим решением задачи. Им широко пользовалась книжность, в том числе и русская.

Простейший пример такого толкования читается в начальной летописи: «Бяста бо два брата въ Лясѣхъ: Радимъ а другому Вятко, и пришедша сѣдоста: Радимъ на Съжю, прозвашася Радимичи, а Вятъко сѣде съ родомъ своимъ на Оцѣ, от него же прозвашася Вятичи». Здесь две части: термин объясняемый — реальные племена, и объясняющий — отвлеченные от их корня имена двух (несуществовавших) братьев, о которых летописное известие никаких подробностей дать не может. Такого же рода известное определение киевских урочищ: «Щекъ сѣдяше на горѣ, гдѣ нынѣ зовется Щековица, а Хоривъ на горѣ, отъ него же прозвася Хоревица». Начальная летопись при братьях упоминала еще сестру

Лыбедь, но ей роли не отводила. Позднейшей летописи пробел этот было не трудно заполнить по данному трафарету: «Сестра же их Лыбедь надъ рѣкою Лыбедью свои осады положши тамо же и городъ на пригорку высокомъ согради отъ своего имени Лыбедь» (Стрыковский при имени города «Лыбедь» ставит еще «Любечь»). Также просто толкуется происхождение имени самого Киева: «У Кіева бо бяше перевозъ, тогда с оноя стороны Днѣпра тѣмь глаголаху: На перевозъ на Кіевъ!». Объяснение географических терминов возведением их к соименным героям казалось столь естественным, что составитель Нового летописца даже возвел этот прием в теорию: «Кіевская по имени Кія князя, яко же древле по имени Рома—Римъ нареченъ, и отъ Антіоха—Антіохія, и отъ Селевка—Селевкія, и отъ Александра Великаго—Александрія назвася, тако и Кіевъ отъ Кія наречеся». Такая теория развязывала руки позднейшим книжникам, и характерным примером такого схоластического домышления может служить рассуждение Кенселира Кифича Рвовского (XVII века) о происхождении московских урочищ: «Мосохъ шестый сынъ Іафетовъ. . . начатъ. . . селитися на. . . всепрекрасномъ мѣстѣ своемъ Московскомъ надъ двѣма рѣкама. . . Рѣку тогда сущую безъ имені. . . приименовалъ ю Мосохъ князь по имени своему. . . и жены своея, княгини прекрасныя и прелюбезныя, нарицаемыя Квы. И тако по сложенію общекупному именъ ихъ. . . преднарѣчеся тогда рѣка та. . . Москва рѣка. Вторую же меншую рѣку. . . текущую в ту же в Москву рѣку, преименовалъ. . . в мѣсто чадородій своихъ. . . сына своего первороднаго, именуемаго сице—Я. . . и во имя дщери своея Вузы прекрасныя. . . и назва ю общекупнымъ ихъ именованіемъ — Явуза рѣка».

Схоластическая филология подобного рода в XVII веке шла дальше, пытаясь созвучие собственных имен заменить коренным сходством слов: «Русь нарицается отъ цвѣту лица и власовъ. . . рекше русо». Или: «Словене же нарицахуся отъ многихъ словъ письменнаго разума. . . рекше великословы». Параллельно существовали и обычные толкования: Русь и Славяне значились происходившими от князей Руса и Словена.

Сложнее обстояло дело, когда термин объясняемый восходил не к отвлеченному от него собственному имени, не обвитому никаким повествованием, а к намеку на какое-либо деяние, случай, положение. Таково, напр., объяснение начальной летописью урочища, именуемого Ольговой могилой. Сначала приводится известная сага о гибели Олега от коня своего, потом добавляется: «Есть же могила его до сего дни, словеть могила Ольгова». Другой пример: имя города Переяславля возводится к победе Яна Усмовича над печенежским великаном, «понеже отрокъ русскій перея славу отъ печенѣговъ». Здесь за объясняющей частью кроется (или находится на лицо) целый рассказ, носящий характер саги, легенды, — компо-

зиции не реальной, но правдоподобной. Если за отвлеченным объясняющим собственным именем (героя основателя, родоначальника) не стояло никакого вымысла, то в приведенных примерах он или налицо или подразумевается. Поэтому, если объясняющая часть сводится к занимательной поэтической композиции, от которой стоит в зависимости толкуемый термин, то исследователь в праве здесь мыслить наличие поэзии генеалогической.

Ею охотно пользовались, чтобы придать разного рода собственным именам особое значение, вес, чтобы уверить в истине существующего и придать больше достоверности объясняющему рассказу. Такая поэзия — по существу дидактическая, так как в ее основе лежит толкование, подобие научного объяснения. Вместе с тем, интерес передвигался целиком на часть объясняющую. Даже тогда, когда термин легко находил себе естественное толкование, к нему привешивалась занимательная сага. В Ростовском уезде есть деревня между реками Устьем и Пурой, естественным образом называемая «Запурье». Однако, поздние Ростовские летописи[1] это название толкуют иначе: здесь некогда был терем княгини Пуры. В тереме впоследствии поселилась волшебница с красавицей дочерью, на которой женился ростовский княз Трудобор. Молодая княгиня влюбилась в пасынка, но так как он не отвечал на ее любовь, то она, при помощи волшебницы-матери, превратила его в кабана. От превращения он был избавлен одной молодой княжной, на которой потом женился. Связь «Запурья» с «Пурой» здесь случайна, но поэтическая сага имеет в виду придать большее значение географическому имени.

Раз получил преобладание поэтический вымысел, интерес должен был сосредоточиться на нем. Отсюда он стал постепенно отходить от объясняемого термина в сторону самостоятельного повествования. Связь между собственным именем и его пояснением стала постепенно ослабевать.

Связь еще чувствуется, напр., в объяснении происхождения реки Волхова от имени старшего сына Словена — Волхова, бесоугодника и чародея, хотя весь интерес лежит на облике героя. Волхов в образе крокодила залег в соименной реке, топил или пожирал всех, едущих водою. «Постави же онъ, окаянный чародѣй, нощныхъ ради мечтаній собранія бесовскаго градокъ малъ на мѣстѣ нѣкоемъ, зовомо Перыня, идѣ же и кумиръ Перуновъ стояше». Волхов был удавлен от бесов, тело его унеслось вверх по реке и выброшено было на берег против созданного им городка Перыни. По нем сотворили тризну и насыпали высокую могилу. По истечении трех дней могила провалилась и доныне виден знак той ямы.

Поэтическая композиция выиграла еще больше, когда объясняемый термин стал возводиться не к собственному имени, а к иному какому-нибудь однокоренному

---

[1] Все Ростовские летописные известия взяты у Титова: «Ростовский уезд». М. 1885.

слову, лежащему в центре композиции. Так, напр.,—Чанниково, деревня в 48 *км* от Ростова, происхождением своим обязана тому, что на этом месте упал с неба ча́н из под соленого мяса. Его бросил некий богатырь, поднявшийся за облака на орлах и кормивший их соленым мясом. Пример ляпидарный, но характерный. Поэтичней другой: Князь Лесогон-Одноус имел дочь Вексу. В нее влюбился Щек, брат Кия, в то время как последний проживал неподалеку от жилища Одноуса в белом шатре. Чтобы не возбудить подозрений, Щек обращался в золоторунного козла и в таком виде навещал свою возлюбленную. Теперь тут деревня Козлово (на р. Устье, Ростовского уезда).

Такой сдвиг открывал дальнейшие перспективы. Поэтическую композицию оказалось возможным еще более удалить от объясняемого термина и филологическое сближение предоставить домышлению читателя. Если в наименовании села Калитина (Нажеровской вол., Ростовского у.) еще сохранена, хотя с натяжкою, коренная связь слов—на этом месте Ростовский богатырь Вадим Сильный встретился под тремя вековыми деревьями, дубом, вязом и кленом, с каликами перехожими; они пели ему песни заморские, сказывали сказки дивные, — то другие случаи эту связь затушовывают. Примером могут служить два сказания об Авраамии Ростовском. Раз преподобный был оклеветан и вызван в город Владимир. По пути он сильно утомился и просил воина его сопровождавшего, дать ему отдых. Тот не соглашался и ускорял путь. В это время воин троекратно слышал голос: «Щади старца!». Но когда о̀н не внял ему, невидимая сила повергла его на землю и стала бичевать. Это видели и находившиеся по близости косари. По молитве Авраамия бичевание прекратилось, и истерзанный воин попросил пить. Воды по близости не оказалось, и преподобный извлек для него источник воды. Теперь там село Щаднево (в 32 *км* от Ростова). В другом связь — еще слабее: на пути из Ростова во Владимир Авраамий стал молиться во время остановки. Княжеские холопы, перед тем его осмеявшие, в наказание были обречены ходить с места на место во все время остановки. Ныне там деревня Хожино (по Суздальской дороге, в 13 *км* от Ростова).

В приведенных примерах объясняющее слово еще клонится к объясняемому, и поэтическая композиция носит характер надуманный. Эволюция выразилась в том, что слово объясняющее стало органически слитым с повествованием, и последнее стало иметь оттенок правдоподобный: имя деревни Ратчино (в 51 *км* от Ростова) объясняется тем, что в XVI веке, на поляне среди дремучего леса «ратились» из-за княжны Федоры Борисовны Андреевича Приимкова князья Борис Семенович Щепин и Федор Васильевич Голенин. Первый сделал последнего калекой, вследствие чего княжна возненавидела Бориса и ушла в монастырь в город Мологу. Достоверность в данном случае поддерживается и вполне историческими именами.

Еще один шаг, и объясняющее слово могло совсем исчезнуть из повествования,

но так, что читатель легко мог о нем догадаться: среди дремучего леса на месте деревни Утехово (в 40 *км* от Ростова) стоял терем Новгородского боярина Константина, сына Добрыни Никитича. Терем пошел в приданое за его дочерью Марией, вышедшей замуж за Кудима, сына дровосека. Этого Кудима родители, по повелению невидимого голоса, проводили в лес, где он и нашел свою суженую. Дремучий лес стало быть, оказался Кудимовой (да и его бедняков родителей) утехой. Наконец эволюция привела к тому, что поэтическая композиция совершенно оторвалась от собственного имени, которое должна была пояснять. Термин оставался необъясненным, но значительным, благодаря занимательности повествования. Например: на месте села Климатина (19 *км* от Ростова) стоял терем княжны Лизихи, дочери ростовского князя Шустика. Ее звали Царь-девицей. Она закопала под тремя дубами сокровища своего мужа, но Елвус, западный витязь, узнал об них и велел Царь-девицу разорвать конями. За это братья Лизихи — Запруд и Трислав и убили Елвуса. Это позднее сказание пристало к географическому имени без всякой с ним связи. Зато подобные композиции выигрывали в интересе, заимствуя материал отовсюду. Любопытно приурочение мотива песни о Терентьи госте к деревне Ростовского у. — Низово-Соломыш: Молодая жена князя Глеба Константиновича Водского, Акулина заставляла мужа принимать к себе лекарей и знахарей ради излечения мнимых недугов. Князь узнал ее проделки и вылечил ременной плеткой, выйдя из снопа соломы, куда предварительно спрятался.

Такова эволюция — от попыток окружить объясняющее слово украшающей легендой до самостоятельного повествования. Однако, сколь бы ни было оторвано последнее от термина объясняемого, служебный (дидактический) характер за ним оставался. Поэтому генеалогической поэзией охотно питалась история. Ею пользуются церковные летописи и геральдика.

В поздних Ростовских летописях, столь богатых поэзией этого жанра, находятся интересные легенды об основании церквей. Ростовский богатырь Остей (XI века) накануне Пасхи охотился на берегах р. Томары и, заблудившись, сокрушался, что не может попасть к заутрени в Ростовский собор. Вдруг он видит перед собой освещенный храм, идет туда. Церковь полна незнакомого народа. Отстоял заутреню и обедню, по окончании который старик священник обратился к нему со словом, где между прочим сказал, чтобы он ежегодно ходил сюда молиться на Пасху и что в тот год, когда он здесь молиться не станет, он умрет. Много лет ходил сюда Осой к заутрене, но придя однажды, увидел, что церкви нет и следа, а на месте ее лежит большой белый камень. Вспомнив слова священника, Осой понял что в этом году ему суждено умереть, завещал своему сыну Святогору погребсти его под камнем и устроить тут храм. Ныне — село Воскресенское (Угодичской в.). Другая легенда интересна тем, что построена на мотиве, которым часто пользуются рас-

сказы об основании монастырей: в княжение Константина Всеволодовича Ростовского (XIII век) княжеский сокольник Богдашка среди дремучего бора, близь р. Устья нашел улетевшего у него любимого княжеского сокола, причем во время поисков был перевезен через реку неизвестным стариком. Когда князь пожелал видеть место, где был пойман сокол, то, пришедши туда, нашел образ св. Николая, в лице которого Богдашка узнал перевозившего его старца. Князь основал тут церковь во имя св. Николая, и около нее образовалось село «Никола на перевозе» (8,5 *км* от Ростова).

Из поэтических композиций, легших в основание родословных, классической является та, которой пользовался Иван Грозный, возводивший свой род к Августу римскому. Хронографы XVI века излагали ее так: «Обладающу Августу цесарю римъскому, и егда изнеможе и нача разъряжати на всю вселенную и постави брата своего Патрекея Египту... Пруса, брата своего постави в берехъ, и по немъ зовется прусская земля, по его имени. А отъ Пруса 14 колѣно Рюрикъ». Другие рассказы распространяют повествование тем, что Прус будто бы выехал из Италии «въ полунощныя страны» вместе с Палемоном и свитой, спасаясь от жестокостей Нерона. Правдоподобность этой генеологии оспаривал писавший о России Петр Петрей: «Свирѣпый Иванъ Васильевичъ... ведетъ свой родъ отъ брата славнаго римскаго императора Августа, по имени Прусса, жившаго въ Придценѣ, но это отвергаютъ всѣ историки, и Иванъ ничѣмъ не могъ доказать того». Скептицизм Петрея доказывал лишь поэтичность легенды.

В сказании о Мамаевом побоище говорится, что перед боем в. к. Дмитрий снял с себя княжеское платье, облек в него любимого боярина Михаила Бренка, а сам, как простой воин, стал в ряды бойцов. Татары приняли Бренка за великого князя и убили его. Поэтический рассказ этот лег в основание родословия Челищевых, как его прямых потомков. Надо заметить, что по уничтожении местничества, когда стали составляться родословные книги, служилые люди обязаны были давать сведения о своем происхождении. Так как многое было утеряно или забыто, то на помощь тут как раз пришла генеалогическая поэзия.

С. Шамбинаго.

Москва.
1926. XII. 12.

Хронограф и «Повесть о Казанском царстве».

Для создания стилей русского исторического повествования важное значение имели в средние века исторические сборники, состоявшие преимущественно из переводных произведений. Так как эти исторические сборники в разные эпохи имели разное распространение, то на основании степени их популярности можно установить смену стилей в русском собственно повествовании. Чем старше средневековье, тем труднее определить источник указанного зарубежного влияния. Так, исчерпывающее определение зарубежных источников «Повести временных лет» пока невозможно, вероятно, по незнанию некоторых произведений, на нее влиявших. Мы убеждены только в том, что влияние на «Повесть вр. л.» компилятивного Хронографа с Малалой произошло не в XII, а в XIII веке и принадлежит руке Галицкого летописца. Влияние того же компилятивного Хронографа в сильнейшей степени сказалось на Галицкой летописи до 70-х годов XIII века — и в лексике, и в сюжетах, и в мотивах. Относительно «Слова о полку Игореве» позволяем себе высказать предположение, что и на эту повесть влиял подобный компилятивный Хронограф, а также переводный исторический труд, нам не известный, но предваривший тот византийский фигурный стиль, который наблюдается в хронике Манассии. На «Повести о Мамаевом побоище» также влияли компилятивные Хронографы: в рассказе о битве на Воже видны следы Троянской истории Гвидо де-Колумна; в «Летописной» же повести — Еллинского Летописца, в частности жития Стефана Лазаревича (1431 г.). В Повести о взятии Царьграда 1453 г. видим влияние Троянской притчи и Троянской истории Гвидо де-Колумна. История Гвидо создала весь стиль повести о смутном времени Катырева-Ростовского.

Вообще, с XV в. сильнейшее воздействие на стиль русского исторического повествования оказал компилятивный Хронограф, составление которого А. А. Шахматов приписывает Пахомию Логофету и относит к 1442 году. В основу этого труда был

положен Еллинский летописец 2-й редакции (содержавший и Александрию, которая здесь дополнена по сербской), Паралипоменон Зонары, жития Стефана Лазаревича и Стефана Дечанского, Илариона Мегленского и Саввы Сербского, летопись Манассии с Троянской причей и др. (между прочим — ю.-сл. предание о смерти Батыя от венгерского короля Владислава). При изложении же русских событий этот Хронограф пользовался, по Шахматову, главным образом, митрополичьим летописным сводом первой четверти XV в. («Владимирским Полихроном»). Хронограф Пахомия в России перерабатывался и дополнялся — раза два в XV в. и более пяти раз в XVI. Старейший его вид из дошедших сохранился в редакции 1512 г.

Очень большое влияние этот Хронограф (отдельно или в русском летописном своде) оказал на «Повесть о Казанском Царстве», текст которой мы будем сопоставлять условно с редакцией 1512 г. (при сличении цитируем Хронограф и Повесть по изданию Археографической Комиссии). Что влиял именно Хронограф, видно прежде всего из параллелей заключенного в нем плача о падении Царьграда.

Каз. О солнце, како не померкне, сіати не преста! О како луна въ кровь не преложися (48).

Каз. и позоба я, яко вепрь диві сладко виноградъ (94).

Каз. И тогда великая наша руская земля свободися отъ ярма... ей же премилостивый Христе, даждь рости яко младенца и величатися и разширитися, и всюде пребывати въ мужесовершеніе и до славнаго твоего пришествия и до скончанія вѣка (8).

Хр. О како стерпѣ земля таковая! Како солнце сіати не преста! Како луна не приложися въ кровъ (438).

Хр. яко-же виноградъ видимъ есть, его-же озоба вепрь дивій, из луга пришедъ (438).

Хр. наша же росиская земля божіею милостію... растеть и младѣетъ и возвышается, ей-же, Христе милостивый, даждь расти, младѣти и разширятися и до скончанія вѣка (439—440; заимствовано из ю.-сл. перевода Манассии).

На Хронограф же указывают: упоминание Казанской повестью убиения Батыя от Владислава у стольного города «Бундина» (*Каз.* 10, *Хр.* 400—401); название самоедов «песьими главами» (*Каз.* 12, 210 — из Александрии Хронографа); «и Волга явися поганым златострoины Тигр» (*Каз.* 35, 249), ср. в Хронографе — «Нил златоструйный» (*Хр.* 309) и «сребреструйный» (*Хр.* 372). А вот, еще редкий образ, находящий себе параллель только в Повести о попленении Тройском, включенной в Хронограф:

Каз. И плакахуся матери сыновъ своихъ, и власы простерши, и перси своя открывающи, и нагія сосца показующи, и вопія: о милая наша чада, помяните

Хр. И мати его Екама царица молящи не изыти и спастися, плачющи и ятра отверзающи единою рукою, другою же сосца изношаше и глаголаше:

болѣзни наша, еже родяще васъ подъяхомъ, и пища млачныя устыдитеся, и пощадите старость нашу и свою юность предобрую, помилуйте, престаните отъ брани сія (144).

о чадо, сихъ усрамися и мене самую помилуй, аще когда ти сосца сіа приdахъ, забыти творящи дѣтьскыхъ скорбей, помяни убо воспитание оно и даруй мі, еже пощадѣти ся самому (222).

Перейдем к боевым картинам. Наиболее обширная из них (блеск оружия) составлена Казанской повестью на основании двух мест Хронографа, причем заимствование, будучи недословным, обличается, главным образом, подробностями текста (зоряхуса, исполины, Антиох):

Каз. вси жи вои избранни оружницы и копѣиники, и вси на Казань *дыхающе* дерзостію *браніи*; и гнѣвомъ, аки *огнемъ*, облещахуся оболченная оружія на храбрыхъ оружницехъ, яко пламень и, реку, аки солнце, зраки человѣкомъ изо очію изымающи, аки звѣзды на главахъ свѣтяхуся златыя шлемы и щиты и копья въ рукахъ *зряхуся*. И сущію во граде Казанцы возмущахуся отъ страха. И како хто не убоится сицевыхъ полковъ. Хотя бы храбри были Казанцы или древнія они *испомины*, но ти бы всѣ почюдилися. Или мало усомнися толику собранію человѣческому. И не хуждьше *Антіоха* явленного, егда пріиде Іерусалимъ плѣнити... (118).

Хр. и полкы собравъ, яко морьскый песокъ, мужа храбры, оруженосны и силны и мужа ратны, *огнъ во бранехъ дыхающе*, и ополчается у Хрисополи... И всю землю облистоваху копіа, и сіаху шлемове, и щитове *зоряхуся*, и воздухъ облистоваше сулицами, бяху убо тамъ златощитъници и тулоносъци и доброконници и желѣзноносци; убоялися убо быша и *испомини* таковаго полка (356).

С таковою убо силою *Антиохъ* пріиде на Иерусалимъ. Восіавшу солнцу на златыа щиты и оружия, блистахуся горы отъ нихъ и яко свѣтилници горяще сиаху... (217).

Образ окровавления, обилие крови и трупов обнаруживает заимствование из Хронографа и типом и лексикой:

Каз. и поядоша ихъ всѣхъ мечемъ толикое множество, аки класъ, юношъ младыхъ и срѣдовѣчны мужи. И покрыся лице земли трупьемъ человѣческимъ, поле Арское и Царевъ лугъ кровью черленившеся (27).

Хр. И пожатъ, увыи мнѣ, мечь толикое множество и покры лице земное трупіемъ и поля кровію очервлена (301).

Каз. Нѣкіи же юноша воинъ, княжеи отрокъ, оружіе наго держа въ рукахъ своихъ кровію варварскою краснѣющуся (163).

Хр. оружіа Макидонскаа очервишася (189). Кровъми же покапана десница его бысть и омазанъ мечь (379).

Перейдем к наблюдению сходства в образах зверей и птиц.

Иоанн Васильевич, названный подобно императорам Цимисхию и Никифору (*Хр.* 360) «храбросердым» и «крепкоруким», сравнивается с «пардусом»:

Каз. И бысть велми мудръ, и храбръ сердъ, и силенъ тѣломъ, и легокъ ногами, аки пардус (43). И аки пардусъ ярости наполнився бранныя (153).

Хр. И оттуле море прескочи, аки пардосъ (191). О семъ разъярися хаганъ, яко пардосъ (301).

Каз. и воздвиже пламень ярости своея изъ глубокого сердца своего, яко левъ рыканіе страшно испусти (147).

Хр. Услышавъ сіа воевода и воздвиже ярости пламень и отъ сего спяй и въ горахъ крыяся левъ отверзе око и рыканіе испусти (360).

Подобно Хронографу упоминаются в Каз. повести «лютая львица» с «младым лвищем» (царица Казанская с сыном 69, 75, *Хр.* 336, 362), дети хищных зверей называются схоже (*Каз.* «волчіе щеня» 29, «прелютый звѣрь — щенца своя» 70; *Хр.* «щеньцы» у льва и львицы 336, 358, 362):

Каз. нѣ кіиждо бо тако прелютыи звѣрь убиваетъ щенца своя, ни лукавая змія пожираетъ исчади своихъ (70).

Хр. И зрящи его царица на все носима по воли своей, на него-же подвижеся в себѣ звѣровиднѣ, его-же ни тигропардусъ... ни змій суровоядець не бы совѣщалъ на исчадіа своя... Ни пардусъ гнѣвается на щенца своя сице, ниже тако даваеть на пучата своа тигр, ни зубатый бѣсный песъ (323—324).

Каз. аки два лва кровопіица изъ дубровы искочиста (110).

Хр. наскочи на Михаила съ великимъ стремленіемъ, яко вепрь из луга и дубравы многодревны, или щенець, питаемъ въ горахъ лвица лютыа и кровоядныа (336).

Каз. они же, въскочше, ту скоро разсекоша мечи, аки сыроядцы звѣри аки овча или козла разторгуютъ (52).

Хр. Якоже нѣкій левъ приложився страшливу скоту, провалитъ ребра его ногтми и омочитъ утробою и покажетъ очервленѣ кровми устѣ свои (379). полки сосѣцающа... якоже нѣкій левъ впадъ въ волове великоребрыа, налагаа и растерзаа и уязвляа нужно (363).

Каз. и воставше убиша безъ вины прекраснаго юнънаго царя Геналія Шигалѣяровича, въ полате спяща, яко

Хр. Царь же, яко звѣрь худъ, бы окруженъ и сюду оглядовашеся и овуду смотряше, і единаго видяше себе в сѣ-

юнъца при яслехъ, яко звѣря въ тѣняте готово изымання (41).

техъ неизбѣжныхъ и злыхъ... Изскочи убо Романъ, яко звѣрь ис тенеть и яко орелъ отъ сѣти (379). и заклаша его яко вола безгласна при аслехъ (314).

Каз. урвася яко звѣрь отъ тенята, яко птица отъ круша на воздухъ полѣте, второе избы Казанцевъ (54).

Хр. плѣненъ же бысть и Василіе болгарьскыма дланьма, яко-же птищь доброперъ лютою мрежею ловитвеною. Онъ злыхъ же избѣгъ сѣтей болгарьскыхъ излетѣвъ, предста абіе греческимъ предѣломъ (343).

Каз. И ятъ царицу со царевичемъ, яко смиренну птицу нѣкую во гнезде со единымъ малымъ птенцемъ, въ полатахъ ея, въ превысокихъ свѣтлицахъ, не трепещущи же еи ни бьющися (76). и ятъ бываетъ, аки медведь, не крѣпко плетенными мрежами звѣриными (51). и поползше къ острогу на чреве своемъ, зміево подобно (38).

Хр. Сей видѣвъ именіа силу греческую женою обладаему, паче юною и неистовящеюся, и дѣтемъ же сущемъ младымъ и маломощнымъ, на нихъ-же онъ яко змій посвистав, яко на птица бесперыа, ихъ-же поглотити хваляся усты костоснѣдными самую птищемъ матери и со птенци, не вѣдяше же яко малыми соплетеніи уловляють по аеру летящаа и тенеты лноплетеными медвѣдя уловляютъ (377). яко змій великій поползѣвъ, страшно зіающь, и свиста поглотити церковь, яко птенца гнѣздъныя, птица малоперыа (332). И сего ради поползоша зміеве зіающіи, сирѣчь востаніе противныхъ, и весь греческый предѣлъ присмерцаху, яко птенца млады, сирѣчь попленоваху (380).

Приведу еще два-три несомненных заимствований из Хронографа:

Каз. Ино вездѣ превзыде Виѳлеомъстіи плачь: тамо бо младенца закаляхуся, отцы же и матери ихъ и зъ болѣзнію душа оставахуся; здѣ же состарѣвшися мужи, и жены и юноша младыя и красныя отроковица и младенца вкупе убивахуся (229).

Хр. Превосхожате бо Виѳлиемъскаа стенаніа: тамо бо младенци токмо убійственными закалахуся дланми, здѣже престарѣвшіися и сѣди и цвѣтущіи юноша и жены чистообразны и отроковица и младенци вкупѣ раздробляхуся (313).

Каз. Похвалю же мало словомъ храброго воеводу, всеми любимого князя Семіона. Таковъ бѣ обычаемъ и умомъ: веселъ всегда, и свѣтелъ и радостенъ очима, и тихъ и кротокъ, и силенъ

Хр. Таковъ бѣ Цимисхій... во отрадъная же и мирнаа времена ко всѣмъ кротокъ, сладокъ, веселъ, окорадостенъ, отъ зрѣніа очесъ источаа веселіе и образы кротости (363).

въ мужествѣ, и славенъ, въ бедахъ и въ скорбехъ терпеливъ и наученъ копьемъ метати, укрыватися отъ стрелянія, мечемъ сечь и на обѣ руки стреляти въ примѣты, не грѣшити (57).

[Аталыкъ] стреляше далѣ версты въ примѣту, и убиваше птицу, или звѣря, или человѣка (39).

[ц. Никифоръ] бѣ же воиниченъ, благодерзновенъ, крѣпкорукъ, труды неумягченъ, камень твердъ въ болѣзнехъ (360).

Бѣ же добръ Цимисхіе, доброзраченъ, доброкосъ, терпеливъ, храбросердъ, благоуменъ, ратникъ, непобѣдимъ, совѣтникъ великодушенъ, не храня вражды, ниже злобѣ гнездо сердце свое содѣваа. Подобаетъ же малыми великая того обьявити... Таков же бѣ Цимисхіе великъ в мужествѣ, копіемъ потрясати и лукъ тяглити и верзати стрѣлы на намѣреніе (360).

В Казанскую повесть (56, 161) заимствован из Хронографа (378—379) образ ястреба борзого; также — дыхание гневом (*Каз.* 7, *Хр.* 365), «испиваетъ чашу божия отомщения (*Каз.* 7, *Хр.* 308), возвращение в оружиях (*Каз.* 39, *Хр.* 222), знамение с искрами (*Каз.* 124, *Хр.* 435), образ коварной жены (Махметеминя — *Каз.* 22—23, 29, 89, импер. Зои — *Хр.* 370, 371, 379), неостижение старости (*Каз.* 264, *Хр.* 300), пожинание колосьев (*Каз.* 27, *Хр.* 198, 300), песок, поднявшийся высоко (*Каз.* 115, *Хр.* 197), змеиный свист (*Каз.* 18, *Хр.* 186, 332), мед и млеко (*Каз.* 13, *Хр.* 308), невмещение около града (*Каз.* 100, *Хр.* 435).

Общая с Хронографом лексика, напр.: щенец, крепкорук, храбросерд, свирепосердые, крепкооружные (*Каз.* 61, 147, *Хр.* 296, 297, 324, 343, 365, 372, 378 и т. д.), обтече (*Каз.* 247, *Хр.* 150, 343, 360, 365, 378) и др. выражения, главным образом, свойственные хронике Манассии.

А. Орлов.

Москва.
1926. XII. 14.

К вопросу о первых русских переводах поэм Оссиана — Макферсона.

Говоря о появлении в нашей литературе оссиановской поэзии, исследователи обычно отвечают, что русские переводы Оссиана стали появляться у нас с 1788 г., т. е. со времени выхода в свет небольшой книжки в 8-ю д. л. под заглавием «Поэмы древних бардов. Перевод А. Д.... В Санкпетербурге, с дозволения Указа. 1788», 64 стр. Так сделал Я. К. Грот, коснувшись в примечаниях к академическому изданию сочинений Державина вопроса об оссиановских мотивах в его творчестве;[1] такого же рода указание находим и в статье Н. К. Пиксанова[2] и в «Этюдах о влиянии оссиановской поэзии в русской литературе» Д. Н. Введенского.[3]

Между тем этот terminus a quo появления русских переводов Оссиана не точен и должен быть отодвинут на несколько лет назад, именно к 1781 году, когда на страницах русской печати стало известно имя Оссиана и изданы были отрывки из наиболее популярных его поэм. Мы имеем здесь в виду появившийся в русском переводе роман Гете под заглавием «Страсти молодого Вертера, перевод с немецкого. В Санктпетербурге 1781 г.» (ч. I — II, 249 стр.). Перевод, как указывает В. С. Сопиков, сделан был Ф. Галченковым,[4] который на стр. 174—175 своего перевода поместил отзыв Вертера об Оссиане, а несколько дальше, на стр. 222—226, привел отрывки из «Сельмских песен» и «Берратона», которые в романе Вертер читает Лотте, как свой перевод из Оссиана. Таким образом, через роман Гете, переведенный Ф. Галченковым, появились у нас в литературе сведения об Оссиане и отрывки из его поэм.

Оссиановская поэзия в лице Гете имела продолжительного и восторженного поклонника. Увлек его к оссиановскому культу Гердер, под влиянием которого Гете

---

1 Соч. Державина, т. I, СПб. 1864, стр. 344, 462, т. VIII, СПб. 1880, стр. 755—756.

2 Соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. I, СПб. 1907, стр. 108.

3 Нежин, 1916, стр. 6—7.

4 «Опыт росс. библиографии». Изд. под ред. В. Н. Рогожина, ч. IV, СПб. 1905, стр. 329.

в молодости зачитывался поэмами Оссиана и переводил их.[1] Следы оссиановской меланхолии отмечают и в лирике Гете.[2] Мысли об Оссиане занимают Гете и во время его путешествия в Италию в 1786—87 гг., когда он любовался зелеными водами Рейнского водопада и, наблюдая покрытые туманом горные вершины и замок Лауфен, чувствовал в этой обстановке, «при сильных внутренних ощущениях, пристрастие к туману», как об этом и говорит в позднейших путевых заметках.[3] Но особенно ярко следы увлечения Оссианом сказываются в «Страданиях молодого Вертера» (1774 г.), в этом субъективнейшем произведении Гете, которое, по позднейшему отзыву поэта (1824 г.), «он питал, подобно пеликану, кровью собственного сердца», выразив там «столько внутреннего, глубокого из (его) собственной груди».[4]

Познакомившись с этим в высшей степени интересным в биографическом отношении произведением Гете, русские читатели не могли оставить без внимания те страницы перевода Галченкова, где цитировались «Сельмские песни» и «Берратон» тем более, что им предшествовал в романе восторженный отзыв о самом Оссиане и его поэзии. Вдохновенным и скорбным представляется Вертеру-Гете старец Оссиан, этот маститый воин-певец, в душе которого так живо воскресает минувшее. «Оссиан занимает в моем сердце место Омира», восклицает Вертер в письме от 12 октября: «Что за свет, в коем сей славный муж меня водит. Я скитаюсь по степям обуреваем вихрем и окружен туманом, изъявляющим тени наших предков при слабом сиянии луны; слышу с высоты гор среди ревущих ключей жалостный стон духов, исходящий из мрачных пещер, и горестный вопль юной девицы, терзающейся смертельно у камня, обросшого уже мхом, на могиле возлюбленного ее воина. Встречаюсь иногда с сим почтенным сединою стариком, который странствует по полям и ищет следов своих предшественников, но увы! он находит только их гробы. Тогда возрыдав горько, взирает он на ночное светило, погружающееся в волнах свирепствующего моря, и времена прошедшие живо начертаваются в душе сего героя...» (стр. 174). Одинокая печаль Оссиана и горестная тоска его, вызванная предчувствием, что с его смертью исчезнет в потомстве память о нем и о прежних героях и их делах, вызывают живой отклик в душе Вертера: он готов прекратить страдания медленно угасающего барда и, пронзив затем свою грудь кинжалом, «последовать за сим полубогом». Приведенные за сим отрывки из «Сельмских песен» и «Берратона» давали возможность русским читателям непосредственно познакомиться с оссиановской поэзией в том виде, как она представлена была по роману Гете в переводе Гал-

1 M. Sryjkowski. Ossyan w Polsce. W Krakowie. 1912, str. 6.

2 А. Бизе. Историческое развитие чувства природы. Пер. Горбачевского, СПб. 1880, стр. 311.

3 Ibid., стр. 337.

4 Н. В. Гербель. Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей, т. I, СПб. 892, стр. 160.

ченкова. Роман Гете с местами, относящимися к Оссиану, был у нас достаточно популярен, на что указывают последующие издания этого произведения.[1]

Относя появление русских переводов Оссиана к 1781 г., а не к 1788 г., как это до сих пор делали на основании сборника «Поэмы древних бардов», мы вместе с тем расширяем хронологические рамки русского оссианизма, что имеет уже существенное значение при изучении этого течения. Как видим, с начала 80-х годов XVIII в. оссиановская поэзия, хотя и не самостоятельно, а через роман Гете, проникает в нашу литературу, и любознательные русские читатели должны были обратить внимание на необычайные для них оссиановские сюжеты и вообще на эту, полную тоски поэзию, которая тогда широко была распространена на Западе, вызвала там оживленную полемику и имела многих поклонников (в Англии — Блэр, Томсон, Грей, Вальтер-Скотт, позже Байрон и поэты «озерной школы»; во Франции — Летурнер, Шатобриан, м. Сталь, Парни, Виньи, Мюссе, Наполеон и др.; в Германии — Гердер, Клопшток, Гарольд, Гете, Денис, Гарстенберг, Матиссон, Фосс, Ленц, Крамер и мн. др.; в Италии — Чезаротти).

Знакомство с оссиановской поэзией через перевод Галченкова не устраняло, конечно, возможности читать Оссиана и непосредственно в западных переводах и в английских текстах, опубликованных в начале 60-х годов XVIII в. Макферсоном. Таким путем знакомились с Оссианом Карамзин, его друг Петров, братья А. И. и И. И. Дмитриевы, проживавший тогда в Москве немецкий поэт-романтик Я. Ленц, Е. Костров и мн. др., которые затем в переводах и подражаниях не замедлили проявить свой интерес к оссиановской поэзии. Это непосредственное проникновение к нам Оссиана необходимо, конечно, иметь в виду, но мы пока не располагаем точными фактическими данными для его определения. Предположительно мы можем сказать, напр., что, находясь в Москве в середине 80-х годов XVIII в. Карамзин увлекался Оссианом и в 1787 г. указывал в стих. «Поэзия», что его песни

«Нежнейшую тоску вливая в томный дух,
Настраивают нас к печальным представленьям;
Не скорбь сия мила и сладостна душе.
Велик ты, Оссиан, велик, не подражаем».[2]

---

[1] 2-е изд. перевода Галченкова без изменения вышло в 1794 г. (СПб. при Имп. Акад. Наук). Второй перевод (Ив. Виноградова) издан был под заглавием «Страсти молодого Вертера. Сочинение Гете, с присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время знакомства ея с Вертером. Вновь переведен. В СПб., печатано в типографии Ф. Мейера, 1796 г. Иждивением Т. Полежаева и Зотова». С тем же заглавием этот перевод напечатан был вторично в 1816 г. (Москва, в унив. тип.). 3-й перевод (Н. М. Рожалина) появился в печати под заглавием «Страдания Вертера. С немецкого Р.». Москва, ч. I — 1828 г., ч. II — 1829 г.

[2] Соч. Карамзина, т. I. Изд. Акад. Наук. Петроград, 1917, стр. 10. Стих. «Поэзия» написано Карамзиным в 1787 г. и впервые напечатано в Моск. Журнале 1792 г., ч. VII, стр. 260 и сл.

но точных сведений, что читал в это время Карамзин из Оссиана и какие произведения последнего побудили его отозваться так об оссиановской поэзии, мы не имеем.

Не располагая определенными сведениями о непосредственном проникновении к нам с Запада оссиановских поэм, мы должны поэтому считаться с фактическими данными, с сведениями об Оссиане и его поэзии в переводе Галченкова и принимать их во внимание при изучении начального периода русского оссианизма.

Что касается сборника «Поэмы древних бардов» (СПб. 1788), переводчик его, скрывший свое имя под инициалами А. Д., был Александр Ив. Дмитриев, брат поэта Ив. Ив. Дмитриева.[1] До сих пор не было выяснено, что̀ послужило источником для перевода А. И. Дмитриева. Грот по поводу этого сборника отметил лишь, что «не все содержание этой книжки можно найти в собрании песен, приписанных Макферсоном Оссиану».[2] Между тем, в иностранном отделении Ленинградской Гос. Публ. Библиотеки нам удалось отыскать французский источник «Поэм древних бардов». Французский текст находится во второй части сборника «Choix de contes et de poësies erses, traduits de l'anglois. A Amsterdam. 1772» (Гос. Публ. Библ. Зн. 6. LVIII. 4. 22) и заключает в себе следующие произведения, послужившие источником для А. И. Дмитриева: «Description D'une Nuit du mois d'Octobre dans le Norde de l'Ecosse» (p. 5—14), «Ossian» (p. 24—29), «L'Amour et l'Amitié» (p. 60—63), «Les malheurs D'Armin» (p. 30—41), «Lamor et Hidallan» (p. 41—46), «Minvane» (p. 47—49), «Apparition d'un Fantome» (p. 63—64), «Malvine Déplorant la mort d'Oscar son amant» (p. 65—67), «Oina» (p. 67—71).

Оставив без перевода находящиеся еще в амстердамском издании поэмы «Lathmon», «Minona», «Calton et Colmar» и «Oithona», А. И. Дмитриев поместил в свой сборник отмеченные выше произведения, причем напечатал перевод их в последовательности французского текста, сохранив в переводе соответствующие названия поэм: «Описание октябрьской ночи в Шотландии» (с. 3—16), «Оссиан» (с. 16—23), «Любовь и Дружба» (с. 27—38), «Ламор и Гидаллан» (с. 39—46), «Минавана» (с. 46—49), «Явление привидения» (с. 53—54), «Мальвина Оплакивающая смерть Оскара, своего любовника» (с. 55—57), «Оина» (с. 57—64). Перевод дан в прозе и очень близок к своему источнику. Ср.:

«Choix de contes...» A Amsterdam, 1772.	«Поэмы древних бардов», СПб. 1788.
«Ossian»:	«Оссиян»:
«J'étois jeune: j'aimois mon père, j'amois les dangers et la gloire. Je vole	«Я был некогда млад; я любил отца моего, любил опасности и славу. Я лечу

[1] В. С. Сопиков. «Опыт». Изд. под ред. Рогожина, ч. IV, СПб. 1905, стр. 127, № 8775. Геннади. Словарь, т. I, стр. 308.

[2] Соч. Державина, акад. изд., т. I, СПб. 1864, стр. 462.

au secours de Crothar, l'ami de mon père, le compagnon de sa jeunesse dans les combats...» (p. 24).

«Minvane»:

«La jeune Minvane, montée sur le sommet d'un rocher, plongeoit ses regards sur l'étendue de mers. La pudeur et la tristesse se mêloient sur son visage. Elle apperçoit de jeunes guerriers revenants couverts de leurs armes. O mon amant, ô Ryno, reviens-tu avec eux? Elle lut dans nos tristes regards que son amant n'étoit plus...» (p. 47).

«L'Amour et l'Amitié»:

«Toscar et Dermid n'avoient qu'un méme coeur. Ils moissonnoient ensemble les lauriers de la victoire dans les champs de bataille. Leur amitié étoit forte come l'acier de leur armure. Ils combattoient toujours à côté l'un de l'autre. La mort marchoit entr'eux deux. L'amour, même ne put les désunir...» (p. 60).

на помощь Кротару, другу моего родителя, и во время юности его бывшу клевретом ему в сражениях...» (с. 16).

«Минавана»:

«Юная Минавана взошед на верх горы, низводила взоры свои на пространное море. Застенчивость и печаль по чреде являлись на лице ея. Она зрит юных ратников, возвращающихся покрытых блестящими доспехами. О мой любезный, о Рино, возвратился ли ты с ними? Печальные наши взоры открыли ей, что ея любезного уже нет более...» (с. 46).

«Любовь и Дружба»:

«Тоскар и Дермид имели единое сердце, они вместе пожинали лавры побед на полях битвы. Дружба их была тверда, яко сталь их доспехов, они сражались всегда один возле другова. Смерть им предшествовала. Сама любовь не могла разорвать их союза...» (с. 27).

Приведенные цитаты не оставляют сомнения в том, что французский текст сборника «Choix de contes» был именно тем источником, каким пользовался А. И. Дмитриев для своего перевода. По вопросу же о том, к какому английскому тексту восходят оссиановские поэмы сборника «Choix de contes», мы воздерживаемся высказывать какие-либо суждения, не имея сейчас под руками текстов, изданных Макферсоном, Д. Смитом и др.

В. Маслов.

Прилуки.
1927. XII. 14.

Ярослав «Осмомысл».

В недавнее время[1] П. В. Булычев сделал попытку дать новое объяснение известному эпитету «Осмомысл», приложенному автором «Слова о полку Игореве» к Галицкому князю Ярославу. Отвергая общепринятое понимание этого слова в смысле обозначения человека, которого ум как бы равнялся умам восьми обыкновенных людей или у которого было как бы восемь мыслей и восемь забот зараз, П. В. Булычев обратил внимание на существование в древне-русской аскетической литературе «Слова о осьми мыслѣхъ», т. е. о восьми греховных помыслах (мниха Евагрия, Ефрема Сирина, Нила и Григория Синайских и др.) и полагал, что автор «Слова о полку Игореве», человек для своего времени начитанный и образованный, был знаком с этими поучениями и на основании их придумал эпитет «Осмомысл» для обозначения «человека, одержимого восемью греховными помыслами, т. е. грешника или, разговорным термином, греховодника». Ярослав Галицкий, запятнавший себя безнравственными поступками в семейной жизни, — прелюбодеянием и ненавистью к жене и сыну, — являлся будто бы в глазах автора «Слова о полку Игореве» грешником не только в данном отношении, но и вообще, так как «Слово о осми мыслѣхъ», «как бы предполагает, что в человеке все эти греховные помыслы действуют вместе, и каждый из них влечет за собою все остальные»; поэтому, «если человек грешит в одном, то не может не быть грешным и в другом; это результат действия в нем всех греховных помыслов, а их восемь, значит он — осмомысл». При таком понимании эпитета «Осмомысл» обращение «Слова о полку Игореве» к князю Ярославу принимает характер укоризненный, иронический: князь «прежде всего осмомысл, человек, угождающий своим похотям; ум его затемнен грехами, и свое могущество он направляет не туда, куда нужно, не на защиту Русской земли, а на приобретение и расширение своей славы в чужих землях».

Шаткость оснований, на которых построена гипотеза П. В. Булычева, уже достаточно выяснена акад. В. Н. Перетцем:[2] начитанность автора «Слова о полку

1 Русский Исторический Журнал, 1922, кн. 8, стр. 1—7.

2 См. его статью «К изучению «Слова о полку Игореве». Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. XXVIII, стр. 178—179.

Игореве» в духовно-учительной литературе, а равно и то, что со своим творением он обращался будто бы к людям, «проникнутым христианско-аскетическими взглядами», являются весьма сомнительными, главное же — нет никаких доказательств существования в древне-русской письменности XII века переводов статей Нила Синайского, Евагрия и др. о осьми помыслах. Что касается иронического или укоризненного смысла обращения «Слова о полку Игореве» к князю Ярославу, то он не только не чувствуется, а наоборот, в «Слове» заключается восторженное восхваление мудрости и могущества Галицкого князя и почтительный («стреляй, *господине*, Кончака») призыв к нему об отмщении половцам «за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославича». Если бы автор «Слова» действительно хотел показать, что отемненный грехами Ярослав свое могущество направляет «не на защиту Русской земли, а на приобретение и расширение своей славы в чужих землях», то, конечно, он не сказал бы, что Ярослав подпер горы Угорские своими железными полками, заступил путь королю и затворил ворота Дунаю, ибо эти действия Ярослава и были как раз защитою Русской земли, только от нападений с запада, а не с востока.

Нужно еще заметить, что, если бы даже и возможно было доказать не только существование в древне-русской литературе XII века аскетических поучений о осьми злых помыслах, но и хорошее знакомство с ними автора «Слова о полку Игореве» и его читателей, то и тогда нельзя было бы утверждать, будто в этих поучениях проводится мысль, что все злые помыслы действуют в человеке вместе и каждый из них «влечет за собою все остальные», вследствие чего человек «невоздержный в каком-нибудь одном отношении оказывается во власти всех восьми помыслов»: ни в поучении Евагрия, на котором по преимуществу основывается П. В. Булычев, ни в одном из других подобных поучений не находится этой мысли, неправильной по существу, а содержатся обыкновенно увещания к удалению от злых страстей и способы борьбы с ними посредством противоположных им добродетелей: «ума убо плавающа уставитъ чтеніе и бдѣніе и молитва, мысль же разжженну усушаетъ гладъ и трудъ и ошествіе, ярость утишитъ говѣніе и долготерпѣніе и милость... гнѣвъ убо и ненависть умножаетъ ярость, милостыня же и кротость вся грѣхи наша потребитъ... на бѣсы брань твори и противу всякой сласти подвизайся» и т. д. (Слово Евагрия, см. в Прологе, 15 февр.). Справедливо, что злые помыслы так или иначе находятся во взаимном сродстве[1] и что одна злая страсть может повлечь за собою

[1] В этом смысле у Нила Синайского говорится, например: «начало языкомъ Амаликъ и начало страстемъ чревобѣсіе... воздержаніе раждаетъ цѣломудріе, чревобѣсіе же мати блуда... сребролюбіе всѣмъ корень есть злымъ» и т. под. См. слово его «О осьми дусѣхъ лукавствія» в переводе Паисия Величковского в рукописи посл. четв. XVIII в. Рукоп. Отд. Библ. Ак. Наук, шифра 13.3.8, лл. 74—89; при этом нужно помнить, что в древне-русской письменности полный перевод этого слова неизвестен, а известное с именем св. Нила слово

другую, та — третью и т. д., до восьмой включительно, но что одна страсть непременно должна рождать и все остальные и что это всегда бывает в действительности, такой мысли в данных поучениях нет да и не может быть. Поэтому и автор «Слова о полку Игореве», если бы даже он и осуждал кн. Ярослава за грех блуда и ненавидения, не мог бы, как человек по своему времени образованный и во всяком случае незаурядный, рассуждать так упрощенно-аскетически: «если человек грешит в одном, то не может не быть грешным и в другом; это результат действия в нем всех греховных помыслов, а их восемь, значит он — осмомысл». Если бы у автора «Слова о полку Игореве» такое рассуждение действительно существовало, то он должен бы был понимать, что не только Ярослав, но и всякий другой князь и даже всякий другой человек, не исключая и самого его, автора «Слова», грешит в чем-нибудь одном, а, следовательно, «не может не быть грешным и в другом» и, значит, он тоже «осмомысл». В таком случае эпитет «осмомысл», приложенный к кн. Ярославу и только к нему одному, был бы опять непонятен, и применение его требовало бы нового объяснения.

По нашему мнению, за объяснением слова «осмомысл» не нужно ходить так далеко: значение и смысл его открываются из самого текста «Слова о полку Игореве». Обращаясь к могущественному («высоко сѣдиши на своемъ златокованномъ столѣ») Галицкому князю, «Слово» указывает на те главные пути, по которым направлялась его государственная деятельность, и, следовательно, на те главные заботы, которыми занята была голова его, на те мысли, которые составляли главное содержание его правящего ума и в осуществлении которых выразились его могущество и сила. Таких направлений деятельности Ярослава, главных забот и дум его, как правителя, было *именно восемь:*

1. «Подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки»:

Естественную защиту княжества с запада в виде Карпатских гор подкрепил мужественным, хорошо вооруженным войском.

2. «Заступивъ королеви путь»:

Загородил Венгерскому королю путь для распространения его власти на счет Русской земли.

3. «Затворивъ Дунаю ворота»:

Владея землями от Карпатских гор до устья Серета и Прута, держишь в своих руках как бы ключи к плаванию по Дунаю.

«О осми помыслѣхъ» (см. Пролог, 14 июля) этих мыслей не содержит, а состоит из одних указаний, чем та или другая страсть побеждается: «аще хощеши побѣдити чревобѣсіе, возлюби воздержаніе... аще хощеши побѣдити блудъ, возлюби алчбу и жажду» и т. д.; см. В. Н. Перетц, Исследование и материалы по истории старинной украинской литературы. 1926, стр. 86—91.

4. «Меча бремены чрез облаки»:

Снабдил свои войска хорошими осадными орудиями и мечешь из них тяжелые камни чуть не чрез облака.[1]

5. «Суды рядя до Дуная»:

Устанавливаешь свои порядки и законы, утверждаешь свою власть по обширному пространству земли своей, вплоть до Дуная.

6. «Грозы твоя по землямъ текутъ»:

Наполняешь окрестные земли страхом перед твоею силою и могуществом.

7. «Оттворяеши Кіеву врата»:

Держишь в своих руках дорогу в Киев и можешь впустить в него кого хочешь (или: обезопасил путь к Кіеву, сделал чрез свои земли дорогу к нему прямоезжею).

8. «Стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями»:

Не сходя с родительского золотого стола, т. е. не участвуя сам лично в походах своих дружин (ср. Ипат. лет.: «гдѣ бо бяшеть ему обида, самъ не ходяшеть полкы своими, но посылашеть я съ воеводами»), успешно воюешь даже с отдаленными врагами, не соседями.[2]

Перечислив таким образом 8 наиболее важных забот, которые занимали кн. Ярослава в его государственной деятельности, 8 сторон, в которых наиболее ярко и выпукло отражались его могущество и мудрость и за которые его можно назвать «Осмомыслом», «Слово о полку Игореве» от салтанов за землями делает естественный переход к такому же отдаленному как они врагу, только не настоящему салтану, а поганому кощею, рабу, Кончаку, и обращается с горячим призывом к Галицкому князю присоединить к восьми его заботам новую, которая впрочем тесно примыкает к последней заботе и даже входит в нее: «Ты, — как бы так говорит автор «Слова», — уже стреляешь салтанов за землями, значит, не будет тебе особенного труда стрелять и Кончака», а потому —

«Стрѣляй, господине, Кончака, поганаго кощея, за раны Игоревы, буего Святславича!».

Ф. Покровский.

Ленинград.
1926. XII. 14.

---

[1] О. Огоновський. Слово о плъку Игоревѣ, поетичний памятник руськоі письменности XII віку, у Львові, 1876, стр. 96. — Разуметь под бременами торговые товары (ср. в Несторовом житии Феодосия: «бѣша идоуще путьмь тѣмь коупьци на возѣхъ съ бремены тяжькы») и видеть здесь указание на заграничную торговлю Ярослава по путям через Карпатские горы препятствует общий смысл обращения, восхваляющего, главным образом, военное могущество Галицкого князя.

[2] Разуметь здесь вместе с кн. Вяземским и др. участие галичан в борьбе за Св. землю нет нужды, так как мысль автора «Слова» заключается в сопоставлении личного неучастия князя в походах с успешностию борьбы его с дальними врагами.

Из наблюдений над стилем М. Ю. Лермонтова.[1]

Архаизмы-славянизмы.

Среди явлений стиля, играющих в произведениях М. Ю. Лермонтова, главным образом, стихотворных, значительную роль, архаическим выражениям принадлежит видное место. Их положение в них определяется обстоятельствами троякого рода. Прежде всего, в количественном отношении они не уступают другим существенным принадлежностям стиля и своею многочисленностью обращают на себя внимание исследователя. Затем, по своей художественной природе как тематической, так и формальной, они также отличаются большим разнообразием. Наконец, вместе с другими явлениями стилистического порядка, они выполняют определенную художественную роль. Архаические выражения, наблюдаемые в стихотворном творчестве Лермонтова, группируются преимущественно вокруг одного тематического центра. Его составляют так наз. «высшие» переживания действующих лиц в их разнообразных проявлениях. Для художественного изображения их автор и пользуется часто архаизмами, обозначая ими те предметы и действия, в которых эти душевные порывы находят свое внешнее выражение. В пределах этой темы развертывается целый ряд более частных вопросов, которые также привлекают к себе целые рои архаических слов, связанных между собою определенными ассоциативными нитями.

---

1 Обширная литература о творчестве М. Ю. Лермонтова освещает и в известной мере разрешает разнообразные вопросы, которые касаются *объяснения* художественного творчества нашего писателя и относятся к тому, что составляет *историю* литературы. Между тем для нашей науки большое значение имеет и *описание* творений художника, приведение в известность отдельных художественных явлений — фонетических, стилистических, композиционных, — из которых составляется самое произведение; в этом случае имеется в виду построение *теории* художественного творчества изучаемого писателя, конструирование его *поэтики*. В этом направлении произведения М. Ю. Лермонтова, изучены недостаточно; его поэтика еще не составлена. Между тем для *объясняющего* изучения результаты *описательной* работы исследователя очень важны, ибо оно получает тогда совершенно *определенные фактические* данные в качестве объекта для своих научных устремлений. Настоящий очерк есть опыт *общего* описания одного из существенных явлений стиля в творчестве Лермонтова — архаических выражений в нем.

Среди высших порывов, которые движут героями, большое внимание художника привлекают мучения смерти, переживаемые ими. Так, в стихотворении «Морская царевна»[1] мы читаем:

Синие *очи* любовью горят,
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат...
Пена струями сбегала с *чела*,
Очи одела смертельная мгла...

Или в поэме «Преступник»:

Вдруг вижу: раздраженный жид
Младую женщину тащит.
Ее *ланиты* обгорели...
И *очи* полны, полны слез
На похитителя смотрели...
И *перси* кровью облились,
И недосказанные пени
С *уст* посинелых пронеслись.

В стихотворении «Умирающий гладиатор»:

Он видит круг семьи, оставленный для *брани*,
Отца, простершего немеющие *длани*...

Равным образом и страсть любви выражается часто в тех же архаических образах. Напр., в поэме «Сашка» имеются такие места:

......В теченье долгой ночи,
Бывало, безпокойно бродят *очи*,
И жжет подушка влажное *чело*...

Волнующихся *персей* нежный цвет
И алых *уст* горячее дыханье
Во мне рождали чудные желанья...

Там жгут *лобзанья*, и пронзают *очи*,
И *перси* дев черней роскошной ночи...

В поэме «Преступник»:

Ее пронзительных *лобзаний*
Огонь впивал я в грудь свою...

В поэме «Демон»:

Смертельный яд его *лобзанья*
Мгновенно в грудь ее проник...

---

[1] Ссылки всюду делаются на академическое издание сочинений М. Ю. Лермонтова.

Те же архаические образы, группирующиеся в той или иной вариации вокруг указанных тем, мы можем отметить и в других произведениях нашего поэта.[1]

Другие виды душевных переживаний высшего порядка, такие, как: ненависть и месть («Боярин Орша»), глубокая скорбь («Джюлио»), мужество («Моряк»), поэтическое вдохновение («Поэт») и т. д., в своем художестненном изображении также имеют значительное количество архаизмов.

По своей *грамматической* природе архаизмы, имеющиеся в творчестве Лермонтова, отличаются значительным разнообразием. На первом месте идут имена существительные типа: лик, ланиты, чело, уста, рамена, очи, перси, персты, длани, вежды, лобзанье и др. Архаизмы этого ряда — наиболее часты в произведениях Лермонтова. Значительное большинство их поэт употребляет для выражения, именно, тех частей и органов человеческого тела, которые являются физиологическими выразителями определенных психологических настроений. Художник всюду подчеркивает, именно, этот момент, ставя в то же время эти слова в роли носителей высших функций синтаксического порядка — подлежащего и дополнения. Примеры:

Но бледностью казалися покрыты
Его *чело* и хладные *ланиты*... («Сашка»).

И на *устах* его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала... (ib.).

В багровых пятнах *лик* и грудь... («Уланша»).[2]

К этой же группе архаизмов необходимо отнести значительное количество слов, которые принадлежат к той же грамматической категории, однако употребляются для других целей, чем это было с выражениями предыдущего ряда. Сюда относятся слова церковно-славянского происхождения: отчизна, прах, упованье, снедь, тризна, куща, трапеза, вериги, трикрат, тать, единый, оный, сей, зерцало, сень, твердь, ныне, храм и др., а также выражения со старо-славянской огласовкой: глад, врата, злато, ветр, младость, вран, град, власы, брег, глас и пр. Их синтаксическая и художественная роль иного свойства. Ими выражаются и главные и второстепенные части предложения. Их поэт употребляет, как можно видеть уже из самого характера их

1 Напр., «Кавказский пленник», «Корсар», «Ответ», «Наполеон», «Чума», «Весна», «Могила бойца», «Смерть» («Закат горит огнистой полосою»), «Последний сын вольности», «Гость» («Клариссу юноша любил»), «Азраил», «Измаил-Бей», «Хаджи-Абрек», «Русалка», «Беглец» и др.

2 Ср. тоже в произведениях: «Черкесы», «Жена севера», «Встреча», «Портрет», «К Нэере», «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась»). «Прости» («Прости! Коль могут к небесам»...) и др.

состава, обычно для обрисовки фона, на котором происходят действия героев. Примеры:

Заутрень в *граде* дальний звон
По роще ветром разнесен... («Черкесы»).

Другой бежит на поле *ратном*,
Бежит, глотая пыль и *прах*... (ib.).

Лишь редко крикнет черный *вран*
Голодный, трупы пожирая... (ib.).

Со смехом *младости* простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие...
Гляделися в *зерцало* вод... («Кавказский пленник»).[1]

Затем, идут архаические выражения — имена прилагательные — двоякого вида. С одной стороны, формы старо-славянские: хладный, златый, бранный, младый, ратный и пр., а с другой, — прилагательные с кратким старо-русским окончанием: бледны, темны, сине и т. д. Слова этого порядка обычно оказываются в роли определений и эпитетов различного качества: объясняющих и живописующих.

Где он провел *златую* младость... («Кавк. пленник»).
Мгновенный луч нередко озарял
Печальну тень, стоящую меж скал... («Наполеон»).
Но вздумал вдруг он в *темну* ночь
Взглянуть, как спит *младая* дочь... («Боярин Орша»).[2]

Далее, следуют архаизмы — глаголы: зреть, рек, внимать, мнить, лобзать, умолк и др. Их обычная роль в творчестве поэта — выражение сказуемости в нем. Здесь можно отметить примеры:

Увы! не *зрели* мы ненастья,
Нам угрожавшего тогда... («Корсар»).

Ночь тиха, пустыня *внемлет* Богу... («Выхожу один я на дорогу»...).

О, как страстно я *лобзал* бы
Золотистый мой песок... («Для чего я не родился»).[3]

---

[1] Ср.: «Портреты», «К гению», «Жалоба турка», «Олег», «Звезда» («Видали-ль когда, как ночная звезда»), «Посвящение» («Прими, прими, мой грустный труд»), «Предсказание», «Литвинка», «Исповедь» (поэма), «Каллы», «Аул Бастунджи», «Сказка для детей», «Пророк» и пр.

[2] Ср. тоже в стих. «К друзьям», «Романс» («Квартирной жизнью недовольный»), «К Нине», «К Сабурову», «Ангел смерти», «Баллада» («Куда так проворно, жидовка младая?») и др.

[3] См. также: «Преступник», «Песнь Барда», «Испанцы» и т. д.

Со стороны своей *лексической* природы все указанные выражения старо-славянского, отчасти древне-русского, происхождения и принадлежат к архаизмам-славянизмам.[1] В этом отношении их состав однообразен.

Все категории архаизмов, кроме тех, что связываются с изображением местного колорита, ярко живописуют приемы художественной манеры, составляющие принадлежность так наз. ложно-классического искусства. В частности, эти архаические выражения характеризуют и выражают собою тот «высокий стиль», который составлял блеск классической поэзии; отсюда эта традиция идет и к художественному творчеству Лермонтова. В изображении этой «высокости» поэтического языка и заключается главная художественная задача нашего поэта. Она составляет главное содержание тех художественных функций, той телеологии, которую выполняют архаические слова.

Уже было отмечено, что главный тематический фокус, вокруг которого вращается весь комплекс архаизмов, составляют высшие переживания действующих персонажей. Это «высокое» содержание требовало и соответствующей высокой формы, высокого стиля. Таким образом, характер тематики произведений Лермонтова предопределял для нее и надлежащую форму. Выражения обыденные, будничные, эквивалентные архаизмам, в данном случае решительно не соответствовали характеру изображаемых поэтом тем. Совершенно очевидно, что «низкий» стиль и «высокое» содержание создавали бы недопустимую в художественном отношении антиномию. К тому же литературная традиция, создаваемая классицизмом и так наз. неоклассицизмом, содержала в себе наглядные прецеденты гармонического сочетания высокой идейности и такой же формы.

Кроме этих двух факторов — характера содержания произведений Лермонтова и живой традиции, — выдвигавших необходимость высокого стиля, о той же склонности к нему говорят и собственные указания поэта. Как уже отмечалось, писатель в большинстве случаев выдвигает архаизмы в отношении их синтаксической роли на первые места. Этим он лишний раз подчеркивает их высокое положение в ряду других словесных выражений своего языка.

Помимо этого, и в области фонетической композиции своих произведений Лермонтов также стремится подчеркнуть значительность архаизмов. В поэме «Демон» мы читаем:

Нет сил дышать, туман в *очах*,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на *устах*...

---

[1] См. об этом: С. К. Булич. Церковно-славянские элементы в современном лит. и нар. русском языке. Ч. I. СПб. 1893 г.; Е. Ф. Будде. Очерк истории современного лит. русск. яз. (XVII — XIX вв). Энц. Слав. Филол. Вып. 12. СПб. 1908 г.; ср. также: «О языке Лермонтова». Полное собр. соч. М. Ю. Лермонтова. Изд. Академии Наук. Том 5-й, СПб. 1913 г.

Как видно, здесь архаические выражения находятся в рифмах, чем их художественное положение подчеркивается еще более ярко. Поэт придает им, как приемам стиля, особо-высокое телеологическое выражение. В рифмических окончаниях художник употребляет, именно, архаические выражения — *в очах* — *в устах*, хотя он мог бы, не нарушая стихотворного размера и рифмы, взять и их обычные «будничные» эквиваленты — *в глазах* — *в губах*. Этого писатель не делает, ибо стремится лишний раз отметить художественное созвучие между стилем и содержанием. Лишь в некоторых случаях он употребляет выражение языка «высокого» и одновременно «низкого», но это он делает обычно ради избежания тавтологии; так в «Кавказском пленнике»:

Казалось на ее *устах*
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на *губах*.

Иные художественные задания, как уже отчасти отмечалось, выполняют архаизмы — существительные второй группы первой категории; их поэтическая роль заключается в обрисовке места действия героев в произведениях нашего поэта. Вследствие того, что в значительной части их обстановка развертывающихся событий относится к *прошлому*, имеет в той или иной мере *исторический* характер, соответственно с этими и словесные средства, ее изображающие, носят такой же характер; среди них значительное место занимают и выражения архаического свойства. Ими художник оперирует, когда необходимо соблюсти в известной степени так наз. «местный колорит» (la couleur locale) в изображении внешнего мира. Эта тонкая, но звучная струя художественных устремлений Лермонтова несомненно идет от романтической поэзии, для которой так характерна эта манера.

А. Вознесенский.

Минск.
1926. XII. 14.

Важнейшыя рысы ў консонантізме дзярэўні Татаркавічы, Бабруйскага вокругу.

Дзярэўня Татаркавічы знаходзицца ў Касьянскім сельсавеце Бабруйскага вокругу, у 27 вярстах гор. Бабруйска, у напрамку на паўночны захад, на пяць вёрст у бок ад шляху, што вядзе з Бабруйска ў мясьц. Сьвіслач. Ад бліжэйшай жалезнадарожнай станцыі — Ясень Западн. ж. д. — 10,5 *км.* Ад раённага цэнтру — м. Сьвіслачы, што стаіць при ўпадзеньні р. Сьвіслачы ў р. Бярэзіну, — 16 *км.* (па простаму напрамку на карце).

Дзярэўня, справядлівей вялікае сяло, складаецца, ўласна, з чатырох асобных дзеравень, якія сьледуюць одна за другой з усхо́ду блізка што проста на за́хад (з невялікім ухілам на поўнач) на невялікай адлегласьці адна ад другой, займаючы агульны працяг у паказаным напрамку каля чатырох вёрст. Пры гэтым кожная з чатырох дзеравень, апрача агульнай назвы — Савецкія Татаркавічы (до рэвалюцыі зваліся «Казенныя Татаркавічы») — мае і сваю асобную назву; гэтыя назвы ідуць у такім парадку (з усхо́ду на за́хад): Баяршчына, Сяродак, Заеньнік (Заельнік) і Матавіла. На адлегасьці прыблізна двух вёрст — на паўдня ад д. Баяршчына — знаходзіцца пятая дзярэўня пад назвай Чырвоныя Татаркавічы (раней — «Панскія Татаркавічы»).

У летку гэтага 1926 году мне давялося два разы быць у д. Сяродак, якая з д. Баяршчынай складае як бы адну дзярэўню, разьдзеленую толькі невялікім выганам. У рэзультаце маіх наведваньняў мне ўдалося зрабіць некаторыя цікавыя назіраньні над моваю сялянства двух названых дзеравень. Матар'ял, запісаны ўласна мною, дапоўнен запісамі слухачкі Менскага белар. Педагогічнага тэхнікуму — Во́льгі Зьмітраўны Вусавай, жыцельніцы д. Сяродак. Невялікі вынятак з гэтага матар'ялу я і раблю ў гэтай заметцы для характарысьцікі зычных (сугалосных) у гаворцы д. Татаркавіч.

Калі ўзяць паасобныя зычныя, то іх якасьць у гаворцы татаркаўцаў азначаецца агульна-беларускімі рысамі. Гэтак гук г яўляецца заўсёды працяглым (фрыкаціўным) звонкім һ: һарох, һо́ра, һарбуз, һрэць і г. д.

«Узрыўнае» г (g) чуваць толькі ў словах чужаземнага пахаджэньня, як ґўзік, ґа́нак, ґуз, маґазе́й (пол. magazyn), ґо́ран: «Се́ньні я купіла ґо́рану, дак за́ўтра вязь дзе́нь буду ўшываць хвартух».

Як і ў іншых беларускіх гаворках, гук г звучыць узрыўна таксама ў некаторых сваіх словах — у злучэньнях зг, жг, джг: мазґі́, мазґаўня́, рэ́зьґіны (і «рэзьвіны» — прылада для носкі сена ці саломы), ро́зґа, жґут, джґну́ць, нават джыґнуць (ужалить). Тое самае — ў злучэньні ґл — у слове «цу́ґлі» (удила́) і ў жартліва іранічным «фіглі-міглі» (мусібыць ад слова «фіґа», як у выразе «фіґо́с пад но́с»). Аднак ня бывае ўзрыўнага гучэньня ў гэтым выпадку тады, калі гуг «з» належыць прыстаўцы: зһі́нуць, зһарэ́ць, узһо́рак, ро́зһавіны (разговенье) і пад.

Гук ǯ (дж) чуваць, як і ў большасьці іншых белар. гаворак, у канчатку асновы 1-ай асобы адзіночнага ліку дзеясловаў, маючых у аснове іншых форм мяккае д (дз, ʒ) (сяʒець, хаʒіць, ра́ʒіць, радзі́ць і інш.). Такім парадкам, у 1 ас. ад. л. гэтае «ǯ» (дж) яўляецца з «ʒ» (дʒ) ў палажэньні перад «цьвердым» у канчатку: сяǯу́, гляǯу́, хаǯу́, ра́ǯу і пад.

Такога ж пахаджэньня і тое ǯ, якое гучыць у такіх словах, як суджэ́ньне, пахаджэньня, ваджэ́ньня (ст.-слав. су*жд*ение, похо*жд*ение, во*жд*ение) і пад., дзе ǯ, як і ў 1 ас. дзеяслова, з прасл. *dj.

Вобразна-гукавога, альбо гукапераймальнага пахаджэньня гук ǯ ў такіх словах, як ǯynǯyki,[1] ǯynǯarúcha.[2] Першае слова ў Татаркавічах мне не даводзілася чуць.

Іншага пахаджэньня гук дж (ǯ) ў словах «джа́ла» (жа́ло), «джыґнуць», «джґаць» (жалить), «джыг!» (вобразна-гукавое — для азначэньня моментальнага ўкусу пчалы, шэршня, асы́).

Слова ўраǯа́й часта вымаўляецца з простым «ж»: ўра*ж*ай; з другога боку, наадварот, вымаўляецца з дж слова пін*дж*ак.

Гук ў на месцы асноўных «у», «в», «л», як і ў іншых белар. гаворках; апроч таго «ў» яўляецца і на месцы складу-прыстаўкі «вы» ў такіх словах, як «вы́ламаць, вы́біць», і пад., калі гэты склад папераджае галосны: «Як го́цнуў на пала́ткі, дак як біла ні ўламаў». «Ве́цяр за́раз во́кны паўбіва́е». «Буду ўшыва́ць хвартух».

Губныя зычныя ацьвярдзелі на канцы слова і ў сярэдзіне перад j-ам: дро*п* («Глядзі, та́та, ён укінуў цэ́лы дро*п* сахару ў стакан!»), голу*п*, сы*п* (загадны лад

---

1 Джынджык — «сорванец мальчишка», тое ж прыблізна, што і «жэ́ўжык» — карапу́з-ба́лаўнік. Ня зусім у ясным значэньні ужыта гэтае слова Якубам Коласам у яго вядомай поэме «Новая зямля» (стар. 78): «Няма́ на іх гадо́ў памо́рку, Вось на такіх чарто́ў лаза́тых На гэтых джынджыкаў праклятых!».

2 Джынджаруха — насьмешлівае, ужываецца ў гэтым районе для азнач. вечарынкі, на якой музыка з бубнам, бляшкі якога даюць гук «джан-джын».

ад «сыпаць»), кроў, любоў, дамбў (ст.-слав. домови, домовь) і інш.; бјў, пјў, ўјў, сямја і інш.

На месцы гуку «ф» пасьлядоўна — п, х, хв, кв: картопля, коптачка, хунт, гаптаваць, выштупаваць[1] («Яна ўсе грудзі ў кóптацы *выштупавала* манішкамі» (складкамі), *к*васбля (фасоль).

У ўласных імёнах, апрача замены грэцкіх «φ» і «θ» на п, х, хв, маем таксама замену апошняга на зах.-еўропейскі манер — на «т»: Тэкля, радзей — Тóдар, Тамáш; найчасьцей жа: Піліп, Óсіп, Язэп, Апанáс, Хлор, Хамá, Хвéдар, Хведзя і пад.

Ацьвярдзеньне іншых зычных (апроч памянёных ужо губных). Звычайна цьвёрда гучаць зычныя перад канчаткам дзеясловаў у 1-й асобе множн. ліку: пойдам, могам, будам, нарвóм, зграбóм, напасóм, панясóм і інш.

Таксама назіраецца ацьвярдзеньне і ў паасобных формах іменьняў назоўных, як: муз*дэ*чка, мяс*тэ*чка (і «мясь*ц*ечка»), с*ы*ножаць (сенажаць), Пá*вал* (і «Павял — ўласн. имя»), мат*а*ры; апошняе слова толькі ў ругальным «ліха тваёй матары!» «Вот, ліха матары, што ён тут нарабіў!» Але заўсёды — «сéрца» (ня «сэрца»). Цікава таксама — прыдсядáт*а*ль (председатель).

Найчасьцей цьвёрда гучыць таксама л у словах, як рылца, сáлца, відэлцы, пáлцы, касілна, грабілна, цапілна, вудзілна і пад., дзе л ацьвярдзела пасьля выпадзеньня старога глухога ь — у выніку асіміляцыі з наступным цьвёрдым зычным. Сустракаецца, аднак, і мяккае «л» у такіх словах — відэльцы,пальцы.

Тое самае маем у словах жэнскі жэншчына, хоць зрэдка можна пачуць яшчэ і жэньскі, жэньшчына, таксама міньскі, Міньск: «каля Мінвску ўжэ б'юцца» («сражаются»). Адваротная асіміляцыя (мяккаму наступнаму зычнаму) — ськ**і**нулі: «Прыдсядатала ськ**і**нулі».

Словы чужаземна — культурнага пахаджэньня звычайна вымаўляюцца з мяккімі зычнымі перад е, і, як і ва ўласна-беларускіх словах (за выключэньнем нявялікай колькасьці паказаных вышэй): арыхмéціка, кан'с'*ті*т*у*цэя, кансь*ті*ту*ті*я, пазі*ті*я, дзісь*ті*пліна, універсь*ті*т*é*т (альбо проста «ніверсі*тé*т») і т. д. Як бачым, гэтыя словы вымаўляюцца і без «цеканьня».

Мяккае л захавалася, аднак, па чужаземнаму ў слове бáлька (бáлка), у іншых мясцох гэтага раёну можна пачуць і бэлька (параўн. польск. balka і belka; нямецк. Balken).

Памякчэньне н (асноўна-цьвёрдага) маем у такіх словах, як старшыня́, даў-

---

1 Пахаджэньне слова «штупаваць» ня зусім яснае. Найбольш праўдападобна выводзіць яго ад нямецкага «stufen» — ступеньчаты (адсюль — «складчаты»). Менш праўдападобна яго пахаджэньне ад польскага «sztukować» — «штопаць», якое проста ўзыходзіць да нямецкага-ж «stücken» — стрóіць (починять), класьці латкі.

жыня́, вышыня́, шырыня́. Тое самае ў словах наўмысьля, канешля (радзей «наўмысьня, канешня»).

Дзеканьне і *цеканьне* — даволі слабыя; іх вельмі трудна заўважыць, а ў асобных выпадках іх зусім няма: *дзе́шка*, тябе́, тёмны, пазі́тія і пад. Асабліва слаба — «цеканьне».

Мены сьвісьцячых і шыпячых (ч і ц, ж і з, ш і с), як масавай зьявы, няма, але трапляецца часам — у асобных словах, як наогул у паўднёва-заходняй Беларусі: калодзі*ш* («колодезь»), дра*ж*ніцца; пры*ч*апіцца, за*ч*э́пка, *ч*апля́цца; *ц*ыбук, *ц*мокаць, *ц*от (у фразе: «цот ці лішка?»), *ц*ур (але «*ч*урацца»).

Пераход узрыўнай афрыкаты ч у працяглы ш: магары*шэ́*, *ш*астако́л (іншы раз у гэтым раёне і «-*ч*ыстакол»); сма́*ш*ны (зрэдка і смачны), іншы раз кажуць і ску́*ш*ны, хоць часьцей, здаецца, скучны; ру*ш*нік. Узрыўнае заднянёбнае к перайшло ў працяглае х ў слове кро́*х*вы (крокви).

Адносна гукаў ж, ч, ш (шч), ц і р, зацьвярдзеўшых ва ўсіх палажэньнях у большасьці беларускіх гаворак, у гаворцы д. Татаркавіч, як і вакольных хутароў і дзеравень, трэба сказаць, што яны (шыпячыя і р) не паддаюцца такой агульнай кваліфікацыі. *Зацьвярдзеўшымі* г. зн. выразна цьвёрдымі ва *ўсіх* палажэньнях, *у гэтым раёне іх бязумоўна лічыць нельга.* Шыпячыя і р тут вельмі часта толькі напалавіну цьвёрдыя (паўмяккія).

У самых Татаркавічах дэтальна дасьледаваць шыпячыя і р мне не давялося пакуль што; на адным жа з хутароў (селяніна Сураўца) я назіраў *выразна паўмяккае* вымаўленьне шыпячых і р у Вульляны Суравец, жэньшчыны 55 гадоў (няграматнай) і асабліва ў яе сына Івана Суравец, 34 гад. (граматны і прайшоў ваенную службу). У апошняга (мусібыць пад уплывам руск. языка) шыпячыя і р — *зусім мяккія:* цяпе́ряка, дахтаре́, то́жя і пад.

Асіміляцыя і дісіміляцыя і зычныя на канцы слоў. Звонкія зычныя на канцы слоў і перад зычнымі глухімі гучаць глуха: го*т*, гра*сь*, вы́ця*х*, до*ш*, бо*п*, абе́*т*, дзе*т*, ву*ш*; а*п*ця́саць, лю́*ц*кі, лёхкі. Сустрэлася, аднак, цікавае выключэньне з гэтага правіла: раз*д*во́ (радзей кажуць ра*ж*ство́). У слове «до*ш*» — у формах скланеньня — у палажэньні перад галосным канчаткам яўляецца звонкая афрыката ǯ (д͡ж); дажд͡жэ́ (наз. мн.); але «ві́*ш*чаць».

Таксама яўляецца асноўны звонкі зычны ў суседзтве з словам, якое пачынаецца з зычнага звонкага, сонорнага, альбо з галоснага гуку: «плу*г* блішчыць», мане*ж* накрыць, «злазь на гару́», «ка*б* яны́ падо́хлі!» і т. д.

Частковая асіміляцыя (рэгрэсіўная). Звычайныя ў белар. мове выпадкі упадабленьня па мяккасьці і звонкасьці: зьбіраць, сьнех, сьпиць, сыніць, сьпе́чы, сьпякла́, дзьве́ры, сьлі́ўка, зьлякну́ўся, казьба́, прозьба, сва́дзьба і пад.; часам нават рэдкае ськівуў.

Да выпадкаў асіміляцыі трэба аднесьці таксама паяўленьне м на месцы б ў слове дромны: «дрóмненькі дожджык імжыць». Тут насавы «н» асіміляваў сабе губны б, зрабіўшы яго таксама насавым. Паходзіць гэта ад таго, што пры неэнэргічным змыканьні губ, якое патрэбна для вытварэньня ўзрыўнага б, і пры адначасовай антіцыпацыі наступнай артікуляцыі насавога н, замест губнога ўзрыва палучаецца раней часу опушчэньне мяккага нёба, і замест б утвараецца насавы м.

Поўная (рэгрэсіўная) асіміляцыя: шшыць, аччы́м, малаццы́ (і малайцы́); залéза, залезны, залязьня́к; анна́ (адна́), вяліканьня, сягóньня, вялікóнны, рóнны, сёньні, пасьленьні; аммáн і пад.

Выпадак прогрэсіўнай асіміляцыі: льля́ны, на льля́нішчы (льняны, на льня́нішчы).

Дісіміляцыя зычных: жлу*х*ціць, жлу́*х*та (у д. Копча жлу*к*та, жлу*к*ціць), по*ш*таваць (часьцей кажуць частава́ць), зністóжыць і інш.

Утарычная дісіміляцыя: лу*ш*чай (з лучча́й, дзе ў свой час другое ч зьявілася з ш ў слове лучше), ры́сьцю (і рысьсю), баісьця, заду́маісьця, валóсь*т*я, сь*т*ёш (из с′с′еш — сосёшь).

Выпадзеньне і адпадзеньне зычных: блаславі́, сягоняшні, спаніца (спадніца), палядзі, тады, Ладзік (Владик) і інш.

Ов. Воўк-Левановіч.

Менск.
1926. XII. 14.

К вопросу о составлении диалектологической карты белорусского языка.

В своей рецензии на «Диалектологическую карту русского языка в Европе» Московской Диалектологической Комиссии[1] акад. А. И. Соболевский полагает, что впечатление от карты «получилось бы более сильное», если бы составители ее вместо границ говоров попробовали отметить на ней границы особенно-ярких черт говоров. Слова глубокоуважаемого слависта окажутся правильными, конечно, и в применении к вопросу о границах языков и наречий в других частях словянской территории. Почти на всём своем протяжении словянские языки представляют море переходных говоров, объединению которых в единицы, называемые языками, способствуют различного рода культурно-политические факторы. Главное место в ряду этих централизующих факторов принадлежит литературному языку. Из сказанного становится очевидным, что границы языков в значительной степени должны определяться на основании тяготения к тому или иному объединяющему центру. Остальные же способы определения границ являются пока условными и априорными. Признаков, характерных *для всей совокупности говоров данного языка* и только характерных для них, конечно, не существует; в таком случае, казалось-бы на первый взгляд, этнографическую принадлежность данных говоров мы могли бы определить на основании сравнения их признаков с признаками, характерными для большинства диалектов каждого из соседних языков. Но и эту формулировку мы должны пока отвергнуть, так как в ней скрыта логическая ошибка. Формулировка эта предполагает известными границы отдельных явлений, между тем a posteriori может оказаться, что бо́льшая часть территории того или иного языкового факта лежит уже в области другого, соседнего языка. Какие, напр., у нас данные для признания характерной особенностью белорусского языка форм повел. на́кл. мн. ч. с е из ѣ перед окончанием (хадзеця)? А, может быть, после исследования всех белорусских диалектов окажется, что эти формы известны меньшинству говоров.

---

1 ЖМНП 1915 г., июнь, стр. 398—402.

Наконец, у нас не может быть уверенности в том, что нам не придется отказаться от метода, предложенного проф. Дурново в его «Диалектологических разысканиях в области великорусских говоров. Часть I. Южновеликорусское наречие» (вып. 1, 1917 и вып. 2, 1918). Полагая, что границы между языками следует определять на основании одного какого-нибудь кардинального явления, которое могло быть отличием древнейшей основы населения, упомянутый лингвист и кладет в основу при проведении границы между белорусским языком и южновеликорусским наречием различие в типе акания: диссимилятивное акание и якание он считает характерным признаком белорусских диалектов. Но и в данном случае детальное изучение границ того или иного кардинального явления может констатировать, что оно перекинулось на соседние — племенные и языковые группы. А это уже лишит нас права проводить границу на основании данного признака. Вот по такой причине и пришлось самому проф. Дурново отказаться от предложенного им способа проведения границы между белорусским языком и южно-великорусским наречием. Уже в 1 вып. своей работы (24 стр., 3 прим.) он говорит, что после исследований в Курской, Орловской и Воронежской губ. он убедился в том, что «диссимилятивное аканье само по себе не может служить критерием при проведении границы между ю.-влр. и блр. В виду этого вопрос о границе будет пересмотрен мною ниже». Во 2 же вып. «Диалектологических разысканий» их автор отличительной чертой белорусских диалектов объявил «диссимилятивное яканье Жиздринского типа», но тут же он указывает на существование этого типа яканья и в соседних ю.-влр. говорах «с наименьшим числом блр. черт и наибольшим числом великорусизмов».[1]

Помимо всего, выбор одного какого-нибудь явления в качестве критерия для проведения границы по своей сущности представляет совершенно произвольный акт. Почему именно тип акания должен определить границу между блр. и ю.-влр.? А чем будем мы руководствоваться при проведении границы между белорусск. и украинск. языками — произношением неударенных гласных или же произношением согласных перед е, і (укр. и)? А между тем границы обоих явлений отделены друг от друга значительным пространством. Кроме того, под каждым из упомянутых явлений объединяется, в сущности, целый ряд частных фактов, исчезновение или замена которых происходит постепенно в направлении от одного языка к другому. А именно, еще до Припяти (в направлении от блр. к укр.) исчезает акание в последних слогах (м а л о), до Припяти исчезает и якание,[2] возле же Припяти приблизительно мы наблюдаем утрату акания и в не-конечных слогах после губных и задненебных,[3] наконец,

---

1 Op. cit., стр. 33—36.

2 См. «Сказки и рассказы белоруссов-полешуков» Сержпутовского, 1911.

3 Произношение *вода*, *голова*, *кора* при *нага*, *тавар* нам удалось отметить в сс. Осовце, Романовке и др. б. Скригайловск. вол. Мозырск. у.

немного дальше исчезают последние следы акания. Гораздо дальше к югу мягкое произношение согласных перед е, і (и): н'ебо, кос'і (а в связи с ним дзекание и цекание: дз'ень, ц'іхо) сменяется твердым: небо, день, тихо;[1] но и в исчезновении мягкости согласных перед гласными переднего ряда есть также известная постепенность; гораздо раньше, приблизительно недалеко от Припяти, исчезает мягкость губных (овечка, верба).[2]

Мы избегаем, однако, крайности и не считаем a priori абсолютно невозможным проведение границ языков. Вполне возможно, что после того, как станут известными границы и главных, и второстепенных явлений, — все эти данные, в сочетании с первым из перечисленных методов (сравнение с литературными языками) дадут нам более твердые основания для проведения хотя бы приблизительных границ того или иного языка. Но пока явится такая возможность, диалектология славянских языков должна воздержаться от априорного определения границ языков, наречий и говоров, ограничивши свою работу пока выяснением границ отдельных языковых явлений. Такую цель поставили перед собой и Gilliéron и Edmont в своём «Atlas linguistique de la France». Подобного взгляда придерживаются, кроме акад. А. И. Соболевского, и некоторые из западных славистов, напр., Нич[3] и Младенов (R. Sl. IV и V). Воспользовавшись нашим пребыванием в Белоруссии, занялись и мы составлением диалектологической карты языковых явлений белор. и (соседних) говоров. С этой целью мы предприняли целый ряд поездок по Белоруссии, затем разослали составленные нами диалектологические программы (сокращенного характера, приспособленные к тем или иным частям Белоруссии), сделали целый ряд записей от студентов Белор. Госуд. Университета, наконец воспользовались этнографическими материалами, как напечатанными, так и ненапечатанными, находящимися в распоряжении Фольклорно-диалектологической Комиссии Института Белор. Культуры, а также и ответами на программы, напечатанными в «Материалах для изучения белорусских говоров».

Составленные карты наглядно показывают все разнообразие направлений, в которых проходят границы отдельных явлений. Возьмем напр., границы явлений, характеризующих ю.-блр. говоры. Формы 1 л. мн. ч. вроде будам, пойдам, правядом захватывают гораздо более широкую область[4] в сравнении с изоглоссой

---

[1] Мягкость согласных зубных перед *е*, *і* мы нашли в Милашевичах, Тонеже, Лельчицах и др. селах теперешн. Мозырск. окр. БССР.

[2] Такую же переходность наблюдаем и в сев.-блр. говорах. О них см. мою статью «Да характарыстыкі паўн.-беларуск. дыялектаў. Гутаркі Нэвельскага і Вяліскага паветаў», Минск, 1926.

[3] См. Poradn. język. 1910, X, а также «Mowa ludu polsk.». 1911.

[4] А именно, начинаясь в Узденск. районе, граница поворачивает на север, пройдя возле Самохваловичей, затем недалеко от Минска, она направляется на восток; захвативши Смило-

са́канья, северная часть которой, захватив лишь Слуцк, Житень, Глуск, пересекает затем жел.-дор. линию Жлобин — Калинковичи приблизительно 15 *км* к сев. от Калинковичей. Еще меньше территория говоров, знающих изменение ы в у после губных (мула, путáць).[1]

В совершенно противоположном направлении проходит граница говоров, знающих изменение а в о перед ў (шукоў, проўда), затем граница, отделяющая диалекты со старой ф. местн. пад. прилагат. (у глухом лесе) от диалектов с новыми формами (у глухім лесе; по происхождению это форма творит. п.). Есть явления и островного характера. К ним принадлежат, напр., формы им.-вин. мн. слов м. р. (а иногда и женск.), вроде ваўке, лясэ (жанке), затем ф. творит. п. мн. ч. на -ам, известные не только в с.-блр. говорах.[2]

П. Бузук.

Минск.
1926. XII. 15.

вичи, Домовицкое, граница поворачивает на ю.-в.; пройдя к сев. от Якшиц, но к югу от Липниц, Чигиринки, Н.-Быхова, изоглосса данного явления захватывает затем Меркуловичи, Чечерск и значительную часть Новозыбковского у. (см. А. Полевой, О языке населения Новозыбковского у. Гомельск. губ. Минск, 1926, стр. 25). Южная часть данного явления проходит южнее Хоробричей (см. О. Курило, Фонет. та деякі морфолог. особливості говірки с. Хоробричів, стр. 81), затем Норовли, Дубровы и Тонежа. Все упомянутые пункты можно найти на «Этнографич. карте белор. племени» (1917) акад. Карского.

1 Так как главное место при составлении нашего атласа принадлежит не этнографическим напечатанным материалам, в большинстве случаев мало надежным, то поэтому мы вынуждены ограничиться составлением карт говоров Восточной Белоруссии.

2 О их существовании на юге Белоруссии см. у А. Полевого, О языке населения Новозыбк. у. Гом. губ., стр. 19—20.

К литературной истории повести о мученике Исидоре Юрьевском.

Эта повесть дошла до нас в двух редакциях, представленных немногочисленными списками: одной — краткой, рассказывающей о событии без какого-либо освещения со стороны автора, который остается неизвестным, и другой — полной, написанной, как значится в ее заглавии, известным биографом Псковских и Новгородских святых, Василием, в иночестве Варлаамом. Это произведение представляет собой сотканную на основе краткой редакции витиевато изложенную повесть с введением и послесловием, проникнутую анти-латинской тенденцией и горячей ненавистью к латынянам. Списки краткой редакции (Лихачева вт. пол. XVI в.; Тр.-Серг. Лавры, № 626 и кн. Оболенск. № 91 — оба XVII в.) весьма близко стоят друг к другу: разночтения не простираются далее перестановок слов, орфографических особенностей и т. п. Списки же полной редакции имеют более существенные отличия. Так, список Долговского XVII в. (судя по тексту, изданному у Будиловича) имеет значительные текстуальные пропуски по сравнению со списками б. Киев. Дух. Акад. № 32 к. XVIII в. и Моск. Син. Библ. № 850 XVII в.[1] Многие чтения сп. Долг. сами по себе не всегда понятны и объясняются из списков Киев. и Синод.; следовательно, текст, даваемый этим списком, есть сокращение, и притом не всегда удачное, текста, даваемого списками Киев. и Синод. Список Моск. Синод., сравнительно с Киев. и Долг., имеет еще особое предисловие, буквально совпадающее с началом «Поучения в неделю 3-ю на Евангелие от Матфея — слово 23», которое находится на л. 260 рукописи Погод. № 993. Этот список стилистически перерабатывает текст списков Киев. и Долг. и, в общем, сокращает его. Из Послесловия, которое мы находим в этих списках, в Синод. списке приведено только начало, остальная же его часть, содержащая обычное молитвенное обращение к мученикам поспособствовать

[1] Подробнее об этом, а также о статье А. С. Будиловича см. в «Отчете об экскурсии семинария р. филологии в Киев», 1916, стр. 163, где дан нами перечень списков и литература предмета (стр. 158—167); там же издан и текст ред. Варлаама по сп. Киев. Дух. Акад. № 32 (стр. 167—176).

царю нашему на враги и т. д., где упоминается и автор, — в нем отсутствует. Сравнение списков полной редакции со списками краткой показывает, что списки Киев. и Долг. представляют собой пополнение текста краткой редакции путем больших вставок и стилистических распространений, причем чтения краткой редакции входят в эти списки без изменений, тогда как стилистическая переработка Синод. списка коснулась и этих чтений. Таким образом, тексты списков Долг. и Синод. восходят независимо друг от друга к тексту протографа Киев. списка, который и дает наиболее близкий из наших списков текст к тому, какой вышел из под пера Варлаама, написавшего свою повесть между 1558 и 1563 г., т. е. через значительное время после события в Юрьеве, которое произошло в 70-х годах XV века (большинство списков относит его к 1472 г.). Краткая редакция, вероятно, была написана в непродолжительном времени после события, но не ранее 1474 г., так как автор ее, упомянувший о «разратіи Латыномъ со Псковичи», очевидно, имел в виду те «обиды и брани» Псковичей «съ Нѣмци», о которых рассказывается во 2-й Псковской и 4-й Новгородской Летописи под этим годом.

Какими же еще источниками и литературными приемами пользовался Варлаам? Дополняя свой основной источник — краткую редакцию — своим плетением словес, он слил воедино весьма разнородные и не всегда подходящие к его теме элементы. Прежде всего бросается в глаза полемический противо-латинский оттенок его произведения. Здесь Варлаам воспользовался той противо-латинской литературой, которая возникла у нас по поводу восьмого собора, созванного папой Евгением в 1438 г., и самым рассказом об этом соборе. У него выступает и сам «злоименитый» папа Евгений, от которого — «еретика суща, врага истиннѣ, от антихристова предотечи, от проклятаго его собора» — латыняне приняли подтверждение своей злочестивой вере. Исидор же Юрьевский в своей речи к бискупу на первом суде, обвиняя латынян в их заблуждениях, выражается словами, которыми начинается и грамота восьмого собора, прочитанная в Москве по повелению митроп. Исидора после его возвращения:[1] «ваше бо писаніе Богу мерзко и богоотступно: вы раздѣляете Святую Троицу глаголюще, яко Духъ Святый от Отца исходитъ и отъ Сына, і опресноки служите, і... лжуще глаголете, яко в безквасне и кваснемъ хлѣбе тѣлу Христову сотворятися достоитъ». Тот же источник[2] напоминают и следующие за этим слова: «Увы, прелести вашея богомерскія, увы, отступленія пагубнаго...».[3] В повести упоминаются и проклятый папа Петр Гугнивый,[4] от которого латыняне приняли «опресночная служенія»,

---

1 См. Летописное сказание о восьмом соборе, изданное в книге В. Малинина «Старец Филофей», 1901 г. Приложение XIX, стр. 124.

2 Ibid., стр. 122.

3 Все цитаты приводим по списку б. Киев. Дух. Акад.

4 С которым мы встречаемся уже в Символе веры кн. Владимира. См. Повесть временных лет под 988 г.

и «италийскіи Григорей». Обвиняя устами Исидора пап Евгения и Григория за стрижение бород и усов, Варлаам приводит слова Господни к Моисею в тех выражениях, в которых писалось об этом предмете в современном ему Стоглаве 1551 г. (см. главу о стрижении брад). Оканчивает Исидор свою речь к бискупу словами Марка Ефесского к папе Евгению на восьмом соборе,[1] где находится и приводимая здесь Варлаамом цитата из пр. Исаии (I, 19, 20); ее же, но в несколько иной связи, имеем, напр., и в известном нашему автору Мучении кн. Михаила Черниговского.[2] Но рядом с обвинениями, которые действительно могут быть отнесены к латынянам, они упрекаются еще в том, что, «сотворивше идолы своими руками во имя бѣсовъское и украсивше ихъ истуканныхъ сребромъ и златомъ..., им ся кланяете и боги тѣхъ нарицаете» и др. под. Эти обвинения более уместны в устах христианских мучеников, принуждаемых «пожрѣти» языческим идолам, откуда их и заимствовал Варлаам. Обвиняемые «сташа на судищи, яко добрыи воины Іісусъ Христовы», и было «истязаніе веліе святымъ»; подобно христианским мученикам, они уговаривают латынян принять христианскую веру и грозят им загробными муками во огне неугасимом и тьме кромешней. Чтобы подогнать свой рассказ под схему «Мучений», наш автор заставил бискупа ввергнуть Исидора и его дружину в темницу, где они поют мученический тропарь,[3] послать беззаконные послания к «держателемъ градъскимъ ѣхати на испытаніе святыи исповѣдникъ» и привести затем мучеников на второй суд, где бискуп уговаривает Исидора в том духе, как уговаривали христианских мучеников языческие цари и воеводы: «повинитеся пожрите Богомъ нашим... аще восхощете и вы свою вѣру держите..., только нынѣ повинуитеся предо мною...». Эпизод о потоплении матери с младенцем наш автор сочинил на основании Мучения Кирика и Улиты, заимствовав из него и подробности. Напр.: «и тако отроча нача лица ихъ драти» и др.[4]

Особенностью стиля Варлаама является совершенно ничего по существу не прибавляющее его необыкновенное многословие еще большее, чем в других его произведениях. Как пример, укажем способ, при помощи которого он составляет речи Исидора, занимающие значительное место в его повести. Оказывается, что Исидор повторяет во всех своих речах в сущности одно и то же, к кому бы он ни обращался. Так, в его речи к латынянам на втором суде, после нелестных эпитетов по адресу бискупа: «что ловиши окаянныи блядивыми сими словесы», следует ничто иное, как слова Исидора на первом суде, общие обеим редакциям: «и еже отврещіся нам

---

[1] Ibid., стр. 118—119.

[2] Великие Минеи Четьи под 20 сентября, стр. 1299.

[3] Сравн. Требник библ. Акад. Наук 45. 9. 7, чин брака, л. 26 об.

[4] Пользуемся Мучением Кирика и Улиты в Торжеств. и Златоусте XVI в. библ. Акад. Наук 31. 6. 26, лл. 354 об.—357 об.

Господа своего со безначалным его Отцемъ и со единосущным Духом»; после чего прибавлена шаблонная фраза: «твори еже хощеши», которую мы имеем в другом месте краткой редакции. Из трех речей, которые Варлаам заставляет Исидора произнести в тюрьме к своей дружине, только последнюю мы находим в краткой редакции. Но оказывается, что и первая, и вторая речи, следующие непосредственно одна за другой, составлены на основании последней. В первой речи читаем заимствованное из краткой редакции: «добрѣ постражите со мною»; к этому прибавлено рассуждение о кознях дьявольских, напоминающее Первое послание Петра (V, 8), и две цитаты из евангелия Иоанна (XV, 20, 21 и XV, 26, 27), и — первая речь готова. Во второй речи опять находим заимствованное из краткой редакции: «ни едине останите мене, но постражите со мною до крове» и после этого ничто иное, как «не могите отврещися», т. е. тот мотив, на основании которого была составлена речь к бискупу на втором суде. Затем, после обычного в «Мучениях» выражения: «но будите велицыи мученицы Христовы в послѣднемъ родѣ семъ», следует цитата из евангелия Иоанна (XVI, 1,2). В повести часто встречаются всевозможные эпитеты по адресу бискупа и латынян, напоминающие обращения мучеников к своим мучителям-язычникам, а также и обще-житийные мотивы. Напр., несколько раз повторяется сравнение Исидора с солнцем, а его дружины со звездами и т. п.

Все изложенное обнаруживает, при помощи каких примитивных приемов составил Варлаам свою повесть. Приемы эти в сущности те же, что и в других его произведениях; но, хотя и там он впадал в анахронизмы и несообразности, его все же выручала традиционная литературная схема житий, позволявшая ему переносить черты одного героя на другого и даже целиком выписывать тексты. При написании же повести об Исидоре, дело оказалось труднее, и нашему автору пришлось включить в свое произведение даже совсем не подходящие к его теме мотивы, лишь бы придать ему тот характер, какой требовала литературная традиция его времени. Благодаря этому под его пером исказилось и само событие в Юрьеве. Простое столкновение, за которым сейчас же последовала и расправа, обратилось в обдуманное мучение, напоминающее гонения римских императоров на христиан. Вполне понятно желание переписчиков исправить стиль Варлаама и уменьшить его излишнее многословие, но сделать это, как мы видели выше, оказалось для них не так легко.

И. Фетисов.

Ленинград.
1926. XII. 15.

«Повесть славного Гаргантуаса».

В русской переводной литературе Рабле — поздний гость. Знаменитый роман его, одно из наиболее значительных произведений французского Возрождения, несомненно был известен читателям и у нас. В первой трети XIX в. наша критика говорит, отчасти с чужих слов,[1] отчасти на основании собственных наблюдений, о яркости образов французского писателя, о его гротеске и смехе. Но первый перевод его романа на русский язык появляется только в самом начале текущего века.[2] Правда, В. В. Сиповский[3] ставит под именем Рабле одну переводную повесть конца XVIII в. Однако, произведение это никакого отношения к Рабле не имеет.[4] Впрочем, ни обложка, ни текст не упоминают имени этого писателя.

Небольшая книжечка, о которой идет речь, озаглавлена: Повѣсть | славнаго | Гаргантуаса, | страшнейшаго великана | из всѣхъ | до нынѣ находившихся въ свѣтѣ. | Переведена съ могольскаго.[5] | Съ дозволенія Управы Благочинія. | Въ Санктпетербургѣ, | печатана в типографіи Ѳ. Брейткопфа, | 1790 года. В 1796 г. вышло 2-ое издание повести. В Госуд. Публ. Библиотеке, в Ленинграде имеется только 1-ое издание (18.232.3.187), которым я и пользовался. Оригиналом нашей повести является известная «La vie du fameux Gargantuas le plus terrible geant qui ait jamais paru sur la terre. Traduction nouvelle, dressée sur un ancien manuscrit qui s'est trouvé dans la Bibliothèque du Grant Mogol». Nisard[6] считал это жизнеописание Гаргантюа «une illustration réduite et

---

[1] Статья «Типы и первообразы в литературе» в «Сыне Отечества» за 1832 г. ч. 147, переведена из Ш. Нодье.

[2] Пер. Энгельгардт, СПб., 1901.

[3] Из истории русского романа и повести. Материалы по библиографии, истории и теории русского романа. Ч. I, XVIII в. 1903, стр. 331, 333.

[4] Ср. мой этюд «La légende de Gargantua» в Яфетическом Сборнике, 1925, стр. 172.

[5] Повторение заглавия на стр. 1 дает вместо последних слов: «Вновь переведено съ древней рукописи, найденной в библіотекѣ Могольского Владѣтеля».

[6] Histoire des livres populaires², I (1864), стр. 544.

modernisée du roman complet de Rabelais». Это, конечно, ошибка: повесть представляет собой особую обработку сказания о великане, весьма далекую от Рабле. По общему складу своему она — ближайший родич народных книг XVI в., трактующих о том же герое; но ни с одной из них она не связана генетически. Источники повести о Гаргантюасе, обжоре, моте и строителе гигантского дворца, — в образах и настроении более поздней эпохи. История ее возникновения не ясна. Ясно только, что она стала очень скоро любимым чтением самых широких кругов и воспроизводилась, поэтому, в целом ряде изданий.

Книжечки так называемой Bibliothèque bleue, содержащие, между прочим, и нашу повесть, стали выходить в свет в XVII в. Идея пустить в оборот по минимальной цене популярные рыцарские романы, легенды о святых, благочестивые или назидательные драматические произведения, комическую и сатирическую литературу — принадлежит во Франции одному из печатников конца XVI в., Жану I Oudot (1593—1612).[1] Но осуществляться она стала лишь несколько позднее, сыном Жана, Николаем I (1606—1636). Так родилась на свет Bibliothèque bleue, название которой подало повод уже в XVII в. к выражению contes bleus, с характерным эпитетом, сохранившим память о цвете обложки или бумаги, на которой печаталась эта литература. Издание ее стало скоро настолько выгодным делом, что у фирмы Oudot в том же XVII в. появляются серьезные конкурренты.

Попытаюсь дать здесь в отношении интересующего нас текста сводку его изданий, которые были в моих руках или моем поле зрения, и которые в большинстве случаев являются библиографической редкостью. Часть их указана L. Morin и P. Petit;[2] часть не нашла места в составленном ими перечне.[3] Ради удобства обозрения располагаю материал топографически, а внутри этих рубрик по издателям.

Troyes: Oudot — № * 9.[4]
Nicolas II Oudot — (1640—1679) — №№ * 7[5] * 8.[6]
Veuve N. II Oudot (каталог 1672—1728) — № 11.[7]

---

1 Gallia typographica (= Revue des bibliothèques, Suppl. V), II (1911), стр. 61.

2 Rev. des études rabelais., VII, стр. 34—47 и 364—5.

3 Приношу по этому поводу свою глубокую благодарность проф. Collège de France A. Lefranc, любезно предоставившему в мое распоряжение свое собрание изданий повести.

4 A. Troyes et se vend à Paris. Знак * означает вероятность принадлежности издания данному издателю. Арабские цифры отвечают нумерации L. Morin в цит. ст.; римскими отмечены издания собрания проф. Lefranc.

5 A. Troyes...et se vendent à Paris chez Jean Musier. Bibl. de L'Arschal BL. 14773. Экземпляр того же издания имеется в частном собрании P. Petit, см. RER, VII, 364.

6 A. Troyes et se vendent à Paris chez Jean Musier. Ныне в собрании P. Petit. Описано в RER, VII, 365. Цитированные три издания все без даты.

7 Le Fameux Gargantua.

Veuve Jacques II Oudot (=Anne Havard, 1711—1741) №№ 12[1] * 13.[2]

Она же и сын ее Jean IV Oudot (1723—1745) — № 14.[3]

Veuve Jean IV Oudot (= Jeanne Royer, 1745—1762) — № 15.[4]

Yves II Girardon (1658—1686) — № 10.[5]

Pierre Garnier (1686—1738)[6] № * 16 (привиллегия 12 июля 1728).[7] 17 (1729). 18 (17 мая 1736)[8] 18 *bis* (15 июня 1738). 19 (19 мая 1739).[9] Экз. Публ. Библ. (6.15.1.150)[10]

Jean-Ant. Garnier (1766—1781) — № 20. (привилл. 19 мая 1738).[11] 21 (тожд. 20).[12]

Adrien-Paul-François André (1781—1808) — № 22 (б. д. разрешение 1785). 23 (1807).

Charles-Louis Baudot (р. 1795 + 1849)[13] — № 24. I.[14]

Bruyères: Veuve Vivot — II (1806, 48 стр.).

Épinal: Pellerin — IV (s. d., 44 стр.).

Nancy: Leseure-Gervois et fils[15] — V (1802, 48 стр.).

Lille: Pillot[16] — VI (s. d., 48 стр.),

Veuve Dumortier[17] (s. d., 40 стр.).[18]

---

1 В каталоге ее: «Gargantuas nouvellement revu et corrigé». См. A. Assier, La Bibliothèque bleue, (Bibl. de l'amateur champenois). Paris, 1874, стр. 19, № 38. Вероятно тот же текст.

2 [Troyes ?] 1715.

3 Без даты. Разрешение печатать 1 янв. 1715. Bibl. de l'Arsenal, BL, 14773 *bis*.

4 A. Troyes. 1745. Bibl. de Troyes, Catal. loc. № 4816 *bis*.

5 Girardon—один из конкурентов Oudot. См. цит. раб. Assier, стр. 24 и Gallia typographica, II, 124—126.—Издание приводится под загол. «Gargantua» в инвентаре, составленном после смерти издателя. Вероятно та же повесть.

6 Assier, стр. 25 сл. и Gallia typographica II, стр. 116—123.

7 G. Brunet, Essais d'études bibliogr. s. Rabelais, стр. 32; сл. Brunet, Manuel, IV, стр, 1042. P. Plan, Bibliogr. rabel., № 15. Это то издание, о котором говорит Regis, стр. CXLIX. Экземпляр его имеется в Берлинской Библиотеке. Gaidoz, Rev. celt., 1868, стр. 183, утверждает, что текст последнего тождествен с № 23.

8 Библиот. Troyes, Catal. loc. 4816.

9 Plan, ц. р., № 15. Библ. Troyes, Catal. loc. 4816 *ter*.

10 A Troyes chez Pierre Garnier, s. cl. Разрешение на печатание от 26 июня 1723, Ballard 44 стр. + 1 титульн. л. × 1 л. Permission.

11 Экз. в Оксфорде, Bodleiana, Douce, C. 460. RER, V, № 15.

12 Plan, Bibl. rab., № 15.

13 Последний владелец фирмы Garnier.

14 Обложка, б. д., Baudot, титульный лист = II и помечен 1800 г. 48 стр. Ср. Plan ц. р., № 15.

15 Imprimeurs-libraires, près la paroisse St.-Sébastien.

16 Libraire et marchand de papier, r. des Prêtres.

17 Impr. libr., r. des Manneliers.

18 Ок. 1800 г. То же изд. цитирует P. Plan; № 15.

Сличение изданий показывает нам, что мы имеем дело с текстом однообразным, менявшимся иногда лишь в деталях, а в общем повторявшим старейшее издание Troyes. В то время как хроники XVI в. охотно трактовали свою тему в тонах бретонских романов, повесть Bibl. bleue старается связать сюжет с античными реминисценциями, поразить читателя описанием блестящей придворной жизни, великолепных палат государя и, в то же время, внести в изложение некоторый элемент назидания. История славного Гаргантюаса[1] открывается изображением борьбы титанов с Юпитером. Один из них, Бриарей, «le plus recommandable de ces geans», и является отцом Гаргантюаса. Бриарей погиб в борьбе, оставив жену свою в ожидании ребенка, который и появился на свет через 3 месяца. Следующие главы описывают ликование исполинов по поводу рождения младенца, в котором они хотят видеть мстителя за свое поражение, и гибель их во время обвала пола, происшедшего от суеты и панического бегства присутствовавших, напуганных криком новорожденного; кормление Гаргантюаса при помощи полдюжины мамок, из которых он проглатывает одну; занятия его с учителями, обычно трагически погибавшими благодаря озорству и неловкости ученика; наконец, превращение Гаргантюаса в исключительного обжору и мота. Обращение к нему матери с упреками в беспутной жизни составляет переход ко второй части повести, в которой изображается перелом в жизни героя и построение им собственными руками дворца. Описанием великолепного празднества, устроенного Гаргантюасом по поводу окончания работы, заканчивается жизнеописание славного великана, вернее — первая его часть, так как книжки Bibl. bleue обещают в заключение продолжение повести, — столь же интересное, если только опубликованные главы будут иметь успех. Сколько мне известно, обещание это осталось невыполненным.

Внешний вид изданий Vie более чем скромный: большинство из них напечатано довольно плохим шрифтом, с ошибками, и на плохой бумаге, так называемой papier à chandelle; нумерация глав часто перепутывалась и т. п.

Одно из таких изданий и было использовано русским переводчиком. Какое именно — установить трудно; можно фиксировать только редакцию. Bibl. bleue дает их четыре: A) в 23 гл. (№ 7, 8); B) в 22 гл. (№ 14); C) в 20 гл. (I = IV, III = VI = экз. П. Б. = № 15 = 18 = 19) и D) в 16 гл. (II = V).[2] Русский перевод воспроизводит тип C. Воспроизводит в общем довольно точно, но местами уклоняясь от французского текста, иногда намеренно, иногда в силу недостаточно отчетливого понимания оригинала. Приведу для характеристики несколько при-

---

[1] Для Bibl. bleue характерна эта форма имени с — *s*.

[2] Расхождения начинаются с гл. 14. Если принять за исходную точку наиболее полный тип A, имеющий 23 главы, то в типе B отсутствует гл. 15, в типе C — 15, 16 и 22 и в D — 17 и 18 — 23.

меров. — Стр. 2: Гаргантина (мать Гаргантюаса) воспламенилась любовной страстью к сыну = ce gage de son (Бриарея) amour étoit encore dans le sein de... Gargantine; стр. 6: гром Юпитеров не приводил *их* в ужас = в ориг. *его*, Гаргантюаса; стр. 12: скоропостижная смерть = fin tragique; стр. 17: ... понял, что с приумножением голоса каждая нота выговаривается (?) = compris que les tons qui succédent les uns aux autres sont d'un dégré plus forts et plus aigus. Ameublement передано как комнатные украшения (38), motet — как музыка (42); coignée превращено в нож, между тем речь идет о рубке деревьев (34); fronde = в лук (41) и т. п. Чтобы приблизить текст к читателю Сена заменена Невой (35), la Tour de Londres — петропавловской колокольней (39), французские меры — русскими (гл. VII), Officiers почему-то переведены «оффицианты» (23 и pass.); boeufs превратились в украинских волов (32), bijou — в галантерейные вещи (38). Местами переводчик вставляет, местами выбрасывает отдельные слова и фразы. В других случаях допускается перифраза, как напр., стр. 14, где речь идет об учителях: они хвалили Гаргантюаса, наблюдая свой карманный интерес, что̀ выражено в оригинале несколько иначе: le maître ne laissoit pas de le louer beaucoup afin de l'engager par là à l'avoir plus longtems pour écolier. Характерно, что ступени гаммы переданы немецкими их обозначениями (17), что̀ может быть является указанием на национальность переводчика.[1] Что он был петербуржцем, ясно из топографических деталей, приведенных выше. Но самой любопытной подробностью является финал повести, которого мы не встречаем ни в одной из французских редакций. Эти последние кончаются изображением блестящего придворного праздника, на котором Гаргантюас засыпает; мать будит уснувшего сына, уводит его и укладывает в постель. Как мы видим выше, за этим следует обещание продолжения. Русский переводчик решил, ввиду отсутствия такового, закончить повесть. В русском тексте утомленная волнениями празднеств Гаргантина не просто падает в обморок, а умирает (47). Это обстоятельство настолько потрясает нежного сына, что он «со слабости падает на земь, и тут пораженное сердце обмирает, и [он] становится без чувств». Так и изошел бедный Гаргантюас кровью и «погиб. утопленный в слезах своих». Когда окружающие спохватились и стали помогать ему, было уже поздно. На другой день собравшиеся правители стали было обсуждать устройство похорон, но, «рассматривая неудобствие сип тела», решили «по отдании им последней чести тут оставить», заложив окна и двери здания кирпичем. «Из чего можно видеть, что Гаргантюас построил себе вдруг дворец и гробницу».

В. Шишмарев.

Ленинград.
1926. XII. 15.

---

[1] Едва ли оригинала: я нигде не нашел указаний на существование немецкого перевода.

Славянский суффикс *-i-m-*.

В работе Der sekurdäre *v*-Vorschlag im Russischen[1], коснувшись образования слова otьčimъ и параллельных ему по образованию ženimъ, ženima, *mǫžimъ, bratimъ, sestrima, я пришел к заключению о том, что все эти образования суть причастия настоящ. вр. стр. з. от глаголов ženiti, *mǫžiti, bratiti, sestriti, как об этом в свое время вопрошающе догадывался Р. Брандт[2] и с уверенностью говорил И. Ягич.[3] В той же работе мною указано было мнение А. И. Соболевского относительно этих слов и мнение Г. Ильинского,[4] по которому «суфф. -imъ образует имена „отдаленного родства“». Ныне, собираясь говорить об этом славянском суффиксе вообще (а не только в отношении слов родства), я должен привести полностью мнение почтенного юбиляра и, сверх того, мнение В. Вондрака. — Отметив редкость слов «на -имъ и -има (если это — не страд. причастия) в славянских языках» и приведя *отьчимъ, побратимъ и посестрима, Алексей Иванович говорил: «Значение суффикса -им- прежде было, повидимому, уменьшительное с тем или другим оттенком. В *отьчимъ этот оттенок был, кажется, презрительный; срв. значение вр. нелюдим, подхалим, проходимец. Следовательно, *отьчимъ первоначально могло значить: отчишка . . . — Ц.-слав. и др.-чешск. женима = наложница, любовница, незаконная жена, собственно = женишка. Судя по современным фамилиям, в славянских языках были некогда в небольшом числе уменьшительные на -имъ. Русские фамилии Лавримов (от Лавр), Бутримов [личное имя Бутрим — в зап.-русских документах XVI — XVII в. (Тупиков); срв. бутор, буторить и т. п. Нарицат. бутрим «упрямец» у Даля], Угримов [эта фамилия известна с XVI в. (Туп.)], Шалимов [Илья Шалим у Туп.; у него же Шишим], Булименко (Туп.), Савримович [от Саверий?]; серб.-хорв. Іосимовић (от Иосиф), Мавримовић (от Мавр

---

1 Zschr. f. slav. Philol. III, 87 слл.

2 РФВ, 1890 г. № 2, 289.

3 Archiv f. slav. Philol. 31 (1909), 228.

4 Праславянская Грамматика, 371 сл.

Maurus; Maretić, str. 111) восходят к этим уменьшительным».[1] — В. Вондрак,[2] допуская, вслед за Ягичем, причастное происхождение слов, как otьčimъ и ему параллельных, ц.-сл. **родимъ** 'Verwandter', р. родимый 'Geburts-' и родимец 'Verwandter', прибавляет: «Однако, все же должен был существовать и суффикс -imo-, ср. ц.-сл. **дѣвима** 'Mädchen', р. инóчим 'Stiefsohn', нелюди́м 'Menschenfeind' и др.».

В указанной своей работе я привел основания, по которым считаю слова otьčimъ, (po)bratimъ, (po)sestrima, ženimъ, ženima исконными причастиями деноминативных глаголов IV-го (по Лескину) класса otьčiti, (po)bratiti, (po)sestriti, ženiti и, стало быть, образованиями при помощи суффикса -mo-, -ma-. В. Вондрак допускает однако исконность суффикса -imo-, ссылаясь на ц.-сл. **дѣвима**, р. инóчим и нелюдим. Но **дѣвима** — в испорченном тексте перевода Книги Судей[3] остается сомнительным; но даже и для него можно указать др.-чешск. děviti в житии св. Екатерины: Kristus čistý čistě z panny čisté, již byl sobě k loži dyevyl, od téj že na všechen svět zjevil, которое Я. Гебауер в др.-ч. словаре s. v. переводит 'dívku za matku zvolil', прибавляя «strojené». Если даже Я. Гебауер и прав в том, что это — искусственное образование, это бы только доказывало возможность образования от děva деноминативного глагола, а от последнего — причастия стр. наст. вр. и переводчиком Книги Судей. Что до русск. инóчимъ, по Далю «старинного», в значении 'пасынок' (II, 106), то оно засвидетельствовано Русской Правдой по Синодальному сп. и в форме существительного **иноУимъ**, и в форме прилагательного **иноУимль**, но в значении 'отчим', respective 'отчиму принадлежащий'.[4] Напрашивающаяся сама собой мысль о том, что мы имеем в этом образовании причастие от глагола otьčiti, выразительность которого усилена местоимением inъ (стало быть, — 'делать *иного, другого* отцом'), полагаю, подлежит отклонению, во-первых, потому, что перед нами написание рукописи 80-х годов XIII-го ст., предположить для которой -č- из -t(ь)č- затруднительно. Во-вторых, имеем ц.-слав. **иночь** 'первая жена второбрачного мужа, или при многоженстве одна жена в отношении к другой, ἀντίζηλος' и соответствующее прилагательное **иночии**, **иночьнии** 'prioris uxoris[5] и, сверх того, сербск. ѝноча, ѝночица 'Nebenfrau, zweite Frau (neben den ersten)' (Вук). В основе этих слов несомненно лежит inъ в значении 'alius' (не 'unus') + суфф. -ok-. Если допустить существование от него деноминатива *inočiti, — получим гладкое объяснение и для др.-русск. **иночимъ** 'отчим' и для старинно-русск. инóчим 'пасынок' (кстати, хотелось бы иметь, сверх утверждения В. Даля, доказа-

---

[1] РФВ. 66 (1911), 334 сл.

[2] V. sl. Gr. I², 554, § 511.

[3] См. Материалы И. Срезневского I 780 s. v. и II 1116 s. v. *покровъ* и Lexicon Ф. Миклошича s. v.

[4] И. Срезневский. Материалы, I, 1107.

[5] И. Срезневский. Материалы, s. vv.

тельства этого значения): как имеем žěnimъ 'тот, кого собираются снабдить или (просто) снабжают женой' и ženima 'та, которую делают как бы женой', так и здесь, — inočimъ и 'тот, которого снабжают другим или другой' (scilicet отцом или матерью), и 'тот, которого делают, обращают в другого отца' (здесь другой род). Но можно было бы указать и вполне совпадающую с отношением ženimъ: ženima параллель: Ф. Миклошич указывает в Stammbildungslehre, 238, ц.-сл. inoštima 'ἀντίζηλος'; здесь только расходящееся и остающееся для меня неясным -št-.

Ф. Миклошичем там же отмечено еще «krъčimъ faber: krъčь metallum». Заглянув в Lexicon, найдем: «кръчимъ m. χαλκεύς faber aerarius olim 2. tim. 4.14 teste dobr. 248». И, заглянув в Institutiones И. Добровского, найдем: «крчим χαλκεύς, Вульг. faber aerarius, 2 к Тим. 4,14 читается в сп. древнем, вместо коего поставлено после ковач».[1] Я думаю, мы имеем дело с неверным чтением И. Добровского. Слово, занимающее нас, хорошо известно из памятников ц.-слав. письменности (между прочим — Шестоднев Иоанна экзарха), но известно в виде кръчии, русск. корчии; ясна и этимология слова: др.-и. kr̥ṇóti, karóti 'он делает, совершает', лит. kuriù kùrti 'строить', при вед. karmā́ras 'кузнец', kárma 'дело'.[2] Указываемое Миклошичем «кръчь metallum» не может быть документировано ни ссылкой на какой-либо памятник, ни на живой говор. Образование *krъčь несомненно «декомпонировано» Ф. Миклошичем из нашего кръчии, и поэтому Э. Бернекер поступает вполне правильно, приводя это кръчь с крестом и сопровождая замечанием «ist ganz zweifelhaft» (ibid.).

Приводимые Ф. Миклошичем в том же Словообразовании (238 слл.), прилагательные, как žežimъ 'ardens', neopasimъ 'ἀπερίσκοπος, inconsideratus', rodimъ 'consanguineus' (с.-х. рȍђенӣ 'germanus' — по происхождению причаст. *прош.* вр.), куда еще можно было бы прибавить неопалимъ (между прочим в Супр. р.) совершенно прозрачны в смысле их причастного происхождения; но в числе приведенных им прилагательных есть власимъ 'capillorum' из Минеи Михановича, 133: пленице власимнк плетѣше (Lexicon s. v.). Образование этого ἅπαξ λεγομένου для меня неясно и странно; по Миклошичу перевод предложения был бы — «косы волос плела (или плёл)». Не будучи в состоянии проверить ссылки, я мог бы поставить только вопрос: не следует ли читать пленице власи мнк плетѣше (рукопись — сербская XVI в.)? Но это только вопрос.

Остаются русск. нелюдим, проходимец и подхалим. Я не могу указать инославянских соответствий для этих русских образований, и, сверх того, мы не знаем, как они древни. Rebus sic stantibus мы можем строить более или менее вероятные предположения. Все эти слова *могут* быть признаны страдательными причастиями

[1] Даю цитату в русск. переводе М. Погодина 1833 г., стр. 298.

[2] См. E. Berneker SEW. I, 671 s. v. kъrčьjі.

Первоначальное значение нелюдима тогда было бы 'тот, кого «не людят», не выводят на люди', хотя я и не могу указать в славянских языках деноминатива *ljuditi. Первоначальное значение проходимца (образование про-ход-и-м-ьц-ь — такое же, как люб-и-м-ьц-ь) было бы 'тот, кого (презрительно) проходят'. Наконец, подхалим стоит в этимологическом родстве с xol-i-ti и (в более близком, по ступени вокализма корня) с болгарск. б-ха̂л-енъ 'живущий в довольстве', русск. на-ха̂л, нахаль-ный, о которых см. Г. Ильинский, Изв. 20, 4, 142 сл. (с литературой); первоначальное значение подхалима было бы тогда, — при допущении глагола *podъ-xal-i-ti, — 'подбаловываемый' (да простит мне читатель это образование!). Однако, не могли ли быть эти слова образованы суффиксом -им-, отвлеченным из отьч-им-ъ, жен-им-а? В самом деле, когда эти два слова, причастные по происхождению, субстантивировались и вышли из глагольной парадигмы и тем самым попали в новое окружение и отношения с ним, когда, таким образом, связь отьчити: отьчимъ, женити: женима была порвана и заменилась отьць: отьчимъ, жена: женима, старые причастия, а ныне существительные формально стали сознаваться как образования с суффиксом -им- (а не -м-); семантически же, в отношении к тем существительным, для которых они в живом сознании оказались уже производными, получили значение «суррогативности». А чем же, как не презрительностью клеймится всякая суррогативность. Но получившийся в результате точно такой же эволюции суффикс -im- слов ženimъ, (po)bratimъ, (po)sestrima и pootьčimъ оттенка «суррогативности» и, в дальнейшем, презрительности получить не мог, — в первом слове в силу реального значения слова: 'тот, кого можно или должно женить, женимый'; в остальных — в силу того, что они стали обозначать не «суррогаты» брата, сестры и отца, а *желанное* дополнение к существующим или *желанное* же возмещение отсутствующих брата, сестры, отца. Мог ли стать суффикс -im-, извлекаемый из otьčimъ и ženima, в его «суррогативностно-презрительном» значении, при наличности такого же суффикса в (po)bratimъ, (po)sestrima, pootьčimъ в значении «восполнительной и дополнительной желанности» и в rodimъ, l'ubimьсь в значении «каритативном», продуктивным и дать образования как нелюдимъ, проходимьць и подъхалимъ? Всего вероятнее — нет.

За сим, имена собственные. — Т. Маретич имена как Будим(овић), Будим(ка женск.) и Селима женск., признает hypocoristica от Буди-мир и Сели-мир(а), сопоставляя их с греч. Νικο-μ-ᾶς при Νικο-μήδης и т. под., стало быть гипокористическими сокращениями двуосновных имен, с сохранением в наших случаях начального согласного второй основы,[1] а суффикс имен, как Јо̏ксим, Јосим

[1] O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, U Zagrebu 1886, стр. 58 сл. оттиска из Rada.

[Josephus], Маврим(овић) [Maurus], Рисим и Росим признает извлеченным из чужого по происхождению имени Максим (стр. 111, № 88). В. Ташицкий в работе о древнейших (XII и XIII вв.) польских именах личных[1] указывает имена Sulim (: Suli-mir), Siedlim, Cieszym (: Cieszy-mysł), Myślim (: Myśli-mir), Radzim (: чешск. Radi-mír), Tolima (: хорв. Toli-mir), Borzym, признавая их вслед за Маретичем такими же двуосновными сокращениями, как и Broni-sł : Broni-sław, но не исключая возможности видеть в некоторых из них старые страдат. причастия, каковыми по его мнению могут быть легко признаны все указанные, кроме двух первых (стр. 46 сл.).[2]

Сожалея о недоступности мне работы Г. Вейганда о болгарских именах в XXVI — XXIX Jahresbericht Лейпцигского Института румынского языка, 1921 г., я для болгарского по словарю Н. Герова могу указать параллельные сербским Бу́димъ, Бу́димка женск., Риси́мка женск.

К приведенному Алексеем Ивановичем русскому материалу по словарю Тупикова можно прибавить: Балимовъ, Биримъ, Илимъ, Касимъ, Озимъ и, сверх того, имена и фамилии, которые легко можно признать исконными причастиями: Баимъ, Обаимъ, Баимовъ, Багримовъ, Видимко, Гудима, Любимъ, Любимовъ, Сулима, Сулименко, Сулиминъ, Сулимовъ.

Указаны, таким образом, три пути образования суффикса -im- в именах собственных: сокращение двуосновных сложений (точнее — второй его части), образование при посредстве суффикса причастия страд. -mo-, -ma-, присоединявшегося к глагольной основе первого компонента и, наконец, отвлечение суффикса -im- из ненародных, языческих имен; все эти три пути, конечно, не являются взаимоисключающими.

Что касается последнего пути, — отвлечения суффикса из имени Максим, как это указывает для серб.-хорв. Маретич, то едва ли, полагаю, это имя могло быть анализируемо живым сознанием употреблявших его ввиду отсутствия в нем, сознании, наличности «корня» Макс-. Правда, число христианских имен, исходящих на -im-, могло быть значительным, если предположить, что зарегистрированные архиеп. Сергием имена с этим исходом имели значительное распространение в Сербии для монашествующих, на Руси — и в миру;[3] правда, Вадимъ мог быть осмыслен с точки

---

[1] Rozpr. Wydz. filolog. Polsk. Ak. Um. 62, 3, 1926 г.

[2] Приводимое В. Ташицким в числе imion nieodczytanych Glabima (стр. 110) может быть легко причислено сюда же: слов. glábiti, диал. польск. głabię, о которых см. Berneker SEW, I, 305.

[3] Это: редкие в нашей современности Авимъ, Авудимъ, Акепсимъ, Алимъ, Аѳимъ, Аѳимъ, Венедимъ, Дидимъ, Елима муж., Зосима муж., Максима муж., Неофалимъ, Рувимъ, Федимъ, Харисимъ; и довольно распространенные: Герасимъ, Евдокимъ, Евѳимий — Евѳимъ, Иоакимъ, Климъ (Климентъ), Никодимъ, Онисимъ, Трофимъ.

зрения глагола vaditi; правда, если при Витимий было *Витимъ, как при Евѳимий — Евѳимъ, а рядом было Витъ (не у сербов), *Витимъ подлежало живому расчленению на *Вит-им-ъ. Однако, если и мог быть осознан в них суффикс -им-, то, полагаю, только потому, что он несомненно существовал в заведомо анализировавшихся родных, языческих именах и был, вероятно, продуктивным. А в этих последних суффикс -im- должен был иметь значение уменьшительное в таких из них, как Radi-mъ (: Radi-mirъ) и далее Rad-imъ, при котором были Rad-ъkъ, Rad-ochъna, Rad-ošь и т. д. Однако, мы не имеем решающих оснований для утверждения того, что слова типа Radimъ аналогичны по образованию греч. Νικο-μ-ᾶς : Νικο-μήδης, раз подавляющее большинство их может быть признано причастными образованиями, а единичные не поддающиеся этому объяснению могут быть отнесены за счет продуктивности суффикса, восходящего к причастному. Но если даже устранить путь образования типа Radimъ по способу греч. Νικο-μ-ᾶς и признать этот тип исконным образованием причастным, т. е. Radi-mъ, — должен был наступить момент поглощения глагольно-основного -i- суффиксом; стало быть: Rad-imъ, суффикс которого в том же окружении (Radi-mirъ, Rad-ъkъ и т. д.) должен был получить значение уменьшительное. Словом, каковы бы ни были способы образования имен типа Radimъ, результат эволюции их мог быть только одним: выделение суффикса -im- со значением уменьшительности и семантическое сближение (но не совпадение) образований этого типа с образованиями как pobratimъ, posestrima, pootьčimъ, равно rodimъ, l'ubimьсь.

Итак, субстантивация и адъективация ряда причастий наст. вр. стр. з. глаголов IV-го класса имела своим следствием поглощение суффиксом -mo-, -ma- гласного глагольной основы -i-; *возможно*, что в hypocoristica от двуосновных сложений были слова, суффикс -im- которых составился из глагольно-основного -i- первого компонента и коренного согласного m- второго компонента. Так образовавшийся суффикс -im- получил два почти противоположных основных значения, с оттенками внутри их: 1) презрительное на основе «суррогативности» (otьč-im-ъ, žen-im-a) и просто презрительное (русск. нелюдим, проходимец, подхалим); 2) каритативное, как таковое (l'ub-im-ьсь, rod-im-ъ), и уменьшительно-каритативное (тип Rad-im-ъ).

М. Долобко.

Ленинград.
1926. XII. 15.

Паремейник 1271 года, как источник для истории Псковского письма и языка.[1]

Вторая часть знаменитых «Очерков из истории русского языка» А. И. Соболевского, содержащая всего 38 стр., озаглавлена «Псковский говор в XIV веке». Здесь мы находим и научное описание 9 крупных источников для изучения древне-псковского говора, и издание ряда записей и приписок, и рассуждение, в котором древне-псковский говор XIV в. охарактеризован в основных отличительных чертах, и сопоставлен с современными русскими говорами, поскольку эти последние известны были в 1884 г. А. И. Соболевский указал на близость исследуемого говора к говорам новгородским с одной стороны и к западно-русским — с другой. Меткая и яркая характеристика, сделанная А. И. Соболевским открытого им древне-псковского говора дала толчек к дальнейшим исследованиям в этой области. Изучались современные говоры на территории, занимавшейся в XIV — XV вв. псковичами, исследовались древние памятники псковского письма и языка, подняты были вопросы об особого типа южно-славянском влиянии на псковскую письменность, о взаимоотношении древне-псковских говоров с польскими, а равно обоснована была целым рядом новых данных гипотеза о влиянии белорусского языка на псковский. Однако, изучение истории псковского диалекта (как, в частности, определение эпохи и характера влияния западно-русских говоров на псковские) затрудняется вследствие отсутствия в научном обиходе источников по истории псковского языка старее XIV в.

Перед нами Паремейник 1271 г. Изучение текста этого интересного памятника привело меня к выводу, что он является любопытным источником для истории псковского письма и языка.[2]

---

1 Извлечение из доклада, читанного автором в заседании Московской Диалектологической Комиссии, посвященном празднованию 40-летия со времени выхода в свет «Очерков из истории русского языка» А. И. Соболевского.

2 В круг приводимого здесь материала включены мною и некоторые факты из работы участницы моего специального семинария Т. К. Берхман, которая изучала этот памятник по моему указанию.

Паремейник 1271 г. уже давно обращал на себя внимание исследователей На основании записи XIII в. его обычно относили к числу новгородских памятников.[1] Кроме древнейшей, сейчас упомянутой записи на л. 91 об., изданной И. И. Срезневским, мы находим вариант той же записи, писанный рукою XVI в., содержащий еще более определенное указание на Новгород:

Въ лѣто ҂ѕѱѻд҃, написахъ книгꙋ сїю, азъ по҃, ст҃го димитрїа, в великом Новѣградѣ, с своим, сном к црькви стых стр҃стотерпцем, борисꙋ і глѣбꙋ на мꙋгоры заволо...

Рукопись писана тремя лицами: первый писец Захария написал лл. 1—73 об. и кроме того, 10 строчек на л. 227; второй писец, его сын Олуферий, написал текст с л. 74 по 195 об. и с 11 строчки 1-го столбца л. 227 по 255 л.; наконец, третий писец, неизвестный нам по имени, написал лл. 196—226 об. Почерки отца Захарии и сына его Олуферия чрезвычайно похожи один на другой.

Текст Паремейника 1271 г. не всегда является исправным. Наибольшее число неточностей падает на текст, писаный Олуферием. Не невозможно предполагать, что некоторые неисправности были уже в оригинале нашего списка. Описки возможно разделить на 4 группы: 1) пропуски букв (**вънгда** 172, **тѣ** 124, **въвесели** 155), 2) пропуски слогов (**ха[на]нѣискоу** 233, **катапе[та]зма** 194), 3) повторения слогов (**амомонови** 83, **пшешеница** 122), 4) повторения соседней буквы вместо написания нужной (**меже тобою** 47, **югодо** 154 об., **аза** 156). Изредка встречается порча текста через осмысление непонятных слов: **аще принесете ми дар** вм. **аще принесете ми семїдалъ** (здесь, кроме того, пропуск двух слогов вследствие фонетического тожества одного из пропущенных предыдущему).

Рассматриваемая рукопись представляет материал, содержащий ценные указания на русские диалектические особенности, а также обнаруживает далеко не обычную в русских памятниках графику, отражающую письмо и языковые особенности древних болгарских рукописей.

Графика Паремейника и отразившиеся в нем особенности языка др.-ц.-славянского или средне-болгарского оригинала, который лежит в основании его текста, представляют значительный интерес.

Древне-болгарских особенностей не мало: 1) при обычном русском ж из dj, находим нередко и болгарское жд: **междю** 1, 2, 3, 4; **провождю** 25; **юждь** 42;

---

[1] Еще Буслаев в 1861 г. (Историч. Хрестоматия, стр. 73—84), издавая впервые отрывки из этого Паремейника, в примечаниях к тексту указал на «замечательные особенности русского правописаниия» XIII в. и отметил ц вм. ч (**овцамы**). В 1863 г. Срезневский привел запись и приписку, в которой содержится случай цоканья «**концах**». (Древние памятники. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., X. VI. 624). Вполне определенно отнес этот памятник к числу новгородских рукописей проф. А. И. Соболевский (Лекции, 14), а вслед за ним и Н. В. Волков (Статистические сведения, стр. 28).

ноуждею 174; раждаеть 254 и др.; 2) в значительном числе случаев встречаются сочетания рь, ль, хотя русские сочетания ер, ьр, ьл, ълъ и пр. и здесь более обычны: наплънимъ 31; тлъцю 3; плъкъ 163; млънию 169; прьвѣньць 140; жрътвы 175; мрьзость 153 и др.; вѣрхоу 142, дългота 42 об.; потьрпить 200 и мн. др.; 3) наблюдается мена твердых и мягких слогов, но лишь как исключительное явление: хлабы 84; дъжьда 49 об.; 4) т вм. ѳ чередуется с ѳ: ситоу 59 об.; сида 62 об.; дьнии ситовъ 62 об.; матасоула 63 об.; саваѡтъ 92; иѡатамова 65 об; саваѡдъ 54 об. и др.; 5) частое оу и ъ после шипящих; положꙋ 125; възвращоу 125; моужоу 142; чоувьствие 95 об., 112 (чювьствие 34), кожоу за кожю 185; исоушоу 128, жъзлъ 108, нечъстивыхъ 153; 6) наблюдаются нередко нестяженные формы прилагательных: правьдьнааго 86, трѣбоующюоумоу 48, грѧдоущюоумоу 7, правьдьныихъ 108 об., 113, 146 об.; ѿ мимоходѧщиихъ 121; работающиимъ 155 и др. Сохранение нестяженных форм зависело отчасти от того обстоятельства, что Паремейник пели по нотам; 7) нередко отмечены были формы простого аориста: ꙗко прозѧбоу полѧ 22 об.; сн҃ве изъли мимо идоу 12; падоу вьси людье 17; идѧхоу... и не обрѣтоу воды 10 об.; могоу 65 об. и мн. др.

Приведенные факты свидетельствуют об особом типе южно-славянского влияния, который отразился отчасти на некоторых псковских памятниках: Апостоле 1309—1312 г. и Трефолое 1446 г.

К графическим особенностям нашего памятника относится мена ъ и о, ь и е (ѣ), которая возникла в нескольких древне-русских писарских школах вследствие фонетического совпадения в русском языке звуков ъ и о, ь и е, е и ѣ: гнъво свои 106 об.; плаче велии 163; во число 80; льгока 171 об.; бъ оуслышите тѧ 146 об.; моною 145 об.; пъмогъхъ 144 об.; о г҃дь (местн. п.) 203 об.; сл҃нць (им. п.) 225 и мн. др. Иногда находим и вм. ь: пришьльци есмь азъ 31 об.; наведети бъ оружие 101 (ср.: дѣюте 112 об.; соуте 110 и др.).

В виду, правда, редких указанных фактов *графического* смешения ь, е с и воздерживаемся от толкования часто встречаемого им. ед. мое, твое и пр.: градъ мое 132 об.; братъ мое 139 об.; въ родъ твое 145; чинъ свое 192 и мн. др. Не вполне ясны для нас и формы повелительного: слушае 157; послоушае мене 139, вижe 146 и др. Однако, весьма широкое распространение той и другой формы для нас имеет значение.

Важнейшие фонетические особенности нашего памятника следующие.

Замена ч через ц весьма обычна в тексте всех писцов: цюжемоу 5; възалцетъ 76; облицаꙗи же нецьстива 78; плацитесѧ 93; нацаша 107; съконцаютсѧ 122; издалеца 134; ѿтьца 139; отроца 179; ополцишасѧ 197;

оумълците 198; кецно 205 и мн. др. Обратная замена ц на ч тоже не редка, хотя отмечена в меньшем числе случаев: нарчаетьсѧ 6; сиче 15, 14, 25, 26; ѧзычи 22; человати 137, 138; въ роучѣ 197; кольсинча 199; личе 208; въ облачѣ 223 и др.

Не мало находим случаев написания жг, соотв. др. ц.-сл. жд, тоже у всех трех писцов памятника: не ѡдъжги бо б҃ъ на ꙁемлю 41; ѡдъжгити 50; дожгь 84, 203; ѿдъжгить вамъ дъжгь 224. Иногда встречается и дъждь 77 об.; 50.

Замены ѣ через и наблюдать не пришлось, но мена ѣ, ь и е, свидетельствующая во всяком случае о большой близости в говоре ѣ к е—обычна: мьсто свое 150, погыбнѣть 27 об.; будѣть 202 об.; небѣса 85; ѡстанѣть 42 об.; идѣть 27 об.; въ одѣжи 218 об.; мѧтѣжь 64 об.; оутвѣрди 166; сынове̑ 163; мѣжю 254; ѿ севера 170 об.; челове̑ти 138; тѣбе (дат. п.) 124; ресте (аор. 2 л.) 105; ꙁверие 89 об. и мн. др. Постановка ѣ вм. е встречается много чаще, чем обратная замена. Такое же частое употребление ѣ вм. е наблюдается в некоторых псковских памятниках, напр., у 2-го писца второй части Сборника Чудов. Собр. 53/255. Эта черта ярка у всех трех наших писцов.

Замена з через ж встречается лишь в нескольких случаях: въдроужи г҃ь 2, жемлѧ 25, съжижеть 132 об. Обратной замены ж через з мы вовсе не находим, как не находим и мены ш и с. Эта особенность отмечена у первых двух писцов. Среди памятников псковской письменности мы отмечали и такие, в которых замена свистящих с и з шипящими ш и ж и обратная замена весьма редка. Достаточно указать на рукопись 1-го писца второй части Сборника Чудов. Собр. 53/255, где на 167 листах замена с через ш встречается всего 3 раза, причем ни мены з и ж, ни замены ш через с мы вовсе не находим. Любопытно, что тот же писец Чудов. Сборника весьма часто меняет ц и ч, как и писцы нашего Паремейника.

Имеются факты, указывающие на наличность мены оу и в: во нього 197; въвъ соудъ 54 об. (у первого и третьего писцов).

Некоторые указания на твердое р находим, быть может, в следующих случаях: бороущенсѧ 124; вороутсѧ 109; олтаръ 116.

Замена ф через х отмечена один раз у второго писца: ѿ харлона 112.

Несколько случаев замены о через а и один случай обратной замены, быть может, указывают на а̀канье: ꙁемлѧ же бѣ невидимо и неоукрашена 1; аданаи 231 (при адонаи); ѿ осмога д҃ни 231. Впрочем, последние два случая возможно объяснить и иначе (аданаи — опиской; ѿ осмога — морфологическим образованием, ср. яга̀, одного̀ в современных говорах по берегу Чудского озера).

Отметим пропуск первого ь в слове кьсь 115 об. (ср. нередкое всь в псковских памятниках XIV—XV вв., при написании все).

Формы с ь корня рек: рчеться 205; ѿрцѣтеса 195.

На мену е и а, характерную для псковских памятников XIV и XV вв., надежных примеров отметить не пришлось ни у одного писца.

Отрицать близость Паремейника 1271 г. к псковским памятникам в отношении языка и графики совершенно невозможно. Вместе с тем ясно, что псковские особенности языка в нашей рукописи сглажены, и каждый писец вносил очень немного специальных псковских черт: 1) замена з через ж отмечена в наиболее надежном примере у первого писца, 2) замена оу через во находится лишь у третьего писца, 3) замена ф через х наблюдалась в одном примере в тексте второго писца и т. д.

Особенности, свойственные как Пскову, так и Новгороду, отразились в тексте всех трех писцов гораздо более ярко.

Если примем во внимание указание записи об изготовлении текста нашей рукописи в Новгороде, то изложенные сейчас соображения нас приведут к мысли, что памятник наш непосредственно списан с псковского оригинала, из которого и перенесены в Паремейник 1271 г. особенности псковской графики и языка. Особенности этого псковского оригинала, насколько их можно восстановить по исследованному нами списку, в общем те же, какие мы находим в известных нам памятниках псковской письменности XIV—XV вв. При отсутствии источников по истории псковского языка, а также и западно-русских до XIV в., скудные данные Паремейника имеют большое значение.

Вместе с тем Паремейник 1271 г. любопытен и как свидетель обмена рукописным материалом между Псковом и Новгородом в XIII в.

Н. Каринский.

Москва.
1926. XII. 16.

Звук *г* фрикативный в русском литературном языке в настоящее время.

В русском литературном произношении, основанном на московском говоре, которому свойственно *г* взрывное, фрикативный звук γ появляется, как известно, лишь в немногих словах. Это 1) γде, окончание -γда в коγда, тоγда и т. п., причем все эти случаи — варианты произношений тех же слов с *г* взрывным (где, когда и т. д.); 2) тоже варианты произношений: леγок, мяγок, ноγоть, коγоть (при легок и т. д.); 3) случаи появления γ взамен *х* перед звонкими: иγ дом (из их дом); 4) слово буγалтер, причем известно произношение его и с долгим γ; наконец 5) церковно-книжные слова. Свои наблюдения над этими последними я и хочу здесь сообщить.

Мои наблюдения показывают, что перед нами последние остатки разрушающейся и почти разрушившейся традиции. Войдя в речь образованных людей под влиянием южнорусских деятелей, произношение γ вместо *г* захватывало еще в половине XVIII века громадное количество слов,[1] в настоящее же время оно слышится только в следующих немногих случаях: господь, бога (и др. косв. падежи), благо (и производные: благодетель, благодарю, благородный и др.), господин; к этим словам примыкают богатый и богатырь.

Наблюдения над произношением я производил втечение ряда лет своей преподавательской и лекторской деятельности путем опроса исключительно москвичей в классе, в аудитории, в учительских собраниях при чтении лекций преподавателям на многочисленных курсах, съездах, конференциях. Вот какая у меня сложилась картина.

Все слова допускают уже и произношение с *г* взрывным. Убыль звука γ у младших сильнее, чем у старших: в университетской аудитории не редкость встретить молодого человека, не произносящего γ ни в одном из этих слов; наоборот,

---

[1] Что уже в то время γ звучал в устах интеллигенции не во всех случаях, видно из попыток Сумарокова и Тредьяковского установить нормы, где следует произносить *г* и где γ.

в учительском собрании, где присутствуют и молодежь и старики, зачастую встретишь пожилого человека, предпочитающего γ во всех этих словах. Наконец, у молодых москвичей рабочего или крестьянского происхождения сохранность γ в общем больше, нежели у молодежи из интеллигенции. Лиц с духовным образованием я обычно в расчет не беру, так как у них традиция γ часто выходит за пределы интересующих нас слов.

Судьба отдельных слов различна. Если расположить их по степени сохранности γ, то получится такой порядок: 1) господи! 2) господь с косв. падежами, 3) бога и др. падежи, 4) благо с производными, 5) богатый. Остальные перечисленные выше слова на особом счету. Этот перечень следует понимать так: если опрашиваемый произносит господи с *г* взрывным, то обычно ни в одном из дальнейших он не произносит γ; если он говорит γосподи, то это еще не значит, что он говорит и γосподь, и наоборот, говорящий γосподь наверняка произносит γосподи; говорящий γосподи и γосподь, может быть, свое употребление звука γ этими словами и ограничивает, но может быть он распространяет его и на боγа и друг. И так далее.

У молодежи появление звука γ чаще всего ограничено первыми тремя словами. Но произношение γ также и во всех указанных словах у других лиц не режет уха молодежи, имеющей γ только в первых трех: молодой москвич заметит у собеседника произношение, напр., ноγа, но произношение, напр., боγатый пропустит мимо ушей.

Из перечня видно, что в восклицании господи! дольше всего удерживается γ. Различие в судьбе слов господи и господь (с косв. падежами) чрезвычайно показательно: восклицание, молитвенное по происхождению, больше связано с традиционной обстановкой, чем господь — слово, более, чем господи, употребительное и не в молитвенной фразе.

По отношению к бога замечено, что в числе произносящих боγа большинство произносит, однако, бога Аполлона и т. п. с *г* взрывным; почти не встречаются молодые люди, произносящие γ во множ. числе (боги, богов и т. д.), и, наконец, я совсем не встречал молодых москвичей, говорящих боγиня. Это странное на первый взгляд различие в произношении христианского бога и бога языческого опять показательно для суждения о факторах, способствовавших сохранению традиции. Часто встречаются лица с произношением *г* в бога, богу и др.; но с γ в ей-боγу, — случай, повидимому, аналогичный по происхождению с γосподи! при господь. Новейшая (нелитературная) форма им. мн. бога́ произносится с *г* взрывным.

Слово богатый, как видно, наименее сохранило γ. Боγатырь — чрезвычайная редкость. Произношение γосподин и γоспода теперь у молодежи редко; наблюдение показывает, что γоспода, само по себе редкое, чаще, чем γосподин.

Наконец, им. ед. бох, вызванное традиционным боγа, боγу и т. д. и произносимое с x также и теми, кто говорит бога, можно было бы считать единственным, если б мне при моих опросах не встретились два-три лица, произносивших бок: это были юные представители аристократических семей, росшие с гувернерами-иностранцами.

Прибавлю, что в современном сценическом произношении московских Малого и Художественного театров во всех интересующих нас словах преобладает произношение γ.

Д. Ушаков.

Москва.
1926. XII. 16.

К вопросу о путях распространения легенд о мудром Соломоне.[1]

Факт влияния восточных (еврейских, индийских, персидских) представлений на европейскую мысль общепризнан, причем особенно интересным является вопрос о тех обстоятельствах, при которых совершалось это влияние и о путях перехода тех или иных представлений.[2] «Вопрос о влиянии восточных сказаний на повествовательную литературу Запада—говорит акад. Веселовский—остается попрежнему в таком положении: мы признаем, что общение между Востоком и Западом было, на это есть исторические данные; нам стали известны ряды сказок, легенд и эпических мотивов, общих той и другой области, и мы заключаем, что они — результат того же исторического общения. Когда и где оно совершилось — это и есть искомое, которое все еще необходимо определить».[3]

Нашей целью является указать на примере распространения сюжетов, связанных с именем Соломона, на богатство и разнообразие народной словесности Кавказа, представляющего и до последнего времени мощный резервуар народной поэзии и являющегося одним из посредников в передаче бродячих сюжетов с Востока (Индии, Персии, Турции) на Запад.

Основа европейских повестей о Соломоне, по мнению акад. Веселовского, обличает происхождение с дальнего Востока: буддийского и иранского; «но в Европу они

---

1 Изложение доклада.

2 См. А. Н. Веселовский, Собрание сочинений. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и зап. лег. о Морольфе и Мерлине, в. I, П. 1921; Вс. Миллер, Отголоски иранских сказаний на Кавказе. Экск. в обл. рус. нар. эпоса. 1892; А. И. Соболевский, Переводная литература Моск. Руси XIV — XVII в. СПб. 1903; А. В. Багрий, Древне-русское сказание о птицах. Варш. 1912; его же, Народная словесность Кавказа. Мат. для библ. указ. Баку 1926; Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, т. 9, 10, 13, 18, 19, 21, 28, 32, 34; Этнограф. обозр. 1898, 4; 1902, 1; Сборник сведений о кавк. горцах, в. 1. При пользовании изданными текстами произведений кавказской народной словесности приходится принимать во внимание неточность и ненаучность записей. До сих пор издавались, главным образом, переводы подлинных народных произведений—на русском языке.

3 Веселовский, ук. соч., стр. 3.

проникли уже с именем Соломона, что указывает на посредство среды, оставившей на них это библейское имя» (стр. 5).

В легендах и сказаниях различных народов Кавказа находим мы до 30 сказаний о Соломоне, восходящих к отдаленной древности, но бытующих и в настоящее время, которые представляют почти все разнообразие восточных сказаний Соломонова цикла, перешедших впоследствии в Россию и на Запад. Черты, которыми кавказские сказания представляют Соломона, воспроизводят в общем талмудический образ. Он — могучий мудрый властелин; ему служат звери и птицы, его власть простирается не только на земные существа, но и на мир духов; его престол описывается в особенно блестящих красках. Так, по легенде кавказских евреев, «престол этот сделан из золота и серебра и украшен всевозможными дорогими камнями. На престоле вырезаны изображения всевозможных животных. Если жалобщики или свидетели лгут пред судом царя Соломона, то эти животные издают звуки, и царь знает, что они лгут и их обличает тут же» (Сб. XVIII, II, 155). Аналогичные описания Соломонова трона в талмудических и в славянских сказаниях приведено у акад. Веселовского (стр. 157).

У кавказских народов мы находим прежде всего ряд рассказов о мудрости Соломона и его судах. Сюда относятся, например, легенды кавказских евреев о том, как Соломон помог богатому еврею найти украденный у него мешок с червонцами, или о том, как Соломон рассудил трех еврейских купцов, из которых один украл деньги у остальных (узнавание виновного происходит посредством вставного рассказа о девушке, поклявшейся без разрешения своего друга юности не пустить мужа на брачное ложе; Сб. XVIII, II, 140, 139). Указанные сказания выходят к приведенным у акад. Веселовского легендам о похищенных драгоценностях (стр. 93, 96). К приведенным там же легендам об узнавании истинного наследника восходит легенда тех же горских евреев об узнавании наследника при посредстве опускания «локтевой» кости от скелета отца в кровь истинного и ложного наследника (Сб. XVIII, II, 147).

Вторую группу сказаний составляют легенды о неверных или злых женах, связанные с именем Соломона. Так, картвельская легенда рассказывает о совете, данном Соломоном мужику («если он найдет на дороге какую-нибудь редкость, то должен поднять ее и отнести домой; не открывать жене своей тайны и никому ничего не давать без просьбы»), о драгоценном дереве, выросшем из кожицы змея, найденной мужиком на дороге, о богатстве мужика и о потере этого богатства по вине проболтавшейся жены. Аналогичная легенда с небольшими вариантами записана у имеретин (Сб. IX, II, 171). Ряд легенд развивает в образах изречения Соломона «злая жена хуже ангела смерти» или «из тысячи мужчин я нашел хоть одного разумного, из тысячи женщин — ни одной». Так, легенда горских евреев рассказывает о злой женщине, доставшейся в жены ангелу смерти, посланному богом на землю на испы-

тание и не выдержавшему его (Сб. XVIII, II, 142). В айсорской легенде с именем Соломона связан рассказ о злой вдове, не постеснявшейся вырыть труп мужа и отрубить ему голову в угоду молодому незнакомцу, обещавшему на этой вдове жениться (Сб. XVIII, III, 68). В славянских легендах Соломон подобным образом (приказанием отсечь голову живому мужу) испытывает верность жены своего вельможи Декира. О мудрости Соломона, научившего израильтян послушанию посредством наглядных примеров о буйволах, тащивших тяжесть в разные стороны, говорит армянская легенда (Сб. XIII, II, 331).

Третью группу сказаний составляют легенды об испытании Соломона сатаной Ашмадаем (при посредстве двуглавого человека в легенде горских евреев; Сб. XVIII, II, 149) или просто чертями, которые засадили Соломона в яму, и от которых он избавился, начав из камней строить яко бы церковь для их спасения (грузинская легенда; Сб. XIII, II, 332). У акад. Веселовского приведены аналогичные восточные легенды о Соломоне и Асмодее и славянские о Соломоне и Китоврасе (стр. 143, 163, 241).

Четвертую группу сказаний составляют легенды о гордости Соломона и о смирении ее различными способами. В горской еврейской легенде Соломона смиряет муравей, заявивший, что он выше царя, так как сидит у него на ухе (Сб. XVIII, II, 150). Там же рассказывается о покорении Соломоном необычайного города, в котором царь прочел на плите надпись, смирившую его гордость. В грузинской легенде подобное смирение гордости связано с именем Александра Македонского, причем ему сопутствует в походе и дает мудрые советы Соломон (Сб. X, III, 37). Аналогичные сказания, связанные с именем Соломона и Дария, указаны у акад. Веселовского (напр., стр. 117). Легенду о муравье, смирившем гордость Соломона, встречаем мы и у армян (Сб. XIII, II, 158). К этой же группе могут быть отнесены легенды о том, как Соломон захотел построить колыбель для своего сына из птичьих перьев (или костей) и был вразумлен — по армянской легенде — совой, получившей в награду право пожирать ежедневно три воробья (Сб. XXVIII, II, 8), а по айсорской легенде неясытью, получившей такую же награду (Сб. XVIII, III, 68). Соломон вообще, по кавказским легендам, «мог понимать речь всех животных, птиц и насекомых» и имел постоянных четырех советников: одного из людей, по имени Асаф Малхай-оглы; другого из дьяволов, по имени Дирмуда; третьего из животных — льва и четвертого из птиц — орла (Сб. XVIII, II, 150; см. у акад. Веселовского, стр. 158).

Пятый цикл кавказских сказаний о Соломоне рисует Соломона не обнаруживающим мудрости, причем в армянской легенде, например, его поучает отшельник, к которому он приходит за советом, и придворный, который истолковывает символические действия отшельника (Сб. XXVIII, II, 7); по другой армянской легенде Соломона превосходит предусмотрительностью его сын (там же, стр. 9).

Образ Соломона представлял очень удобную почву для всякого рода поэтических наслоений, что очень легко проследить на примерах кавказских о нем сказаний: в них к этому образу прикреплен ряд разнообразнейших мотивов — и испытаний и загадок, чудесных предметов и превращений и т. д. Так, в одной из легенд говорится, что царь Соломон имел гигантских размеров бурку. «Она была выткана из золотых и серебряных ниток, и осыпана драгоценными камнями. Этой буркой закрывался сам царь Соломон и 4000 войск и летели в ней по воздуху, под сводом неба, — их нес ветер. Соломон приказывал ветру нести, и тот нес» (Сб. XVIII, II, 151).

С другой стороны, ряд мотивов, связанных обычно с именем Соломона, переходит в кавказских легендах к другим героям — Александру Македонскому, шаху Аббасу, Балулу, молле Наср-Эддину и т. д. Сюда относятся особенно мотивы мудрости, ее испытания, рассказы о злых и неверных женах, испытания женской хитрости и др.

Так разноплеменный, разноязычный и разновероисповедный (мусульманство, иудейство, христианство с различными оттенками и сектами) Кавказ перерабатывал попадавшие на его территорию сказания, причем территориальная близость иногда очень разнородных народов особенно содействовала интенсивному литературному обмену бродячими сюжетами и мотивами, а сношения с Севером и Западом позволяют считать Кавказ одним из постоянных путей проникновения легендарных мотивов с Востока на Запад.

А. Багрий.

Баку.
1926. XII. 16.

Заметки о «13 словах Григория Назианзина», рукописи XI века.

§ 1. Рукопись «13 слов Григория Назианзина», находящаяся в Публичной Библиотеке, по почерку и языку может быть отнесена к XI веку. Этот важный и интересный древне-русский памятник, списанный с старо-славянского оригинала, издан и исследован А. Будиловичем в 70-х годах прошлого столетия. В издании и исследовании имеется целый ряд неточностей,[1] которые мешают сделать правильное заключение о языке рукописи; кроме того, работа А. Будиловича касается, главным образом, словарной стороны памятника, так что фонетика его, морфология и графика остаются мало обследованными. В настоящих кратких заметках отметим важнейшие категории опечаток и некоторые интересные факты языка и графики «13 слов Григория Назианзина».

§ 2. В издании часто неправильно расставлены или пропущены знаки препинания и надстрочные значки ˇ и ˆ, не всегда правильно указаны строчные и малые буквы, имеются и «случайные» опечатки (*я* вм. ѧ оригинала). Кроме этих «графических» опечаток, имеется ряд неточностей, вводящих в заблуждение исследователя языковой стороны памятника. Именно, в издании почти не оговариваются поправки и подскобки самого переписчика; иногда берутся позднейшие поправки справщика XV—XVI века, вместо ясно проглядывающего старого чтения; наконец, нередко встречаются одни буквы вместо других, хотя «поправок» в рукописи и не имеется. Приведу ряд примеров.

В издании:	*В рукописи:*
тѣмно 2 β	тьмно
възѣмъшє 1 β	въꙁъмъшє
звѣнѧштоу 1 β	ꙁвънѧштоу
мыслѣнъи 2 β	мыслънъи

[1] См. А. И. Соболевский. Лекции по истории русск. яз., 4 изд., стр. 12—13.

мѫжѣмъ 2 γ	мѫжъмъ
остѫждаѭть 10 δ	остоуждаѭть
себѣ 40 β	себе
рекъı 63 δ	ревъı
своѥмоу 73 α	своѥмѫ
ѥгожь 74 γ	ѥгоже
оударѣниѥмь 79 δ	оударениѥмь
тѣлесе 77 γ	телесе
составити 96 α	съставити
свѣщи 101 β	вещи
чьгле 101 δ	ѵьгьле
донъдеже 110 α, β	донъждеже
праведьнаго 118 α	правьдьнаго
тѣлѣсьнъıѩ 139 α	тѣлесьнъıѩ
чинъмь 144 α	ѵинъмъ
мьнѣ 170 β	мънѣ
иставѣи 175 γ	истовѣи
въходить 197 β	съходить
немощьнъ 216 γ	немощьнѣ
творьцѩ 221 δ	творьца
коѥждо 222 α	коѥжьдо
нъ 255 γ	нѣ
изгъıбъли 257 β	иꙁ гъıбѣли
многѣмь 333 γ	многьмь
нѣчьто 353 α	нѣѵьтѡ
чьто 352 α	ѵъто
кръвѩнъıѩ 355 γ	кръвьнъıѩ
съвршаема 360 δ	съвьршаема
оуповаю 362 β	оупъваю
себе 365 β	себѣ
съвършениѥ 366 β	съвьршениѥ
собьрано 371 δ	събьрано

и много других.

§ 3. В «Исследовании» А. Будиловича о разбираемом памятнике отметим два основных недостатка: 1) слова во второй части «Исследования» (словарь) приводятся только в «основной» форме (существительные и прилагательные в именительном падеже, глагол — в инфинитиве), а не в том виде, как они встречаются

в рукописи, 2) приводимые в первой части работы примеры иногда не соответствуют написаниям памятника, напр.:

В исследовании:		*В рукописи:*
8 стр.	ноужда 25 β	ноуждьнъими
9 »	кто 28 α	кто
»	съставноу 28 δ	съставьноу
10 стр.	слъньчънааго 21 δ	слъньчьнааго
»	воспоминаѫщие 275 β	въспоминаѫщие
12 стр.	шѣствиѥ 4 α	шъствиѥм
»	дѣбрь 24 β	дьбрь
»	дѣнь 373 α	дьнь
14 стр.	гласохъ 83 δ	гласъхъ и т. п.

§ 4. В области графики необходимо указать на следующие факты:

1) Кроме обычной каморы ˆ при л и н в значении знака мягкости, три раза встретился в том же значении угловатый крючок, приписанный с правой стороны буквы, как в Сб. Святосл.: мен˥ьшиимъ 141 β, бол˥ьшеѥ 141 γ, въ н˥ихъ 179 α.

2) Сравнительно часто встречается лигатура из двух букв (не отмечено в издании). Так связываются: а + у, г + ъ, д + а, ж + д, и + в, и + и, и + к, и + м, и + н, м + и, м + н, м + р, м + ь, н + и, н + ю, о + т, о + у, т + в (часто), т + є, т + и (часто), т + р, т + ь, ш + и, ш + ч, ш + т, ш + ь, щ + є, щ + и, щ + ь, щ + ю, ъı + и. Случаи лигатуры отмечены не только в конце строк, но и в середине.

3) В конце рукописи нередко встречается ѡ вм. о в середине и конце славянских слов: бѡзѣ 372 γ, нѣчьтѡ 353 α, сѫпрѡ|тивнаѩ 359 β, нерѡжденъıѩ 368 β, грѡ|мѡва 369 δ, прѡ|стихомсѧ 373 δ и т. п.

4) В начале рукописи употребляется шт чаще, чем щ (так на первых 50 листах шт чаще в 4 раза), но в конце памятника шт почти не встречается.

5) На разных листах встретилось 11 примеров написания ы вместо обычного ъı.

6) Около 30 раз отмечено ѥ вместо обычного є после шипящих, но в половине этих случаев ѥ стоит на месте первоначально написанного и, так что им придавать большого значения нельзя.[1]

§ 5. В отделе фонетики обращают на себя внимание случаи пропуска, прояснения и смешения глухих. Часто пропускается слабый глухой только в опре-

[1] Ср. приводимое в «Очерке» А. А. Шахматова: несѫщѥ 233 β, где ѥ из и, стр. 197.

деленных корнях: вьс (39 раз без глухого при 503 примерах с глухим), къто (23 случая без глухого при 140 с глухим), мъног — (85 примеров без глухого и 219 — с глухим), мънѣ (16 случаев опущения глухого при 66 примерах сохранения), негъли, некъли, пътица, пьсати (только без глухого), чьто (15 примеров без глухого и до 300 случаев с глухим). В других случаях корневой глухой систематически остается: чьтж, сьде, тьма, тьл҆-, къде, мьзда, съла-, вънѣ или опускается единично.

В суффиксах глухой пропускается часто в словах под титлом, при полном же написании слова опущения суффиксального глухого редки.

В префиксах, кроме случаев сътвор- и съмотр-, опущение глухого имеется только в единичных примерах.

Прояснение глухих в чистые редко: о вместо сильного ъ встретилось только 4 раза, а е вм. ь (не в падежных формах) в 15 случаях.

Смешение ъ и ь имеет в рукописи довольно значительные размеры, но распространено, главным образом, в определенных формах: твор. ед. сущ. и прилаг. на -мъ вм. -мь встречается в 550 примерах, более 70 раз употребляется окончание -мъ в местн. ед. прилагательных; наоборот, дат. мн. на -мь встретился в 350 примерах, первое лицо мн. ч. глаголов оканчивается на -мь более чем в 150 случаях и т. п.

§ 6. Из «руссизмов» памятника отметим:

1) замену юсов через ѹ, ю, а, ꙗ и обратно;

2) имперфект типа ꙗлаше, прилагательные типа мѣдьнаꙗ 349 α и существительные типа самарꙗнинъ 131 δ;

3) шесть случаев полногласия и один случай начального роз-: роздѣлѣна 203 δ (приписка снизу);

4) начальное о соответственно старославянскому е: одіна 203 δ (приписка снизу) и начальное ѹ вм. старославянского ю: ѹжьнѣи 89 α, ѹності 285 δ, ѹней 29 γ, ѹнꙑꙗ 349 β;

5) нередкое ж вм. старославянского жд и редкое ч вм. щ, шт (5 примеров); вм. ч в таких случаях встречаем несколько раз шч;

6) е соответственно старославянскому ѣ: вредовьнаго 241 γ, телесе 77 γ;

7) отсутствие д в «седмь»: семи 24 β;

8) случаи типа ьр, ьрь и т. п., вм. старославянских рь и т. п.; «русских» написаний встретилось до 70, а старославянских до 1300 случаев;

9) отсутствие д между з и р: единично изрости 333 γ при постоянном д в таких случаях.

Не указываю здесь твор. ед. существ. и прилагательных на -ъмь, -ъмъ, так как подобные окончания встречаются и в старославянских памятниках; в нашем

памятнике примеров с такими окончаниями встретилось более 200. Не приходится считать «руссизмом» и окончание 3 л. глаголов наст. вр. -ть в нашей рукописи; окончание -тъ встречается около 70 раз, в остальных же случаях имеем -ть.[1]

§ 7. Старославянский оригинал «13 слов Григория Назианзина» приближается больше всего к языку Супрасльской рукописи, а русский список с него совершен, вероятно, в юго-западной части древней Руси.

И. Фалев.

Ленинград.
1926. XII. 16.

1 Ср. соображения Ф. Ф. Фортунатова об окончании -ть в Остр. ев.

К истории носовых основ праславянского глагола.

Как известно, в и.-е. праязыке существовала довольно многочисленная категория глагольных основ, образованных от корня посредством форманта -ᵉno-, т. е. того форманта, который является редуцированной ступенью суффиксальной базы -eno-, resp. -ono-. Наибольшей степени продуктивности этот формант, который Brugmann[1] и его школа обыкновенно изображают как -n̥no-, достиг в греческом языке, где слышится огромное количество глаголов типа ἀλφ-άν-ω, κυδ-άν-ω, θηγ-άν-ω, τυγχ-άν-ω, λιμπ-άν-ω, κλαγγ-άν-ω, πυνθ-άν-ομαι и т. п.; менее распространены подобные формы в арийских языках, но все же и здесь можно привести достаточное число примеров типа kr̥pánatē «он делает жалким» или авест. pəšanaⁱti «он сражается»; еще реже аналогичные формы встречаются в арм. яз.: lkhanem «я оставляю», aganim «одеваюсь», но за то в лит. яз. глаг. формы на -in-u едва ли уступают своею многочисленностью греч. формам на -αν-ω; ср. bùdinu «бужу», kùpinu «нагромождаю», svéikinu «приветствую», šlãpinu «увлажняю» и мн. др.

Принимая во внимание глубокую органическую связь балтийских языков с праславянским, мы бы не удивились, если бы соответствующие образования нашлись и в славянских языках. К сожалению, до сих пор нашей науке не удалось подтвердить их существование a posteriori; во всяком случае, мы не найдем никаких информаций на этот счет ни в новом издании «Vergleichende slavische Grammatik» Vondrák'a (I, Götting. 1924), ни в «Le slave commun» Meillet (Paris 1924).

А между тем эта лакуна восполнится сама собой, если мы обратим внимание на следующее.

В укр. яз. существует глагол стогнати «стонать». Как показано мною в другом месте,[2] этот глагол нельзя отделять ни от укр. же стугоніти «глухо звучать», стугнити id., ни от литовск. staũkti, stúgauti «выть». На основании этих комбинаций, я восстановил в упомянутой статье прарусскую форму укр. стогнати как стъгнати,

[1] Kurze vergl. Grammatik, § 669.

[2] Сборник в честь Михальчука, стр. 54 сл.

причем вокализацию слабого ъ объяснял чрезмерным стечением согласных в корне, но теперь, считаясь с фактом, что от только что упомянутого лит. глагола staugiù staũkti нельзя отделять образованный от того же и.-е. звукоподражательного корня stauginu stauginėti «шляться», я не колеблюсь теперь восстановить укр. стогнати как стъг-ън-áти. А если так, то его суффикс -ън- оказывается вполне параллельным лит. суфф. -in-: оба суффикса, в сущности, восходят к одному и тому же форманту -n̥no-, но в то время как лит. отражает его разновидность -[1]n̥no-, славянский— его другой вариант -[u]n̥no-.

Укр. стъг-ън-áти не является, однако, единственным доказательством существования в прасл. яз. глагольных образований типа гр. ἀλφ-άν-ω. Косвенно о том же свидетельствуют чрезвычайно интересные словацкие диал. формы vy-schý̆ňať «высыхать», za-mký̆ňať «замыкать», do-tký̆ňať «прикасаться»:[1] их ý невозможно понять иначе, как обычное в глаголах многократного вида удлинение ъ. А отсюда следует, что некогда в словацк. яз., рядом с perfectiva vy-sch(ъ)núť, za-m(ъ)knúť, do-t(ъ)knúť, слышались durativa *vy-sъch-ън-ati, *za-mъk-ън-ati, *do-tъk-ън-ati, т. е. образования, вполне параллельные укр. стъг-ън-ати.

Но если в прасл. яз. некогда слышались основы наст. вр. *stъg-ън-e-, *sъch-ън-e-, *mъk-ън-e-, *tъk-ън-e-, то нет серьезного основания отрицать существование в том же языке и основ: *stuk-ън-e-, *krik-ън-e, *tьlk-ън-e-, *chlop-ън-e- и т. п. И действительно, именно так (хотя исходя из совсем других соображений) реконструировал эти основы покойный Шахматов в своей монографии «О полногласии и некоторых других явлениях» (67 сл.). В неопр. накл., как свидетельствует упомянутое stъg-ън-ati и довольно многочисленные литовские глаголы на -inóti (ср. linksminóti «увеселять» и пр.), эти глаголы должны были некогда звучать на -ati, т. е. как *stuk-ън-ati, *krik-ън-ati, *dvig-ън-ati, *tьlk-ън-ati и т. д., но, под влиянием еще более многочисленного класса глаголов на -nǫti: sta-nǫ-ti, kos-nǫ-ti, dьrz-nǫ-ti, gyb-nǫ-ti и пр., они превратились, еще задолго до распадения прасл. яз., в stuk-(ъ)nǫ-ti, krik-(ъ)nǫ-ti, dvig-(ъ)nǫ-ti, tьlk-ънǫ-ti и пр.

Таким образом, хотя глагольные основы на -ън- (= гр. -αν- в ἀλφάνω и т. п.) и находятся в настоящее время в стадии очевидного вымирания, все-таки, в славянском праязыке они были не менее многочисленны, чем параллельные им вышеупомянутые лит. образования на -in-ti и -in-óti. Спрашивается, как же объяснить происхождение самой глагольной категории с суфф. -n̥no-?

По нашему мнению, данные славянских языков не только не опровергают, а скорее подтверждают брошенную вскользь Brugmann'ом (op. cit.) мысль, что и.-е.

---

1 Pastrnek. Beiträge, 99.

глаголы с этим суффиксом представляют собой древние образования от *имен* с тем же суффиксом. В самом деле, если, напр., гр. θηγάνω «точу», ведет свое начало от θήγανον «точильный инструмент», и если лит. kùpinu «нагромождать» в таком же отношении находится с kùpinas «нагроможденный», то stъgъnati может быть образовано от имени *stъgъnъ, существование которого косвенно подтверждает укр. стугон «стон» (из *стугънъ).

Но именной суффикс -ънъ (из и.-е. -n̥no-) сам представляет собой не что иное, как низшую ступень суфф. -onъ (из и.-е. -onos). Поэтому рядом с именем stugъnъ мы вправе предположить для прасл. яз. форму stugonъ, от которой и образовано укр. стуг-он-іти «глухо звучать». Аналогичным образом возникли вр. гор-óн-ить «горчить», а также диал. (пудож.) рячкóнет «зарычит», ляпóне «ударит».[1]

Еще в прарусск. эпоху, под влиянием многочисленного глагольного класса на -нути, глаголы на -он-ити стали звучать как глаголы на -он-ути. Так возникли белор. хлопанýть (чит. хлопонýть), влр. звезданýть «ударить» (чит. звездонýть), свр. (вытег.) голзонýть «ползать», пск. и ост. чесанýть (чит. чесонýть), ю.-вр. даванýть (чит. давонýть)[2] и т. п. Во всех этих словах ударение, некогда падавшее на -óн-, перенесено на -нý-, по закону Фортунатова Де-Соссюра: ведь этот слог имел на себе акут.[3] Правда, в млр. яз. ударение иногда остается на древнем месте: товкóнути, рiзóнути, но, как верно заметил Шахматов (op. cit., 67), это произошло под воздействием форм 2 л. наст. вр. товкóнеш, рiзóнеш. Напротив, приходится решительно отвергнуть его догадку, что в глаг. суфф. -он-уть *о* возникло из ударяемого ъ.

Итак, отправной точкой развития интересующей нас глагольной категории были имена с суффиксом -ono-, resp. -ⁿno-. Но как известно,[4] именно эти имена лежат в основе германских инфинитивов на -an. А если так, то, напр., готск. itan «есть» родственно не только с др.-инд. ádanam «еда», но и с р. *едонуть. Этот глагол, правда, теперь не употребляется, но за былое существование его косвенно ручаются вышеприведенные русские формы типа давонýть, резонýть.

Саратов.
1926. XII. 17.

Г. Ильинский.

---

[1] Шахматов, op. cit.

[2] Интересно заметить, что последний глагол увековечен и в русском литературном языке гениальным Тургеневым в его романе «Новь». Ср. «Соломин подошел, не спеша, к обоим посетителям, *даванул* молча руку каждого из них своей мозолистой костлявой рукой...» (Изд. Маркса 1898 г. IV, 107); «Маркелов сперва познакомил Соломина с Неждановым, тот ему снова *даванул* руку...» (ib. 108).

[3] Meillet, op. cit., p. 191.

[4] Brugmann. KVG, § 432.

Заметка о «Скупом рыцаре» Пушкина.

Литературный тип скупца был создан впервые в Италии в лице плавтовского Эвклиона, героя комедии «Aulularia». Эта пьеса, ставшая с эпохи Возрождения предметом многочисленных подражаний в Италии и вне ее,[1] надолго установила общие черты комического типа скряги, нашедшего себе блестящее завершение в Гарпагоне Мольера. Традиционному типу французский драматург придал некоторые жуткие черты, которые дали основание Гете назвать пьесу «ein grosses, in hohem Sinn tragisches Werk».[2] Тем не менее, преобладающая струя мольеровской обработки — комическая. Тип этот остается комическим и у подражателей Мольера.

Между тем Пушкин трактует тип скряги трагически. Примыкает ли он в данном случае к какой-либо литературной традиции?

Трагизм страсти скупости и корыстолюбия нашел себе, повидимому, наиболее раннее литературное отображение в «Божественной Комедии». Грешники, повинные в жадности к золоту, делятся Дантом на три группы: первая (скупцы) мучится в четвертом кругу «Ада» (п. VII), вторая (ростовщики) — в седьмом (п. XVII) и третья (симонисты) — в восьмом (п. XIX). Этой градацией отмечается все бóльшая и бóльшая тяжесть греха, обличаемого поэтом с пафосом негодования. Эти грешники — «золото и серебро сделали себе богом» («Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento», Inferno, XIX, 112); они «жалкие слепцы», потерявшие, из-за своей «безобразной страсти», не только «душевный покой», но и индивидуальный облик: все они на одно лицо (VII, 49—54; 64—66). На шее у грешников второй группы висят кошельки, украшенные фамильными гербами, и только эти гербы дают возможность признать того или другого.

Дант клеймит здесь флорентинских и падуанских патрициев, занимавшихся ростовщичеством. Для нас особенно интересен один: падуанец Реджинальдо дельи Скровеньи (герб его — голубая свинья на белом и серебряном поле). Комментатор

---

[1] Reinhardstoettner. Plautus, 296 f.

[2] Gespräche mit Eckermann, Februar 1825.

П. Сельватико в (сочинении «Dante e Padova») дает об этом патриции следующие любопытные сведения: «Он стяжал себе позорную славу у народа и считался величайшим ростовщиком в то время, когда ростовщичество было своего рода проказой, заражавшей чуть не каждого богача . . . Реджинальдо дожил до глубокой старости, но ни угрызения совести, ни явная бесполезность все новых стяжаний («o il rimorso, o gli oramai inutili guadagni») не ослабили его скупости, которая даже, казалось, становилась все более скаредной и гнусной. Когда приблизился роковой конец, и он понял, что ему остается всего несколько дней жизни, он призвал к себе единственного сына своего Энрика («l'unico figlio suo Enrico») и наказывал ему сохранять, сколько хватит сил, неприкосновенным все, неправедно им нажитое, ибо золото, по его словам, источник могущества, силы, благополучия («perche l'oro, al dir suo, era potenza, forza, salute»). Умирая, он воскликнул: «Дайте мне ключи от сундука, чтобы никто не добрался до моих денег!» («Date mi le chiavi dello scrigno, perchè nessuno trovi il mio danaro»).[1]

Падуанский патриций-скряга XIV в., выведенный Дантом, очень напоминает, во многих отношениях, пушкинского «Скупого рыцаря», также не чуждого ростовщичества. Можно, не обинуясь, сказать, что из всех типов скупца, известных в литературе, дантовский грешник имеет едва ли не наибольшее число точек соприкосновения с бессмертным созданием русского поэта. Они схожи и по времени, и по происхождению: оба принадлежат к высшему слою средневекового общества. Барон Филипп исполнен сознания рыцарской чести и гордости; о подобной же гордости говорит герб на шее Реджинальдо, с которым он не расстается и в аду.

Вера в деньги, как источник могущества, власти и силы, придающая пушкинскому типу такую оригинальность, выражена у дантовского героя, как указано выше, вполне определенно: в золоте он ценит «potenza, forza, salute». Вторая оригинальная черта «Скупого рыцаря» (мало знакомая другим литературным типам скупцов) — мучащие его угрызения совести — также намечена у Реджинальдо; в обоих случаях эти угрызения не уменьшают их скупости. Но «когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый» превращают подвал барона в своего рода преддверие ада, где, еще при жизни, душевными муками он расплачивается за «безобразную страсть». Это еще более сближает его с Реджинальдо.

Подобно барону, и дантовский патриций мечтает и после смерти «сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища хранить». Разительно совпадение с пушкинским героем и в предсмертном восклицании: «ключи, ключи мои . . .».

---

1 «La Divina Commedia con il commento di Tommaso Casini». Firenze 1899, стр. 116, прим. к 64 стиху XVII песни «Ада».

Наконец, сходство задевает и самый сюжет «Скупого рыцаря». У Реджинальдо также единственный сын, которого он, повидимому, тоже держит в черном теле; иначе трудно было бы объяснить его завещание сыну — не дотрагиваться до его богатств и оставить их навсегда неприкосновенными. Неизбежность конфликта сына с отцом здесь уже намечена.

В 1830 г., когда был написан «Скупой рыцарь», Пушкин очень интересовался Дантом и начал свой замечательный отрывок «В начале жизни школу помню я», в котором заимствует не только внешнюю форму (терцины) у автора «Божественной Комедии», но и некоторые мотивы самого содержания поэмы.[1] К тому же году, по всей вероятности, (или к ближайшим годам) относятся два явных подражания Данту, хотя и в пародийном стиле, также терцинами: «И дале мы пошли — и страх объял меня» и «Тогда я демонов увидел черный рой».

Весьма знаменательно, что в первом из этих подражаний речь идет снова о ростовщике: душевным пыткам барона здесь как бы противопоставляются физические загробные мучения «печеного ростовщика», которого бесенок «крутит у адского огня». Знаменательно и то, что тему о ростовщике Пушкин в «Скупом рыцаре», так сказать, удваивает, ставя рядом с трагическим типом властного скупца обычного мелкотравчатого ростовщика «проклятого жида, почтенного Соломона» с традиционным комическим обликом. Таким образом, поэт прибегает к трем стилям — патетическому, комическому и пародийно-гротескному — для изображения различных вариантов одного основного типа сребролюбца и лихоимца, пользуясь для своих художественных целей и дантовскими мотивами.

Основательное знакомство Пушкина с «Божественной Комедией» отчасти в подлиннике, отчасти во французском переводе не подлежит сомнению, как я старался выяснить в упомянутой статье. Читая ее, он не мог не знакомиться с комментариями, обычно печатаемыми при тексте. Каким из комментированных изданий он мог воспользоваться? Этот вопрос пока приходится оставить открытым впредь до новых изысканий. Но, во всяком случае, нельзя не отметить эту интересную параллель, это неожиданное совпадение, в целом ряде черт, дантовского мрачного скупца-патриция с пушкинским трагическим рыцарем.

Итальянская новелла эпохи Возрождения, продолжая как будто традицию Данта, склонна изображать страсть скупости в довольно мрачных тонах. Английские драматурги нередко заимствовали оттуда подобные типы. Таков Барабас в трагедии Марло «Малтийский жид» (1590), превышающий всех своим трагизмом, таков шекспировский Шейлок, хотя и комический тип, но стоящий на границе с трагическим, таков, наконец, Бартоло в трагедии Мильмана «Фацио» (1815).

---

[1] См. мою статью «Пушкин и Данте». — «Пушкин и его современники», т. XXXVII.

Из них только Бартоло представляет некоторое сходство, хотя весьма незначительное, со «Скупым рыцарем».[1] Шейлок, высоко ценимый Пушкиным, как художественный тип, мог отразиться разве только в изображении «почтенного Соломона». Барабас же — тип совершенно иного замысла.

С другой стороны, в итальянской комедии XVIII в. — наблюдаются любопытные параллели к «Скупому рыцарю». Но этот вопрос подлежит особому изложению.

Матвей Розанов.

Москва.
1926. XII. 17.

---

[1] См. Чебышев, А. А., статья в Сборнике «Памяти Л. Н. Майкова». СПб. 1902. Изд. Академии Наук.

Семья, сябр — шабёр.

Этимологическое исследование.

Академик А. И. Соболевский в статье «Семца, сябр, шабёр»[1] не только привел несколько весьма убедительных свидетельств из древнерусских памятников в пользу семасиологической близости этих слов между собою и словом семьѧ́, но и высказал важные соображения в пользу исконной этимологической связи их между собою.

Слово семця А. И. Соболевский указывает в известном месте Поучения Владимира Мономаха: срѣтоша ны внезапу полове|цьскыѣ князи · ӣ · тысяць · и|хотѣхо с ними ради битися · | но ѡружье вьхомъ услали | напередъ на повозѣхъ · и вни|дохо в городъ · толко семцю ѩ|ша ѡдиного живого · ти смердъ | нѣколико · а наши ѡнѣхъ боле | избиша и изьимаша (Лавр. лет., л. 81[г]). Не справляясь с прежними изданиями Лаврентьевского списка, отмечу лишь, что во 2-м издании Археогр. Ком. 1926 г. «Семцю» напечатано с большой буквы, что дает повод думать, что редактор признал это слово собственным именем, а отсутствие этого слова в «Материалах для слов. древнерусск. яз.» Срезневского заставляет думать, что таково было мнение и Срезневского и других исследователей языка русских летописей и в частности внесенного в Лавр. список «Поучения», о котором имеются и специальные исследования Ивакина (1901 г.) и Н. В. Шлякова (Ж. М. Н. Пр. 1900 г.), правда, почти исключительно с точки зрения историко-литературной. Между тем А. И. Соболевский в указанной мною, весьма интересной и важной для исследования словарного состава и словообразования древнерусского языка, статье совершенно справедливо, я думаю, считает семца родственным с словом сѣмьѧ́, возводя к *сѣмьця (*sě́mьća) со значением «младший член семьи, слуга».

Что касается известного из старославянских текстов едва ли не русской только рецензии (Златостр. XII в., Ж. Нифонта XIII в. и друг.) собирательного сѣмиꙗ, то, кроме отмеченных в Матер. Срезневского двух значений «челядь, домочадцы»

[1] Ученые Записки в. школы г. Одессы, отд. гуман.-общ. н., т. II, 1922 г., стр. 61—62.

и «семья», А. И. Соболевский приводит и третье — «супруг, муж или жена». Очевидно, собирательное **сѣмиꙗ** так относится к первообразному того-же корня, как **братиꙗ** к **братъ** и т. п.; такое первообразное могло бы быть с основой на *о* или *ĭ*; последнюю мы вправе видеть в приводимой Миклошичем в Lexicon palaeosloven. форме **сѣмь**, достоверность которой, впрочем, подвержена сомнению в виду того, что она восстановлена им по позднему и единственному источнику — старопечатной Кормчей 1653 г., имеющей семь (с буквою *е*) соответственно слову **семьꙗ** рукописных Кормчих XVI—XVII в. Кроме того Востоковым и Миклошичем из Златоструя XII в. приводится слово **сѣминъ** «раб, домочадец» с обычным суффиксом -ин-, которое, как и *sěmь(ćа), предполагает какую-то более древнюю основу *sěm-, сочетаемую с тем или другим суффиксом. Старое ѣ (*ě*) этой основы достаточно засвидетельствовано примерами из памятников XII в., не смешивающих буквы ѣ с буквой *е*, но замечательно, что 1) эта основа не отмечена в древнейших старословянских памятниках не-русского письма, 2) что она неизвестна в других словянских языках, кроме русских, и что 3) колебание между звуками *е* и *і* в украинских словах сем'я́ни́н и сі́м'я́ — сем'я́ (Гринченко) наводит на мысль о заимствовании этих слов украинским языком из русского литературного языка. Между тем в числе древнерусских памятников, имеющих это слово, мы замечаем, с одной стороны, много текстов оригинальных, частию среднерусских (грамота Ольга Рязанск. 1356 г., договор Димитрия Иван. 1375 г. и друг.), частию новгородских (XIV—XV в.), на народном восточнословянском языке, в которых это слово, со значением «семья, семейство», написано через *е* при правильном употреблении ѣ в других словах (напр. грамота Ольга Ряз. 1356: **пѣсоүна а в неи̇· т҃· семии̇... ҁаꙗ|үинъı а̇ в неи̇· с҃· семиӥ... съ ѡҁеръı и с бобръı и̇ с пе|ревѣсьи̇ци..., ...прадѣдъı..., гдѣ и̇мүть | сѣдѣти...**, с севернорусским ѣ в наречии места);[1] с другой стороны, ряд текстов церковно-словянских большею частью переводных (Златоструй, Жития святых, Пророчества),[2] древнейшие из которых представляют правильно ѣ в нашем слове со значением «челядь, домочадцы, рабы» (οἰκέται, ἀνδράποδα).

И между тем как первый ряд текстов не оставляет сомнения в том, что слово это в XIV в. было в живом или по крайней мере в деловом языке средней и северной Руси на пространстве от Рязани до Новгорода, второй ряд столь же решительно свидетельствует о принадлежности его литературному языку древней Руси не позже XII столетия, т. е. языку старо-словянскому (старо-болгарскому) в его русской обработке, и несомненные южнословянизмы этих текстов дают право предполагать, что это слово, хотя в несколько ином значении, было в живом южнословянском

---

[1] Срезневский, Материалы, т. III, 893; Дурново, Хрестоматия по истор. русск. яз., М. 1914, стр. 31, где текст издан по рукописи Моск. Арх. Мин. Юст.

[2] Срезневский, Материалы, там же.

языке, легшем в основу древнейшего литературного языка восточных словян, и нам представляется поразительной случайностью отсутствие его в числе слов, извлеченных из Супрасл. Сборника XI в. и других подобных текстов южнословянского письма, хотя эта случайность вполне согласуется с показаниями живых южнословянских языков. Любопытно, однако, что А. И. Соболевский привел сѣмия в знач. «familia» (в цитате из евангелия), «familiaritas», из «Бесед» Григория В. по Погод. списку XIII в. № 70.[1] Таким образом, не исключена возможность, что слово это попало в ц.-словянский язык в северно-словянской языковой среде. Чем объясняется, однако, *е* вместо ѣ русских грамот? Тем ли, что слово заимствовано, или тем, что мы имеем вариант коренного гласного?

Между тем следующие сопоставления, давно уже сделанные исследователями словянской этимологии,[2] поддержанные и новейшим трудом Р. Траутмана,[3] не вызывающие сомнений в виду близости значений и звуков сопоставляемых слов, позволяют предполагать в нашем слове праслованск. ѣ (*ě*) дифтонгического происхождения в чередовании с *и* (*i*), которого, однако, не находим: лит. šeimà, šeimýna «челядь» (Trautmann, Kurschat и др.), прусск. seimīns, лотышск. sàime «семья» и «челядь», sàimeniẽks «хозяин».

Мейе[4] видит в словянских *sěmь, sěmĭja и литовском šeima образования с суффиксом *m*, сравнивая по корню с другим суффиксом лат. cīuis и др.-в.-нем. hīwo. Возможно, что того же происхождения и готск. háims «деревня» (= новонем. heim «домой»).[5]

Всё это позволяет сблизить и греч. κεῖμαι, κοίτη, κοιμάω, которые приходится отделить от словянск. по-чи-ти, по-кой, так как последовательно выдержанное греч. κ (не τ и не π) указывает на праязычный корень *k̂ei̯- | *k̂oi̯- в значении «лежать», «жить». Ввиду этого справедливо отделяет Преображенский и лит. kiẽmas «деревня» и kaĩmenė «стадо» и лотышск. zẽms (*z* = *c* из *k*).

Но А. И. Соболевский в указанной выше статье о «семца» связывает и эти балтийские слова с нашим *sěmьja предположением о заимствовании их из словянского праязыка древнейшего периода (до монофтонгизации ai̯ и oi̯) с обычным изменением балтийцами словянского *х* в *k*; предполагая же праслованское *х*, из которого следовательно в период монофтонгизации и второго смягчения задненебных явилось вторичное словянское *ś*, мы должны поставить вопрос о происхождении этого *х*.

1 Церковно-славянск. тексты моравского происхождения, Варшава, 1900, из Русск. Фил. Вестн., стр. 53.

2 Miklosich. Lex. Palaeoslov. 186 2/5 и Etymolog. Wb. 1886 г., Преображенский, Этимол. слов. русск. яз. 1916 г.

3 Baltisch-Slavisches Wörterbuch (Göttingen, 1923), pp. 300—301.

4 Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, II, 1905, 428.

5 См. Streitberg, Gotisch. Elementarbuch; Преображенский, Этим. словарь, II, 275.

Если мы принимаем на основании выше приведенных сравнений индоевропейские сочетания с начальным $\hat{k}$ (средненебным), то мы в словянском праязыке не ожидаем *x*, а только *s*, как в словах с(ъ)то, десять, солома, сердце и многих других (сравн. греч. — χατόν, δέχα, χάλαμος, χαρδία, лат. centum, decem, cor, с одной стороны, лит. šim̃tas, dẽšimtis, šálmas, др. инд. çatám, daça и др., с другой); *x* в малорусск. прохáти, белорусск. и великорусск. прохáть несомненно позднейшего происхождения и вызвано аналогией чередования *x* и *s* в других случаях (древнее словянское *s* в просúти из праязычного $\hat{k}$, сравн. лат. procus и лит. prašýti). Ведь словянск. *x* мы имеем обычно из первоначальных *s* или ks, менее вероятно из kh,[1] причем *x* из *s* в начале слов (ходъ) обычно объясняется влиянием аналогии сочетаний корней с начальным *s* с предлогами pri- или u- (Pedersen, Ильинский, стр. 12); более же часто можно доказать начальное *x* из ks (напр., в словянском hudъ из *ksou̯dos, сравн. древнеинд. kṣudrás,[2] сравн. такое же *x* из ks в аористах рѣхъ, тѣхъ, жахъ).

Хотя вопрос о происхождении словянского *x* после исследований многих ученых все еще не вполне ясен, и не всякое *x* или явившееся из него *ш* перед гласными переднего ряда объяснено удовлетворительно, тем не менее можно считать установленным, что индо-европ. *s* обязательно переходило в *x* в положении перед гласными после гласных i, u и согласных *r*, *k*. Но особенно темным является вопрос о происхождении *x* в начале слов, и во многих словах оно объясняется заимствованием из соседней с словянскою областью языковой области германской, имевшей *h* из индоевроп. *k*; таково *x* в словах старослов. хлъмъ, русск. холм, чешск. chlum, старослов. хызъ (русск. хижина), хѫдогъ (русск. художник) и некотор. других: сравн. н.-немецк. Holm, англ. holme, готск. -hūs, handugei[3] и друг. В своих «Русско-скифских этюдах»[4] А. И. Соболевский посвятил главу интересному вопросу о словянском праязыке и в частности о словянском *x* из *s* в сравнении с подобными явлениями других индоевропейских языков, древне-бактрийского и греческого. Соглашаясь с почтенным ученым в том, что после многих попыток еще остались примеры словянского *x* неясного происхождения, но полагая, что во всяком случае мы должны помнить, что не всякое словянское *x* произошло из *s*, я считаю весьма ценным предположение о неоднородном, смешанном происхождении словянского праязыка: из языка *s* (словяно-балтийского), с одной стороны, и языка *x* (наречий скифского языка—иранской ветви), с другой.[5] Возможно, что *x* из *s* между гласными, а может

---

1 См. обстоятельное исследование Г. А. Ильинского «Звук ch в славянских языках» в Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. 1915, XX, кн. 4.

2 Ильинский, op. cit., 53.

3 Streitberg, Gotisches Elementarbuch. Heidelberg 1906.

4 Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. 1922, т. XXVII, стр. 321—332.

5 Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., XXVII, стр. 331.

быть при известных условиях в начале слов и несомненно в конце слов (ŭs > ъ), в противоположность сохранению *s* в литовском и других балтийских языках, обязано влиянию южных соседей словян — иранских скифов черноморских степей.

Принимая в семья *s* из *x*, А. И. Соболевский этимологически связывает это слово с другим — сябръ, давно известным по древнерусским актам северо-западного края с начала XV в.,[1] а по указанию Соболевского и ранее — в послании киевского митр. Климента Смолятича XII в. по списку XV в. Кирилло-Белозерск. библ., изданному в 1892 г. акад. Н. К. Никольским («и҃згои же и҃ сѧбры҃», стр. 104), обычным до сих пор в языке западно-русских местностей в значении «пайщик», «сосед», с производными сябра́ «артель», «община», сябру́к и т. п., принятыми и современным государственным белорусским языком. Даль (Толк. словарь) отмечает сябёр, сябр, ся́бра, сябро́вщина как ряз., курск., псковск., орловск., С. К. Булич[2] — сябра «землед. артель» из Вытегорского у. Олон. губ. и ся́бра «знакомый», «приятель» Псковск. (Великолуцк.), ся́бры «товарищи» (Рязанск).

Так как сябр северозападных, белорусских и южновеликорусских говоров вполне соответствует восточнорусскому (в большинстве великорусских говоров) шабёр, множ. ч. шабры́, известному также с XV в.,[3] а сочетание ся- объясняется из праславянского sę, передававшегося в старославянской графике через сѧ-, то А. И. Соболевский, считая возможным этимологически сблизить древние сѧбръ и сѣмьꙗ и объяснить в первом чередование *с* и *ш* подобно чередованию *с* и *ш* в словах се́ръ и се́дъ (польск. szary, szadź «изморозь», чешск. šedivý, šadý «седой», «старый», белорусск. шера́к «заяц»),[4] допускает, очевидно, здесь особо мягкое *ś*, как результат второго смягчения *x* перед *ě* из дифтонга, и вследствие этого считает возможным возводить *sębrъ к *sěm-ь-rъ. Я не буду говорить о том, что некоторые ученые, напр. Белич в статье «Најмлађа (трећа) промена задњенепч. сугласника»...,[5] также в рецензии на Трубецкого,[6] отрицают фонетич. переход вторичного праславянского *ś* в *š* и не видят следов древности в польских формах we włoszech, объясняя их путем аналогии, так как это желательно подвергнуть критике в специальной работе о втором и третьем, если угодно принять и последнее, смягчении задненебных согласных. Здесь я скажу лишь, что не сомневаюсь в одинаковой степени мягкости *ś* в праславянских формах *vьśь и *vьśěxъ, *ć* в *otьćь, *otьćixъ, с одной стороны, и *vḷćі, *vḷćěxъ, с другой, и в том, что *i* в местн. пад. после *s*, *c* —

1 Срезневский, Материалы, и Дювернуа, Материалы для словаря древнерусского языка, М. 1894.
2 Материалы для русского словаря, СПб. 1896, стр. 35.
3 Срезневский. Материалы, s. v.
4 О чем сравни его же «Лингвистич. и археологич. наблюдения», в. I, 1910, стр. 13—15.
5 Јужнословенски Филолог, 1921, књ. II, стр. 30—31.
6 J. Ф. 1922—1923, III, стр. 137.

одних слов, ě в тех же формах других не могут свидетельствовать о бóльшей или меньшей степени мягкости, а обусловлены совсем другими причинами.[1] А возвращаясь к слову сябр, с которым я отождествляю средне- и северно-великорусск. шабёр, я, вопреки мнению Миклошича,[2] примыкавшего к Шафарику[3] и, несмотря на справедливые замечания Потебни,[4] повторившего то же в Etymolog. Wörterb. (1886 г., стр. 289), не вижу оснований отделять от восточнословянского сябр (с вариантами се-, си- в себрóвщина, сибрá, понятными в известных говорах) старосербское себрь, известное в законике Стефана Душана XIV в.[5] и в словянском переводе «Синтагмы» Властаря[6] соответственно греческому εὐτελής «дешевый, простой, ничтожный». В новосербском сȅбар синоним обычного тȅжа̑к «земледелец» (В. К.). Значения восточно-словянского и южно-словянского слова почти буквально соответствуют в древнейших памятниках; оба означают, хотя и свободных, но простых, неполноправных поселян (в старосербск. противополагается выражению «поч'тень»). Возможно, что из древнейшего значения «члена семьи», — «члена общины» развилось позднейшее «пайщик», «товарищ», «сосед». Звуковое соответствие буквально: вост.-слов. ся-, как и южнослов. се-, ясно указывают на прасловянск. sę-, на которое указывает и заимствованное мадьярск. szimbora (Miklos. Et. Wb.). Думаю, что лит. sēbras (Kurschat) и лотышск. sābris — заимствования из западнорусских говоров. Менее ясны приводимые Миклошичем (Et. Wb.) лотышск. sōbars, suburs «bauernhändler». Замечу, что прасловянск. *sębrъ с носовым гласным принято и Сольмсеном (K. Z. XXXVII, 592), и Петерсоном,[7] но оба производят его от к. *sebh-, что̀ в древне-инд. sabhā́ «сход деревенской общины», готском sibja, н.-нем. sippe, русск. о-соба (сравн. сербск. сȅбица, пòсебнӣ), предполагая разносклоняемость *sebh-er, gen. *sebh-n-es, откуда *sembhnés. Не думаю, чтобы это было более убедительно, чем *sĭm-b-rъ, в котором согласно с А. И. Соболевским мы предполагаем общую коренную основу с словом *sěmьja, но в слабой вокализации, строя чередование *sei̯m- | *soi̯m- | *sĭm-. Построение *sěm-b-rъ представляется маловероятным, пока не опровергнуто то принятое, кажется, почти всеми исследователями сравнительной словянской фонетики положение, что образование носовых гласных предшествовало монофтонгизации старых (до-словянских) дифтонгов. Переходя к вопросу о том, в праве ли мы предполагать здесь *s* вторичное из прасловянского *x*,

---

[1] Сравн. Casimir Nitsch, Revue des études slaves, t. VI, 1926, p. 42—53.

[2] «Die Fremdwörter ...» 1867 г.

[3] Starožitnosti, 15,6.

[4] К истории звуков русск. яз., 1883 г., IV, стр. 29.

[5] Даничић. Рјечник из књиж. старина српских, 1864 г., III, 99.

[6] Novaković, Die Ausdrücke себрь, поч'тень und мѣроп'шина in der altserbischen. Übersetzung des Syntagma von M. Blastares, Archiv f. slav. Philol. 1886, IX, 521—3.

[7] Studien über die indogermanische Heteroklisie. Lund 1920, p. 71.

мы должны сознаться, что доказательств этого мы не имеем, и что во всяком случае оно могло получиться лишь в слове се́мья́ < sěmьjá, но не в слове *sębrъ, так как из *xębrъ получилось бы *šębrъ с общеславянским š (ш). Если бы мы нашли доказательство праслов. *śěmьja из *xoįmīįā, т. е. если бы в каком-либо из западно-славянских языков нашлась форма *šem- из *śěm-, то нам бы пришлось отделить это слово от непосредственной связи с выше приведенными балтийских языков, указывающими на коренное k̂: славянское слово могло быть заимствованием из германского, по корню родственного с указанными балтийскими. Но возможно было бы еще другое: предположение балт. славянского начального ks подобно предполагаемому в числительном шесть, литовск. šešì, латышск. seši из *kseš-.[1] На это наводит приводимое Вондраком[2] сопоставление слов сѣмья — šeimýna с древнеинд. kṣēmas «дом», «жилище»; но славянск. x получалось лишь из kṣ, не из k̂s, как показывает ф. аориста нѣсъ из *nēk̂som.

Под конец для нас остаются невыясненными два вопроса: 1) ударение ся́бр, белорусск. ся́бра, сербск. се̏бар, с одной стороны, и великорусск. шабё́р, сябры́ в соч. Климента Смолятича, с другой, но его можно выяснить параллелью сербского о̏штар и вел. русск. остё́р;[3] 2) отношение восточно-великорусского ш в этом слове к древнерусскому и западнорусскому с. В виду несомненной древности s и вторичности š, мне кажется, здесь мы имеем явление, независящее от праславянского происхождения s и находящееся в связи с трудностью сохранения в ряде великорусских говоров мягкости s в сочетании śä, которое изменялось то в твердое sa-, то в ša-, также отвердевшее: от корня *sęg- мы имеем в русском литерат. языке саже́нь < *сажень, с одной стороны, и шаг < *сагъ, с другой; последнее отмечено Далем в пословице: «сторо́жкая дѣвка на *сяжо́к* не подпустит». Возможно, что произношение ša- началось в говорах шепелявых типа псковского и подобных.[4]

Б. Ляпунов.

Ленинград.
1926. XII. 20.

---

[1] Trautmann, Baltisch-slav. Wb., 144.

[2] Vergl. Slav. Gram., 1924, I B., 2-te Aufl., 440.

[3] Ср. Белић. Акценатске студије, књ. I, 1914, стр. 124.

[4] См. Колосов, Обзор, 178; Дурново, Соколов, Ушаков. Опыт. стр. 38; Е. Будде, К истории великорусских говоров, 1896, ч. II, гл. IV.

Из начальных лет литературной деятельности Симеона Полоцкого.

Обширное литературное наследие Симеона Полоцкого до сих пор не только мало изучено, но даже целиком не разобрано и не описано.[1] Попадающиеся в рукописных сборниках XVII—XVIII вв. анонимные силлабические вирши нередко являются произведениями Симеона, извлеченными, без указаний на автора, из его стихотворной энциклопедии «Вертоград Многоцветный» или из его же свода приветствий, поздравлений и других образцов одической и элегической поэзии — «Рифмологион». Исследователи старой нашей литературы публикуют эти анонимные вирши, не имея возможности установить авторство Полоцкого, и о нем не подозревая. Так, в свое время акад. М. И. Сухомлиновым в числе параллелей к повести о Шемякином суде приводилось, по одному из сборников Публ. Библиотеки стих. «Судія нѣкто дароимецъ бяше»,[2] принадлежащее Симеону и помещенное в «Вертограде». Так, позже, в первом томе «Историко-литературных исследований и материалов» (СПб. 1900) акад. В. Н. Перетцом, по рукописям той же библиотеки опубликован и разобран перевод польской духовной песни «O próżności świata» (131—150 стр.) и высказаны предположения о переводчике: перевод этот тоже сделан Симеоном Полоцким, как явствует из рукоп. F. XVII. 161 Публ. Библ. (л. 141—142 об.; дата — май 1672 г.) и из «Рифмологиона» (Син. Б. № 287, л. 423—424 об.). Примеры эти далеко не единственные.

Наряду с ними встречаются и обратные случаи, относящиеся преимущественно к начальному периоду литературной деятельности Симеона Полоцкого. Несмотря на новые публикации (новые биографические данные, сообщенные И. М. Тарабриным, С. Т. Голубевым, К. В. Харламповичем), этот период во многом для нас еще темен. Если установлен факт обучения Симеона в Киевской коллегии, остается под вопросом прохождение им курса католической академии, и не заполнены никакими событиями

---

[1] Перечень новейших публикаций произведений С. Полоцкого см. в статье С. А. Щегловой «Русская пастораль XVII в.» («Беседы пастушеские» С. Полоцкого) в сб. «Старинный театр в России XVII—XVIII вв.» под ред. акад. В. Н. Перетца. Пб. 1923, стр. 65—66.

[2] Сб. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. 85, стр. 659.

годы, ближайшие к 1656, когда собственно и начинается его биография. С этого года обычно начинают и говорить о его виршеписании. Можно считать несомненным, что первыми опытами Симеона были стихи на польском, латинском и «белорусском» языках; стихотворная деятельность его долго носила келейно-школьный, интимный характер; лишь с 1656 г. Симеон начинает выступать со стихами перед более широкой аудиторией. Таковы известные упоминаемые Л. Н. Майковым[1] и цитируемые И. Татарским[2] «Метры на пришествие великого государя Алексея Михайловича». Однако, как указал уже К. В. Харлампович,[3] «Метры» — не единоличный труд Симеона, а коллективное произведение отцов и братии Полоцкого Богоявленского монастыря. Еще в меньшей мере принадлежат Симеону стихи во сретение иконы божией матери, возвращенной в 1659 г. в монастырь царем Алексеем. Эти стихи, в авторе которых не сомневался, напр., Л. Н. Майков, находящиеся и в «Рифмологионе» (Син. 287, 335—338) и в отдельных сборниках (Син. № 877, 4—8, Син. Типогр. № 4308/1800 л. 34 и сл.) написаны, по указанию самого Симеона Полоцкого — отцом Филофеем Утчицким, впоследствии (вероятно, с 1668 г.) — игуменом Полоцкого Богоявленского монастыря.

Можно полагать, что монастырь этот, в бытность в нем Симеона Полоцкого, являлся, отчасти благодаря своей школе, вообще средоточием литературных занятий и книголюбия. Его игуменом был воспитанник киево-братской школы Игнатий Иевлевич, известный своей автобиографией,[4] речами[5] и участием в церковном соборе 1660 г. по делу патриарха Никона. Царь Алексей Михайлович отметил просвещенного игумена, имевшего, кстати сказать, и друзей в Москве, в лице Ртищева и А. Л. Ордина-Нащокина, разнообразными милостями: Богоявленский монастырь, благодаря его ходатайству перед царем, получает охранную грамоту в 1656 г., а в 1658 г. патриархом Никоном он взят под свою руку и освобожден от зависимости и власти епископа Каллиста, с которым, повидимому, руководители монастыря не очень ладили. У Симеона с о. Игнатием были наилучшие отношения: впоследствии Симеон получил от него, для своей обширной библиотеки, ряд рукописей и книг, из которых особенно ценным для Симеона приобретением было «Зерцало» Викентия из Бовэ (Vincentii Bellovacensis), излюбленного Симеоном писателя, которого он и переводил, и перелагал в стихи для своей стихотворной энциклопедии. Сохранился (Библ. Син. Типогр. № 3267) экземпляр «Speculum historiale» 1624 г. с надписью Игнатия Иевлевича и с заметкой о переходе книги в собственность Симеона в 1670 г. Нет сомнения,

---

1 Очерки, стр. 7.

2 Симеон Полоцкий, 49—50.

3 Малоросс. влияние, 380.

4 Напечатана проф. С. Голубевым в «Истории Киевской дух. ак.», I, прил., 74—79.

5 Опубликованными еще в 3 томе «Древней российской вивлиофики», изд. 2, 1788.

что Викентия Симеон начал изучать еще в Полоцке, и что Игнатий Иевлевич своими речами и «здравствованиями» был для Симеона учителем практического красноречия, в котором молодой Полоцкий монах столь преуспел затем в московский период своей жизни.

Другим хранителем традиций киевской учености в Полоцке — и еще более близким другом и учителем Симеона — был названный выше отец Филофей Утчицкий, до сих пор, сколько мы знаем, не упоминавшийся в списках виршеслагателей XVII века и почти не оставивший следов своих и в истории. С ним Симеон вел довольно долгую переписку[1] на обычной для схоластических деятелей XVII века макаронической смеси польского, латинского и славянского языков, получая от Филофея и просьбы, и советы, и указания (по предложению Филофея, напр., Симеон занялся полемикой с «люторской и калвинской ересью»);[2] его же практическим урокам следовал и в своем виршеписании. Что стихи во сретение иконы богородицы Полоцкой написаны Филофеем, свидетельствует сам Симеон (в рук. Публ. Библ. F. XVII. 161 на л. 7), обозначивший возле них: Compositio P. Philothei Utczycki. Стихи эти — не единственные, дошедшие до нас с его именем. В той же рукописи на л. 49 об. — 55 мы находим иные: «Стихи краесогласныи в день Спасителя Нашего Господа Iисуса Христа страданiя . . . сложеныи от ч. г. о. (честнаго господина отца) Филатея Утчицкого року ахни» (1658). Это те самые стихи, что находятся в Синод. рукоп. № 731 (л. 16 — 27) и в рукописи Син. Типогр. № 4308/1800 (л. 29 и сл.), где они озаглавлены «Carmina de passione Christi». Они открываются прологом, за которым идет декламация первого отрока и далее семь стихотворений на слова «яже Христос распятый на кресте мовил до Бога Отца»; в заключение — «епiлогусъ». Стихи выдержаны в стиле пассийной поэзии, знакомой нам еще по «тренам» Иоанникия Вовковича (1631), соответственным виршам Кирилла Транквиллиона (1646) и др. образцам: язык их — язык «юго-западной» литературы XVII в., несколько отличный от языка стихов Симеона Полоцкого. Очень возможно, что тому же Филофею принадлежат и иные вирши в ранних тетрадях Симеона, не включенные и даже включенные последним в свои позднейшие сборники. При тогдашних взглядах на литературную собственность — включение это неудивительно: главной заботой Симеона-виршеписателя было дать образцы, шаблоны нового для Москвы литературного жанра — поэзии, практически полезной во всех торжественных случаях, и вопрос об авторском праве для него был вопросом второстепенным.

---

[1] Письма С. Полоцкого к Филофею см. в рук. Публ. Библ. F. XVII. 161, л. 47 об., письмо 22 янв. 1669; там же, л. 88 об. — 89 — 19 окт. 1670; там же, л. 109—110 об. — 21 сент. 1666; также в рук. Син. Типогр. № 390, л. 102 об. — письмо 1667 г. и л. 112 — 13 апр. 1668 г. с поздравлением Филофея в игуменском сане.

[2] См. Цветаева, Пам. протестанства. 1888. 1, 212.

Дальнейшие разыскания, может быть, расширят наше знакомство с литературным кружком Полоцкого Богоявленского монастыря XVII века. Однако и сейчас можно, кажется, говорить, что своим пристрастием к стихотворству Симеон обязан не только «той школе, где он учился»,[1] но и той среде, которая окружала его в Полоцке, влияя на его литературные вкусы и предлагая ему образцы для подражания.

А. Белецкий.

Харьков.
1926. XII. 18.

---

1 Майков, Очерки, 94.

О новоциркумфлексовой интонации в праславянском языке.

Наличие вторичных циркумфлектированных интонаций, т. е. таких, которые внешне напоминают в живых славянских языках циркумфлектированную праславянскую, но не разделяют ее свойств и примет — являются на рефлексах не краткостных дифтонгов, а монофтонгов и дифтонгов долготных, не знают праславянской оттяжки к началу слова, не проводят переноса на следующую акутированную долготу по закону де-Соссюра-Фортунатова и т. д., — может считаться применительно к праславянскому языку с большой вероятностью намеченным Микколой (Urslavische Grammatik, § 121), хотя последний прямо и не провел границы между теми, какие мы называем вторичными, и старой интонацией дифтонгов с краткой слоговой частью.

Сильнейший аргумент из материала, выдвинутого Микколой и после значительно пополненного Беличем, Розвадовским, Лером, Ван-Вейком и др., я вижу в интонации partic. praeter. fem. sgl. на - la. Случайность соответствия словинских типов mahnîla, tonîla; hvalîla, hodîla; pisâla, česâla, igrâla; kupovâla, kraljevâla (Rad CXXXII, 156—157) и словинцских cĭg′nā̃, roscĭg′nā̃; čin′ī̃lă, mlòu̯cā̃lă; klepā̃, deptā̃, tř̈imā̃ (с удержанным праславянским местом ударения), при словинск. gorẹ́la, hotẹ́la, letẹ́la, živẹ́la (Rad CXXXII, 145) и словинцск. stā̃ř̈a, sìę̣ʒă (с ударением, перенесенным к началу), мне представляется исключенной, и потому я думаю, что мы стоим перед определенным фактом: праслав. *chodī̃la, *pytā̃la и т. п., но в случаях с *ě — сохранение прежней интонации.[1]

Особо следует отметить описанные Ф. Илешичем глагольные формы в говоре «St. Georgen a/d. Stainz».[2] Из его материала возможно, мне кажется, извлечь следующие черты:

1. Рефлексы новой циркумфлектированной интонации (новоциркумфлексовой) переносятся, в отличие от других диалектов, на предшествующий слог: pribẽ́žala,

[1] Из литературы ср. N. van Wijk, Roczn. Slaw. IX, 93; его же «Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme», 1923, p. 100; L. Bulachovskij, Zeitschrift f. slav. Philol. I, 1924, p. 227—228.

[2] Archiv f. slav. Philol. XXII, 1900, p. 494 sqq.

bẽžala (краинск. bežâla), zemlátila, mlátila (краинск. mlatîla), vȍzila, povȍzila (краинск. vozîla), prepárala (краинск. prepárâla), (na)písala (краинск. napisâla), okȍpala (краинск. okopâla), tȅsala (краинск. tesâla), ȉskala (краинск. iskâla), kepűvala (краинск. kupovâla), gȅnola (краинск. genîla).

2. В том же самом положении рефлекс *ě сохраняет старое место ударения, но, в отличие от отражений праславянской акутированной интонации, он выступает в виде долготы: sedéla, obsedéla; следовательно, качественно был отличен и от акутированной и от циркумфлектированной интонации.[1]

Расхождение между словинским и словинцским касается мелких подробностей, не меняющих сути дела: словинский в типе bẹžâla, ležâla, kričâla обнаруживает новоциркумфлексовую; словинцский имеет здесь рефлекс акутовой — bjȉẹžă, lȉežă с переносом ударения к началу. В последнем факте нет ничего удивительного, так как в словинцском оба типа соприкасаются ближе: ср. инфинитивы bjȉẹžěc и sȉẹʒěc и под. Заслуживают внимания и гейстернестские факты:[2] ударение fem. sg. распространилось на остальные формы, кроме masc. sg.; различие основ проводится так: pšīsā́la, přīsā́lŏ и под., gôdā́la, gôdā́lŏ и под., но sḗdzāla, sḗdzālo и под., stṓjāla, stṓjālo и под.

В CX-ом томе Rad'a Валявец приводил формы bolȩ̂la, letȩ̂la и под., и хотя подтверждение наличия в прошлом таких форм можно найти в отглагольных прилагательных, приводимых в словаре Плетершника: zrȩ̂la при zrȩ̀ł «reif» (ср., однако, и zdrȩ̀ł-zdrȩ́la), vrȩ̂la при vrȩ̀ł «1. siedend heiss, brühheiss... 2. eifrig» (ср., однако, у него же nevrȩ́la), črmnȩ̂la при črmnȩ̀ł «roth», все же в них, мне кажется, допустимо видеть только образования по аналогии других типов с подударной приметой класса.

---

1 Ввиду того, что говор обнаруживает некоторые интересные явления, без уяснения которых обе указанные черты не выступают с достаточной отчетливостью, мимоходом отмечу и их: 1) конечное ударение переносится к началу трехсложного слова, если промежуточный слог краток: ȍ̆bseda (из *obsědě'l), pȍvoza (из *povozi'l), pȍgrablja (из *pograblja'l), ȍ̆kopa (из *okopa'l), kűpeva (из *kupova'l), но pribḗža (из *pribēža'l), zemlā́ta (из *zemlāti'l), napī́sa (из *napīsa'l); 2) акутированная интонация со срединного слога переносится только на предшествующую долготу: pribḗžalo, pribḗžali (ср. инфинитив — bḗžati), zemlā́tilo, zemlā́tili, но sedȅlo, sedȅli, obsedȅlo, obsedȅli, genȍlo, genȍli, vozȉlo, vozȉli, povozȉlo, povozȉli, okopȁlo, kepevȁlo и др. Оттяжка в двусложных параллельна краинской: sȅda, lȅžat, vȍza, mlā́ta и под. К сожалению, я лишен возможности пользоваться материалом любопытного говора, описанного в венгерской работе Павела (Pável); говор этот во многом напоминает St.-Georgen. Работа Павела, судя по рецензии О. Ашбота (Roczn. Slaw. III, 177—203), могла бы дать много ценного по интересующему нас вопросу о праславянской новоциркумфлексовой.

2 G. Bronisch, Kaschubische Dialektstudien. Archiv f. slav. Philol. XVIII, 365—366.

Что касается таких отмеченных Валявцем в CXXXII т. Rad'a, стр. 157, форм с начальным ударением, как kȃnila, vȋdẹla, vẹ̑dẹla, slȋšala, prȃvila, dẹ̑lala, glẹ̑dala и под., которые говорят как будто о былом конечном ā, то они, вероятно, представляют также продукт аналогии к формам с ударением на примете класса: в CX томе Rad'a Валявец приводил их, как vídela, právila, jéhala; ср. такие же формы у А. Брезника (Archiv f. slav. Philol. XXXII, 1910): vídẹla (стр. 427), lázila (стр. 405), vę̑nila (стр. 420), míslila (стр. 430), vẹ̑rovala (стр. 453), но tę̑gnȋla (стр. 423), klečȃla (стр. 429), nosȋla (стр. 432), motȋla (стр. 438) и под. В St.-Georgen'e еще сохранено колебание фонетического и аналогического типов: (na)grȃbila, glȃdila, (po)čákala и др., но и (na)pȕnila, čȉstila, dȅlala, kȉdala и под. (op. cit. 500—502).

Как объяснить появление в праславянском новоциркумфлексовой интонации в изучаемой нами форме?

Наиболее простое объяснение выставлено Лером-Сплавинским, думающим, что акутированная долгота перед акутированной же получила новоциркумфлексовую интонацию.[1] Эта теория хорошо согласуется с толкованием окончания -a в dualis masc. как циркумфлектированного, которое поддерживает Ван-Вейк.[2] Затруднение представляют лишь plur. neutr., где окончание тоже было акутированным и где ожидался бы, следовательно, переход, подобный наблюдающемуся у форм fem. sg. Последнее не явилось бы непреодолимым, если бы вообще теория Лера-Сплавинского стояла прочнее. Прочность ее однако сомнительна.[3] Укажу теперь хотя бы на кашубск. lə́səca — acc. sg. ləsə́cą,[4] свидетельствующее, что в nom. sg. никакого изменения в новоциркумфлексовую не происходило (словинцск. läsȃcă и под. стоят под влиянием ударения в заимствованном из немецкого суффиксе -ȋnă, встречающемся в большом количестве случаев рядом с -ȃcă: vəřlȃcă, vəslȃcă — vəřlȃnă, vəslȃnă). Стоит внимания также, что теория Лера-Сплавинского в ее общей форме не объясняет особой судьбы -ě-.

Приходится поэтому искать другого объяснения.

Предлагаемое мною объяснение[5] сводится к догадке, что формы fem. sg. part. praet. на -la в отличие от других категорий, где существовали те же фонетические условия (ср. *lisíca, *bogáta), получили изменение интонации в силу добавочного

---

1 O prasłowiańskiej metatonji, 1918, pp. 17, 34 и сл.

2 Neophilologus V, 2 (1920), pp. 113—115, Die balt. und slav. Akzent-und Intonationssysteme, 1923, 67 sqq.; Лер-Сплавинский, Roczn. Slaw. IX, 122 sqq. и др. Некоторые подробности я пытаюсь выяснить в статье, сданной в «Slavia»: «Заметка по русской морфологии».

3 Ср. van Wijk, RS IX, 78 и сл.; Кульбакин, Јужнослов. Фил. II 1921), «Акцен. питања»; Bulachovskij, Z. f. slav. Philol. I, 226—229.

4 Lorentz, Gischichte d. pomoranischen Sprache, 1925, pp. 95.

5 Ср. и ЈФ IV, 124, Z. f. slav. Philol. I, 229.

условия, которое я вижу в энклитических формах вспомогательного глагола, выступавшего за ними, т. е. nosī̈lā̊ jesmь, nosī̈lā̊ jesi, nosī̈lā̊ je(stь), pytā́lā̊ jesmь и т. д. переходили в nosīla jesmь, nosīla jesi и т. д., pytāla jesmь и т. д. В plur. neutr. этого не происходило в виду сочетания nosīlā̊ sǫtь, pytālā̊ sǫtь. Иными словами, предполагаю здесь одновременно роль конфигурации -ā̊ + je- и характера интонации.

Что касается особого рефлекса -ě в -ělā̊, — судя по St.-Georgen sedēla — может быть, с новоакутовой интонацией (или во всяком случае *не*акутовой) — то тут приходится думать о том, что результат энклитического влияния je- на своеобразный звук ряда *e* мог оказаться отличным от влияния на другие акутированные звуки.

О том, что по отношению к праславянскому вполне возможно предполагать частое употребление вспомогательного глагола за формой глагола, по отношению к которому он является вспомогательным, убедительно свидетельствуют древне-русские примеры, приводимые А. И. Соболевским.[1] Укажу наконец на новгородские и двинские формы вроде въдале, писале, взале, имале, доспеле и под., которые вместе с Шахматовым,[2] можно толковать как продукт влияния постпозитивных jesmь, jestь и т. д., поддержанного звательными формами на -е.[3]

Л. Булаховский.

Харьков.
1926. XII. 18.

---

1 Лекции по истории русского языка, 1907, стр. 240.

2 Очерк древнейшего периода истории русского языка, 1915. § 363.

3 Ср. Соболевский, op. cit., 191—192.

К истории анекдотической литературы XVIII в.

(«Товарищ Разумной и Замысловатой» ч. III, Мих. Семенова и «Письмовник» Курганова).

Вторая половина XVIII в. в истории русской литературы характеризуется пышным расцветом анекдота — и исторического, и бытового с определенной новеллистической окраской. Именно к этому периоду относятся пересказы на русском языке сюжетов, известных уже верхам русского общества из разного рода сборников, преимущественно французских и немецких. И не только в журналах наряду с более серьезными статьями в большом количестве печатаются анекдоты, — последние выпускаются и в отдельных изданиях, быстро завоевывающих популярность в читательских кругах.

Самым излюбленным из этого рода собраний были «Краткие замысловатые повести», составившие второе «Присовокупление» в «Письмовнике» Курганова. Ими зачитывались широкие массы читателей, их переписывали в отдельные тетрадки досужие любители легкого чтения, на их долю нужно отнести значительную часть успеха «Письмовника», выдержавшего с 1769 по 1802 г. до 7 изданий.[1]

Составленный Петром Семеновым сборник, выпущенный им в СПб. в 1764 г. в 2-х частях под заглавием «Товарищ Разумной и Замысловатой или Собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных Мужей древнего и нынешнего веков» угодил также вкусам публики. В рукописях встречаются извлечения из него,[2] а по словам «Сатирического Вестника» он стал даже настольной книгой для модниц. Осмеивая ухищрения щеголих, желающих создать себе репутацию интересных собеседниц, журнал рассказывает, что «многие из них, не будучи с природы одарены остротой разума, стараются

---

[1] А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. Т. I (М. 1903). Курганов и его «Письмовник», стр. 40—42, 72—74.

[2] С. А. Щеглова. Описание рукописей Киевского Худож.-Промышл. и Научного Музея. Пгр. 1916, стр. 89, № 188 (114).

заменить сие начитанностию и для сего не выпущают из рук с утра до вечера Спутника и Собеседника веселых людей, Разумного и Замысловатого Товарища и Dictionnaire des bons mots».[1]

Успех сборника вызвал его переиздания. В 1787 г. в Москве появилось издание в 3-х частях. Первые две перепечатаны здесь без всяких изменений, если не считать таких ничтожных отличий, как систематически проведенная замена «ишпанской» через «испанской». Третья же часть была составлена специально для этого издания под руководством Петра Семенова его сыном Михаилом. На титульном листе издание помечено, как третье.

Что представляет второе издание, сказать трудно: нам его разыскать в доступных нам библиотеках не удалось, а указания на него сбивчивы. Во всяком случае оно должно рассматриваться, как контрафакция, как это ясно из следующей жалобы. Мих. Семенова в предисловии к 3-ей части: «В 1764 еще году выпечатанная книга, в двух частях, имела счастие понравиться публике, так что ее более и в продаже не стало. Что увидя некоторые, привыкшие пользоваться чужими трудами, выдали ее на свет, без ведома моего родителя и к его обиде».

Не знаем, вследствие ли желания возможно скорее выпустить сборник, или благодаря распространенному обычаю не стеснять себя какими-либо нормами при пользовании чужими трудами, но молодой составитель[2] избрал очень легкий путь увеличить объем своей книжки: он обратился к «Письмовнику» Курганова и, можно сказать, прямо таки обобрал его без зазрения совести, использовав и «Краткие замысловатые повести» (Присовокупление II) и «Древние Апофегмы и Епиктетово правоучение» (Присовокупление III), как это видно из следующего списка.

Тов. Р. и З.[3]		*П. К.*[4]
1. Стр.	5. Леон вопрошен	Стр. 189
»	» Аристипп мудрец	» »
»	6. Антисфен, будучи	» 190
»	» Ксенократ	» »
»	» Гусельника дородного	» 191
»	7. Он же усмотря	» »
»	» На вопрос, как	» 192
»	» Проданный Диоген	» 193
»	8. Епиктет Мудрец	» 195

Тов. Р. и З.		*П. К.*
10. Стр.	8. Правосудный Нурливан	» 185
»	9. Август Кесарь	» »
»	» Оттон Император	» »
»	» Траян Кесарь	» »
»	» Адриан Кесарь	» 186
»	» Антонин Кесарь	» »
»	10. Антигон I царь	» 187
»	» Антигон II	» »
»	» Кир	» »

1 В. И. Покровский. Щеголихи в сатирической литературе XVIII в.—Чт. в Общ. Ист. и Древн. Росс., 1903 г., кн. II, стр. 53.

2 В предисловии он просит извинения перед читателем «в недостатке ..... еще несозрелого ума, ибо первые две части Товарища пятью годами старее» чем он, т. е. в это время автору было 18 лет.

3 «Товарищ Разумной и Замысловатой», ч. III. М. 1787.

4 «Письмовник» Курганова. СПб. 1777.

	Тов. Р. и З.	*П. К.*
	Стр. 10. Александр Великий	Стр. 187
20.	» 11. Ификрат	» »
	» » Марк Ливий	» 188
	» 16. Молодой звездочет	№ 3[1]
	» 19. Богатого отца	» 6
	» 20. Некто будучи	» 7
	» » В некоей беседе	» 8
	» » Император Карл V	» 9
	» 21. Старуха хватя	» 10
	» » Трое идучи	» 12
	» » Подьячей при допросе	» 13
30.	» » Умирающей жены	» 14
	» » Школьник принеся	» 15
	» 22. Стряпчей при кончине	» 16
	» » Поп свидетельствовал	» 17
	» » Вор пред судьями	» 31
	» 23. Шляхтич сидя	» 32
	» » Госпожа хвалилась	» 35
	» » Проповедник некогда	» 36
	» » Боярыня по пожаловании	» 37
	» 24. Некоего иноземца	» 38
40.	» » Женщина не хотя	» 40
	» » Франциск I	» 41
	» 25. Некоторой богач	» 42
	» » Во время обеда	» 43
	» » Некто ученой	» 44
	» » Некий поселянин	» 45
	» 26. Француз захотя	» 47
	» » Некий шут	» 48
	» » Некоторый король	» 53
	» » Апеллес славной	» 56
50.	» » На обиженного купца	» 57
	» 27. Некоторой министр	» 58
	» » Некая баба	» 61
	» » Некто государь	» 62
	» » Некто несносной	» 68
	» 28. Хромой некогда	» 77
	» » Двое ученых	» 79
	» » Кавалер будучи	» 81
	» 29. Глупинькая старушка	» 88
	» » У молодых господчиков	» 94
60.	» » Искусного духовника	» 96
	» » Некая княжна	» 99
	» 30. Некоторой командир	» 104
	» » Некогда Императору	» 105
	» » Некоторой царь	» 106
	» 31. Некто, будучи	» 108
	» » Поп, поссорясь	» 109
	Стр. 31. Некоего государя	№ 110
	» » Некто вопросил	» 111
	» » Судья сказал	» 112
70.	» 32. Зело брюшистого	» 113
	» » Немец просил	» 114
	» » Испанской вельможа	» 116
	» » Одна юношка	» 120
	» 33. Главное политическое	» 124
	» 34. Вскоре по окончании	» 125
	» 35. Мудреца прегнусной	» 131
	» » Некий знатной	» 132
	» » Бережливой вопрошен	» 135
	» 36. Грек, находясь	» 136
80.	» » Француз говорил	» 137
	» » Некто насмеялся	» 141
	» » Некто Диогена	» 150
	» » Женщины, сидя	» 151
	» 37. Некто насмехаясь	» 154
	» » Некоему строгому	» 155
	» » Турецкого посла	» 156
	» » Стряпчей и лекарь	» 157
	» » Князю Ромодановскому	» 160
	» 38. Некий мореходец	» 163
90.	» » Двое стряпчих	» 166
	» » Некий судья	» 167
	» 39. Некоторой поп	» 170
	» » Некоторой шутник	» 171
	» » Диогена бранили	» 172
	» » Спросили одной	» 173
	» » Вельможа порицал	» 176
	» 40. Антисфен	» 180
	» » Некто спросил	» 181
	» » Карл V	» 190
100.	» » Мужик слыша	» 196
	» 41. Тамерлан, воюя	» 198
	» » Рифмач, призвав	» 204
	» 42. Некая госпожа	» 205
	» » Турка скупой	» 208
	» » Некто имел	» 209
	» » Агезилай	» 210
	» 43. Некто чужехват	» 211
	» » Некто обвинял	» 215
	» » Некий господин	» 216
110.	» » Двух кокеток	» 227
	» 44. Курносой богач	» 232
	» » Муж говорил	» 235
	» » Некая добродетельная	» 237
	» 45. Некоторой царь	» 238

[1] Там, где анекдоты перенумерованы в «Письмовнике», мы будем для удобства указывать не страницу, а № (та же номерация сохранилась и в след. изд.).

	Тов. Р. и З.		П. К.
	Стр. 45.	Зело брюшистой	№ 239
	» 46.	Две нищие	» 240
	» »	В некоторую войну	» 242
	» 47.	Портной	» 245
	» »	Некто женясь	» 246
120.	» »	Некий богатой	» 247
	» 48.	Судья сказал	» 248
	» »	Мудрец, будучи	» 250
	» 49.	Некогда один	» 251
	» »	Живописец срисовал	» 254
	» »	Медик говорил	» 255
	» »	Некоторого купца	» 256
	» »	Вождь, командуя	» 259
	» 50.	Фоннару любящему	» 264
	» »	Дурная и старая	» 265
130.	» »	Ростовщик просил	» 263
	» 51.	Некогда во врачебную	» 273
	» »	Картезий рассказывал	» 274
	» »	Тимон Аѳинской	» 275
	» 52.	Искусной проповедник	» 277
	» »	Некая принцесса	» 278
	Стр. 52.	Некогда Фридрих	№ 290
	» 53.	Италианец, будучи	» 291
	» »	Фукет французской	» 293
	» »	Претолстой попадье	» 294
140.	» »	Двое, из коих	» 296
	» 54.	Кади Турецкой	» 298
	» »	Султан услышав	» 299
	» 55.	Некоторой поп	» 301
	» »	Арликина, любящего	» 304
	» »	Генрих великий	» 306
	» 56.	К некоторому	» 307
	» »	Некий грубого свойства	» 314
	» »	Француз, славной	» 316
	» »	Некая молодая	» 317
150.	» 57.	Один стихотворец	» 318
	» »	Голланец спросил	» 319
	» »	Ты будущей	Стр. 179
	» 58.	Нагнала бабушка	» »
	» »	Вчера свершился	» »
155.	» »	Не раз ты мне	» »

Итак, из 205 статей, составляющих по нашему подсчету III-ю часть «Товарища Разумного и Замысловатого», 155, т. е. около трех четвертей всего количества, восходит непосредственно к Курганову; или иначе: Мих. Семеновым сверх 21 анекдота, заимствованного из «Присовокупления III», использовано более трети «Присовокупления II», так как из 329 №№, составляющих последнее, им взято 134, с сохранением даже порядка их следования.

Если количественной стороной Мих. Семенов столь многим обязан Курганову, то и в самом пользовании «Письмовником» наблюдается самая тесная зависимость его от текста своего источника.

Напомним, что в XVIII в. с одной стороны вообще понятие о литературной собственности было не так строго, как сейчас, с другой — составители сборников, подобных «Письмовнику» или «Товарищу Разумному и Замысловатому» отчетливо сознавали традиционность своего материала, представлявшего поэтому res nullius. Недаром среди прочих статей Мих. Семенов заимствует у Курганова след. остроту (Письм. № 215; Тов. Раз. и Зам. стр. 43): «Некто обвинял одного Автора в краже лучших сочинений из других книг. Тот ему отвечал: что за важность, ведь, они крали же у прежде их бывших писателей, а добрым выбором народ лучше пользуется».

Потому-то Мих. Семенов, как и другие, совершенно не ставил своей целью новизной изложения изменить свой источник; и, после сличения текста обоих сборников, мы отнюдь не можем назвать III часть «Товарища Разумного и Замысловатого» переработкой, но лишь выборкой и перепечаткой значительной части «При-

совокупления II» и отчасти «Присовокупления III» Кургановского «Письмовника». Действительно, не только живо и хорошо переданные Кургановым анекдоты переходят к Мих. Семенову без всякого следа обработки,[1] но даже неудачные и неточно переведенные вносит он без какого бы то ни было изменения. Так, два анекдота, заимствованные для «Письмовника» из Roger Bontemps en belle humeur, потеряли в русском пересказе у Курганова не только всю свою соль, но почти лишены и смысла.[2]

«Зело брюшистого монаха, идущего улицей», читаем мы в одном: «спросила некая насмешница: «отче святый, когда вы родите?» — «Когда я найду повивальную бабку», отвечал он» (Тов. Раз. и Зам., стр. 32; Письмов. № 113). Так как по-французски sage-femme и повивальная бабка и умная женщина, то получается непереводимый каламбур, в котором однако вся суть остроумного ответа.

Также неудачен у Курганова № 314 (Тов. Раз. и Зам., стр. 56): «Некий грубого свойства Кавалер, увидев дорогой алмаз на руке пригожей госпожи, сказал: „Для меня перстень приятнее руки“. Дама, смотря на него, отвечала: „а мне нравится ольстра больше скотины“». Во-первых, здесь совершенно неверно licou (недоуздок) передано через ольстра (кабур, кожаный чехол), а во-вторых, переводчик не отметил, что невежливый кавалер был в орденской ленте, и поэтому злой ответ дамы потерял у Курганова всю свою остроту.

И эти две статейки Мих. Семенов перепечатал буквально, не изменив ни слова. Если же в редких случаях и есть какие-либо отличия в тексте, то они так несущественны, так незначительны, что их можно заметить лишь при самом тщательном сличении. Так, напр., у Курганова мы находим: «Александр Великий, победя Пора царя Индейского...» у Семенова опущено имя Пора (Письм., стр. 187; Тов. Раз. и Зам., стр. 10) и т. п.

В своем предисловии Мих. Семенов жалуется, между прочим, что «из первых двух частей через прошествие 20 лет вытащено много, и внесено в другие изданные в свет книги под разными именами с переменой только некоторых речей». Но сам-то он, обирая «Письмовник», не давая себе лишнего труда, — пошел как раз той же нехитрой дорогой.

Е. Маслова.

Киев.
1926. XII. 18.

1 Письм., № 196 — Тов. Раз. и Зам., стр. 40; Письм., № 240 — Тов. Раз. и Зам., стр. 46.
2 Отмечены А. И. Кирпичниковым, op. cit., стр. 61.

Заметка о рукописи «Просветителя» Иосифа Волоцкого.

Рукопись Общества Древней Письменности и Исскуства (№ 771, на 407 лл. в 4-ку), заключающая в себе «Просветитель», представляет некоторый интерес, во-первых тем, что она датирована, во-вторых тем, что в ней имеется неизвестное до настоящего времени предисловие к читателю, и, в третьих — тем, что из тайнописи можно извлечь имя списателя рукописи, и повидимому, автора предисловия.

Предисловие, озаглавленное «Написаніе вкратцѣ къ люботруднымъ читателемъ» (л. 1 - 4), написано литературным языком и может быть разделено на три части: 1) во вступлении автор выражает свой ужас по поводу появления в Новгороде такой ереси: «сего же азъ недостойный не могу языкомъ изрещи и рукою написати... како солнце сияти не преста»...; 2) далее прославляется сам автор «Просветителя» как муж весьма образованный, что выражено, между прочим, такой фразой: «первѣе убо на крайнее богословіе доспѣ»; 3) в последней части списатель рекомендует читателям чтение сочинений Иосифа Волоцкого.

Предисловие свое списатель заканчивает сообщением, что в конце им составлено оглавление: «Послѣди же книги сея есть оглавление внутрь лежащаго разума скораго ради обрѣтенія, яко очеса книзѣ». В конце списатель сделал следующую запись: «Написа же табличку сію к читателемъ и оглавленіе на книгу сію двое матерни бодрости тезоименито вар в лѣто 7148».

Таким образом, рукопись датируется 1640 г., а предисловие и оглавление к этому списку «Просветителя», составлены были неким Димитрием Григорьевым сыном (несомненно Димитрий переведено Двое матерний, Григорий — бодрый, а вар — сирийское слово, означающее «сын», ср. Ев. от Матфея, 16, 17: «блаженъ еси Сімоне варъ Іона»); это предисловие является совершенно новым памятником в истории нашей древней письменности.

Вл. Майков.

Ленинград
1926. XII. 18.

Протоколы Литературного Общества «Арзамас».[1]

Рукопись «Арзамасские протоколы» состоит из 25 протоколов, целого ряда других литературных материалов, принадлежащих членам «Арзамаса».

Наибольшее количество протоколов писано В. А. Жуковским, причем 4 — гекзаметрами, из которых только один был напечатан. Остальные протоколы писаны Д. Н. Блудовым.

Речи, представляющие собою критическую оценку работ литературных врагов Арзамаса — членов Российской Академии и общества «Беседы Любителей Русского Слова» — были произнесены на заседаниях «Арзамаса» с 14 октября 1815 г. по осень 1817 г. В. А. Жуковским, Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым, П. А. Вяземским, Н. И. Тургеневым, М. Ф. Орловым, С. П. Жихаревым, В. Л. Пушкиным и другими.

Ряд неизвестных стихотворений — bouts-rimés В. Л. Пушкина, новые материалы в области отношений Арзамасцев и Н. М. Карамзина, и проч. входят в состав рукописи.

Три элемента проходят через все заседания Арзамасского Общества: 1) внешняя форма заседаний, построенных в противовес заседаниям в обществе «Беседы Любителей Русского Слова» юмористически; 2) критическая работа на заседаниях: а) разбор литературных трудов представителей старой школы, причем путем исследования устанавливаются факты критического влияния Арзамаса [Д. И. Хвостов переделывает свое второе издание басен согласно замечаниям речи Жуковского, разбиравшего первое его издание], б) члены Арзамаса подвергают на заседаниях критическим замечаниям свои работы: В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, В. Л. Пушкина, Д. В. Дашкова и др.; 3) определенно прогрессивное направление Арзамасского Общества, выражающееся как во внешних его формах, так и во внутреннем содержании речей (Речь П. А. Вяземского по поводу предполагаемого Арзамасского Журнала и др.).

---

1 Конспект исследования рукописи «Арзамасские Протоколы».

Все вместе взятые материалы — находящиеся в рукописи «Арзамасские Протоколы» и в литературной переписке Арзамасцев, дают возможность рассматривать «Арзамасское Общество безвестных людей», как литературное общество

1) с определенно выраженным прогрессивным направлением,

2) ставившее себе задачей посредством критики проведение новой формы литературной мысли и имевшее влияние на течение ее,

3) взаимного литературного влияния друг на друга членов его и, наконец,

4) путем опеки первоклассных писателей арзамасцев влиявшее на развитие литературной формы и прогрессивное направление А. С. Пушкина.

М. Боровкова-Майкова.

Ленинград.
1926. XII. 18.

О «диалектической единице».

Вопрос о диалектической единице, как мере необходимой для истории и диалектологической классификации языка, определения географической границы речи и пр., является весьма существенным, важным и вместе с тем очень сложным. Для полного его выяснения пришлось бы столкнуться с целым рядом других, не менее существенных вопросов,—о дроблении языка, об основе говоров и условности их «особенностей,» пришлось бы коснуться самих теорий развития языка и др., но мы здесь не будем входить в рассмотрение всех этих проблем, а остановимся лишь специально на поставленном вопросе.

Итак, необходимо установить определение для географического понятия языка, на котором говорит известная географически-ограниченная группа людей, или еще уже—существует ли «говор», как целокупное понятие, как языковая особь со строго очерченными границами.

«Диалектографический» метод, с большим успехом применяемый в настоящее время в западно-европейской лингвистике, с его «статическим» подходом, постулирующим к необходимости подробного изучения языка в его временном разрезе и притом со стороны всей его организации, т. е. звуков, форм, синтаксиса, лексики и семантики, пришел к отрицанию «диалекта», как территориальной языковой особи. Звуковые границы или неточно устанавливаются, а если точны, то не совпадают. «Существуют», поэтому, «не диалекты, а отдельные диалектические особенности народного языка как неделимого целого,—особенности, из которых каждая, очевидно, имеет свою географию, как и свою историю». С этой точки зрения, поэтому, представляется невозможным деление языка на наречия и говоры, определяемые известной совокупностью черт, потому что области распространения отдельных черт в языке вообще не совпадают.

Если так, что «особенности одного диалекта оказываются у него общими с особенностями соседних диалектов, а черты различия между ними не одинаково равномерно распределяются на территории того или другого диалекта или охватывают не все слои общества», словом,—если нет «диалектов», как целокупных территориаль-

ных единиц речи, на почве романских и германских языков, то не существует «говоров», в этом смысле понимания, и на почве русского языка. Теоретически это вполне возможно, особенно если иметь в виду сравнительную однородность русской культуры и ту географическую среду русской равнины, с множеством рек, лучших путей повседневного, безпрепятственного сообщения, которая составляет одно из первых условий, предотвращающих легкое и быстрое разнообразие языка. Да и на практике очень часто русским диалектологам приходилось считаться с этим положением. Недаром для русского языка в его целом нет еще прочно и научно обоснованного подразделения его на диалектические виды различных степеней, т. е. наречия, поднаречия и т. п.; сравните хотя бы различные мнения о белорусской речи и т. д. Недаром, на наш взгляд, не удалась попытка и Московск. Диалектологич. Комиссии (в «Опыте диалектологической карты русского языка в Европе», 1915 г.) изобразить распространение отдельных диалектических групп в пределах отдельных наречий, и знаменательно, что вместо географии отдельных диалектических групп на деле вышла лишь география отдельных диалектических особенностей: рефлексов ѣ в северно-великоруск. области и типов аканья в южно-великорусской и т. д. Высказывались на этот предмет в русской диалектологии и более определенные мнения в том смысле, что безусловно установить границы говоров часто невозможно, так как естественных границ не существует, что диалектологический обзор языка и диалектологические карты больше достигнут успехов, если вместо географии диалектов они будут давать указание на распространение отдельных диалектических черт.[1] Больше того, отдельные диалектологические исследования у нас стояли совсем на этом пути изучения географии отдельных диалектических особенностей (ср. хотя бы работу Д. К. Зеленина о неорганическом смягчении задненебных). Но в русской диалектологии это направление не получило дальнейшей разработки и углубления. Работая под знаком историко-сравнительного метода, русская наука в лице главнейших исследователей судеб русского языка подходила к живым говорам до самого последнего времени преимущественно с точки зрения истории языка, для которой диалект имеет значение главным образом как живой свидетель прошлого языка,—отсюда преимущественный интерес исследования к отдельным, более архаическим говорам, которые больше могли дать этих сведений, лучше служить целям реконструирования разнообразных изменений, пережитых русским языком за исторический период его существования, а подчас и в эпоху «праязыка». И поскольку русская диалектология не вступила на путь сплошного изучения диалектов, а изучала говоры по отдельности, изолированно, в центре мнений в диалектологической литературе у нас по вопросу о диалектической единице

---

[1] Ср. статьи акад. А. И. Соболевского в Изв. II отд. Ак. Наук, 1905 г. 1 и 1914 г. 2, в ЖМНП 1915 г. июнь, и др.

не установилось пока того определенного отношения, как то имеет место в лингвистической географии на западе.

Исходя из сказанного, мы в качестве опыта произвели обследование территории Весьегонского у. Тверской губ. и прилегающей к ней части Череповецкого у. в волостях Горской, Хотавецкой, Мороцкой, Дмитриевской, Уломской и Колоденской,—старого административного деления, применяя при этом метод картографирования отдельных диалектических черт, с одной стороны, и метод сплошного, непрерывного обследования говоров,—с другой. «Диалектографический» путь обследования дал нам такие результаты:

1-ая карта,—мягкое *ќ* встречается довольно редко в северно-восточной части Весьегонского у., и ни в одной деревне не проводится последовательно.

2-ая карта,—твердое «цоканье» встречается в сев.-восточн. части Весьегонского у., в деревнях—Березницы, Савино, Харавичи и др., Лукинской вол., в деревнях «Пушкарщины» Щербовской вол. и в той же волости спорадически в деревнях, с карельским населением; в дер. Шарицы, Раменье, Лекма, Стрелицы, Озерское, пограничных с Череповецким уездом. В тот же цвет зарисовываются все указанные волости Череповецкого у., за исключением Дмитриевской и Уломской, где на месте *ч* и *ц* имеется одно мягкое *ц*; мягкое *ц́* карта отмечает и в Весьегонском у., в карельских деревнях Щербовской вол., где на ряду с мягким *ц́* уживается и средний между *ч* и *ц* звук—$ч^{ц}$; на ряду с «цоканьем» указанном в Лукинской вол. отмечается в ней же, в дер. Воробей, Монтурьево, Давыдово, Карпово, Рыкуши и др. «чоканье»; изредка «чоканье» отмечается и в Замоложском районе Весьегонского у.

3-ья карта,—аканье слабого типа отмечается в Замоложском районе Весьегонского у.

4-ая карта,—выясняет особо лабиализованный тип $о^{у}$ на территории Весьегонского у., в северной полосе Лукинской и Макаровской волостей, граничащих с Устюженским у. нынешней Череповецкой губ., а также в отмеченных, «цокающих» деревнях Перемутской вол., пограничных с Череповецким у. по р. Мологе, тогда как на остальном пространстве уезда звук *о* пооткрытее, чем в Ростовском и Угличском уездах Ярославской губ.; в Череповецком у. звук *о* скорее первого типа.

5-ая карта,—отмечает рефлекс старого *ѣ*, как *е*, на всем обследованном пространстве, за исключением Дмитриевской и Уломской волостях, где в положении перед мягким согласным под ударением находим *и* вм. *е*.

6-ая карта,—показывает лучшее сохранение *я* в ударенных и неударенных положениях у «Пушкарей» Щербовской вол. (грязь, Ягор, выгляжу, Яѵор и под.), в остальной части уезда, за исключением слабо «акающего» Замоложского района, *я* предударное дает *е*, как и в местностях Череповецкого у.; выделяются Дмитриевская, а еще больше Уломская вол., где находим: грезь, в шле́пе и т. п.

7-ая карта,—выясняет лабиализующее свойство согласных, особенно *j*: вёсна, тёпло, полёвой и т. п., присущее в большей степени центральной части Весьегонского у.

8-ая карта,—отмечает произношение конечного *ф* вм. *х* на всей обследованной территории.

9-ая карта,—показывает распространение на всей территории окончания -ова || -ово (реже) в родительном пад. ед. числа прилагательных муж. и средн. рода и местоимений.

10-ая карта,—показывает повсеместное совпадение творительного пад. мн. числа с дательным.

11-ая карта,—отмечает формы: даси, еси (дашь ешь) только в Дмитриевск. и Уломской вол. Череповецкого у. и спорадически в тех «цокающих» деревнях Весьегонского у., которые граничат по р. Мологе с Горской вол. Череповецкого уезда.

12-ая карта,—отмечает формы типа: на одной версты, в той избы и под. только в Замоложском районе Весьегонского у.

Передвижка ударения к началу слова: тóпор, пóйдем и под. свойственна в большей степени языку населения Щербовской, Чамеревской, Залужской и Арханской волостей Весьегонского у., где значительный % населения падает на карел.

Особая интонация речи отмечается в Уломском крае[1] и т. д. и т. д.

Таким образом, произведенное «диалектографическим» путем обследование народных говоров означенного небольшого района, как будто подтверждает то мнение, что «сплошь и рядом особенности одного диалекта оказываются у него общими с особенностями соседних диалектов, а черты различия между ними не одинаково равномерно распределяются на территории того или другого диалекта», и что правильнее как будто признавать, что существуют не диалекты, как территориальные единицы речи, а «отдельные диалектические особенности народного языка как неделимого целого,—особенности, из которых каждая очевидно имеет свою географию, как и свою историю». Но следует указать, что примененный нами метод сплошного, непосредственного изучения народного языка в пределах того же района, вносит как будто некоторый корректив к только что сказанному. Прежде всего отметим, что наибольшая пестрота карты Весьегонского у. стоит в связи с пестрой этнографической картой уезда (ср. карелы, «Пушкари», переселенцы из Казанской губ. в некоторых деревнях Макаровской вол.; местность Перемутской вол., пограничная с Череповецким у. и дающая одинаковую зарисовку на карте с Горской волостью Череповецкого у., с этой последней когда-то входила во владения Московского Симонова монастыря и др.). Затем, при непосредственном изучении говоров, можно заметить, как говоры Замо-

---

[1] Подробнее об этом см. в нашем «Описании Уломского говора», Сборн. II Отд. Ак. Наук, т. 99., вып. 5.

ложского района Весьегонского у. чем ближе к Вышневолоцкому у., тем более постепенно теряют свои «весьегонские» черты и постепенно же принимают взамен их черты «вышневолоцкие» (в отношении проявления «аканья»); тоже можно сказать про говоры северной полосы Весьегонского у., что они являются непосредственным продолжением говоров Устюженского у. (особенно заметно на произношении звука o^{y}), а говоры Уломской вол. представляют ослабление более ярко выраженных черт соседних сев.-весточных волостей Череповецкого у., где рефлекс старого *ѣ* как *и* проведен более решительно; ту же картину конечных окраин дает *ќ* в деревнях Весьегонского у., пограничных с Мологским у., где эта черта развита сильнее. Далее, намечаются совершенно определенные границы 2—3-х диалектических особенностей, отмечаемых в Горской, Мороцкой, Хотавецкой, Колоденской волостях Череповецкого у. и в выше указанных деревнях Перемутской вол. Весьегонского у., которые могут быть противопоставлены также резко обозначенным границам распространения *и́*, *ѣ* = *и* в волостях Дмитриевской и Уломской. Получается, таким образом, впечатление о наличии как бы двух диалектических единиц, хотя и разных по территории и количеству признаков, но резко очерченных. Указанное противопоставление районов поддерживается этнографическими признаками и бытовым укладом, а также тем, что население этих районов до сих пор тяготеет к разным хозяйственно-культурным центрам: к Череповцу — Улома «Железнопольская», к Весьегонску — селения по р. Вауче и Ёгне и пр. Возникает, таким образом, снова вопрос о существовании говоров, как диалектических территориальных единиц речи. Но существуют ли говоры в этом понимании или нет, — покажет будущее, когда русская диалектология, завершив круг своего развития, окончательно вступит на путь «статического» подхода к языку и всестороннего его изучения.

С. Еремин.

Ленинград.
1926. XII. 20.

Де-що про природу речень типу «козаченька вбито» української літературної мови.

В сучасній українській літературній мові по між досить численними реченнями з формально не виявленим підметом, які ми[1] умовно прозиваємо «безособовими» є один тип, що відзначається присудком, висловленим в формі т. зв. страдального дієприкметника на «-то» або «-но» з одного боку, з другого ж — знахідним відмінком речівникового додатка при цьому дієприкметникові; цей тип акад. Шахматов прозиває «причастноглагольное безличное предложение».[2]

З того часу, коли після революції 1917 р. перед українською літературною мовою й на Наддніпрянщині розгорнувся широкий обрій, і вона почала задовольняти усі потреби культурного життя українського суспільства, цей тип граматично-безсуб'єктних речень набув в устах молодих творців української літературної мови нестримано поширеного вживання і навіть викликав контроверзу серед наукових теоретиків української літературної мови. Так, проф. Синявський,[3] підкреслюючи з задоволенням вербальність цього звороту, так би мовити, канонізує поширеня його вживання, д-р Сімович,[4] один з видатних знавців української мови, тоді саме ставиться до поширеного вживання таких висловів цілком негативно, аж прозиваючи їх «москалізмами».

Хоча шляхи розвитку літературної мови й не означаються лише історією та походженням даної мови, а й до того низкою инших чинників, від цих незалежних, все ж таки при наявності такої контроверзи цікаво дослідити походження речень цього типу і в такий спосіб зрозуміти їх істоту.

Типове речення «козаченька вбито» сполучає в собі всі, себто, на мою думку, три своєрідні риси цього вислову — знахідний відмінок при так зв. «дієприкметни-

1 Пор. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. III, 403—484.

2 Синтаксис русского языка, вып. I, 1925, стр. 97.

3 Порадник української мови, 1922, стор. 107, 110, та в инших творах.

4 Граматика української мови, Київ — Лейпциг, 1919, стор. 283; На теми мови, Прага, 1923.

кові пасивному минулого часу» в скам'янілій формі називного ніякого роду і перфектове значіння.

О. Курило[1] в останне переглянула фактичний матеріял, що належить до цього питання, чимало зібрано його в Потебні[2] та Миклошича.[3]

Базуючися на цьому матеріялі ми спроможні констатувати факт, що усна мова, або як часто-густо кажуть, народня мова, що є в сучасний мент переважним джерелом для збагачення української літературної мови, вживає як раз тільки[4] звороти точного типу «козаченька вбито», а не типу «козаченька було вбито», або «буде вбито», себто не припускає при скам'янілій формі дієприкметника на «-то» дієвідмінної форми, як то — «було» або «буде».

Традиційна назва — термін дієприкметника на — «ний | тий» призвичаїла нас, може й механично, асоціювати вище подані звороти з иншими пасивними виразами.[5] За тою ж традицією ми навіть завжди підкреслюємо, як своєрідну особливість, що народня мова при цих пасивних зворотах не вживає відмінку auctoris — орудного дієвої особи. З другого ж боку великоруські говірки[6] як раз тому, що російська літературна мова речень такого типу не знає,[7] яскраво, поруч з иншими словянськими мовами, свідчать про те, що речення типу «козаченька вбито» — природні для усної мови взагалі, яка складається в наслідок вселюдських чинників.

Тут ми спіткаємо разом дві труднощі. Спостереження над мовами, де «dictio passiva» ясно витворилася, нам одноманітно показують, що пасивні звороти там, де вони можуть конкурувати з активними, як абстрактніша форма думання, як раз природні для письмової, літературної[8] мови, а не для усної-народньої. Речення ж типу «козаченька вбито», як бачимо, — елементи народньої мови. Далі, коли цей тип безпідметового речення — пасивний, чому ж при ньому не вживає мова відмінка auctoris — найсвоєріднішого елементу справжньої пасивности, а можливий лише є оруд-

---

1 Уваги до української літературної мови[3], 1925, стор. 41—2.

2 Из записок по русской грамматике, т. III.

3 Subjectlose Sätze[2], 1883, стор. 58—64.

4 Приклад, цитований в Миклошича (oc. cit., стр. 58)... «uslyšano budetь» не стоятиме нам на перешкоді, — це пословний переклад «ἀκουστὸν ἔσται (Esai 18, 3) оригіналу.

5 Пор. Mikl'osich, op. cit., Курило, op. cit. і всі инші.

6 Див. Шахматов, op. cit. стр. 97, напр., «этого выпущено» Чердын. Прогр. № 258 та инші приклади; ще Еремин «Программа для собирания материалов по народным говорам, местному словарю»... у журн. «Краеведение» т. 2, 1926 г., стр. 210. Поданих зазначеними вченими кількох прикладів для нашої мети зараз досить, але їх, гадаю, можна було б збільшити при нагоді спеціяльного дослідження з цього приводу; такого дослідження, скільки знаю, досі не робилося.

7 Вислови «слышно музыку», «видно землю» тільки зовні подібні до типу, що ми досліджуємо, пор. Потебня, op. cit. стр. 469.

8 Пор., напр., J. Wilde, Die passivischen und medialen Ausdrucksweisen objectiven Geschehens von allgemein sprachwissenschaftlichem Standpunkte verfolgt. Weida in Th. 1913 p. 100 u. passim, а також цитовану там літературу.

ний речи, як «вбито ножем», де цей орудний відмінок не зазначає причини дії, а супроводні деталі, — має соціятивне значення?

Вгляньмося в істотну ознаку нашого звороту — дієприкметникову скам'янілу форму на «-то | -но». Своєрідність її вживання полягає в тому, що дієприкметник по таких реченнях не сполучається з дієвідмінною формою, як то: «було» або «буде».[1] Така відсутність справжньої вербальної форми перед усім спричиняє розрив асоціяцій цієї форми з дієсловом, що завжди становить мент процесу,[2] і переводить цю форму в розділ імення, що відбиває на собі сталість, тривалість. Тоді саме, як у виразах «було вбито», «буде вбито» українець почував би дію, процес, у виразі «вбито» він почуває певний стан, ефект вчиненої дії, але не саму дію. Тому то в реченні типу «козаченька вбито», на мій погляд, скам'янілий дієприкметник зберігає свою споконвічну силу — віддієслівного прикметника — імення, нейтрального[3] по суті так до активу, як і до пасиву.

Це саме те, що Wilde[4] прозиває «Erscheinungsform des neutralen Mediums, in dem beim Bestreben den Vorgang an sich zu betonen von selbst eine Verdunkelung ja Ausscheidung des Aktionsbegriffes, des Subjectes, erfolgt ist»... В цих словах подається і звичайне пояснення безсуб'єктности нашого речення.

Первісною природою дієприкметника, його байдужністю, так би мовити, до стану пояснюється наявність знахідного відмінку «козаченька» в українській мові та инших,[5] що їх досліджував Миклошич. Зберіганню цього знахідного відмінку при дієприкметникові на «-тий | ний», хоча в скам'янілій формі дієприслівника, тоді саме, коли дієприкметник на «-в, -ла, -ло» в українській мові зараз є покажчиком і вербальности, і активу, а дієприкметник на «-ний, -тий» — пасивности, аж до цього часу безумовно сприяють паралельні активні вирази звичайного типу подібного до «козаченька вбили» так само, як такі речення «давано, загнато, вбито», можливо, сприяли новотворенням рефлексивного характеру,[6] як напр. «насміяноси».[7]

Третя своєрідна та істотна ознака речень вище поданого типу — це їх виключно перфектне значення, що зберігається споконвічною природою дієприкметника, як іменової форми.

---

1 Не зрозумію, в якому звязку пригадує О. Курило російське «было» (op. cit., стр. 42) коли з таких речень, як, напр., «это было сделано», то в таких виразах ми яскраво бачимо вербальний вираз, а не номінальний, а номінальність це найсвоєрідніша ознака того типу речінь, що ми досліджуємо.

2 Пор. Paul Prinzipien, d. Sprachgeschichte[3], p. 352 з поправкою, зробленою Wilde, op. cit. p. 15 і passim.

3 Пор. Wundt Sprache[3], Bd II, p. 150, Nominalausdrücke f. d. Perfectum.

4 Op. cit., p. 91.

5 Op. cit., див. приклади з слав'янських мов, латинської при виразах на — «ndum», кельтської мови.

6 Пор. Wilde, op. cit., p. 25 про кавзативно-рефлексивні процеси.

7 Пор. приклади в Єреміна op. cit., стр. 210.

На підставі поданих міркувань ми спроможні, я гадав би, означити речення типу «козаченька вбито»: 1. як перфектні, що висловлюють ефект вчиненої дії і, як безсуб'єктні, підкреслюють його; 2. як такі, що не виявляють причини дії і таксамо позбавлені елементів і значіння пасивности; 3. як іменові (номінальні) вирази. А тому то дієвідмінні форми, введені у їх склад, заперечують природі цих речень таксамо, як і т. зв. орудний відмінок дієвої особи.

С. Дложевський.

Одесса.
1926. XII. 21.

На заре бытия Киево-Печерской обители.

— «Гдѣ мѣсто таковое, да видимь?» — спрашивают Антония прибывшие из Константинополя греки, «мастери церковніи», посланные, по легенде, Богородицей для сооружения Печерской церкви в Киеве.

— «Антоний же рече; «3 дни прѣбудем молящеся, и Господь явить нам». И в ту нощь, молящуся ему, явися ему Господь глаголя: «обрѣл еси благодать предо Мною». Антоний же рече: «Господи, аще обретох благодать прѣдъ Тобою, да будетъ по всеи земли роса, а на мѣсте, идѣже волиши освятити, да будет суша». Заутраже обрѣтоша сухо мѣсто, идѣже нынѣ церкви есть, а по всеи земли роса. В другую же нощь, тако помолшеся, рече: «да будетъ по всеи земли суша, а на мѣсте святѣмь роса». И шедше, обретоша тако. Въ 3-й же день, ставше на мѣсте святомь, помолшеся и благословивь мѣсто, и измѣриша златымь поясомь широту и долготу. И въздвигъ руцѣ на небо Антоний и рече великымъ гласомъ: «послушай мене, Господи, днесь, послушай мене, да разумѣютъ вси, яко Ты еси хотяй сему». И абіе спаде огнь с небеси и пожже вся древа и тръніе, и росу полиза, долину сътвори, яко же рвомь подобно. Сущии же съ святыма отъ страха падоша, яко мертвіи. И оттуду начатокъ тоа божественыа церкви».[1]

Так, по тексту Киево-Печерского Патерика, на заре бытия Печерской обители, на месте обвеянном легендами, покрытом чудесною росою, совершается основание главного храма одного из крупнейших культурных центров средневековой Руси, значение которого так ярко охарактеризовано еп. Суздальским Симоном, одним из авторов Патерика.[2]

В лице Антония и Феодосия, прибывших из Константинополя греческих зодчих и варяга Шимона, пожертвовавшего венец и золотой пояс, которые он снял с креста,

---

1 Патерик Киево-Печерского монастыря, СПб. 1911, 6—7.

2 К.-П. П., 76.

воздвигнутого его отцом Африканом еще на родине,[1] соединяются представители трех культур — славянской, греческой и скандинавской, для совместной работы по созданию Печерского храма.[2] Не на случайном месте выростает он. Находки римских монет времен Августа, Геты, Фаустины и Коммода,[3] кладов восточных монет,[4] варяжских кладов, пещер[5] славянских и варяжских,[6] свидетельствуют о том, что место это исстари было облюбовано, как пункт удобный для защиты. В эпоху образования Руси здесь был центр, откуда владели Киевом варяги, здесь же в начале нового периода русской истории Петр I, 15 августа 1706 г., лично заложил новую крепость для борьбы со шведами.[7] Не далеко от этого места на живописном горном уступе, высоко над Днепром и поныне стоит древняя Михайловская церковь Выдубицкого монастыря, построенная в 1070 г. кн. Всеволодом Ярославичем,[8] — предшественница второй церкви во имя архангела Михаила, сооруженной в 1108 г. кн. Святополком.[9] Оба эти храма и, с другой стороны, приделы во имя арх. Михаила в Киево-Софийском соборе и Великой Печерской церкви, имевшие в древности фрески с деяниями арх. Михаила,[10] красноречиво свидетельствуют об особом культе его, как покровителя династии и защитника в походах.[11] Постройка соседней с Печерской обителью Выдубицкой церкви была начата тремя годами раньше Великой Печерской церкви, заложенной в 1073 г.,[12] а окончание первой из них в 1088 г. было на год раньше последней.[13] Это обстоятельство допускает предположение, что идеи, которыми руководились строители древнейшего Михайловского храма в Киеве, вполне могли быть знакомы и строителями Великой Печерской церкви. Правда,

---

[1] К.-П. П., 3 — 4, 187 — 189. Ф. А. Браун. Фрианд и Шимон, сыновья варяжского князя Африкана, СПб. 1902.

[2] Д. В. Айналов. История древне-русского искусства. Вып. I, Киев, Петроград, 1915, 245.

[3] Н. И. Петров. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897, 51.

[4] Н. Ф. Беляшевский. Монетные клады Киевской губернии. Киев, 1889, 7, 11 — 12; Н. И. Петров, о. с., 52.

[5] В рассказе о Федоре и Василии Поликарп сообщает: «в житіи св. Антонія повѣдаеться, Варяжскій поклажай есть, понеже съсуди Латиньстіи суть. И сего ради Варяжская печера зовется и донынѣ. Злата же и сребра бесчислено множество». К.-П. П., 119.

[6] Н. Закревский. Описание Киева. М. 1868, 604, 605.

[7] Н. И. Петров, о. с., 56.

[8] Лавр. лет., под 1070 г.

[9] Там же, под 1108 г.

[10] Д. В. Айналов и Е. К. Редин. Киево-Софийский собор. СПб., 1889, 310 — 315; М. П. Истомин. К вопросу о древней иконописи Киево-Печерской лавры. Чт. в Ист. Общ. Нестора летописца. Киев, 1898, XII, отд. II, 9. Ср. мнение Д. И. Абрамовича по поводу изданной Истоминым рук. Лаврск. библ. № 204. о. с., II.

[11] Ипатьевск. лет., под 1111 г.

[12] Лавр. лет., под 1073 г.

[13] Там же, под 1088 и 1089 г.г.

сведения о них мы находим в преданиях, записанных в Хронике Феодосия Сафоновича и Синопсисе Иннокентия Гизеля, источниках поздних, гласящих, что Выдубицкая церковь «создана того ради, зане яко въ Хонѣхъ св. арх. Михаилъ чудо сотвори, погрузивши въ рѣкѣ невѣрныхъ, тако и ту выдыбалаго или выплывшаго въ болванѣ чорта (идола Перуна) помоглъ въ водахъ погрузити»,[1] но все же передающих, повидимому, отголосок древнего поверья, желавшего соединить момент построения церкви с восточными легендами о борьбе арх. Михаила с темными силами.[2]

Нет сомнения, что на фоне того дуалистического миросозерцания, которое, в связи с учением о падении Сатанаила и о низвержении его в бездну арх. Михаилом, столь ясно сказалось во время перелома славяно-русских воззрений в сторону аскезы и ригоризма уже с середины XI в., легенда о чуде в Колоссах-Хонах проникла и на киевскую почву.[3] В Киево-Печерской обители, центральном пункте развития дуалистической доктрины, эта легенда, несомненно, была хорошо известна.[4]

Все это позволяет сблизить моменты зарождения храмов в Выдубицком и Печерском монастырях и пролить некоторый свет на те строки из Печерского Патерика, которые приведены в начале настоящей статьи.

Исследователь Печерского Патерика Д. И. Абрамович, располагающий обширным количеством его восточных и западных редакций и списков, заявляет: «для Слова о создании церкви Печерской мы решительно затрудняемся указать какие нибудь литературные источники».[5] Из слов самого автора Слова — Симона (рк. Новг. Соф. б. № 1363, л. 94 об.; Д. И. Абрамович, о. с., 175, пр. 89) можно предполагать о его большой начитанности; но, несмотря на это, все же было бы затруднительно видеть в месте Слова, гласящем о чудесном выпадении росы при отыскании места для церкви лишь простое, взятое ради литературной приукрашенности,

---

1 И. Гизель. Киевский Синопсис. Киев 1823, 54. В изд. Синопсиса 1735 г., стр. 119, сказание отсутствует. Н. Закревский, о. с., 225, 907. Иное толкование названия «Выдобичи» см. у К. В. Шероцкого «Киев», 1917, 307.

2 К. В. Шероцкий, о. с., 308 — 309.

3 Н. К. Никольский. О древне-русском христианстве. Русская Мысль, июнь, 1913. М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Россия и Запад. Петербург 1923, 36. К. В. Шероцкий сообщает, что год основания киевской церкви арх. Михаила совпал с годом осквернения его храма в Хонах турками. О. с., 307.

4 Легенда в разл. рсд. издана—Acta Sanctorum, VIII, sept.; Analecta Bollandiana VIII, 289—316; Великие Минеи-Четии Макария сент., 283 сл.; Сергий, Полн. Месяцесл. Востока, II. Владимир 1901, 359 — 360; О. А. Добиаш-Рождественская. Культ св. Михаила в латинском средневековье V — XIII ст., Петроград, 1917, 39, пр. 70, 40 — 42; Н. И. Кареев. Гермес-Михаил и сказание о чуде в Хонах. Изв. Отд. Рус. Яз. и Слов., XXIII (1918), кн. 1, 8 — 12.

5 Д. И. Абрамович. Исследование о Киево-Печерском Патерике, как историко-литературном памятнике, СПб. 1902, 183 — 184. Автор справедливо указывает, что «византийско-славянские сказания о создании храма св. Софии Цареградской не послужили литературным прообразом для Симонова Слова».

заимствование из библейской легенды о Гедеоне и орошенном руне,[1] не связанной с моментом основания какого-либо храма. В противовес Поликарпу, второму из авторов Патерика,[2] изложение Симона отличается бо́льшею простотою и, если он мог заимствовать указанный момент о выпадении росы, то скорее всего не непосредственно из Библии, а из тех местных житийных и летописных источников,[3] которые, будучи связаны с Печерским монастырем, сами имели в составе своих редакций этот момент. Кроме того, на что уже указано,[4] Симон располагал еще преданиями, сохранившимися в роде варяга Шимона. Возможно, что Симону известны были и легенды, связанные с основаниями храмов во имя арх. Михаила и в частности храма в Выдубичах. На это указывает та часть приведенного текста, в которой говорится о спадении огня «с небеси», связанная с аналогичными явлениями в легендах о Колоссах-Хонах и о Monte Gargano.[5]

Церковь арх. Михаила в Выдубицах не случайно возникла над днепровскою кручей, на месте настолько опасном и близком к обрыву, что уже в 1199 г. Петру Милонегу пришлось возвести для укрепления обрыва такую каменную стену, о которой «мнози не дерьзнуша помыслити отъ древнихъ».[6] Очевидно, киевляне строили здесь храм по образу ораториев Михаила «князя великого, издревле являвшегося на горных высотах Синая и Сиона, на вершинах Семигорья», ибо там, как впоследствии в Колоссах — Хонах, а затем в средневековом Западе, Михаилу была усвоена «исключительная роль в союзе неба и земли и борьбе светлого и темного начала в космосе и истории».[7] Исследование О. А. Добиаш-Рождественской с убедительностью показало, что в латинском средневековьи святилища Михаила всегда вырастали на горных высотах и диких утесах над ущельями и морскими пучинами. Где не было высот природных, их создавали искусственно.[8] Старые воззрения Востока и Греции постепенно осложнялись здесь наслоениями местных легенд.

Из этих святилищ и связанных с ними легенд особый интерес представляет одно, вырастающее в сумерках VIII ст. в связи с колонизацией теснимых сканди-

---

1 Книга Судей, 7, 36 — 40.

2 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X — XII в.в. СПб., 1913, 255; В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы. Петроград 1922, 204.

3 А. А. Шахматов. Житие Антония и Печерская летопись. Ж. М. Н. П., 1898, март, 109 — 110, 113, 148 — 149; А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб. 1908, 276; М. Д. Приселков, о. с., 254; В. М. Истрин, о. с., 199, 209.

4 М. Д. Приселков, о. с., 254. В. М. Истрин, о. с., 201.

5 О. А. Добиаш-Рождественская, о. с., 40, 104.

6 Ипатьевск. лет., под 1199 г.

7 О. А. Добиаш-Рождественская, о. с., 27, 28.

8 Ibid. 100.

навами кельтских анахоретов на берега и острова Бретани. Это — амфиктиония св. Михаила над Морской Пучиной (S. Michael in Periculo Maris или S. M. in Monte Tumba).[1] Легенда его связана с гарганской легендой, но имеет и свои черты близкие к Слову Симона. Здесь также еп. Аутберту Авраншскому помогает отыскать границы будущего храма ночная роса, которая выпав в изобилии вокруг, оставляет сухим место назначенное для основания храма.[2] Момента выпадения росы, хотя и взятого здесь — quondam Gedeoni in signum victoriae, не знает ни хонская, ни гарганская легенда. Правда, мотив этот связан с именем арх. Михаила, совершающего воздушные перемены, выпадение дождя и росы и произростание дерев и посевов, уже на александрийской почве в эпоху эллинистическо-христианского синкретизма,[3] но не в связи с построением храмов, как это мы видим в Слове Симона и в нормандской легенде. Были причины, говорит О. А. Добиаш-Рождественская, в силу которых иные традиции христианского Востока попадали раньше и привились крепче в древней стране белых ночей, чем на соседнем континенте, указывая вместе с тем, что в движении с севера людей и культов должны мы искать начало северного святилища св. Михаила над Морской Пучиной.[4] Не в этом ли движении с севера норманнов, заполнивших в IX в. Европу[5] и, по великому пути «из Варяг в Греки», прибывших в Киев, мы должны видеть основу той редакции Симонова Слова о создании церкви Печерской, которую он взял из числа, быть может, преданий, сохранившихся в роде варяга Шимона.[6] Во время битвы с половцами в 1068 г. бывалый Шимон, лежавший раненым, взглянул на небо и «видѣ церковь превелику, якоже прежде видѣ на мори».[7] Не воскресла ли в его сознании когда-то виденная им на севере церковь, подобная святилищу Михаила над Морскою Пучиной и не жила ли в его роде, в Суздале, где писал свое Слово Симон, рассказанная им легенда об основании ее. Стремление Владимира Мономаха сохранить Шимонову меру при

---

1 О. А. Добиаш-Рождественская, о. с., 180—190.

2 «Cumque jam dictus episcopus de magnitudine construendae fabricae adhuc dubius cogitaret, nocte media sicuti quondam Gedeoni in signum victoriae, ros jacuit super verticem montis; ubi autem fundamenta locanda erant, siccitas fuit, dictumque est episcopo: vade et sicut signatum videris fundamenta jace». A. A. S. S. Sept. VIII, 77.

3 В. Болотов. Михайлов день. СПб. 1892, 37, пр. 63: «Ночь с 11 на 12 пауни у египтян известна под названием «ночь капли»; они предполагают, что в эту ночь пред рассветом падает с неба в Нил капля росы, обуславливающая возвышение вод его и очищающая воздух. Религиозные копты говорят, что в эту ночь Бог посылает арх. Михаила возмутить воды Нила и вызвать в них благотворное брожение».

4 О. с., 180, 190.

5 Ф. А. Браун. Варяги на Руси. Берлин, 1925, 311. V. F. Braun. Russland und die Deutschen in alter Zeit. Berlin 1925, 683, 684,1 и др.

6 М. Д. Приселков, о. с., 250, 254; В. М. Истрин, о. с., 201.

7 К.-П. П., 3.

построении церкви в Суздале,[1] показывает желание следовать традициям, связанным с именем варяга Шимона. Наличие же ранне-романских северных элементов в русской архитектуре[2] и русских росписях,[3] вместе с обильными находками варяжских предметов в разных областях древней Руси[4] и, наконец, вместе с Эймундовой сагой[5] еще укрепляет силу и устойчивость традиций, принесенных норманнами.

Н. Сычев.

Ленинград.
1926. XII. 21.

---

[1] К.-П. П., 6.

[2] А. Капустина. К вопросу об архитектуре св. Софии Новгородской. Зап. Отд. рус. и слав. арх. Рус. Археол. Общ., XII, Петроград 1918, 113 — 114.

[3] T. J. Arne. Rysk-byzantinska målningar i en Gotlanskyrka. Fornvännen... Stockholm, 1912, häft 2—4, 57 — 64. В. К. Мясоедов. Спас-Нередицы. Фрески Спаса-Нередицы. Ленинград 1925, 17.

[4] T. I. Arne. La Suède et l'Orient. Archives d'études orientales, VIII, Upsal 1914 18 — 62; Н. Т. Беляев. О булате и харалуге. Recueil d'études dédiées à la mémoire de N. P. Kondakov. Prague 1926, 153 — 158.

[5] Eymundar Saga. Antiquités Russes d'après les monuments historiques des Islandais et des anciens Scandinaves. Éd. par la Société Royale des Antiquaires du Nord. Copenhague 1852, II, 170 — 211. Сенковский, Собр. соч., V, СПб., 1858, 420 — 578.

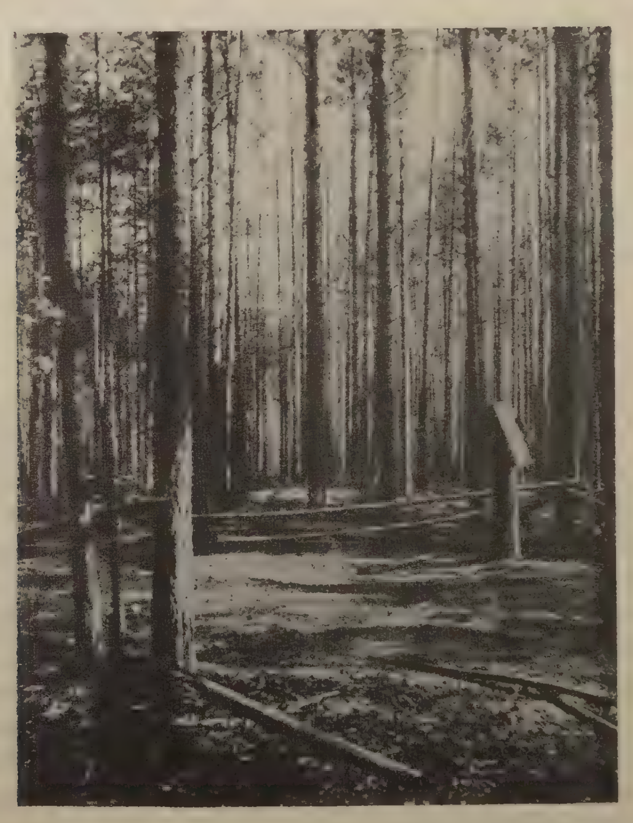
К топонимике Коми—Пермяцкого края.

Летом 1917 г. продолжались наши антропологические и этнографические наблюдения в Пермской губернии среди коми-пермяков.

В д. Чазёвой Юксеевской вол. Чердынского у. удалось узнать, что по дороге отсюда в д. Бачманову имеется урочище Важ-Чазёва, т. е. Старая Чазёва. Посещение и осмотр этого урочища дали следующий результат. Расположено оно в лесу, неподалеку от дороги (по правую руку, если ехать из д. Чазёвой), и представляет собой площадку круглых очертаний, обнесенную изгородью из жердей (см. рис. на стр. 296). Лес на этом месте не растет, пней не видно, травы почти нет. Ближе к СВ краю площадки врыт в землю столб. На нем прикреплена маленькая икона типа старообрядческих складней. Столб ветхий. Несомненно, это был крест. Упавшая покрышка, отставленная кем-то в сторону, при нас была надета на столб спутниками-пермяками. Перед столбом заметно на земле некоторое понижение, как бы следы ямы.

Наши расспросы местного населения о назначении площадки в лесу, несомненно посещаемой людьми (утоптанность земли, отсутствие травы, следы разных вещей—бересты от бураков, проржавевший железный ковш и т. д.), в первый момент не увенчались успехом. Однако, через некоторое время, когда население «присмотрелось» к нам, удалось узнать следующее. В семик на указанное место собирается пермяцкое население из окрестных деревень, не только ближних, но и сравнительно отдаленных (за 40—50 верст). Привозят с собой брагу, хлеб и другие яства. Едят сами и дают многочисленным нищим, стекающимся к этому дню в Важ-Чазёву со всей округи. Грамотеи читают псалтырь. Присутствующие «поминают» при этом «неизвестно кого», как сказали сначала мои собеседники. В дальнейшем от одного из стариков мы узнали, что поминают в лесу «старинных людей, наших дедушек». Завоевав доверие собеседника, удалось установить, что в Важ-Чазёвой захоронены четыре «старинных человека», игравши́х в жизни пермяков какую-то видную роль. Были названы даже имена захороне́нных—Чаџ̆і (с наших слов транскрипцию любезно указал Н. Н. Поппе), Бачь, Юкси и Пукси. Старшее поколение деревни подтвердило в дальнейшем показания моего собеседника, назвавшего имена погребенных в Важ-Чазёвой. Указывали

на то, что поминают в семик «старых людей» вообще и в частности—четырех, имена которых известны. Отмечались более многолюдные и пышные поминки в старые времена. Теперь, по словам стариков, население стало меньше поминать своих «дедушек» и не так охотно съезжаться в семик в Важ-Чезёву из дальних селений.



Поминки *в семик* несомненно указывают на языческий характер этого обряда.[1] Крест, икона, чтение псалтыри наносное, недавнее сравнительно явление, маскирующее языческую сущность поминок.

Чаӟі, Бачь, Юкси и Пукси—вероятно, древние языческие имена пермяков-коми. Имена эти важны для понимания топонимики Пермяцкого края. Неподалеку от осмотренного нами урочища расположена д. Чазёва, слившаяся ныне с д. Подъячевой, да и само урочище носит название Важ-Чазёва. В этих руссифицированных названиях звучит основа Чаӟі, т. е., как предположено нами, языческое имя. То же приходится сказать относительно названий деревень Большой и Средней Бачь-мано-

[1] Д. К. Зеленин. Очерки русской мифологии, в. 1. Птг. 1916.

вых, расположенных в 8 вер. от Чазёвой, Пукси-па (Пукси-ыб, т. е. поле, принадлежащее Пукси, подобно названию с. Ошиба б. Соликамского у.: ош «медведь, ыб «поле»=«медвежье поле») и старинного села Юкс(и)-еева. Последнее является одним из первых населенных мест в Пермяцком крае, отмеченным в писцовой книге Яхонтова (1579 г.). Точно также зарегистрирован переписью Яхонтова и починок Чазёв. Селение Бачманово отмечено писцом Кайсаровым при второй переписи Перми-Великой в $16^{23}/_{24}$ г. Тогда же существовало и селение Пуксип, названное Кайсаровым д. Нестеровой.

И. Н. Смирнов («Пермяки», 1891 г.) отыскивал следы языческих пермяцких имен в фамилиях современных пермяков, в древних актах и писцовых книгах. Последние по Соликамскому и Чердынскому уездам упоминают личное имя Чаз-ев (Смирнов, цит. соч., стр. 86). Эта фамилия встречается и ныне в Пермском крае. Среди личных имен и прозвищ, бытующих у современных пермяков, Смирнов называет Бач-ева. Нам лично известна фамилия Бач-мановых. Здесь всюду звучат языческие имена, указанные нам в Чазёвой. Объяснение названия д. Пуксип, проведённое выше, гораздо естественнее отмеченного И. Я. Кривощековым (Словарь геогр. и стат. Чердын. у. 1914, стр. 644) — «пукси» в значении глагола *сел*, «пи» — *сын*, т. е. отделившийся сын сел на выделенное ему поле. В соседнем с Чердынским, б. Соликамском уезде имеется ряд селений, в названии которых звучат языческие имена, напр. Кудым-кар, Май-кар, Меч-кар и т. д.

Несомненно, что память народа хранит воспоминания о каких-то видных сородичах, имена которых связаны с названиями нескольких селений в Пермяцком крае Чердынского у. Погребение их всех вместе, быть может, и не основательно, предание приурочивает к одному пункту — Важ-Чазёвой. Раскопки здесь были бы желательны и в целях собирания палеоантропологических материалов. Едва ли, однако, удастся произвести таковые в ближайшее время, не вызывая неудовольствия среди населения.

Вернемся к поминкам в семик на Важ-Чазёвой. И. Я. Кривощеков (цит. соч., стр. 620) указывает, что на могильнике близ д. Чазёвой, исследованном им в 1889 г., население также совершало в прежние времена поминовение «дедушек и бабушек». Трудно сказать, к какому месту близ Чазёвой надо отнести Шойныб — «могильное поле» — упоминаемое названным автором. Около Важ-Чазёвой (ближе к д. Чазёвой) нам указывали урочище Кушдор. В то время (1917 г.) оно арендовалось местным объезчиком М. Ф. Гагариным. При раскопке Кушдора (лет за пять до нашего посещения) находили чудские вещи и человеческие кости. В лесу, к ЮЗ от Кушдора, указывали остатки чудских могил. Вообще описываемая местность изобилует остатками памятников древности.

В одном только Чердынском у. И. Я. Кривощеков называет в своем «Словаре» ряд пунктов (Чураки, Борина, Войвыл и др.), где население поминает своих предков

на древних могилах. И. Н. Смирнов (цит. соч., стр. 125) придавал этим фактам, известным ему из других мест, большое значение, рассматривая их, как свидетельство прямой связи между «Чудью и Пермью». А. Ф. Теплоухов (Зап. УОЛЕ, т. 39, 1924 г.), в неудачной своими выводами работе (см. мнение А. И. Соболевского: «К археологии Прикамья» в Перм. Краевед. Сборн., 1926) совершенно неосновательно опровергает приведенный взгляд И. Н. Смирнова ссылкой на И. Я. Кривощекова. Последний указывает в своем «Словаре» (стр. 301-302) на возникновение в д. Войвыл обычая поминать «старых людей» основываясь на находках в 1908 г. при земляных работах неподалеку от деревни костяков и чудских изделий. Если бы современные коми д. Войвыл не чувствовали некоторой связи с могильным населением, то они и не стали бы поминать «старых дедушек и бабушек». В данном случае А. Ф. Теплоухов еще раз «достиг не той цели, которую преследовал», говоря словами А. И. Соболевского (цит. ст., стр. 1).

Вопрос о народности чуди, конечно, не разрешается сопоставлениями фамилий и прозвищ современных пермяков, как делает это А. Ф. Теплоухов. Замечание А. И. Соболевского чрезвычайно ценно с методологической точки зрения. Со своей стороны, укажем на важность изучения ископаемых остатков человека (костей, черепов) из могильников Пермяцкого края. Их сравнительный анализ позволит в будущем (сейчас нет достаточных материалов) ближе подойти к вопросу о «Чуди и Перми» и автохтонах северо-востока нашей страны.

Кончая эту заметку, позволим высказать следующее. В поисках древних языческих имен в пермяцком крае (как, вероятно, и в других местах) и в выяснении их связи с названиями населенных мест, будут полезны не только фамилии современных коми, их прозвища, древние акты и писцовые книги, но и живой рассказ, предания, бытующие в населении. В пермяцком крае в деле собираня этих материалов сделано мало. Изучение преданий коми-пермяков ждет своего исследователя.

Б. Вишневский.

Ленинград.
Музей Антропологии и Этнографии
Академии Наук.
1926. XII. 21.

Опера Кишки Згерского
«Złota Wolność, czyli Alexander I».[1]

Викентий из Цехановца Кишка Згерский один из второстепенных польских поэтов нач. XIX века. Но в его литературной деятельности можно найти немало характерного. В свое время он был и довольно популярным, о чем свидетельствует упоминание его имени некоторыми современными ему писателями; напр., у Моравского можно прочесть:

«Takiéj ja to podróży chcę opiewać dzieje,
Jeśli mi kto dobrego szampana naleje;
Jeśli Molle i *Kiszki* złym rymom przebaczą,
A dyabli Szaniawskiego choć raz porwać raczą».

Тот же Моравский от имени стихоплета Марцинковского так полемизирует с каким-то критиком:

«Jeszcześ był w jajku,
Mały hultajku,
Gdym w Parnas wskoczył
I już przeskoczył
W sztuce Apolla,
Kiszkę i Molla».[2]

Згерский интересен своими симпатиями к русской литературе: между тем, как большинство польских ложноклассиков искало себе образцов для подражания преимущественно в литературе французской, отчасти в литературах античных, Згерский находит их также и в литературе русской. Он прекрасно знает ее, с уважением относится к ее талантам и смело ставит их иногда даже выше общепризнаных французских авторитетов. Особенно высоко ценит он Державина и «nieśmiertelnego»

---

1 Сокращенное изложение доклада, прочитанного в «Историко-лит. Общ.» при Киевском Институте Нар. Образ.

2 Dzieła L. Siemieńskiego. Tom II. Warsz. 1881, стр. 84—85.

Сумарокова; переводами их произведений он старался обогатить родную польскую литературу.[1]

«Złota wolność» Згерского имеет еще и свой специальный интерес: в ней очень ярко отразился интересный момент в настроении значительной части польского общества в 1820-х гг. Александр I недвусмысленно намекал полякам на возможность политического возрождения Польши. Венский конгресс сильно сократил его планы, ограничив их образованием «Царства Польского». Тем не менее Александр старался привлечь к себе симпатии поляков, что в значительной мере ему удалось. Часть польского общества пошла за ним; ее настроение нашло в себе отзвуки и в литературе: польские журналы Александровской эпохи наполнены гимнами, одами, дифирамбами в честь Александра.[2] Культ Александра развивался особенно в Вильне. Первые моменты административной и литературной деятельности Кишки Згерского прошли как раз там. Он проникся преклонением перед Александром, которое и выразил в своей опере, вышедшей в Вильне в 1818 г.: «Złota Wolność, czyli Alexander I, cesarz Rosyyski, król Polski». Opera w trzech aktach przez Wincentego z Ciechanówca Kiszkę Zgierskiego.

«Dobry smak» требовал, чтобы драматическое произведение имело какую-нибудь серьезную цель — религиозную, этическую или политическую. Згерский в настоящем произведении поставил себе прежде всего задачу этическую: он надеется — как свидетельствует «Uwaga» в начале оперы, что его произведение «возбудит отвращение к угнетению и мужество для защиты человеческих прав». Но вместе с тем у него есть другая, политическая цель — прославить Александра. Эта этическая и политическая цель в значительной мере определила развитие сюжета произведения. Центральным лицом своей оперы автор сделал Альцидама I, который как своим именем так и характером и поступками должен представить Александра I — «poniekąd nasladowniczy obraz czynów Alexandra I» (Uwaga). По представлению же Згерского, как и единомышленной ему в данном отношении группы польского общества, Александр был для поляков прежде всего и главным образом «powróciciel swobód» и «oycieć ludów». Поэтому и Альцидама нужно было изобразить носителем идеи освобождения народов и возвращения им утерянного счастья. А для этого

---

1 Переводы Згерского: 1. Lira Dzierżawina: Oda Nieśmiertelność duszy, przekład Hr. W. K. F. Z. Wilno 1822. — 2. Oda Bóg, Wilno 1823. — 3. Oda na narodzenie na północy purpurorodnego dziecka. Oda na narodzenie xiążęcia Michała Pawłowicza. Wilno 1823. — 4. Oda na smierć Hrabiny Rumiancof. Wilno 1823. — 5. Oda Urna. Wilno 1823. — 6. Oda Piotrowi wielkiemu. Oda nagrobna Katarzynie wtorey. Oda na smierć wielkiey xiężniczki Olgi Pawłowny. Oda Burza. Wilno 1823. — 7. Dymitr Samozwaniec, trajedya w pięciu aktach, najznakomitsza z dzieł nieśmiertelnego Sumarokowa. Przekład Winc. C. Kiszki Zgierskiego, zdaniami, obrazami, przenośniami, zastosowaniem do dziejów ówczesnych sceny narodowey, upięknieniem i podniesieniem twórczych myśli w monologach, podług prawideł sztuki ozdobiona. Wilno 1821.

2 Францевъ. Польское славяновѣдѣніе. Прага 1906, стр. 14—17.

пришлось дать картину тиранства, несчастья, угнетения. В предисловии автор сам указывает, что для изображения всеобщего счастья ему необходимо было «отметить самыми темными красками жестокость». Этого требовало и известное правило ложноклассической поэтики о контрастах.

Действие происходит над Евфратом в развалинах столицы государства Парадизии — «Złota Wolność». В темной пещере за решеткой сидит королева Парадизии Либерта и горько жалуется на свою судьбу и на тирана Астериона, который, угнетая человеческий род и пытаясь уничтожить весь свет, дошел уже до ее земли и разрушил ее счастье. Вся личность и характер Астериона, в некоторых поступках которого можно видеть намеки на Наполеона, должны оттенить светлые черты божественного Альцидама. Альцидам — dawca swobód (стр. 30, 113), dawca wolności (87, 114), dawca wyzwolenia (100) — приближается к Парадизии «z tryumfem powszechnego pokoiu» (стр. 6); он, как «bohatér swiata» (27), возвращает народам счастье — мир и свободу. Освободив Либерту, он восстанавливает столицу Парадизии — «Złotę Wolność», а жителям ее дает «книгу своих прав» (109), т. е. конституцию, в которой заключаются «ustawy swobód i szczęścia narodów» (28, 57, 104). Благодарные народы встречают его гимнами радости; он для них «oyciec pożądany» (113), dobroczynny (113), «drogy wyzwoliciel» (30), «bohatér wielki» (30) и т. п.

Поступки Альцидама, его свойства и даже слова, а также отношение к нему народов, действительно изображены так, как представлялись свойства и поступки Александра современной Згерскому и единомышленной с ним группе поляков. Многочисленные статьи, речи и известия об Александре помещались во всех польских журналах и газетах, между прочим и в виленских; наш автор, конечно, был с ними знаком и из них мог составить себе этот оффициозный образ Александра. Но он имел возможность также видеть Александра в Вильне и участвовать в торжестве встречи его жителями Вильна. До печатания оперы (1818 г.) Александр посетил Вильно четыре раза; особенно знаменательны два последние посещения. Победивши Наполеона, он прибыл в Вильно, по описанию одной виленской газеты,[1] «w zwycięstwie nad pogromcą Europy». Затем, возвращаясь в 1815 г. с Венского конгресса, он снова посетил Вильно; на этот раз встреча была особенно торжественной. В то время слава Александра, как победителя «всеобщего тирана», гремела по всей Европе; он возвращался из Европы, действительно, «z triumfem powszechnego pokoiu». Неудивительно, что и в польских газетах данного времени с именем Александра постоянно соединяются такие эпитеты, как «powszechny zbawca», «dawca pokoiu», «zwycięzki bohatér», «oyciec», «opiekun», «dobroczyńca», «wskrzesiciel» и т. п.[2] Сам Александр

[1] «Kuryer litewski». 1815. № 96, 1 grudnia.

[2] Ibid. №№ 92, 93, 95, 96.

усиленно стремился создать о себе такое мнение среди поляков. Напр., при встрече его в городе Ловиче он не принял ключей от города, и газеты с восторгом передавали его слова: «Nie przychodzę do podbitego kraju, ale jako Ойciec wracam do swego ludu, a zatem i kluczy nie odbieram».[1] Александр всюду рассыпал полякам милости и обещал еще бо́льшие, постоянно утверждая, что единственной целью его и заботой является — осчастливить их. Уже в первом известии об образовании Царства Польского — в письме президенту Сената графу Островскому — он утверждает: «Je désire de fonder le bonheur du pays». То же повторял он в различных вариациях и при различных случаях. Вообще, можно сказать, что опера Згерского во всем, что касается Альцидама, есть драматизованное изображение возвращения Александра с Венского конгресса в 1815 г. и встречи, устроенной ему поляками.

Пьесы, предназначавшиеся для так называемых «торжественных спектаклей», бывших в большом ходу в панегирический XVIII век (в России, например, еще с Петра I и особенно при Елизавете Петровне и Екатерине II)[2] — а к таким и принадлежит опера Згерского — обыкновенно базировались на различных внешних эффектах: пышных декорациях, частых и резких переменах обстановки действия и т. п.; на самый текст, либретто, обращалось мало внимания. Однако Згерский отнесся к своей задаче очень серьезно. Хотя и его пьеса — по своему назначению, мотивам и исполнению — может быть отнесена к разряду «од в лицах», он стремится дать образцовое для своего времени произведение, написанное «по всем правилам искусства». Это стремление — очень характерная особенность всей литературной деятельности Згерского: он сам чуть ли ни на всех литературных работах отмечает, как одно из существенных их качеств, что они написаны «podług prawideł sztuki». Авторитетами его в этом отношении являются все виднейшие теоретики «классической школы», а также все главнейшие признанные гении ее. Ему хорошо известно «De arte poetica» Горация, из которого он приводит многочисленные цитаты в разных своих произведениях; иногда он ссылается и на Аристотеля. Точно так же хорошо известно ему «L'art poétique» Буало. Далее он с большим почтением относится к Лагарпу и к Вольтеру. Из поэтов и писателей классической школы он чаще всего обращается к Корнелю, Расину и Вольтеру. Несколько странно, что он нигде не упоминает «польского Буало» — Дмоховского, который был в таком почете у польских ложноклассиков и кодекс которого, «Sztuka rymotwórcza», несомненно был ему известен.

Что же касается внешних эффектов, то они достигаются главным образом прозрачными картинами — транспарантами. «Optyczne transparenta», по мнению автора,

---

[1] Ibid. № 98, 20 listop.

[2] Б. Варнеке. История русского театра. Изд. 2-ое, гл. XVI.

могут при незначительном расходе составить в пьесе все декорации или украшения (стр. 32). Но не всегда эти транспаранты служат у него только для простого украшения: часто они дополняют характеристику героев, а иногда, как своего рода «machyny», подвигают вперед действие. Напр., все транспаранты, которые касаются Альцидама-Александра, подчеркивают лучшие черты его характера и прославляют его деятельность, чередуясь с хвалебными одами и панегириками в словах. Вот некоторые из них: На высокой скале стоит храм свободы; в нем — гений Альцидама; на оливковом дереве — книга с надписью: «ustawy swobód i szczęścia». Храм свободы и счастья; на нем — надпись: złota wolność», а над входом — «oycu swobód i szczęścia narodów». Знамя с надписью: «Ut bene sit mundo!» и т. п. Подобные транспаранты были в свое время в большой моде не только в театрах; при торжественных случаях ими украшались улицы и дома. Напр., при торжественном въезде Александра в Польшу в 1815 г. и Варшава, и Вильно, и другие города, через которые он проезжал, были украшены прославляющими его иллюминированными картинами. Некоторые из них даже по содержанию очень похожи на транспаранты оперы Згерского. Так и в Варшаве и в Вильне изображались храмы славы, храмы благодарности, гении Александра с оливковыми и лавровыми ветками, аллегорические фигуры, изображающие свойства Александра — справедливость, мужество, набожность, доброту и т. п.; на доме Солтыка в Варшаве картина изображала книгу с надписью; «zasady Konstytucyy Królestwa Polskiego»; в другом месте — венок со словами: «unus qui nobis restituit rem» и т. п.[1] Очевидно, что транспаранты Згерского были только копиями этих картин и, следовательно, данью тогдашней моде.

Точно так же и в других отношениях опера Згерского не обнаруживает особенной самостоятельности и оригинальности. В ложноклассической литературе можно было бы указать источники многих ее деталей. Не оригинальна и общая концепция ее, хотя она намечалась, как мы видели, уже сюжетом и целью. Некоторые обстоятельства позволяют думать, что она сформировалась под влиянием трагедии Арно: «Германик». Трагедия «Германик», поставленная в «Théâtre Français» в 1817 г. наделала много шуму; зрители встретили ее с восторгом — «Ce n'était plus des bravos, des applaudissemens, c'était des cris des convulsions, c'était de la fureur de la rage», писалось о первом ее представлении. Згерский, знавший об этом, сам увлекается ею, называет ее «twór doskonały we wszystkich swych częściach» и приступает к переводу ее на польский язык; в 1819 г. выходит его перевод[2] с многочисленными примечаниями, свидетельствующими о внимательном ее изучении. В «Германике» противопоставлены два правителя — добродетельный Германик и

[1] См. описания в современных событию Варшавских и Виленских газетах.

[2] Germanik, tragedya Arnaulta... Przekład Winc. z Ciechanowca Kiszki Zgierskiego... Wilno 1819.

порочный Пизон. Германик поставлен в такие условия, при которых обна..ями-вается его доброта и великодушие; это монарх, жертвующий своей жизнью для счастья и свободы народов и утешающийся только тем, что он был отцом своих народов, жившим исключительно для их счастья. Опера «Złota Wolność» писалась как раз в период увлечения Згерского «Германиком», поэтому мы можем утверждать, что сходство в построении и деталях этих двух драматических произведений не случайно. Арно в то время вообще был довольно популярен в Польше; напр., в 1819 г. в Варшавском народном театре была представлена его трагедия: «Maryusz w Minturnie» в переводе Дмоховского; в 1821 г. этот перевод вышел отдельной книжкой.

Опера Згерского, насколько нам известно, на сцене поставлена не была, но это простая случайность, так как подобные произведения в то время были в большом ходу и для торжественных спектаклей, которые устраивались преимущественно в табельные дни, она годилась бы не хуже, чем, напр., такие оперы, как «Pomniki Alexandra» Maieranowskiego,[1] «Pan Dobry»,[2] «Łaskawość Tytusa»,[3] «Łaska imperatora»,[4] из которых особенно популярной была последняя — «ulubiona opera», написанная «na cześć wskrzesiciela oyczyzny, którego wspaniałomyślnemu sercu winna Polska swoie istnienie i berłu iego codziennie błogosławi».[5] А опера Згерского была, ведь, как он сам ее называет, такое же «dzieło patryotyczne».[6]

Итак, со стороны приемов творчества опера Кишки Згерского не дает, конечно, ничего нового и особенного; с этой стороны она, как и вся его литературная деятельность, интересна, как яркий образчик творчества, которое, не имея достаточно данных и творческого таланта для создания чего-либо оригинального, стремилось заменить их точнейшим соблюдением правил, надеясь таким образом развивать «вкус» читателей и принести им посильную пользу. Но сюжет оперы — прославление деятельности Александра — имеет значительный исторический интерес. С этой стороны опера Згерского, отражающая настроение определенной общественной группы, очень характерна для своего времени. Какова была эта группа? из каких общественных элементов она состояла? Вначале она была очень немногочисленной и можно, пожалуй, согласиться со свидетелем этих происшествий, революционным критиком Мохнацким, утверждающим в своем труде «Powstanie narodu polskiego»

---

1 Представлены в Краковском театре в день именин Александра I в 1817 г.

2 В Виленском театре в день именин Александра в 1817 г.

3 В Виленском театре в день коронации Александра в 1820 г.

4 В Минске при встрече губернатора Сулистровского в 1816 г.; в Виленском театре в день коронации Александра в 1817 г.; в Краковском театре в день закладки памятника Костюшке в 1820 г.

5 «Pszczółka Krakowska», 21 paźdz. 1820.

6 Объявление от автора о выходе в свет оперы в «Kuryer litewski» 1817. №№ 84, 86, 89.

(I, стр. 104), что Александр вначале опирался только на тех поляков, которые из личной дружбы стояли при нем, — «im honor nie pozwalał wdzięczności osobistey poświęcić ojczyznie». На Венском конгрессе Александр оперировал хорошим мнением о себе поляков, которое создавалось, будто бы, даже наемными агентами, — «opiniją o sobie w Polszcze, podbechtywaną przez najemnych agentów nastrojoną przez wyrodków ojczyzny» (I, стр. 103). Однако дальнейшее поведение Александра, в котором Мохнацкий видит только «свойственное ему лицемерие», привлекло поляков и захватило довольно широкие круги. Даже Мохнацкий, при всем своем отвращении к Александру, должен был признать, что Александр «był przez czas niejaky popularny, łatwy, przystępny i kochany w Polszcze» (I, стр. 36)... «Naród widział w Alexandrze dawcę konstytucyi, wskrzesiciela części kraju» (I, стр. 110).

Не нужно думать, конечно, что Александру удалось обольстить всех поляков. Более дальновидные не верили ни его обещаниям, ни его ласкам; но их голос не мог в то время проявиться открыто — они уходили в подполье, основывали тайные общества, подготовляя почву для удобного момента. В ослеплявших и усыплявших поляков милостях Александра они видели огромный вред: «Dzisiejsze okrucieństwa Mikołaja, сравнивает позже Мохнацкий, nie zrządzą takich szkód w Polszcze, jakie zrządziły uprzejmość i chytrość jego brata, sprawiedliwie nazwanego Grekiem» (I, стр. 102).

Тайные общества ставили себе целью борьбу с этим зловредным влиянием Александра. Особенно энергично было настроено так называемое «Патриотическое Общество», к которому принадлежал и Мохнацкий. Оно вело, как известно, переговоры с декабристами в лице Сергея Муравьева и Бестужева и не думало останавливаться ни перед какими средствами, чтобы избавить Польшу от непрошенных благодеяний Александра. Но это уже, так сказать, другая сторона медали. Опера Згерского отражает противуположную сторону и вместе со всеми другими польскими произведениями, посвященными прославлению Александра, занимает свое определенное место в истории польской мысли в литературных ее формах.

Евг. Рыхлик.

Нежин.
1926. XII. 21.

Заметки о Повести кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовского.

Повесть кн. И. М. Катырева-Ростовского,[1] давно обратившая на себя внимание благодаря своим исключительным достоинствам, изучена преимущественно акад. С. Ф. Платоновым и проф. А. С. Орловым. Последним — с точки зрения ее поэтических приемов и стиля.[2] Внимательный анализ текста повести с несомненностью подтверждает мысль С. Ф. Платонова о том, что повесть эта составлена «исключительно в книжном стиле» («Пов. о Смутн. вр., изд. 2-е, стр. 438) Художественно насыщенная, изобилующая эпитетами, образными формулами и характеристиками, она, однако, ни в какой мере не отражает влияния народно-поэтического творчества. В этом отношении она никак не идет в сравнение с повестями о Мих. Скопине-Шуйском. Поэтика ее насквозь книжная, обусловленная, с одной стороны, влиянием стиля воинских повестей, с другой — Троянской историей Гвидо де Колумна. И то и другое прекрасно показано А. С. Орловым. И лишь по недоразумению авторы общих курсов по истории русской литературы (Пыпин, Архангельский, Петухов), касаясь этой повести, говорят о присущей ей якобы народно-поэтической традиции. Быть может, повод для такого утверждения дал С. Ф. Платонов, усмотревший в повести «былевые подробности» («Пов. о См. вр.», стр. 438) и тем самым ставший в противоречие со своим же собственным заявлением об исключительно книжном стиле произведения Катырева-Ростовского.

Книжность повести явствует и из изобилия рифмованных строк, уснащающих ее. Автор был настолько неравнодушен к рифме, что использовал ее не только в заключающих повесть виршах, но и в самом ее тексте. В этом отношении он сходится с другими писателями эпохи Смутного времени — с автором «Иного сказания»,

---

[1] Условно популярную повесть о Смутном времени связываю с именем Катырева-Ростовского, несмотря на вновь выдвинутые С. Ф. Платоновым сомнения в авторстве этого лица (см. ст. «Старые сомнения» в Сборн. статей в честь проф. М. К. Любавского, М. 1917).

[2] См. ценные наблюдения в ст. «О некот. особ. стиля великорус. беллетристики XVI — XVII в.в.», Изв. Отд. Русск. яз. и Слов., 1908, IV, и особенно в ст. «Повесть кн. К.—Р. и Троянская история Гвидо де Колумна», Сб. статей в честь М. К. Любавского, М. 1917.

Авраамием Палицыным, Шаховским, Хворостининым.[1] Рифмы у Катырева почти исключительно глагольные. Они соединяют собой строки разной длины, наподобие того, что мы имеем в ранних украинских виршах, хотя бы в предисловии к Острожской библии.[2]

Вот некоторые образцы таких рифмованных строк (цитирую по XIII т. Русск. Ист. Б-ки).

1) Отъ царствующаго града отступи
И мирное поставление на двадесять лѣтъ утверди. (столб. 562)
2) Той же Петръ Басмановъ многое дивное о себѣ творяше
И градъ ополченіемъ своимъ мужески защищаше (572)
3) От нихъ же нынѣ зрите конечное разореніе
И домовъ своихъ вѣчное паденіе (608)

Часто одна рифма проходит через три, четыре и более строк:

5) По сему же совѣту гетманъ воинство урежаетъ,
И воеводу имъ, пана Зборовскаго, поставляетъ,
И путному шествію касатися повелѣваетъ (594)
6) И жестокимъ ополченіемъ нападаютъ,
И грады разрушаютъ,
И людей безчисленно мечемъ посѣкаютъ,
И домы ихъ и жены и дѣти восхищаютъ (603)
7) И ополченіе дивное противъ враговъ своих сотворяют,
И рыстаниемъ конскимъ смѣло на поляцы наскакаютъ,
И въ силѣ крѣпости своея мощнѣ ихъ погнетаютъ,
И шеломы ихъ разсѣкаютъ,
И трупы ихъ на двѣ части раздѣляютъ (609)
8) И заповѣда своей части оную часть людей насиловати
И смерти предавати,
Домы ихъ разграбляти,
И воеводъ, данныхъ отъ Бога ему, безъ вины убивати,
И грады краснѣйшія разрушашати,
А въ нихъ православныхъ крестьянъ немилостиво убивати (561)

---

1 Об этом см. у Н. П. Попова: «К вопросу о первонач. появл. вирш в северно-русск. письм.» Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., 1917, кн. 2, стр. 259—275. Автор изучает элементы виршевой поэзии у Авр. Палицына и автора «Иного сказания». Повести К.-Ростовского он не касается.

2 Ср. И. Н. Перетц. Ист.-лит. исследования и материалы, т. I, стр. 65—81.

В двух случаях четыре строки связаны двумя парами рифм:

9) Изъ града мужески вытекоша,
И на войско царево нападоша,
И граду сію древяную запалиша,
Людей же царевыхъ безчисленно побиша (585)

10) Но паче свѣжими людми премѣняютца
И небоязненно устремляютца,
Смертнымъ бореніемъ жестоким на полки нападаютъ,
И спицы желѣзныя ломаютъ (601)

В следующем примере рифмуют симметрично построенные фразы:

11) И уклони мысль свою на крестьянское убіеніе
И простре десницу свою на песытное грабление (562)

Приведенные примеры составляютъ не более ¼ всего количества рифмованныхъ строкъ в повести. Рифма для Катырева не случайна: она последовательно проходит через всю повесть. Впрочем, нужно сказать, что она примитивнее рифмы и Палицына и автора «Иного сказания».

Какими влияниями объясняется наличие рифмы у Катырева? Прежде всего, очевидно, влиянием «Иного сказания», несомненно знакомого Катыреву и определившего кое в чем, как думает С. Ф. Платонов, фактическую сторону катыревской повести. Это влияние подкреплялось, нужно думать, воздействием литературы Юго-западной Руси на литературу Московскую — еще с конца XVI в. Связь раннего московского стихотворства с традицией южнорусской литературы была в свое время установлена А. И. Соболевским.[1] Пути, какими эта традиция проникала в Москву еще до появления там украинских ученых выходцев, очень правдоподобно намечены Н. П. Поповым в указанной выше статье.

У нас есть кое-какие данные, для того чтобы утверждать, что с традицией этой косвенно был связан и Катырев-Ростовский. Так, в его заключительных стихах мы наталкиваемся на слова юго-западного происхождения: *вирши*, *похоженіе*, *приклады*, *углядаемъ*, *безприкладно*. Далее — некоторыми особенностями своего стиля Катырев обязан влиянию сочинений Курбского, писавшего за московским кордоном. Это влияние сказывается прежде всего в тех укорах, которые наш автор обращает к Самозванцу и особенно к Борису Годунову: «О преславный царю Борисе, паче же неблагодарный! почто душегубнаго таковаго дѣла поискалъ еси и властолюбію восхотѣлъ еси? почто беззлобиваго младенца, сына царева суща, смерти горькія предалъ еси и царскій родъ на Россійскомъ государствѣ пресѣклъ еси?»

[1] Библиографъ», 1891, №№ 3—4 и 7—8.

и т. д. (столб. 580). Ср. у Курбского:[1] «Про что, царю, сильныхъ во Израили побилъ еси и воеводъ, отъ Бога данныхъ ти, различнымъ смертемъ предалъ еси? и побѣдоносную, святую кровь ихъ во церквахъ Божіихъ, во владыческихъ торжествахъ, проліялъ еси и мученическими ихъ кровьми праги церковные обагрилъ еси?» и т. д. О Грозном Катырев говорит: «И за умноженіе грѣхъ всего православного крестьянства супротивенъ обрѣтеся» (561). Свое первое послание Грозному Курбский начинает так: «Царю отъ Бога препрославленному, паче же во православіи пресвѣтлому, явившуся, нынѣ же, грѣхъ ради нашихъ, супротивъ симъ обрѣтшемуся» (столб. 1). У Катырева: «И воеводъ, данныхъ от Бога ему, безъ вины убивати» (561); у Курбского: «И воеводъ, отъ Бога данныхъ ти, различнымъ смертемъ предал еси» (1).

Знакомство Катырева с произведениями Курбского, думается, указывает на близкую связь первого с юго-западной Русью. В начале XVII в. сочинения опального князя, в которых он поносил Иоанна Грозного, вряд ли могли свободно ходить в Московской Руси. И вот, в результате таких непосредственных связей с закордонной Русью Катырев-Ростовский мог легко пополнить свои сведения о виршевой поэзии, первые образцы которой он нашел в «Ином сказании».

Н. Гудзий.

Москва.
1926. XII. 21.

[1] Соч. Курбского, изд. Археогр. Ком., т. I, СПб. 1914, столб. 1—2. Ср. такую же форму речи у Курбского в ответе на 2-е послание Грозного, там же, столб. 144.

Райградский Сборник (Martyrologium Odonis).

(Библ. Райградского Бенедиктинского м-он. I. MSS. 388, sign. $\frac{D}{K}$ I. a. 11).

Нынешним летом я был в Райграде и ознакомился лично со знаменитым Райградским сборником, описанным между прочим акад. А. И. Соболевским в «Материалах и Исследованиях».[1] Сообщаю здесь некоторые дополнения.

В самом тексте сборника единственное слово, написанное кирилловскими буквами, это латрия на л. 2,[2] несомненно, современное латинскому тексту того-же листа, а потому, если верна датировка латинского письма, сделанная Холодняком на основании фотографических снимков с л. 2 и 70,[3] является не менее старым образцом кирилловского письма, чем Самуилова надпись 993 г., и более древним, чем все рукописи, писанные кириллицей. Поэтому не безынтересно отметить, что в этом слове уже есть буква ꙗ, относительно которой существует мнение, что в первоначальной кириллице ее не было,[4] а начертания л и р отличаются от начертаний тех же букв в эпиграфических памятниках и на монетах конца X и начала XI в., начертаний, признаваемых некоторыми исследователями за первоначальные. Из известных мне кирилловских рукописей XI в. начертания букв в слове латрия Райгр. Сборн. напоминают больше всего 3-й, датированный 1092 годом почерк Арх. Ев.

Тем же писцом и теми же чернилами, повидимому, написано на поле л. 70 об. кирилловскими буквами, но с латинским v слово левіа.

Латинский текст л. 2, как и слова латрия и левіа, написаны уверенной рукой и свидетельствуют о том, что и латинское и кирилловское письмо для писца были

---

[1] Стр. 154—161. См. также Симони в Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. XVI, 3, 133—142.

[2] Снимок, к сожалению, уменьшенный, у Соболевского.

[3] С принятием датировки Холодняка связаны некоторые затруднения. Л. 2, несомненно, писан позже остальной рукописи; промежуток между написанием остальной рукописи и л. 2 надо считать в несколько десятилетий; между тем Холодняк относит лл. 1 и 70 к одному времени. Ср. датировку Зиккеля, относившего всю рукопись (без 2-го л.?) ко 2-й полов. IX в. Как бы то ни было, если определение Холодняка и ошибочно, кажется, нет оснований относить написание 2-го л. Райградского сборн. ко времени более позднему, чем 1-я полов. XI в.

[4] Напротив, ак. Фортунатов пришел к заключению, что первоначальная кириллица имела б. и (о происхождении глаголицы, СПб. 1918, стр. 32).

одинаково привычны. К сожалению, никаких указаний на язык писца из этих двух слов, писанных кириллицей, извлечь нельзя.

Приписка на л. 2 об., непонятая Галабалой и напечатанная им в одну строку без разделения, а потому не понятая и А. И. Соболевским,[1] написана очень мелким почерком, отличным от почерка всех остальных слов, писаных кириллицей, повидимому, в XI или нач. XII в. на левом, внешнем поле в две строки и читается: «. . . | твахь скотъ . . . | жыраѩт», где твахь и жыраѩт — окончания слов, начало которых обрезано при переплёте.

Слово кюрил на правом, внешнем поле л. 65 (повидимому, в конце было ъ или ь, обрезанный при переплёте) написано другими чернилами и другим почерком, более крупным, чем названный выше. Характерных для небольшого промежутка времени начертаний в нем нет; поэтому время написания его я бы определил лишь в широких рамках — XI — XIII в. Кому принадлежат обе приписки? ь вм. ъ и еревое ы имеются уже во 2-м почерке Супр. и обычны в македонских и сербских памятниках конца XI и XII вв., реже в болгарских рукописях XII в. и в тех русских рукописях 2-й полов. XI в., которые и по другим чертам отражают македонскую или сербскую традицию,[2] между прочим, в Реймском Ев.[3] Смешение ы и и известно уже Клоц.; ы после шипящих встречается в Бол. Пс., ср. ъı после ѕ и ц в Мир. Редкие случаи смешения ы и и встречаются в русских церк. рукописях XI в., но главным образом только в тех, которые обнаруживают в своей графике следы поздней (не раньше серед. XI в.) македонской или сербской традиции, ср. в том же Реймск. Ев. ныже и др.[4] Правильное употребление ѩ в одном слове на родину писца не указывает: ѩ или ж в нач. слова и после гласных — не только в ст.-сл. и древнейших ср.-блг. рукописях, но и в русских 2-й полов. XI в.[5] и срб. XII в. Ю для передачи греч. υ после к и г встречается как в русских, так и ю.-сл. рукописях с XI в.; там же обычно в том же значении и оу (ср. смешение оу и ю в македонской и сербской графической традиции уже с XI в.). В виду того, что приписки не воспроизводят богослужебного текста, думаю, что первая из них вряд ли писана русским, хотя не исключаю и этой возможности.

Кирилловская приписка на л. 70 (снимок у Соболевского) заканчивается на л. 70 об.[6] словами вьторое небо земи.[7] Из палеограф. особенностей этой приписки можно отметить: 1. ѵ с прямоугольной чашечкой; 2. ц, стоящее в строке;

---

[1] Op. cit., стр. 155.

[2] См. мою рецензию на книгу Кульбакина «О Миросл. јев.», Slavia V. з, 564.

[3] Ib. и Соболевский, op. cit., стр. 157.

[4] Slavia V. з, op. cit.; Соболевский, loc. cit.

[5] Ib., а также IФ. IV. 88. В Реймск. Ев. в этом положении всюду ж.

[6] Не 71 об.! Ср. Соболевский, op. cit., 154.

[7] Т. о. при переплете на л. 70 обрезана 1 строка. Ср. Соболевский, op. cit., стр. 160.

3. не йотов. є, ѫ, ѧ, в єѫже, стъѧ, но ꙗ; 4. ꙋ вм. оу, 5. еревое ы. Буква ѵ с прямоугольной чашечкой, имеющая все признаки древности,[1] в рукописях очень редка. Лавров отмечает ее только в приписке Ассем., в Добром., Деч., Ев. Белгр. Нар. Б-ки XIII в. и Постной Триоди той же биб. XIII в.[2] — все рукописи или македонские или с сербизмами. Русские рукописи XI в. с единичными случаями написания такого ѵ[3] все отражают в той или иной мере македонскую или сербскую традицию и, между прочим, имеют є, ѧ вм. ѥ, ѩ; из XII в. такое ѵ я знаю только из Ефр. Кормч. Букву ц, стоящую в строке, признаваемую учеными за ее первоначальный тип, имеют почти все старшие ю.-сл. кирилловские рукописи: Сав., Супр., Мак., Унд., Добром. и др., из русских, сколько я знаю, только один из почерков Панд. Ант. То же употребление є, ѫ, ѧ, ꙗ имеется во 2-м почерке Супр. и ряде ср.-болг. и серб. памятников XII и XIII в., как напр. Слепч. Ап., Бол. Пс., Вукан. Ев., отчасти Миросл. Ев., в котором, впрочем, ꙗ очень редко, и др.; в Унд. и некоторых ср.-блг. и срб. рукописях XII и XIII вв. при том же употреблении є, ѧ, ѫ буква ꙗ вовсе не употребляется, заменяясь всюду буквой ѣ. Из русских рукописей XI в. сходное правописание — в 1-м почерке Изб. 1073 г., где обычно ꙗ, очень часто (чаще, чем ѭ) ѫ вм. ѭ и иногда є вм. ѥ в нач. слова и после гласных, но ѧ вм. ѩ лишь в единичных примерах; в Реймск. Ев. отсутствуют не только ѥ, ѭ, ѩ, но и ꙗ, заменяемое всюду ѧ. Оба памятника, как сказано выше, содержат и др. черты македонской графики XI — XII в. Об ы см. выше.

Из написаний этой приписки обращают на себя внимание: 1. отсутствие смешения ѫ и ѧ между собою и с другими гласными; 2. ъ вм. з; 3. е вм. ъ и наоборот (2 случая); 4. дврь; 5. *жс* в рожьство; 6. отсутствие *в* в том же слове; 7. отсутствие *л* в земи; 8. аı вм. ы в очесаı.

1-я черта в виду незначительных размеров приписки вполне объяснима сравнительной грамотностью писца. О 2-й см. выше. 3-я есть почти во всех ст.-сл. памятниках как юсл., так и русского письма. В русских рукописях до серед. XII в. и в серб. *е* вм. ъ и наоборот восходит к болг. традиции. 4-я обычна в ср.-болг. и серб. рукописях XII и XIII вв.; в русских — очень редко (южнославянизм?); впрочем возможна и описка, так как приписка написана небрежно. 5-ую, если это не описка, можно бы считать руссизмом, но ср. рожьством в Миросл.[4] 6-я, *в* в цсл. памятниках XI — XII после *ст* отсутствует иногда в суфф. -ст(в)иѥ и в глаг. оконч.

---

[1] Ср. Лавров, Энц. Сл. Фил. 4. 1, стр. 10: «Судя по всему, ее именно приходится признать старшей формой», Каринский, Образцы, стр. 13: (такое ѵ имеет) «все признаки первоначального начертания буквы».

[2] Op. cit., стр. 10—11 и др.

[3] Названы мною в Slavia V. 3, op. cit. и в имеющей появиться в Zeitschr. рецензии на образцы Каринского.

[4] Кульбакин, О Мирослав. јеванђељу (Карловцы, 1925), стр. 106.

-ст(в)оукть и т. п.: в существит. на -ство не пропускается, так что здесь, повидимому, описка. 7-ую можно рассматривать, как болгаризм или чехизм или как loc. sg. от земь, известного старым и русским и ю.-сл. памятникам, или как описку, ср. перед этим словом пропуск предлога *на*. 8-ую соблазнительно считать сербизмом, т. е. думать, что писец принял ъ оригинала за отдельную букву и прочел, как *а*. Но приписка по всем данным не позже XII в. и скорее всего относится к началу этого века, если не к XI, а старшие указания на ъ > *а* не раньше XIV в.

Таким образом, из анализа графики и написаний приписки на л. 70 об. мы видим, что писец следовал тем македонским традициям, идущим от середины XI в. и связанным с более старой глаголической македонской традицией, которые проявились ярче всего в македонских и сербских рукописях XII и XIII вв., а также в немногих русских рукописях XI в., в том числе в русской части Реймск. Ев. Для решения вопроса, был ли этот писец македонцем, сербом, русским или, может быть, даже мораванином, данных у нас нет. Во всяком случае особенности графики и правописания приписки — македонские не раньше середины XI в.

На л. 2 об. кроме приписки, рассмотренной выше, имеется несколько поздних неразборчивых приписок из 2—3 букв скорописью, повидимому, XVII в.

Глоссы папа или папѣ в разных местах[1] писаны все одной рукой, повидимому, в XVI или XVII в. Автор их, скорее всего, был или русский или хорват, знавший папу Римского под этим именем (не «папеж») и умевший разбирать старые латинские рукописи.

Из анализа славянских глосс и приписок Райгр. Сборн. мы видим, что рукопись в конце X в. или около этого времени попала в руки славянину, хорошо знакомому как с кириллицей, так и с латинским письмом, который переписал один лист рукописи, вставив в него одно слово кирилловскими буквами, что после этого, в конце XI или в XII в. она была опять в руках славян, писавших кириллицей, знакомых с графикой и правописанием, господствовавшими в то время в Македонии и сербских землях, и умевших читать по латыни, и что, наконец, в XVI или XVII в. эту рукопись опять читал какой-то славянин, писавший кириллицей и знавший римского первосвященника под именем папы. Констатированием этого факта я и ограничусь.

Николай Дурново.

Брно в Моравии.
1926. XII. 22.

---

[1] Перечислены Срезневским. См. Симони, op. cit.

Заметки по этнографии и диалектологии Македонии.

Помянник монастыря Трескавца.[1]

В Ленинградской Публичной библиотеке, в собрании Гильфердинга, имеется помянник, F. IV. № 561. Он заключает в себе 138 лл., писанных в 70—90 гг. XVIII в., как об этом свидетельствуют даты записей. Помянник писался в Трескавечском монастыре, недалеко от Прилепа. О принадлежности памятника этому монастырю, а не прилепской церкви, как замечено предположительно в Отчете Публичной Библиотеки,[2] свидетельствуют вне всякого сомнения записи помянника. Напр.: селѡ небреговѡ. пи̑ стоа́нъ маркóвъ лозíе в̄ двѐ мотѝки й̆ полъ мѐћа ѿ страна йосивъ касаговъ... то поклонѝ на с̄та бц̑а на трéскавецъ, аѱпд (л. 18 об.). ћорђїа марковъ мꙋлꙋкꙋть дабнички ѿтеновъ тó [се що е] хáриза на ст̄и трескавецъ (29 об.). лето аѱпе що попи́сахь азь мрачнѝ йосифь єромонахь ефи̑мѐри̑а трескавчи... (63 об.).

Помянник представляет данныя по следующим вопросам: 1) географической номенклатуры Македонии, 2) экономической жизни монастыря, 3) отношения населения к монастырю, 4) этнографии Македонии, 5) диалектологии ее.

1 Жертвователи на монастырь были преимущественно из местностей, ближайших к монастырю, из сел Прилепской и Мариовской областей. Но были «поклонники» и из других, иногда отдаленных краев Македонии. Они приходили из Тиквеша (се̑ фари́шь 11), Битоли (се̑ ѿбрьшáни 7, трь́нь 10), Крушова, бывшего в то время еще селом (село крꙋшево, село крꙋшово,[3] из дебрского края, как из самого города Дебра(г̑ дебрь 10), так и из дебрских и малореканских сел (се̑ трѐсанче 4 об,, се̑ лазарóво пóле 9, се̑ крьчи́ща 11 об.),[4] из ресенского края (се̑ лево-

[1] Из доклада, сделанного мною в 1923 г. в заседании Славянской Комиссии Археолог. Общества, под председательством А. И. Соболевского.

[2] Отчет Публичной Библиотеки за 1873 г. СПб. 1875. 17.

[3] Впрочем, села с таким названием имеются и на юго-востоке, в Серском, Неврокопском и Демир-Хисарском округах.

[4] Под таким названием известно село и на юге Костурской области.

река 12 об.). Даже из града Ѩнево (9 об.) и из града Елибасан (10 об.) были жертвователи. С другой стороны шли в Трескавец и из северных пределов Македонии, из Велеса (83 об.), Скопья (гра̑ Скопъе 8), Кратова (село ѩмища 90).

Многочисленные названия македонских сел, находящиеся в помяннике, совпадают с названиями, известными в настоящее время. В немногих случаях наблюдается различие в отношении звуковой стороны названия: мажоичища (44 об., 2 р.) — нын. Мажуйчища,[1] барбарωс (9 об.) — нын. Барбар*ас*, гостиража̑ (7 об.) — нын. Гостира*жни*, заплъжани (7) — нын. за*полж*ени, топльчани (10 об.) — нын. То*пол*чани, лозиени (10 об.) — нын. *Лознани*, строωфіа, строфіѧ (112), строхофіа (64 об., 2 р., 67 об.) — нын. Стро*в*ия.

Имеются и такие названия, которые для настоящего времени не указаны. — Се̑ масковинеціа (4), се̑ корапь (12), се̑ металница (10 об.), се̑ прьнѹшь (9), се̑ лѣгѹнбво (10 об.; в мельническом округе есть «Левуново»), се̑ гращани (9; в Дебрской области есть «Граждане»), се̑ закрьчани (11 об.; в Стружском окружии находится «Загръчани»).

2, 3. Жертвования поступали деньгами и «натурой» самого разнообразного вида: земля, виноградники, зерновой хлеб, вино, ульи, воск, скот (волы, ждребец 47, овцы, свиньи, телята, ѩре женено, ѩре неженено), различная утварь (грьне бакрьно 45 об., чаша сребрена 79 об.), хозяйственные принадлежности (ωртоми 100 об., ђерамиди 102 об.), полотно и даже пах[ф]ти (96); цену имели и пафти, тем более «рало пахти сребрени сосе коланъ сѹта»[?] (61). Напр. — Лето аѱуд авгѹста и̃ пи̑ ђорђіа марковъ мѹлѹкѹть дабнички ωтеновъ то хариза на сти трескавецъ за свою дѹшѹ и чедомъ его̑ и̑ родители его и̑ со подрѹжіи негова кѹђи тополи ωреви лозіе се щое [що е]. свидетеле ему̑ кѵръ димо бахчанчіа и бра мѹ кѵръ тръпче † иω трогачинецъ попъ стоико ω Ватиша кѵръ димо ханџиа кѵръ никола казанџіа (29 об.). Селω крѹшевω. една овца сосъ ѩгне піса баба кірапа (113) и др.[2]

Пожертвованных предметов набиралось в течение времени такое количество, что монастырь находил возможным распродать их. После распродажи опять в непродолжительном времени стекались в монастырь разные предметы пожертвований. Имеются две записи, свидетельствующие об этом накоплении и распродаже. 1) † лета ω хри̑ста аѱпг мцъ априлїа пасха хри̑това ·ѕї· геωргиа во неделю томинѹ азъ манши ерей тра̑нъ ефимериа трескавечки; саханы мали и̑ големи бробихъ: рпв — и̑ во чивлїкъ ге башка сини̑й д — леены

[1] Пользуюсь географическим указателем, находящимся в книге В. Кънчова: «Македония. Етнография и статистика». София. 1900.

[2] О посещениях Трескавца и о пожертвованиях в XIX-м в. см. в книге Н. Г. Еничеева: «Възпоминания и бѣлѣжки». София. 1906. 310—318.

г — ибрицы ѕ — котли з — тенчерина в — ћумови мали и големи ѕ — казани д — тепсии е — тави г — вручва а — замасо [за масло] сачъ а — за восок лажици г бакрени хараный в —. Вѡ ҂аѱпд. лето сесторіха сахани. сді (50 об.), 2) лето ҂аѱпе що пописахь азь мрачни иосифь еромонахь ефимерила трескавчих ѿкога се продадоха саханите и казаноть паки станаха — сахани рнѕ. котли ї тенћерила г сихих д а тарунь бкрень тави д тави за во[со]кь тепци и ћумови мали големї ї лажици е бкрени казани д лећини г и една крыщалица голема ибрици г и едень ћумь и врьва за масло грьнила бракрени в котлила мали за сокрсь г и едо [!] ѧмаче замасло.

Лето ҂аѱпѕ пакь какѡ се стори тепсии [?] и е сахани рξѕ (63 об.).

Пожертвования поступали за здравие и за душу самого жертвователя и его родственников. Часто пожертвования делались ради благополучия хозяйства, скота, поля, виноградника, ульев. Напр.: пис здраве начелатъ [на челатъ] и на стока заз [за з(драве)] грош в (42 об.). Михаило записал улище заз[драве] на улищата (42). пис трьпче ши тр заз[драве] за семне на чивликотъ (46 об.) и т. под.

Шли пожертвования также за упокой усопших и на «сарандаръ» (сорокоуст). Напр.: сарандаръ на челатъ (40). чаша сребрена себе сарандаръ (79 об.).

4. При записи жертвователя указывается место его происхождения (село, город). Иногда отмечается и род его занятий. В огромном большинстве случаев национальность жертвователя не указывалась; она была известна: Селѡ небреговѡ пис стоѧнъ марковъ и т. п. Указывалось иногда областное прозвище: чивушъ кочо милкъ (136).

Patronimica обычно оканчиваются на *-овъ*, *-евъ* и очень редко на *-ићъ*. — Село Присатъ: стоѧнъ николовъ, миле митевъ, иѡ соколовъ . . . и — анћеле поповићъ (22). Гратъ [Прилеп]: моисо стоичевъ милчиноићъ (118).

Записыватели считали нужным отмечать национальность жертвователя только тогда, когда он принадлежал к иной этнической группе. И вотъ встречаются такие записи: — гости грьци (122). — Часто жертвовали в монастырь македонские *влахи* (аромуны). — Гратъ [Прилеп]: власи димица и ничо (167). власи дулгери (82 об.). гости вси терзии и папучїи (85). Власи терзїи и чешмечїи (103). Гости власи ѩбанчїи (107). Изредка показывается и *серб*: стоѩн србинъ (66 об.); село ста петка, пи дано сербинъ (85 об.).

5. По чертам языка помянникъ относится к прилепской области. Диалектические черты, отразившиеся в нем, те же, которые представляют нынешние прилепские говоры. Можно лишь заметить, что утрата *х* еще не совсем последовательно проведена: — селѡ ѡреѡвецъ (9, 36), ѡреви (29 об.), миаиле (70 об.), зеа

(17 об.) и др. Но и: ѿрѣхо́вецъ (6), сел ѿрѣхо́въ доль (11), ханџїа (115), сахани (17 об.), михо (72 об.), село́ рѹ҃хци (17, 38 об., 80), йѿ рѹхчевъ (86), нехтена (117 об.), харизан и аризанъ (79) и др.

Может быть, держалась еще звуковая группа tъlt, затем перешедшая в tolt. Сравн. вышеприведенные названия сел — заплъжа́ни, топльча́ни.

А. Селищев.

Москва.
22. XII. 1926.

О дифтонгизации *е, о* в украинском языке.

Говорят, что удлинение и дифтонгизация *е, о* в малорусском языке произошли в (новых) закрытых слогах. Но беда в том, что гласные в закрытых слогах как раз короче, чем в открытых. Недаром Смаль-Стоцкий считает украинское (ю.-мр.) *і* из *е, о* сокращением их. С этим, конечно, согласиться нельзя после работ Потебни, А. И. Соболевского, поставившего изучение этого вопроса на твердую историческую основу, Шахматова и друг. Правда, нельзя утверждать, что удлинение в закрытых слогах было совершенно невозможно. Но в таком случае мы ожидали-бы прежде всего удлинения согласных, напр., в дорожька, соль, домъ, как мы теперь иногда слышим: фсам̄дели, здел̄а, фсам̄делишный, вместо: в самом деле и т. д.

В следующем я постараюсь показать 1) что настоящих закрытых слогов, как в итальянском и немецком языках, в украинском (и вообще в русских языках) никогда не было, и 2) что праслав. *е, о* потому именно дифтонгизировались в южнорусском, что не замыкались постепенно в закрытые слоги по мере сокращения полугласных следующего слога.

В нынешнем украинском языке деление се-стра, ві-сник, і-скра не может возбудить сомнения. Но даже в таких случаях, как ша́пка, ма́тка, хло́пці, квітча́ти, слобі́дський и пр., где между двумя слогами по два затвора — естественных слогораздела, всё же взрывы обоих затворных приходятся целиком на следующий слог, и только врыв (implosio, sit venia verbo) первого затворного приходится почти на момент слогораздела, или немного втискивается в самый конец предшествующего слога, и потому этот врыв слаб. Все это явно свидетельствует о стремлении относить по возможности все шумные гласные к началу следующего слога. Хотя в этих случаях предшествующий гласный с конца немного сокращается, но все-таки он протекает до конца почти так же, как перед одним согласным, не обрываясь, как, напр., в немецком Haup-te, schmerz-te, даже Lis-te.

В життя́, суддя́, ні́ччю, зі́лля зна́ння и пр. естественный слогораздел должен бы пасть на выдержку затвора (Jit-te, Eb-be), если бы здесь был действительно

удвоенный согласный. Но такого произношения я не слыхал и полагаю, что его никогда не было. В действительности и здесь затвор оттесняется на ослабевший уже крайний конец слога или на слогораздел, и потому слабый врыв только немного сильнее, и затвор выдерживается лишь незначительно больше, чем в жи-то, пожитбчный. Зато более напряженный вследствие оттяжки взрыв является главным отличием життя́, ні̑ччю и пр. от жи́то, нбчі. Общее стремление к вполне открытому слогу сохранило в западномалорусском жите.

Кстати отмечу еще другую черту в произношении знання, суддя и пр. В них сохраняется еще кратчайший переходный звук i̯ (znań$^{i̯}$à, Sud$^{i̯}$à), и произношение этих слогов так, как в няня, дядя, тяжко, будет неправильно (повсюду-ли?), но обычно свин'я без i̯.

В отличие от шумных согласных, относительно плавных и носовых наблюдается большая терпимость в конце слога. Можно почти делить ва́р-та, ві̑ль-ний, си́н-ку, ду́м-ка.

Таким образом, унаследованный из праславянского языка закон открытых слогов действует и теперь еще, и несомненно был в силе в древнерусском. Благодаря ему внутренние слоги, содержавшие слабые ъ, ь, напр. в родьна, овьця, тьмьнота, должны были, по мере сокращения этих полугласных, все теснее примыкать к следующему полному слогу, сначала в виде побочных слогов, уступая, таким образом, место (время), которое должно было заполняться концом предшествующего слога, т. е. удлинением его гласного с конца. Таким образом удлинялись сильные ь, ъ, *е*, *о*, а, вероятно, и другие гласные, напр. в ть-мѣнота, ро-дѣна и пр.

Когда же слабые ь, ъ, сократились уже до известного минимального количества, при котором они могли легко пропускаться в письме (так как такие краткие гласные, образующие слабые побочные слоги, вообще редко передаются в письме), и частью уже исчезли, что̀ относится в южнорусском к XII веку, то в предшествующем слоге ъ, ъ успели уже перейти в *е*, *о*, а прежние *е*, *о* в ẹ͡ę, ọ͡ǫ, т. е. в расширяющиеся к концу долгие гласные.[1] Произносили приблизительно rọ͡ǫ-дна, доrọ͡ǫ-жъ̑ка, дrọ͡ǫ-бъ̑ка̀, камẹ͡ę-ні̯е, тẹ͡ŏ-тъ̑ка, причем группу согласных в начале слога произносили приблизительно как ныне в дня, дъ̑ба́ти, тъ̑кну, пъ̑тах, сохраняя при стечении согласных минимальные полугласные с голосом или без голоса. Окончательное исчезновение минимальных полугласных, где это было возможно, происходило позже и не имело уже значения для гласного предшествующего слога.

Согласный среднего слога начальной артикуляцией был связан с концом предшествующего гласного (овьса), и это содействовало сохранению срединных полу-

---

[1] Знаки ę, ǫ здесь и в дальнейшем означают неносовые открытые *е*, *о*.

Прим. редактора.

гласных. Когда же такие слоги стояли в начале слова (кънига, зъло, вься, пътиця и т. д.), то не было такой связи с предшествующим слогом, а бо́льшая энергия в произношении начала слова (ср. гъръдавбе), не находя устойчивой опоры в полугласном первого слога, устремлялась на следующий полный слог и этим еще содействовала скорейшему сокращению первого слога. Так явилось раннее исчезновение полугласных первого слога в древнерусском и старославянском.[1]

Если удлинение *е*, *о* было связано с открытостью слога, то спрашивается, как могло произойти удлинение в віз, рік, біб и т. д. В действительности и здесь слог не закрытый, так как конечный согласный не соединился с ним в одну слоговую единицу. Дело в том, что во всех восточнославянских языках сохранились до сих пор праслав. конечные ъ, ь, утратив голос (впрочем не везде, см. Zeitschrift für slav. Philol. III, стр. 66 и прим.),[2] ъ также и лабиализацию, и сократившись до минимума. Правда, эти минимальные шопотные гласные мало слышны, но они представляют такие же определенные характерные шумы, как всякий гласный. В связи с этим в артикуляциях они производятся так же полностью, как всякий установочный самостоятельный гласный. Последнее обстоятельство для нас важнée, потому что слог, как ритмическое явление, держится главным образом на артикуляциях.

Окончательному исчезновению конечных полугласных повидимому мешала унаследованная из праслав. языка структура слога, в которой основой служит гласный, а к началу гласного пристраиваются один или группа согласных. В таком слоге при исчезновении конечных ъ, ь предшествующие согласные лишились-бы своей слоговой опоры, а к предшествующему слогу они примкнуть не могли в силу закона открытых слогов.

Таким же образом и теперь еще, напр., в гість, хвістъ, усть, ст в такой же тесной артикуляционной зависимости от следующего ъ или ь, как напр. от *а* в устá, и совершенно не зависит от предшествующего гласного; а артикуляции конечных ъ, ь совершенно самостоятельны. Поэтому и гласный так называемого последнего слога протекает так же до конца, и имеет почти ту же долготу, как в средине слова перед одним согласным, или в у-ста, гб-стя. Или напр. в «бікъ його» производится полностью задняя установка языка для ъ, и в зависимости от нее задненебный затвор для *к*, несмотря на то, что соседние *і* — *й* тянут язык вперед. Совершенно противоположное мы видим в немецком flick jedes, flick oben, liest, Lust.

Нужно думать, что в 13-м веке и позже конечные ъ, ь были еще более продолжительны и наверное, по крайней мере диалектически, произносились еще

---

[1] Ср. А. А. Шахматов, Очерк древн. периода, §§ 353, 354.

[2] К приведенным там случаям сохранения конечного ъ с голосом нужно прибавить из одного галицкого говора, напр., рід^{ы}, лісом^{ы} (Ogonowski, Studien, 29).

с голосом или в полголоса, бормотаньем. Не даром они писались довольно последовательно в конце слов в то время, как опускались в средине слов.

Из изложенного видно, что в срединных и конечных слогах, содержащих слабые ъ, ь, разыгрывался одинаковый процесс: согласные этих слогов, вследствие сокращения ъ, ь, передвигались постепенно вперед, уступая место удлиняющимся гласным предшествующего слога, в том числе гласным *е*, *о*, которые таким образом стали долгими.

Артикулирующие органы никогда не бывают в состоянии неподвижности. Поэтому долгий гласный не одинаков с начала до конца, и легко может к концу сузиться или расшириться и, таким образом, перейти в дифтонг. Устойчивее в этом отношении те гласные, при которых артикулирующие органы занимают крайние положения, так сказать, прислоняются к краю, как *а*, *і*, *у*. При средней установке, как при *е*, *о*, возможны колебания в обе стороны. Отсюда понятно, что ē, ō во многих языках перешли в дифтонги. Определить в каждом случае, какой фактор вызвал изменение в направлении к e͡i, или же i͡e, не легко.

Образование малорусских дифтонгов представляется мне в этом отношении в следующем виде. Показанное выше заменительное удлинение е, о начиналось в праславянском, при ином ритмическом строе речи, и заканчивалось уже во время господства динамического ударения, в основных на нем тактах речи. При таком ритмическом растягивании слога выдыхательный ток постепенно к концу удлиняемого гласного должен был ослабевать. Вследствие этого *е*, *о* уже в самом процессе удлинения становились к концу более открытыми ẹ͡ę, ọ͡ǫ. Произносили приблизительно: п'ẹ͡ę-чъ, рọ͡ǫ-дьна, кọ͡ǫ-нь. Сужению начала удлиняющихся *е*, *о* могли еще содействовать палатализация и лабиализация предшествующих согласных.[1] При таком же удлинении ъ, ь переходили в простые более открытые звуки *о*, *е* потому, что вследствие их краткости ослабление выдыхания касалось одновременно всего звука.

Это различие между началом и концом удлиненного гласного развилось затем до i͡e, у͡о и, как известно, дальше (пi͡ечъ, ку͡онь) . . . южномлр. или украинск. пiчъ, кiнь). Но дифтонг мог перейти и в простой гласный вследствие взаимной ассимиляции обоих частей, или вследствие того, что доминирующая в данном говоре часть ассимилировала себе остальную (северномлр. жу́нка́). Кроме того, развитие обоих дифтонгов могло и не итти параллельно, так как условия их артикуляций не однородны.

---

[1] Иначе Трубецкой в интересной работе в Zeitschrift f. sl. Phil. I 299. С аргументацией его трудно согласиться. Сужение исчезающего гласного не общее правило, наблюдается только в известных языках. И предвзятие сужения отразилось бы в древнерусском языке прежде всего на конце предшествующего гласного и дало бы как раз обратный результат.

[2] См. Zeitschrift f. slav. Phil. II, 386, прим.

Указанное первоначальное состояние о͡о передают повидимому изредка встречающиеся в галицко-волынских памятниках XIII—XIV в. написания как воовьця, воотьця;[1] а написания, как камѣнь, шѣсть, весѣльк, как известно, появляются чаще уже с XII в., и *ѣ* обозначало в южнорусском дифтонг i͡e.

В северномалорусском удлинение шло медленнее и не достигло достаточного развития ко времени наступления господства динамического ударения, а потому здесь *е*, *о* доразвились в дифтонги только в ударенных слогах, а в неударенных опять сократились.

А. Томсон.

Одесса.
1926. XII. 22.

[1] См. А. И. Соболевский, Очерки из истории русск. яз., 89, 97.

К истории славяно-румынской письменности XVII века.

Из немногих, известных до сего времени, рукописных славяно-румынских словарей XVII века,[1] два находятся в русских библиотеках: один в Москве, в Библ. Общ. Ист. и Древн. Росс. (№ 240), другой в Ленинграде, в Гос. Публ. Библиотеке (Толст. II, № 74). И тот и другой были уже предметом некоторого изучения,[2] но никто, сколько мне известно, не сравнивал параллельно эти словари между собою. А такое сравнение показывает, что один из них находится в генетической близости от другого, что дает также иное освещение вопросу о происхождении этих словарей и месте их среди памятников румынской письменности XVII века. Нет никакого сомнения в том, что оба словаря представляют переработку «Славено-российского лексикона» Памвы Берынды, впервые напечатанного в Киеве в 1627 г. Богдан выяснил это для словаря Публ. Библ.; Яцимирский в своей рецензии предположил то же относительно московского словаря. Чебан подтвердил окончательно это предположение, приведя сопоставление параллельных мест. Относительно авторов обоих словарей нет никаких положительных данных. О месте их происхождения у румынских ученых существует мнение, что оба словаря возникли в Валахии, причем Богдан относил время возникновения словаря Гос. Публ. Библиотеки приблизительно к 1693 г. Уже Чебан возражал против валашского происхождения московского словаря, относя его к Молдавии ко времени самого конца XVII в. (стр. 82—83). Полагаю, что он прав в первом своем утверждении, но по времени словарь относится к более раннему периоду. Вместе с тем надо думать, что и словарь Гос. Публ. Библиотеки также принадлежит Молдавии, так как он является, по всем данным, списком с московского, с некоторыми сокращениями. В этом нас

---

1 Список их приведен в рец. Яцимирского на издание славяно-румынского словаря Мардария, сделанного Крецу в 1900 г.; рецензия напечатана в Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., 1906 г., т. XI, кн. 2, стр. 439—443.

2 О словаре Гос. Публ. Библ. писал Богдан в Convorbiri Literare, t. XXV, стр. 193—204. Статья эта мне непосредственно не была доступна, но все выводы его использованы Крецу во введении к изданию словаря Мардария. См. Mardarie Cozianul. Lexicon slavo-romînesc si tîlcuirea numelor din 1649 publ. de Gr. Creţu. Bucur. 1900, pp. 47 и сл. О московском словаре, кроме старых заметок Хыждеу и Точилеску, дал более подробную характеристику Ст. Чебан в Русск. Фил. Вестн. 1914 г. т. LXXI, стр. 75—88.

убеждает прежде всего совершенно одинаковое расположение материала в обоих словарях, затем наличие однородных дополнений грамматического характера (именно приведение глагольных форм различных лиц и времен, кроме формы 1 лица наст. вр., под которым приводятся глаголы у Берынды), наконец, и это главное, полное тожество дополнений к списку слов Берынды, имеющихся в конце каждой буквы и отдельно еще в конце обоих словарей. К тому же самый перевод славянских слов на румынский в обоих словарях совершенно одинаков и зачастую отличен от перевода в словаре Мардария. Я позволю себе привести здесь для примера несколько сопоставлений, выбранных из слов на букву Б с дополнениями, попутно привлекая для наглядности материал из словаря Мардария, где, кстати сказать, дополнения отсутствуют.

Словарь О. Ист. и Др.	*Словарь ГПБ.*	*Словарь Мардария.*
багор: шар мохорът киноварь	шар мохърът кенъварю	мохорътъ
багрѧница: кафтан мохорът	кафтан мохорът	кафтанъ
балій: фъръмекъторюл	фърмекъторю	дескѫнтѫторю фѫрмекъторюсау декунторю
банѧ: баѩ ботезул	баѧ ботезул	баѧ
буесловъ: мъскъричю	мъскърич	ꙟшелѫторю. кареле грѫѧше кувинте небунѣщи
бумага: бумбак	бумбаку	хрътіе: сау фіешче моале сау бумбак
браздна: холда	холда	парина агру
бремя: сарчинъ поваръ	сарчинъ поваръ	таръ сарчин
бдениіе: привигѣре	привигіѧре	
бдетъ: привегеел вѣверицъ	привѧге елъ вѣверицъ	Первое дополнение
бервно: въргïе	въргïе	в конце буквы Б.
било: тоакъ	тоакъ	У Мардария нет вовсе
белма: нимик	нимик	
бодец: болду	болду	
боденецъ: мъчешул зѡк уніи къ дентрачеста фъкуръ ѡврѣи ши кунуна луй х҃с	мъчïешул зѡк уніи къ динтрачеста фъкуръ ѡвреи ши кунуна луй х҃с	
босмани: пъсмаџи	пъсмаџи	Второе дополнение в конце словарей.
бердо: спатъдепесут, щов.	спатъдепесут, щов	У Мардария нет.
береза: местѣкън	местѣкън	
берест: улмул	улмул	

Совершенно такая же картина повторяется и в остальных частях и особенно дополнениях. Не менее показательны объяснения отдельных животных, почерпнутые из физиологов, которые все даны в обоих словарях совершенно в одинаковых выражениях. Из всех, сделанных мною сопоставлений, я ограничусь здесь хотя бы одним: василискъ: ꙟстеун бълаур: десъкіѧмъ аша: ши ачеста бълаур моаръ фіече нумайку ведѣ̀рѣ̀ (Моск. слов.); ꙟсте унбълауру де съ кіамъ аша. ши ачеста бълаур моаръ фіече нумайку ведѣ̀рѣ̀ (словарь ГПБ). Думается, можно вполне утверждать, что один словарь зависит от другого, и так как ГПБ и палеографически, и по несколько сокращенному способу передачи моложе московского, я считаю его если не прямо копией, то во всяком случае позднейшим списком московского или, может быть, третьего неизвестного пока общего для обоих оригинала.

Если подойти теперь к вопросу о месте происхождения словарей, то надо сказать, что аргументы румынских ученых о валашском их происхождении основывались исключительно на лингвистических данных, именно на наличии некоторых слов, употребительных только в Валахии,[1] против чего возражал Чебан, ограничившись впрочем общими утверждениями. Произведенный мною анализ 300 слов в отношении их диалектического распространения[2] показывает, что, действительно среди них есть такие, которые преимущественно употребительны в Валахии, но рядом с ними не менее встречается и молдавских. Так, если барзъ 'чаплѧ', бабой 'перк', гауръ 'дира', цинере 'жинере', мъхрама 'понѧва', чизма 'гащи' и еще два—три говорят за Валахию, то аму 'нынѣ', чобоате 'гащи', читура 'черпало', кофа 'почерпало', хрѣ̀ст (в выражении валеку хрѣ̀ст 'дебр'), мынъщерг 'понѧвица', митител (в міелул митител 'агнец'), посмаци 'босмани', пріинцъ (ку пріинцъ 'вистнѣ') рынзъ 'требух', свада 'распря', шипшор 'ꙟчаице', теслартю 'зодчий', певіе де арамъ 'врутка', мире 'жених', особенно же хіербу 'врю', хіерул 'желѣ̀зо', хіѧре 'звѣ̀р' и еще некоторые решительно говорят за Молдавию. Весьма существенно еще то обстоятельство, что большинство слов составляло общее достояние литературного языка XVII века и очень многие из них встречаются в языке произведений того времени, в частности у молдавских писателей, как Досифей.[3] Зато самая манера письма, как употре-

---

1 См. Mardarie, o. c., p. 39 и 48.

2 При скудных материалах в этом отношении главным источником для меня был большой Rumän.-deutsches Wörterbuch Tiktin'a, затем рукописный русско-молд. словарь Гинкулова 1829 г., хранящийся ныне в Гос. Публ. Библ., и русско-молд. словарь Валдескула 1896 г. Некоторые данные дали мне диалектологические работы напечатанные в разных выпусках Jahresberichte des Instituts für rum. Sprache zu Leipzig, изд. G. Weigand, и некоторые другие источники.

3 См. Lacea. Untersuchungen der Sprache der 'Vieața și petrecerea sfinților' des Metropoliten Dosoftei в Jahresbericht d. Inst. f. rum. Sprache V. 1898.

бление знака ѕ (зело), употребление ѣ в значении е в известных случаях, ѧ в том же значении, в особенности формы с х вм. ф, как хи, хие, хіара, хіербе и т. п. говорят опять таки за Молдавию.

Мне думается, что появление московского словаря с несомненными молдавскими чертами надо связывать с тем литературным движением, которое началось в Молдавии приблизительно со второй четверти XVII века. В половине того же века Молдавия имела даже большее литературное значение, чем другие области. Целый ряд молдавских памятников распространяется и в Валахии, и в Трансильвании, где подвергается переработкам, подражаниям, а иногда и прямым плагиатам.[1] Если принять во внимание, что в это время в Румынии уже сложился литературный язык на основе валашского наречия, к которому примкнула с самого начала и Трансильвания,[2] то понятно, что Молдавия воспользовалась этим же готовым типом литературной речи. Некоторые свои черты, отчасти упомянутые выше, как и известную орфографическую традицию,[3] Молдавия внесла в свои литературные памятники, что позволяет обычно определить без особых затруднений принадлежность того или иного текста к языковой молдавской области. Но она усвоила и то, что было распространено в общем литературном языке. Отсюда понятны и валашские элементы в рассматриваемых словарях, и довольно чисто выдержанный литературный язык, рядом с чем являются и типичные молдавские элементы, общие всем писателям эпохи. Струя национального возрождения, начавшаяся в XVII в. в Молдавии, связанная с потребностью заменить все славянское своим родным, требовала для выполнения многочисленных переводов и соответствующих пособий. Первые же переводные труды Варлаама, в особенности многочисленные переводы Досифея, наконец, полный перевод Библии, сделанный в Молдавии Милеску Спатаром в 1664 г. Одним из первых явился, по нашему мнению, и словарь, ныне находящийся в Москве, составленный, вероятно, около половины XVII века, за которым последовали и другие, в том числе и словарь Гос. Публ. Библ., который еще А. Денсушяну склонен был приписать Милеску, правда, без достаточных к тому оснований,[4] но, верно, угадывая его место среди прочих памятников румынской письменности того времени.

М. Сергиевский.

Москва.
1926 XII. 22.

---

1 См. Pascu. Istoria literaturii române din secolul XVII. Jaşi 1922, pp. 24 и сл.

2 См. о том Densușianu, O. Histoire de la langue roumaine, t. II p. 13, особенно Gaster, Chrestomatie romăna, t. I p. XCIV, где говорится об языке изданий Кореси.

3 Gaster, o. c. p. CVIII.

4 Densuşianu A. Istoria limbei si literaturii române, ed. 2, p. 258.

К вопросу о составе и редакциях сочинений Ивана Пересветова.

Еще в 1900 г. акад. С. Ф. Платонов высказал мнение о том, что все сочинения Ив. Пересветова составляют один трактат. Однако, В. Ф. Ржига в полном собрании сочинений Пересветова насчитывает 7 отдельных статей (моногр. 1908 г.). Большинство исследователей, без достаточной проверки, приняло это последнее мнение. Вопрос о редакциях и их взаимоотношениях также решается неодинаково (С. Ф. Платонов, М. И. Соколов, В. Ф. Ржига). В виду такого разногласия в литературе, вопрос о составе и редакциях сочинений Ивана Пересветова нуждается в пересмотре.

В кратком резюме своего исследования вопроса об Ив. Пересветове мы и хотим поделиться своими наблюдениями над составом его сочинений, установить редакции и указать их историю.

1. До нашего времени дошли с именем Ив. Пересветова и отдельные статьи и целые сборники. Для решения поставленного вопроса последние имеют существенное значение. Основной текст в сборниках со статьями Пересветова почти одинаков. Поэтому можно установить прежде всего основные типы, или группы сборников.

По литературному составу и порядку изложения, сборники статей Пересветова распадаются на *две* группы, или *два* типа. Первая представлена след. рукописями: а) с полным по составу текстом — ркп. Академии Наук № 33. 7. 11; ркп. Уваров. № 1584 и № 1321, — это разрозненные части одной ркп.; ркп. Общ. Ист. Др. Рос. № 198; б) с неполным текстом: по сп. Никон. Лет. (П. С. Р. Л., т. XII, 1901, стр. 100 — 108); Гос. Публ. Библ. А. — Погодин. ркп. № 1604 и № 1606: — Вторая группа представлена 2 Погодин. ркп. № 1611 и № 1568 — Гос. Публ. Библ.

2. Анализ содержания сборников *первого* типа обнаруживает след. составные части: а) историческая повесть о создании и взятии Царьграда (Искандера); b) «Мудрость греческих философов и латинских дохтуров» — в Уваров. ркп. на первом месте

перед повестью, в ркп. Ак. Н. — на втором после рассказа об основании Царьграда; c) сказание о царе турском Махмете, — как естественное продолжение повести о взятии Царьграда, без особого заглавия, — тоже сложного состава (сказание о греч. книгах, о царе Константине, о реформах Махмета, о спорах греков с латинами); d) предсказания философов и докторов царю Ивану IV (о взятии Казани), — без особого заглавия; e) челобитная — краткая, деловая — Ивашки Семенова сына Пересветова; f) сказание о Константине, с особым дополнением в форме речей Махмета (о выборе мудрого правителя, о милостыне, снова о выборе правителя и о Константиновых вельможах). В ркп. Ак. Н. № 33. 7. 11. в сборнике статей, кроме имени автора в челобитной, принадлежность их тому же лицу скреплена дважды (в заглавии статьи «Мудрость фил. и дохт.» и в конце сборника) характерной припиской: «а вывез сия рѣчи и дѣла... Иван Семенов сн҃ъ Пересветов» (ср. в ркп. Общ. Ист. и Др. № 198 — Ржига, стр. 9).

3. Неполные списки того же первого типа представляют частью первую половину сборника (напр., в Ник. Лет.), частью вторую (напр., ркп. Погод. № 1604 и № 1606), причем в № 1604 сохранились, кроме конца сказания о Махмете (ср. Ржига, стр. 77), предсказания философов и докторов, челобитная (краткая) и сказание о Константине с особым дополнением, как в ркп. Ак. Н. (и Общ. Ист. Др. № 198—см. Рж., стр. 8—9). Любопытно, что даже в Погодин. ркп. № 1606, самой неисправной, представляющей обрывки основного текста, все-таки сохранился основной порядок статей первого типа: за «указом турского царя судиям» (т. е. сказания о реформах Махмета) следуют предсказания философов и докторов (всего 12 строк), сказание о Константине (20 строк). В конце ркп. № 1606 есть и статья «Мудрость греческих философов и латинских дохтуров и Петра вол. воев.» (9 полн. листов — не оконч. = 66 стр. изд. Рж.), как в ркп. Ак. Н. и Уваров.

4. Составные части сборников *второго* типа, по рукописным данным, представляются в следующем виде:

a) статья, без особого заглавия, соответствующая той, которая в ркп. Ак. Н. и в Уваров. названа: «Мудрость греческих философов и латинских доктхтуров» (в ркп. Погод. № 1611 она стоит в начале, а в ркп. Погодин. № 1567 — в конце); b) «начало создания Цареграда» — это переделка отрывка историч. повести о создании Царьграда (эпизод борьбы орла со змием); c) «о рождении ц. Константина» (правление вельмож); d) сказание о Махмете (о ц. Константине, о реформах Махмета, споры греков с латинами); e) предсказания философов и докторов; f) челобитная (краткая) с дополнением (речь Махмета о выборе мудрого правителя); g) «о взятии Царяграда» — историч. повесть об основании и взятии (неоконч.) находится только в ркп. № 1611. Оба Погодинские списка очень близки текстуально друг ко другу и в порядке основных частей.

5. Есть еще одна ркп. кн. Оболен. № 132, известная нам только по описанию Орлова и Ржиги. Она частью примыкает к первой группе, частью ко второй. Однако, судя по описанию Ржиги (стр. 6), в основной части ее сохраняется типический порядок статей *первого* типа (с пропуском только «предсказаний» и, повидимому, особого дополнения к сказ. о царе Константине). Далее в ркп. № 132 идет «челобитная» (т. е. «Мудрость греч. фил.»), общая для обеих групп сборников, затем, переделка отрывка из повести о Царьграде, характерная для второй группы сборников. Без непосредственного знакомства с этой ркп. затрудняемся сказать, имеем ли мы здесь дело со случайной механической спайкой неискусного писца или, быть может, это список с экземпляра черновой работы автора.

6. Сравнение сборников со статьями Пересветова двух основных типов приводит к след. выводам: a) первая группа сборников по своему составу сложнее второй (сказание о книгах, дополнение к сказ. о ц. Конст. по объему больше новой статьи во 2-ой группе — «Начало создания Царьграда» — литер. переделки); b) текст второй группы сборников, очевидно, представляет переработку текста первой путем сокращения (напр., сказания о книгах и дополнения к сказанию о Конст.), вставки новой части («Начало создания») и перестановки некоторых литературных эпизодов (напр., сказание о Конст. в Погод. ркп. № 1611 и № 1568 стоит в начале, непосредственно за новой статьей, а в ркп. Уваров., Ак. Н. и Общ. Ист. Др. оно занимает или предпоследнее или последнее место); c) общая для обеих групп сборников статья, озаглавленная в первой группе: «Мудрость греч. фил. и докт.», должна быть выделена из общего состава, как самостоятельная единица, так как является подвижной частью, — то в начале, как в ркп. Уваров., Погодин. № 1611, то на втором месте, как в ркп. Ак. Н., то в конце, как в ркп. Погодин. № 1568 и № 1606 (в ркп. Оболен. № 132 — на предпосл.); d) историч. повесть о Царьграде (Искандера) в сборниках первой группы является органической частью, а в сборниках второй группы — эпизодической (в ркп. Погод. № 1611 из нее взят один только эпизод «о создании Царяграда», притом переделан; в ркп. № 1568 она стоит в конце сборника). Таким образом, путем сличения всех списков со сборниками статей Ив. Пересветова устанавливаются два основные типа сборников — в распространенном (ркп. Ак. Н., Уваров., Общ. Ист. и Др. и др.) и сокращенном виде (Погодин. № 1611 и № 1568). Первый тип по своим литературным достоинствам ниже второго (в нем громоздкий объем, повторения), несомненно, представляющего переработку первого. Это указывает естественно и на время их появления. Из всех рукописей первого типа ркп. Общ. Ист. и Др. № 198, судя по описанию Ржиги (стр. 6 — 9), наиболее простая по составу: ее составные части входят во все другие сборники этого типа. Кроме того, это единственная рукопись, в которой нет статьи: «Мудрость греч. философов и лат. докторов», очевидно, появившейся позже.

Эта статья, входящая в другие сборники, имеет огромное значение для характеристики всей литературной деятельности Ив. Пересветова.

В этой статье, более известной под назв. «Эпистолы», автор утверждает, что он «вывез» к царю Ивану IV «рѣчи изо многих королевствъ государьскія и от Петра, воеводы волос., и дѣла твои царьскіе; и тѣ рѣчи и дѣла легли в казнѣ государевѣ», «а тѣ рѣчи и дѣла и до сѣх мѣст перед тобою не были». 11 лет спустя по приезде, автор 8 сент. подал лично царю «*двѣ* книжки» съ «рѣчьми царьскими»... «И ты, государь, меня не приказал никому»... «И ты, государь, тѣ книжки *обѣ* мнѣ вели отдати назад. Да и *сю* книжку вели мнѣ же отдати, прочетши, толко тебѣ не полюбитца». Ни одна из этих «книжек» в своем подлинном виде до нас не дошла. Но глухой намек на одну из них есть в описании ящика № 143 Царского Архива, где упоминается «черной список Ивашка Пересветова». Литературное наследие с именем Пересветова сохранилось частью в отдельных статьях, частью в целых сборниках. Из их состава мы выделили одну статью, известную под заглавием «Мудрости греч. фил.» и т. д., а в литературе под назв. «Эпистолы». Мы называем ее словами автора «*книжкой*», третьей из числа поданных царю.

Схема всей литературной деятельности, нарисованной автором, представляется в следующем виде.

Несомненно, речи, которые легли в казне государевой, но до царя не дошли, и есть «протограф» — «x». Но автор не ограничился этой подачей, судя по его словам: «Ино, государь, *противенъ* тѣхъ рѣчей перед тобою», т. е. новый список (не копия), поданный лично царю 8 сент., одна из *двух* книжек — «y» и «z». Третья «книжка» дошла до нас в нескольких списках, и любопытно, что она входит в состав сборников *двух* типов, очевидно, восходящих к *двум* редакциям. Конечно, было бы рискованно отождествить сборники со статьями Пересветова, довольно позднего происхождения (XVII в.), с теми «двумя» книжками, поданными царю. Но можно установить один факт: Ив. Пересветов подал царю всего *три* «книжки», из которых одна является «противнем» речей, не дошедших до царя. — Обращаясь к рукописному материалу, сохранившемуся до нашего времени, мы путем анализа его содержания можем установить *три* редакции сочинений Пересветова, представляющих в сущности *один* политический трактат «речей государских».

Так, напр., в сборниках первого типа нетрудно видеть составные части одного целого. Повесть о взятии Царьграда и «сказание о Махмете» рисуют идеал царя: религиозность — в лице Константина, воинственность и мудрость в лице Махмета. За этой общей, теоретической, частью идет частная, адресованная к царю Ивану IV. Здесь прямые намеки на русскую действительность (недавнее правление бояр, лихоимства властителей) и советы царю выбрать мудрого правителя в помощь себе, конечно, не из бояр. Обе части одного трактата довольно искусно связаны двумя

небольшими статейками: это «споры греков с латинами» и «предсказания филос. и докт.». В первой проводится мысль, что вера и правда — основа государства и что в Московском царстве есть истинная вера. Во второй говорится, что царь Иван Васильевич родился «на исполнение правды», очевидно, отсутствующей на Руси, и «на умножение вѣры», очевидно путем завоевания Казанского царства, которую царь «возьмет» и «крестит». — В сборниках второго типа значительно сокращена и общая часть (сказание о книгах) и практическая (обличение лихоимства). Весь рассказ более сжат и прикреплен к личности Ивана IV: после картины правления бояр (под видом Константиновых вельмож), рисуется идеал мудрого правителя в лице Махмета, и рассказ заканчивается «предсказаниями» филос. и докт. царю Ивану IV (завоевания Казанского царства). — Третья и последняя «книжка» — своего рода резюме первых двух. От имени Петра волошского воеводы и безыменных философов и докторов, автор резко обличает русских вельмож (и прямо и аллегорически) и смело выдвигает военно-служилый класс, как единственную опору государства. Рекомендуя себя, как искусного «книжника», автор настойчиво внушает царю мысль о наступательной политике по отношению к Казанскому царству.

Мы видим, что во всех трех редакциях одни и те же «государские речи», только в разной форме, адресованные молодому царю Ивану IV в эпоху Казанских походов, совпавшую с необычайным подъемом общественного самосознания, именно около полов. XVI в.

В заключение нам остается вкратце коснуться истории редакций сочинений Пересветова.

1. Сличение всех известных нам списков сборников со статьями Пересветова дает основание установить *три* редакции одного и того же трактата, принадлежащие автору. Время их появления (конечно, «архетипов») датируется эпохой Казанских походов.

2. В дальнейшем наблюдается распад сложного по составу трактата на отдельные части (крупные и мелкие), а также и литературная переделка отдельных статей. Так, напр., в Никон. Лет. читается первая половина трактата, в ркп. Погодин. № 1604 — вторая той же первой редакции; в ркп. Погодин. № 1606 — только обрывки второй половины той же редакции.

3. Из числа литературных обработок следует отметить: а) «Сказание о царѣ турском Махметѣ, како хотѣлъ сожещи книги греческія», оторванное от «Сказания о Махмете» первой редакции и переделанное; б) «Сказаніе о Петрѣ, вол. воеводѣ, како писалъ похвали царю Ивану Васильевичу» — переделка третьей «книжки», или Эпистолы.

Г. Бельченко.

Ленинград.
1926. XII. 22.

Литературная традиция в северовосточной русской агиографии.

Начало северовосточной русской агиографии представляется нашим ученым (Шевырев, Буслаев, Некрасов, Ключевский), как самозарождение новой примитивной литературной формы («народные» редакции Шевырева и Некрасова, «проложная» Ключевского). Рядом с этими попытками оригинального агио-творчества мы найдем едва ли не в каждом северовосточном сборнике житий (начиная с XIV — XV вв.) также жития и переводные, и домонгольские, эти богато развитые формы литературного мастерства. Естественно возникает вопрос, не оказали ли они влияние на творчество северно-русских агиографов, не продолжается ли под пером последних, старая литературная традиция. Ответ на этот вопрос дают прежде всего наши исследователи житий. Так Ключевский замечает, что на ж. Авраамия Смоленского (XIII в.) значительно отразился искусственный стиль киевской письменности (Др.-р. ж. свв., стр. 364), что в житии Александра Невского заметно «литературное веяние старого Киевского или волынского юга» (ib., стр. 70). Н. Коноплев («Святые Вологодского края», стр. 3.) говорит, что «последующая русская агиобиография продолжала свое развитие в том направлении, которое сообщил ей первый биограф» (Нестор). Эти намеки получат значение обобщений, если мы, во-первых, обратимся к киевским житиям и сравним их с северовосточными, а во-вторых, проследим стилистические формулы северовосточной агиографии сравнительно с переводной и домонгольской.

Житие Феодосия Печерского оказало влияние на ряд житий Северной Руси. Оно использовано, как непосредственный источник в жж. Авраамия Смоленского, Исаии Ростовского (I редакция), Александра Свирского (1545 г.), что доказано Ключевским (ср. cit., стр. 14, 55) и Яхонтовым («Ж. свв. севернорусских подвижников»., 1882 г., стр. 37).

Несторово «Чтение» было в числе источников ж. Авраамия Смоленского. Сравн. сходное начало обоих житий и следующие места в «Чтении» (по изд. Бодянского в «Чтении Общ. Ист. и Древн. Росс.» кн. 1, 1859 г.) и ж. Авраамия (изд. Ак. Наук, приготовленное С. П. Розановым, 1912): 1) *Чт.*: стр. 1, строка 1 — 2,

ж. Авр.: стр. 1, строка 1, 4, 5 — 6; 2) *Чт.* стр. 2, *ж. А.*: стр. 4, строка 17; 3) *Чт.*: стр. 9, строка 2 (притча о талантах), *ж. А.*:, стр. 3, строка 1 — 5 (та же притча). Ж. Авраамия использовало и «Поучение о казнях божиих» (ср. ж. Авр., стр. 12, строка 15; Пов. врем. лет., 1068 г.). В. М. Тучков, автор III ред. ж. Михаила Клопского (1537 г.) также пользуется текстом «Чтения» (сходно вступление, самоумаление автора, типичные Несторовы оговорки, ряд общих формул). Тучков, повидимому, знает и Кирилла Туровского (см. стр. 49 по изд. в «Пам. стар. рук. лит.», изд. Кушелева-Безбородко, стр. 49 и след. место из «Слова на собор свв. отец»: «Яко же историцы преклоняют своя слухы в бывшая между царей рати и ополчения...» и далее). Автор ж. Артемия Веркольского (первое десятилетие XVI в.) сходно с Нестором рассказывает о сотворении мира, падении ангелов и первых людей, об изгнании их из рая. Начало ж. Нифонта, еп. Новгородского, по тексту и сюжетным мотивам сходно с тем же «Чтением». Анонимное Сказание о Борисе и Глебе (XI в.) также было неоднократно источником творчества сев.-р. агиографов. Сравним старшее («проложное») ж. Леонтия, еп. Ростовского, со Сказанием.

Житие Леонтия (по рук. Общ. Люб. Древн. Письм. № 778 (9162) Сборн. XVII в., л. 597):	*Сказание* (по Успенскому списку XII в.)
1. и въздѣвъ руцѣ горѣ и рече (л. 602 об.).	1. и въѣздѣвъ руцѣ на небо и рече (стр. 23; ср. стр. 17, строка 3 снизу)
2. луче ли убо умрети... нежели ослушатися повелѣния божия (л. 603 об.).	2. уне бы съ тобою умрети ми, неже уединену... (стр. 20)
3. сподобил еси сицевому съкровищу откровену быти (л. 606).	3. Господь не дадяаше таковому съкровищю крытися въ земли (стр. 28).
4... тело святителя Леонтия. Явил ми еси сокровище, ему не достоин весь мир (л. 607).	4... имый въ себѣ такое скровище, ему же не тъченъ ни вьсь миръ (стр. 23).

Житие Леонтия сближается и со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона.

Житие Леонтия	*Слово* (Киевск. Унив. Изв., 1911, стр. 81).
1. Хвалитъ бо римьская страна Петра и Павла, греческая страна цесаря Костянтина, русская страна и земля князя Володимера, ростовь-	1. Хвалит же хвальными гласы римьская страна Петра и Павла... ...похвалим же и мы князя нашея земля Владимера.

ская земля блажитъ тебе, великий святителю Леонтие (л. 609—609 об.) [Та же формула в ж. Димитрия Ивановича, Полн. Собр. р, летописей VIII, стр. 53].	
2. Здѣ бо святии апостоли не были, но учения ихъ протекоша конца (л. 609).	2. не виде апостола, пришедша в землю твою (с. 83) (Ср. «Чтение» Нестора: «не бѣша бо ни апостоли ходилѣ къ нимъ»)

Ценный труд Н. И. Серебрянского «Древне-русские княжеские жития» дает много указаний на влияние анонимного Сказ. о Борисе и Глебе на северовосточные русские жития. Сказанием пользовались: житие кн. Андрея Боголюбского (XII в.), ж. кн. Глеба (сына А. Боголюбского), ж. кн. Юрия Владимирского, ж. Федора Ростиславича (редакция XV в.), ж. Константина Муромского, Слово похвально о блаженном князе Борисе Александровиче, Повесть об убиении Михаила Тверского. К данным Серебрянского добавим, что и распространенная ред. проложного жития кн. Ольги (Серебрянский, стр. 9), и ростовская проложная ред. ж. кн. Михаила Черниговского (ib., стр. 291) также пользовались текстом Сказания.

Автор ж. Никиты Переяславского, повидимому, также черпал из того же Сказания. Сравним.

Житие Никиты по рукописи Моск. Рум. Музея № 434, XVI в., из «Похвалы»)	*Сказание* (по изд. Успенского Сборника XII в. Шахматова и Лаврова)
1. братолюбиемъ цвѣтый... кротокъ взоромъ, тихъ хожениемъ, умиленъ видѣниемъ, божиею благодатию почтенъ.	1. ... акы цвѣтъ цвьтый (л. 18ª) ... правьдивъ и щедръ, тихъ, кротокъ, съмѣренъ (л. 10б).
2. не токмо въ тои странѣ, идѣже живяше, но и слышатися имени его въ инѣхъ градѣхъ и странахъ.	2. чюдеса... не ту единде, нъ и по вьсѣмъ сторонамъ и по всѣм землям преходяща...
3. и равно течение скончa, вѣру соблюдъ и вѣнецъ праведный получи.	3. ... Како пострадати и течение скончати и вѣру соблюсти. Яко да и щадимый вѣньць прииметь отъ рукы вседьржителевы (л. 16)
4. ангела ли тя наричемъ, яко въ плоти безтѣлесно пожилъ еси.	4. ангела ли ва нареку... но плътьскы на земли пожила еста въ чловѣчьствѣ.

Другое старейшее житие, — ж. Исаии Ростовского, также знает стилистику и приемы домонгольской агиографии. Житие знает Киево-Печерский патерик, цитирует Повесть врем. лет. (1089 год), и Сказ. о Борисе и Глебе. Сравним.

Житие Исаии (по рук. б. Каз. Дух. Ак., № 514, 1569 г. л. 514 об.)	*Сказание*
1. Вѣнець убо многоцвѣтный всякымъ украшениемъ цвѣтовымъ украшенъ (*начало ж.*)	1. въсприятъ неувядаемой вѣнець.
2. въ тѣлеси убо яко ангелъ является.	2. вы убо небесная чловѣка естал земльная ангела.
3. кое убо похваление по достоинству принесемъ тебѣ, ... никто же бо достойное достойнѣ похвалити можетъ.	3. тѣмь же ваю како похвалити не свѣмъ...
4. имѣеши бо дръзновение къ небесному царю...	4. аще еси получилъ дрьзновение у господа, моли и о моемь унынии.
5. да молитвами вашими избудемъ отъ глада и нахождения иноплеменныхъ и отъ всѣхъ золъ (л. 521 об.)	5. Гладъ и озлобление отъ насъ далече отженѣта и вьсего меча браньна избавита нас... да не придеть на ны зло.

Большинство из этих стилистических формул византийского происхождения. Шесть таких формул общих со Сказ. мы нашли и в житии Сергия Радонежского. Житие Константина Муромского (Пам. стар. р. лит., I, стр. 229) пользуется (в начале жития) «Памятью и похвалой» Владимиру мниха Иакова.

Из приведенных сопоставлений видно, что северовосточные агиографы, в том числе и авторы старших «примитивов» («проложных житий»), хорошо знали домонгольские жития и пользовались ими.

Стилистика северовосточных житий указывает на то, что византийско-киевская литературная традиция не прерывалась. Приведем наиболее ходкие формулы, общие византийским, киевским и северовосточным житиям.

Прием самоумаления автора, особенно излюбленный Нестором, встречается у северных агиографов очень часто (см. ж.ж. Авраамия Смоленского, Сергия Радонежского, Нифонта, Варлаама Хутынского, Кирилла Белозерского, Питирима Пермского, Стефана Пермского и мн. др. См. Яхонтов, стр. XVI, Ключевский, стр. 375). Приведенное выше наименование святых земными ангелами (византийская формула; см. жития Саввы Освященного, Василия Нового) встречается также часто (ср. жж.

Сергия Радон., Епифания Премудрого, Димитрия Вологодского, Никиты Переяславского, служба Стефану Комельскому).

Для описания козней дьявола агиографы знают устойчивые трафареты стиля: «ненавидяй исперва человекъ злый советникъ дьяволъ» (ср. житие Георгия Амастридского и др.; формула восходит к евангельскому тексту) и др. варианты. Они имеются в Сказ. о Борисе и Глебе, в ж. Феодосия Печерского, а на севере в Епифаниевом ж. Сергия Радон., в ж. Питирима, еп. Пермского (см. Ж.М.Н.П., 1894, III, стр. 144), в ж. Петра Муромского.

Часто встречается в житиях и киевских и северных прием оставлять тему, чтобы вернуться к ней позже с оговоркой «инде скажем» (ж. Михаила Клопского, Сергия и др.). Распространение чудес по «всей земле» излагается сходно у большинства агиографов (ср. Сказ. о Б. и Гл., русские чудеса Николая Мирликийского. ж. Сергия Радон., ж. Евфимия, еп. Новгородского). Уподобление праведника светилу — прием византийских житий, часто применяемый и в киевских и в северо-восточных житиях (ж. Антония Печерского, Меркурия Смоленского и мн. др.). Трафаретные сюжетные мотивы северных житий о раннем благочестии святого, о его внимательном вслушивании в слова Св. Писания также византийского происхождения. Схема изложения и тематика «чудес» в севернорусской агиографии также не бытового, а литературного происхождения. Мотив добровольного обречения святого на съедение комарам — общее место ряда житий (ср. эпизоды в Патериках, напр. о Макарии Егип., ж. Феодосия Печерского, Никиты Переясл., Антония Сийского).

Каталог устойчивых формул сюжетных мотивов и стилистических трафаретов может быть умножен; но и собранный здесь материал дает право утверждать, что традиции византийской агиографии, унаследованные киевскими агиографами, не прерываются, что мы имеем дело *не с зарождением нового стиля, а лишь с упрощением под пером еще неопытных севернорусских авторов старых изысканных приемов письма.* «Проложные» жития не примитив, не зачаточная форма, а вторичная.

Схема развития сев.-вост. житийной формы, формулированная окончательно В. О. Ключевским, построена по неверной аналогии: *зарождается* новая государственность, новый быт, стало быть, по его мнению, *зарождается* и новая литературная форма. Выводы Ключевского, к тому же, подсказаны не столько анализом техники художественного творчества северных агиографов, сколько следующей формулировкой (1858 г.) Ф. И. Буслаева: «Простая речь краткого первоначального жития принимала характер витиеватый, напыщенный... Потом для потреб русских читателей распространенное житие вновь сокращалось»... («Очерки», т. II, стр. 97 — 98).

Москва.
23. XII. 1926.

Сергей Бугославский.

Книга каменная.[1]

В описях древне-русских библиотек, описях имущества и записных книгах по временам встречается книга с загадочным названием: «каменная». Так, она упоминается: 1) в описи библиотеки бр. Строгановых от 1578 г.:[2] «книжка каменная» (sic); 2) в описи книг царевича Алексея Михаиловича:[3] «книжка каменная жъ, доски серебряные рѣзные по зеленой землѣ. Челомъ ударилъ дьякъ Григорий Львовъ в 145 году»; 3) в описи книг царевича Ивана Михаиловича от 1655 г.:[4] «книжка каменная доска въ серебрѣ позолочена, а на доскахъ на обѣихъ сторонахъ вылиты два человѣка съ личинами»; 4) в описи книг Симона, архиеп. вологодского и белозерского, от 1683 г.:[5] «книга каменная в четверть, а другая в полы» — и в некоторых других.

Оставляя в стороне предположение, что в данном случае мы имеем дело с названием, образованным от слова «камень», которое входило бы в состав какого-либо сложного заглавия, и не считая возможным отождествлять эти книжки с «каменными книгами» Серебряного приказа (приходо-расходные книги драгоценным камням), обратимся к некоторым другим данным.

В «росписи казнѣ г. царевича и в. кн. Алексѣя Алексѣевича... которая была въ хоромѣхъ», мы находим среди книг «в черной шафѣ, которой стоит в переднихъ сѣнехъ», две «каменныя книжки» с такою характеристикой: «книжка *пищая*, каменная въ черепашномъ кожушкѣ; такая же (книжка) въ серебряномъ кожушкѣ».[6] В сравнении с прежними определениями здесь представляет интерес слово «пищая», усваиваемое каменной книжке. Появление печатного станка должно было вызвать

---

1 Извлечение из доклада, читанного в Общ. Др. Письм. и Иск. 12 июля 1923 г.

2 См. ст. Н. Г. Богдановой «Книжные богатства Строгановых в 1578 г.» в «Sertum. Bibliologicum в честь проф. А. И. Малеина».

3 И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей и цариц, ч. II, 1915, стр. 593.

4 Ibid. стр. 594; см. еще его же — в описи платья: «Книжка (книжки)? каменные» — ib., стр. 596.

5 Рук. П. Б. собр. Савваитова, Q IV № 389.

6 И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей и цариц, ч. II, 1915, стр. 599, прим. 4.

к жизни термин, отличающий рукописную книгу от книги напечатанной. В XVI в. мы знаем три слова (производных от писати, письць, письмѧ) для обозначения рукописи: 1) писаный,[1] 2) писчий[2] и 3) писмяный;[3] для XVII же века, как кажется, только два: 1) писчий[4] и 2) писмяный. Что касается слова «писмяный», то в Московской практике, судя по описям древне-русских библиотек (по крайней мере для XVII в.), оно уже твердо укрепляется за рукописью, как таковой, чему следуют и другие крупные книгохранилища. Наоборот, слово «писчий», еще удерживаясь в описях книгохранилищ отдаленного северо-востока и переписных книгах церквей и мелких монастырей за рукописью, — в центре культурной жизни, в Москве, прикрепляется к бумаге. Думается, не будет ошибкой придавать слову «писчий» вообще в московской практике, безотносительно бумаги, более широкое значение: «пригодный для письма». В таком случае определение: «книжка пищая каменная» мы можем понимать как «книжку, пригодную для письма», т. е. книжку, которая годится, но которая, возможно, и не заполнена еще письмом, еще не «письмяная».

Более ясное указание касательно «каменных книжек» имеется в описи книг царевича Алексея Мих. С «каменной книжкой» его библиотеки мы уже знакомы; непосредственно же перед нею в описи помещена книжка с таким определением: «книжка *листье каменное*, доски серебрены камфарены; по доскам на сторонахъ стоятъ нѣмки; застежки серебрены жъ, на переплеткѣ четыре ренейка на шурупахъ. Челомъ ударилъ бояринъ, князь Алексѣй Михайловичъ Львовъ во 145 году ноября 29».[5] Так как следующая за нею «каменная книжка» определяется как «книжка каменная жъ. . .», — очевидно, что книжка «каменное листье» и просто «книжка каменная» понятия идентичные. Обращаясь к слову «листье» нашего определения, видим, что рассматривать его относящимся к переплету, или к каким-либо его частям — украшениям на переплете — нет достаточного основания. Отсюда заключаем, что «каменное листье» следует рассматривать как указание на особенность книжки, и, именно, ту ее особенность, что листы, составляющие книжку, сделаны из камня — каменные.

Этот вывод подтверждается и разъясняется третьим определением, которое мы находим в описи царской казны на Казенном дворе от 1640 г.: «книжка каменная, *черная, осляная*; поволочена отласомъ лазоревымъ; доски и защепки оправлены

---

[1] В описи книг Духова Новгородск. мон. от 1590 г.: «да другой апостолъ тетръ, писаной» — см. Изв. Русск. Генеалог. Общ., вып. 3, СПб., 1909, ст. Н. П. Лихачева «Духовное завещание старца Варлаама 1590 г.».

[2] В описи библ. бр. Строгановых: «Двѣ псалтири писчие».

[3] Ib.: «да 2 евангелиста в десть писмяные».

[4] В описи книг Челменского Каргопольского мон.: «евангелие писчее», см. И. Токмаков «Ист.-стат. и археолог. описание Челмогорской мужской пустыни» 1896 г.

[5] И. Е. Забелин. Дом. быт русск. царей, ч. II, 1915, стр. 593.

золотомъ съ каменьемъ, съ алмазы и съ яхонты, и съ изумруды. У ней же на чепочкѣ на золотой спичка, оправлена золотомъ; на концѣ ворворка прорѣзная, съ искорками. А по прежнимъ описнымъ книгамъ цѣна 322 руб. А на ерлыкѣ написано: Государю челомъ ударили галанскія земли нѣмцы: гостя Карла де Мулина, прикащикъ Елисей Бурмансъ, да гость Ондрей Ѳанъ Фрыкинъ, да Давыдъ Микулаевъ—во 140 году апрѣля въ 4 д.».[1] Здесь обращают на себя внимание два новых признака, отмечаемых составителями описи: то, что книжка а) «черная» и б) «осляная». Слова «осляный» в словарях мы не нашли; существительное же «осла» ж. рода в славянском языке известно с XI века и употреблялось то в значении пробного камня, то в значении камня точильного, оселка. Не трудно видеть, что слово «осляный»—производное от «осла» на «-яный» и принадлежит, таким образом, к группе прилагательных, обозначающих состоящее из материала, указываемого основным существительным. Стало быть, «осляный» значит «сделанный из ослы», из камня, употребляемого на оселки. В Энциклопедическом словаре изд. Брокгауза и Ефрона под словом «оселок» говорится, что для них (оселков) «пригодны многія породы», в том числе и глинистые сланцы. Там же под словом «глинистые сланцы» находим: «По строенію, физическимъ свойствамъ и минералогическому составу различаютъ: кровельный и аспидный сланцы; первый сѣраго, второй чернаго цвѣта. Легко колятся на тонкія ровныя пластины» (cit. ib.). Но объясняя слово «осляный», как «сделанный из глинистого сланца», мы тем самым получаем возможность объяснить и слово «черный», отмеченное нами выше: как мы только что видели, один из видов черного сланца как раз отличается интересным для нас свойством—легко колется «на тонкія, ровныя пластины».

Объединяя вместе признаки, встреченные нами в последних определениях, мы можем охарактеризовать «каменную книжку» «книжкой, предназначенной для письма с листами, сделанными из черного глинистого сланца», т. е., другими словами, книжкой, сплетенной из пластинок черного шифера, материала, обычно употребляемого для школьных грифельных или аспидных досок.

Таким образом, при объяснении каменных книжек, встречающихся в описях царского имущества, мы приходим почти к тому же, что и А. Вельтман в труде «Московская Оружейная Палата» (М. 1860 г.), где на стр. 92, он называет одну такую книжку «книжкой грифельной для записки». Вполне соглашаясь с ним относительно материала, из которого делались книжки, мы склонны их считать предназначенными не столько «для записки», сколько для первоначального обучения царских детей письму. За это говорит, во первых, их присутствие в числе вещей

[1] А. Викторов. Описание записных книг и бумаг старинных Моск. приказов, № 4. стр. 17—18.

малолетних царевичей (у Алексея Алекс. их две, у Ивана Мих. — не менее двух, у Алексея Мих. — две), а во вторых, время, когда близкие царской семье люди считали уместным их поднести. Мы имеем в виду каменные книжки, подаренные царевичу Алексею Мих. в 1637 г., когда последнему было 8 лет, то есть как раз в то время, когда, согласно разъяснению Ив. Е. Забелина, царские дети начинали учиться письму.[1] Впрочем, известны случаи, когда каменные книжки были у 6-летних царевичей. Так, были они у Ивана Мих., умершего 6 лет; покупались они шестилетнему же Алексею Алекс., судя по приходо-расходной книге деньгам за 7162—7174 годы, где под 20 окт. 1660 г. записано: «куплено в хоромы къ царевичу книжки каменные (1 р.). Приказал деньги дать и записать царевичевой казначеѣ Матренѣ Блохиной стряпчій съ ключомъ Ѳед. Алексѣевичъ Полтевъ».[2] Но этим фактам можно противопоставить случай, когда дед, патр. Филарет Никитич благословил (и подарил) своего внука, Алексея Мих., азбукой «большая печать» на 5-м году жизни царевича (в 141 г.), — за год до начала обучения его грамоте.[3] Очевидно, подарки и покупки предметов для обученья не всегда совпадали с моментом начала ученья.

Последняя запись позволяет нам также определить и приблизительную стоимость каменной книжки. Как видим, сами по себе каменные книжки стоили сравнительно не дорого: не дороже полтинника за штуку. Отсюда понятно, что коль скоро царедворцы и заезжие иностранцы били челом подобными книжками, — имелась в виду не ценность книжек, как таковых, а ценность их оправы — золота, серебра и драгоценных камней.

Выше мы видим, что следует понимать под царскими каменными книжками. Что касается каменных книжек бр. Строгановых и архиеп. Симона, то вероятнее их считать аналогичными этим последним: в XVII в. в Москве подобные книжки составляли предмет торговли и стоили сравнительно не дорого; описи же библиотек архиеп. Симона и бр. Строгановых не специальные описи «книгохранилищ», а описи части имущества их владельцев, благодаря чему принадлежавшие им каменные книжки — в сущности, вещи, а не книжки — могли попасть туда случайно, будучи по внешнему виду схожи с книгами обычными.

Н. Зарубин.

Ленинград.
1926. XII. 23.

---

[1] И. Е. Забелин. Дом. быт русск. царей, ч. II, 1915, стр. 158.
[2] Ibid. стр. 110—111.
[3] Ibid. стр. 155.

К истории изданий киевского «Синопсиса».

Наиболее любопытным периодом в длинной, многолетней истории киевского «Синопсиса» является последняя четверть XVII века, когда в следовавших одно за другим изданиях Киево-Печерской Лавры выработался тот текст памятника, который получил такое широкое распространение в XVIII и XIX ст.

Впервые «Синопсис» издан был Лаврой «по благословению» архимандрита Иннокентия Гизеля в 1674 г. С некоторыми изменениями и дополнениями издание это было повторено в 1678 г. Вскоре последовало третье издание, расширенное рядом вставок (см., например, 29 глав о Мамаевом побоище на стр. 123—179) и дополненное рассказом о нашествии турок и татар на Украину в 1678—1679 гг.

Это третье издание, датированное 1680 годом, вызывает ряд интересных библиографических вопросов. Еще И. Каратаев в «Хронологической росписи» 1861 г., затем В. М. Ундольский и А. Родосский отметили две разновидности издания 1680 г., одну — с *постраничной*, другую — с *полистной* нумерацией.[1] Однако, более тщательное изучение отдельных экземпляров устанавливает наличие *не двух*, а по крайней мере *трех* разновидностей «Синопсиса», датированных одним и тем же 1680 годом.

Всмотримся ближе в эти разновидности, обозначая экземпляры первого типа буквой **A**, второго — буквой **B** и третьего — буквой **C**.

Все разновидности интересующего нас издания имеют одинаковое заглавие — Συνοψισъ и̂ли̂ кра̂ткоѐ собра̂нїѐ ѿ Ра̂ли́чны̂ Лѣтопи́сцѐ, ѡ̑ Нача́лѣ Славано-Рѡ̂сїйскаго Н́арода... с указанием на то, что книга изображена «тvпомъ» в Киево-Печерской Лавре в 7188—1680 году; во всех одно и то же количество,

---

1 И. Каратаевъ. Хронологическая роспись. СПб. 1861, №№ 872 и 873. — В. М. Ундольскій. Очеркъ славяно-русской библіографіи. М. 1871, №№ 951 и 952. — А. Родосскій. Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ рѣдкихъ экземплярахъ церковно-славянскихъ книгъ, хранящихся въ библіотекѣ СПб. Духовной Академіи. «Христіанское Чтеніе» 1879 г., №№ 7—8, стр. 228—230. — Его-же. Описаніе старопечатныхъ и церковно-славянскихъ книгъ, хранящихся въ библіотекѣ СПб. Духовной Академіи. Вып. I. СПб. 1891 (1884), № 332.

одинаковые заглавия и одинаковый порядок статей. Все они изданы в одном и том-же формате — в 4-ю д. л., набраны одинаковыми шрифтами, имеют много общего в отношении художественной отделки. Так, рамки на загл. лл. их скомбинированы из одного и того-же типографского орнамента; перед текстом сочинения одна и та-же П-образная заставка с изображением Бога-Отца, соединенная с ксилографической строкой Ѡ НАЧА́ЛѢ; различие наблюдается только в том, что в экземплярах **А** и **В** заставка эта сохраняет все элементы своей композиции, а в **С** выступающие боковые части ее обрезаны. В конце вариантов **А** и **С** одинаковые ксилографические концовки.[1] Как экземпляры **А**, так и экземпляры **В** и **С** украшены одними и теми-же гравюрами, резанными на дереве и представляющими: 1) русский государственный герб, 2) жертвоприношение Ноя, с пометой: Рóкꙋ ҂аха҃и, А: К:, 3) в. кн. Владимира, с пометой: Рóкꙋ ҂ахп. мц҃а декемврїа дн҃а, ї, І: К:

То обстоятельство, что изображение кн. Владимира, помеченное *30-м декабря 1680 г.*, вставлено в набор начальных тетрадей (в **А** и **В** на стр. 60, в **С** на л. 46 об.), заставляет думать, что дата заглавного листа может относиться разве к начальному моменту печатания, и что все экземпляры, датированные 1680 г., вышли в свет не ранее 1681 г.

На ряду с признаками совпадающими экземпляры **А**, **В** и **С** представляют много черт различия:

1) Экземпляры **А** и **В** имеют постраничную нумерацию; число страниц в **А**: 4 ненум. + 224; то же количество страниц надо предполагать и в **В**. Экземпляры **С** нумерованы полистно и состоят из 2 ненум. + 128 лл.[2]

2) Площадь набора в **А** и **В** несколько бóльшая по сравнению с **С**; набор страницы первых двух вариантов дает 24 строки при ширине строк в 11,6 *см*. Набор **С** состоит из 21 строки шириной в 10,7—10,8 *см*; в зависимости от различной площади набора верстка текста в полосы на всем протяжении **С** иная, отличная от **А** и **В**.

3) Первая строка загл. л. — ΣΥΝΟΨΙΣЪ и инициал Б в начале первой главы, одинаковые в вариантах **А** и **В**, — в экземплярах **С** оттиснуты другими клише; концовки после акростиха типографов на предпоследней странице скомбинированы в **А** и **С** из различного типографского орнамента; одинаковый в смысле составных элементов орнамент рамки загл. л. в разных вариантах 1680 г. скомбинирован

---

[1] Находившийся в нашем распоряжении экземпляр типа **В** (из библиотеки В. М. Базилевича), к сожалению, оказался неполным: в нем недостает стр. 3—8, 219—224; таким образом, у нас не было возможности дать полную характеристику разновидности **В**. Точно также во всех доступных нам экземплярах **С** недостает л. 2 ненум. При описании помещенных на этом листе гравюр мы пользовались названными выше работами А. Родосского, имеющими в виду экземпляр б. СПб. Духовной Академии *Ак. б. № 2733*.

[2] Вследствие ошибок в колон-цифрах на последнем листе **С** выставлен номер ркд (129).

различно; точно так же инициалы Р на об. загл. л. представлены тремя различными формами.

4) Бумага, на которой напечатаны варианты 1680 г., — различна: среди филиграней А преобладает обычный во второй половине XVII в. знак — «голова шута» (la folie), в двух вариантах — с семью и с пятью бубенцами. Бумага В в единственном экземпляре, находившемся в нашем распоряжении, также помечена знаком «la folie», но иного вида; впрочем, на некоторых листах встречаются тожественные с А филиграни. Бумага С имеет только один знак, так называемый «Al mode papier». Своими очертаниями филигрань С близка к некоторым филиграням «Псалтири следованной», напечатанной в Киево-Печерской типографии в 1697 г.

5) Что касается набора текста, он во всех разновидностях «Синопсиса» 1680 г. от начала до конца разный.

Набор в значительной мере близок к набору А, но имеет и ряд отклонений. Прежде всего, В исправляет опечатки, нередко встречающиеся в А: Владамі́ръ А — Влади́мі́ръ В 38, въ... Лѣтопи́сехъ Рꙋ́скихи — въ... Лѣтопи́сехъ Рꙋ́скихъ 120 (20),[1] е̓ди́въ — е̓ди́нъ 187 и пр.; в редких случаях В делает ошибки на месте правильных чтений А: побѣдѝ — попѣдѝ 148, е̓два — е̓вда 165 и пр. Далее, В дает иногда иные, сравнительно с А, формы контракции отдельных слов, представляет ряд отступлений в области орфографии, изредка — в области акцентирования и морфологии: Кна́зѧ — Кн҃зѧ 42, Іѡа́ннъ — Іѡа҃нъ 217; Воевѡ́ды — Воевѡ́ды 129, Кири́лъ — Кирѵ́лъ 59, Ла́ѵры — Ла́вры 119, и̓ли — и̓лы 115, Ѳомà Халци́бі́ев — Ѳомà Халци́бѣев' 166, А̓да́мъ Кисѣ́ль — А̓да́мъ Кѣсѣ́ль 193, Вели́кі́а — Вели́кі́ѧ загл. л.; ра́сколы — раско́лы 100, Всевѐлодичъ — Всеволо́дичъ 118, пребы́вши — пребыва́ше 106, ѡ̓ба Вѣ́тазѣ — ѡ̓ба Вѣ́тазѧ 160, ѿ го́ркогѡ Ча́са! — ѿ го́ркагѡ Ча́са! 162.

Случаи замены одних слов другими вообще немногочисленны: в̓зы́йде — и̓зы́де 140, всѝ О̓бѡ́зы Ра́ті́й — всѝ О̓бѡ́зи Ра́тні́й 207. Исключение представляют только стр. 217—218, в главе Ѡ приходѣ мнѡжественны[х] си́лъ ца҃рскихъ и̓ войскъ за̓порозски́хъ къ Кі́євꙋ в 1679 г., где при замечаниях об украинских полковниках В дает значительные отклонения в тексте, являющиеся результатом определенной редакторской работы:

а̓ Гада҃кі́й, По҃та҃скі́й, и̓ Ми́горо҃скі́й з̓ По҃ка҃м бахꙋ на стра́жи 'внізꙋ ѿ по҃ Тата҃ски[х].	а̓ Га́дацкі́й Полкѡ́вникъ Міхаи́лъ Васи́лі́евичъ, По҃та҃скі́й Ѳеѡ́до҃ Жꙋ́че҃ко, и̓ Миргоро́дскі́й

[1] При наличии ошибок в нумерации страниц и листов во всех вариантах 1680 г., везде при ссылках мы пользуемся привнесенным нами исправленным счетом; в скобках — транскрипция колон-цифр, отклоняющихся от правильной нумерации.

	Па́велъ, з̾ Полка́ми свои́ми ба́хꙋ на стра́жи в̾ низꙋ̀ Днепра̀ ѿ поль Тата́рскихъ. 217.
И ӥный мнѡ́гїй Полкѝ Во́йска... Запоро́жкогѡ, Комо̃ный Компане́йскїй и Пѣхо́тный наипа́че Сердюкѝ, ѿ до̃рогѡ срца та́ко нарече̃ны, крѣпкїй Воӥны.	И ӥный мнѡ́гїй Полкѝ Во́йска... Запоро́жкогѡ: Комо̃ный Компане́йскїй, и пѣхо́тный Сердюкѝ ѿдо́брогѡ наипа́че срца та́кѡ нарече́нный, До́брый Воӥны. 218.
а Полковнѝ І́акѡв Кори́цкїй з̾ свои́м По́лком Комонны́м, и ӥный мнѡ́гїй Пѣхо̃ный Во́йска ѿпꙋще́ны ба́ше на Запоро́жье в̾ по́мо̃ сла̃номꙋ Воинꙋ А́таманꙋ Кошово́мꙋ, Іѡа́ннꙋ Се́ркове: Кото́рый в̾ то̀ вре́мѧ на Запоро́жꙋ з̾ Гдревыми Ра̃ми, з̾ Низовы́ми и Городовы́ми Во́йсками, мнѡ́гое спа́тїе и па́кости Тꙋ́ркомъ и Тата́ромъ содѣла̀, не попꙋща́ѧ ӥмъ та́мо гнѣзди́тисѧ.	Полковникъ же І́акѡвъ Кори́цкїй з̾ свои́мъ По́лкомъ Комоннымъ, и ӥный мнѡ́гїй Пѣхо́тный Во́йска, ѿпꙋще́ны ба́ше на Запоро́жье, в̾ по́мощ А́таманꙋ Кошово́мꙋ, Іва́нꙋ Се́ркови: иде́же з̾ Гдревыми Ра́тми, з̾ Низовы́ми и Городовы́ми Вѡ́йсками, крѣ́пко противла́хꙋсѧ, по си́лѣ свое́й дающе ѿпо́ръ Тꙋ́ркѡмъ и Тата́рѡмъ. 218.

Вариант **С** в отношении набора и текста ближе к **В**, чем к **А**; в частности в **С** замечания о полковниках 1679 г. приводятся в том дополненном и переработанном виде, в каком находим их в **В**. Но все-же, по сравнению с **В**, экземпляры **С** дают ряд мелких и крупных разночтений. Опечатки **В** в группе **С** исправлены и, наоборот, правильным чтениям **В** иногда соответствуют ошибочные написания **С**. Значительные различия наблюдаются в области орфографии — колебания в употреблении *о* и ѡ, ѵ и *и*: Кирѵ́лъ **В** 58, 59 — Кѵри́лъ **С** 33 об., 34; ѵ и *в*: Ла́ѵрою 195 — Ла́врою 111 (112) об., Па́велъ 82 — Па́ѵелъ 47 (44) об. Трудный для украинских книжников вопрос о правильной, этимологической постановке букв *ы* и *и* не разрешается удовлетворительно ни в **В** ни в **С**: Бо́рысꙋ 79 — Бори́сꙋ 45, но призыва́ѧ 148 — призива́ѧ 84 (85) об. В отношении употребления *ѣ* **С** обнаруживает тенденцию заменять эту букву через *и:* Станѣсла́ва 50, 51, 185 (183) — Станисла́ва 29, 106 (107); намѣре́нїѧ 66 — намире́нїѧ 37 об., но и наоборот: прили́чнѡ 123 — прилѣ́чнѡ 70 об., ѡ́предѣ́ли 111 — ѡ́предѣлѣ 63 (66) об. Более последовательно **С** употребляет *а* вместо обычного в **В** ѧ, применительно к принципам средне-болгарской орфографии: Рѡ́ссїѧ 22 — Рѡ́ссїа 13, Васи́лїѧ 58, 67, 127 — Васи́лїа 33 об., 38, 73 (84), блгопрїа́тнꙋю 65 — блгопрїа́тнꙋю 37; случаи обратного употребления ѧ вместо *а* сравнительно

немногочисленны: Ка́менны 88 — Ка́меныѧ 50 об., Євдо́кіа 146 — Євдокіѧ 84 (85). Далее отметим ряд отличий в области ударения: нарóчито 105 — нарочи́тѡ 60 (63) об., Коте́ль 140 — Кóтель 80 (81) об., частыи бѡ́и 202 — ча́стыи бѡ́и 115 (116) об.; в области морфологических особенностей: Патріа́рсѣ 62 — Патріархꙋ 35, еѧ̀ просвѣти́ти 82 — ю̀ просвѣти́ти 47 (44); в области лексики: Перси́ды 2 — Перси 1 об., о̑гнь ве́лій... возложи́ти 72 — о̑гнь ве́лій... возгнѣти́ти 41, Градъ Портóвый Херсóнъ 65 — Гра́дъ приста́нищный Херсóнъ 36 об., Рóкꙋ 78 — Лѣта 44 об., какѡ воздаде Ярополкъ Болесла́вовѣ пробмысломъ 102 — ка́кѡ воздаде Ярополкъ Болесла́вови, хи́трость хи́тростію 58 (61) об.

Наконец, в различных местах С встречаются переделки и дополнения сравнительно с текстом В, например:

Афе́тъ, е̑стъ Прароди́тель и̑ Ѡте́цъ всѣ́хъ, найпа́че въ Єѵрѡ́пѣ ѡ̓бита́ющихъ хр̃тіѧ́нъ. 2.

Прысыла́ше же ча́сто и̑ Ри́мскій Па́па, и̑ Ке́сарѣ, і̑ Кнѧ́зи, да пріймет̃ъ и̑хъ Вѣ́рꙋ и̑ За́кѡнъ Хртіа́нскій. 57—58.

А̑фетъ, е̑стъ Прарѡди́тель и̑ О̑те́цъ всѣ́хъ, найпа́че въ Єѵрѡ́пѣ о̑бвта́ющихъ на́рѡдовъ. 1 об.

Присыла́ше же ча́стѡ и̑ Ри́мскій Па́па, и̑ Кесаръ западній и̑ Кнѧ́зи нѣме́цкіи, да пріймет̃ и̑х̃ вѣ́рꙋ и̑ за́кѡнъ Хр̃тіа́нскій. 33.

Приведенные выше сличения, свидетельствующие о ряде отступлений в отношении нумерации страниц и листов, орнамента, набора и текста, устанавливают с несомненностью, что в экземплярах А, В и С, датированных одним и тем-же 1680 г., мы имеем дело *с тремя различными изданиями «Синопсиса»*. Вместе с тем общие всем трем вариантам шрифты, подбор типографских украшений, заставки и гравюры заставляют думать, что издания эти вышли *из одной и той-же типографии,* т. е. типографии Киево-Печерской Лавры.

Возможно, конечно, предполагать, что тремя установленными здесь типами не исчерпываются все варианты «Синопсиса» 1680 г. Привлечение к исследованию новых экземпляров может внести существенные в этом отношении дополнения. Пока же мы можем только утверждать, что начальный период в жизни нашего памятника представлен *не менее, чем пятью изданиями,* из которых первое датировано 1674-м, второе — 1678-м, третье, четвертое и пятое — 1680-м годом.

Что касается последовательности, с какой выходили в свет варианты, датированные 1680 годом, — несомненно, что А и В были изданы ранее С. За это говорит, во-первых, то, что текст А и В более тесно связан с текстом второго издания, 1678 г., чем текст С. Ср., например, А, В стр. 2, С л. 1 об. и 1678 стр. 2; стр. 57—58, л. 33 и стр. 54; стр. 72, л. 41 и стр. 67—68; стр. 114,

л. 65 (70) об. и стр. 103 и т. д. Далее, в пользу более раннего издания А и В свидетельствует также и то, что помещенная в начале книги гравированная заставка Ве́тхій Де́нми — в А и В является в своем первоначальном виде с сохранением всех элементов композиции, между тем, как в С она употреблена в виде искаженном, с урезками по краям. То обстоятельство, что в плоскости текстуальных особенностей В представляет, повидимому, дальнейшее развитие текста А и служит исходным пунктом для редакции С, т. е. занимает промежуточное положение между А и С, указывает, вероятно, что В было выпущено в свет после издания А.

Если эти соображения верны, в А надо видеть *третье*, в В *четвертое* и в С — *пятое* лаврское издание «Синопсиса». Вряд-ли можно думать, что все эти издания вышли в свет в одном и том же году, но точно датировать каждое из них, при наличии имеющихся пока в нашем распоряжении данных по истории Киево-Печерской типографии, — не представляется возможным. Издание А, как мы видели, вопреки дате загл. л., вышло в свет, повидимому, не ранее 1681 года. Вскоре, вероятно, последовало и издание В, представляющее близкую репродукцию А, напечатанную отчасти на той же бумаге. Что касается С, оно, повидимому, было напечатано значительно позже, когда запас клише, привлеченных к предшествующим изданиям, частично уже растерялся. Может быть, близость филиграней С к филиграням «Псалтири» 1697 г. указывает на то, что С вышло в свет в самом конце XVII ст.

Не имея возможности более или менее точно датировать издания В и С, мы не можем также решить вопрос о мотивах, какими руководствовалась Лавра, помещая фиктивный 1680-й год на их заглавных листах. Дальнейшие изыскания по истории лаврского книгопечатания, может быть, раскроют это загадочное явление, хотя бы с той степенью убедительности, с какой это сделано, например, в отношении вариантов Острожской Библии 1581 г., львовского Евангелия 1690 г. и черниговского издания «Руна Орошенного», датированного 1702 годом.

Пятью изданиями Киево-Печерской Лавры история «Синопсиса», как известно, не закончилась: на протяжении XVIII и XIX ст. книга не раз перепечатывалась гражданским шрифтом сначала в Петербурге, потом в Киеве. В литературе, посвященной «Синопсису», обыкновенно отмечается, что позднейшие перепечатки восходят к изданию 1680 г. В общем это верно, но так как 1680 годом датированы три разные издания, — вопрос о текстах, послуживших основой для перепечаток, требует более детальной разработки.

1) В эпоху Петра Великого «Синопсисъ» был дважды напечатан *«въ Санктъпітербургской Тѵпографіи»* — в 1714 и 1718 гг. Оба эти издания, особенно издание 1714 г., чрезвычайно редки. Нам не приходилось их видеть, и мы ничего не можем сказать об особенностях их текста.

2) К 1735 г. относится первое *издание Имп. Академии Наук* в СПб. (на загл. л.: «третьимъ тисненїемъ изданное»). Оно было повторено в 1746, 1762, 1774, 1785, 1798 и 1810 гг. Как показывают текстуальные сличения, редактор издания 1735 г. следует тексту B, т. е. тексту 4-го киевского издания. Ср. 1735 стр. 2 и 1680 B стр. 2; стр. 28 и стр. 22; 75 и 57—58; 139 и 106: *пребываше;* 150 и 114: *избранїи;* 184 и 140: *изыде;* 272 и 207: *вси обозы ратнїи;* 286—287 и 217—218. Кроме того, главе «О примѣтахъ Дїмїтрїа Волынского» академическая перепечатка предпосылает особое «Предъувѣщанїе» (стр. 200), не встречающееся ни в одном из вариантов 1680 г.

3) Новую группу перепечаток «Синопсиса» составляют два *издания митр. Евгения Болховитинова,* вышедшие из типографии Киево-Печерской Лавры: в 1823 г. — «второе изданїе Кїевское исправнѣйшее», и в 1836 г. — «пятое изданїе Кїевское исправнѣйшее». Сопоставление текста обоих Евгениевских изданий с разновидностями A, B и C приводит к заключению, что основой для перепечаток митроп. Евгения служил вариант C, т. е. 5-е издание Киево-Печерской Лавры. Ср., например, 1823 стр. 1 (= 1836 стр. 1—2) и 1680 C л. 1 об.; стр. 2—3 (= стр. 3) и л. 2 об.; 5 (= 7) и 4 об.; 16 (= 22) и 13; 42 (= 59) и 33; 74 (= 106) и 58 (61) об.; 83 (= 120) и 65 (70) об.; 159—160 (= 226—227) и 124 (125) об.—125 (126); 163 (= 232) и 128 (129). Главе «О примѣтахъ Димитрїа Волынскаго» предпослано «Предувѣщанїе» (1823, стр. 111—112 = 1836, стр. 159—160), заимствованное из академических перепечаток.

4) Последним по времени изданием «Синопсиса» является *издание проф. С. Т. Голубева,* предпринятое было, вместе с другими памятниками украинского летописания XVII в., Киевской «Комиссией для разбора древних актов» в конце XIX или начале XX ст. Издание это долго лежало в типографии И. Чоколова, ожидая предисловия, в 1922 г. было обращено на макулатуру и почти целиком погибло. По собранным нами справкам, уцелело всего 3—4 экземпляра его, и то с неполным подбором листов. В экземпляре, находившемся в нашем распоряжении, «Синопсису» отведены стр. 432—588, при чем недостает стр. 561—576. В основу издания положен текст 1674 г., к нему присоединены варианты и дополнения из изданий 1678 и 1680 гг. Сличение текста проф. Голубева с разновидностями, датированными 1680 г., показывает, что Голубев, как и митроп. Евгений, пользовался экземпляром типа C, т. е. 5-м киевским изданием. Ср., напр., Голубева стр. 437 и 1680 C л. 2 об.; 504 и 58 (61) об.; 584—585 и 124 (125) об.—125 (126).

Названными изданиями, число которых было не менее 17, не ограничивается популярность «Синопсиса» в литературе XVII—XIX ст. На протяжении XIX и нач. XX вв., начиная с 1807 г., «Синопсисъ» неоднократно перепечатывался, и церковно-

славянским и гражданским шрифтом, в собрании сочинений Димитрия Ростовского. Несмотря на большое количество печатных изданий, «Синопсисъ» распространялся в XVII—XIX ст. также и в рукописных копиях. В XVIII и нач. XIX вв. текст нашего памятника нередко служил исходной точкой для работ исторического характера, в роде «Ядра россійской исторіи» Манкиева, 1715 г., или «Новаго Синопсиса» П. Захарьина (Николаев, 1798), и давал материал для беллетристических произведений, проникая в неоклассическую трагедию, в повествовательную литературу, в лубочные картинки и в народную сказку, вроде записанной в сборнике Афанасьева (№ 182) сказки про Мамая-безбожного.[1]

Выходя за пределы украинской и русской литературы, «Синопсисъ» проникает также в литературу других народов. По указаниям проф. А. А. Дмитриевского в частных письмах к нам от июля и декабря 1926 г., в библиотеке Свято-Гробского метоха в Константинополе в рукописи под № 329 хранится перевод издания 1680 г. на греческий язык: «Σύνοψις ἐκ διαφόρων χειρογράφων περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ σλαβονορωσσικοῦ ἔθνους καὶ πρωταρχῶν κνέζων τῆς θεοκτίστου πόλεως Κιοβίας» . . . Перевод этот был сделан, повидимому, по заказу архимандрита, впоследствии иерусалимского патриарха, Хрисанфа; начат в Москве в апреле 1693 г. и закончен в Иверском монастыре на Афоне. К концу XVII в. относится также перевод «Синопсиса» на латинский язык под загл. «Synopsis exhibens originem sclavonicorosseanae celeberrimae gentis, tum urbis Kioviae ac principum ejus» . . ., подготовленный к печати, по поручению Петра Великого, известным Илией Копиевским в Амстердаме.[2] Наконец, рефлексы «Синопсиса» можно отметить и в румынской литературе. В монастырской библиотеке в Сучевице (Буковина) мы встречали сочинение под заглавием «. . . Хронограф Адекъ, Нȣмъра́ре де а̑ни. . . Ѫ Тνпогра́фїа сфнтей Монасти́ри Не́мцȣл Ла а̑нȣл 1837», где в конце, на стр. 1—54 особого счета, помещена статья «Адȣна̑ре прѣ ѫскȣ̆рт. дӣн Сνнѱiсȣл сла̑ве̑неск», повидимому, также восходящая к нашему памятнику.

Было бы интересно, по крайней мере в некоторых из указанных случаев, проследить, какой из текстов «Синопсиса» являлся отправным пунктом для его дальнейшей истории, но расширение исследования в этом направлении слишком далеко увлекло бы нас от основной темы.

Серг. Маслов.

Киев.
1927. XII. 26.

---

1 С. Шамбинаго. Повѣсти о Мамаевомъ побоищѣ. СПб. 1906, стр. 373—474.

2 П. Пекарскій. Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ, т. I. СПб. 1862, стр. 524—525.

Заметки о лексике «Жития Саввы Освященного».

Житие Саввы Освященного в рукописи XIII в. нельзя отнести к памятникам, обследованным всесторонне и окончательно. Работы O. Koless'ы (Archiv f. Slav. Philol., B. XVIII), Мочульского (Зап. Новор. Ун., т. 62), Ягича (Крит. Зам.), Крымского («Филология и Погод. гип.», «Древне-Киевск. говор» и др.), Л. Л. Васильева (Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., 1908, кн. 3) и др. касаются лишь вопросов фонетики и морфологии, их не исчерпывая. Кроме того, Житие Саввы было, как материал, вовлечено в круг споров около «Погодинской гипотезы». И от этого внимание исследователей приковано было лишь к ограниченной сфере языковых признаков этого памятника. Во всяком случае, проблемы лексического анализа Жития оставались в стороне (если не считать случайных выписок у Мочульского).

А между тем лексика этого памятника представляет интерес с двух точек зрения: 1) как материал для изучения истории движения слов в русском литературном языке, который создавался на почве церковно-славянского в его сложных смешениях, и 2) как материал для изучения истории словаря того обще-славянского церковно-литературного языка, который лег в основу отдельных литературных языков славянских народов, как напр. русского.

Для применения этой последней точки зрения предварительно необходимо доказать «юго-славянское», во всяком случае, не-русское происхождение перевода. Тем более, что ак. В. М. Истриным высказано предположение о возможности относить перевод этого памятника к деятельности русских переводчиков половины XI в.[1]

Не подлежит сомнению, что Житие Саввы представляет собою список, впрочем, значительно обрусевший, с «болгарского» оригинала. За это определительно говорят сохранившиеся в графике черты древнего оригинала (тъісоущь длъзѣ, мѣна ъ и ь, переход *о* в *оу* в твор. п. ед. ч., может быть мена *ы* и *и*, оконч. -оуоумоу и др.) и лексика Жития Саввы.[2] В Житии Саввы нет ни одной из ярких

[1] В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола, т. II, 282.

[2] См. данные историко-литературные в исследованиях Д. И. Абрамовича и С. П. Розанова (Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. III, кн. 4, т. XVI, кн. I).

лексических особенностей русских переводов, которые выдвинуты ак. А. И. Соболевским в качестве критерия при решении вопроса о месте перевода.[1] Слова, общие древне-русским и церковно-славянским текстам, в Житии Саввы употребляются в значениях, свойственных этим последним, напр., страдати (всегда: πάσχειν), лаяти (не о собаке; см. 523 7: год оулаявъше — καιροῦ ἐπιτηδείου δραξάμενοι),[2] село (σκήνωμα; ср. то же значение в 1 и 2 кн. Царств, Публ. библ. F № 1 461),[3] скотъ (κτῆνος)[4] и др.

Более детальное рассмотрение словарного материала Жития Саввы, опирающееся на разыскания в области лексики ак. А. И. Соболевского, приводит нас к мысли о сложности словаря Жития Саввы.[5]

В нем находим слова Кирилло-Мефодиевских переводов: алканиѥ, алкати, бесѣдовати (λόγους κινεῖν), заповѣдь, котыга, ковьчегъ, кънигы (βίβλος, γράμματα), кънѧзь (ἄρχων), языкъ (ἔθνος; ср. в Житии Саввы σύνεθνος того же языка 397 в),[6] подроужиѥ, пророкъ, риза, черноризець,[7] иереи, крьстити, крьстъ, ликъ, литоургия, мощи, пропати,[8] въскрьсениѥ,[9] ближнии (ὁ πλησίον), лоукавъ (πονηρός), олтарь (θυσιαστήριον),[10] неприязнінъ,[11] владыка, попъ, старѣишина, соуперникъ (ἀντίδικος),[12] споудъ,[13] строити дом,[14] лоуна,[15] моученикъ.[16]

Встречаем в Житии Саввы Освященного слова, чуждые Кирилло-Мефодиевским переводам и церковно-славянским текстам южно-слав. происхождения: изволити (ἐκλέγεσθαι 15, ἐπιλέγεσθαι 173), рачити (рачите прияти — θελήσατε δέξασθαι 173).[17]

Из других слов отметим: крамольникъ, ср. Никод. еванг., в легенде о Вяч.

---

[1] Ак. А. И. Соболевский, Особенности русских переводов до-монгольского периода (Материалы и исследования), стр. 162—177. В списке русских переводов нет упоминания о Житии Саввы. Правда, очень употребительные в Житии Саввы формы 3 л. ед. ч. аориста в роде: *бы*, *я*, *възя*, *нача*, можно истолковывать, как указание на русское происхождение перевода, но они легко объяснимы, как возникшие под пером русских переписчиков. См. ibid., стр. 164, примеч. [2] Ibid., стр. 166, примеч.

[3] А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты моравского происхождения. Русск. Филол. Вести. 1900 г. № 1—2, стр. 164.

[4] А. И. Соболевский, Особенности русск. переводов, стр. 166.

[5] Мы упоминаем лишь те слова, которые по тем или другим соображениям выдвигаются ак. А. И. Соболевским.

[6] А. И. Соболевский, Материалы и исследования, стр. 50.

[7] Ibid., стр. 53. [8] Ibid., стр. 50. [9] Ibid., стр. 53.

[10] А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты..., стр. 164.

[11] Ibid., стр. 166. [12] Ibid., стр. 170. [13] Ibid., стр. 173.

[14] Ibid., стр. 170. [15] Ibid., стр. 156. [16] Ibid., стр. 157.

[17] Ср. в Беседах Григ. Двоеслова (А. И. Соболевский, Материалы и исследования, стр. 51), в Никод. Ев. (Ibid., стр. 53), в 1 и 2 кн. Царств, Публ. библ. F. № 1, 461 (А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты..., стр. 164).

Чешск.; обьщение — κοινωνία, ср. в легенде, в Номоканоне Иоан. Схоласт.;[1] окаянъ — ἐλεεινός, в легенде miser; полата — πολάτιον в легенде palatium посоулити 171, ср. в легенде — promissio -посоулени; съборьнъ — καθολικός, ср. в легенде;[2] пьрꙗ, прець, ср. в Законе Судном и в Жит. Мефодия;[3] великъ дьнь в Житии Саввы 209 2 — ἑορτή, ср. в Никод. Еванг. in quotidiana solemnitate — на вса великы дни;[4] оудосити — εὑρεῖν, ср. в Никод. Еванг.;[5] свꙗтыни — святость, ср. в Синайск. Требн., в Бесед., Киевск. отрывках;[6] окъно — θυρίς, ср. окънце в Бесед., Никод. еванг. и 1 и 2 кн. Царств;[7] село — σκήνωμα, ср. в Бесед., Никод. еванг. и 1 и 2 кн. Царств;[8] хороугъ, — σκῆπτρον, ср. в 1 и 2 кн. Царств;[9] възвабити 279 8—9; ср. привабьникъ auctor в легенде;[10] прѣвабити — увлечь в слове о св. Троице Клим. Слов.;[11] оутворити — украсить;[12] лоущь или лоуща — ζιβύνας, ср. Похвала кресту Клим. Слов.;[13] бѣдити 15, 16, ср. в мучен. св. Вита,[14] в Никод. еванг.,[15] в Жит. Мефодия;[16] прѣмоудити, ср. в Житии Мефодия моудити;[17] въспитѣти — τρέφειν, в Никод. еванг., прѣпитѣти в Жит. Мефодия,[18] напитѣти в Похвале кресту;[19] слоужьба — литургия, ср. в Жит. Мефодия и Номокан. Иоан. Сх.;[20] каѳоликия ibid.;[21] мотыка, ср. в Чтен. из миссала;[22] поповьство, ср. в Жит. Кирилла[23] и Жит. Мефодия,[24] в Номокан. Иоан. Сх.; правовѣрьнъ — православный, ср. в Жит. Мефодия,[25] в молитвах Синайск. Требн.;[26] боларинъ, ср. в поуч. на Рожд. Христ.,[27]

---

1 А. И. Соболевский, Материалы и исследования, стр. 142.

2 Ibid., стр. 98. 3 Ibid., стр. 116. 4 Ibid., стр. 57. 5 Ibid., стр. 84.

6 Ibid., стр. 105. 7 Ак. А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты..., стр. 164.

8 Ibid., стр. 164. 9 Ibid., стр. 165. 10 А. И. Соболевский, Мат. и иссл., стр. 98.

11 Туницкий, Слово о св. Троице, о твари и о суде Клим. Слов. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. т. IX, № 3—4, стр. 213.

12 Ibid., стр. 213. Ср. А. И. Соболевский. Из области др. церк.-слав. пропов. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. т. VIII, № 3—4, стр. 61. 13 А. И. Соболевский, ibid., стр. 61.

14 А. И. Соболевский, Мучение св. Вита в др.-церк.-слав. переводе. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. т. VIII, кн. I, стр. 279.

15 А. И. Соболевский, Мучение папы Стефана по русскому списку XV в. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. т. X, кр. I, стр. 117.

16 Инна Попова, Паннонское жит. св. Мефодия по древнейшему из дошедших списков со стороны своего языка. Русск. Филол. Вестн. 1914 г. № 1—2, стр. 129.

17 Ibid., стр. 129. Впроч., ср. в жит. Феод. помоудивъше — 70. (Лукьяненко, стр. 78).

18 Ibid., стр. 129. Ср. в рукоп. Венск. придворн. библ. № 137, С. М. Кульбакин, Ж. М. Н. Пр. 1905 г., май, стр. 11.

19 А. И. Соболевский, op. cit. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. т. VIII, № 3—4, стр. 61.

20 А. И. Соболевский, Мат. и иссл., стр. 142. 21 Ibid., стр. 142.

22 А. И. Соболевский, Глаголич. житие св. папы Климента. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. XVII, кн. 3, стр. 220—221.

23 А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты, стр. 173.

24 Инна Попова, Паннонское житие св. Мефодия, стр. 129.

25 А. И. Соболевский, Церк.-слав. тексты, стр. 173.

26 Ibid., стр. 171. 27 Ibid., стр. 175.

и в похвале св. Никол. Климента Слов.;[1] попещисѧ, ср. в Жит. Мефодия[2] и в словах Клим Слов.;[3] ѿ поудити, ср. в Слов. Клим. Слов. распѫдити,[4] в Святосл. Изб. 1073 г.;[5] чадь, ср. в Номок. Иоан. Сх.;[6] истрѣбити — φιλοχαλεῖν, — ср. трѣбити — ἀνακαθαίρειν в Жит. Бенедикта по сербск. сп.;[7] исказа — λύμη, ср. φθορία в Номок. Иоан. Сх.;[8] мѧсопоустъ — τεσσαρακοστή, ср. в Номок. Иоан. Сх.;[9] каженикъ — εὐνοῦχος, в Номок. Иоан. Сх.,[10] ср. в Житии Саввы скопьць;[11] належати, ср. ὁ ἐπικείμενος;[12] въ знакъ;[13] благодѣть;[14] истерна — λάκκος;[15] расколъ[16] и др.

Кроме того, приведем некоторые слова, не попавшие в словари Миклошича, Востокова и «Материалы» Срезневского или упоминаемые в них, но в Житии Саввы имеющие своеобразное значение: въмирити — πολίζειν 67 5—6, ср. въмирьноѥ мѣсто — ὁ πολισθεὶς τόπος 95 2; домашьнаѧ — στρατόπεδον, 301 11; законьникъ — νομοθέτης 37 1;[17] златоплача — ὁ τρακτευτής, 427; обьщьница — κοινόβιον 195 17[18] опарно мѣсто — τόπος συμφώδης 105 1; пространо — ἁπλῶς, ср. пространьство — ἁπλότης, ср. то же слово в Ефр. Кормч. Крф. 138;[19] пърты съплащаны (вин. пад.) κεντωνάρια πολύρραφα, 273 1; давеньство — ἀρχαιότης 37 6, ср. давьнии — ἀρχαιός в Панд. Ант.;[20] оуличьници — σελεντιάριοι.[21]

Христианская терминология Жития Саввы довольно бледна: в соответствии греческ. — πρεσβύτερος, ἱερεύς — находим слова: a) презвютер, b) поп, c) иереи.[22]

---

1 Л. В. Стоянович, Новые слова Климента Слов., стр. 141.

2 Рец. П. А. Лаврова на труд Л. В. Стояновича. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. 1906 г. кн. I, стр. 442.

3 Л. В. Стоянович, Новые слова Климента Слов., стр. 193.

4 Ibid., стр. 206. 5 Miklosich, Lexicon, стр. 540.

6 А. И. Соболевский, Мат. и иссл. стр. 148.

7 Акад. А. И. Соболевский, Церк.-слов. тексты, стр. 206.

8 А. И. Соболевский, Мат. и иссл., стр. 146. 9 Ibid., стр. 142. 10 Ibid., стр. 146.

11 С. М. Кульбакин, Охридская рукопись, стр. CXXX.

12 А. И. Соболевский, Глаголич. житие св. папы Климента Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. XVII, кн. 3, стр. 217.

13 П. А. Лавров, Обзор, Словарь, 73. С. П. Обнорский, К литературной истории Хождения Арсения Сол. Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов., т. XIX, кн. 3, стр. 200.

14 А. И. Соболевский, Глаголич. житие св. папы Климента, стр. 220.

15 Miklosich, стр. 268 krmč.-mich.; ср. И. И. Срезневский, Материалы, Хожден. Дан., Георг. Ам., стр. 1143. 16 Ibid., стр. 785.

17 Миклошич и Срезневский дают значения: νομικός, εὔνομος, legitimus, iuris consultus, sacerdos, стр. 212.

18 Miklosich, fem. particeps ant.-hom., hom.-mich., стр. 484.

19 И. И. Срезневский, Материалы, стр. 1579.

20 И. И. Срезневский, ibid., стр. 623.

21 Miklosich. Cancellarius. Leont. adde men.-mich. У И. И. Срезневского в «Материалах» оуличьници-привратники.

22 А. И. Соболевский, Номоканон Иоанна Схоластика, стр. 141.

Для передачи μοναχός употребляются — чернецъ и черноризецъ.[1]

Κοινωνία — переводится через комъканиѥ, и обьщениѥ;[2] λειτουργία — через литоургия и слоужба,[3] κανονάρχης — цр҃квьникъ и цр҃кварь и т. п.

Любопытно, что слово свѧщенникъ соответствует в Житии Саввы греч. — ἱεράρχης, 169, 8 (scil. — ἀρχιεπίσκοπος); ἐγκαίνια передается всегда русск. свѧщениѥ. Такое расширенное значение слова свѧщенникъ находим еще в каноне Клименту, папе Римск. (Мин. за ноябрь 1097 г.) и в Номоканоне Иоанна Схоластика.[4] Еще заметим: ст҃ительство — ἱεραρχία 29, 14—15.

Для определенных выводов о месте возникновения перевода Жития Саввы (за пределами Руси) лексический материал не представляет достаточных данных.

Виктор Виноградов.

Ленинград.
26. XII. 1926.

---

1 Ibid., стр. 121. 2 Ibid., стр. 142. 3 Ibid., стр. 142. 4 Ibid., стр. 143.

Prasłowiańskie tydьnь?

Przed laty prof. A. J. Sobolewski poradził mi zająć się dziejami wyrazów złożonych, wskutek czego napisałem rozprawę magisterską p. t. «Сложныя слова въ польскомъ языкѣ». С.-Петербургъ 1901. Między innemi pol. dziś, dzisia, dzisiaj wywodziłem z prasł. *dьnьsь, a pol. tydzień, zestawione z cz. týden, chorw. tjedan, słoweńs. tę́dən, uznałem za wyraz późny, znany tylko Słowianom, którzy przyjęli chrześcijaństwo według obrządku łacińskiego, i wytworzony na tle życia klasztornego.

W najnowszym tomie warszawskich «Prac Filologicznych» (tom X, Warszawa 1926) na str. 72—85 prof. Jan Otrębski wydrukował przyczynek etymologiczny p. t. «Pol. dziś, dzisiaj, tydzień», gdzie na pochodzenie tych wyrazów zapatruje się inaczej. Mianowicie według niego tydzień (i jego odpowiedniki) sięga okresu prasłowiańskiego i tylko wyraz ten w językach słowiańskich, w których go teraz niema, uległ zanikowi. W języku prasł. były dwie formacje: *ty-dьnь oraz *dьnь-tъ, *togo-dьne. W złożeniu *ty-dьnь pierwszą część stanowi przysłówek *ty, może pokrewny z pol. pó-ty, czemu też odpowiada pó-ki. Znaczenie prasł. *ty-dьnь było 'tenże dzień', z czasem stale jeden dzień t. j. 'niedziela', jako dzień świąteczny, i dopiero potem zmieniono je na znaczenie 'hebdomas'.

Twierdzenie swoje o prasł. pochodzeniu wyrazu tydzień prof. Otrębski opiera na fakcie, że znajduje się on w zabytkach staroruskich, skąd go wynotował J. J. Sreznewski (Матеріалы для словаря древне-русскаго языка, III, 1071) w formie тыижьдень i тыжьдн҃ь. Prof. Otrębski nie zwrócił jednak uwagi na to, gdzie zostały napisane akty, z których korzystał J. J. Sreznewski; otóż pierwszy z nich «данъ есть у Судомири» w r. 1389, a drugi «писанъ оу Коломыи» r. 1398, ta zaś okoliczność uprawnia do wniosku, że тыижьдень i тыжьдн҃ь znalazły się w obu tych aktach pod wpływem polskim, i nie może tu być żadnej podstawy do przypuszczenia, a tém bardziej do twierdzenia, że nazwa ta istniała we wschodnich narzeczach staroruskich, wskutek czego znika też możliwość obrony prasłowiańskiego pochodzenia tego wyrazu. Tutaj można dodać, że nie mamy najmniejszych powodów do twierdzenia, jakoby Prasłowianie dzielili czas na siedmiodniowe biblijne okresy.

Pogląd swój na to, że tydzień oznaczał stały dzień świąteczny w okresie siedmiodniowym, prof. Otrębski oparł na jednem miejscu biblji czeskiej, gdzie «ingrediebantur sabbatum» IV Reg. 11,9 przetłumaczono na «wchodili do chramu przes tyden» i to samo powtórzono w polskiej biblji 1455 r. «wchodzili do kościoła przez tydzień». Tu znów trzeba zaznaczyć, że przekład czeski i polski nie są literalnie dokładne i dopiero w dalszym ciągu tegoż wersetu łać. «egrediebantur sabbato» przełożono dosłownie «w sobotu»; wyrażenie pol. cz. przez tydzień nie może nic innego znaczyć, jak tylko 'co tydzień', bo gdyby tu tydzień oznaczał 'sobotę', niemożliwem byłoby wtedy użycie przyimka przez.

Przypuszczenie, że *ty- w wyrazie tydzień jest przysłówkiem, poparte formami pó-ty, pó-ki, też nie może się ostać, dowody historyczne bowiem stwierdzają, że -ty, -ki są to właściwe bierniki liczby mnogiej zaimków; w zapisce sądowej s r. 1400 czytamy: «Po ki miasty jesmy wyjechali, po ty miasty jest Czyrnochowickie»;[1] także z elipsą rzeczownika, albo z biernikiem liczby pojedynczej zaimka «poto», «poko» z domyślnem miasto: «poty mego zajęto i poto było widzenie»,[2] «poto, poki było widzenie, poty jest na dziedzinie popowskie, potymiasty jest popowskie» [3] (w zapiskach z r. 1400); isti debent jurare, poko starcy zajachali, r. 1420;[4] poko-quousque r. 1441.[5] Wyrażenie potymiasty zamiast potamiasta zapewne pod wpływem potyczasy. Zaimek ki stsł. кыи jest też używany w języku polskim, n. p. w zabytkach z XV w. «kie są jego winy»,[6] kie jest czekanie moje (psałterz Puławski 38,11), ale wtedy już jako archaizm, stąd więc forma kie także na rodzaj żeński: «raczył ją uznamić, kie by była;[7] łatwo wobec tego przypuścić, że forma poki zamiast *pokie wytworzyła się pod wpływem poty.

Przypuszczana przez prof. Otrębskiego forma prasł. *dьnьtъ byłaby możliwa w znaczeniu 'dzień tamten' (por. dьnьsь- 'dzień ten' t. j. dzisiejszy), ale nie mamy jej w zabytkach, natomiast jest tylko tydzień i inne z formą zaimkową w pierwszej części.

Wobec tego wszystkiego prawdopodobniejszemi pozostają dawne poglądy tych, co pisali dotychczas o wyrazie tydzień, mianowicie, że w pierwszej części tego złożenia jest forma zaimka wskazującego ty, analogiczna do zaimka ji, lub do złożonej deklinacji przymiotnikowo-zaimkowej (dobry, który), por. cz. týden, słowac. týden albo tyždeň z długiem y, chorw. tijedan, co i prof. Otrębski wywodzi z *ty-dje-dьnь

1 Sprawozdania Komisji Językowej Akademji Um. w Krakowie III, 191.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 Teki Pawińskiego VII nr. 1832.
5 Prace Filologiczne V, 67.
6 Sprawozdanie Komisji Językowej Akad. Um. w Krakowie I, 145.
7 Rozprawy wydziału filol. Akad. Um. w Krakowie XXII, 248.

lub z *tyjь-dje-dьnь, a zapewne i słoweńs. tjẹ́dən lub tjẹ̑dən. Oboczności chorw. tedan, tjedan, słoweńs. tẹ́dən, mrus. тыижьдень, тыжьдьнь nie dadzą się objaśnić, gdybyśmy przyjęli za prof. Otrębskim prasłowiańskie pochodzenie tego wyrazu, gdyż inną by wtedy była oboczność głosek w różnych językach słowiańskich. Tymczasem łatwo to objaśnić, skoro się przyjmie, że wyraz ten powstał na obszarze jednego języka słowiańskiego (zapewne słoweńskiego, skąd też pochodzą fragmenty Freisingenskie), inni zaś Słowianie obrządku łacińskiego zapożyczyli stamtąd ten wyraz i na wzór jego podobne, ale nie we wszystkich szczegółach identyczne, potworzyli sobie wyrazy. Polacy najprawdopodobniej bezpośrednio wzorowali się na formie czeskiej týden, przez Czechy bowiem niewątpliwie przedostały się do Polski także inne wyrazy, mające związek z kultem chrześcijańskim, a tym razem pochodzące z języka starocerkiewno-słowiańskiego, ale także na sposób miejscowy nieco zmienione, n. p. Bogurodzica (nie *Bogorodzica), błogosławiony (nie *błagosłowiony), słowem zachodziła tu niezupełnie dokładna substytucja formy nowej, rodzimej, na miejscu formy, poznanej w języku pokrewnym.

Jan Łoś.

Kraków.
1926. XII. 27.

Litewskie *a* i *e* pod akcentem.

Już oddawna jest ustalone, iż samogłoski a i e, etymologicznie krótkie, mają w języku litewskim pod akcentem wzdłużenie, z wyjątkiem położenia w zgłosce ostatniej. W djalekcie środkowolitewskim jest to wyraźna długość, natomiast w gwarach wschodniolitewskich, do których należy np. narzecze rodzime ks. b. A. Baranowskiego, te głoski są tylko półdługie. Charakter akcentu jest jednak wszędzie rosnący, lub ściślej — odpowiadający 'geschleifte Betonung' Kurszajtisa, gdyż w ruchu tonycznym istnieją tu różnice gwarowe w danej chwili dla nas obojętne. Otóż na tem tle ogólnem wyróżniają się pewne t. zw. 'wyjątki'. Leskien w swojem 'Litauisches Lesebuch' (§ 19) podaje trzy grupy, fakty tego rodzaju obejmujące, a więc 1) bezokolicznik czasowników niepochodnych łącznie z resztą form konjugacji, do bezokolicznika należących, np. kèpti, kàsti; 2) a prefiksów czasownikowych (również e w ne) wedle ã w złożeniach rzeczownikowych: àt-imu, ale ãt-ilsis; 3) N. sg. rodzaju m. po wypadnięciu a: lãpas-làps, rẽtas-rèts.[1] Dodajmy do tego przeglądu jeszcze 1) formę N. sg. deklinacji złożonej: geràsis i 2) wyrazy z akcentem przesuniętym typu màne, tàve, sàve, àle (np. w gwarze godlewskiej, por. Lit. Volkslieder und Märchen von A. Leskien und K. Brugmann, str. 293), też èsti, ẽsme itd. np. u Kurszajtisa.

To ujęcie jest zgodne z rzeczywistością nie dla całego obszaru języka litewskiego, gdyż w gwarach istnieją a i e pod akcentem 'rosnącym' też w kategorjach powyżej wymienionych. Oto np. z narzeczy wschodniolitewskich przytoczę z gwary opisanej przez R. Gauthiota w pracy 'Le parler de Buividze', nãešt str. 100; z gwary R 4 (według ks. b. A. Baranowskiego) prãd'adu ('Litauische Mundarten, ges. von A. Baranowski, bearb. von Dr Fr. Specht, Bd. II, str. 136), ãsaťe (ib., str. 196, por. ẽsti ob. èsti i t. d. u Kurszajtisa), atrãsit (ib., str. 195); z gwary ks. b. Baranowskiego nẽszti ('Ostlit. Texte herausg. von A. Baranowski und H. Werer', str. XVII), ẽsti (ib., str. 4,

[1] To samo stosuje się zasadniczo do formy os. 3 cz. ter. z odpadnięciem końcowego a, ale tu mamy częściowo samogłoski długie lub półdługie w gwarach, w których w innych grupach zachowają się samogłoski krótkie; por. pẽn u Kurszajtisa (§ 1152).

w. 56). Z gwary R 2 por. pãszauke, swẽcks ('Lit. Mundarten', Bd. I, str. 117), ãsat, rãst (ib., str. 118), szñãk (ib., str. 122).[1]

Nie ulega wątpliwości, że to jest stan wtórny, albowiem wszystkie przykłady, w których a i e pod akcentem w zgłosce nie ostatniej nie są długie lub półdługie, mają akcent przesunięty albo też, jak w geràsis, samo złożenie jest późniejsze, niż wzdłużenie a i e, lub, jak w formie N. sg. z zanikiem a w zgłosce końcowej, te formy są późniejsze od owego wzdłużenia; ta ostatnia uwaga dotyczy złożeń przyimków z czasownikami, które nabrały cech wyrazów jednolitych później, niż podobne złożenia w zakresie rzeczowników.

Że w manè itd akcent na głosce wygłosowej jest starszy od akcentu màne, jest pewnikiem; por. serbskie mène. W konjugacji atematycznej słowa posiłkowego 'być' akcent pierwotny też był na zgłosce ostatniej, por. serbskie jèsmo, jèste. Formy ẽste, ẽsme itd. są późniejsze, pod wpływem analogji konjugacji tematycznej, w której mamy regularnie ẽsame (ẽsame jest nowotworem co do ė). W formie bezokolicznika typu nèszti starsze miejsce akcentu też było nie na pniu; por. słow. odpowiednik z starym akcentem na przyrostku (serbskie nèsti, rosyjskie nestí).

Wzdłużenie a i e nie było jednak faktem odosobnionym, jak to może wyglądać w tle stosunków środkowolitewskich. Gwary wschodniolitewskie, jak wskazał przed laty ks. b. A. Baranowski i stwierdzili inni badacze, zachowały i i u półdługie z akcentem 'rosnącym' w warunkach identycznych z położeniem fonetycznem, w którem się wzdłużyły a i e. Różnica w dobrym rozwoju polega na tem iż gwary środkowolitewskie i i u skróciły, natomiast a i e uległy tu całkowitemu wzdłużeniu. W gwarach żmujdzkich według ks. K. Jaunisa a, e, i, u półdługie też nie są całkowicie długie (por. jego Gramatykę języka litewskiego w Petersburgu w r. 1908—16 wydaną, str. 33 litewskiego oryginału i str. 43 rosyjskiego przekładu).

Wiktor Porzeziński.

Warszawa.
1926. XII. 27.

---

[1] W gwarach wschodniolitewskich zam. geràsis jest zazwyczaj gerasaĩ (lub gerasẽ z e z dawnego dyftongu).

W sprawie «trzeciego ě».

A. I. Sobolewski był pierwszym, co systematycznie i ściśle wykazał, że st.-cerkiewnemu i wogóle pd.-słowiańskiemu typam zeml'ę odpowiada w językach pn.-słowiańskich typ inny reprezentowany m. i. przez st.-rus. землѣ, st.-pol. ziemie.[1] Zdał on sobie dobrze sprawę, że nietylko ruskie czy słowackie, ale i pol. -e nie mogło powstać z -ę, mogło się jednak wytworzyć z tej samej grupy dźwięków, co pd.-sł. -ę.[2] Odosobnione formy st.-pol. na nosowkę duszǫ Fl. 120, 7 i nędzę Puł. 68, 24,[3] uznal za myłki pisarskie.

Bogatą od tego literaturę przedmiotu zebrał do r. 1910 Hujer.[4] Spór toczy się, jak wiadomo, o to, czy to «trzecie ě» pochodzi z *-jās, czy też, jak i pd.-sł. -ę, z *-jons. Aby jednak pol. -e powstało tu z dawniejszego pol. -ę, tego po Jagiciu[5] przez 20 lat nikt nie podtrzymywał, aż znów wystąpił z tem Diels.[6] Według Dielsa prasł. -ę dało pol. -ę tylko w pozycji akcentowanej: na cię, w nieakcentowanej zaś -e: widzi cie i gen. ziemie; typy dziecię i imię mają być analogiczne do innych przypadków, a panujący w niektórych st.-pol. zabytkach typ widzi cię — do pozycyj akcentowanych; ba, ostatni typ zjawił się może tylko na piśmie! Niestety pomysł ten stoi w widocznej sprzeczności z faktami, tak staro jak i nowo-polskiemi.

Przede wszystkiem Psałterz Florjański rozróżniający mię od mie, np. ote wstaiǫczich na mǫ zbaw me 58,1, ma w tymże psalmie, w. 14, gen. lsze (= łże), a 77,55 gen. sczdze (= scdze) mimo że to pozycja akcentowana. Następnie, mamy stale gen. na -e w tych zabytkach, gdzie z prasł. -ę jest -ą lub -a: Legenda o św. Aleksym,[7] pisząca normalnie szyą, rzadziej, ale bez różnicy pozycji, sza, ma jednak: Bral szą do szemye (= brał się do ziemie) 152, Ysch gy do szwey szemye przygnal 159, stale też acc. pl.: Cchowal gye 17, szle phyle (= złe file) 161 i. t. p.;

---

[1] Русск. Филол. Вестн., т. VI (1881), 15—53. [2] Лекции [3](1903), 152.
[3] P. Hanusz, Spr. Kom. jęz. II (1881), 52. [4] Slov. dekl. jm. §§ 96—100 i 107—109.
[5] Arch. f. sl. Philol. XV (1893), 518—524. [6] Arch. f. sl. Philol. XXXV (1914), 321—324.
[7] Nehring. Altpolnische Sprachdenkmäler, 274 nn.

De morte prologus[1] wyrażający głoski pochodzące z prasł. -ę, przez -a, np. stale szya, ma jednak gen. tesznycze 71, myloszn͞ycze 72, czyemnycze 489.

Zupełnie to samo widzimy w dzisiejszych djalektach ludowych. Cały Śląsk ma gen. ḿile, studńe ulice i nieakcentowany acc. zaimków ḿe, će, śe, ale na tymże obszarze resztki typu přeca (z *před śą, a więc denazalizacja z innej epoki, niż w ḿe, śe) i typ ćelą, iḿą lub ćela, iḿa;[2] w północnej kaszubszczyźnie utrzymuje się celą i po przyimkach ḿą cą, obok czego stale gen. zeḿe u̯ovce.[3] Że zaś typ widzi cię bynajmniej nie jest graficznego pochodzenia, tego dowodzą wszystkie gwary bliższego Mazowsza, skąd biorę kilka pierwszych lepszych swoich zapisek: w Rębelszczyźnie tuż na północ od Warszawy mamy: popsuu̯ mu śą̊ i bo mą̊ b́ie, u Kurpiów (Olszyny, Kadzidło): fsistko śą̊ łapå, gådivå śą̊, na Podlasiu (Gręzówka pod Łukowem): u̯umiie śą̊, b́iie mą̊ jak i dlå śą̊.

Z tych przykładów, starych i dialektycznych, widać jasno, że zanik nosowości w mie, cie, sie i w typie ziemie nie jest wynikiem dopieropolskiego osłabienia końcowej nosowości, ale zjawiskiem dawniejszem, przedpolskiem. O tę niemożność objaśnienia ziemie z dawniejszego polskiego *ziemię rozbija się cała hipoteza Dielsa. Możeby jej i nie warto przypominać, gdyby jej nie uwzględnił Vondrák.[4]

Diels powołuje się na wymieniony wyżej artykuł Jagicia, jakby nie widząc, że całą jego siłę stanowią krytyczne uwagi co do ewentualnego pochodzenia trzeciego ě z *-jās, słabą zaś stronę o możliwości sporadycznej denazalizacji polskiego -ę. Zdaje mi się, że tu można pałączyć Jagicia z Sobolewskim. Hipoteza różnego pochodzenia omawianych -ě i -ę ciągnie za sobą przypuszczenie, że całe południe słowiańskie we wszystkich należących tu formach uogólniło -ę, a cała północ -ě, co jest oczywiście bardzo mało prawdopodobna. Niema natomiast żadnej preszkody do przyjęcia, że prasł. -ę pochodzące z *-jons brzmiało inaczej, niż prasł. -ę z *-ēn, że więc dialektycznie (na północy słowiańskiej) inną niż to drugie -ę pójść mogło drogą, że się tam mianowicie, jako węższe, łatwiej zdenasalizowało. Drogę tę wskazał Szczepkin,[5] przypuszczając rozwój: -jons → -jūns → -jų̄ns → -jy̨ns → -jǭns → -ję̄, niesprzeciwiający się ani teorji językoznawczej ani żadnym faktom szczegółowym. Jest to, w gruncie rzeczy tylko uplastycznienie cytowanego wyżej a niejasnego niektórym lingwistom zdania Sobolewskiego, że «это ѣ образовалось из того же сочетания звуков, из которого развилось церк.-слав. окончание данных форм ѧ».

Kazimierz Nitsch.

Kraków.
1926. XII. 27.

1 MPKJ I 181 nn. 2 MPKJ IV 136—137, 142—144.
3 Lorentz, Geschichte der pomoranischen Sprache, 150, 156.
4 Vergleichende Slavische Grammatik I² (1924), 149. 5 RSl. (1910), 213, III.

Cimbri — sjabri.

Nazwa Cymbrów, Cimbri, Κίμβροι, polega, jak wynika z duńskiego Himbersysœl (dzisiaj Himmerland), na germ. himbra-, zawierającem prawdopodobnie stare -i-; etymologji przekonywającej i ogólnie przyjętej niema, p. Schönfeld (Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen) pod cimbri i Much w Hoopsa Reallexikon der germanischen Altertumskunde pod Kimbern.

Pień himbra- może polegać na *him-ro- i należeć do gockiego haims «Dorf, Flecken» itd., lit. kiẽmas, kaimas... lub i to prawdopodobniejsze do lit. šeimà, šeimýna..., słow. sěmьja itd., p. Walde (Latein. etymol. Wörterbuch) pod cīvis, oraz Trautmann Baltisch-Slavisches Wörterbuch pod kaima- i pod šeimā-. Od tego samego pierwiastka pochodzą łac. cīvis i wiele innych, p. tamże i u Trautmanna pod šei̯ā-.

Etymologja, tu wystawiona, germ. *himbra- ⇐ *him-ro- ⇐ *k̑im-ró, może oczywiście nie być prawdziwa, ale przedstawia się, zarówno znaczeniowo jak formalnie, całkiem nienagannie. Postać grecko-łacińska byłaby postacią celtycką.

Z tą germanską nazwą można zrównać, zapewne jako stare zapożyczenie, rus. sjabё̆r, gen. sjabrá (wtórna wokalizacja sebё̆r); zarówno dyjal. šabё̆r jak węg. csimbora «towarzysz» zdaje się zalecają raczej pożyczenie, oczywiście stare. Zresztą trudno na razie twierdzić coś stanowczo, tylko, ponieważ dotychczasowe objaśnienia rus. sjabrá (p. materjał w słownikach Miklosicha i Preobrażeńskiega) niewiele są warte, pozwalam sobie zwrócić uwagę na możliwość zrównania ruskiego sjabra z germanskim Cymbrem. Oczywiście, w razie zrównania jako prapokrewnego wypadałoby ze względu na -b- wyraz inaczej analizować.

Jan M. Rozwadowski.

Kraków.
1926. XII. 27.

Postępowe upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności w językach słowiańskich.

Zjawiska upodobnienia spółgłosek pod względem dźwięczności w językach słowiańskich są, jak wiadomo, ujmowane w dwóch następujących formułach: 1) grupy spółgłoskowe, w których skład wchodzą spółgłoski szmerowe (zwarte, szczelinowe lub zwartoszczelinowe), niezależnie od swojego pochodzenia etymologicznego wymawiane bywają jednolicie, przyczem o ich dźwięczności lub bezdźwięczności rozstrzyga spółgłoska końcowa grupy; 2) grupy spółgłoskowe, zawierające w sobie spółgłoskę sonorną (płynną lub nosową), mogą być pod względem dźwięczności niejednolite, gdyż spółgłoski sonorne na ogół w przebiegach upodobnienia ani czynnego ani biernego udziału nie biorą.[1]

Fakt, że spółgłoski sonorne w zasadzie w przebiegach upodobnienia nie uczestniczą, pozostaje w związku z ich akustyczną i artykulacyjną naturą, która je zbliża do samogłosek.. Spółgłoski sonorne narówni z samogłoskami posiadają pełnię dźwięku wiązadeł głosowych, nie przytłumioną szmerami nasady, a pod względem artykulacyjnym, w warunkach swojego wytwarzania mają między innemi otwarcie (nosowe lub ustne boczne), zawierają więc szczegół, tak bardzo dla artykulacyj samogłoskowych istotny.[2]

To powinowactwo artykulacyjne i akustyczne nadaje spółgłoskom sonornym narówni z samogłoskami zdolności występowania w zgłoskach w roli zgłoskotwórczej; ono również wyłączyło je, narówni ze spółgłoskami sonornemi, z pod działania udźwięczniających i ubezdźwięczniających upodobnień spółgłoskowych.

Od obu wyłożonych zasad trafiają się w określonych warunkach stałe odchylenia, które, o ile chodzi o drugą z wymienionych zasad, wyrażają się w bezdźwięcznem wymawianiu spółgłosek sonornych w pewnych warunkach, a w obrębie działania zasady

---

[1] Ob. między innemi O. Брок, Очерк физиологии славянской речи. Энц. Слав. Филологии V, 2, 166.

[2] Ob. T. Benni, Klasyfikacja dźwięków języka polskiego. Prace Filolog. VIII, 261 ust. O. Брок, Физиология слав. речи, стр. 12.

pierwszej ujawniają się w postępowym kierunku upodobniania spółgłosek. Ten ostatni szczegół chciałbym tu właśnie rozpatrzyć bliżej i podać jego przyczyny.

Wypadki postępowego upodobniania spółgłosek spotykamy, jak wiadomo, we wszystkich językach słowiańskich w grupach spółgłoskowych z końcowem r, a nadto w języku polskim i czeskim wtedy, gdy na końcu grupy spółgłoskowej znajduje się rz, względnie ř.[1]

Zjawisko to było już nieraz stwierdzane i opisywane, ale nikt dotychczas, o ile mi wiadomo, nie dał wystarczającego jego uzasadnienia. Dla czego w tym, mianowicie, zakresie, w wypadkach, gdy na końcu grupy występuje spółgłoska r lub rz, względnie ř, spotykamy się z odchyleniem od powszechnie obowiązującej zasady wstecznego kierunku upodobniania spółgłosek?

Odchylenie to starał się ująć w ramy ogólniejszej zasady T. Benni w artykule «Upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności»,[2] ale podane przez niego sformułowanie, jak sam autor jego przyznaje, jest «czysto zewnętrznem ujęciem zjawiska». Wywody swoje zakończył autor w sposób znamienny wielokropkiem, chcąc przez to najwidoczniej zaznaczyć, że zagadnienie nie zostało w sformułowaniu jego rozwiązane i stoi nadal otworem.

Formuła Benniego brzmi, jak następuje: «przy upodobnieniu dwóch spółgłosek pod względem dźwięczności decydującą jest druga z nich: a) gdy jest zwartą — zwycięża, b) gdy jest szczelinową — cała grupa jest bezdźwięczna». W ten sposób wypadki postępowego upodobniania spółgłosek pod względem dźwięczności w takich wyrazach, jak, naprzykład, polsk. twój = fonet. tfuį, swat = fonet. sfat, świat = fonet. śf'at, krzak = fonet. kšak, trzask = fonet. tšask, chrzan = fonet. xšan, miały być podciągnięte pod jakąś ogólniejszą zasadę i dzięki temu miały zatracić charakter wyjątku. Byłoby to możliwe, gdy by sformułowanie Benniego było uogólnieniem, teoretycznie i empirycznie słusznem; tymczasem zawiera ono w sobie sprzeczności logiczne, a poza tem nie odpowiada faktom. Sprzeczność logiczna sformułowania polega na tem, że cechy, połączone w niem w związek wewnętrzny przyczyny i skutku, są faktami heterogenicznemi, należącemi do dwóch różnych dziedzin artykulacyjnych i nie pozostają z sobą w żadnej wzajemnej współzależności; to też trudno zrozumieć, dla czego w przebiegach upodobnienia cecha szczelinowości ma rozstrzygać o bezdźwięczności grupy spółgłoskowej; takiej korelacji między położeniem narządów mowy w nasadzie a układem wiązadeł głosowych ustalić się nie da.

Już ten jeden, czysto teoretyczny punkt widzenia budziłby wątpliwości, czy formuła Benniego jest słuszna, z chwilą jednak, gdy zaczynamy odnajdywać fakty,

---

[1] Ob. O. Брок, Физиол. слав. речи, стр. 169.
[2] Materjały i prace Komisji Język. Akademji Um. IV, 21 nst.

które stoją w całkowitej z nią sprzeczności, reguła, sformułowana sztucznie, musi być uznana za błędną. Według formuły Benniego wyraz także powinnibyśmy wymawiać takše, tymczasem wymawiamy go tagže. Gdyby ktoś chciał osłabić siłę dowodową tego przykładu, powołując się na to, że wyraz także jest wyrazem złożonym i że właściwe mu upodobnienie spółgłosek, występujące na granicy między obu częściami złożenia, zaliczyć należy do akomodacji międzywyrazowej (zewnętrznego sandhi), a więc także = tagže, jak nap. brak żyta = brag žyta, to na to można przytoczyć wyraz jakby = jagby, który Benni podaje, jako jeden z przykładów upodobnienia śródwyrazowego.

Sformułowanie Benniego ma więc trzy zasadnicze braki: po pierwsze, jest, wedle słów samego autora, tylko czysto zewnętrznem ujęciem rzeczy, po drugie, zawiera w sobie wewnętrzne sprzecsności logiczne, wreszcie, co najważniejsza, nie odpowiada faktom. Przyczyna tych braków pochodzi stąd, że zjawisko starano się ująć w obrębie współczesnego systemu głoskowego języka polskiego i na podłożu współczesnych sposobów wymawiania; tymczasem geneza omawianego zjawiska leży w zwyczajach odległej przeszłości i niewątpliwie odnosi się do epoki prasłowiańskiej, a w owych czasach dzisiejsze spółgłoski — ogólno słowiańskie r i czeskie ř, polskie rz, — należały do tej kategorji głosek, które po dziś dzień ani czynnego ani biernego udziału w upodobnieniach grup spółgłoskowych nie biorą.

Polskie rz, czeskie ř rozwinęły się, jak wiadomo, z dawniejszego ŕ. Polskie rz posiadało element drżący sonorny, choć w stopniu już zredukowanym, niewątpliwie jeszcze w wieku XVI, a prawdopodobnie nawet w wieku XVII,[1] a czeskie ř, według opisu czeskich fonetyków, jest dotychczas pewnego rodzaju afrykatą, zawierającą w swojem brzmieniu rezultat akustycznego zlania się głosek r i ž.[2] Zmiany, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, rozpoczęły się w języku polskim w połowie wieku XII,[3] a w języku czeskim — w polowie wieku XIII.[4] Najwidoczniej, zwyczaje fonetyczne, które do dziś dnia kierują przebiegami upodobnienia grup spółgłoskowych w językach słowiańskich, musiały się rozwinąć i ostalić jeszcze w czasach, kiedy prasłow. ŕ nie przeszło ani w polskie rz, ani v czeskie ř, a ponieważ ŕ, jako sonorna, nie wpływała, jak nie wpływa dotychczas, na udźwięcznienie poprzedzającej spółgłoski bezdźwięcznej, więc była ona w takich połączeniach wymawiana bezdźwięcznie. Wymowa ta utrzymała się w tradycji językowej tak silnie, że gdy na miejsce dawnego sonornego ŕ rozwinęły się spółgłoski o wyłącznym (polsk. rz) lub ubocznym (czesk. ř)

---

1 J. Zborowski, Jak wymawiano dzisiejsze rz? «Język Polski» II, 166 nst.; J. Rozwadowski, Historyczna fonetyka. Gram. jęz. polsk. Ak. Um. str. 179.

2 A. Frinta, Novočeská výslovnost, str. 110 nst.

3 Ob. J. Rozwadowski, Hist. fonetyka. Gram. jęz. polsk. Ak. Um. str. 179.

4 J. Gebauer. Hist. mluvn. jaz. česk. I, 329.

charakterze szczelinowym (pod względem akustycznym, szmerowym), to one uległy upodobniającemu oddziaływaniu poprzedzającej spółgłoski bezdźwięcznej, a nie, jakby należało się spodziewać, odwrotnie: trzask = fonet. tšask, a nie *džask.

Z analogicznem zjawiskiem spotykamy się w połączeniach spółgłoskowych z końcowem v. Słowiańskie wargowo-zębowe v pochodzi, jak wiadomo, w prostej linji z praindo-europejskiego niezgłoskotwórczego u̯. Wymowa ta niewątpliwie była właściwa językowi prasłowiańskiemu, a ślady jej zachowały się do dnia dzisiejszego w rozmaitych współczesnych djalektach słowiańskich.[1]

Niezgłoskotwórcze u̯, jak każda samogłoska, jest głoską sonorną, i jako takie nie wywierało wpływu upodobniającego na poprzedzającą spółgłoskę: jeżeli była ona bezdźwięczną, to pozostała nią bez zmiany i przez tradycję przechowała się w takich pozycjach nawet wtedy, gdy sonorne u̯ przeszło w szmerową spółgłoskę v. To v tu i ówdzie zachowało swoją dźwięczność, gdzieindziej, ulegając upodobniającemu wpływowi poprzedzającej bezdźwięcznej, zatraciło swoją dźwięczność, ale zachowało właściwą dźwięcznym spółgłoskom słabą siłę wydechu i przeszło wskutek tego w bezdźwięczną słabą (lenis) v̥, wreszcie w niektórych djalektach współczesnej słowiańszczyzny przeszło w bezdźwięczną mocną (fortis) f. Taką wymowę mamy we współczesnym polskim języku kulturalnym i w djalektach Mazowsza i Małopolski, natomiast w djalektach wielkopolskich i kujawskich, w Krajnie i w Borach Tucholskich, w ziemi Chełmińsko-dobrzyńskiej i na Kociewiu, a częściowo także na Śląsku zachowała się stara wymowa z v dźwięcznem, a nawet niekiedy z u̯ (ob. K. Nitsch, Djalekty jęz. polsk. Gram. jęz. polsk. Ak. Um., str. 449). Wymowa z v̥ słabem bezdźwięcznem jest właściwą językowi rosyjskiemu, natomiast w języku czeskim, serbsko-chorwackim i bułgarskim wytworzyło się obecnie stadjum pośrednie między f a v, mianowicie, wymowa ^{f}v.[2]

W ten sposób, właściwe oświetlenie rozpatrzonych tu faktów doprowadza nas do następujących wniosków: 1) praindoeurop. u̯, jak tego dowodzą poza omówionemi także inne zjawiska głosowni języków słowiańskich, zachowywało w języku prasłowiańskim swoją samogłoskową sonorną wymowę; spółgłoska, z której się rozwinęły później polskie rz, czeskie ř, była w owych czasach wymawiana jako sonorne ŕ̥; 2) prawa fonetyczne, regulujące do dnia dzisiejszego upodobnienia grup spółgłoskowych pod względem dźwięczności w językach słowiańskich, rozwinęły się i zestaliły jeszcze w języku prasłowiańskim; 3) w wyniku takiego ustosunkowania faktów i zwyczajów głosowni prasłowiańskiej, odziedziczone przez poszczególne języki słowiańskie spółgłoski bezdźwięczne w grupach spółgłoskowych z końcowem v < u̯, a w języku polskim

[1] Ob. V. Vondrák, Vergl. Gram. I, 282 nst.

[2] Ob. O. Брок, Очерк физиологии слав. речи, стр. 170; A. Frinta, Novočeská výslovnost, 119; J. Rozwadowski, Przyczynki do fonetyki bułgarskiej, Roczn. Slaw. IV, 63.

i czeskim także w grupach spółgłoskowych z końcowem rz, względnie ř < ŕ zachowały swoją bezdźwięczność i nie tylko nie uległy udźwięczniającemu wpływowi następującego po nich dźwięcznego v lub rz, względnie ř, lecz przeciwnie same na nie wpływ swój upodobniający wywarły.

Stanisław Szober.

Warszawa.
1926. XII. 27.

Próba zastosowania metody ilościowej dla określenia stanowiska małoruszczyzny wsród języków słowiańskich.

W książce Stefana Smal-stockiego i T. Gartnera pod tytułem: «Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprache» (Wiedeń 1913) zastosowano, bodajże po raz pierwszy na gruncie językoznawstwa słowiańskiego, obliczenie statystyczne dla określenia stosunku języka małoruskiego do innych języków słowiańskich. Wniosek, do jakiego autorowie doszli tą droga, wywołał jednomyślny sprzeciw wszystkich językoznawców słowiańskich, jacy omawiali gramatykę Stockiego i Gartnera. Autorowie twierdzą mianowicie, że małoruszczyzna nie tylko obecnie nie pozostaje, ale i nigdy w przeszłości nie pozostawała w bliższym związku s wielkoruszczyzną, niż z innemi językami słowiańskiemi. Co więcej nawet, opierając się na mechanicznem sumowaniu cech, dochodzą oni do wniosku, że język małoruski ściślej wiąże się z językiem serbochorwackim (13 cech wspólnych), niż z językiem wielkoruskim (11 cech wspólnych).

Że autorowie mogli dojść do takiego wniosku, przypisywać należy jedynie zupełnie prymitywnemu i nieumiejętnemu pojmowaniu metod statystycznych. W istocie, gdyby statystyka stanowisko tego rodzaju uzasadnić była w stanie, to wynik taki musiałby zdyskredytować ideę stosowania metod ilościowych w badaniach lingwistycznych dla przeważnej części slawistów. Dlatego też wydaje mi się wskazanem zrewidowanie materjału, na którym opierał swe wnioski S. Smal-Stocki, i stwierdzenie, do czego w tym względzie dojść można przy zastosowaniu współczesnych metod statystyki matematycznej.

Wnioski swe opiera S. Smal-Stocki na 43 cechach występujących w języku małoruskim i w swej statystyce przyjmuje je za równowartościowe. Tego rodzaju uproszczenie rachunkowe spotkało się oczywiście u językoznawców z bardzo daleko idącemi zastrzeżeniami (Por: T. Lehr-Spławiński RS IX, 25, 26). Wykażemy jednak poniżej, że nawet tego rodzaju zastrzeżenia metodologiczne nie są konieczne dla zakwestjonowania wyników autora ze statystycznego punktu widzenia.

Aby określić stopień powinowactwa, zachodzącego pomiędzy dwoma zespołami cech, naprzykład pomiędzy dwoma językami, musimy przedewszystkiem zdać sobie

sprawę z tego, w jakiem ustosunkowaniu (przy statystyce ilościowej) pozostają cechy wspólne danym dwu językom do cech specyficznych dla każdego z nich, oraz do cech nie występujących w danych dwu językach, występujących natomiast w innych językach tej samej grupy. Tak naprzykład, gdy zwrócimy uwagę na stosunek, zachodzący pomiędzy językami bułgarskim i serbskim, i ograniczymy się wraz z autorem do cech występujących jedynie w języku małoruskim, to na podstawie podanych przez niego wiadomości co do 43 cech otrzymujemy następujące zestawienie:

Język serbski

J. bułgarski — Cecha	jest	brak	Razem
jest	11	7	18
brak	8	17	25
Razem . . .	19	24	43

Zestawienie powyższe daje nam możność zastosowania miernika ilościowego, zachodzącego w danym wypadku powinowactwa. Jeśli zastosujemy najprostszy ze wszystkich możliwych mierników, a mianowicie współczynnik asocjacji Yule'a, to stopień powinowactwa obliczany ze wzoru:

$$Q = \frac{a.d - b.c}{a.d + b.c} = \frac{11.17 - 8.7}{11.17 + 8.7} = + 0.54.$$

Miernik ten posiada tę właściwość, że jest dodatni, gdy cechy wykazują tendencję do występowania razem, lub do brakowania równocześnie. Im wyraźniej zaznacza się przytem ta tendencja, tém bardziej zbliża się wartość naszego współczynnika do +1. Przy odwrotnej tendencji posiada on wartości ujemne, stwierdzający brak podobieństwa, zaznaczający się tém jaskrawiej, im większe wartości ujemne on osiąga.

Gdy zastosujemy ten miernik w wypadku, który uwzględnia jedynie cechy występujące w języku małoruskim dla oznaczenia stosunku tego języka do innych języków słowiańskich, tak jak to uczy S. Smal-Stocki, to wówczas zobaczymy, że postępowanie tego rodzaju jest niedopuszczalne. Weźmy dla przykładu stosunek języków małoruskiego i serbskiego. Wówczas otrzymujemy następujące zestawienie:

Język serbski

J. małoruski — Cecha	jest	brak	Razem
jest	19	24	43
brak	0	0	0
Razem	19	24	43

Zera w powyższem zestawieniu są spowodowane przez to, że cechy nie występujące w języku małoruskim nie zostały uwzględnione przez S. Smal-Stockiego. Powoduje to, że

$$Q = \frac{a.d - b.c}{a.d + b.c} = \frac{19.0 - 24.0}{19.0 + 24.0} = \frac{0}{0}.$$

Widzimy zatem, że **ograniczenie się jedynie do cech występujących w pewnym języku**, przy rozważaniu stosunku tego języka do innych języków **doprowadza nas do wyników nieokreślonych, nie pozwalających na wysnuwania żadnych wniosków**. Dlatego też postępowanie S. Smal-Stockiego stanowi **klasyczny przykład nadużycia statystyki**.

Możemy natomiast zadać sobie pytanie, jak się ustosunkowują poszczególne języki słowiańskie w świetle cech występujących w języku małoruskim, na podstawie materjału podanego przez tego autora, przy jego upraszczającem założeniu, że te cechy mogą być uważane za równowartościowe.

Wówczas dokonując podobnych obliczeń, jak dla języków serbskiego i bułgarskiego, dla wszelkich pozostałych kombinacyj po dwa języki, z pominięciem małoruskiego, otrzymujemy poniższe zestawienie tabelaryczne. W zestawieniu tem każdemu językowi odpowiada zarówno jeden wiersz poziomy, jak i jedna kolumna pionowa. W przecięciu wiersza z kolumną, odpowiadającem dwu różnym językom, jest zapisany miernik ujmujący stopień podobieństwa tych dwu języków.

Powinowactwa języków słowiańskich ujęte współczynnikiem asocjacji Yule'a na podstawie 43 cech właściwych językowi małoruskiemu.

Języki.	Rosyjski.	Białoruski.	Polski.	Czeski.	Słoweński.	Serbski.	Bułgarski.
Rosyjski . . .	+ 1	+ 1	+ .06	— .06	— .10	— .29	+ .17
Białoruski . .	+ 1	+ 1	+ .12	— .03	+ .04	+ .04	— .03
Polski	+ .06	+ .12	+ 1	+ .42	— .29	— .29	— .02
Czeski	— .06	— .03	+ .42	+ 1	+ .14	+ .14	— .15
Słoweński . .	— .10	+ .04	— .29	+ .14	+ 1	+ .73	+ .20
Serbski . . .	— .29	+ .04	— .29	+ .14	+ .73	+ 1	+ .54
Bułgarski . .	+ .17	— .03	— .02	— .15	+ .20	+ .54	+ 1

Wyniki naszych przeliczeń, podane w powyższej tabeli dają nam obraz odpowiadający zupełnie panującym poglądom na zróżniczkowanie Słowiańszczyzny. Przede-

wszystkiem odcinają się bardzo jaskrawo Słowianie Wschodni, zaznaczający się jako najbardziej zwarty zespół językowy. Pozatem mamy Słowian Zachodnich i Słowian Południowych. U tych ostatnich pozycję centralną zajmuje język serbski, do którego ściślej nawiązuje się słoweński niż bułgarski.

Przechodząc do omówienia stosunku pomiędzy temi grupami należy przedewszystkiem zaznaczyć, że w analogiczny sposób, jak język polski wykazuje pewne powinowactwo do języków wschodnio-słowiańskich, język czeski zbliża się zachodnim językom południowo-słowiańskim. W podobny sposób język bułgarski zdradza pewne powinowactwo z językiem rosyjskim. Mamy zatem układ cykliczny uwarunkowany bez wątpienia procesem różniczkowania się języków słowiańskich.

Prawidłowość powyższego układu jest natomiast zakłócona zupełnie nieoczekiwanemi, aczkolwiek bardzo słabemi powinowactwami języka białoruskiego z zachodniemi językami południowosłowiańskiemi, przy nieoczekiwanem osłabieniu powinowactwa z językiem bułgarskim, w porównaniu do języka rosyjskiego. Fakt ten każe się liczyć z możliwością, że mamy tu do czynienia z oddźwiękiem dawnych ustosunkowań terytorjalnych. Jest przecież do pomyślenia, że przodkowie późniejszych wielkorusów siedzieli dawniej na wschodzie w bliższem sąsiedztwie Bułgarów, gdy przodkowie Białorusów zajmowali terytorja bardziej zachodnie i południowe, położone bliżej dawnych siedzib późniejszych zachodnich Słowian Południowych. Ponadto jest również prawdopodobne, że tendencja, zaznaczająca się u Białorusów, u Małorusów występuje jeszcze jaskrawiej. Bez wątpienia pod jej wrażeniem S. Smal-Stocki doszedł do swych fantastycznych wniosków. Niestety niemetodyczność postępowania tego autora doprowadziła do przejaskrawienia i wypaczenia wyniku.

Jak widzimy, poprawne stosowanie metody statystycznej nie prowadzi nas do żadnych fantastycznych wniosków. Uderzająca natomiast prawidłowość otrzymanych wyników pozwala nam przypuszczać, że przy odpowiednim doborze cech językowych (starszych) będziemy mogli dokładnie ująć pierwotne ustosunkowanie terytorjalne szczepów słowiańskich i oświetlić przebieg procesu ich różniczkowania się pod względem językowym.

Jan Czekanowski.

Lwów.
1926. XII. 27.

Kilka uwag o wspólności językowej praruskiej.

Od czasu, gdy w rozprawie p. t. «Stosunki pokrewieństwa języków ruskich» (RS IX, s. 23—71, r. 1921) przedstawiłem ówczesny stan i wyniki badań dotyczących problemu wspólności językowej praruskiej, ukazały się dwie prace odnoszące się do tego zagadnienia, a oświetlające je z dwu wręcz przeciwnych punktów widzenia. Nie od rzeczy będzie rozważyć, o ile wyniki ich mogą wpłynąć na zmianę dotychczasowych poglądów w tym względzie.

Autorem pierwszej z tych prac jest zdecydowany, a — jak się zdaje — jedyny dziś w świecie slawistycznym przeciwnik koncepcji wspólności językowej praruskiej, prof. Stefan Smal-Stocki.[1] Wiadomo, że dawniej już w napisanej wspólnie z T. Gartnerem gramatyce małoruskiej[2] starał się on udowodnić, że małoruszczyzna nie ma wcale związku ściślejszego z językiem wielkoruskim niż z innemi językami słowiańskiemi. Stanowisko to jednak, zarówno jak i metoda dowodzenia autorów spotkały się z jednomyślnym sprzeciwem wszystkich slawistów, którzy omawiali tę — skądinąd bardzo cenną — książkę.[3] W odpowiedzi na to wystąpił Stocki z rozprawą p. t.

---

[1] Problem wspólności językowej praruskiej omówiono nadto jeszcze w pracach: K. H. Meyer, Historische Grammatik der russischen Sprache. Bonn 1923; H. H. Дурново, Очерк истории русского языка. Москва-Ленинград 1924; П. О. Бузук, Коротка історія укр. мови. Одеса 1924. Przedstawiono w nich w sposób sprawozdawczy obecne wyniki badań, przyczem autorowie zgodnie przyjmują koncepcję wspólności językowej praruskiej. Dość niejasno wypowiada się w tym względzie O. Kołessa w pracy: Погляд на історію укр. мови. Прага 1924, który związki małoruszczyzny z innemi językami słowiańskiemi stara się wyjaśnić jej *centralnem* położeniem wśród tych języków. Najbardziej do stanowiska Stockiego zbliża się K. Nimczynow (Укр. язик у минулому й тепер. Держ. вид. Укр. 1925), który uznaje wprawdzie konieczność przyjęcia doby wspólności językowej «wschodnio-słowiańskiej», ogranicza jednak czas jej trwania najdalej do w. VI.

[2] St. v. Smal-Stockyj u. Th. Gartner, Grammatik der ruthenischen (ukraïnischen) Sprache Wien 1913.

[3] Wystarczy przypomnieć tu recenzje Szachmatowa (Україна I), 1914, s. 7—19, Gołanowa (Изв. XIX, 3, 297—360), Vondráka (IF. Anz. XXXV, 45—50), Jagića (Arch. f. slav. Philol. XXXVII, 204—211), Hujera (Listy Filol. XLIV, 1917, 440—444) i moją (RS VII, 74—111, por. też RS IX, 1, 25—26).

розвиток поглядів про сем'ю слов. мов і їх взаїмне спорідненя,[1] w której zwalcza wogóle system dzielenia języków słowiańskich na trzy grupy ściślejsze: południową, zachodnią i wschodnią; w szczególności zaś uderza gwałtownie w zwolenników koncepcji wspólności językowej praruskiej. Praca cała ma właściwie charakter metodologiczno-krytyczny: autor nie gromadzi i nie analizuje materjału, na jakim opierają sie poglądy jego przeciwników, ale rozbiera i charakteryzuje — na ogół bardzo jaskrawo[2] — ich metodę ujmowania zjawisk. Upraszcza sobie przytem zadanie w ten sposób, że wszystkich uczonych, którzy widzą w obrębie świata słowiańskiego istnienie pewnych grup językowych, opartych na ściślejszych związkach rozwojowych, mianuje w czambuł zwolennikami przestarzałej teorji genealogicznej Schleichera, przeciwstawiając im poglądy swoje, przeczące istnieniu jakich-kolwiek grup — jakoby oparte na podstawie konsekwentnie stosowanej teorji «falowej» J. Schmidta. Pogodzenie koncepcji podziału języków słowiańskich na grupy z tą teorją — jedynie dziś w badaniach nad wzajemnemi stosunkami języków miarodajną — wydaje się autorowi wręcz niemożliwe. Uczonym, którzy stoją na takiem stanowisku (Szachmatow, Jagić) zarzuca niekonsekwencję i chwiejność założeń metodycznych. Ciekawe, że w przeglądzie swym pominął Stocki zupełnie wspomnianą wyżej moją pracę o «Stosunkach pokrewieństwa języków ruskich», która daje chronologicznie ostatnie przed ukazaniem się jego rozprawy ujęcie koncepcji wspólności praruskiej, a zarazem podnosi szereg poważnych argumentów przeciw traktowaniu tego problemu w gramatyce Stockiego i Gartnera. Czy przyczyną tego przemilczenia była trudność wykazania zależności moich poglądów od teorji genealogicznej Schleichera, czy też poprostu — dość dziwne — przeoczenie, niewiadomo. Naogół uważa Stocki wszystkich zwolenników wyróżniania ściślejszych grup językowych na obszarze słowiańskim za stronniczych i przez «ślepą wiarę w grupy» (s. 38) z góry uprzedzonych niekorzystnie względem wszelkich innych koncepcyj. Jedynie swoje ujęcie uważa za bezstronne, podnosząc z naciskiem konieczność uwzględnienia przy klasyfikacji języków nie kilku wybranych cech, ale **wszystkich** właściwości, których **suma** może być jedynie podstawą do określenia stopnia pokrewieństwa między językami (s. 26, 38). Autor popełnia tu ten sam błąd metodyczny, co i dawniej w swych wywodach w gramatyce: nie zdaje sobie sprawy z tego, że **nie wszystkie** właściwości budowy językowej mają jednakową wartość dla oceny wzajemnego stosunku zachodzącego między językami; są bowiem cechy starsze, ważniejsze, głębiej sięgające

---

[1] Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, t. 161—163. Lwów 1925, str. 1—42.

[2] Ze szczególnem rozdrażnieniem mówi autor o poglądach **Jagića**, zarzucając mu powierzchowność, płytkość i autorytatywność; omawiając zaś negatywne stanowisko jego względem poglądów na dobę praruską, sformułowanych w grammatyce **Stockiego i Gartnera**, nie waha się powiedzieć, że **Jagić**: «про цю річ немов води в рот набрав, ані слова не писнув» (str. 37). Tak drastyczne wyrażenie w odniesieniu do jednego z największych uczonych doby ostatniej może tylko być miarą zdenerwowania, z jakiem **Stocki** pisał tę rozprawę.

w strukturę gramatyczną, są inne nowsze bardziej zewnętrzne, mniej charakterystyczne i wskutek tego pozbawione tej siły dowodowej, co pierwsze. Błąd ten, wynikający z braku zrozumienia dla historycznego rozwoju języka, wytykano Stockiemu we wszystkich prawie recenzjach «Gramatyki» — ale zarzuty te nieprzekonały go ani nie doczekały się odeń odpowiedzi.

W całej rozprawie Stockiego da się wyczuć pewien nastrój uczuciowy autora, który nie pozwala mu ani na chwilę spojrzeć na problemy, o których mowi, okiem nieuprzedzonem. Nastrój ten wynika z patrjotycznej ambicji, aby wykazać jak najdalej idącą samodzielność i niezależność rozwojową swego ojczystego języka. Wszelka myśl o dawnej ściślejszej łączności jego z wielkoruszczyzną wydaje się autorowi zamachem na jego odrębność: widać to wyraźnie n. p. z tego, co autor mówi o znanej opinji rosyjskiej Akademji Nauk uznającej odrębność języka małoruskiego: «Петербурська академія наук висказалася за те, що укр. мову треба уважати окремою від російської, але ті члени комісії (Шахматов) рівночасно учать, що була праруська мова, з якої вийшли всі «руські» мови» (str. 31).

Dla czytelnika nieuprzedzonego niema przecież między temi faktami żadnej sprzeczności: co innego jest uznawać obecnie samodzielność języka małoruskiego, a co innego rozumieć należycie jego dawniejsze związki z dwoma innemi językami ruskiemi — od wieków zresztą bezpowrotnie zerwane. Wobec takiego uczuciowego stosunku autora do przedmiotu, o którym pisze, niema oczywiście mowy o istotnym naukowym objektywiźmie. Toteż cała rozprawa, choć jest ciekawym i z wielu względów pouczającym przeglądem historji badań nad wzajemnym stosunkiem języków słowiańskich, nie rzuca właściwie zupełnie nowego światła na problem związku zachodzącego między językami ruskiemi i w niczem nie może zmienić dotychczasowych poglądów na tę kwestję.

Inaczej ma się rzecz z drugą pracą, o której chcę mówić. Mam tu na myśli rozprawę ks. Mikołaja Trubeckiego «Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit» (Zeitschrift für slavische Philologie, 1925, I, s. 287—319). Jak widać z tytułu, autor nie zajmuje się w niej pytaniem, czy istniała wspólność językowa praruska — uważa je bowiem za całkowicie rozstrzygnięte w sensie pozytywnym — ale przez rozpatrzenie historji kilku znamion głosowych staroruskich stara się oświetlić problem rozpadnięcia się tej wspólności i wyodrębnienia istniejących dziś języków wielkoruskiego, małoruskiego i białoruskiego. W wywodach swych jednak porusza autor szereg kwestyj, które sięgają daleko w głąb wspólnej przeszłości języków ruskich i nieobojętne są dla właściwego pojmowania ich wspólnej podstawy rozwojowej — zasługują przeto na dokładniejsze rozpatrzenie. W zasadniczem ujęciu problemu wspólności językowej praruskiej oraz jej dalszego rozwoju podziela Trubecki naogół poglądy, które sformułowałem we wspomnianej rozprawie o stosunkach pokrewieństwa języków ruskich. Przyjmując więc wspólną podstawę, na której

wyrósł zespół językowy ruski, odrzuca hipotezę Szachmatowa,[1] jakoby zespół ten rozpadał się pierwotnie na trzy poddziały dialektyczne, a podziela moje przypuszczenie, że początkowo były w obrębie wspólności praruskiej dwa narzecza: szczupłe terytorjalnie północne i o wiele szerzej rozprzestrzenione południowe. Z czterech cech,[2] na których podstawie ja przeprowadziłem wyróżnienie tych kompleksów gwarowych, odrzuca jedną, a mianowicie odmienne na północy niż na południu traktowanie półgłosek w położeniu po r l — uważa ją za chronologicznie znacznie późniejszą — a na jej miejsce wstawia inną: zmieszanie č i c na północy Rusi nieznane na południu. Na przyjęcie tej jeszcze cechy możnaby się zgodzić, — sięga ona bowiem chronologicznie istotnie w bardzo odległe czasy (spotyka się już w Mineji 1095 r.) gdyby nie to, że niema żadnej podstawy do uważania jej niegdys za ogólną na północy Rusi, skoro i dziś nie jest powszechną w narzeczu półn.-wielkoruskiem. Nadto zaś właściwość ta jest w każdym razie obcego pochodzenia, jest naleciałością przejętą od plemion zach.-fińskich — jak słusznie przypuszcza Trubecki, — jaka wprowadzona została do ruszczyzny bezwątpienia przez zrusyfikowanych Finnów, trudno więc uważać ją za pierwotną cechę dialektyczną odróżniającą grupę półn. rus. od południowej. Tak samo nie są przekonywujące argumenty, na których opiera autor przesunięcie w czasy późniejsze dwoistego rozwoju połączeń r l + ъ ь. Różnice w rozprzestrzenieniu tej cechy w porównaniu z g || h oraz tl dl > kl gl niczego w tym względzie nie dowodzi, bo przecież i izoglosy odnoszące się do tamtych cech bynajmniej się z sobą nie pokrywają (co zresztą Trubecki wyraźnie podnosi, por. l. c. 291). Jeszcze mniejszą wartość dowodową ma oczywiście istnienie (połud.-rus.) ry ły (dryžat' błyχá) w niektórych gwarach połud.-wielkoruskich: bez wątpienia wszakże gwary połud.-wielkoruskie nie wchodziły w większości swej w skład dawnej grupy północno-ruskiej, ale stanowiły naturalny pas przejściowy między grupą północną i południową.

Poza — podrzędną zresztą — różnicą w ocenie znaczenia tych dwu cech głosowych, ujęcie wspólności językowej praruskiej u Trubeckiego różni się tem od mojego, że Trubecki bardzo silnie podkreśla niejednolitość językową mowy praruskiej polegającą na kilku odziedziczonych jeszcze z doby prasłowiańskiej cechach głosowych, nieogarniających całego zespołu językowego praruskiego. Na fakt ten zwróciłem i ja uwagę (RS, IX, s. 60—61), opierając się na zachowaniu połączeń tl dl w narzeczach północno-ruskich; Trubecki słusznie kładzie nań większy nacisk, dodając do uwzględnionej przezemnie cechy drugą właściwość głosową odróżniającą Ruś północną od południowej, a sięgającą zapewne również doby prasłowiańskiej. Słusznie mianowicie widzi on — wbrew mojemu dawniejszemu zdaniu — w połud.-ruskiej zmianie g > h

[1] Очеркъ древнѣйшаго періода исторіи русскаго языка. Петербургъ, 1915.

[2] 1. półn. rus. g wobec połud-rus. h, 2. zachowanie połączeń tl dl zmienionych w kl gl, 3. półn. rus. rozwój r l + ъ ь > r l + o e, 4. półn. rus. zmiana ś́č́ ź́ǯ́ > ś́χ́ ź́j.

zjawisko, które początkami swemi sięga czasów przed wyraźnem wyróżnieniem się grupy dialektycznej ruskiej w obrębie wspólności językowej prasłowiańskiej. Wobec tego, że najdawniejsze piśmienne ślady tej zmiany na gruncie ruskim sięgają w. XI, a na gruncie czeskim — jak wykazały badania Fr. Bergmanna[1] — pojawiają się w pierwszej połowie w. XII (1131 r.), wspólna prasłowiańska dialektyczna podstawa tego zjawiska jest wcale prawdopodobna. Trzeba przypuszczać, że obejmowało ono w obrębie mowy prasłowiańskiej narzecza, z których z czasem rozwinęły się zespoły dialektyczne górnołużycki, czeski, słowacki i południowo-ruski, t. j. małorus. i białorus.).

Do cech dialektycznych, których izoglosy przecinały prawdopodobnie od najdawniejszych czasów obszar praruski, zaliczyć jeszcze należy dwie właściwości odróżniające starą grupę dialektyczną północno-ruską od południowo-ruskiej. Pierwszą z nich jest mianowicie traktowanie pierwotnych połączeń nagłosowych *i̯ь-. Na gruncie wielkoruskim, a zwłaszcza na północno-wielkoruskim przedstawiają się one stale w postaci i- (igrát', imět', igołka, iz itp.), podczas gdy w małoruszczyźnie i białoruszczyźnie — t. j. w zespole odpowiadającym dawnej grupie południowo-ruskiej — normalnie zanikają (por. mrus hráty maty hołka z- itp.). Trubecki uważa to zjawisko za późniejsze i ujmuje je jako zanik nagłosowego i-, które w prarus. było w zasadzie słabe, a tylko na gruncie wielkoruskim się wzmocniło i przeszło w i-. Ujęcie to napozór słuszne, bo wszakże pierwsze ślady tego zaniku pojawiają się w zabytkach dopiero w w. XIV, — nie da się utrzymać, jeżeli się weźmie pod uwagę, że w mrus. i brus. nie zanikło i-, które kontynuuje stare prasłow. i- w nagłosie: n. p. mrus. itý idú (po wokalicznym wygłosie poprzedzającego wyrazu i̯-: n. p. χoču i̯tý), por. lit. eĩti. Chodzi tu więc nie o zanik nagłosowego i- wogóle, ale o rozwój połączeń *i̯ь- w nagłosie. Odróżnienie nagłosowego i- od i̯ь- nie istnieje w językach południowosłow., ale zachowało się w zachodniosłow., a zwłaszcza wyraźnie w t. zw. lechickich, w których dawne i- utrzymuje się stale w nagłosie, a w połączeniu i̯ь- zachodzą rozmaite zmiany związane z rozwojem ь, których rezultatem jest w szeregu pozycji zupełny jego zanik.[2] Skoro takie same objawy zachodzą na gruncie małoruskim i białoruskim, t. j. w zespole dialektycznym południ.-ruskim, jaki pozostawał od wieków w terytorjalnej styczności z narzeczami lechickiemi, to trudno oprzeć się wrażeniu, że chodzi tu o starą łącznosć, którą oczywiście odnieść trzeba jeszcze do doby prasłowiańskiej. Grupa gwarowa półn.-ruska poszła w tym względzie inną drogą, zgodną z narzeczami południ. słowiańskiemi, identyfikując pierwotne i̯ь- z i- i zachowując je nadal bez zmiany.

---

[1] Listy filologické, XLVIII (1921), str. 237—238, por. też E. Schwab, Arch. f. slav. Philol., XXXIX, s. 293—296. Trubecki pracy Bergmanna nie uwzględnił, odnosząc początki tego zjawiska za Gebauerem do poł. w. XIII.

[2] Por. moją rozprawkę «Prasłow. *jь- w językach zach.-słow.» R. S. VIII, str. 152 nn.

Na dawne związki grupy połudn.-rus̯k. z językami zachodnio-słow. a w szczególności z zespołem polsko-pomorsko-łużyckim wskazuje nadto jedno jeszcze ważne zjawisko; tendencja do jakościowych zmian samogłosek o e wzdłużonych wskutek t. zw. wzdłużenia zastępczego. Proces ten nie został wywołany — jak się to nieraz sądzi — dopiero przez zanik półgłosek w t. zw. słabych pozycjach, ale bez wątpienia już z chwilą kiedy półgłoski w pewnych położeniach stały się «słabszemi» i — co za tem idzie — któtszemi, powstała dążność do kompensowania tej utraty iloczasowej przez wzdłużanie samogłosek w zgłoskach poprzedzających. Nastąpiło to oczywiście jeszcze na gruncie wspólności językowej prasłowiańskiej: wobec tego niema nic nieprawdopodobnego w przypuszczeniu, że już wówczas przejawiła się na pewnej części prasłow. obszaru językowego tendencja do jakościowego zmieniania wymowy tych nowo wzdłużonych samogłosek. Z natury rzeczy odbiła się ona szczególnie na brzmieniu samogłosek o e, które jako średnie dawały więcej pola do zmian w położeniu pionowem języka, gdy przy niskiem a, lub wysokich i y u położenie to jest wogóle bardziej stałe. Zmiany odbywały się w tempie bardzo powolnem, tak że stopień na tyle wyrazisty, by doszedł do świadomości mówiących, osiągnęły stosunkowo bardzo późno: tem tłumaczy się fakt, że ujawniły się one w zabytkach poszczególnych językow dopiero w XIII—XV w. Jednakowoż okoliczność, że zmiany jakościowe samogłosek o e, wzdłużonych w położeniu przed słabemi półgłoskami, zachodzą w narzeczach stanowiących jeden nieprzerwany kompleks terytorjalny (łuż.-pomor.-pols.-mrus.-częściowo też czes. i brus.), upoważnia do przypuszczenia, że chodzi tu o proces stary, sięgający początkami czasów, kiedy między temi narzeczami istniały związki ściślejsze z biegiem wiekow rozerwane.

Z rozważań powyższych wynika, że język, jakim mówili przodkowie dzisiejszych północnych Wielkorusów, różnił się w szeregu punktów dość wybitnie od mowy południowego odłamu ruskiego, z którego rozwinęły się narzecza małoruskie, białoruskie i południowo wielkoruskie. Różnice te były po większej części stare, sięgające początkami swemi doby prasłowiańskiej. Były więc przejawami dialektycznego rożniczkowania języka prasłowiańskiego. Istnienie ich jednak nie osłabiało bynajmniej spójni językowej wiążącej wszystkie narzecza ruskie w jedną całość. O spójni tej swiadczą wymownie liczniejsze i bardziej wybitne cechy głosowe (i inne), właściwe całemu obszarowi językowemu ruskiemu i nigdzie pozatem w Słowiańszczyźnie nie występujące w takim zespole jak na Rusi. Z cech tych wystarczy wymienić: t. zw. «połnogłasije», rozwój połączeń tį > č, dį > ž, r̥ ŕ̥ l̥ l̥' > or er ol, ie- > o- itd.[1]

Dowodzą owe, że w toku djalektycznego różnicowania języka prasłowiańskiego odłam wschodnio-słowiański (= ruski) przejawiał wyraźne wspólne tendencje rozwojowe,

[1] Por. zestawienie moje w R. S. IX, 28—40, gdzie każdą z tych cech omówiłem dokładniej.

które — bez wątpienia jeszcze przed ostatecznem rozbiciem wspólności językowej prasłowiańskiej — uczyniły zeń zwarty kompleks dialektyczny. Ponieważ jednak łączność jego z resztą Słowian stopniowo tylko i powoli ulegała rozluźnieniu, więc przez pewien okres czasu odłam południowy tego kompleksu, zachowując bezposrednią styczność z sąsiedniemi narzeczami zach.-słowiańskiemi, przejmował też pewne zmiany głosowe szerzące się w tych narzeczach, nie tracąc oczywiście przez to ani nie osłabiając związku swego z odłamem północnym. Równocześnie zaś ten sam odłam południowo-ruski, stykając się w obrębie wspólności prasłowiańskiej także z narzeczami południowo-słowiańskiemi, wziął udział w niektórych zmianach głosowych właściwych tym narzeczom, a obcych zarówno zachodnim Słowianom, jak i odłamowi północno-ruskiemu: należy tu w pierwszym rzędzie asymilacja spółgłosek t d w połączeniach tl dl (pletlъ > plelъ, mydlo > mylo), która — wspólna odłamowi połd.-rus. z językami połd.-słowiańskiemi — nie objęła w całości grupy dialektycznej półn.-ruskiej, gdzie jak wiadomo, zachowały się ślady połączeń tl dl w postaci zmienionej w kl gl. W zmianie tej Trubecki widzi słusznie odbicie wymowy właściwej językowi litewskiemu i łotewskiemu (l. c. 293). Trudno jednak, jak to sądzi wiedeński slawista, myśleć o przejęciu tej cechy wskutek zwykłych sąsiedzkich stosunków z plemionami bałtyckiemi («Verkehr mit den nichtslavischen Völkern der Ostseeküste»). Raczej przypuścić trzeba, że zarówno zmiana tl dl > kl gl jak i mieszanie č i c dostały się do północnej ruszczyzny pod wpływem wymowy ruskiej w ustach zasymilowanych językowo elementów pochodzenia bałtyckiego oraz zach.-fińskiego. Wynikałoby z tego, że grupa dialektyczna półn.-ruska w miarę rozprzestrzeniania się plemion ruskich w kierunku półn.-wschodnim, objęła terytorja zajęte dawniej przez plemiona bałtyckie oraz zach.-fińskie i na nich się w dalszym ciągu rozwijała, przez co jednak związek jej z odłamem południowo-ruskim nie doznawał zapewne zrazu większego uszczerbku. Dopiero wytworzenie się dwu odrębnych ośrodków polityczno-kulturalnych (w Kijowie i Nowogrodzie) związek ten rozluźniło, a dalej ruchy migracyjne plemion południowych ku północy i zachodowi wywołane naciskiem plemion koczowniczych czarnomorskich przyczyniły się do powolnego przegrupowania dialektycznego na Rusi, czego rezultatem ostatecznym było wytworzenie się dzisiejszych trzech ruskich języków: wielkoruskiego, małoruskiego i białoruskiego. Wyjaśnienie procesów językowych, które doprowadziły do tego zróżnicowania wymagałoby daleko idących roztrząsań, które w obecnej chwili uważam za zbędne, zwłaszcza że wywody Trubeckiego dotyczące tego problemu (l. c. 291—319) wydają się na ogół słuszne i przekonywające, a niewiele odbiegają od dotychczasowych poglądów.

Tadeusz Lehr-Spławiński.

Lwów.
1926. XII. 27.

Из истории переводной литературы в Новгороде конца XV столетия.

Драгоценный сборник Гос. Публ. Библ. Погод. № 1121 (на кор.: «Сборник Богословский 217», 326 бум. лл. в м. 8-ку, 140 *мм* × 95 *мм*), писаный разными почерками XVI в.,[1] в начале, на лл. в҃, д҃—м҃ѳ старой нумерации, содержит любопытный трактат о времяисчислении, заканчивающийся указанием на время его появления: Съкончаваетъ, Съвѣщанїе Бж҃твены̑ дѣлъ, Напечатано, Въ архҽтине, в лѣто г҃не. ҂а.у҃п. шеста҃. ⁓ Сеа книга осмаа часть. и послѣнаꙗ. Преведена на рꙋскы̑ ꙗзы̑, повелѣнїемъ. архиепскпа великаго новограда і пскова. влки генадїа. в домꙋ архиепкпли, лѣта. ҂з҃г. мц҃а генвара въ. е҃. дн҃е.

Первая половина этой записи есть не что иное, как перевод слов: Explicit rationale divinorum | officiorum Impressum argenti|ne Anno dñi. M.CCCC.LXXXVI., датирующих появившееся в 1486 году в Страссбурге издание[2] знаменитого литургического руководства Rationale divinorum officiorum, составленного одним из выдающихся писателей XIII века, Guilelmus Durandus,[3] или Durantis,[4] или Duranti,[5] прозванным Speculator за другое его произведение: Speculum judiciale. Это руководство, составленное и опубликованное между 1286—1295 гг., пользовалось необычайным успехом в рукописном виде (полностью и в извлечениях), затем было напечатано

---

1 Предполагаю дать исследование этого сборника в ряде специальных работ, посвященных отдельным частям его.

2 В Гос. Публ. Библ. есть три экземпляра издания 1486 г. с иным видом этой датировки: Explicit rationale di | uinorum officiorum. Impressum argentine Anno domini. M.CCCC.LXXXVI. Finitum | quinta feria post diem sancti kiliani. |

3 Род. ок. 1232—1237 г., ум. 1 ноября 1296 г. в сане епископа гор. Mende (ю. Франции); богатая библиография о нем U. Chevalier, Bio-Bibliogr. или у Hurter. Nomenclator, IV (1899), 352—356.

4 Gieseler (Lehrb. d. KG., II 4/2, 431) и Savigny (Gesch. d. rom. K. im MA, V 2, 573) считают правильными только формы Durantis или Duranti. Город Urbania (некогда castrum Riparum Urbinatium) с 1284 г. назван был castrum Durantis, по имени своего устроителя.

5 Так на надгр. надписи, в папских регистрах (J. Sauer. Symbolik des Kirchengebäudes, 28) и у Trithemius (Ficker. Der Mitralis des Sicardus, 7 Anm. 1. Beiträge z. Kunstgesch. N. F. IX. Lpz. 1889).

Фустом и Шефером в Майнце в 1459 г. непосредственно после двух изданий Псалтыри (1457—1459 гг.) и затем перепечатывалось не менее 44 раз до 1500 г. включительно, 13 раз в XVI в., несколько раз в XVII в. и последний раз в 1839 г. в Неаполе.[1] Уже в XIV в. появились и переводы на немецкий и на французский языки; последний напечатан в 1503 г., а в 1854 г. изд. в Париже и новый франц. перевод (т. I — V) всего труда, сделанный Ch. de Barthélemy; на англ. перевел Green только I книгу J. M. Neale and B. Webb «The Symbolisme of Churches and Church Ornaments» (изд. 1843, переизд. 1892), а с этого перевода сделал перевод на франц. некто M. V. O. с введ., добавл. и прим. J.-J. Bourassé (Tours 1847).

Теперь к числу переводов можем присоединить и сделанный в 1495 г. «в дому архиепископли», по приказанию Геннадия архиеп. Новгородского, русский перевод последней части: VIII pars sive liber VIII de computo et kalendario et de pertinentibus ad illa (f. 263 v. — 272 v.). Как видно из старой нумерации листов, пропали 2 лл. (в҃ и г҃); текст начинается со слов: четыре седмицы или мало болѣ. седмица. з҃. днеи = quattuor septimanas vel pauloplus. Septimana VII dies; на вырванном л. г҃ был перевод текста: die septimane quilibet mensis incipiat. Et de litteris dominicalibus . . . illa dixit esse ancilla domini etc. (f. 264 r.).

Дата перевода подтверждена в схолии переводчика: сотворена бысть книга лѣта ѿ рожества христова ҂ас҃ · п҃s, а на рускїи преведена лѣта ѿ начала мїроу · ҂з҃г · — к словам автора, где он для примера вычислений берет 1286 г.

Переводчик часто только транскрибирует латинские слова, как напр.: Ver dictus est quod viret = веръ речена есть иже виретъ; Estas dicitur ab estu i. calore. inde estas quasi usta et arida = естасъ глаголетсѧ ѿ естѹ ꙗко оуста и сѹхо; Autumnus a tempestate vocatur = аоутѹмноусъ ѿ темпестате зоветсѧ. Иногда переводчик указывает причину такого своего образа действий; так напр., к стиху: Cur fles has lacrimas, odiosum quaere tyrannum = Куръ. флесъ. асъ. лакримасъ. одиозумъ. квере тиранноумъ.—на поле дается перевод: о чемъ плачеши со слезы гнѣвливаго ищи мѹчителѧ. с примечанием: сеи стихъ писанъ не рѣчи длѧ но склада ради. на инои ꙗзыкъ преводити его нѣсть требѣ.

Едва ли можно было понять читателю значение слов в переводе: bruma dicitur quasi brachium i. breve = брѹма гл҃етсѧ ꙗко брахи҃нь. сирѣ кратко; или edacitas enim graece bruma = едаситасъ бо гречески брѹма. Но переводчик все же заботится и о читателе, прибавляя на полях много схолий, где дает то перевод находящейся в тексте транскрипции (напр., нераздѣленїе рѹски к indivisio = индивизиѡ; свѧтцовъ к kalendarii = календарїа), то уточнение перевода

---

[1] Было бы увлекательной, но чрезвычайно трудной задачей издать, наконец, Rationale в виде, соответствующем современным научным требованиям, и собрать все схолии на полях как рукописного, так и печатного текста.

(напр., пространство к spatium = продолженїе; в крꙋженїи к in circumductione = въ ѡбодѣ; трасцы к febres = дрожанїа), то реальный комментарий (напр., касторъ и поллусъ были бози ꙗзычестїи к propter Castorem et Pollucem = ради касторьмъ у полꙋсемъ; мѣдница есть лѣто в неже египтане сан ѡтъали авгꙋстꙋ не ѡд к ега = мѣдница).

Стремление к буквальной передаче лат. оригинала на русский, употребление разных русских слов для перевода одного и того же лат., пропуски и искажения лат. текста в переводе и, наконец, трудность понимания терминологии делают весь язык перевода очень мало понятным и обращают его часто в бессмысленный для нас набор слов. Все эти особенности свойственны в разной степени всем переводам XV—XVI в., но употребление маргинальных схолий, кажется, указывает руку доминиканца Вениамина, и тогда о том же может свидетельствовать и манера оставлять слова без перевода, в транскрипции; ближайшее изучение языка перевода обнаружит, вероятно, и другие особенности, отмеченные в качестве характерных для Вениамина у А. И. Соболевского (Перев. литер., 254—259).

Несмотря на всю свою неудовлетворительность, перевод VIII книги Rationale имел некоторый успех, правда, подвергшись при этом переделке, вероятно, в интересах большей удобопонятности.

В сборнике б. М. Арх. Мин. Ин. Дел. № 220/381, XVII—XVIII в., стр. 197—198, есть выдержка:[1] ѿ латинския кн҃иги. ѻсмыя части. Ѡ днѣ҃х собачїи҃х. (*нач.*: в коѥждо м҃цы суть днїе яже собачїи глютсѧ) соответствующая в VIII кн. Rationale переводу: О дн҃ѣ гре҃и҃х (*нач.*: И в коѥмждо м҃цѣх сꙋть нѣцы҃ дн҃їе ꙗже гре́чьи глютсѧ), в оригинале: In quibusdam quoque mensibus sunt quidam dies qui caniculares dicuntur...

И объяснение названий созвездий в Азбуковниках (у А. Карпова. Азбуковники или алфавиты иностр. речей по спп. Солов. Библ., 92—93. Казань 1887) взято из перевода VIII кн. (лл. є҃ об. — ꙁ҃ об.), латинский текст которой начинается: Primum igitur signum est aries in quo dicitur esse factus mundus.

Оценка влияния перевода VIII кн. Rationale на развитие календарных и астрономических познаний до-Петровской Руси станет возможна лишь после издания текста перевода параллельно с латинским оригиналом, и задачей настоящей краткой заметки является лишь стремление содействовать появлению этого издания.

В. Бенешевич.

Ленинград.
1926. XII. 27.

---

[1] За доставление копии всей выдержки, взятой по указанию в «Перев. литер.» (стр. 231), приношу глубокую благодарность акад. А. И. Соболевскому.

«Лекціи словенскіе Златоустого отъ бесѣдъ еvангельскыхъ отъ иерея Наливайка выбраніе».

Акад. А. И. Соболевский в своей статье «Замѣтки о малоизвѣстныхъ памятникахъ ю.-з. р. письма XVI—XVII вв.» обратил внимание на сборник Московск. Рум. Музея № 2616, второй половины XVI в., содержащий в себе ряд интересных памятников. Среди них встречаем между прочим «Лекціи» Наливайка. Это сборник изречений «въ церковно-славянскомъ текстѣ и западно-русскомъ переводѣ изъ Свящ. Писанія, твореній св. отцовъ и (кажется) Пчелы, иногда съ указаніемъ автора: «Царь Давидъ», «Іоаннъ Златоустый», «Питагоръ», «Фокилида» . . .». Так характеризуя сборник, акад. А. И. Соболевский в отношении языка указывает лишь одну особенность: перевод слова Господь словом Пан. Остальные особенности — те же, что и в предшествующих памятниках сборника.[1]

Не подлежит сомнению, что «иерей Наливайко» есть никто иной, как довольно известный Острожский деятель Дамиан Наливайко, брат знаменитого гетмана войска запорожского Северина Ноливайка, в народе прозванного «Царем Наливаем».

Включая в научный оборот новый памятник, расширяющий наши знания о культурном наследии Острога, краткая заметка акад. А. И. Соболевского вызывает ряд вопросов. Мы коснемся лишь некоторых из них.

Весь материал сборника изложен таким образом, что после каждого изречения на церковно-славянском языке, следует его украинский перевод-толкование, на языке литературы того времени.

Своего рода вступлением к «Лекціямъ» служит известная молитва («Ныне ѡтпѫщаешь раба своего. . . людей твоих ізраила») и ее толкование («Нынѣ вызволаешь слѫжебника своего». . . 94 об.—95).[2]

---

1 Чтенія въ Истор. Общ. Нест. Лѣтописца, кн. IX, 1895, стр. 19.

2 Пользуемся копией памятника, снятой нами в 1923 г., несмотря на те трудности, которые встречали рядовые научные работники в рукописном Отд. Музея.

Далее находим ряд сентенций, как напр., поучение жить не только для себя, но и для других, насыщать не только тело, но и душу. В некоторых из этих сентенций указывается преимущество душевной чистоты сравнительно с родовитостью, пагубность гордости, важное значение науки и воспитания, необходимость почитания родителей. Изредка встречаем изречения, направленные против богатства.

Ссылки находим на Златоустого (4 раза), Вас. Великого (3 раза), Питагора, Фокиляду, Давида (2 раза), ап. Деяния, 4-е слово о Лазаре.[1]

Наконец заключительной сентенцией является призыв (приводим его толкование):

«Помани пръших и значных для рицерства и маетности и славы, иж кождого не вѣдаютъ по зыстю с того свѣта и не споминаютъ на свѣтѣ, и которые воевали за душю свою на небѣ и на земли слав'ными зостали и на помощь ѡных взываемъ» (104—104 об.).

Для более полной характеристики сборника приведем еще два параллельных текста о богатстве:

«Ниже богатѣти неправедно, но ѡт преподобных жительствовали (!) оудивлатися сѫщими и тѫждих ѡтстои».

«Ани збирай маетности несправедливе, але из святобливых чистых своих зысковъ выжавлайса; мѣй досить на том, що оу тебе есть, а чюжихъ речей отдалайса» (99).[2]

В общем «Лекціи» приходится характеризовать, как довольно несистематически расположенный подбор *исключительно моральных* — *не полемических* сентенций. Стремление подобрать сентенции, не затрагивающие спорных религиозных вопросов борьбы православия с католичеством, как это видно из нашего тематического их перечня, — безусловно было руководящим принципом для составителя. Факт этот нельзя считать явлением случайным. В самом деле, если мы сравним содержание Острожских изданий до конца 90-х гг. XVI ст. с последующими, то сможем подметить существенную разницу. Последним произведением, содержащим полемические нападки на католиков является предисловие к следованной псалтыри 1598 г., написанное Василием Суражским. Все последующие издания старательно избегают подобных тем. Украинская партия (собственно партия низшего духовенства и мещанства), до того пытавшаяся быть стороной *наступающей*, теперь занимает *оборонительную* позицию. Она переходит к исключительно мирной книжно-научной деятельности, отстаивая прежние позиции в отношении языка и культуры.

Существенной жизненной (не только отвлеченной книжной) чертой памятника

---

[1] Указание на источник не всегда следует относить ко всем последующим изречениям.

[2] Надстрочные знаки в цитатах — опускаем, титла раскрываем; ъ и ь по начертанию в рукописи совпадают.

является наличие в нем сентенций о богатстве, гордости, бедности; все эти сентенции придают сборнику демократический оттенок. Подобные темы не раз уже отмечались в произведениях Ивана Вишенского, а в последнее время акад. В. Н. Перетцом указаны в таком Острожском памятнике, как «Тестамент Василия ц. греческого», напечатанном в брошюре «Лѣкарство на оспалый умыслъ человѣчій» (1607 г.).[1] «Лекціи» Наливайка — одно из звеньев той же культурной украинской традиции, создаваемой в противовес культуре польско-шляхетской.

Вполне вероятно, что в выборе изречений играло роль также соображение о трудности их понимания. Во многих случаях украинский литературный перевод-толкование (см. последнюю цитату — о богатстве) значительно длиннее церковно-славянского. Число таких примеров можно было бы увеличить.

Язык «Лекцій» — обычный для круга названных памятников. Для иллюстрации украинизмов памятника укажем: що, собѣ, хороба, досыть, дитинная душа и т. п. Полонизмов встречаем большое количество: абовѣмъ, фрасѫнковъ, звытажетъ и т. п.

Знакомство автора с некоторыми требованиями формального строения произведений отразилось в «Лекціяхъ»: начальные слова не представляют собою моральной сентенции — это отрывок, служащий как бы вступлением ко всему сборнику. Возможно, что на последние строки — обращение — составитель смотрел, как на слова наиболее подходящие для заключения. Слабость писательской традиции в среде украинской интеллигенции тех времен (сравнительно с польской), как это можно наблюдать, являлась причиной бедности оригинальных произведений на литературном украинском языке. Восполняя пробелы, украинские литературные деятели очень часто составляли трактаты из более или менее искусно подобранных готовых отрывков, прилаженных друг к другу и тематически расположенных, или же, как в данном случае, трудолюбиво подбирали изречения, сентенции.

Пример, рассмотренный нами, показывает, что даже такая, казалось бы, простая работа, как подбор сентенций, усложнялась соображениями политическими, соотношением борющихся общественных сил, общей ситуацией. Составитель не был обыкновенным механическим каталогизатором: он обязан был чутко ориентироваться в вопросах современности.[2]

---

1 В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. Лнгр. 1926, стр. 60 (Сборн. Отд. Русск. Яз. и Слов., том CI, № 2).

2 Известно, что в 1599 г. в соседней с Острогом Дермани закончен был большой труд: составление «Дерманской Пчелы». Вполне естественно было бы поставить «Лекціи» в связь с этой «Пчелой». Однако, в той части «Дерманской Пчелы», которая опубликована М. Н. Сперанским (в кн. «Переводные сборники изречений в сл.-р. письменности. Изсл. и тексты». М. 1904) и Бессоновым, мы не находим ничего общего с «Лекціями». Равным образом, не удалось нам установить нитей, связывающих «Лекціи» вообще с различными редакциями «Пчелы».

Роль спокойного, чуждого полемике, моралиста казалось бы менее всего подходила для Дамиана.[1] Не говоря уже о том, что отец его, казак-ремесленник, лишился жизни в результате крупной ссоры с Гусятинским владельцем, Мартином Калиновским, притеснений которого он, повидимому, не пожелал выносить, а брат его был известным казацким предводителем, — укажем на то, что сам Дамиан в 1596 году принимал участие в военных наездах на имения брата епископа, Яроша Терлецкого, и известного врага православия, католика пана Александра Семашка. Документальные данные (Арх. Ю.-З. Рос., ч. III, т. I) свидетельствуют о том, что, идя в поход, Дамиан брал с собою возы для добычи и затем привозил домой большое количество награбленного имущества, уводил чужих лошадей и проч. Само собою разумеется, что под прикрытием религиозных идей во время этих походов совершались возмутительнейшие насилия.

Все это делал участник православного церковного собора 1596 года,[2] ставший в скором времени одним из видных руководителей печатного дела в Дермани и Остроге, участник и отчасти редактор нескольких строго православных изданий, составитель строго научных (не полемических) предисловий и отчасти вирш.[3] Вот эти издания: «Диалогъ албо розмова о православной и справедливой вѣрѣ»... (ок. 1603 г., вероятно в Дермани), «Октаикъ» (Дерм. 1603—1604 гг.), «Листъ» патр. алекс. Мелетия (Дерм., 1605 г.) «Молитовникъ» (1606 г., Остр.), «Лѣкарство на оспалый умыслъ человѣчій» (Остр., 1607 г.), «Часословъ» с «Мѣсяцесловомъ» (Остр. 1612 г., издание с рядом разновидностей) и, быть может, «Часословъ» 1602 г. (Остр.).

Участие духовных лиц в военных походах, правда, — обычное в те времена явление; но, во всяком случае, документальные данные о Дамиане способствуют реальной характеристике этого деятеля, который, если судить по его творениям, представляется нам скорее, как аскет.

Насколько неуравновешенным был Дамиан, свидетельствует также сообщенный историком Несецким факт организации им «гультяйской» процессии с большой хоругвью из простыни, отправившейся навстречу католической.[4] Этот эпизод имел место повидимому во время обостренной борьбы партий в 1596—97 г. (но не позже 1608 г., года смерти Острожского, которому Януш жаловался по этому поводу на Дамиана).

---

[1] Дамиан родился прибл. в конце 50-х гг., умер по свидетельству «Paraenesis»'а — в 1628 г. Подробнее о нем скажем в особой статье.

[2] См. «Ектезисъ» 1597 г. Русск. Ист. Библ., т. XIX. Птб. 1903, стр. 336.

[3] См. предисловия к «Лѣкарству» и «Октаику».

[4] «Korona Polska»... przez Kaspara Niesieckiego. 1740, стр. 518—519, ссылка на Kazania Янчинского (Янчинский собирал сведения о семье Наливайков по живым следам в г. Остроге).

Однако личные черты характера Дамиана должны были стушеваться под влиянием указанных нами условий времени. В Дермани (после реформы монастыря 1602 г.) и в Остроге ему пришлось работать в среде деятелей консервативного, аскетического, церковно-славянского в отношении богослужебных книг направления (Исаакий Борискович, Иов Княгиницкий). И вот мы полагаем, что именно к этому периоду деятельности Дамиана относятся его «Лекціи». Ранее, напр. в период Брестского собора, такой пылкий по натуре человек едва ли в состоянии был бы заниматься составлением сборника исключительно морального направления.[1]

«Лекціи» Дамиана Наливайка — есть лишь один из нескольких известных нам литературных опытов Дамиана. Определение их тематического состава, как видим, дает основание определить функцию памятника в общественной жизни того времени и более точно датировать его.

К. Копержинский.

Одесса.
1926. XII. 27.

[1] Иначе, повидимому, полагал К. Харлампович «Западно-русскія православныя школы XVI и нач. XVII в., отношеніе ихъ къ иностраннымъ»... Казань 1898, стр. 272—273), считавший «Лекции» ранним произведением Дамиана.

Образование и общее распределение русских старожильческих говоров Сибири.[1]

Сибирь, если даже причислить к ней Степной край и Дальний Восток, позже вошедшие в состав русского государства, почти вполне русская страна. В настоящее время в ней не менее 10 миллионов русских. К 1911 году в тогдашних губерниях Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской и в областях Забайкальской и Якутской насчитывалось всего $8^1/_2$ миллионов населения, из коих на долю русских приходилось около $7^1/_2$ миллионов, т. е. 86,5%, а на долю коренных инородцев 927.000, т. е. 10,9%, и на долю остальных пришлых народностей 156.216 человек. В частности, на долю русских приходится в Тобольской и Томской губерниях около 95%, в Енисейской — более 90%, в Иркутской около 80%, в Забайкальской 70%, и только в Якутской области — 7%. На Дальнем Востоке, т. е. в области Амурской, Приморской и Камчатской с северной половиной Сахалина, насчитывалось всего 855.000 человек, из коих на долю русских приходилось 632.500 чел., т. е. 74%, на долю коренных инородцев — 45.800 чел, т. е. 5,4% и на долю других нерусских пришлых народностей 176.600 чел. т. е. 20,6%. Даже в Степном крае, т. е. в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях, к 1911 году насчитывалось около 3.800.000 чел. всего населения, из коих на долю русских приходилось более $1^1/_2$ миллионов, т. е. 40% всего населения. Из этих степных областей наиболее русской была к 1911 году Акмолинская область, в которой было русских 835.441 чел. и киргиз 550.187 чел., т. е. русских было 58%, в Уральской области было русских почти 38% (297.711 на 485.863 киргиз), в Тургайской почти 33.8% (235.480 на 462.669 киргиз), а в Семипалатинской почти 20,6% (174.873 на 675.240 киргиз).

Южная граница сплошного русского населения, принимая во внимание переселенцев двух последних перед мировой войной десятилетий, проходит от города

[1] Краткое изложение выводов моей большой работы «Русские старожильческие говоры Сибири. Исследование и материалы», которая была начата мною в 1917 году в Томске и заканчивается в настоящее время.

Уральска на р. Урале южнее Актюбинска, Орска, Кустаная, Атбасара и Акмолинска, захватывая таким образом в русскую территорию верховья рек Тобола и Ишима, далее подходит к р. Иртышу у г. Павлодара; затем левым берегом р. Иртыша поднимается до границы с Китаем, проходя южнее Семипалатинска и Усть-Каменогорска; переваливает через Алтайские горы южнее Змеиногорска, Бийска и Кузнецка; потом идет южнее Минусинска и Нижнеудинска, захватывая в русскую территорию верховья р. Енисея в Урянхае за Саянскими горами, южнее Иркутска, Троицкосавска и Акши; наконец, по рр. Аргуни и Амуру до г. Хабаровска, откуда поворачивает на юг и идет по р. Уссури и озеру Ханке, западнее Никольска Уссурийского и Владивостока к границе с Кореей.

На север от этой границы в пределах Сибири живет теперь более 10 миллионов русского населения. Оно живет преимущественно еще по берегам рек и вдоль сухопутных путей сообщения и пока занимает широкую (до 600 верст) полосу, идущую изгибами с запада на восток от Урала до Амура вдоль исторического колонизационного московского тракта, который только к 1900 году был заменен во многих местах Сибирской железной дорогой (1891 — 1900). Местами эта полоса суживается или даже прерывается горными массивами и пустынными пространствами, но местами, особенно в Акмолинской области, Алтайской губернии, Минусинском и Урянхайском краях и наконец в Уссурийском крае спускается к югу, захватывая там плодородные земли.

Все русское население Сибири — пришлое. Но разница во времени и в условиях водворения в Сибири сказалась в особом отпечатке на старых и новых засельщиках Сибири, что заставляет делить русское население Сибири на две большие группы, на старожилов и новоселов. Это деление имеет важное значение и при изучении русских говоров Сибири. Выселение русских за Урал распределяется по периодам неравномерно. За три с небольшим века, протекшие со времени военного занятия русскими западных частей Сибири почти до конца XIX века, количество русских, осевших в Сибири, считая даже с естественным приростом, составило немного более половины теперешнего русского населения Сибири (т. е. несколько более 5 миллионов). Меньшая часть (почти 5 миллионов) вышла из Европейской России и расселилась по Сибири (в широком смысле) только в самое последнее время, в последние перед 1914 годом два — три десятилетия.

Русские старожилы Сибири («сибиряки») занимают центральную часть русской полосы. Новоселы заняли края русской полосы, а также селятся, когда это представляется возможным, в особых селениях между старожильческими селениями и даже в особых концах старожильческих селений; но это бывает реже первого.

Новоселы сохраняют в течение нескольких десятилетий различные говоры своей родины в Европейской России. Поэтому об их говорах пока не приходится

говорить. Между тем русские старожилы Сибири успели образовать, под влиянием разных условий крупные и более или менее однородные группы великорусских говоров, которые характеризуются уже общими особенностями. Поэтому в дальнейшем речь будет только о старожилах и их говорах.

Русские старожилы Сибири, составившиеся из потомков русских завоевателей и первых русских засельщиков Сибири, носят на себе следы своего исторического прошлого, отличающие их во многих отношениях от коренного населения Европейской России и от новоселов Сибири. Их характерные внешний вид, умственные способности, нравственный облик, также быт и хозяйство объясняются особыми условиями завоевания окраин, влиянием сибирской природы и вековым соприкосновением с инородческими племенами. Их происхождение и места поселения в Сибири находится в зависимости от времени переселения их в Сибирь.

В конце XVI века, весь XVII век и в начале XVIII века, т. е. в первую половину трехсотлетнего периода, Сибирь заселялась преимущественно, если не исключительно, выходцами северновеликорусских губерний Европейской России. Они селились по северу Сибири, именно по старому водному пути из Европейской России в Восточную Сибирь и по его речным ответвлениям на север и на юг. Вследствие этого и говоры тогдашнего русского населения Сибири были, конечно, преимущественно, северно-великорусские.

Северновеликорусской по происхождению и говору своего русского населения Сибирь оставалась почти до половины XVIII века. К 1755 году были закончены Екатеринбургская, Исетская, Оренбургская, Пресногорьковская и Иртышская линии укреплений. Это дало возможность не только селиться поближе к беспокойным башкирам и киргизам в Западной Сибири, но и пользоваться более южными дорогами через Уральские горы и закончить устоойство через города Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Чаус (Колывань), Томск, Мариинск (Кийское село), Ачинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск до Кяхты с одной стороны и через Нерчинск до Нерчинска Заводского с другой, московского сухопутного тракта, который связал Европейскую Россию с Восточной Сибирью дорогой, более надежной и более скорой, чем прежний северный водный путь. Проведение через всю Сибирь московского тракта, прошедшего южнее прежней речной дороги по местам верст на 200 и более, сыграло громадную роль в деле заселения Сибири русскими. Заселение Сибири русскими значительно усилилось. Изменился и состав русских переселенцев, оседавших по нему и по сторонам его. Только на западе от Кунгура через Екатеринбург до р. Ишима, т. е. почти на одной пятой всего своего протяжения, он заселен северно-великоруссами, которые жили там до проведения тракта или успели поселиться вскоре после его проведения. На остальном своем протяжении, приблизительно от р. Ишима до Кяхты и Нерчинска

Заводского, он заселялся уроженцами не только северных, но и центральных местностей Европейской России. Именно здесь только первые 30—40 лет по своем основании (с 1733 года, а в некоторых местах с более раннего времени) означенный тракт заселялся главным образом крестьянами и ямщиками, переводимыми на него из более северных частей Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний. Позже, начиная с Тарского уезда и вплоть до Кяхты и Нерчинска, он стал заселяться, особенно с 60-х годов XVIII века, людьми разного происхождения и потому разных говоров: 1) ссыльными (с 1754 г.), 2) крестьянами, особенно помещичьими, в зачет рекрутов (указ 13 дек. 1760 г.), 3) раскольниками, выводимыми с 1763 г. из Белоруссии, 4) бывшими солдатами, перечисленными с 1857 г. в казаки. Наиболее многочисленными были помещичьи крестьяне, потом ссыльные и раскольники.

Затем люди разного происхождения и говоров (гл. обр. ссыльные) были селимы по Енисею (на север от Красноярска), по верхнему течению Ангары, в некоторых местах по Лене, подле алтайских и нерчинских и некоторых уральских заводов. Казаками — людьми разного происхождения были заселены Иртышская, Пресногорьковская и, повидимому, Кузнецкая линии.

Поэтому в настоящее время мы находим разные средневеликорусские переходные говоры в южной Сибири вдоль московского тракта с р. Ишима до Кяхты и Нерчинска Заводского, а также по некоторым сухопутным веткам его, в Тобольске, некоторых уральских заводах, по р. Оби, Шегарте и Чулыму (севернее тракта) по Енисею от р. Викта (почти до устья), по верхнему течению Ангары, в некоторых местах Лены (и в Якутске) в Забайкальи, на Алтае, на Иртышской и Пресногорьковской линиях.

Северновеликорусские окающие говоры старожилов уцелели в Сибири по северному водному пути через Сибирь и его подъездным речным дорогам, т. е. по нижнему и среднему (не везде) течению Оби, по р. Иртышу до Ишима, по Ишиму и Тоболу приблизительно до пересечения с Сибирской магистралью на Челябинск, по верхнему течению р. Енисея, по нижнему и среднему течению Ангары, по среднему течению Лены, по р. Яне и Индигирке (не вполне), по Колыме, Анадыру, а также на Камчатке и Охотском побережьи. Северновеликорусские говоры уцелели кое-где и в южной Сибири (в Кулундинской степи, в Минусинском крае); но, окруженные средневеликорусскими говорами, они обречены на превращение в средневеликорусские переходные говоры.

А. Григорьев.

Пряшев.
1924. XII. 27.

Схематизм в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Вчитываясь в произведения наших писателей нового и новейшего периодов, мы часто встречаемся с любопытным явлением, которое можно бы назвать «схематизмом творчества»,[1] назвать хотя бы временно, пока вообще более детальное изучение художественной стороны и техники литературных произведений (до сих пор, кстати сказать, оставляющее огромные возможности и много неисследованного материала) не поможет установить и более подходящий термин и основательное объяснение самого явления. Суть схематизма заключается в том, что творческое воображение писателя иногда бывает до такой степени насыщено образами известного рода, что писатель иногда повторяется, воспроизводя (сознательно или бессознательно) в одном своем произведении или цельные образы или отдельные детали, уже данные им в других его произведениях. Простым повторением или копированием это явление назвать нельзя уже потому, что эти сходные образы и детали в каждом произведении бывают органически слиты с остальными частями единого художественного целого, иногда совершенно иначе, в общем, компонированного, чем более раннее произведение, из которого они взяты. Остается предположить, что схематическое сходство есть результат психических восприятий, прочно угнездившихся в сознании художника и проявляющихся в соответствующих случаях.

---

[1] Термин этот не нов: «схематизмом» в применении к древнерусской литературе обыкновенно называются те агиобиографические приемы, которые состоят во введении в жития некоторых святых подробностей, встречающихся в житиях других святых; таковы, напр., рассказы о соблюдении поста в среду и пятницу святым, когда он еще был грудным младенцем, ношение вериг святым еще в юношеские годы, умерщвление плоти путем предоставления своего тела укусам комаров и т. п. Для объяснения таких случаев сходства житий агиобиографы предлагают две гипотезы: 1) или действительное повторение одним святым аскетических упражнений другого, особенно тезоименного, 2) или простое перенесение, чисто литературным путем, биографических деталей, от одного святого к другому, как средство заполнить содержание жития. Второе предположение более вероятно, особенно в применении к агиографам-профессионалам: их память была обременена таким количеством деталей, что у них создавалось в сознании нечто вроде житийной схемы, которую они заполняли отдельными фактами, часто без заботы о том, насколько эти факты действительно могли быть отнесены к тому лицу, в чье житие вносились.

Бесспорно, наиболее схематичен из всех русских писателей А. К. Шеллер-Михайлов. В романах его схематизм спускается до степени шаблона, известного трафарета: гордая аристократка-бабушка или тетушка; помещик-крепостник с злодейскими замашками; честный идеалист, уже ребенком заявляющий свои стремления к труду и знанию, и т. п. В несколько меньшей степени схематизм заметен и у других писателей. Например, в чеховских повестях «Степь» (т. V по изд. Маркса) и «Барыня» (т. XVII) найдем поляка-управляющего, обирающего свою помещицу; отношение поляков-управляющих[1] к крестьянам представлено Чеховым в отрицательных чертах не только в названных рассказах, но и в рассказах: «Княгиня» (т. VI, стр. 21) и «Он понял!» (т. XVIII, стр. 285 — 294), при чем даже имена часто повторяются: «Казимиры и Каэтаны» («Княгиня», стр. 21), Казимир Михайлович — в «Степи» (стр. 124 — 5), Каэтан Казимирович — в «Драме на охоте» (т. XIX). Повидимому, в основе этих сходных образов поляков-управляющих лежит какой-нибудь один жизненный факт, глубоко запечатлевшийся в сознании Чехова и отразившийся не только в цельных образах Казимира Михайловича («Степь») или Ржевецкого («Барыня»), но даже в случайном упоминании в словах доктора в «Княгине». Из других примеров схематичности у Чехова можно указать еще, напр., хотя бы на сходство тона и настроений в конечной сцене «Дяди Вани» и в прощании Ани с матерью в «Вишневом саду».

Естественно, что и М. Е. Салтыков-Щедрин не мог избегнуть схематизма: с одной стороны, — некоторые впечатления детства были у него очень сильны и давали себя чувствовать неоднократно до конца жизни его; с другой, — реальная жизнь, очевидно, запечатлевала отдельные факты очень ярко, так что сатирику трудно было отрешиться от повторения и припоминания их. Не ставя себе задачею исчерпать здесь все случаи схематизма у Салтыкова-Щедрина, ограничусь указанием хотя бы тех случаев, где повторяемость отдельных деталей и даже цельных образов особенно заметна.[2]

Общеизвестно, что «Пошехонская Старина» отразила в себе очень много семейных воспоминаний Салтыкова. Воспоминания эти, даже в деталях, с детства глубоко запечатлелись в сознании Салтыкова, и отдельные штрихи их являлись

---

1 Вообще любопытно было бы проследить типы поляков в русской литературе: у многих (если не у большинства) русских писателей типы эти безусловно — отрицательны (у Чехова — только таковы), что могло быть вызвано и случайными жизненными встречами и другими причинами, о которых я подробно говорю в 4-ой главе своей книги о Салтыкове-Щедрине.

2 Как ни много писано у нас о Салтыкове-Щедрине, вопрос о художественной стороне его творчества менее всего интересовал наших критиков. Кое-какие наблюдения над этой стороной его творчества можно найти в моей работе о Салтыкове-Щедрине, которая выйдет в свет весною 1927 г. в Трудах Брненского Масарикова Университета.

в его произведениях еще задолго до написания «Пошех. Старины». Таковы, напр., мелкие черты сходства Степки-балбеса в «Господах Головлевых» с братом Степаном в «Пошех. Старине» (напр., интерес того и другого Степана к заготовлению продуктов на зиму); образ хозяйственной помещицы в том и другом произведении (Арина Петровна Головлева и Анна Павловна Затрапезная), повидимому, навеян личностью матери самого Салтыкова,—так же, как по указанию проф. А. И. Яцимирского[1] пустомыслие Иудушки, занятого нелепыми вычислениями, обязано своим происхождением родному брату Салтыкова. Огромное сходство можно найти между Софроном Матв. Хмыловым («Господа Ташкентцы», гл. IV, паралл. 2-ая) и Иудушкой Головлевым. Порфиша Велентьев («Господа Ташкентцы» гл. IV, паралл. 4-ая)—будущий Иудушка, а его мать, по уменью наживать деньги, превосходит и Затрапезную и Головлеву. Найдется сходство и между любимчиком—Гришей (в «Пошех. Старине») и тем же Иудушкой—в детские годы его. Черты ханжества сближают (но лишь отчасти) Иудушку, который каждое утро у себя в кабинете проскомидию служит (гл. II), с отцом Никанора Затрапезного, который занимается тем же делом в тиши своего кабинета.

Трудно сказать, к семейным ли воспоминаниям или к случаям реальной жизни надо отнести и «мнимых мертвецов»—Матвея Хмылова, сказавшегося умершим, чтобы избавиться от каторги («Господа Ташкентцы», гл. IV, паралл. 2-ая), и мужа тетушки Анфисы Петровны Савельцовой («Пошех. Старина» гл. VIII). Несомненно, реальна и деталь, когда крепостной слуга спросонок кочергой в холодной печке мешает (Петрушка Порфирьевский—в «Губернских очерках», гл. III, «Общая картина», и Конон—в «Пошех. Старине», гл. XXI). К области, повидимому, реальных впечатлений уже зрелого периода жизни Салтыкова можно отнести и следующие случаи сходных мест сочинений его: переодевание чиновников[2] в крестьянскую одежду с целью лучшего расследования дела («Губ. Очерки» «Неумелые») и самозванство с целью вымогательства (там же, «Первый шаг» «Горехвостов»); убийство крестьянской девушки пьяными саврасами («невзначай али и для смеху») в очерке «Неумелые» и в драматической сцене «Просители»; духовный разлад между отцами и детьми в семьях Разумовых («Больное место») и Молчалиных («В среде умеренности и аккуратности»);—различные «проекты обновления и т. п. в 8-м «Пестром письме» и в «Дневнике провинциала», и др.

Иногда такое сходство даже дает указание на историю некоторых произведений; так, напр., фабула известной сказки о том, как один мужик двух генералов

---

[1] «Slovanský Přehled», 1906, IX, str. 105.

[2] Любопытно, что в подобном же переодевании с полицейско-сыскными целями А. Лясковский в своей неудачной статье («Беседа», № 5) винит самого Салтыкова. Разбор этих обвинений см. в I главе моей книги о Салтыкове.

прокормил, вероятно, явилась у Салтыкова из мечтаний «Единственного» помпадура («Помпадуры и помпадурши», гл. XI) о том, что было бы с ним, если бы он вдруг очутился на необитаемом острове.

В области фантастической сатиры можно отметить, напр., совершенно аналогичные случаи вскрытия мистификации в главах VIII и IX «Дневника провинциала» (где «статистический конгресс» оказался своего рода провокацией и шарлатанством), — и случай «небывальщины» в 7-м «Пестром письме», где разговоры отставных губернаторов и генералов оказались работою тайного общества «Антиреформенных бунтарей». Кстати, оба эти случая не принадлежат к числу лучших мест сатир Салтыкова.

Из более мелких случаев отмечу хотя бы образ «пустынника», спасающегося среди мирской суеты, но не чуждого и доброй чарки вина и других невинных развлечений: под именем пустынника изображен архиерей и в очерке «Наш губернский день» («Сатиры в прозе», V) и в IX главе оч. «Помпадуры и помпадурши»; признак «хорошего человека доброго старого времени» — «частенько несло от него словно морскими травами» — находим в очерке «Наши глуповские дела» («Сатиры в прозе», VIII) и в IV главе «Помпадуров и помпадурш», и т. п.

Наконец, среди огромного множества пословиц и поговорок, которыми так любил пользоваться Салтыков, у него также есть излюбленные («выше лба уши не растут», «простота хуже воровства» и мн. др.), свидетельствующие о том, что мысль сатирика охотно прибегает к привычным формам.

Пример Салтыкова-Щедрина показывает, что схематизм — это своего рода хождение по излюбленным тропинкам и что мысль писателя (как, впрочем, и вообще всякого человека) охотно пользуется, где можно, уже привычными формами тем более, что часто достаточно одного намека, одного имени, чтобы вызвать у читателя цельный образ или определенный комплекс представлений.[1]

Несомненно, что более детальное изучение аналогичных явлений у других писателей помогло бы в конце концов выяснить сущность одного из довольно частых явлений — схематизма творчества и тем сделать хоть небольшой шаг вперед в той заманчивой области — теории поэтического творчества, — которая еще так далека от прочно-зафиксированных основ.

С. Вилинский.

Брно.
1926. XII. 27.

---

1 Таковы хотя бы Живновский («Губ. очерки», «Сатиры в прозе», «Смерть Пазухина» и др.), Порфирий Петрович («Губ. очерки», «Невинные резсказы», «Сатиры в прозе») и многие другие. Этим же, конечно, нужно объяснить и нередкие у Салтыкова случаи пользования именами чужих литературных героев (Ноздрев, Молчалин, Берсенев, Рудин и другие).

О тексте болгарской рукописи Публичной Библиотеки F. п. I, № 74.

Среди древнейших южнославянских и русских рукописей, содержащих в себе триодные тексты, ркп. Публ. Библ. F. п. I, № 74, XII в. (приобретенная библиотекой у д-ра Шафарика, очевидно — Янка, племянника П. И. Шафарика) занимает совершенно особое место. Сравнение целого ряда списков Цветной Триоди, в том числе и списка, входящего в состав названной ркп. (лл. 133—154), где он следует за Триодью Постной (1—132), показало, что этот список (= Ш) по особенностям своего текста с его архаическим языковым материалом, как—параллельно — и по своему гораздо более краткому составу, более или менее резко отличается от других известных списков Цв. Триоди: Публ. Библ., собр. Верковича, F. п. I, № 102, XIII в. болг. ред. (=О); Хлуд. № 133, XIII в., болг. ред. (=$Х^1$); Хлуд. № 134, 1392 г., серб. ред. (=$Х^2$); Синод. № 27, XII в., с нотн. знаками, русск. ред. (= С); Типогр. № 137, XII в., русск. ред. (=$Т^1$); Типогр. № 138, XII—XIII в., русск. ред. (=$Т^2$) и др. Для меня пока неясен сп. Публ. Библ., собр. Лоб.-Ростовского, F. п. I, № 68, XII в. серб. ред. Из перечисленных же только в $Х^1$ сохранилось значительное количество древних особенностей Ш. Все остальные списки, при наличии в них частных вариантов, дают иную редакцию текста Цв. Триоди, оформившуюся на основе редакции, представленной в Ш, но отличающуюся от последней 1) систематически проведенным исправлением прежнего перевода, 2) новым переводом некоторых элементов его и 3) восполнением текста новым гимнографическим материалом. Из двух этих редакций древнейшая, сохранившаяся в Ш, своими архаизмами ведет нас к эпохе ранних славянских переводов в Болгарии; вторая сложилась вскоре после первой. Отсюда, если ставить себе целью характеристику языка древнего перевода этого памятника, ркп. Шаф. является источником незаменимым. К сожалению, текст Цв. Триоди, главным образом интересующий нас в ней, уцелел только в отрывочном виде, без начала и без конца, вследствие недостающих в рукописи, вырванных листов (между лл. 136 и 137, 138 и 139, 152 и 153).

В *графическом* отношении рукопись сохранила некоторые древнейшие начертания: ѧ на ряду с ѧ, йотир. ѭ, ѩ, ꙗ, ъи=ы, ѯ, стоящее обычно на месте, изредка ѥ. В трех местах по нескольку строк написано глаголицей. В *орфографии* рукописи заметны черты, роднящие ее с более ранними средне-болг. памятниками. Глухие иногда вокализуются в закрытых слогах: ь — чаще в корнях: въшедъ 154, тезнааго 153 об., и суффиксах: мѫжескь 133, вѣнецъ 133; ъ — гораздо реже: смоковно 138 при дъѫ҄ъ 143 об.; префиксы обычно остаются без вокализации: възпи 136 об., въздвиже 136 об. В нескольких случаях ь вокализуется в открытом слоге: крьмечиѫ 153 об. Обычные *ръ, лъ, рь, ль* чередуются графически с *р, л*: мрт҃в 134, влнъı 143. Гл. ъ и ь употребляются без различения, но с преобладанием ъ, обычно стоящего после *р, л*. Замены глухих через ѫ очень редки: стѫза 143 об., мѫгла 138. Мена юсов осуществлена в сравнении с другими средне-болг. памятниками в несколько суженном масштабе, и часто они стоят на старых местах; после *л, н* иногда находим ѭ: истинѭ 142, ѿтлѭчи 149. Остатки носового произношения юсов отразились, повидимому в силу церковной традиции, — в сл. пендикостии 141 и др. Как черту диалектическую, следует отметить замену ѫ через *о* в соугобо 146 об. bis, произносившееся, вероятно, с носовым призвуком, как видно из параллельного тръгоумбо 79 об. Ср. въсхвалимъ ѳомо 136, въспоем таино (О таинѫ), если это не описки. Буква ѣ, часто заменяющая ꙗ, сама заменяется через *а*: слапыѫ 139 об.; прѣдъ станнѣ (от стѣньнъ?) кивотѣ πρὸ τ. σκιώδους κιβωτοῦ 133 (О прѣдь сѣниѧ ковчегомь). Губные часто стоят без l'epentheticum: земѣ 134. Уцелела гр. ск: искѫщ҃ ζητοῦσαι 137. В *морфологии* под значительным слоем живых для писца средне-болг. падежных и др. новообразований нетрудно разглядеть черты старого прототипа: дв. ч. родителѣ 147, твор. ж. р. на ѫ: своѫ благостиѫ 136; ж. р. на *и*: благостыни 137, самарѣнїни 145 об.; прилагат. нечл.: краснами ногами 142 об.; дв. ч. на -тѣ: тръпитѣ ноѯѣ 146 об.; 3 л. аор. стръ 134 об. (О съкроуши) ср. отръ Мар., Асс., Зогр. 3 л. мн. ч. ꙗсѧ (О ꙗшѫ) ἔφαγον 143 об., аор. сильн.: възмогъ 134 об., придѫ ἥκασι 133, ἦλθον 137, ѿврьгѫ ἠρνήσαντο 143 об., тѣшѫ ἔδραμον 133 об.; прич. придѫщоу 152. В *синтаксисе* сочетания типа: сѫщимъ градѣ 144 об.

Сличение текста Цв. Триоди по сп. Ш. с греческим оригиналом (по печатн. изданиям Пентикостаря и по рукописи Аф. Пант. м-ря № 5553—47 XII в., Син. № 285 XII в., собр. Севастьянова Рум. М. № 477, XIII в.) свидетельствуют об очень невысоких качествах перевода: переводчик передает свой оригинал неточно, изменяя его смысл, а иногда ткет свою речь механически, подбирая неподходящие слова. И это происходило не столько от несовершенств греч. оригинала, сколько от спешного обращения с ним и небрежного отношения к греческой итапи-

рующей графике. Примеры: Ш хвалимаа въ свѣтѣ 139, (О вьединена ѥствомь) — ἑνουμένη τῇ φύσει смеш. с ἐπαινουμένη и с φωτί; непобѣдимое 135 (О неизслѣдимое) — ἀνείκαστον смеш. с ἀνίκητος; протививъ ти сѧ 137 об. (О срѣтета) — συναντήσας, смеш. ἀντάω с ἀντιτάσσω; ѿ тлѧ 138 (О ѿ звѣры) — ἐκ τοῦ θηρὸς смеш. с φθορᾶς; добли 138 (О земны) — γηγενεῖς смеш. с γενναῖοι; гнѣвь (О сборь) — δῆμος смеш. с θυμός. Иногда оригинал переводится слишком буквально, в ущерб смыслу: егда наста в чр҃кви 142 (О ꙗкоже приде в ц.) — ὡς ἐπέστη τῷ ἱερῷ; бес покоа 143 об. ἀπαύστως; иногда — аляповато: дѣти стварѣти ἡ παιδοποιΐα 144 (О рождати). Некоторые ошибки первой редакции проникли и в О. Ш рѫкоѫ си испъïтанъ 136 — χαίρεις ἐρευνώμενος, смеш. χαίρεις с χειρί; гъ҃скы хотѧ 136 — χηρίῳ μέλιτος (Син. 285 μελίτου, Севаст. μέλι) = с сотом меда, смеш. с Κυρίῳ и μέλλων.

Таким образом, первый опыт славянского перевода Цв. Триодь был неудачен, и вскоре потребовалось его исправление. Но его словарный материал очень ценен. Из этого материала, прежде всего, выделяется категория оставшихся без перевода греческих слов: аромат 133 об. [О воньꙗ], власфимиꙗ 141 об. [О власть моꙗ (!)], упостась 138 и др. [О съставлениѥ], катапетазма 140, кивот 133, коустодиꙗ 137 об., миро 133 и др., параклит 151, пендикостии 142, велми ада (!) 148 об. — испорч. велиара (Βελίαρ); ср. О велерѣчива (!). Кроме того заслуживают внимания выражения: воды аломенъ (Х[1] алоумены) исплънѧ тѧ 144 об. = ὕδατος ἀλλομένου ἐμπλήρω σε, водѫ живѫ аломенѫ 143 об. где ἀλλόμενον остается без перевода; в О воды текѫщѧ, Х[2] животноу. Глагол ἅλλεσθαι в Зогр. Асс. и др. передается чрез въслѣпати (ср. болг. слапъ, словенск. slap, чш. slup); варианты: истѣкати Остр., въходити Мар., скакати Апост. Переводчик Цв. Триоди оставил алломенѫ, как эпитет к слову «вода», в виду, вероятно, понятности этого эпитета в местности, где был сделан перевод. Ср. также родственное по словообразованию блг. «водоскачъ» — водопад.

Некоторыми существенными своими лексическими деталями перевод связан с древнейшими библейскими переводами, являясь непосредственным продолжением кирилло-мефодиевской традиции. При первом же знакомстве с ним бросаются в глаза: бесѣдовати προσομιλεῖν 143 об., брьниѥ πηλός 147, вьсь миръ κόσμος 144, вѣрѫ ꙗти πιστεύειν 134, искони ἐν ἀρχῇ, искрь πλησίον 149 об., кънигы γράμματα 141 [О писаниѥ], неприꙗзньнъ τοῦ πονηροῦ 139 [О лѫкаваго], права вѣра 153, ꙗзыкъ ἔθνος 149 и др. Есть слова, вызывающие мысль о связи переводчика с моравскими особенностями переводов: вьсемогъıи παντοδύναμος 133 и др. [О вьсесильнъ], сь ѡрѫжиемъ σὺν ἅρμασι 141 об.; интересны: навыкнѫти μανθάνειν 141, крилатъ 153 об. по связи с житием Кирилла и похвальным словом ему. Из слов более редких можно привести: дѣвовати παρθενεῖν

139 об., заладѣти χερσωθεῖν 143 [О прѣсъхнѫти], зьдьнъ (зодьно тѣло) ὀστρακινός 140, изволение οἰκονομία 136 [О смотрѣние], истокъ πηγή 153, назем (=наземьнъ?) βροτός 133 [О чл҃къ], ѡбладаемъ (ѿ ненавидящихъ) πολυπραγμονούμενος 134 [О обльгаемь], постѫпание ἐπίβασις 149 [О въсхождение], провѣстьница προάγγελος 137 об., пригласити προσφωνεῖν 138 [О възгласити], съвазьнь πεπεδημένος 133, съмрькнѫти сѧ — смрьче сѧ свѣть [О помрьче] συσκοτάζειν 137.

Для характеристики двух редакций перевода можно сравнить, напр.: Ш въсѣ тваръ πᾶσα κτίσις 133, О мирь; Ш сьликоуимь συνεορτάσωμεν 133, О сьпраздьноуемь; Ш ищѫще ἐκζητοῦσαι, О взыскаѭще; Ш ѡбїть ἐνειλημένῳ 133 об., О повитомоу; Ш си званъ есть (дьнь) αὐτὴ ἡ κλητή 133 об., О се нарečeнь; Ш дръжа͂ εἶχον 134, О имѣхь; Ш верѣѫ вратныѫ κλεῖθρα τ. θυρῶν 135 об., С заклепи двьрьнии; Ш врѣдъ τραῦμα 135, С строуп; Ш на хладъ εἰς δρόσον, О в росѫ; Ш благостыни γλυκασμός 137, О сладость; Ш гдѣ грѣдеши ποῦ πορεύῃ 137 об., О камо идеши; Ш възрасти ἀναβλαστάσασα, О прозабе; Ш въстанѣте ѿ слезь παυσάσθω ὑμῶν δάκρυα О да прѣстанѫть вашѫ сльзы; Ш мрътва νεκρόν 138 об., О мрьтвьца; Ш стрѣзѣте φυλάττετε 138 об. О сохранили есте; Ш недѫжныѫ ἀσθενοῦντας 138, О немощьныихь; Ш роди βροτοῖς 139, О земни; прѣльщенымъ πλανωμένων 139, О заблѫждьшимъ; Ш пѫть τρίβους 139 об., О стѫзѫ; ѡслабенаго παράλυτον 140, О раслабенаго; Ш скѫта συνέσφιγξε, О ицѣли; Ш грѫжъ βυθίσας, О погрѫзи. В общем, и лексический материал О обладает признаками древности; иногда он дает даже более древние чтения, чем Ш, во всяком случае не уступающие Ш в древности: нарочитъ при Ш славьнъ, обѣщати сѧ при Ш възвѣстити ἐπαγγέλλεσθαι и др. Это говорит о том, что вторая редакция отделяется от первой небольшим периодом времени. Косвенным доказательством ее древности является и то, что текст 2-й редакции лег в основу русского нотного списка Син., который отличается строгим соблюдением древних приемов постановка глухих, если, конечно, вообще нотная обработка текстов не была делом до известной степени искусственным. Нет препятствий 2-ую редакцию относить к эпохе царя Симеона. Ее появление могло быть вызвано малой удовлетворительностью первого перевода, совершенного в конце IX или нач. X века.

Н. Туницкий.

Москва.
1927. XII. 27.

Балканский полуостров в XIII веке.[1]

В греко-славянской политике в продолжение как средних веков, так и нового времени можно наблюдать периоды, заслуживающие глубокого размышления. Никогда нельзя наблюдать равновесия во взаимном положении главных народов, деливших господство на Балканском полуострове. Немалого труда стоило грекам, поставить преграды славянскому элементу в его стремлении к политическому преобладанию. Сомнения насчет того, кому достанется конечное торжество, возможны еще и поныне, несмотря на блистательный успех эллинизма в 1913 г. Банкротство Византийской империи в 1203—4 г. должно быть рассматриваемо как крайнее ослабление эллинизма. Если латинское завоевание Константинополя наносило тяжкий удар эллинизму, то при закономерности исторической эволюции первые роли затем должны бы были перейти к славянам. И в этом отношении выступают чрезвычайно любопытные для исторических выводов наблюдения.

На Балканском полуострове во 2-ю половину XII в. образовались два очага славянского освободительного и национального движения, в сферу влияния коих вошли значительнейшие части, населенные славянами и ославяненными албанцами, валахами и частью греками. Редкая эпоха открывала для славян более ясные и широкие перспективы. Весь полуостров был готов склониться под властью сербов или болгар, и при некоторой дипломатической сноровке гегемония славянского племени могла быть достигнута Асенями и Стефаном Неманей. Первый рядом удачных дел с империей не только освободил восточную Болгарию от византийских гарнизонов, но, перешагнув за Балканы, завладел городами Фракии со славянским населением и подчинил себе бóльшую часть Македонии. Ко времени латинского вторжения только береговая полоса по Мраморному и Эгейскому морям с Адрианополем принадлежала еще империи. Здесь оставалась одна живая политическая и народная сила, которая могла оказать латинянам сопротивление, — это болгаре. Даже следует допустить, что та легкость, с которой царь Исаак и сын его Алексей подчинились

[1] Из V главы III тома неизданной «Истории Византийской империи».

требованиям крестоносцев, до известной степени вызываема была опасностью со стороны болгар. Столкновения между болгарами и латинянами были неизбежны, так как сделанное со стороны Асени предложение полюбовно разделить империю было встречено латинянами высокомерно и с пренебрежением. Тогда для Асени определился новый план, который, при всей его внешней полезности и соответствии с непосредственными выгодами для болгар, не подвинул их, однако, ни на шаг в разрешении исторической проблемы. Асень выступил защитником православия и соединенных греко-болгарских интересов против латинского преобладания и вместе с тем оказался на стороне идеи восстановления оскудевшего греческого царства. Вследствие произведенной им на Балканском полуострове диверсии против латинян, последним не удалось достигнуть прочных успехов в Малой Азии, между тем Никейская империя, где сосредоточились национальные чаяния греков и где образовался центр эллинизма с патриархатом во главе, обязанная своим ростом поддержке со стороны болгар, в ближайшем же времени должна была вступить в борьбу с болгарскими притязаниями.

Роковой ход событий склонялся к невыгоде славян и в другом отношении. Болгарский царь не оказался на высоте политического момента; он стал орудием глухой и веками подготовлявшейся вражды славян к грекам, позволив себе равнодушно смотреть, как его болгаре и союзники их, половцы, обращали в развалины греческие города и селения. Чтобы дать место славянам во Фракии и Македонии, он перевел греческих поселян на север к Дунаю и таким образом усилил славянский элемент на юге. Но эти меры открыли глаза греческим патриотам, которые увидели в усилении болгар больше опасности, чем в латинском господстве. Ни поражение под Адрианополем в апреле 1205 г., где погиб цвет латинского рыцарства и взят в плен король Балдуин, ни новое кровавое дело под Солунью, в 1207 г., где погиб Бонифаций Монферратский, не могли восполнить недостатка политического понимания событий у славянских вождей и не дали им в руки, казалось бы, так близкого и почти уже достигнутого главенства на полуострове.

Для оценки общего положения дел на Балканах, складывавшегося перед латинским завоеванием Константинополя так, повидимому, благоприятно для славян, следует взвесить также условия политической организации сербского племени и взаимных отношений между болгарами и сербами. Нет сомнения в том, что если болгаре мало умели воспользоваться благоприятными обстоятельствами, то и сербы оказались не в лучшем положении. Можно указать на некоторые явления, ставившие сербов вне сферы византийских интересов и сближавшие их с западными политическими и культурными влияниями. Кратко говоря, Сербия более склонялась к угорско-католическим влияниям, а взаимные отношения между болгарами и сербами нарушены были не порешенными спорами из-за границы на Дунае и Мораве.

Но еще больше слабое влияние Сербии в событиях объясняется раздорами между сыновьями Немани, Волканом и Стефаном, равно как политическим и церковным раздвоением между Сербией приморской и континентальной, между Зетой и Рашкой. Политика Сербии подпала под сильное влияние Угрии, которая, подобно позднейшей Австро-Венгрии, не могла допустить образования большой славянской державы и всячески содействовала развитию сепаратизма между сербскими областями. Так произошло, что сочетание благоприятных для славян обстоятельств не было ими использовано и что политический момент, подобного которому нужно было ждать не одну сотню лет, не был ими вполне оценен и в конце концов не принес им тех выгод, какие определялись взаимным положением политических партий.

Ф. Успенский.

Ленинград.
1926. XII. 28.

Из области топографической ономастики южного Поволжья.

(«Саратов»).

В пестрой сети наших топографических названий встречаются такие, за которыми укрепилось убеждение, что одни из них—финского (как напр. Волга, Москва-река), другие—тюркского происхождения. Между тем лингвистический анализ их—с одной стороны, глубокая древность—с другой, дают некоторое основание думать, что далеко не все из этих названий восходят к финскому или тюркскому языковому источнику.

К таким названиям, по моему, прежде всего, принадлежит имя г. Саратова, обычно принимаемое за татарское *Сары-тау*—*Желтая гора*. Действительно, можно-ли сомневаться в справедливости этого? Саратов втиснут в узкое пространство между горами правобережья, среди которых, на переднем плане, выделяется *Соколова гора*. Представляя собою довольно пестрое сочетание цветов, эта гора, при известном желании, может быть принимаема за *желтую*. Однако, при анализе названия «Саратов», обычно упускается из виду то обстоятельство, что Саратов, как утверждают, раньше находился на *левом* берегу, и, как показывают его развалины,—в устьи незначительного притока Волги, речки *Саратовки*. Принимая во внимание, что многие города и селения (не исключая и «белокаменной» Москвы) получили свое имя от рек, на которых они были основаны, надо думать, что и Саратов не избегнул той же участи, и носит кличку от имени реки, близ устья которой он некогда стоял. Но ведь и Саратовка могла быть названа по «желтой» горе, возвышающейся с противоположного берега! Это замечание могло бы быть убедительным, если бы не было некоторых обстоятельств, позволяющих усомниться в этом. Прежде всего, название *Саратовки*, в такой огласовке, надо думать пòзднее, и явилось под влиянием *Саратов*; можно предположить более древнюю форму *Sarat(a), *Sarat(i), или *Sarāt(u).[1] Близкое к подобной огласовке название

[1] Назв. Саратова в нек. селен. Р. Немцев Поволжья: «Sàratu(į)» видимо сохранило старое ударение и, может быть, огласовку. Ср. «*Сара́тай*», «пра *Сара́тай* гаварять», «ой харўóш гóрад *Сара́тай* при рѣкіé Волги живётъ». Сборник Отд. Русск. Яз. и Слов., т. XCV, № 1, стр. 49.

и имеют две реки: *Сарата* — река в Бессарабии, и *Сарата*, один из притоков р. Прута.[1] И если приток Волги в действительности получил названье от *«желтой горы»*, то есть-ли уверенность в том, что другие одноименные реки получили клички по тому же самому основанию? Не следует-ли сделать попытку поискать других оснований, по которым названные реки могли получить названия. Блестящие достижения археологических розысканий последних лет, с определенностью говорят, что кроме культур тюркской и финской, юго-восток Европы знал и другие культуры. И другие культуры, как и названные, не могли не отложить здесь следов своего пребывания, не только в виде материальных реликтов, но и в местной топографической ономастике. И действительно, древнейшее название Волги, донесенное нам от древности не только в виде греческого Ῥᾶ, но и мордовского *Раḃа* или *Раʸ*, восходит к *арийскому* основанию. Пребывание арийцев, и позднее — иранцев, могло оставить свой след не только в названьи самòй Волги, но и некоторых ее притоков. Анализ речных названий приводит к мысли, что в древности многие реки назывались просто «вода», «текучка» (=«ре(ч)ка», «ручей») и т. п.; ср. название Волги Ῥᾶ, восход. к о.-и.-е. *svoua (√s(e)veu̯ — «течь»); ср. *«Дон»* (древ. Tanais) — по осет. «вода»; ср., наконец, столь употребительное у нас «ре(ч)ка», вместо названия реки.[2]

Переходя к лингвистическому анализу предполагаемого первоначального элемента в названьи реки *Саратовки* *Sarat, мы думаем, что оно восходит к тому же арийскому основанию, из которого является др.-инд. √sr-sar-sār- = «двигаться, *течь*»: др.-инд. sárati («течет»), sarini («ручей», «канал»), sāra (м. «вода») и проч. Таким образом, если в первоначальном элементе названья Саратовки видеть форму part. praes., то она просто означает: *«текучая»* = *«текучка»*, т. е. *«ре(ч)ка»*. Следовательно, и в основной части названья *Саратов*, получившего имя от этой реки, естественнее было бы видеть *индоиранский*, чем *тюркский* элемент. Названье Саратовки, в древней огласовке, могло перейти от арийцев (индоиранцев), к волжским финнам,[3] и от них — к нам.

Н. Мадуев.

Саратов.
1926. XII. 29.

---

[1] Видимо сюда же можно отнести: р. *Серет*, р. *Серета*. (Кн. Бол. Черт.), и может быть *Сороть* (К. Б. Ч.).

[2] Ср. р. *Аа*: aha — ahva = aqua (вода).

[3] Ср. сохр. древ. назв. Волги *Раḃа (Раʸ)* у мордвы.

Несколько замечаний о словенско-мадьярской этнографической границе XIX в.[1]

Словенско-мадьярская этнографическая граница — от Братиславы до Ужгорода — *не является границей непрерывной*. Это результат истории.

Оставляя в стороне более старое время, припомним судьбу Угрии съ XVI в. Со второй его четверти до конца XVII в. происходило передвижение с юга на север населения, спасавшегося от турок. С конца XVII в., главным образом после умиротворения Угрии Сатмарским миром 1711 г., наблюдается обратное движение с севера на юг, как возвращавшихся на свою родину потомков беженцев с юга, так и переселенцев — словаков и русских, ищущих счастья на благодатной и мало заселенной угорской «Дольней земле» (Alföld).[2] Устройство поверхности северной Угрии предопределило и более удобные *пути* этих передвижений, и эти пути в течение столетий стали у населения *традиционными*. В пространстве этих путей находим наибо́льшую пестроту этнографической карты, наибольшее количество смешанных поселений.[3]

Назовем эти пути *прорывами* границы. Их всего *три: два двухсторонних и один односторонний*.

Первый двухсторонний прорыв ведет с юго-востока из-за Дуная в неокаймленной болотами и воложками его части между Остригомом (Gran, Esztergom) и Комарном[4] на северозапад в широкий промежуток между болотистой и заливаемой водой низменностью[5] от нижнего Вага до Дуная на югозападе и подходящими на

1 Предлагаем отрывок из «Введения в исследование по исторической демографии Словенской и Карпатской Руси».

2 См. A. Petrov, Kdy vznikly ruské osady na uherské Dolní zemi? (Čes. Čas. Hist., 1923, XXIX).

3 Чтобы в этом убедиться, достаточно беглого взгляда на любую этнографическую карту.

4 Ср. Chaloupecký, Staré Slovensko. Bratislava 1923, 108—110.

5 Не следует забывать, что природные препятствия гораздо более давали себя знать в прошлые столетия.

северовостоке к Златым Моравцам и городу Нитре отрогами Карпат — и обратно в том же направлении к Дунаю и за Дунай.

Второй двухсторонний прорыв имеем на востоке: с юга на север и северовосток и обратно в пространстве между Буковыми горами (Bükk hegység) у Мишковца (Miskolcz) и рекой Тисой — по правому берегу Тисы, потом широкой долиной Горнада между горами Гнилецкими на северозападе и Токайскими Верхами (Hegyalja) и болотистым Прибодрожьем (Bodrog köz) на юговостоке — до Кошиц и далее на север долиной р. Торисы и на восток в Земплинскую сто́лицу в долины рр. Бодрога, Топлы и Ондавы чрез удобные проходы между пологими отрогами Верхов Токайских с юга и Сланских с севера.

Третий односторонний прорыв наблюдаем на западе Новоградской сто́лицы. Движение населения с юга на север преграждено здесь массивами Словенского Рудогорья и далее Низких Татер, на юг же открывался удобный проход между гораздо более низкими горами Матры и Берженя (Börzsönyi hegység). На приблизительно 60-ти километровом пространстве между городами Пастуховом (Pásztó) и Новоградом мало препятствуют движению на юг низкие Черґатские горы (Cserhát).

Сообразно с этим словенско-мадьярская граница делится на следующие участки:

1) Непрерывные границы от Братиславы до Моченка Нитрянской сто́лицы.

2) Первый двухсторонний прорыв между Моченком и Тайна-Шаровцами Тековской сто́лицы. Здесь с одной стороны в словенскую территорию в северозападном направлении проникают мадьярские и смешанные острова до сел Лефантовца и Збеги, с другой — словенский выступ на юговосток в Нитрянской сто́лице, переходящий в сто́лицы Тековскую, Остригомскую и Комаренскую и далее в виде островов за Дунай в сто́лицы Остригомскую и Пештскую.

3) Непрерывная граница с изгибами параллельно горам от Левиц до Ебецкова Новоградской сто́лицы.

4) Односторонний прорыв — славенский выступ, идущий на юг от Ебецкова по столице Новоградской, далее переходящий в сто́лицу Пештскую и в виде большого острова спускающийся далеко южнее Будапешта.

5) Непрерывная граница, идущая параллельно горам на северовосток от села М. Злевце Новоградской сто́лицы до села Угорна на границе сто́лиц Гемерской и Спишской.

Далее Словаков и Мардьяр разделяет немецкий остров (Göllnitz, Einsiedel, Metzenseif и др.). Словенско-мардьярская граница начинается вновь лишь в Абауйской сто́лице:

6) Непрерывная граница от Подпроча до Шацы.

7) Второй двухсторонний прорыв от Шацы до Кучан Земплинской сто́лицы: мадьярские поселения вдаются в словенскую территорию на север в Абауй-

ской сто́лице до Кошиц, в Земплинской почти до Требишова, словенские же поселения — на юг в мадьярскую, сначала в виде выступа, потом в виде островов в сто́лицах Абауйской и Боршодской до Мишковца и даже южнее, в Земплинской — до городков Земно (Zemplény) и Н. Место под Шатором (Sátoralja Ujhely). В этом выступе среди словаков и мадьяр появляется третий этнический элемент — карпато-русский.

8) Непрерывная граница от Петриковец в Земплинской сто́лице до Ужгорода.

А. Петров.

Прага.
1926. XII. 15.

О гербе суздальских князей.

Академик А. И. Соболевский, в своей статье о медных «Лихачевских» вратах,[1] высказал предположение, что изображение зверя ввиде леопарда на стенах суздальско-владимирских храмов было родовым знаком суздальско-ростовских князей, начиная с Андрея Боголюбского; при этом акад. А. И. Соболевский признал возможность наличия герба рюриковичей.

Мы полагаем, что можно привести два факта в подтверждение высказанного предположения.

Об одном мы уже писали,[2] а потому скажем лишь вкратце. В 1152 г. Юрий Долгорукий заложил «в свое имя» город Юрьев Польский и в нем каменную церковь св. Георгия. Внук Юрия, Святослав Всеволодович, разобрал обветшавшую церковь и в 1230—34 гг. выстроил новую, украшенную снаружи каменной скульптурой ввиде рельефов. Тверская летопись уверяет, что мастером был сам князь. Над порталом сохранившегося от XIII в. северного притвора, под килевидной тягой, находится рельефное изображение стоящего en face св. Георгия, давшего имя храму и тезоименитого первому создателю храма. На овальном с заострением щите св. Георгия, стоящем на земле и поддерживаемом левой рукой святого, изображен бегущий зверь указанного выше типа (см. рис. 1). Житие св. Георгия не оправдывает этого изображения, что смутило С. Фраткина, описавшего и отлично издавшего рельеф.[3]

Известно, что родовые гербы на Западе обычно изображались на щитах рыцарей. Святослав в фигуре св. Георгия не хотел ли подчеркнуть память о деде, дав княжеский герб на щит святому воину, соименному деду? Эта, в западном духе, затея вполне была возможна в эпоху, когда, повидимому, западное влияние в суздальско-владимирском княжестве уже не было новостью.

Другой факт.— В Ярославском Историко-Археологическом Музее хранится замечательное пергаменное, так называемое «Федоровское» евангелие, перешедшее в Музей из Ярославского Архиерейского дома. Существует мнение, что в Ярославль евангелие попало из Ростова, при переводе кафедры в Ярославль в XVIII в.

[1] См. Русская Икона, 1914, I, стр. 58—61.
[2] См. Среди Коллекционеров. М. 1924, № 5—6, стр. 38—39.
[3] См. Светильник, 1915, № 9—12, стр. 84—96.

Однако, никаких данных для этого утверждения нет. Время рукописи обычно определяют XIII веком. Сделанные нами палеографические наблюдения говорят или о самом конце XIII в. или, скорее, о начале XIV в. Развитой тератологический орнамент, с необычным обилием золота, говорит за то же время и никак не за новгородскую область, а скорее всего для этой эпохи, за суздальско-владимирскую.

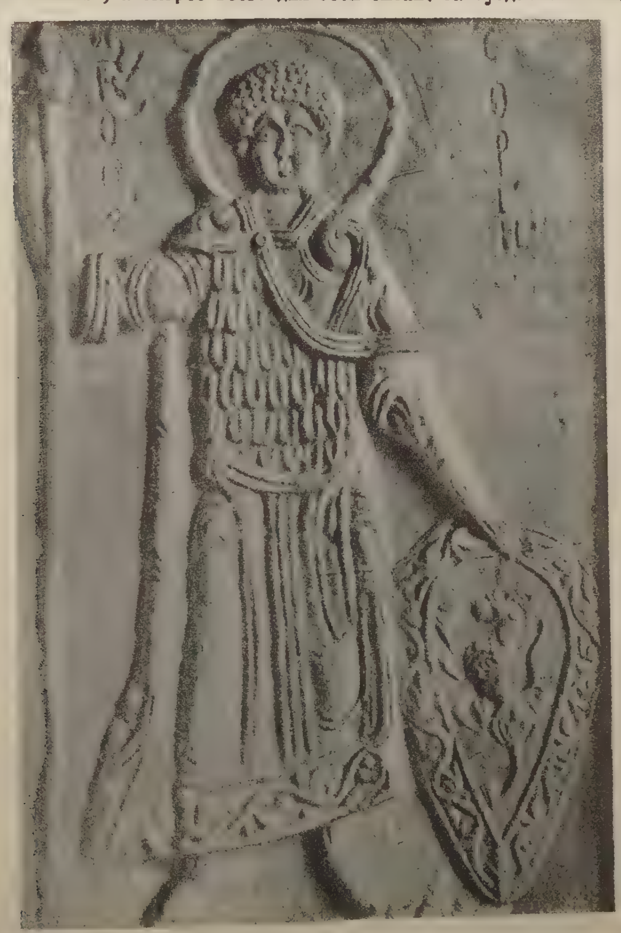


Рис. 1.

Евангелие имеет пять миниатюр, из которых четыре изображают евангелистов. Наиболее замечательно изображение Матфея, выполненное в живописном стиле, на фоне как бы храма, представленного в ортогональной проекции своего фасада, — разработанного орнаментально; вся миниатюра и означенный архитектурный фронтиспис находят себе аналогию в роскошных миниатюрах Изборника Святослава 1073 г., как бы воспроизводящих блеск и систему перегородчатой эмали. Миниатюра нашего евангелия является позднейшим отражением указанного типа и лишний

раз доказывает давно установленную наукой связь искусства суздальско-владимирского с южно-русским, унаследование первым художественных традиций второго. Принадлежность Ярославского евангелия Суздальщине более, чем вероятна.

Изображения трех последующих евангелистов порывают с этими традициями и, очевидно, относятся к местной, более примитивной и более графической, школе;

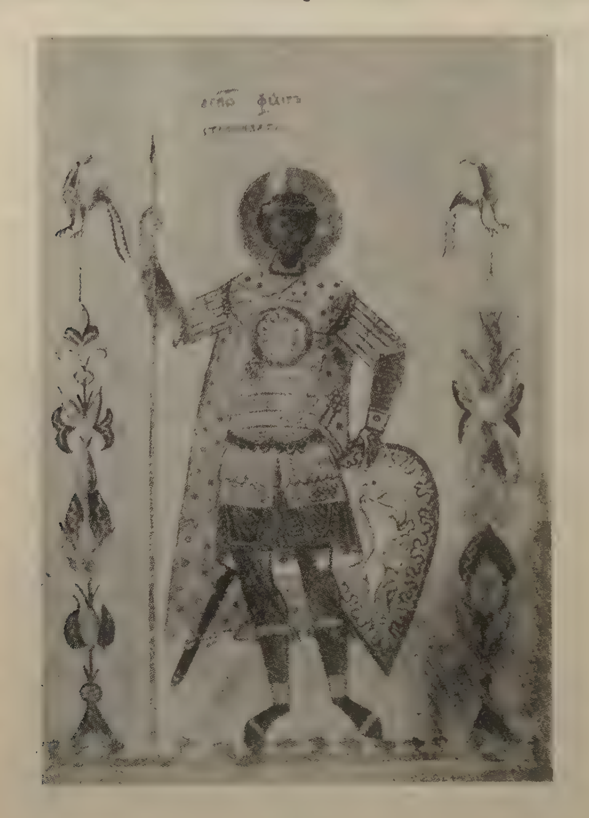


Рис. 2.

они имеют себе две параллели: от времени предшествующего — замечательную икону Спаса поясного, из Ярославского Успенского собора, первой половины XIII в., по преданию — моленную икону ярославских князей Василия (1238—49) и Константина (1249—57);[1] от времени последующего — миниатюры евангелистов из евангелия Галича Костромского, 1357 г., очень примитивной, даже грубоватой работы.[2]

[1] См. А. И. Анисимов. Реставрация древней русской живописи в Ярославле. М. 1926, стр. 3—4, 12, рис. на стр. 5.

[2] См. Н. П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания. Ч. II, № 738.

В начале Ярославского евангелия, на обороте особого листа, отлично выполнена, в стиле изображения Матфея, но без его архитектурного фона, фигура стоящего в рост св. Феодора Стратилата. Вышеуказанное положение миниатюры, так сказать, лицом к рукописи, и ее совершенно ничем не мотивированное появление в евангелии находит себе объяснение лишь в предположении, что изображенный святой имеет какое-то отношение к владельцу рукописи.

Левой рукой святой поддерживает овальный щит, как и вышеупомянутый св. Георгий на стене собора Юрьева Польского, а на этом щите изображен бегущий зверь совершенно того же вида, как у св. Георгия, и вообще на суздальско-владимирской скульптуре (см. рис. 2). Так как из жития Федора Стратилата появление на щите леопарда или барса не объясняется, то складывается предположение, не имеет ли и здесь щит святого воина изображение герба владетельной особы из числа князей суздальского рода? Роскошь выполнения рукописи чисто княжеская.

В 1294—99 гг. в Ярославле княжил Феодор Черный; после его кончины в течение более двух десятков лет княжил сын его Давид (скончался в 1321 г.). За пределы этой хронологии нельзя вынести Ярославское евангелие. Повидимому, оно было выполнено Давидом в память отца, тезоименитый святой которого изображен в начале книги. Ближайшим же припоминанием о покойном князе явился княжеский герб на щите святого, какой мы, также в качестве памяти о покойном князе, видели на щите св. Георгия в скульптуре Юрьева Польского.

Нам кажется, что без приведенных нами объяснений факт появления изображений бегущих зверей ввиде леопарда на двух вышеуказанных памятниках искусства останется непонятным.

Древнейший пример герба суздальских князей, очевидно, — те кошачьи маски, которые сохранились на стенах церкви в Боголюбове, частично дошедшей до нас от 1156 г.[1]

Смешение священного изображения с аттрибутами земного значения и власти на произведении искусства, выполненном в память покойного князя, не должно нас смущать. Мы уже имели случай показать нечто более сильное: великий князь киевский Изяслав велел в 1060—62 гг. выполнить скульптурное изображение своего покойного отца Ярослава, придав ему черты священного лица внесением специальных аттрибутов.[2]

А. Некрасов.

Москва.
1926. XII. 30.

---

1 См. нашу вышеупомянутую статью в журнале «Среди Коллекционеров», стр. 37.

2 Гельєфні портрети XI століття. — Науковий Збірник за рік 1925, XX, стр. 16—40.

Конструкции с предлогом *«из»* у Лермонтова.

Не приходится доказывать важность частных синтаксических описаний. Только они дадут в конце концов возможность построить синтаксис русского языка. Описание должно основываться на статистике; иначе нельзя получить точного представления о распространенности того или другого синтаксического явления. Синтаксическая система, которая лежит в основе этого описания,[1] изложена в моем «Очерке синтаксиса русского языка» (М.-П. 1923).

Всего мною собрано в прозаических и стихотворных текстах Лермонтова 579 примеров; из них:

I. Глагол, предлог *«из»* и родит. п.	386 (67%)
II. Имя, предлог *«из»* и родит. п.	182 (32%)
III. Эллипсисы	11 (1%)

В глагольной конструкции (I) порядок слов такой:

	в прозе	в стихах	вместе
1) Глагол, предлог *«из»*, род. п. . .	194 (74%)	66 (53%)	260 (67%)
2) Предлог *«из»*, род. п., глагол . .	68 (26%)	58 (47%)	126 (33%)
	262	124	386

Тот и другой порядок слов встречается в определенных категориях, которых здесь, ради краткости, не рассматриваю. Отличие соотношения между первым и вторым порядком слов в прозе (74% и 26%) и в стихах (53% и 47%) связано с метром и рифмой в стихотворной речи, на чем останавливаться не буду.

Примеры: 1) «Я вчера слышала, что они *приехали из Москвы*» (Кн. Лиг.). 2) «Вот смотрю: *из леса выезжает* кто-то на серой лошади»... (Гер. н. вр.).

[1] Описание здесь очень сокращено. Целиком оно войдет, как отдельная глава, «Синтаксис Лермонтова», над которым я работаю.

При первом порядке слов непосредственное следование слов словосочетания преобладает (56%; напр.: ...«я *вытащил из чемодана* два походных стаканчика»... Бэла); чаще всего разделены слова словосочетания одним словом (...«и досада заставляла плакать, *вырывала* иголку *из рук*»... Горб.-Вад., 20); редко — более, чем тремя словами («Немудрено, что ты меня не понимаешь; ты *вышел* двумя годами прежде меня *из пансиона*»... Mensch. u. L.).

Преобладание непосредственного следования («Вот подъехала карета, *из нее вышла* дама» Кн. Лиг.) и при втором порядке слов (52%). В стихотворном языке непосредственное следование при первом порядке слов в 46%, при втором — в 32%. Таким образом, в стихотворном языке больше вставок между словами словосочетания.

Функции: I. Самую частую функцию можно назвать по значению родит. пад. с предлогом — *местною:* родит. п. с предлогом «из» обозначают отправный пункт движения или вообще действия: «Мы *вышли из сакли*» (Бэла). «Доктор *вынул из кармана* серебряную монету и поднял ее кверху» (Кн. Мери). Таких случаев 75%; в половине из них глаголы с приставкою *вы-* (чаще всего «выходить»).

II функцию характеризует то, что родит. пад. с предлогом «из» обозначает материал, предметы, из которых что-нибудь изготовлено, состоит: «Вот мы... добрались до скудного приюта, *состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника* и обведенных такою же стеною» (Бэла). «Чертоги пышные *построю из бирюзы и янтаря*». Таких случаев всего 6%. Чаще всего употребляется глагол «делать».

III функция — *причинная:* «Княгиня *из вежливости обратилась* к Красинскому с некоторыми вопросами» (Кн. Мери). «И кланяйся сейчас передо мной, Чтоб я тебя *из жалости простил!*... (Исп., 17). Таких случаев 9%; интересно, что почти в половине этих случаев родит. пад. с предлогом «из» стоит перед глаголом.

IV функция — действие и способ его совершения: «Он стал *стучать* в дверь *изо всей силы*»... (Фат.). Сюда относятся только три случая (в прозе).

V функция — действие и орудие, при помощи которого оно совершается: «Если я *выстрелю из пистолета*, — сказал я ему, то беги на берег» (Тамань). «Мы *пьем из чаши* бытия С закрытыми очами»... (Чаша жизни). 5 примеров в прозе, 1 — в стихах.

В *именной конструкции* (II, см. начало статьи) *порядок слов* такой:

	в прозе	в стихах	вместе
1) Имя, предлог «из», родит. п. ...	129 (97%)	38 (77%)	167 (92%)
2) Предлог «из», родит. п., имя ...	4 (3%)	11 (23%)	15 (8%)
	133	49	182

При первом порядке слов непосредственное следование («Ты заметил-ли зловещий шопот народа при *выходе из церкви*»... Горб.-Вад.) преобладает и в прозе (63%) и в стихах (61%). Случаев второго порядка слов мало — о них не говорю.

Функции: 1. *Партитивная* — то, что обозначено именем, составляет часть того, что обозначено родит. пад. с предлогом «из»:

«*Один из них* был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский» (Кн. Лиг.). «Большая *часть из них* не привыкла к женскому обществу» (Кн. Лиг.). «Ее *душа* была *из тех*, которых жизнь одно мгновенье невыносимого мученья»... (Демон). Таких случаев — 80%; в прозе они встречаются чаще, чем в стихах; наиболее употребительный тип — «*один из них*».

II функция *(местная)* параллельна I-ой глагольной: «Я уверен, что накануне *отъезда из* отцовской *деревни* он говорил»... (Кн. Мери). Всего 9 примеров. Имена, большей частью, отглагольные.

III функция: родит. пад. с предлогом «из» указывает на происхождение того, что обозначено именем: «А бис его знает! крымский татарин, *лодочник из Керчи*» (Тамань). «О женихи! о бедный Мосолов! Как не вздохнуть, когда тебя найду, педантика, из рода петушков, средь юных дев, как будто бы в саду»... (Бульвар). 14 примеров.

IV функция: родит. пад. с предлогом «из» обозначают материал, из которого изготовлено то, что обозначено именем: «Ужасно сидеть в белой *клетке из кирпичей*»... (Горб.-Вад.) «Поставь над нею *крест из клену*»... (Завещание). 11 примеров.

В пяти случаях родит. п. с предлогом «из» сочетается с прилагательным: «*Самая волшебная из волшебных сказок* у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности» (Гер. н. вр., 188).

Незначительно количество эллиптических выражений: 11 (5 — в прозе, из них 4 — в драматических произведениях; 4 — в стихах, 2 — в заголовках и подзаголовках стихов).

В трех случаях глагол легко восстанавливается из непосредственно предшествующего контекста, напр.: «Из чего я хлопочу? — *Из зависти* к Грушницкому?» (Кн. Мери). В остальных случаях этого сделать нельзя, напр., «Богаты мы, едва *из колыбели*, ошибками отцов и поздним их умом»...

Вот что мы находим у Лермонтова. Так ли было у его современников, предшественников и последователей? Это-вопросы, которые могут быть разрешены тем же методом статистического описания.

М. Петерсон.

Москва.
1926. XII. 29.

К истории слова «нигилизм».

В ряду многочисленных заимствований и приобретений, сделанных русским словарем в 60-ые годы, слово «нигилизм» занимает совершенно особое место, в силу того значения и влияния, какое оно имело в течение нескольких десятилетий; его происхождение, история и позднейшая судьба настолько примечательны, что оно заслуживало бы специальной биографии. Известное уже в первые годы XIX века, оно долго странствовало по философским трактатам, лишенное постоянной и яркой смысловой окраски, изредка употреблялось и в критических и полемических статьях, но его настоящая история начинается только с того момента, когда Тургенев применил его к типической психологии шестидесятника: внезапно, с чудодейственной быстротой, оно приобрело новый смысл и силу влияния.

Общеизвестно то место «Литературных и житейских воспоминаний» Тургенева, где он сам называет себя создателем нового термина. Современники его также нисколько не сомневались в этом, и на Тургенева вскоре возложена была вся ответственность за его необычайный успех. «Из всего, что есть в романе Тургенева, *слово нигилизм имело самый громадный успех*», свидетельствует Н. Н. Страхов в статье 1863 года. Оно было принято беспрекословно и противниками, и приверженцами того, что им обозначается. Теперь это имя повторяется в печати ежедневно и ежемесячно нескончаемое число раз».[1] Очень любопытно и другое, более позднее свидетельство—П. В. Анненкова, который говорит, «что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, *хотя вовсе и не новое,* но отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили, — нигилизм. Мы не покидаем надежды рассказать впоследствии все то зло, все те огорчения, какие это слово внесло в жизнь своего автора».[2]

---

1 «Время», 1863, январь. Ср. Н. Н. Страхов «Из истории литературного нигилизма», СПб, 1890, стр. 202—203.

2 «Вестник Европы», 1885, IV, 505. Этот замысел остался неосуществленным: Анненков умер два года спустя.

Глухое указание Анненкова на то, что слово *нигилизм* было «вовсе и не новое» едва ли тогда обратило на себя внимание: до 80-х годов никто не сомневался в том, что его настоящим изобретателем был Тургенев; наконец, оно настолько освоилось в языке со значением, вложенным в него Тургеневым, что по справедливости могло считаться его изобретением; предшествующее значение забылось. Мы увидим далее, сколько хлопот стоили розыски случаев его раннего употребления. Много позднее доискались, наконец, что впервые в русской литературе оно встречается у Надеждина. Но до сих пор, кажется, роль его в западно-европейской литературе представляется еще мало выясненной. Характерно, напр., что европейские исторические словари и справочники ведут его происхождение из русского языка[1] или прямо относят его авторство к Тургеневу.[2]

Средневековая теология знала термин «нигилианизм» для обозначения еретического учения, отвергавшего человеческую природу Христа и сомневавшегося в его историческом существовании; относительно же формы «нигилизм», произведенной от того же латинского существительного с греческим окончанием, еще Darmsteter указал,[3] что оно впервые встречается у Мерсье, известного автора «Tableau de Paris», в его словаре неологизмов 1801 года. Действительно, в «Néologie» Мерсье мы читаем следующее: «*Nihiliste* ou *Rienniste,* qui ne croit à rien, qui ne s'interesse à rien. Beau résultat de la mauvaise philosophie qui se pavane dans le gros. *Dict. encyclopédique*. Que veut elle faire de nous? Des nihilistes».[4] Слово, предложенное Мерсье, удержалось в языке: оно изредка употреблялось во французской литературе в первой половине XIX в. для обозначения крайностей скептической философии: в этом смысле его знают Гюго, Жерюзе и Прудон.[5]

Слово «нигилизм» известно и немецкой литературе начала XIX века: кажется, Якоби вводит его в философскую терминологию, однако в значении крайности идеализма («Der Idealismus in der Philosophie ist *Nihilismus*» — Fr. H. Jacobi, Werke, III, S. 44, An Fichte, 1799).

В том же смысле его употребляют, напр., *Жан Поль* в своей эстетике и создатель системы «Трансцендентального синтетизма» — *Вильгельм Круг* (1770—1841). Последний противопоставляет нигилизм материализму, и видит в нем лишь крайнее

---

[1] A. Hemme «Das lateinische Sprachmaterial im Wortschatze des deutsch., französisch. und engl. Sprache», Lpz. 1904, S. 566.

[2] K. Oldenberg «Der Russische Nihilismus», Lpz. 1889, S. 189. Ср. статью I. Schmidt «Der russische Nihilismus und Iwan Tourgenjew»—«Preussische Jahrbücher» 1880, B. 45, S. 313.

[3] A. Darmsteter «De la création actuelle des mots nouveaux dans la langue française», Paris, 1877, p. 212.

[4] Mercier «Néologie ou Vocabulaire des mots nouveaux dans la langue française», Paris, an IX, t. II, p. 143.

[5] Примеры даны у Larousse «Grand Dictionnaire Universel», t. XI, p. 1003.

проявление идеалистической мысли, предполагающей идею, как нечто первое, абсолютное, и из нее усиливающейся объяснить происхождение действительности. В известном философском справочнике Круга (1828) мы встречаем следующие, посвященные ему, разъяснения: «Nihilismus ist eine in sich selbst zerfallende Behauptung. Das Ich, welches etwas behauptet, muss sich doch wenigstens selbst als etwas setzen. In dessen würde freilich ein durchaus consequenter *Idealismus* wenigstens mit dem Nihilismus beginnen müssen».[1] Еще в 1866 году С. Гогоцкий, в специальной статье пытался разобраться в различных философских значениях и противоречиях, какие допускает этот термин.[2]

С таким же колеблющимся и неопределенным значением слово вошло и в русский язык. Кажется, впервые в русской литературе оно встречается у Надеждина, в статье «Сонмище нигилистов» (1829), направленной против Пушкина и его литературной группы,[3] на что в свое время уже указали Ив. Иванов[4] и М. И. Михельсон.[5]

Слово «нигилизм» могло удержаться в русском языке уже потому, что статья Надеждина произвела слишком большой шум в литературных кругах. Во всяком случае, спустя несколько лет мы встречаем его как у преемников Надеждина на критическом поприще, так и у его литературных врагов. В «Московском Телеграфе» в статье *Анонима* (Н. Полевого), направленной против издателя «Телескопа», встречается, между прочим, такая фраза: «этот журнал издается сочинителем известных статей «Вестника Европы», в которых обвиняли русских писателей то в проповедании *нигилизма,* т. е. *материализма,* то в срамных картинах, то в нелюбви к отечеству». Полевой или действительно не понял Надеждина, или умышленно извратил его мысль: на то, что Надеждин употребил слово нигилизм не в смысле материализма, как его понимал Полевой, но как синоним слова «ничтожество» указал в свое время Аполлон Григорьев. «Слово «нигилист», пишет он, не имело у него (Надеждина) того значения, какое ему придал Тургенев. «Нигилистами» он звал просто людей, которые *ничего не* знают, *ни на чем* не основываются в искусстве и жизни».[6]

---

1 Я пользовался Лейпцигским изд. 1833 г. (W. T. Krug «Allgemeines Handwörterbuch des Philosophichen Wissenschaften», Bd. III, S. 63).

2 С. Гогоцкий «Философский лексикон», Киев, 1866, т. III, 556—565 (S. v. «Нигилизм»).

3 «Вестник Европы» 1829, № 1 и 2. Перепеч. при Полн. Собр. Соч. В. Г. Белинского, ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 475—491. Надеждин едва ли знал это слово в его западноевропейском значении. Источником его словообразования были непосредственно классические языки.

4 «И. С. Тургенев», СПб. 1896, стр. 91.

5 «Ходячие и меткие слова», изд. 2-ое, СПб. 1896, стр. 265.

6 «Мои литературные и нравственные скитальчества» — «Эпохи», 1864, № 3, стр. 155. Ср. соображения Н. К. Козмина «Н. И. Надеждин», СПб. 1912, стр. 443.

Любопытно, что в Надеждинском же смысле слово «нигилизм» употребляет и Белинский еще в 1836 году. В рецензии на «Провинциальные бредни» Дормедона Васильевича Прутикова («Молва», 1836, № 4) сказано, что в этом произведении «нет ни идеализма, ни трансцендентализма: в них, напротив, абсолютный *нигилизм*, с достаточной примесью безвкусия, тривиальности и безграмотности». Венгеров замечает по этому поводу: «Это слово употреблено здесь, конечно так, как его употреблял Надеждин, т. е. как синоним пустоты».[1] Однако, во второй половине 30-х годов слово «нигилизм» употреблялось в русском языке также и в значении *идеализма:* это значение пришло к нам из немецкого философского языка. С. П. Шевырев в своей «Теории поэзии», касаясь воззрений Жан-Поля, говорит между прочим: «излагая две противоположные системы теоретиков (в определении поэзии), Ж. Поль преследует сначала *идеалистов*, называя их поэтическими *нигилистами*, желающими создать искусство из *ничего*, без участия природы, потом *материалистов*, заключающих оное в вещественном подражании природе».[2] Но через несколько лет М. Н. Катков в своей знаменитой статье о сочинениях Сарры Толстой вновь употребляет слово нигилизм, сколько можно догадаться из контекста, в смысле материализма: «Глядя на мир, как он есть, скорее станешь из двух крайностей мистиком, чем *нигилистом:* мы окружены отовсюду чудесами».[3]

В 70-х годах Д. Л. Мордовцев случайно напал на слово «нигилизм» в диссертации П. С. Билярского и отметил, что последний «в своих страстных, не всегда сдержанных нападках на Срезневского *впервый раз в сороковых годах употребил в печати слово нигилизм*, за то, что И. И. Срезневский не решался и не смел точно определить время написания Сазаво-Эмаусского евангелия («Историч. Пропилеи», СПб. 1889, т. II, стр. 367). Действительно, в сочинении П. Билярского «Судьбы церковного языка» (СПб. 1848, ч. II, стр. 107—108) находится следующее, относящееся, к Срезневскому, место: «Это был... только призрак утверждения и отрицания, под которым скрывалось отсутствие определенного взгляда, полный, *абсолютный нигилизм*». Наконец, незадолго уже до «Отцов и детей» Тургенева слово нигилизм было причиной полемики Н. А. Добролюбова с Казанским профессором Берви, выпустившем в 1858 году довольно странную брошюрку: «Физиологико-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни».[4] «*Для Nihilist'a*, писал здесь Берви, отрицающего всякое реальное бытие, если он хочет остаться консеквентным в своих суждениях, нет природы ни оживленной ниже мертвой, следовательно нет ни

---

[1] Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, ред. С. А. Венгерова, т. II, 423, 600.

[2] «Теория поэзии в истор. развитии у древних и новых народов», М. 1836, стр. 355. Ср. также его-же «Историю поэзии», т. I, 1835, стр. 91. Шевырев имеет в виду Jean Paul, «Vorschule der Aesthetik», 1804, I, § 4.

[3] «Отечественные Записки», 1840, т. XII, № 10, октябрь, отд. V, стр. 17.

[4] «Ученые Зап. Казанск. Университета», 1858, II, стр. 14—15 и отд. отт.

жизни ни смерти. Если мы и покушались оспаривать их положения, то одно мы должны принимать за неоспариваемую истину, что они из ничего созидают ничто». Слово подхватили Добролюбов, посмеявшийся над казанским ученым в маленькой рецензии в «Современнике»: «Г. Берви очень остроумно умеет смеяться над *скептиками, или, по его выражению, nihilist'ами* и т. д.».[1]

Указанные примеры свидетельствует о том, что слово *нигилизм,-ист* изредка употреблялось у нас в 30—50-х гг. без определенной смысловой окраски (ничтожество, идеализм, материализм, скептицизм), менявшейся в зависимости от случайных причин. Все эти значения забылись, как только Тургенев дал слову новый смысл. Любопытно, что Тургенева считали именно изобретателем слова, и что Мордовцев был не первым, попавшим впросак со своим лексикологическим открытием. В 80-х годах относительно слова «нигилизм» производились уже настоящие филологические разыскания. «Академическая газета, писал Н. С. Лесков в одном из своих фельетонов, в августе месяце 1884 года указала, что слово «нигилист» изречено впервые не покойным Тургеневым, а что оно еще ранее встречалось в творениях св. отец, — именно у блаженного Августина... Следовало бы прибавить, что приведенное открытие в русской печати уже было сделано лет десять тому назад, и что честь этого открытия принадлежит покойному сотруднику «Церковно-Общественного Вестника» Ивану Даниловичу Павловскому».[2] По странной случайности, все эти изыскания забывались и по прошествии нескольких лет возобновлялись снова: открытие, что слово «нигилист» принадлежит не Тургеневу, а употреблялось задолго до него в европейских и русском языках, суждено было на исходе века сделать еще раз М. И. Михельсону («Ходячие и меткие слова», изд. 2-ое, стр. 265), однако и ему осталось неизвестно, что помимо Надеждина (1829), слово употребляли Полевой (1832), Белинский (1836), Катков (1840), Билярский (1848), Берви и Добролюбов (1858).

М. Алексеев.

Одесса.
1926. XII. 29.

---

1 «Современник», 1858, т. LXVIII, кн. 3, Библиогр., стр. 35. Указанная рецензия Добролюбова не включена в Полн. собр. соч. Добролюбова под ред. В. П. Кранихфельда (СПб. 1895)—«в виду явной нелепости содержания самой брошюры». См. т. III, стр. 5.

2 Н. Лесков. «Откуда пошла глаголемая „ерунда“ или „хирунда“ — „Новости и Биржевая Газета“», 1884 г., № 243.

«Беглое» *в* в Супрасльской рукописи.

В Супрасльской рукописи мы находим следующий материал:

1) Три примера — gen. sg. **шъстиꙗ** 527 23, **дошьстиꙗ** 550 24, **пришьстиꙗ** 413 13 и ряд случаев (39) того же существительного имени с *в* после *т*: **шьствиѥ**, **въшьствиѥ** (164 16, 565 15), **ишьствиѥ** (562 8), **нашьствиѥ** (94 22, 558 20), **пришьствиѥ**, **съшьствиѥ** (390 28, 391 3—4, 394 6—7), **пѫтьшьствиѥ** (353 12).

2) При обычных образованиях **бечьстиѥ**, **благочьстиѥ**, **богочьстиѥ**, **добрoчьстиѥ**, **нечьстиѥ** (свыше 30 примеров) встречается вариант **бесчьствиѥ** 328 10, с которым следует соединить еще форму имени прилагательного acc. f. sg. **бесчьстьвьнѫѭ** (здесь второе **ь** графического происхождения) 512 7, а также глагольное образование **бечьствоуѩ** nom. m. sg. 510 13.

3) Страд. причастие от глагола **оумрьтвити** является в форме **оумрьштвенъ** 495 15, 504 7, ср. еще производное глагольное образование **оумрьштвꙗѭтъсѧ** 479 20 и случаи имени существительного **оумрьштвениѥ** 249 22—23, 479 15, 561 1, 563 23—24; но то же причастие употребляется более обычно в форме без тематического *в* — **оумрьштенъ** 349 9, 456 6, 479 30, 561 26—27 (ср. еще написание **оумрьшт**ᵛ**еноу** 562 28 с *в* приписанным над строкой).

4) В значении εὐλογεῖν памятник употребляет глагол **благословесити**: ср. страд. причастие **благословешенъ** 319 27—28, 30, 320 3, 4, 18, 19—20, 321 17—18, 322 14—15, 17, 20—21, 330 5, даже **благословесенъ** 329 26, 29; ср. также отглагольное существительное **благословешениѥ** 524 11, 568 5—6. Но в соответствии с приведенной формой глагола встречаются кроме того иные его разновидности: а) **благословестити** — наст. вр. **благословестимъ** 320 3, причастные формы **благословестѧштиї** 319 29, **благословештении** 508 3, ср. еще отглагольное существительное **благословештениѥ** 519 11, 524 4, 568 27; б) **благословествити** — наст. вр. **благословествитъ** 19 6—7, пов. н. **благословествите** 346 24—25, неопр. н. **благословествити** 531 17, имперф. **благословештваахѫ** 322 16, прич.

формы благословествавше 532 16, благословествивъ 527 22—23, 531 15, ср. еще написание благословест^вениѩ 493 18 с *в* надписанным над строкой; в) богословесьствовати — страд. прич. богословесьствоуѥмо 245 2—3.

5) Формам благовѣствова 451 19, благовѣствоваша 452 3, ср. даже их варианты благовѣстьствова 451 20—21, благовѣстьствоуѭтъ 451 1, противостоит написание изѣстоуѭштоу 284 20—21.

6) Отглагольное имя существительное от оумрѣти встречается в двух разновидностях: ср. loc. sg. с одной стороны оумрьтвии 302 4, 441 22—23, с другой стороны оумрьтии 531 29. С последнею разновидностью слова можно еще сопоставить форму gen. sg. жрътиѩ 148 30, т. е. аналогичное отглагольное образование от жрѣти.

7) Обычной в памятнике форме слова гвоздии (17 19, 22, 141 5, 178 27, 399 15, 437 23, 438 17, 462 18, 500 9, 10, 503 4, 505 4) соответствует единичная форма с *в* после *д* — ab. pl. гвоздвиими 400 28, равно имени прилагагательному гвоздиинъи 499 24—25, 26, 500 29 отвечает единично форма гвоздвиинааго gen. sg. 506 7.

8) При постоянном в памятнике имени существительном дѣвьство (дѣвъство) дважды читается форма gen. sg. дѣвъста 374 24—25, 28.

9) Можно наконец отметить колебание лексических вариантов в памятнике — ржкоать 368 6 и ржковать 249 29, чоувьство (обычно) и чоуиство 89 23.

Как объяснить эту неустойчивость в употреблении, эту «беглость» *в* в Супрасльской рукописи? Перед нами разрозненные факты, не служащие характерною чертой Супрасльской рукописи, но возможные и действительно встречающиеся в иных старославянских или древнерусских памятниках, факты вообще в своем большинстве относительно старого происхождения. Необходимо однако произвести известное разграничение приведенного материала.

Написание дѣвъста, дважды встречающееся в памятнике, должно быть обособлено: мы имеем в нем несомненную описку, хотя и повторенную спустя несколько строк. Ср. наличие этого написания в первом случае при переносе — дѣвъ||ста: данное место очевидно по ошибке было принято переписчиком за два слова, каковые и далее, спустя три строки, механически оказались повторенными в таком же виде.

Особого происхождения формы Супрасльской рукописи гвоздвиими, гвоздвиинааго. В объяснении этих форм, видимо, следует предполагать явление слоговой прогрессивной ассимиляции: начальное «*гво*» чисто фонетически привело к замене соседнего «*ди*» через «*дви*». Привести еще иллюстрацию подобного явления трудно. Но можно указать на сходное явление слоговой диссимиляции, на исчезновение предшествующего *в* под влиянием *в* в следующем слоге. Ср. в словарных мате-

риалах Миклошича и Срезневского колебание образований влъховати и влъхвовати, лиховати и лихвовати.

Наконец, особой оговорки заслуживают формы Супрасльской рукописи ржкомть и ржковать, чоунство и чоувьство, как лексические дублеты, выросшие на почве исконного фонетического чередования ṷ и i̯ в междугласном положении. Не останавливаясь ближайшим образом на вопросе этого лексического колебания,[1] следует подчеркнуть характерность того обстоятельства, что в Супрасльской рукописи оказываются обе колеблющиеся разновидности того и другого слова.

Прочий приведенный под пп. 1—6 материал с лексикой, характеризующейся наличностью «беглого» *в*, должен объясняться предположением действия в прошлом в кругу данной лексики процесса аналогии с иными сходными образованиями.

Согласно с обычными образованиями на ик должно было бы ожидать в качестве нормальных славянских форм образований шьстик, бечьстик, без *в*. Действительно, для последнего имени существительного ср. отношение страсть — бестрастик, откуда при чьсть — бесчьстик. Что касается первого имени существительного, то его морфологическое строение не так твердо ясно. A. Meillet (Études 307) видит в форме шьствик нормальное образование от *шьство, служащего редким образованием от темы шьд- при помощи суфф. *-ств-* (не *-ъств-*), ср. еще подобный случай в церковнославянском бѣс(с)тво. Это объяснение, теоретически возможное, встречает возражение в фактическом отсутствии в славянских языках формы шьство, а между тем, действительно, имена на -ьствик имеют в церковнославянском параллельные варианты на -ьство, от которых они, очевидно, и произошли вторичным путем сложения. Мнение A. Meillet, таким образом, вряд ли можно признать правильным. В этом отношении ближе к истине объяснение, которое дает слову Вондрак. По его мнению древнейшая форма слова без *в* (шьстик), и возникла она подобно многочисленным иным образованиям на -ик от соответственной причастной формы на -тъ, т. е. от *шьстъ (Vgl. slav. Gramm. I², 510, 591). Между прочим, самая наличность в церковнославянском форм типа шьстик не ускользнула и от внимания A. Meillet, который, повидимому, также склонен вести их от причастных образований (см. Études, 389). Следует признать в этих объяснениях положение Вондрака об исконности форм типа шьстик, без *в*, но должно поставить вопрос о том, имеется ли в данном типе форм образование на -ик от приведенной причастной темы на *-т-*, или какой-либо иной тип образования. В виду того, что предполагаемое страд. причастие на *-т-* (шьстъ), помимо того, что не существует фактически, невозможно и теоретически (глагол ср. залога, означающий движение), можно исходить в объяснении интересующей формы шьстик не

[1] По поводу чередования ржкомть и ржковать см. Meillet, Études, 278; Vondrák, Vgl. slav. Gramm. I², 210; Преобр. Этимол. слов. II, 220 и др.

от названной причастной темы, а от темы соответственного инфинитивного образования, которое также фактически не сохранилось, но теоретически могло существовать и, можно думать, звучало в виде *шьсти. Ср. отношение быти — бытие и под., откуда при *шьсти — шьстие.

Итак в результате выясняется, что первоначальными по сложению формами в языке должны были явиться формы шьстие, бечьстие, без *в*. Их знает Супр. рукопись. Но знает она и параллельные формы с *в*, при чем этот тип форм от первого имени существительного очень употребителен в памятнике, от второго слова соответственные формы редки. Как объяснить происхождение этих новых лексических вариантов — шьствие, бечьствие? Несомненно, они выросли под действием принципа аналогии. Они могли возникнуть под общим влиянием многочисленной категории имен существительных на -ьствие, они могли с другой стороны отразить на себе влияние соответственных глагольных форм (шьствовати, бечьствовати), которые обычно звучали также с *в*, привившимся здесь, как будет видно ниже, также аналогически.

Сходного аналогического происхождения и образования с *в* у глаголов благословествити, благовѣствовати. Что касается первого слова, то простейшая форма его, известная в широком употреблении в Супр. рукописи, есть — благословесити (благословес-и-ти). Эта глагольная форма подверглась двоякому аналогическому воздействию. Во-первых, под влиянием глаголов на -стити (напр., възвѣ-стити, отъпоу-стити, оуча-стити и под.) явилось новое образование благословест-и-ти. Во-вторых, под влиянием особенно частых в языке образований с суфф. *-ств-* к форме благословест-и-ти оказался воссоздан новый вариант — благослове-ств-и-ти. И тот и другой варианты, как видно из приведенного материала, широко известны Супр. рукописи. Но в Супр. рукописи имеется еще один вариант, особенно ярко свидетельствующий об отражении на вариациях данного глагола образований с суфф. *-ств-*, это именно форма богословес-ьств-овати, с суффиксальным элементом во всем полном его виде (т. е. в виде *-ъств-*).

Это же влияние образований с суфф. *-ств-* сказалось и на появлении второго отмеченного глагольного варианта с *в*, именно — благовѣствовати.[1] Следует вообще заметить, что воздействие образований на *-ств-* было особенно сильно именно в категории глаголов на -овати. Всякое глагольное образование на -овати с основой, оканчивающейся на *-ст*, либо вообще изменяло -стовати на -ствовати, либо допускало при -стовати также -ст-в-овати. Таким образом, в языке произошла двойственность, о которой свидетельствуют и данные Супр. рукописи (см. под п. 5),

---

1 К отмечаемому здесь варианту благовѣствовати приведенный выше вариант благовѣстьствовати относится также, как отмеченная форма благословествити относится к форме богословесьствовати.

которую можно подкрепить и многочисленным иным материалом памятников. Ср. в Словаре Миклошича глаголы: ꙁавиствовати; властвовати; вѣствовати и родств. (с префиксами) при вѣстовати; кръствовати при кръстовати; пакоствовати при пакостовати; напаствовати при напастовати; поуствовати — ср. русск. пустовать; сладострастьвовати при страстовати; ꙁълочѧствовати; причѧствовати; чьствовати и многие родств. (сложные с префиксами) образования при чьстовати; шьствовати. Без вариантов с *в* здесь отмечаются едва ли не два только глагола: съвръстовати и пѣстовати. Не удивительно, что обычность этих глагольных образований могла оказать свое влияние на категорию существительных, заменив у последних -стиѥ на -ствиѥ. В параллель к отмеченному из Супр. рукописи бечьствиѥ можно еще прибавить из материала Миклошича формы власт-в-иѥ (ср. власт-в-овати), ꙁълост-в-иѥ (ср. *ꙁълост-в-овати), доблѥст-в-иѥ (ср. доблѥст-в-овати). Таково же упомянутое, обычное в Супр. рукописи и вообще в памятниках, шьст-в-иѥ. Естественно, что это чередование глагольных и именных форм с *в* и без *в* отразилось далее и на категории прилагательных. Ср. у Миклошича: доблѥст-в-ьнъ (при доблѥст-ьнъ), жалѥст-в-ьнъ (при жалѥст-ьнъ). Наконец, отзвуки этого же явления в целом мы замечаем в обратных случаях замены исконного суффиксального *-ств* через *ст*. Таковы в материалах Миклошича данные — недостатъчьстиѥ (при недостатъчьство), прѣроушьстиѥ (vocabulum dubium по Миклошичу), прилаг. благодарьстьнъ (при благодарьствьнъ).

В заключение, по поводу остающихся данных, отмеченных под пп. 3 и 6, должно сказать, что и этот материал чередующихся форм с *в* и без *в* также аналогического происхождения. Должно было бы ожидать образований оумрьтити, оумрьтиѥ. Они известны в Супр. рукописи, как и параллельная форма жрьтиѥ. Но рядом с отмеченными формами употребляются и образования с *в* (оумрьтвити, оумрьтвиѥ), создавшиеся, очевидно, под аналогическим воздействием прилагат. мрьтвъıи. Ср. у Миклошича еще колебание в глаголе обесъмрътити при обесъмрътвити.[1]

С. Обнорский.

Ленинград.
1926. XII. 30.

[1] Из материала Миклошича можно еще указать на колебание форм омѥдити при омѥдвити (= γλυχαίνειν); ср. еще параллельные образования листиѥ при листвиѥ, жрътиѥ, также идоложрътиѥ, при идоложрътвиѥ. Можно думать, что и здесь всюду на возникновении вариантов с *в* сказалось влияние иных сходных образований. Ср. омѥдвити и мѥдьнъ, идоложрътвиѥ и жрътва, листвиѥ и листва. Ср. о последнем иное мнение Meillet в Études, 385.

Три варианта песни о Кострюке.

Историческая песня про «Женитьбу Ивана Грозного на Марье Темрюковне и о Кострюке» принадлежит к распространеннейшим. Вариантов ее, бытовавших буквально по всей России и в Сибири до Томской губ. до сих пор было известно 64, а с нижепечатаемыми достигнет 67. Среди исторических песен XVI—XVII века только песня о Стеньке Разине и его сыне еще более распространена, чем песня о Кострюке, — она записана в 81 варианте и также бытовала по всей России, а в Сибири доходила до Енисейской губ. и Якутской области. Песня про Кострюка записана в губерниях: Архангельской в 16 вариантах, в Олонецкой — 15, Петербургской — 1, Новгородской — 2, Вологодской — 1, Пермской — 2, Оренбургской — 1, Уфимской — 1, Западной Сибири (? Кирша) — 1, Томской — 1, Области Войска Донского — 1, Ярославской — 1, Нижегородской — 1, Симбирской — 9, Саратовской — 2, Московской — 1, Владимирской — 1, Орловской — 1, Курской — 1, Калужской — 3, Черниговской — 1 и Смоленской — 1.

Печатаемые ниже три варианта песни про Кострюка извлечены мною из богатых материалов, оставшихся после смерти западно-сибирского этнографа П. А. Городцева (ум. 16 июня 1919 года в Тюмени) и хранящихся в ученом архиве Тюменского Музея. Все три варианта записаны «на Тавде», в Тавдинском крае, составляющем часть Тюменского уезда Тобольской губ. После районирования, примененного впервые на Урале, Тавдинский край уже называется — Тавдинский район Тюменского округа и вошел вместе с другими местностями Тобольской губ. в Уральскую область, хотя ровно ничего уральского, т. е. горного, в нем нет: вся местность края ровна как стол.

Все три варианта песни про Кострюка записаны П. А. Городцевым в один день: 13 января 1908 года, в деревне Артамоновой на реке Тоболе, в которой Городцев вообще пожал обильную и многоценную фольклористическую жатву: записывал сказки, заговоры, обряды и пр. Первый вариант Кострюка записан от крестьянина Ф. Л. Созонова, второй от крестьянина О. М. Заякина. Оба варианта мало чем разнятся один от другого и составляют перепевы одной песни. На отчестве Кострюка 1-го варинта «*Голицын*», может быть, отразилась близость Урала, на котором были

железоделательные заводы князя Голицына. Может быть, впрочем, в крае бытовала и историческая песня про князя В. В. Голицына. Я сам работал в июле — августе 1926 года в Тавдинском крае и имею много данных утверждать, что народно-эпическими произведениями Тавдинский край в прошлом был несравненно богаче, чем теперь. Не нужно также забывать, что «Сборник Кирши Данилова» пока что можно относить больше всего все же к Западной Сибири. Поэтому-то печатаемые ниже не первоклассные и, казалось бы, дающие мало нового варианты песни о Кострюке все же имеют значение.

Что касается третьего варианта, то он хуже первых двух, и все же интересен, но уже не в смысле ценности текста, а в другом отношении. В нем разложение песни о Кострюке дошло до последней степени: какой-то князь Белогорский (в Пермской губ. есть Белая гора и Белогорский монастырь) едет в Москву и сватает сестру Кострюка Мастрюковича — Милитрису Кирбитьевну (в Тавдинском крае до сих пор бытует сказка про Бову Королевича, у которого дочь Милитриса Кирбитьевна), причем два брата Андрея Андреевича поборол и князя, и неизвестно какого — Белогорского или Кострюка. Этот третий вариант песни записан не как самостоятельная песня, как первые два, а бытует как часть одной народно-литературной мозаики; он вставлен в так называемую «Масленицу» — игру, вернее небольшую народную комедию, которая разыгрывалась в Тавде на масленице. П. А. Городцев так описывает эту игру: «Кр-н И. Ф. Созонов изображал госпожу честную масленицу, а его главный воевода был Н. А. Калинин. Оба были в одних рубахах, без поясов и без шапок, босые. Кто-нибудь из зрителей спрашивал: «Гей масленица, а есть-ли у тебя пачпорт?» — «Есть», говорит воевода и читает «пачпорт» —

В Картамышевской деревне
Талевской слободы
Жил Яковской блин,
Маркитан господин...

дальше — этот Яковский блин набрал множество скота, бил его на мясо, нанял Архипку Хаврина и Федотку Кокорина и поехал до Екатеринбурга-городу, сидя на колесах; мясо не продал, скидал в поле; мясом объелись собаки, искусали людей, за что мясника стали судить и приговорили к трем рублям штрафу» — всего 64 строки. Зрители хохочут, Масленицу и воеводу угощают водкой. Затем кто-нибудь из зрителей просит спеть «старинку-песенку»; вот тогда-то Масленица с воеводой и поют 3-й вариант песни про Кострюка.

Мне известен случай, когда песня про Кострюка составляет часть цельного прекрасно записанного свадебного обряда. Пермский этнограф В. Н. Серебренников, описав свадебный обряд на своей родине в Андреевской волости Оханского

уезда отметил, что в день свадьбы, перед тем как ехать в церкву к венцу, если невесту долго не выводят из «занавесы», дружка для развлечения зрителей наговаривает наговор-рассказ про женитьбу Грозного и борьбу царского шурина Кострюка Темрюковича с двумя родными братьями Иваном Борисовичем и Потанькой.[1] Лично мне В. Н. Серебренников сообщал, что если в деревне задумана борьба между парнями и мужиками, борцы и зрители уже собрались, а начать борьбу почему-нибудь не решаются, то что бы «раззадорить» борцов, принято «наговаривать» эту же песню про Кострюка. Таким образом, в данном случае песня про Кострюка как бы играет роль заговора и должна воодушевить борцов и заставить их броситься один на другого.

Отмечен и еще случай бытового применения песни о Кострюке, хотя не обрядового, а игрового. В 1872 г., в г. Златоусте, Уфимской г., Р. Г. Игнатьев записал святочную игру: парень, изображающий Кострюка, садится вместе с другими на лавку и поет песню, прочие подтягивают. При словах: «Как возговорит Кострюкович» он становится посреди комнаты, снова садится, а при словах «Кинулся (Кострюк) аки бешеный», Кострюк опрокидывает скамью и все сидевшие притворяются упавшими и убившимися до смерти. Затем Кострюк борется с младшим из обоих Андреевичей и когда Андреевич поборает его, все встают и допевают песню.[2]

КОСТРУЛЯ ГОЛИЦЫН.

Вариант 1-й.

Ах, была мачиха до пасынка лиха,
Вот такая не приветливая,
Коромыслом голову бьет,
По малесеньку хлебца дает,
Тонехонько отрушивает,
Помалехоньку подавывает.
Приходил я ко царю во дворец:
«Уж ты вой еси, царь государь,
Царь Иван сударь Васильевич!
Сделай-ко почесен пир,
Ты во весь православной мир,
Про всех про князей, про бояр,
Про любезного шурина,
Про Кострулю Голицына».
Все у его гости собрались,
Все гости сяли зá столы,
Белую лебедь рушают,
Зелена вина чарами пьют,

1 «Материалы по изучению Пермского края», вып. 4-й, стр. 67—68.
2 Вс. Миллер. «К песням об Иване Грозном». «Этногр. Обозр.», 1904.

Один от гость не ест, не пьет,
Хлеба соли он не кушает,
Зелена вина в рот не берёт.
Кто бы, кто бы был на ножиньку легок,
Кто бы, кто бы на босу ногу сапог,
Еще кто бы на красно крыльцо скочил,
Еще кто бы в большой колокол бил,
Чтобы слышно по всей Москве,
По всей Москве, по всей ярманке.
Из Ивановской Улицы
Проходили добры молодцы,
Два Андрея два Андреевича,
Они чулочки те натягивают,
Сами с собой разговаривают.
Приходили ко царю во дворец:
«Вой еси, царь государь,
Есть-ли у тебя на пиру,
Если у тебя на чесном
С нами поединчичка,
Воевать богатырщичка?»
Коструля сын Голицын услыхал,
Со дубовою скамеечки вставал,
Полтораста скамей изломал,
Полтретьяста татар задавил,
Полчетвертаста боярщинков,
Пятьсот он удалых молодцев,
Шестьсот поединщичков,
Воевать богатырщичков,
Кострулю Голицына малый брат
Призабравши его белую грудь,
Да подымавши выше буйной головы,
Ой, посадил он поколен сырой земли.
Требушина его на двое пошла,
Златы пуговки отóрвалися,
Шелковы петли розóрвалися.
Чем будет борцов наделять?
То ли каменным палатами,
То ли мшеныма хатами,
Али селами-пригородками
Али красными девочками?[1]

---

[1] «Была записана со слов посказателя Федора Ларионовича Сазонова. Былину эту после записи посказитель спел. 18 января 1908 г.».

Прим. П. А. Городцева.

КОСТРУЛЯ ЛУКИЧ.

Вариант 2-й.

Какая была мачиха лиха,
Лиха, лиха неласковая,
Коромыслицем голову бьет,
Помалесеньку хлебушка дает,
Тонешенько отрушивает,
Помалесеньку подавывает.
Уж ты вой еси, царь государь,
Сдеивайко ты пир,
Да во весь провославный мир.
Сидел-то у него на пиру на беседушке,
Сидел-то у него Раскаструля Лукич.
Раскаструля таковы речи говорил:
«Уж ты вой еси царь государь,
Царь Иван сударь Васильевич!
Есть ли у тебя на пиру,
Есть ли у тебя на честном
Подраться поединщички,
Воевать богатырщички?»
Тогда-то царь громким голосом вскричал:
«Кто бы, кто бы на красно крыльце бежал,
Кто бы били в большой колокол,
Чтобы слышали по всей Москве,
По всей Москве и по всей ярманке».
Из улицы Ивановской,
Из приезду молодецкого,
Едут два добрые молодца,
Два Андрея Андреевича.
Они чулочки направливают,
И сапожки натягивают,
Волосы за ухо закидывают,
Приходили к царю во дворец,
К царю Ивану Васильевичу,
Всем во пиру честь воздали,
Ивану царю на особицу.
«Иван Васильевич царь,
Есть ли у тебя на пиру,
Есть ли у тебя на честном
Побороться поединщички,
Воевать богатырщички?»
Раскаструля эти речи услыхал,

Со дубовые скамеечки вставал,
Пятьдесят он скамеек изломал,
Разпятьсот добрых молодцов поронял,
Подраться поединщичка,
Воевать богатырщичка.
Выходили на широку на улицу,
Приказал царь Иван Васильевич
Раскаструлe сойтись
С молодым поединщиком
С большим Андреем Андреевичем.
Бились, рубились они шестеро суточки,
Никоторой от не можот одолить,
Малый брат большому говорит:
«Брось ко брат, опрокинь ты его».
Тогда имал Андрей Андреевич
Раскострулю богатыря за белую грудь
И бросил его на сыру землю
И в сыру землю по колена вбил.
Златы пуговки оторвалися,
И шелковы петли оборвалися.
Выходила наша барыня,
Госпожа наша государыня
И говорила царю таково слово:
«Уж ты вой еси царь государь,
Что же ты не уймёшь его,
Что же ты не за́кликнешь?»
Тут царь Иван сказал жене:
«Пусть не хвастает он
Не каменной Москвой и не Астраханью».[1]

КОСТРЮК МАСТРЮКОВИЧ.

Вариант 3-й.

(Из народной комедии «Масленица»).

Князь Белогорский поехал в Москву,
Засватал у Кострюка-Мастрюка да родную сестру,
Родную сестру Милитрису Кирбитьевну.
Кто бы в большой колокол бил,
Чтобы слышно было по всей Москве,

---

1 «Посказитель Осип Меркурьевич Заякин сказал, что старики любили петь эту старину, а сам он не поет ее — нет голосу. 13 января 1908 г.»

Прим. П. А. Городцева.

По всей Москве, по всей ярмонке.
Собиралися к царю на двор
Белай хлеба рушати,
Белай лебеди кушати,
Зелена вина чарами пить,
Побороться побарахтаться.
Выходили два де молодца,
Два Андрея Андреевича.
Они брали князя за большие отворотички,
Они вызняли его повыше себя.
Златы пуговки пукнули,
Шелковые петли треснули,
И его брюшина скрозь прошла.[1]

Н. Ончуков.

Ленинград.
1926. XII. 30.

1 «Лука Леоньевич Заякин. 13 января 1908 г.». *Прим. П. А. Городцева.*

Новые данные для биографии В. К. Тредьяковского.

Осенью истекшего 1926 года, при разборе так называемого «Общего фонда» Иностранного Отделения Библиотеки Академии Наук, найдены были две папки, содержащие переписку разных лиц с Шумахером. Среди этой корреспонденции оказались три неизвестные доселе письма В. К. Тредьяковского, относящиеся к началу 1731 года: 1-е письмо без даты (получено Шумахером 9-го января), 2-е от 18-го января, 3-е от 27-го января.

Как известно, наиболее подробная и лучшая биография «трудолюбного физиолога», принадлежащая акад. П. П. Пекарскому, помещена им во II томе «Истории Академии Наук» (стр. 1—232). Пекарский имел в своем распоряжении только два ответа Шумахера—на 1-е и затем одновременно на 2-е и 3-е из упомянутых выше писем. Таким образом вновь открытые французские оригиналы писем Тредьяковского позволяют уточнить, дополнить и отчасти исправить свидетельство почтенного исследователя.

Напомню прежде всего основные факты из жизни Тредьяковского в ту пору, когда он вел переписку с Шумахером. Василий Кириллович только что издал свою знаменитую книжку «Езда на остров любви» и поехал в Москву, где остановился сперва у своего мецената, которому и посвятил свой перевод, кн. Александра Борисовича Куракина, а не у Семена Кирилловича Нарышкина, как пишет Пекарский (стр. 25). Этот адрес Тредьяковский дает в первом письме. Можно думать даже, что у писателя произошли затем недоразумения с Куракиным. Намек на это имеется в приведенном у Пекарского (стр. 28) письме Тредьяковского от 4-го марта, когда он сообщил Шумахеру свое новое местожительство.

«Езда на остров Любви», судя по словам автора, имела в Москве, где тогда находился двор, большой успех. Уже в первом письме Тредьяковский просит прислать ему 150 экземпляров книжки. Затем, когда он успел обжиться и осмотреться в Москве, он, во втором письме, сообщил Шумахеру любопытные подробности

о том, как его перевод был встречен в Москве разными слоями тогдашнего общества. Вот его подлинные слова.[1]

«Суждения о ней (книге) различны согласно различию лиц, их профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелательны ко мне; другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить; говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более, что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь.

«Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи? Неужели они не знают, что сама Природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество, что такое любовь. Ведь наконец наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными всякой чувствительности; наоборот, они обладают всеми средствами, которые возбуждают у них эту страсть, они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, такие, какие очень редки в других местах.

«Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство; они не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это — сволочь, которую в просторечии называют попами.

---

[1] «Le jugements en sont differents suivant la difference de personnes, de leurs professions, et de leurs gouts. Ceux qui sont à la cour, en sont tout à fait contents. Parmi ceux, qui sont du clergé il y en a qui m' en veulent du bien; d'autres, qui s'en prennent à moy, comme jadis on s'en prit à Ovide pour son beau livre dans lequel il traite l'art d'aimer, disant que je suis le premier corrupteur de la jeunesse Russienne d'autant plus qu'elle ignoroit absolument avant moy les charmes, et la douce tyrranie, que fait l'amour.

Que pensez vous, Monsieur, de cette querelle que me font ces bigots là? Ne sçavent ils pas que la Nature même, cette belle et infatigable maitresse prend soin d'apprendre à toute la jeunesse ce que soit l'amour? Car enfin nos garçons sont faits de même que les autres, et ils ne sont pas comme des statuës taillées de marbre et destituées de toute la sensibilité; au contraire ils ont tous les ressorts qui leur excitent cette passion là. Ils la lisent dans un beau livre que composent les belles Russiennes telles, qui sont fort rares ailleurs.

Mais passons à ces Tartufes leur folie superstitieuse: ils ne sont pas de ceux, qui peuvent me nuire, car c'est la lie, que l'on appelle vulgairement les pops.

Quant à ceux qui sont du monde, plusieurs, Monsieur, m'en applaudissent en me faisant des louanges en vers, d'autres sont bien aise de m'avoir vû en personne et m'accablent de leurs gastes. Cependant il s'en trouve qui m'en blament.

Ces Mrs là sont partagés en deux classes: les uns me donnent le nom de vain, parceque j'ai fait par là sonner trompette de moy, et que cela est, disent ils, d'un homme prevenû en sa faveur, qui expose sa vanité au public. Voilà qui est bien. Mais voyez, Monsieur, l'impudence de derniers, elle vous surprendra sans doute, car ils me taxent d'impieté, d'irreligion, de Deisme, d'atheisme, enfin de toutes sortes d'heresies.

Par ma foy, Monsieur, fussiez vous mille fois plus grave que Caton, vous ne sçauriez vous tenir ici ferme, et sans faire un grandissime eclat de rire.

N'en deplaise à ces ignorants là, car je m'en fiche, d'autant plus qu'ils sont d'une très petite consequence..». (Орфография подлинника повсюду сохранена).

«Что касается людей светских, то некоторые из них мне рукоплещут, составляя мне похвалы в стихах, другие очень рады видеть меня лично и балуют меня. Есть однако и такие, кто меня порицает.

«Эти господа разделяются на два разряда. Одни называют меня тщеславным, так как я заставил этим трубить о себе, и это, по их словам, свойственно человеку, предубежденному в свою пользу, который выставляет свою суетность пред публикой. Вот это прекрасно. Но посмотрите, сударь, на бесстыдство последних; оно, несомненно, поразит вас. Ведь они винят меня в нечестии, в нерелигиозности, в деизме, в атеизме, наконец во всякого рода ереси.

«Клянусь честью, сударь, будь вы в тысячу раз строже Катона, вы не могли бы остаться здесь твердым и не разразиться грандиознейшими раскатами смеха.

«Да не прогневаются эти невежи, но мне наплевать на них, тем более, что они люди очень незначительные...»

Здесь особенно интересно замечание о мнении духовенства. Этот отзыв подтверждается любопытным сообщением, опубликованным, между прочим, у Чистовича в его книге «Феофан Прокопович и его время» (Спб. 1868, стр. 384; ср. Пекарский, op. cit. стр. 30, прим. 3-е): «В. К. Тредьяковский, возвратясь из путешествия за границей, свел знакомство с московской академией — прежним своим гнездом — и бывал у ректора Германа Концевича. Однажды встретился с ним в Заиконоспасском монастыре архимандрит Платон Малиновский. Слово-за-слово: кто вы и откуда — спрашивал Платон. «Студент В. К. Тредьяковский — рекомендовался пиита — бывал в чужих странах, произошел разные учения, слушал и философию». «По разговору оказалось — говорил после Платон — что эта философия самая атеистическая, яко бы и бога нет».

Этот отзыв заиконоспасских ученых и вообще тогдашнего духовного мира, как известно, и способствовал главным образом созданию той печальной репутации, которая составилась о Тредьяковском, как о писателе и особенно как о поэте. Вместе с тем выписка из письма Тредьяковского лишний раз свидетельствует, что его книжка при своем появлении заинтересовала тогдашнее общество.[1] Анализ нежных чувствований был в то время совершенной новостью в нашей литературе, и одна из первых попыток разобраться в этом, хотя бы и не оригинальная, — как нельзя лучше соответствовала все более и более укреплявшейся в то время «галантности» в обращении.

А. Малеин.

Ленинград.
1926. XII. 30.

[1] Третье письмо он начинает также со следующих слов: «Je puis dire veritablement, que mon livre devint ici à la mode, et par malheur ou bien par bonheur, moy aussi avec lui. Ma foy, Monsieur, je ne sais que faire; on vient me chercher de tous cotés, on me demande par tout mon livre; mais lorsque je dis que je ne l'ai point, on se fache de telle sorte que je m'aperçois très facilement de leur deplaisir».

К вопросу о пейзаже в древне-русской литературе.
(Несколько описаний весны).

Настоящая статья является извлечением из более обширной работы о пейзаже в древне-русской литературе. Рассматривая различные типы картин природы, как с точки зрения их служебной роли в произведении, так и со стороны их содержания и выполнения, мы отметили, что одним из наиболее распространенных видов пейзажа в древне-русской литературе является описание весны и весенней природы. Материал, которым мы располагаем, сравнительно скуден: в памятниках нашей древней литературы описаниям природы уделено очень скромное место. Но и в нашей заметке мы не претендуем на исчерпывающие данные, указывая лишь основные пункты и ставя известные вехи, по которым может итти дальнейшее исследование.

Прежде всего мы обращаемся к переводному памятнику — «Слову Григория Богослова на новую неделю и на весну», которое, как мы покажем ниже, послужило образцом для русских авторов при аналогичных описаниях весны. Приводим текст этого отрывка (Соч. Григория Богослова, Василия Вел., Афанасия Алекс., Иоанна Дамаскина в пер. Епифан. Славинецкого, М. 1665, стр. с҃є).[1]

«Виждь бо, какова видимая царица временъ царицѣ дней посылаетъ и дароноситъ от себе, все яко добрѣйшее и краснѣйшее. Нынѣ небо прозарнѣйшее, нынѣ солнце вышшее и златовиднѣйшее, нынѣ мѣсяца кругъ свѣтлѣйшій и звѣздъ ликъ чистшій. Нынѣ брегомъ убо волны мирятся, солнцу же облакъ, воздуху же вѣтри, земля же садомъ, садове же видѣніемъ. Нынѣ источницы прозарнѣе текутъ, нынѣ же рѣки обильнѣе, зимныхъ узъ отрѣшившыяся и травникъ благоухаетъ, и садъ зеленится, и стрижется злакъ, и агнцы прискакуютъ зеленымъ нивамъ. Нынѣ убо корабль отъ пристанищъ возводится съ пѣсньми, и сими яко многа боголюбезными, и ядриломъ воскриляется, и обскакуетъ делфінъ, воздувая, яко сладчайшее, возпущаяся

---

[1] Пользуемся этим текстом, который почти ничем существенным не отличается от текста XI в., изд. Будиловичем.

и пропущая пловци со благодушіемъ. Нынѣ же земледѣлатель рало водружаетъ, горѣ зря и плододателя призывая, и подъ яремъ ведетъ вола орачъ, и сѣчетъ сладкую бразду, и надеждами веселится. Нынѣ же пастырь и говядарь съгождаютъ свирѣли и пастырскую вдыхаютъ пѣснь подъ садами и камении веснуютъ. Нынѣ же садъ садодѣлатель цѣлитъ, и имелникъ трости зиждетъ, и подзираетъ прути и испытуетъ перо птичіе, и рыбарь глубины прозираетъ, и мрежу очищаетъ, и каменіемъ преседитъ. Нынѣ убо любодѣлная пчела, крило отвлекши, и отъ уліи воставши, свою мудрость показуетъ, и травники прелѣтаетъ, и крадетъ цвѣти. И ова убо дѣлаетъ соты шестоуглныя и противоположная очща исткающи, и правая уголными премѣняющи, дѣло купно доброты и твердости. Ова же медъ во влагалищехъ полагаетъ и дѣлаетъ странствующу плодъ сладокъ и неоранъ. Яко обы и мы Христовъ пчелникъ, и таковъ пріемше мудрости и трудолюбія указъ. Нынѣ же гнѣздо птица устрояетъ, и ова убо привосходитъ, ова же вселяется, ова же облѣтаетъ, и оглашаетъ лугъ и приглаголюетъ человѣку. Вся бога поютъ и славять гласы неизглаголанными. О всѣхъ бо благодарится мною богъ. И тако онѣхъ пѣніе наше бываетъ, отъ нихъ же азъ еже пѣти пріемлю...»

Еще А. Бизе в своей книге «Die Entwickelung des Naturgefühls» 1888 (есть русск. перев. Коробчевского 1890) отметил, что пейзаж первых веков христианства и средневековья имел определенное служебное значение: прославление творца в созерцании его создания. В нашем памятнике эта роль обусловливалась назначением самого произведения — церковной проповеди. Но и здесь следует подчеркнуть большую эстетическую роль пейзажа, когда автор совершенно отвлекается от темы поучения для высоко поэтического описания пробуждающейся природы, у которой, по его выражению, он сам учится славословить создателя. Что же касается техники пейзажа, то в основу его, как это уже было отмечено М. И. Сухомлиновым (Рук. гр. Уварова, т. II, стр. XXXIII) положено символическое понимание весны, как возрождения и воскресения. Укажем, что пейзаж, представленный в «Слове», как бы подготовляется предыдущим содержанием памятника, а потому является его органической неотделимой частью. Вся первая половина «Слова» построена на единоначатии: «обновляется». Дав картину общего обновления («обновляется... стѣна мѣдна... скиніа свѣдѣнія... царство Давида...» и т. д.) и общей радости воскресения, автор говорит, что и весна — царица времен года — приносит дары празднику пасхи — царице дней. Далее следует поэтическое описание весенней природы, построенное на одной из любимых поэтических фигур Григория Богослова — единоначатии: «нынѣ»..., которым и заканчивается поучение. Отметим также, что природа в этом описании сохраняет свои реальные черты и почти не приобретает локального оттенка, охватывая различные виды местностей; — поля, море, леса и сады.

Вслед за указанным памятником приходится упомянуть поучение русского

проповедника — «Слово блаженнаго Кирилла (Туровского) на антипасху в новую неделю» (рукоп. гр. Уварова, II, стр. 19), давно уже поставленное учеными в зависимость от «Слова» Григория Богослова. Единоначатие переводного памятника «обновляется» здесь выражено до описания весны двумя краткими предложениями: «Обновися тварь» и «Се ныня и мы поновляемъ, празднующе побѣдныи день Христовъ». Далее, переходя к описанию природы, которое, как и в переводном образце, составляет неотделимую часть всего поучения, проповедник пользуется схемой, данной в «Слове» Григория Богослова (единоначатие «нынѣ..», одинаковые образы, почти одинаковая их последовательность), но к каждому отдельному описанию дает символическое его объяснение; таким образом, природа, вполне реальная у Григория Богослова, становится рядом символов у Кирилла Туровского. Наш проповедник видит в образах, данных Григорием, только материал для художественной аллегории. Вследствие этого обильно включенного элемента поучения картина теряет свою цельность, живость и мягкость; природа из *цели* описания становится *средством* поучения. Приведем примеры переработки Кириллом текста Григория Богослова:

«... Нынѣ небеса просвѣтишася, темныхъ облакъ яко вретищъ съвлекошася, и свѣтлымь въздухомь славу господню исповѣдають. Не си глаголю видимая небеса, нъ разумная апостолы, иже днесь на Сионъ вшедше к нему познаша господа, и всю печаль забывше ... Нынѣ новоражаемии агньци, быстро путь перуще, скачють, и скоро къ матеремъ възращающеся, веселятся; да и пастыри свиряюще, веселиемъ Христа хвалять: агньця глаголю, иже от языкъ кроткыя люди, унця-мирослужителя невѣрныхъ странъ, иже Христовым въчеловѣчениемъ и апостольскимъ служениемъ и чюдесы скоро по законѣ емшеся ... млеко учения съсуть ... Нынѣ ратаи слова, словесныя уньця къ духовному ярму проводяще, и крестьное рало в мыслехъ браздахъ погружающе, и бразду покаяния прочертающе, сѣмя духовное всыплюще, надежами будущихъ благъ веселится» ... и т. п.

Некоторые подробности описания, встречающиеся у Григория Богослова выпущены у Кирилла. Как это уже было указано М. И. Сухомлиновым (цит. выше), к ним относится, между прочим, все, что не соответствует природе севера, напр. описание моря и дельфинов. Но возвратимся еще к одному переводному памятнику, широко известному в древней Руси.

Своеобразную самостоятельную переработку той же схемы «Слова» Григория находим в «Слове Іоанна Дамаскина на рождество Христово» (рук. Печ. Лавры № 218/39). Приводим текст поучения:

«Вънегда весна пріидетъ, телесніи съставы къ обновленію пакы въстычут. Тогда человѣци вси къ благорастворенію въсходяще, здравіе тѣлесное въспріемлют. Тогда и земля провитѣвши сѣменем доброты, и всяческых быліи цвѣти от нядръ

износящи, къ благоукрашенію своему прицашаетъ. Тогда и скоти пажит злачную къ потребѣ пріемлюще, упитана телеса приносят. Тогда и птичіи родове къ высотному лѣтающе въсхожденію, пѣваній различных множества творят, и славіи и ластовица припѣвают горам, и холми и древеса шумом своим сладкое пролѣтіе сладостнѣ произъявляют, красящеся. Тогда и пастыріе птичіимъ родомъ подобящеся, свиралоплетенную пѣснь въспріемлюще, къ краснѣй пожити стада своя наставляют. Тогда и солнце обтиче землю, свѣтлѣ удоліамъ, и раевом и полям, крыном и всяческыим цвѣтцем благолѣпотную доброту устраает, и уханми сладкоуханными обоняниа всѣх благоуханна сътворяетъ, и древо плодовито же и бесплодное вѣтвы възращаетъ и цвѣты красныи всяческыим творыт садовомъ. Тогда и земледѣльци къ уготовленію своего дѣланіа бывше жрътвенаа въспріемати въздааніа своих трудовъ и потовъ мнятся. Тогда и виноград обрѣзаемъ отраслы и розгы издивающи свою наготу украшаетъ. Тогда и горы листъ изращающе, дубравныими честостми дивіих животных роды съхраняют. Тогда и море съ плавателными своими утишается и кръмчіамъ творитъ безпреткновенно и безмятежно плаваніе дающи».

Описание весны здесь связано уже не с праздником пасхи, а с праздником рождества. Поучение начинается этим описанием, причем проповедник сразу же указывает на *обновление,* приносимое весною. Соблюдена здесь и фигура единоначатия (в данном памятнике — «внегда... тогда... тогда»...), и общий порядок и образы описания; самый текст дан самостоятельно и более кратко, нежели в предшествующих памятниках. Обычный порядок нарушается лишь эпизодом о пении птиц, вставленным в середину описания, тогда как в двух первых памятниках он находится в конце. Как мы уже сказали, описанием весны начинается все поучение, причем, в противоположность двум первым произведениям, оно не является органическою частью всего произведения, а присоединяется к нему совершенно механически одним только предложением: «Сице убо господу нашему от дѣвы Маріа рожшуся якоже веснаа веселіа въселеннѣй въсіа и всю тваръ къ обновленію възведъ», вслед за которым идет описание рождения Христа в Вифлееме. Природа носит вполне реальный характер, символики в ее изображении мы не встречаем никакой: эта последняя выступает только в цитированном выше предложении, посредством которого описание природы присоединяется к последующему поучению. Таким образом, как и в «Слове» Григория, картина природы в этом памятнике приобретает самостоятельное значение. Весне присвояется не только сила возрождения, но и сила исцеления. В сравнительно кратком отрывке автор упоминает целый ряд весенних шумов (лес, свирель, птицы), давая гармоничное сочетание звукового и красочного пейзажа; здесь же мы встречаем упоминание сладкого благоухания и радости, доставляемой им человеку. Звуковые и обонятельные элементы, лишь кратко упоминаемые в «Слове» Григория, здесь составляют уже существенную часть описания.

В дополнение к приведенным текстам следует упомянуть два описания весны, встречаемые в «Повести кн. Катырева-Ростовского». Приведем первый текст:[1]

«Юже зиме прошедши, время же бѣ приходитъ, яко солнце творяше подъ кругомъ зодѣйнымъ теченіе свое, въ зодѣю же входитъ овенъ, въ ней же нощь со днемъ уровняется и весна празднуется, время начинаетъ веселити смертныхъ, на воздусѣ свѣтлостію блистаяся. Растаявшу снѣгу и тиху вѣющу вѣтру, и во пространные потоки источницы протекаютъ, тогда *ратай раломъ погружаетъ и сладкую бразду прочертает и плододателя бога на помощь призываетъ;* растутъ желды и зеленѣютца поля, и новымъ листвіемъ облачаютца древеса, и отовсюду украшаются плоды земля, поютъ птицы сладким воспѣваніемъ, иже по смотрѣнію божію и ево человѣколюбію всякое упокоеніе человѣкомъ спѣетъ и услажденіе».

А. С. Орлов[2] предполагает, что пейзажи «Повести» взяты из какого-то календарного сочинения, т. к. в них оба раза указываются соответствующие зодиакальные знаки. Далее он глухо упоминает, что при чтении вышеприведенного отрывка приходит на память и Кирилл Туровский, и пустыня царевича Иоасафа. Вполне возможно, что какое-то сочинение календарного характера вошло, как один из элементов, в повесть кн. Катырева-Ростовского. Но сравнение текста «Повести» с приведенными выше памятниками ставит весну «Повести» в несомненную зависимость от них, и в частности не от Кирилла Туровского (только одно совпадение в тексте: «вѣтри тихо повѣвающе» и «тиху вѣющу вѣтру» — образ, достаточно распространенный в др.-русской литературе), а от Григория Богослова (ратай, — см. в тексте). Заметим, кроме того, что пейзаж «Повести» окончательно освобождается от символического элемента, приобретает конкретный характер во времени (зодиак, равноденствие), и локальный оттенок («растаявшу снегу» . . .). Что касается второго пейзажа той же повести, то собственно описания весны или весенней природы в нем нет. Эта картина построена на исключении зимних признаков и указании на зодиакальный знак (там же, стр. 593): «зимная уже година проиде, время бысть веснѣ, студень уже совлечеся своихъ иньевъ; и мразу отъ своей жестости ослабѣвшу и ростаявшу снѣгу, и солнце уже на концы зодѣи рыбъ текуще» . . .

Подобный же прием исключения зимних признаков мы находим в Сибирской Летописи. С него начинается картина природы, а вслед за тем идет описание весеннего пробуждения, дающего плоды после зимних холодов и избавляющей людей от голода:[3]

«И по семъ убо зимная година проиде, мразу и студени облегчѣвшу отъ солнечныя теплоты и настомъ наставшимъ и тѣмъ людемъ питающимся и гладу облегче-

1 Памятн. смутн. врем., 1909, стр. 588.

2 «О стиле великорусск. историч. беллетристики», 1909, стр. 29—30.

3 Изд. Арх. Ком., стр. 32.

вающу. И егда веснѣ приспѣвши и отъ теплости воздуха снѣгу растаявшу і всяка тварь ботѣюще, и древесамъ и травамъ прорастающимъ, и отверзеніе водамъ бысть, тогда убо всяко животно веселящеся, и птицамъ, прелетающимъ в та мѣста плодовъ своихъ ради, і въ рѣкахъ рыбамъ плоду ради ходящимъ, и рыбной ловле и птичьей бывшу много множество, и тою ловитвою питашеся и гладу людемъ не бысть».

Здесь мы видим своеобразную цель описания весны: автор видит в ней прежде всего плододательницу, побуждающую всю природу размножаться и приносить плоды. Разумеется, здесь картина природы играет чисто служебную роль и обусловлена ходом описываемых событий; поэтому эстетическое чувство, которое она может вызывать, основывается на чувстве облегчения и избавления от гибели. Наконец, в той же Сибирской летописи мы встречаем (там же, стр. 35) еще один весенний пейзаж, текст которого приводим:

«... зима уже мимо иде, прилѣтіе же пріиде, веснѣ приспѣвши, потомъ же и лѣту дошедшу, земля прошибающе злакъ свой і возрастающе сѣмена своя, и птицамъ воспѣвающимъ, *но въ кратцѣ реку: вся суть обоновляема*».

Несмотря на большую краткость текста, мы можем предположить знакомство его автора со «Словом» Григория Богослова. К этому нас приводит концовка текста, невольно приводящая на память единоначатие «Слова» Григория, как бы сокращенное автором Летописи, а также конец того же «Слова»: «Еще же сокращеннѣе рещи: нынѣ весна мірская, весна духовная»...

Есть область др.-русской литературы, где изображения весны представлены в большом количестве: это—памятники календарного характера с прозаическим или стихотворным текстом, нередко снабженные соответствующими символическими изображениями-иллюстрациями. Но эта область[1] не имеет прямого отношения к нашей теме — о пейзаже в др.-русской литературе. Упомянем только более близкое к этой теме — *олицетворение* времен года, пример которого приводился еще Сухомлиновым в упоминавшейся статье (стр. XXXVIII) по рукоп. гр. Уварова № Q 536, где весна «наречеся яко дѣва преукрашенна, красотою и добротою сіяюща, чюдна и преславна, яко всѣмъ дивитися добротѣ ея. Любима бо всѣми; родитъ бо ся въ ней всяко животно; радости и веселія исполнена: — сицева есть весна. Прообразуетъ бо весна юность житія человѣческаго».

Мы видим, что малый по количеству материал, имеющийся в нашем распоряжении, почти весь восходит к одному источнику. В тех памятниках, где мы можем установить зависимость от «Слова» Григория Богослова, пейзаж носит в себе элементы символизма (исключая «Повесть кн. Катырева-Ростовского»). Зависимостью от пере-

---

[1] См. Ф. И. Буслаев, Историч. очерки, т. II; И. Н. Жданов. Греч. стихотвор. в славянск. переводах, Соч. т. I; В. Н. Перетц, Исследов. и матер. по истории старинн. украинск. лит., 1926, и др.

водного памятника объясняется и тип природы, имеющий общий характер. Во всех описаниях, связанных с переводным образцом, очень сильно стремление воздействовать на эстетическое чувство читателя: образы даются высоко художественные, природа описывается в самых привлекательных выражениях. Немногочисленные примеры описаний, отходящих от этой традиции, делают картину природы как бы прикладной (Сибир. лет.; «Повесть»); но и в них весна изображена в радостных тонах, как возродительница и спасительница.

Эпитеты, присвояемые весне древне-русскими авторами, представляют ее красовидной годиной, красотою и добротою сияющей, обновлением, царицею времен, радостной и светлой.

А. Никольская.

Ленинград.
1926. XII. 31.

«Капитанская дочка» Пушкина и романы Вальтер-Скотта.

Страхов в своих «Заметках о Пушкине» бросил любопытное замечание: «Пушкин не был нововводителем. Он не создал никакой новой литературной формы и даже не пробовал создавать». И далее: «Форма «Капитанской дочки» взята с романов Вальтер-Скотта».[1] К сожалению, дальнейшие исследователи не заинтересовались словами Страхова и ничего существенного не прибавили к ним. Правда, еще Галахов указал, что конец «Капитанской дочки» близко напоминает сцены из «Эдинбургской темницы» с Джени.[2] Впоследствии это указание было развито Гофманом.[3] Но общая формальная зависимость «Кап. дочки» от романического искусства В.-Скотта до сих пор не выяснена, если не считать распространенного мнения, что Пушкин заимствовал у автора «Уоверли» манеру начинать главы каким-нибудь эпиграфом.

Между тем несомненно, что вся конструкция «Кап. дочки» сильнейшим образом зависит от В.-Скотта.

В русской науке некогда еще Погодин,[4] в наше время — Замотин,[5] а из западных исследователей — в особенности Дибелиус[6] указывали на то, что большинство романов «шотландского чародея» развивают, во множестве вариаций, схожую схему. Отдельные звенья этой схемы находим и у Пушкина.

1. *Герой отправляется в путь или находится в пути.* Это обычное начало В.-Скоттовских романов. Его мы найдем в «Айвенго», «Кв. Дорвард», «Г. Маннеринг». Особенно любопытен для нас «Уоверли». Романист подробно рассказывает о детстве своего героя, описывает его отправления в драгунский полк, приводит

---

1 Страхов. Заметки о Пушкине, СПб. 1888 г., стр. 37.

2 А. Галахов. О подражательности. Р. Ст. 1888 г. № 1.

3 Пушкин. Под ред. Венгерова, т. IV.

4 Весин. Очерк истории р. журналистики, СПб. 1881, стр. 211—217.

5 Замотин. Романизм 20-х гг. XIX ст. Т. II, стр. 340, 2-ое изд. Изд. Вольф.

6 Dibelius, Englische Romankunst. II B. 2 Auflage. Berlin und Leipzig. Mayer und Müller. 1922.

напутственную речь дядюшки. Эта же схема воспроизведена в I гл. «Кап. дочки» с теми изменениями, которые вызваны иным национально-культурным окружением и иными характерами действующих лиц.

2. *Герой попадает на пир, где знакомится с будущей возлюбленной.* У В.-Скотта этот мотив находим в «Уоверли», «Айвенго», «Легенде о Монтрозе» и т. д. То же, в сущности, в «Кап. дочке». Разумеется, у Пушкина не Скоттовский замок, а деревянный дом Миронова, не роскошный пир, а скромный обед, не великолепная красавица, а средняя русская девушка. Но суть дела от этого не меняется. Здесь, как и в первом пункте, то же неизбежное упрощение, в связи с общим колоритом повести.

3. *Любовь протекает на фоне волнений.* У В.-Скотта этим фоном порою бывает борьба между Ганноверским домом и Стюартами («Роб-Рой», «Уоверли»), порою — национальная распря саксов и норманов («Айвенго»), порою — волнения на религиозной почве («Тори и Виги»). На фоне политических волнений протекает любовь и героев Пушкина. Но, в противовес обыкновению шотландского романиста, Гринев и Миронова примыкают к одной и той-же партии. Эффект борьбы политических взглядов влюбленных оказался чужд повести Пушкина.

4. *Любви препятствует другой претендент на руку героини.* Эта обычная пружина действия Скоттовских романов («Роб-Рой», «Айвенго», «Тори и Виги») воспроизведена и в «Кап. дочке» (Швабрин).

5. *Борьба из-за возлюбленной приводит соперников к дуэли.* Мотив дуэли находим в «Роб-Рой», «Антикварии», «Ламерм. Невесте» и т. д. В параллель к этому вспомним дуэль Гринева со Швабриным.

6. *Героиня лечит героя.* Трогательная сцена излечения Гринева Марией Ивановной, по основому своему мотиву, сближается с «Айвенго», где рыцаря спасает от болезни красавица-еврейка, и с «Уоверли», в котором рассказано, как стройная Алиса (впрочем, второстепенное действующее лицо) врачует героя.

7. *Герой попадает в стан врагов.* Пребывание Гринева у Пугачева находит себе соответствие в том, что и герои «Уоверли» и «Роб-Рой» принуждены были временно жить в стане врагов короля. Все, они, однако, сохраняют верность своим монархам. Но герои шотландского романиста почтительны с предводителями повстанцев, как с представителями бывшего царствующего дома. Для Гринева (и Пушкина) Пугачев — только разбойник.

8. *Главарь повстанцев раскрывает пред героем свои планы.* В «Роб-Рой» есть такая сцена: герой романа Фрэнк Осбальдистон находится в обществе Роб-Роя, разбойника и, вместе с тем, борца против Георга I. Только что кончилось пиршество, впрочем, очень скромное. Приближенные Роб-Роя заснули. После тяжелого раздумья Роб-Рой заговорил: «Мой родственник слишком сурово судит человека

с моим характером и в моем положении»... Герой замечает ему: «Мне было бы приятно услышать... что вы можете еще найти из него[1] честный выход». Следует ответ Роб-Роя: «Вы рассуждаете, как мальчик... Разве я могу забыть, что заклеймен, как отверженный, объявлен изменником... Все те, кто глумится теперь над моими бедствиями, испытают когда-нибудь, что значит месть Роб-Роя» (стр. 341—342). Не трудно заметить, что сцена напоминает ночную встречу Гринева с Пугачевым на пиршестве. Но самое содержание беседы, надо сблизить с тем, о чем говорили Гринев и Пугачев, когда они ехали в санях из Берды. Ср. заявление Пугачева, что он «не такой еще кровопийца», предложение Гринева «прибегнуть к милости государыни», ответ Пугачева, что ему уже «поздно... каяться» и его надежды на удачу: «Как знать. Авось и удастся». Но Роб-Рой хочет отомстить за унижение, Пушкинский Пугачев — хоть на миг насладиться жизнью, «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью».[2]

9. *Герой попадает в тюрьму.* Временное пребывание в стане врагов приводит к печальным недоразумениям. Как Уоверли, так и Гринева подозревают в преднамеренных сношениях с врагами существующей власти и заключают в тюрьму. Вот те главные звенья фабулярных схем, которые отразились в «Кап. дочке».

Но если присмотреться к *персонажам,* изображенным Пушкиным, и к их взаимоотношениям, то и здесь можно обнаружить близость к В.-Скотту.

Dibelius, в главе Rolenverträtung, рельефно показал, что все действующие лица шотландского романиста могут быть разделены на несколько основных категорий. Перетасовав его данные, получаем такую схему:

1. *Герои.* Автор обычно ставит в центре романа неизвестное истории лицо, которое сталкивается с историческими фигурами. Таков какой-нибудь Уоверли, покровительствуемый одно время Иаковом Стюартом; таков какой-нибудь Айвенго, приближенный Ричарда-Львиное Сердце. Вслед за В.-Скоттом так поступает и Пушкин, у которого в центре романа какой-нибудь неизвестный Гринев, общающийся с Пугачевым, и провинциалка Мария Ивановна «облагодетельствованная» Екатериной II. Но если Dibelius прав, когда он показывает, что герои В.-Скотта по характеру своему, отнюдь не историчны, то относительно героев Пушкина установилось совершенно иное мнение. Есть и еще одно существенное различие. Герои В.-Скотта — каталог добродетелей; не раз было показано, что Гринев и Мария Ивановна — живые люди, с пороками, сквозь которые просвечивают высокие душевные качества (см. хотя бы упомянутую статью Гофмана).

2. *Противник героя.* У В.-Скотта противник или великодушный добавочный

---

[1] Пути, по которому идет Роб-Рой — *Б. Н.*

[2] Пушкин, под ред. Венгерова, т. IV, стр. 424.

герой («Тори и Виги») или злодей, пытающийся благодаря насилию, завладеть героиней («Роб-Рой»). Швабрин относится ко второму типу противников.

3. *Строгий отец.* В ряде романов («Пират» и др.) встречаем фигуру строгого, молчаливого отца, любящего тишину и уединение. Русской вариацией определенной эпохи является внешне суровый примьер-майор Гринев, уединившийся в своей симбирской деревушке, строгий с сыном и молчаливый с женой.

6. *Добродушные простаки.* Одной из излюбленнейших фигур В.-Скотта являются его добродушные простаки («Роб-Рой», «Пират», «Пертская красавица»). Они забавны внешностью, несколько надоедливы своими неуместными цитатами, или беспрестанными воспоминаниями о предках, или бесконечными советами. Но, по существу, они добры, стойки в дружбе и верности и нежданно храбры. Эту роль у Пушкина поделили между собой два персонажа — капитан Миронов и его поручик, мало отличающиеся друг от друга.

7. *Комические слуги.* Скоттовские Калеб, Монишлайс и др., как это уже было указано, близки Савельичу. С Калебом Пушкинского слугу объединяет рабская преданность, горячая любовь к господину, готовность погибнуть за него, комически-чрезмерная заботливость о его благе. Но у В.-Скотта эта заботливость сказывается в стремлении поддержать честь рода; у Пушкина (иная среда, иная эпоха!) — всего только — сохранить скромное имущество барчука.

Значительно слабее влияние В.-Скотта сказалось в воздействии на Пушкина принципа couleur locale романов его учителя. Пушкинские описания домов, intérieurs, костюмов, лиц и т. д. гораздо более сжаты, немногословны и менее антикварно насыщены, чем у автора «Айвенго».

Зато прославление национального духа выдержано Пушкиным в тех же скромных тонах, что и у В.-Скотта, в противовес патетике Гоголя и сентиментальной чрезмерности Загоскина и провинциальных «костромских модисток» (исторических романистов, по словцу Пушкина).

Таким образом, влияние В.-Скотта сказалось наиболее рельефно в использовании мотивов романической схемы и распределении персонажей романа. Но взятое подвергалось творческой переработке.

Схематические фигуры оживали (герои), чужое превращалось в национальное (отъезд Уоверли-Гринева), повествование упрощалось (отношения героев, описания), за всякой вариацией ощущался аромат эпохи (герои и повстанцы: Калеб и Савельич).

Б. Нейман.

Москва.
31. XII. 1927.

Український наголос в XVI віці.

Хоч наголос в житті мови й відограє дуже велику ролю, проте не помітно якогось глибшого зацікавлення ним; особливо бракує студій над історичним розвитком наголосу. Український наголос дуже рано відокремився в осібну систему, але, на жаль, ще не зібрано потрібного матеріялу для його докладнішого вивчення. Наголос в житті кожної мови дуже консервативний, з бігом часу міняється він не багато, про що нам виразно свідчить Новий Завіт митр. Олексія з половини XIV-го віку, — зазначені тут наголоси в своїй більшости ті самі, що їх бачимо в московських стародруках XVI—XVII віків, а почасти і в сучасній церковній вимові.

Звичайно, те саме було і з наголосом українським, — він таксамо мало мінявся з часом. Та церковна вимова, що запанувала в Києві ще в IX—X віках, ця церковна вимова, можна припустити, віками прималася міцно на Україні, з бігом часу змінялася мало, і наші перші акцентовані пам'ятки напевне донесли її нам мало зміненою. На жаль, не маємо ніяких матеріялів, котрі показали б нам фактично, яким саме був найдавніщий укр. наголос; але що цей наголос вже в IX—X віках був відмінним від наголосу південно-слов'янського та російського, це не може підлягати сумніву. Костянтин Философ, коли в 860—861 році був в Херсонесі, знайшов там Евангелію та Псавтиря, «росьски писмены пьсано», стрів тут і чоловіка, що говорив «руською бесідою», і розмовляв з ним, «и *силу рѣчи* приимъ, своей бесѣдѣ прикладая, разлучи писмена, гласьная и съгласьная». Ключем до зрозуміння цього уривку з Життя Костянтинового служить вираз «сила рѣчи». На мою думку, вираз цей — це граматичний термин, який означає наголос (акцент, τόνος), а в переноснім значінні вимову. Слово *сила* визначає акцент з найдавнішого часу аж до XIX-го віку, — в цім значінні слова цього вживається по всіх найдавніших статтех та по всіх старих граматиках (пор. хоча б у Ягича в його «Разсужденія старины»... 1895 р. сс. 340, і passim — тут скрізь *сила* — то акцент.[1] Це свідчення дає мені підставу

[1] Докладніше про це росповідаю в своїй літографованій праці: «Костянтин і Мефодій», Варшава, 1926 р., ст. 126—147, а також в статті: «Українська вимова богослужбового тексту в XVII віці», див. журнал «Ἐλπίς», Варшава, 1926 р., кн. I, ст. 10—11.

твердити, що український наголос був осібним вже на самім початку слов'янської письменности.

Акцентовані пам'ятки маємо з пол. XIV-го віку; вони вже з того часу зазначають осібний укр. наголос. Я такої думки, що в т. зв. Чудівськім Новім Завіті не маємо чисто моск. старого наголосу, — трохи тут зазначено й наголосу укр. Митр. Олексій, син чернігівського боярина Хведора Бяконта, напевне чув в родиннім оточенні укр. вимову та наголос, чув цей наголос і від київського духовенства, що почало тоді, через татарські напади, сунути на північ і впливати на церковну вимову московську. В Новім Зав. митр. Олексія знаходимо трохи наголосів, яких звичайно в чисто північних пам'ятках не знаходимо, але яки постійно знаходимо в пам'ятках укр., — їх я й рахую за український елемент в наголосах Чудівського Нов. Зав., напр.: єдинѝ 74, єдина̀ 75 б, Павло́вы 75 б, засвѣдѣтелствова́ти 73 б, подо́бает 74. 75 б, створилъ 74 б, сто́ривъ 79 б, і т. п.

Щоби показати, яким був укр. наголос в XVI віці, я коротесенько проаналізую тут наголос стародрукованого Острізького Збірника 1588-го року, в 6 відділах.[1] Подаю тільки головніше, не спиняючись на подробицях; для порівнення беру моск. наголос першодрукованого Апостола московського 1563 р., по його львівському виданню 1574 року. Наголос Збірника чи Книжиці 1588 року не чистий український, — тут знаходимо багато й таких наголосів, які звичайні в стародруках моск., але яких не буває в стародруках укр.; можливо, що або оригинал мав уже ці чужі наголоси, або їх поставив хто небудь із справщиків, яких в Острозі ніколи не бракувало.

1. В системі давнього укр. наголосу звертає на себе увагу накорінний наголос, який не міняє місця й при відміні слова, напр.: ве́щми 77 б, в ве́щахъ 49 і т. п., от вра́га 19 б, вра́жда 57, ли́чбою 18 б, N³ мѣ́ста 32, по мѣ́стахъ 114, въ мѣ́стехъ 31 б, по́лка 117, G³ рѣ́чей 51 та ин., ско́товъ 65, со́сцы 17, G¹ стра́ны 127, N³ те́лцы 65 б, G³ те́льцов 65 б, G¹ су́да 51 б, о су́дѣ 81, тво́рецъ 56 б, 60 б, тво́рца 30. 64 б, G¹ тру́да 25 б, G³ тру́довъ 118 б, Ab¹ у́гломъ 24 б, во у́гле 90, оба у́глы 68, Ab³ у́глы 68, Ab¹ у́момъ 66, G³ ча́совъ 50 б, че́рта 35, G³ чи́новъ 46 і др.; пор. в Апостолі: врагѝ 160, вражда̀ 55, G¹ страны̀ 30, творе́цъ 51. 56, творца̀ 80, ума̀, умо́мъ 95 і т. п.[2] Цим замилуванням до накорінного наголосу — а його знає й жива сучасна укр. мова, особливо церковна вимова Галичини, — укр. мова давніх книг наближується до наголосу сербського.

2. В назвах народів на *-анин, -янин* наголос падає, як і в живій мові, на *а́, я́*: римля́не 14 б, римля́нъ 10, к римля́намъ 110, ізмаилтя́нъ 22, македоня́нъ 77 і др.; Апостол: ри́млянинъ 46, 47, ри́млянина 38, 46, ри́мляномъ 38 та ин.

[1] Працював над примірником Національн. Музею у Львові № 424.

[2] Збірник 1588 р. цитую по аркушах, а Апостол 1574 р. — по зачалах.

3. Слова на *-аніє* мають наголос на *а:* випитова́нью 32 б, дѣла́нію 53, знайдова́нью 39, исповѣда́ніє 89 б. 91. 91 б, до исповѣда́нія 87 б. 97 б, исповѣда́нію 91, исповѣда́ніємъ 54, во исповѣда́нии 73 та ин., лукавствова́ніє 78 б, мудрова́ніє 78 б, мудрова́нія 31 б, мудрова́нію 89 б, мудрова́ніємъ 6 б, о обрѣза́нію 19, обрѣза́ніємъ 18, обѣтова́ніє 28 б, обѣтова́нія 23 б, оклевета́ніє 78 б, ошука́ньємъ 38, въ связа́нью 16 б, усилова́ньми 45 б і др. Часом буває і давніший накорінний наголос: ви́дѣніє 39, дости́гненьє 50, ме́шкане 20 б, свя́заніє 50 б і др. В Апостолі: дѣ́ланіє 38, испові́даніє 189, обрѣ́заніє 82 та ин.

4. Слова на *-ство* не мають сталого наголосу: є́стество 50 б. та ин., є́стества 53, є́стеству 47 б, є́стествомъ 59 б, о є́стествѣ 69, неисто́вство 29 б та ин., неисто́вства 37 б, перве́нства 102, старше́нство 128 б, в старше́нствѣ 121, о су́ществѣ 69 і т. п. В Апостолі: єстество̀ 148, єстества̀ 64. 81, єстеству̀ 106, неи́стовство 49.

5. Слова середнього роду на *-тіє* моють наголос на корінi: бы́тіє 44 б та ин., G[1] жи́тія 38 б та ин., сожи́тія 89, пи́тіє 24, проли́тіємъ 31 б і т. п.; такий наголос знаходимо по всіх українських стародруках. В Апостолі: бытіа̀, житіѐ 49, житіѝ 55.

6. Серед річевників багато слів з особливим наголосом, який знаходимо як звичайний в укр. стародруках, напр.: глаго́лъ — глагола̀, глаголы̀ 91 б, государя̀ 30 б, за́конъ 14 та ин., за́кона 16 б, за́кону 24 б, за́кономъ 19 б. 33 б, въ за́конѣ 16 б та ин., за́коны 94, злобы̀ 92, има̀ 16 та ин., Ас[3] на́пасти, на́родъ 116 (часте й наро́дъ), нена́висть 57, нена́вистника 19 б, отра́сли 42, по́кармъ 24, по́кармомъ 17, по́ступковъ 29, G[1] работы̀ 61, от роди́ны 17 б, та́блица 68, тає́мница 29 б, тає́мницы 40, умы́слу 102, ужа́съ 14, у́родомъ 34 б, утѣши́тель 52, утѣши́теля 29 б та ин., у́ченикъ 41 (часто), у́ченика 47 б, у́ченицы 35, у́чениковъ 35 б, у́ченикомъ 29 б та ин.; ходата́й 61 б, брѣдня́ми 30, волка́ми 110, работа̀ — работа́ми 18, судба́ми 18 і т. п. В Апостолі: глаго́лы 27. 49, зако́нъ 36. 45, зло́бы 31, и́мя 36. 40, напа́сть 145, наро́дъ 28. 30, въ у́жасѣ 46.

7. Прикметники на *-енний* звичайно мають наголос на *е*, напр.: божестве́ный 29 б, -ве́ная 33 б, -ве́ное 83, -ве́наго 23 б, -ве́ному 100 б, -ве́ных 30 б, невеществе́ныє 65 б, осягне́ная 31, существе́ный 55 б, существе́ная 42 б, -ве́наго 39, о существе́немъ 41 б, существе́нiи 42, таинстве́нную 125 і т. п.

8. Найвищий ступінь порівняння в прикметниках звичайно має наголос на *ѣ:* искуснѣ́йшій 47, мудрѣ́йша 26, немощнѣ́йши 72, опаснѣ́йшими 107 б, преблаженѣ́йшій 90, преблаженѣ́йшія 70 б, пригоднѣ́йшею 91, приличнѣ́йшїй 68, свойственѣ́йшее 42 б і т. п.

9. Коли найвищий ступінь твориться через приставку *най*, то наголос падає на неї, як то маємо і в сучасній західно-українській мові: на́простъшему 14 б; те

саме і в дієприслівниках: нáпервей 115, найпаче 76 та ин. Апостол: наипáче 44 і т. п.

10. Наголос в окремих прикметниках: зáконныхъ 34 б, зáходныхъ 109 б, зéмные 66, зéмнымъ 119 б, и́ный 45, и́ное 88 б, и́наго 73 б, и́ныя 74, и́ную 105 б, и́ніи 40 б, и́ныхъ 34, и́ншый 36, и́ншее 60 б, и́ншыхъ 19, ми́рскыхъ 117, мнóжайша 101 б, мнóжайшая 100, мнóжайшими 70 б, мнóжайши 114, плóтскаго 112 б, прóста 113 б, прóстыхъ 38, рáзумнаго 31, рáзумныа 16, нерáзумніи 17 б, рáзумныхъ 49, розмаи́тыхъ 15, въ солнéчнѣ 47 б, чéстная 124, чéсна 65, чéсными 65, всечéснаа 101, чю́жимъ 25 б, чю́жаго 36 б і чюжáа 45 б, чюжíмъ 45 і т. п. Апостол: закóнное 82, земнáя 55, инáя 169, мирски́хъ 138, множáйшіи 51, плотскáя 70, честны́й 56, разу́мна 68 і др.

11. Укр. наголос в числівниках: єдінò 16 б, обóє 62, обóихъ 43. 77, обóимъ 24 б, чоты́рехъ 115 б, сéдмаго 88, дру́гое 70, дру́гыя 69 б, дру́гаго 43, дру́гому 41 б, дру́гые 25, дру́гыхъ 88 б, втóрый 87 б, втóрое 64 б, втóрому 20, во втóрой 95 б. Апостол: еди́на 47, еди́но 40. 44, седмы́й 78, другíй 155, другáя 47, вторы́й 51. 163.

12. В заіменниках зазначу наголос: моéго 57 б (часто), твоéго 15, своéго 18 б і т. п., моéму 53, своéму 18 б, моéа 15 б, никóму 20 б, в мóемъ 36, в мóей 36, мóими 39 б, от свóихъ 41, по свóей 43 б, кáя 69, кýю 34 б і кая́ 57, коé 70, сáмая 103 б, самáго 30, самóму 82, всѣмѝ Аѣ³ 65 та ин., тымѝ 48, сіе 60 (часто), сéе 38 б, сія́, сіа 34 б і скрізь, сíи 30, такóвый 35, такóваа 75 б, такóвое 43 б і таковáя 30, таковáго 67 і т. п.; все це живий наголос в сучасній укр. мові. Апостол: моегò 44. 79, моемỳ 32, своегò 29, своемỳ, свои́хъ 33, твоегò 46, твоемỳ 33, сія̀ 34, сіѐ 33, сіѝ 38 і др.

13. В живій українській мові з глибокої давнини займенники *менѐ, тебѐ, себѐ, йогò, йомỳ,* коли стоять по прийменниках, то переносять наголос з кінця на перший склад; те саме бачимо і в нашім Збірнику: от мóего 81, моéго 105, от нéго 14 б, в нéго 41 б, для тóго 64 б, для чóго 79 б. В Апостолі: от негò 29, 46, 47, из негò 125, от менѐ 107, от тебѐ 45.

14. В дієсловах на *-ати* наголос дуже часто падає на *а:* слыхáти 116, заповѣдáти, подобáти і т. п. При зміні цих дієслів наголос у всіх дієслівних формах або лишається на цим *а,* або лишається на тім само складі, коли нема *а,* напр.: заповѣдáетъ 37 б, подобáетъ 22 б, перегорожáетъ 31 б, проповѣдáется 87, содѣлáетъ 93, престáемъ 15, переворочáютъ 38, заповѣдáлъ 35 б, исповѣдáлъ 123, пріимовáли 25, съдѣлáся 20 б, исповѣдà 57, проповѣдáше 90 б, избрáвши 30 б, держáщеся 25, держáщымъ 23, допытывáючися 39 б, зазирáючи 14 б, злучáючи 24 б, кончáючи 35 б, затирáючи 96, начинáючи 34, озывáючися 48 б, поучáючи 53, воспоминáя 104 б, слышáй 35 б, избрáный 29 б, собрáный 87, создáная 105,

создáное 107 б, замолчáное 39 б, вѣнчáнъ 94, изгнáнъ 114, предáнъ 120, послáна 87, 103, предáна 85 б, умолчáна 51, образовáно 65, предáно 45 б, избрáннаго 48 б, подáнаго 53 б, даровáной 38 б, несоздáную 77, подáную 36 б, предáную 86, в подáнном 34, в друковáной 95 б, порабощéни 17 б, собрáни 89 б, въспитáныхъ 30 б, заповѣдáныхъ 51 б, предáныхъ 12 б, сподѣвáнымъ 23, неиспытáными 46 б і др.; пор. сучасні західно-українські думáти, снідáти, ділáти і др. В цих і подібних словах в стародруках моск. наголос звичайно падає на корінний склад, напр. в Апостолі: дѣ́лати 141, дѣ́лающе 131, избы́точествовати 117. 140, заповѣ́дя 33, пропо-вѣ́дати 49, проповѣ́дается 33, исповѣ́дую 47, исповѣ́дайте 57 і т. п.

Так само вимовляється й дієслово *глаголáти* по всіх своїх формах: глаголáти 39 (часто), глаголю́ 21, глаголéть 15 б (часто), глаголéтся 53, глаголю́тъ 30, глаголáхъ 59, 99, глаголà 74, глаголáху 58 б, глаголáше 71, глаголáлъ 34 б, глаголáли 33 б, глаголѝ 21 (часто), глаголю́ще 14 б, глаголáннаа 35 б, глаголáнное 39 б, глаголáно 82 б, глаголáные 74 б, глаголáнымъ 40, глаголéмая 112, глаголé-маго 123 б, глаголéмыхъ 44, глаголю́щіе 36 б, глаголю́щыхъ 103, глаголи́вый і т. п. З такою вимовою прийшло слово *глаголáти* від південних слов'ян, і таким воно лишається по всіх укр. стародруках; церковна вимова Галичини так само знає *глаголáти*. В Росії під впливом слова *глагóл* пішло *глагóлати*. Апостол 1574 р. ніколи не знає подібних форм: правда, склад *го* тут звичайно покритий титлом, але коли без нього, то скрізь наголос на *гó*, напр.: глагóлати, глагóлеши, глагóля і т. п.

15. Виразною ознакою старої системи укр. наголосу єсть те, що дієслова на *-овати* постійно мають наголос на *а*: враждовáти 22, изыскывáти 33, исповѣдáти 71 б, мудрствовáти 41 б, началствовáти 129 б, ницовáти 51 б, послуговáти 10, поступовáти 20, пребывáти 36, соборовáти 116, справовáти 17, чистотствовáти 64 і т. п. В подібних словах моск. стародруки звичайно мають наголос на корінному складі, напр. в Апостолі: изслѣ́довани 107, исповѣ́дую 47, му́дрствовати 116 і т. п.

При відміні цих слів по всіх дієслівних формах наголос лишається на тім самім *а* або переходить на попередній склад, на *у*, як що *а* випадає, напр.: мудрству́єши 45, владычеству́єть 119 б, дару́єтъ 60 б, знамену́єтъ 86, исповѣду́єтъ 106, послѣ-ду́єть 70, пособству́єтъ 22 б, свидѣтелству́єтъ 19 (часто), спослушеству́єтъ 50, требу́єть 51, шеству́єть 126 б, буду́ємъ 24 б, исповѣду́ємъ 61, пророчеству́ємъ 29 б, разньству́ємъ 123, проповѣду́єте 43 б, мудрству́ютъ 63, послѣдуютъ 36, свидѣтельству́ютъ 14 б, усилу́ютъ 58, шеству́ютъ 92, благовѣствовáлъ 126, збу-довáлъ 25, мудрствовáлъ 83 б, прознаменовáлъ 58 б, наказовáше 49, начальство-вáше 129, чествовáше 94 б, свѣдѣтельствовáвше 92, наказу́а 18 б, буду́ючися 25, кшталту́ючи 68, наслѣду́ючи 24, обецу́ючи 17 б, оповѣду́ючи 7, 20 б, отставу́ючи 18 б, переправу́ючи 31, жу́ючи 36 б, дѣйству́ющи 57 б, дѣйству́юще 21 б, 107 б, исповѣду́юще 28, 99 б, лукавству́юще 106, мудрству́юще 73 б, недугу́юще 71,

послѣду́юще 46, споспѣшеству́ющъ 55, дару́ющаго 29, свѣд(ѣ)тельству́юща 84, требу́ющему 26 б, недугу́ющыхъ 32 б, мудрству́ющихъ 57, послуша́ющымъ 92, честву́емымъ 32 б, проповѣду́емо 62 б, дарова́но 78 б, свѣдѣтелствованой 37, свидѣтельствова́ни 23, неислѣдова́ныхъ 107 б, лукавствова́вша 78, мудрствова́вшему 71 і т. п. В моск. виданнях XVI-го віку в подібних випадках наголос тримається частіше корінного складу.

16. Виразною ознакою давнього укр. наголосу було й те, що в дієсловах на *-ити* наголос падав на *и* частіше, ніж тепер, напр.: знайти́, 128 б, исходи́ти 56 б, сподоби́тися 108, устрои́ти 117 і т. п. При зміні цих дієслів наголос лишається на цім *и*, або на тім саме складі, коли нема *и*, напр.: излі́ю 81 б, 100 б, уподоблю́ 35 б, благовѣсти́тъ 38, благослови́тся 32 б, уцѣломудри́мся 67, бѣся́тся 93 б, свободя́тся 36 б, ствердя́тъ 38 б, уча́тъ 59 б, сподобѝ 116 б, сподоби́лся 48, уцѣломудри́лся 48 б, узакони́ли 95, сподоби́хомся 61 б, сподоби́шася 113 б, уподоби́шася 17 б, правя́ше 23 б, сподоби́вшися 26 б, славя́ще 108, любя́щыхъ 15, творя́щыхъ 28 б, 53, хваля́щихся 32, служа́щымъ 101, благоизволи́вша 100 б, науче́ный 49, явле́нов 107, приложе́нов 73, умышле́нов 72 б, поставле́нъ 109, украше́нъ 88, раздѣле́на 56 б, вруче́но 110 б, вручо́но 109, из'ясне́но 48 б, явле́но 56, 125 б, узаконе́наго 67 б, 98 б, утверже́ному 68 б, обличе́ну 15, разлуче́ни 87, неисправле́ни 92 і т. п. А в Апостолі маємо частіше накорінний наголос: устро́ю 150, устро́енъ 50, уподо́бися 50, уподо́билися 102, пра́вящаго 54, сла́вяще 189, сла́вяху 27 і т. п. В західньо-укр. говорах ще й тепер наголос на *и́ти* дуже поширений.

Але багато з дієслів на *-ити* вживається з наголосом і накорінним, напр.: благовѣ́ститъ 21, возвѣ́ститъ 81, повто́ритъ 16, перехо́дячи 57, попу́стится 43, прибли́жилися 19, приво́дячи 53, разо́ритъ 34 б, разо́рену 15, ро́дится 28 б, роспа́леныа 23, свобо́дитъ 36, сътво́ритъ 118, сотво́реномъ 65 б, тво́ритъ 35, 101 б, тво́рите 106, тво́рятъ 106 б, 96 б, усты́дятся 42 б, чи́начи 25, я́вится 15 і т. п. В Апостолі в частині цих слів наголос падає на *и*, напр.: возвѣсти́же 58, приведе́нъ 47, сотвори́ши 52, сотвори́тъ 60, твори́тъ 49, творя́тъ 39, яви́тся 62 і т. п.

17. В другій особі множини часу теперішнього наголос часто падає на кінцеве *е*, напр.: глаголетѐ, 106, естѐ 20 (при е́сте 36), привнесетѐ 54, раздрѣшитѐ 124 б, речетѐ 54, съблюдетѐ 36 і т. п. Це давні форми взагалі; і їх дуже багато в Новім Завіті митр. Олексія, багато їх і в Апостолі 1574 р.; в укр. мові ці форми живі й тепер.

18. Дієприслівники на *-чи* часто мають наголос на кінці, як і в сучасній живій українській мові: беручѝ 58, учачѝ 126, хотячѝ 90 б, могучѝ 96 б, стерегучѝ 36 б і т. п.

19. Відповідно до сучасних українських булà, булò, булѝ, продалѝ, пилѝ, принялѝ, маємо в Збірнику: булà 89 б, былò 16 (часто), былѝ 19 б (часто), предалò 45 б,

предалѝ 47, придалѝ 98, пилѝ 24, принялѝ 38 і т. п. В Апостолі было́, бы́ли 102, 149, 152.

20. Наголос на префіксі в дієсловах: прі́идет 52 (часто), пре́идетъ 35, прі́имете 58, прі́иметъ 65 б, по́йдуть 15 і др.; пор. в живій сучасній мові: при́йде, при́йме, пі́дуть. В Апостолі: прі́иметъ 50, прі́имутъ 46, прі́идетъ 33, прі́идутъ 47.

21. Наголос в окремих дієсловах: від бе́сіда маємо бе́сѣдоваше 129, побе́сѣдовати, як і в живій мові; від за́кон — безза́конствуютъ 38 б; въскресѐ 26 б (пор. сучасну примівку: Христос воскресѐ — Хома паску несѐ), хо́щу 26, хо́щютъ 76 (сучасні: хо́чу, хо́чуть), знестѝ 33 б, изнестѝ 91 б, изытѝ 18 б, состо́ится 70 б, состо́ятся 64 б, терпи́тъ 29 б, терпя́ще 14. 110 і т. п. В Апостолі: бесѣ́довати 51, бесѣ́доваше, 43, 47, бесѣ̀доваху 49 і т. п.

22. Наголос в деяких прислівниках: безза́конно 17 б (від за́конъ § 6), велмѝ 77 б, 104 б, го́рѣ 58, дале́ко 33 б, здале́ка 97, дале́че 31 б, добрѣ̀ 89 (при до́бре 26), зѣ́ло 77, и́нако (пор. и́ный), и́ногда 53, испе́рва 103, ко́гда 126, мно́жае 14 б і др., пе́рвѣе, пе́рвѣй 76, посре́дѣ 89 б, ра́зумно 47 (пор. ра́зумный), си́рѣчь 29, від прикметників на *-е́нний* по § 7: владычестве́нѣ 103, едінстве́не 43, естестве́нѣ 60, 100, невеществе́но 66 б, неизглаго́ланнѣ 71, существе́нѣ 55, таинстве́нѣ 42, явстве́нѣ 42 і т. п. Апостол має инші форми: горѣ̀, далечѐ 46, зѣлò 75, иногдà 58, испервà 68, множа́е 36, посредѣ̀ 40, сирѣ́чь 101.

23. Звичайно маємо: кро́мѣ 51, еслѝ чи естлѝ 34 (часто), а в Апостолі кромѣ̀ (часто); форма *еслѝ, сли* звичайна в сучасній західньо-українській мові.

Подаю тепер коротенько ті висновки, які я роблю на основі поданого тут матеріялу, а також на основі того, що я видрукував в инших місцях.[1]

1. В XVI віці українська мова мала вже свій власний наголос, дуже помітно відмінний від наголосу російського.

2. В Остр. Збірнику 1588 р. наголоси ті самі, які знаходимо і в тогочасних богослужбових книжках, напр. в стрятинськім Служебнику 1604 р.

3. Приймаючи ж на увагу велику консервативність церковної вимови, треба думати, що українська мова мала свій відмінний наголос вже глибокій давнині.

4. Той наголос, якій знаходимо в Остр. Збірнику 1588 р., єсть не тільки наголос літературний тогочасний, але до певної міри й наголос тодішньої живої української народньої мови, бо в багатьох своїх рисах він живе в українській народній мові, особливо в західних її говірках, ще й тепер.

---

[1] Наголос яко метод означення місця виходу стародрукованих книжок, див. «Зап. Наук. Тов. ім. Ш.», Львів, 1925 р. т. 136—137, ст. 197—224; Український наголос на початку XVII-го віку, див. «Записки Чину св. Василія Великого», Львів, т. П, вип. 1—2, ст. 1—29, 1926 р.

5. Український наголос має немало спільних рис з наголосом південно-слов'янським, власне з сербським.

6. Система наголосів — це міцний та виразний метод означення місця виходу стародрукованих книжок.

7. Система наголосів — це також вірний метод для означення національности акцентованих пам'яток.

Іван Огієнко.

Варшава.
1926. XII. 31.

Ze stosunków językowych małorusko-rumuńskich.

Zmiany językowe powstają w pewnych ośrodkach terytorjum językowego, a potem szerzą się w różnych kierunkach, jeżeli nie spotkają przeszkody. Może ją tworzyć zetknięcie ze środowiskiem odmiennem, a szczególnie z językiem obcym, ten bowiem przedstawia zawsze splot innych tendencyj, z tego powodu zaś na pograniczu poszczególnych języków gwary zachowują zwykle cechy o wiele bardziej archaiczne, niż w obszarach centralnych.[1]

Prace dotychczasowe, poświęcone zbadaniu i klasyfikacji gwar małoruskich, nie zajmowały się bliżej porównawczem rozpatrzeniem właściwości dialektycznych tych gwar w stosunku do języków sąsiednich,[2] co najwyżej uwzględniały wielko- i białoruszczyznę w postaci gwar przejściowych. Przy klasyfikacji gwar małoruskich znajdziemy jednak odpowiedź na wiele trudnych problemów dopiero wtedy, gdy uwzględnimy należycie związki ich z gwarami języka polskiego, słowackiego, rumuńskiego, a wreszcie z językami wschodniemi, np. tatarskim (Krym).

Z rumuńszczyzną pozostawały w najbliższym kontakcie gwary huculskie, w mniejszym, z jednej strony, dalej na zachód posunięte gwary karpackie, z drugiej strony zaś pokuckie, a częściowo nawet gwary południowo-wschodniego pasa Ukrainy. O gwarach huculskich mamy niektóre ścisłe dane tylko z prac Ziłyńskiego. Wylicza on następujące ich cechy:[3] palatalne ŕ, średnie l, koronalne ś ź ć, futurum ze słowem -mu, przejście 'a → 'e, i̯a → i̯e, niepalatalne c w suf. -ica (pjetny^{e}ca),[4] podobne s w ces, -à, šos 'coś', des 'gdzieś', a wreszcie sudà (= сюда), sme xody^{e}u̯.[5]

---

[1] Por. Brückner, *Zbornik u slavu V. Jagića*, p. 142. Berlin 1908.

[2] Kilka drobnych uwag o wpływach obcych podał I. Ziłyński, Проба упорядков. укр. говорів, p. 361 (Записки Н. Т. ім. Шевченка, tom 117/18, Lwów, 1914).

[3] W Roczn. Slaw. IX 238.

[4] Faktycznie jednak zupełna dyspalatalizacja c s występuje w wygłosie i przedu, przed a jest częściową tylko.

[5] Opis gwar huculskich znajdujemy też w pracach Mychalczuka (Труды этнограф.-статист. экспед. П. Чубинского, том VII, стр. 508, СПб. 1872) i A. I. Sobolewskiego: Очерк русской диалектологии (Живая Старина 1892, IV, p. 60/1).

Do cech powyższych można dodać jeszcze następujące: 1) ō przeszło w i tylko po tylnojęzykowych, zresztą przedstawia się jak rodzaj y a po wargowych nawet jako ü[i] lub ü[y] (zaznaczone już przez Mychalczuka przez ю, ю͡i), 2) czasem występuje napięte û, û̯ (ostatnie często przechodzi w û), napięte ê (y[e]), podwyższone a (między a — e), 3) palatalność č′, š′ (rzadziej ž′) zachowuje się, przyczem odróżnia się jeszcze stare č′a od č′i, 4) šč, žǯ przechodzi w š́, ž́ (z odcieniem, zdaje się, trochę bardziej palatalnym od č′, š′ pod 3), 5) palatalne t′ d′ przechodzą w ḱ ǵ, przyczem znamienne są połączenia śḱ źǵ (ś ź koronalne, ḱ ǵ dorzalne) ← st′ zd′,[1] 6) dn przeważnie wymawia się jako n długie, rzadziej zdarzy się nn → dn, t d przed l, także przed r n przechodzi w k g, 7) n przed k g zawsze jest welarnem: ŋ, 8) h zbliża się do x (ewent. γ), a w wygłosie przechodzi w x, 9) dźwięczne w wygłosie tracą głosowość, 10) fonetyka międzywyrazowa przeważnie jest udźwięczniająca (cezryk ‘ten rok’, mežǯistї ‘będziesz jadł’, ceγdrou̯ ‘tych drew’), 11) częsty dosyć jest przystęp mocny ze zwarciem wiązadeł w krtani (·′adam, ·éu̯a, z·orúduvau̯), 12) znaczne są odstępstwa od gwar centralnych co do akcentu i wydechu, podobnie 13) co do słowotwórstwa (n. p. w stopniowaniu), morfologji (np. 3 sing. praes. konjug. -e zachowuje często t: bi̯et ‘bije’, yddèt, xapàt ‘łapie’, 3 plur. praes. konjugacji -i ma zak. -′è: xóǵè ‘chodzą’), a wreszcie 14) bardzo charakterystyczne jest słownictwo gwar huculskich.[2]

Wiele z tych cech ma odpowiedniki w sąsiednich gwarach rumuńskich, a niektóre są ogólnorumuńskie, np. ŋ tylnojęzykowe przed k, g. Dźwięk ten jest dla gwar huculskich bardzo charakterystyczny, niema go bowiem w pozostałych gwarach małoruskich (ani innych ruskich), a nawet nieznany jest na wschodnich obszarach języka polskiego (np. we Lwowie). Z wielu przyczyn nie mogę przeprowadzić wyczerpującego porównania tych cech z językiem rumuńskim, zaznaczę tu więc tylko niektóre punkty wspólne.

1. Tak charakterystyczne dla głosowni rumuńskiej samogłoski ă î mają w gwarze huculskiej stałe odpowiedniki w postaci e[a] y[e], co najłatwiej spostrzec w licznych wyrazach zapożyczonych od Rumunów. Dźwięk ă, który zgrubsza można określić jako samogłoskę napiętą, pośrednią między a — e,[3] zachował zbliżoną artykulację w huc. e[a],

---

1 Przejście t′ d′ → k′ g′ wymienia się już w «Очеркъ русской діалектологіи» moskiewskiej komisji dialektologicznej, zestawionym przez Durnowo, Sokołowa i Uszakowa, M. 1915.

2 W czasie feryj 1926 roku zwiedziłem wsi: Hołowy, Hryniawa, Żabie, Fereskula i inne sąsiednie. Tam też zaobserwowałem cechy powyżej wyliczone. Przez całą Huculszczyznę, która leży w granicach Polski, przeszedłem w czasie feryj 1924 roku. Materjału leksykalnego, morfologiczn. i t. p. dostarczyły mi też dzieła wymienione niżej na str. 7, przypisek 1.

3 Akustycznem oznaczeniem samogłosek ă î zajął się I. Popovicĭ (w rozpr. Fiziologia vocalelor românęştĭ ă şi î, Cluj, 1921, str. 43), który poddał analizie wszystkie definicje dotychczasowe (Tiktina, Weiganda i i.). Nie sposób rozwodzić się tu szerzej o tem, zaznaczę tylko, że sam Popovicĭ metodą genetyczną określa ă jako «e narrow high mixed», î zaś jako «i narrow high mixed». Do dyskusji jego z Weigandem dodam uwagę, że zwalczany przez Popoviča

co widoczne nawet z notat różnych etnografów, oddających tę głoskę raz przez znak a, raz przez e, np. sardák || serdák, saráka || dva syráki, raųáš || reųáš, małáį || mełáį, vekełéįa || vakelíįa, — z rum. sărdác, sărác, răvás, mălăiň, văcălíe itd. Po tylnojęzykowych występuje e (lub i): Ґелета (t. j. geᵊłéta) z rum. găleátă.[1] Przesunięcie ku przodowi samogłoski a (bez poprzedniej palatalnej), przy współdziałaniu innych czynników, np. harmonji wokalnej itp. doprowadziło czasem w wyrazach rodzimych wprost do e: dełéko, délše 'dalej', krépelka, ųdérytï 'uderzyć', pŭ'ų gréįceri 'pół grejcara', zapłenýčuvatï.

Również wymowa î pozostawiła ślad w gwarze huculskiej w zbliżanym do niego dźwięku yᵉ (podwyższone środkowe-zewnętrzne, napięte e), oddawanym przez zapisywaczy częściej przez y, niż przez e, np. brynduša[2] 'Crocus vernus', brynʒá, ǵyrła 'Erdspalte', mygła 'kupa, np. drzewa', pyrha 'zły pies', rynʒ'a, rypa, spynʒ, tyrło, urytno yncynatyį, — z rum. brîndușă, brînză, gîrlă 'koryto rzeki', nûgla 'kupa', pîrgă 'Erstlinge', rînză 'Magen', rîpă 'steiles Ufer', spînz (-ţ) 'Nieswurz, rośl. połonińska', tîrlă 'Herde, Hürde', urît 'hässlich, garstig', înţînát 'störrisch'; obok tego oddano nieraz rum. î w huc. przez e, np. błenda 'wysypka na ciele', hergéų || hergíų 'wielki garnek gliniany', herłyća 'ryskal', łopata', renʒ'a, speuz, uretno 'nudnie, obrzydliwie', versta, vertop... z rum. blîndă 'Hitzblatter', hîrdắŭ || hărdắŭ 'Kübel', hîrleţ 'Spaten', rînză, spînz, urît, mi-e urît 'ich habe Langeweile', vîrstă 'Menschen-, Lebens-alter', vîrtóp 'Schlucht, Spalte', itd. Rzadko rumuńskiemu î odpowiada w huc. samogłoska u: čukurl'iį, turš(ýk), rum. ciocîrlíe 'skowronek', tîrș 'Gesträuch, Reisholz'. Uwzględniwszy zaś, że w innych wypadkach Huculi zachowali starsze stadjum fonetyki rumuńskiej (np. ǯ, ʒ zam. ž, z: huc. ǯúryny || ǯumáryny, ʒer, ʒ'ema, rum. jum'ară, zăr, zeamă...), można sądzić, że także w wyrazach przytoczonych poprzednio Huculi wymawiali w przeszłości interesujące nas samogłoski (ă, î) identycznie z Rumunami i po dziś dzień zachowali ich starsze brzmienie.

2. Zapewne wpływem rumuńskim tłumaczy się zachowanie słabej palatalności spółgłosek przed staremi i, e (⇐ ь, e), np. z n'eneų 'z matką', d'eųįêk '9', za

m. i. fakt obniżenia krtani przy î zaobserwowałem też w swojej wymowie języka rumuńskiego, a dopiero po doświadczeniach z Drem E. Biedrzyckim, lektorem jęz. rum. w uniw. lwowskim, przekonałem się, że ten sam odcień î otrzymują rodowici Rumuni bez obniżenia krtani. Opisany więc przez Brocha (Slav. Phon. 23 ii.) i Storma (Engl. Philol. I², 98 ii.) polimorfizm samogłosek znajduje w tym fakcie dalsze potwierdzenie.

[1] Przykłady wyrażeń podają: J. Gregorowicz, Przewodnik dla zwiedzających Czarnogórę, Lwów, 1881; Szuchiewicz W., Huculszczyzna, tomy I—IV, Kraków, 1902—1908; Werchratski J. Знадоби до словаря южноруского, Lwów, 1877; liczne zapisy z huculszczyzny w Mater. ukr. etnologji, i w. i.

[2] Akcentu zwykle nie oznaczam, jeśli pada na drugą zgłoskę od końca.

mor'em, d'ïvyt'ï sá 'patrzyć się'.[1] Pod tymże wpływem utrzymała się różnica či od čê (⇇ ča), np. biči 'biec', yᵉrčí 'rzec', nom. plur. xłopčiśá 'chłopczyska', płáčuči 'płacząc', ale: viňčêtï sy 'żenić się', mišêtï 'mieszać'. Prawdopodobnie także przy zmianie t' d' ⇉ ќ ǵ i zmieszaniu t')(ќ, d')(ǵ można przypuszczać związek wymowy huculskiej ze starszem jakiemś stadjum fonetyki rumuńskiej, gdyż istniejące tam formy, np. nom. plur. muşte od muscă 'mucha', puştĭ od puşcă 'strzelba'..., 2 os. sing. praes. muştĭ od muşcă 'kąsać', mają t' ⇇ ќ (wskutek zmieszania t')(ќ), które zanikło w pewnych kategorjach, np. 2 os. sing. perf. cîntaşĭ (⇇ cantāstī), dormîşi (⇇ dormīstī, a czasem zachowało się: guştĭ 'smakujesz', triştĭ 'smutni'.[2]

3. Co do innych cech wspólnych dokładne zestawienie ich będzie możliwe dopiero po wykreśleniu izofon na gruncie południowych gwar małoruskich i północnorumuńskich. Obecnie jednak można już np. zaznaczyć, że co do przejścia x ⇉ f (huc. futko ⇇ xutko 'szybko'...) lub co do zmieszania x)(f (huc. kufńi ⇇ kuxńa, naxta ⇇ nafta...) widoczna jest pewna zgodność w sąsiednich gwarach obu języków. Jak bowiem na całym obszarze Ukrainy (właściwej) zastąpiono f przez x, tak samo stało się w rumuńskich gwarach Mołdawji, przez którą zapewne jeszcze przed jej rumunizacją przechodziła granica tej cechy na gruncie tamtejszych gwar ruskich. Jest rzeczą możliwą, że teren ten był w przeszłości pomostem, przez który pewne właściwości gwar karpackich łączyły się bezpośrednio z naddnieprzańskiemi.[3]

4. Czy zatrata dźwięczności spółgłosek wygłosowych w huculszczyźnie (np. zup 'ząb' ôbít 'obiad', û püᵊt (⇇ vъ podъ) 'na strych', hruś 'błoto', buc 'bundz'...) pozostaje w związku z sąsiedztwem rumuńskiem, to kwestja ta wymaga bliższego zbadania. W zasadzie rzecz wydaje się prawdopodobną, bo chociaż w tym względzie dla sąsiednich gwar rumuńskich danych pewnych nie znalazłem,[4] to przecież w podanym przez Gartnera opisie dialektu Bukowiny wschodniej zaznaczono wyraźnie fakt, wskazujący na częściową zatratę dźwięczności spółgłosek wygłosowych: Die Rumänen pflegen... auslautendes b d g mit stimhafter Verschlussbildung und stimmloser Verschlusslösung auszusprechen (wie die Ruthenen)...[5]

---

[1] Por. uwagę Ziłyńskiego co do innych okolic wtej sprawie: Випадки де і як заступник старого *и* [chyba *i] та *е* мягчать попередні шелестівки, повстали без сумніву під впливом чужих мов (Проба упорядков. укр. гов. 361).

[2] Przykłady te zaczerpnąłem z Tiktina, Rumänisches Elementarbuch, § 130. 4, 132 ii., Heidelberg 1915.

[3] Przypuszczenie takie wypowiedział już prof. Lehr-Spławiński w Roczn. Slaw. VIII, 216.

[4] Weigand (Die Dialekte der Bukowina u. Bessarabiens, Lipsk. 1904) nie daje w tej sprawie odpowiedzi pozytywnej.

[5] Zeitschrift für romanische Philologie, Halle 1902, t. 26, p. 238. Podobny opis spółgłosek mruskich podano w podręczniku: S. Smal-Stockyj u. Th. Gartner, Grammatik der ruthenischen Sprache (Wiedeń, 1913), str. 25, 26; 27.

5. Co do asymilacji pod względem dźwięczności w środku wyrazu panuje zgodność w obu językach: jest ona regresywną, brak jej przed półotwartemi i otwartemi, a nawet zachodzą podobne wyjątki, np. trafia się udźwięcznienie przed półotwartą, por. huc. cugru ⟵ cukru (stąd nawet cugor), drubák 'robak', rum. kuγne || kuγńį || kuxne 'kuchnia',[1] tugma || togma || tocma.[2]

6. Charakterystyczna wspólność huculsko-rumuńska przejawia się też w identycznej po obu stronach tendencji do wytwarzania drugorzędnej samogłoski (huc. y^{e} lub ė, rum. î) przed grupami spółgłoskowemi, mającemi jedną sonorną, np. ·y^{e}hratï 'grać', ·y^{e}rstytï 'chrzcić', ·y^{e}rčí 'rzec', ·y^{e}mšýǵ 'mech', por. rum. îmblătî ⟵ bułg. mlatiti 'młócić'. Czasem trafiają się też formy bez y^{e} (bratï), a w śródgłosie tylko z i̯i, i̯i (j): zai̯^{i}hráu̯, vỳi̯^{i}hrau̯, por. też w rumuńskiem wypadki zaniku nagłosowego î: tămplàt ⟵ întîmplat, (m)părat ⟵ împărat.[3]

7. Pewien paralelizm widoczny jest wreszcie w szeregu zmian drobniejszych: a) w udźwięcznieniu spółgłosek w nagłosie, np. huc. gańa 'kania', bołoz, danec, dragar, deligraf, blama 'plama', rum. gae 'kania', dant̥ || dans 'taniec', garafă 'karafka', gaură (⟵ cavula), gras (⟵ crassus); b) bn > mn: zrimnyi̯ 'zgrzebny', srimnyi̯ 'srebrny', rum. Rîmnic 'Rybnik'; c) l > r byrše 'więcej', kry^{e}minár, koncyrár (ii̯a) 'kancelarja', kółoḱir, rum. sărut 'całuję' (⟵ salūto), fir (⟵ fīlum); d) t d + l r n > k g + l r n: huc. verklux || -tluh 'kołowrót', pykluvatė 'pytlować', ukn é sy 'utnie się', gla || ǵla 'dla' na viglu 'na odlew', drubák (⟵ *krubak ⟵ xrobák), rum. picluï 'pytlować', clacă scs. tlaka, polégniță ⟵ słow. polednica 'gołoledź', itd. itd.

8. Ciekawy jest wpływ rumuńszczyzny na stopniowanie w gwarze huculskiej. Superlatiwus tworzy się przez dodanie do form posit. lub compar. słówka mai̯ (= rum. mai ⟵ magis),[4] które zmieszało się z nai̯: mai̯ bylšyi̯, mai̯ lipšyi̯, mai̯ vełykyi̯, mai̯ rıtko 'rzadziej', nai̯peredna verstva ludyi̯ 'najstarsza warstwa (szychta) ludzi'. W formacji tej widoczne jest skrzyżowanie obu żywiołów językowych (słow. nai̯ + compar. rum. mai̯ + posit.).

9. Wzajemne przenikanie obu żywiołów najwyraźniej odzwierciedla się w słownictwie. Gwara huculska zawiera parę set wyrazów zapożyczonych z języka rumuńskiego lub za jego pośrednictwem. Zestawieniem ich zajmę się osobno, tutaj ograniczę się do stwierdzenia, że wpływ rumuński w przeszłości sięgał znacznie dalej ku północy, gdyż

---

[1] Gartner, l. c.

[2] Ibid. 239.

[3] Popovicĭ, objaśniając to zjawisko, przypuszcza, że wibracje fal głosowych w jamie ustnej (przy î) i nosowej (przy m) silnie się jednoczą, a potem te ostatnie biorą przewagę. Op. cit. 36.

[4] Używa się go także w znaczeniu przysłówka, np. de mai̯ bi̯ut, tam ydùt; začý^{e}u̯ mai̯ (= więcej) potyskaty; mai̯ treba véremńi...

nawet w opisanej przeze mnie gwarze Moszkowiec i Siwki,[1] znajdującej się na prawym brzegu Dniestru, kilka mil ku półn.-zachodowi od Halicza, jest cały szereg wyrazów, które tylko pod tym wpływem mogły się w niej zakorzenić.[2] Rzecz znamienna, że niektóre z tych wyrazów mają skłonność do zamierania. Przytoczę tu kilka przykładów: càròk, -rka 'miejsce, na którem spoczywa półka z naczyniem kuchennem'; wyraz blizki jest zniknięcia, a jego znaczenie pierwotne zupełnie się zatarło; zachowuje się ono tem wyraźniej, im bliżej do Hucułów, u krórych oznacza: ogrodzenie na drobny inwentarz żywy (w izbie, stajni lub na dworze) — rum. ţarc 'Gehege, Hürde, Pferch';[3] čyr 'zacierka z kukurudzianej mąki', — rum. cir 'Maismehlsuppe', ǯus 'chłopak, podrostek' (w Martynovie St., sąsiedniej wsi za Dniestrem, wyraz zachował się tylko jako przezwisko), gragar (w Mart. St.: tram), bliżej ku Karpatom: dragar,[4] — rum. drăgare 'Hauptbalken', gau̯ra, tylko w znacz. przenośnem: paszczęka, ros. хайло, gau̯ratyi̯ || vargatyi̯ 'krzykacz — nieprzyzwoity w słowach', rum. gaură 'Loch, Bresche', ǵiłeta, -tka (|| čvertka, ǵiška), — rum. galeátă (por. Berneker E. W. 292), kuraš 'jurność', kurášnyi̯ tłumaczą tu: óstroi̯i ky^e ru̯ý (przeciwne znacz.: tupoi̯i ky^e rvý), — rum. coráj 'odwaga', mušíi̯ (tylko jako przezwisko bogatego wieśniaka we wsi Ćwitowie), — rum. moşíer 'Gutsbesitzer', pełek 'rodzaj sieraka' (wyszedł zupełnie z użycia w Moszk., częściowo nawet u Hucułów) — rum. petec 'Stückchen, Zeug, Lappen', poǵibnyi̯ 'ładny, harmonijny' (obok powszechnego znaczenia: podobny) por. rum. podoábă 'Zierde, Schmuck',[5] rumegaty 'przeżuwać' (o bydle rogatem), — rum. rumegá 'wiederkäuen', sérbaty 'sorbać, chlipać (coś rzadkiego)' — rum. sorbí 'schlürfen', ścinka 'skała pokryta lasem, młodym, krzakami' — co do znaczenia pozostaje w związku z rum. stîncă 'Fels. Klippe'; porównanie znaczenia tego wyrazu we wsiach okolicznych wykazało, że zachował się on pod wpływem asocjacji do: ścíná, stíná, -nka 'sciana', šarán 'karp' (rzadko występuje tu jako nazwa ryby, częściej w przezwisku jednej rodziny z Siwki) — rum. şarán, sazán, terło 'miejsce, gdzie bydło spoczywa' — rum. tîrlă 'ts',[6] turšý^e k 'kapusta mająca liście zamiast główki', hucul. turš(y^e k) 'karłowaty las świerkowy' — rum. tîrş 'verkrüppelter Baum', vałovéć 'żłóbek dla świń, drobin...', por. valiv, vałyvo, vałob, -łub, albii̯ka 'żłób' (Żelech., Szuchiewicz, Hrincz.) — rum. álbie || álvie

1 Gwara małorus. Moszkowiec i Siwki naddniestrzańskiej z uwzględnieniem wsi okolicznych. Lwów, 1926 (Por. słownik).

2 O wpływie jęz. rum. na język polski i chronologji kolonizacji wołoskiej por. S. Wędkiewicz (Mitteil. des Rum. Universität, Wien, I. 262).

3 Ostateczne źródło tego wyrazu wskazał M. Vasmer, Roczn. Slawist. IV. 170,

4 Próbę oznaczenia zasięgu tego wyrazu podałem we wspomnianym wyżej opisie gwary Moszk. p. 162. Tamże co do carok p. 154.

5 Tiktin H. Rumänisch — deutsches Wörterbuch, Bukareszt 1903—1925.

6 Powszechnie zachował się wyraz térło w znacz. = pol. tarło n. p. ryby.

'Trog, Flussbett'.[1] Por. też pol. zarwanica 'targowisko pełne rozgardjaszu, hałasu, zamętu, nieładu' (Słown. Warsz.) i ciekawy zwrot ruski w okolicach naddniestrzańskich: «kryčút jak žydý na zarvanýcy»[2] w rumuńskiem: zarvă 'Streit, Zänkerei, Judenschule'.

Bliższe zbadanie słownictwa gwar południowo-wschodnio-ukrainskich wykaże bez wątpienia również silny związek z elementem rumuńskim, z którego pochodzi np. powszechnie znany na Ukrainie wyraz: xurtuna (= hucul. fortuna, z rum. furtuna 'Sturm, Ungewitter') z pochodnemi: xurtóvýna, xurta itd.

Wymienione wyżej obszary dialektyczne trzeba rozpatrzyć pod względem słownictwa także w stosunku do języków wschodnich (np. Tatarów Krymskich), gdyż ludność tej części Ukrainy pochodzi ze zmieszania elementów etnicznych bardzo różnorodnych. Odbiło się to zapewne w języku, szczególnie w słownictwie, ale z powodu braku materjału gwarowego trudno coś o tem bliżej powiedzieć. Łatwiej da się to zaobserwować w cechach etnograficznych, które tu i tam częściowo zostały zanotowane.

Szczegółowe zbadanie tych obszarów zarysuje nadzwyczajnie barwny obraz skrzyżowania się wpływów najrozmaitszych, rzuci światło na wiele zagadnień sięgających nawet dalekiej przeszłości.

Jan Janów.

Lwów.
1926. XII. 31.

---

[1] Tiktin, Rum. — deutsch. Wrtb. I, 478, por. też: Pușcariu, Etymol. Wörterbuch der rumänischen Sprache. Heidelberg 1915.

[2] Zwrót ten utrzymał się zapewne dzięki asocjacji z nazwą miejsca odpustowego: Zarwanica (na północ od Buczacza), które również może od tegoż wyrazu pochodzić (?).

Заметка о времени происхождения Учительного Евангелия Константина Болгарского.

В Синод. рук. № 163 XII в. за Учительным Евангелием Константина Болгарского (лл. 1—237) следуют, как известно, еще две статьи, из коих последняя, так наз. «Историкия» (лл. 261—264), представляющая хронологический перечень лиц и событий от С. М. «до настоящего 12 индикта», была признана Горским трудом того же Константина, хотя и без всякой мотивировки. На основании этой «Историкии», не имеющей однако никакого отношения ни к Учит. Ев., ни к автору его, и решался вопрос о времени происхождения Учит. Ев., которое со времени Горского и стали датировать 894 г. Хотя эта дата подходила ко времени жизни и деятельности пресвитера Константина, «ученика Мефодова», а потому принималась некоторыми учеными, сомнение в принадлежности «Историкии» перу Константина тем не менее оставалось (Н. Л. Туницкий), а недавно против этой принадлежности высказались решительно ак. А. И. Соболевский[1] и А. П. Смоленский.[2]

Отсюда являлась необходимость установить дату Учит. Ев. по каким-либо другим основаниям, в данном случае — по указаниям самого памятника, если таковые найдутся.

В научной литературе мне известны два случая такого подхода к решению вопроса. Это именно вышеупомянутый труд А. П. Смоленского на русском языке и Ю. Трифонова — на болгарском.[3]

В виду того, что оба автора пользуются, хотя не в одинаковой мере, одними и теми же данными, извлеченными из Учит. Ев., очень важно: 1) подробно ознакомиться с этими данными и 2) исследовать, к чему они приводят.

Как А. П. Смоленский, так и Ю. Трифонов вполне правильно полагают, что Учит. Ев. — не шаблонный сборник воскресных проповедей, приготовленный на все

---

1 Материалы и исследования и т. д. 1910, стр. 127.

2 К вопросу о времени и месте написания Учит. Ев. Сергиев Посад. 1915 г.

3 Белѣжки върху Учителното евангелие на епископа Константина в «Сборникъ въ честь на Василъ Златарски». София. 1925 г.

года, а сборник, заключающий проповеди, произнесенные автором в известные, определенные годы. Это видно, во 1) из некоторой субъективности самих бесед Конст. Болг., во 2) из неполноты сборника, который содержит меньше 58 бесед, что требуется по шаблону, считая недели[1] уставные и так наз. дополнительные и в 3) из особенного распределения бесед дополнительных в перемежку с рядовыми — на недели уставные. Беседа дополнительная, предваряющая неподвижный праздник и следующая за этим праздником (это именно беседы: на неделю, т. е. воскресенье, пред Богоявлением, Воздвиженьем и Р. Х. и на неделю после этих неподвижных праздников) своим местом в Сборнике прежде всего указывает на положение данного неподвижного праздника в счете седмиц от Пасхи до Пасхи. Следовательно, и наоборот — по числу этих недель от неподвижного праздника можно отсчитать либо предшествующую, либо последующую Пасху. Но при этом надо все-таки помнить, что тут собственно будет указано лишь на то, между какими двумя неделями (воскресеньями) падает тот или другой неподвижный праздник, но не на самый день праздника. Отсюда день Пасхи может быть определен в пределах семи дней. С другой стороны, общее число наличных дополнительных бесед вместе с уставными или рядовыми указывает на число недель от Пасхи до Пасхи, что также характеризует до известной степени год. Перехожу к обзору характерных указаний, находящихся в Учит. Ев. и связанных с теми и другими годами так наз. большого цикла (период повторяемости Пасхи в 532 года).

Таких указаний Ю. Трифонов приводит пять:

1. По счету Учит. Ев. между двумя последовательными Пасхами было всего 55 недель.

2. Воскресенье перед Воздвиженьем было 26-ое от первой Пасхи.

3. Воскресенье пред Р. Х. было 38-ое от первой Пасхи.

4. Между Р. Х. и Богоявлением было *одно* только воскресенье.

5. От Богоявления до следующей Пасхи было 16 воскресных дней.

Этим перечнем действительно и исчерпываются все указания Учит. Ев. А. П. Смоленский пользуется только *тремя* последними указаниями и ничего не говорит о первых *двух*. Кроме того, по 5-му пункту он сделал неправильный, как увидим ниже, расчет, благодаря чему у него получился категорический вывод, будто Учит. Ев. составлено в 880—881 г. (l. c., p. 11), что едва ли приемлемо с исторической точки зрения.

Ю. Трифонов перечисляет все указания в том порядке, в каком они выше изложены. Явная несообразность 5-го пункта им была исправлена, прочие же пункты

[1] Название «неделя» как тут, так и ниже я употребляю в смысле воскресенья, а не седмицы.

оставлены без изменения, хотя они и связаны с 5-м пунктом. Поэтому способ, каким пришел Ю. Трифонов к своим заключениям, тоже нельзя назвать правильным. После этих общих замечаний перейдем к рассмотрению каждого из вышеприведенных пунктов, по которым во всей их совокупности могла бы быть определена дата составления Учит. Евангелия.

I. Общее число наличных бесед в Учит. Ев. — 51. Но число недель от Пасхи до Пасхи в том году, по указанию Учит. Ев., было на 4 больше, так как во 1) после 42-ой беседы имеется заметка, краткая в Син. сп. (л. 197) — «Ищи за 13 еванг. 12 еванг. от Мат.», а в Ленинградском более подробная (л. 134 об.) — «Нед. 34 ев. от Марка поучение назад сотворено Златоустомь в нед. 12 от Мат. по всехь светыхь»; заметка указывает, значит, еще на один воскресный день, на который особого евангелия, однако, не положено; и во 2) после 49-ой беседы на 1-ую неделю великого поста (л. 224 Син. сп.) указываются евангелия на 2, 3 и 4-ую недели великого поста. Таким образом получается год от Пасхи до Пасхи в 55 седмиц. В большом цикле пасхальных годов в 55 седмиц очень много (175), а с 886 по 906[1] (в 906 г. Константин был уже в сане епископа) — 7 лет (887, 890, 892, 895, 898, 900 и 903). Таким образом это указание, взятое в отдельности, довольно широко в смысле установления даты Учит. Евангелия.

II. Беседы 26 и 27-ая во всех 3-х списках Учит. Ев. имеют один и тот же заголовок: 26-ая назначена на «неделю пред Воздвиженьем», а 27-ая — на «неделю по Воздвиженьи». Эта отметка обозначает, что от Пасхи до Воздвиженья прошло 25 полных седмиц. Пусть число Пасхи, считая от 1/III, будет n, а номер дня седмицы, на который падает Воздвиженье, будет x, так что, если Воздвиженье случится в понедельник, то $x = 1$, если во вторник, то $x = 2$ и т. д. В этом случае формула $n + 7.25, + x$ дает день Воздвиженья. Но от 1/III до 14/IX всего 198 дней (31/III + 30/IV + 31/V + 30/VI + 31/VII + 31/VIII + 14/IX). Поэтому: $n + 7.25 + x = 198$ или: $n + x = 23$. Так как Пасха не может быть ранее 22/III, то уравнение $n + x = 23$ можно удовлетворить только одним допустимым предположением, а именно при $n = 22$; и тогда $x = 1$, т. е. Воздвиженье было в понедельник. Во второй половине IX в. и до 906 года, когда Константин был уже епископом, а не пресвитером, в сане которого составил Учит. Ев., Пасха 22/III была только в одном году, именно в 851. По цифровым данным этот год был бы наиболее подходящим: Пасха была 22/III, а 26-ое воскресенье от Пасхи действительно *предшествовало* Воздвиженью, которое было в понедельник. Но по историческим соображениям этот год неприемлем. Допустить же, что в уравнении $n + x = 23$ число x принимает значение, равное нулю ($x = 0$), т. е. что

---

[1] В промежутке 886—906 и могло быть составлено Учит. Евангелие.

Воздвиженье было в воскресенье, которое в то же время было и воскресеньем пред Воздвиженьем, как это делает Ю. Трифонов (правильно выводящий отсюда, что Пасха была 23/III, а наиболее подходящим годом — 889 г.), мы не имеем права: прямое толкование выражения «неделя *пред* Воздвиженьем» этого не допускает.

III. Беседа 38-ая во всех трех списках Учит. Ев. носит такой заголовок: «неделя пред Р. Х.». Это значит, что от Пасхи до Р. Х. прошло полных 37 седмиц. Пусть опять число Пасхи, считая от 1/III, будет n, а номер дня седмицы, на который падает Р. Х., будет x. В этом случае формула $n + 7.37 + x$ обозначает день седмицы Р. Х., считая от 1/III. Но так как от 1/III до 25/XII будет 300 дней (31/III + 30/IV + 31/V + 30/VI + 31/VII + 31/VIII + 30/IX + 31/X + + 30/XI + 25/XII), то $n + 7.37 + x = 300$, или $n + x = 41$. Если $x = 1$ (понедельник), то $n = 40$, т. е. Пасха будет 9/IV; если $x = 2$ (вторник), то Пасха будет 8/IV и т. д.; если, наконец, $x = 7$ (воскресенье), то $n = 34$, т. е. Пасха будет 3/IV. Значит, при $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ и 7 Пасха будет либо 3, либо 4-го и т. д. либо 9-го апреля. На эти пределы Пасхи от 3 по 9-ое апреля указывает и А. П. Смоленский (l. с., р. 11). За 2-ую половину IX-го в. и до 906 года Пасхи от 3 по 9-ое апреля была в такие года: 850, 855, 858, 861, 866, 869, 878, 880, 882, 888, 891, 893, 896, 904 и 906. В этом перечне, как видим, нет года, определяемого II пунктом.

IV. Беседа 40-ая в Син. сп. (л. 188 об.) носит заголовок «неделя по Крьщении», а в Ленинградском (л. 139) — «неделя по Богоявлении» (в Венском л. 243, тут ошибка). А так как 39-ая беседа во всех 3-х списках была на воскресенье по Р. Х. (Син. л. 182, Ленингр. л. 124 и Вен. л. 240 об.), то значит, между Богоявлением и Р. Х. было только *одно* воскресенье. А одно воскресенье между Р. Х. и Богоявлением может быть в том лишь случае, если Р. Х. падает на воскресенье, понедельник или вторник;[1] во всех других случаях между Р. Х. и Богоявлением будет по два воскресенья. Если принять, что Р. Х. среди годов большого цикла равномерно распределяется по всем дням седмицы, что приблизительно будет и на самом деле, то на три дня (воскресенье, понедельник и вторник) в большом цикле мы получим 228 годов $\left(\frac{532.3}{7}\right)$, из коих годы с 885 — 906 будут такие: 886, 887, 892, 893, 897, 898, 899, 903, 904. Таким образом и этот пункт дает широкий простор для выбора годов, а потому указание его по существу слабое. Но при этом кстати заметим, что среди этих годов имеются и годы с 55 пасхальными неделями, именно: 887, 892, 898 и 903.

---

[1] В этом наглядно можно убедиться, если взять две полосы бумаги, верхнюю — с перечнем дней седмицы, начиная с воскресенья, и нижнюю — с перечнем всех чисел от 25/XII по 6/I и нижний перечень сдвигать вдоль верхнего вправо.

V. Неделя по Богоявлении по счету, как выше упомянуто, 40-ая. За нею следуют 4 беседы (по Син. сп. лл. 191, 195, 197 и 200, по Ленингр. л.л. 131, 133, 134 об. и 137) до недели о мытаре и фарисее (бес. 45), а кроме того имеется еще оговорка после 42-ой бес. о пропущенной неделе (см. выше в пункте I). Следовательно, от Богоявления до недели о мытаре и фарисее было 6 воскресений. Затем идут 4 приготовительные недели и 6 недель великого поста, считая в том числе и Цветную неделю. Таким образом от Богоявления до Пасхи всего 16 седмиц. Эти 16 седмиц составит 112 дней. Если вычесть из этого числа 25 дней января (31—6) и 28 дней февраля, то получим 59 дней, т. е. от 1/III до дня Пасхи 59 дней или Пасха была 28-го апреля. Но этого не может быть, так как Пасха бывает не позже 25-го апреля. Таким образом, этот перечень недель в Учит. Ев. не может относиться к одному году, а несомненно явился в результате наслоения и смешения нескольких перечней, относившихся к разным годам. Это обстоятельство не было замечено А. П. Смоленским, так как он, считая от недели по Богоявлении до недели о мытаре и фарисее 5 воскресных дней, а не 6, неправильно определяет отсюда и Пасху — на протяжении от 22—25 апреля. Что касается Ю. Трифонова, то им было замечена указанная несообразность, но он обходит ее очень легко — ошибка де Константина. Но во 1) откуда ему известно, что пресвитер Константин тут ошибся именно на одну неделю, а не на две, на три и т. д.; во 2) если Трифонов считает тут одно воскресенье выставленным по ошибке, то какое именно и по каким основаниям? Здесь, от недели по Богоявлении до недели о мытаре и фарисее, евангелия в Учит. Ев. нумерованы (11, 12, 13, 14), значит, — они уставные, и лишними, по годам выпадающими, быть не могут и в 3) если Трифонов выкидывает здесь одну неделю, то почему он тогда оставляет общее число недель (55) без изменения, как одно из важнейших оснований для своих выводов? Ведь пункт V есть прямое следствие пунктов I, III и IV? Если принять пункты I, III и IV, то надо принять и V; если же от последнего пришлось отказаться, то надо исправить один из предыдущих пунктов. Здесь кстати следует отметить, что замечание г. Трифонова, что подобные расчеты могут затруднять и людей ученых (тут автор имеет в виду именно мою статью «К вопросу об Учит. Ев. Константина Болгарского». М. 1894 г.), оправдалось и на нем самом. Установив 16 недель от Богоявления до Пасхи, Ю. Трифонов говорит, что «это число тем более странно, если мы обратим внимание, что в Учит. Ев. нет беседы на неделю о блудном сыне (ни даже ссылки на какую-либо другую из вышеприведенных бесед), а при наличности такой беседы число недель от Богоявления до Пасхи было бы 17». Автор, очевидно, не замечает, что 4 подготовительные недели налицо (беседы 45. 46. 47 и 48), только поучение о блудном сыне заменено притчею о талантах (бес. 46), быть может, из каких либо, действительно, дипломатических соображений.

Заключения А. П. Смоленского основаны на *трех* показаниях Учит. Ев.: 1) от первой Пасхи до Р. Х. прошло 37 недель, 2) от недели по Богоявлении до недели о мытаре и фарисее прошло 5 недель и в 3) между Р. Х. и Богоявлением было одно воскресенье. Но пункт 2-ой равносилен по нашему счету пункту V, который, как мы видели, недопустим, и из него нельзя сделать заключения, что Пасха приходится на дни от 22 по 25-ое апреля. Категорическое заключение А. П. Смоленского, что Учит. Ев. написано в 880—881 г., основано на явной арифметической ошибке, а потому не может быть принято. Ю. Трифонов в своих рассуждениях отправлялся от пункта I (55 седмиц от Пасхи до Пасхи), и, полагая, что Учит. Ев. писалось в течение нескольких лет, из годов, указываемых II пунктом, выбирает такой, вблизи которого находятся годы, которые соответствуют пунктам I, II и IV. Кроме того, выбор промежутка, в который было написано Учит. Ев., у него связан со временем составления «Историкии» (884 г.).[1] При этих условиях отправным годом, определяемым II пунктом, у него получается 889 г., когда Пасха была 23 марта. Мы однако видели, что этот год неприемлем, так как в нем Воздвиженье падает на воскресенье, которое приходится назвать в то же время и «неделей пред Воздвиженьем». Далее. Отказавшись от V п., он оставил без изменения пункты I, II и IV, что уже совсем недопустимо. Выбор 889 года неудачен особенно потому, что вблизи его находятся годы, в которые между Р. Х. и Богоявлением чаще всего встречаются по 2 воскресенья (888, 889, 890, 891), между тем в Учит. Ев. возможность 2-х воскресений между Р. Х. и Богоявлением совершенно не отразилась. Таким образом, конечный вывод Ю. Трифонова (893 или 894 г.) является очень шатким. Если пункт V недопустим, то это значит, что одна из бесед на неделю по Р. Х., или на неделю по Богоявлении поставлена не на надлежащем месте и что общее число седмиц от одной Пасхи до другой у нас остается неопределенным, а потому и нет точных данных для выбора даты Учит. Ев. Наш памятник писался, повидимому, втечение нескольких лет, для которых распорядок бесед, при их соединении в один свод, так спутан, что нет возможности сделать определенный вывод о времени его составления. Но быть может этот безотрадный вывод зависит от нашей излишней доверчивости к тем заметкам, которые побудили нас довести число 51 недели до 55? Ведь этих заметок (см. пункт I) могло и не быть в автографе Константина, тем более, что и в редакц. отношении они читаются по разному? Ведь не зря он составил только 51 беседу (50 перевел, как он говорит в Прологе, а одну № 42 написал самостоя-

---

[1] Ю. Трифонов полагает, что Учит. Ев. составлено в промежутке от 886 — 894 г. Если 886 г., как terminus a quo, принят им вполне правильно — пресвитер Константин мог написать свой труд только в Болгарии (а не в Моравии, куда А. П. Смоленского увлек ошибочно им установленный 880 г.), то 894, как terminus ad quem, сомнителен: «Историкия» вовсе не связана с Учит. Ев. и в Син. список могла попасть из какой-либо другой рукописи XII—XIII в. или более древней.

тельно) и не смущался выписывать беседу целиком, если она даже повторяла буквально в изъяснительной части предыдущую беседу, как он сделал именно с беседой № 35 (Син. р. л. 159), которая повторяет беседу № 23.[1] Поэтому возможно, что автограф Учит. Ев. был составлен для года в 51 пасхальную седмицу. А таких годов в промежутке от 886—906 было 7 (888, 891, 894, 897, 901, 904 и 905), но из них только один — 897, наиболее удовлетворяет другим условиям, а именно: 1) от Пасхи 27 марта до Воздвиженья тогда прошло 25 седмиц, Воздвиженье было в среду, 2) от Пасхи до Р. Х. прошло 39 седмиц, Р. Х. было в воскресенье и 3) между Р. Х. и Богоявлением было одно воскресенье. Не в этом ли году и было составлено Учит. Ев., тем более, что и следующие 2 года (898 и 899) дают по одному воскресенью между Р. Х. и Богоявлением?[2]

А. Михайлов.

Москва.
1926. XII. 31.

1 Син. р. л. 115; см. Антоний. Из истории христ. пропов. Пгр. 1895, стр. 197.

2 Математическими выкладками я обязан любезности профессора математики С. С. Бюшгенса, которого и прошу принять мою глубокую благодарность.

К вопросу об изображении Грозного на иконе «Церковь Воинствующая».

Среди памятников русской станковой живописи XVI века, безусловно, одним из самых интересных и в то же время до сих пор во многих отношениях загадочным нужно признать известную икону «Церковь Воинствующая», хранившуюся с давних пор в Мироваренной Палате в Москве, ныне находящуюся в Государственной Третьяковской Галлерее.

Икона эта, вскоре после расчистки, была издана и описана П. П. Муратовым.[1] Муратов рассматривал икону как символическую композицию, название которой из «Церкви Воинствующей» он поправлял в «Воинство Церкви».[2] Исходной мыслью этой композиции он считал слова из Послания к Евреям: «ибо не имеем мы здесь пребывающего града, но в грядущем града себе взыскуем» (Евр. III, 14) и другие: «но вы приступили к горе Сиону и граду бога живаго, небесному Иерусалиму и тьмам ангелов» (Евр. III, 22).

В левой части иконы автор видел[3] гору Сион и стены небесного Иерусалима. У стен восседает богоматерь с младенцем. Ниже и вправо простирается широкой полосой пейзаж, в котором тремя горизонтальными рядами движется по направлению к горе Сиону воинство ангелов.

Ангелы принимают из рук младенца-Христа венцы мученические и несут их навстречу воинству. Впереди на крылатом коне в разноцветных сферах архистратиг Михаил. Путь воинства лежит вдоль извивающейся среди гор и отдельных деревьев реки, берущей начало в окруженном рощицей водоеме у подножья горы Сиона.

Воинству предшествует, как думает Муратов, великомученик Георгий. За ним в среднем ряду тесная группа пеших воинов, окружающих царя Константина. За этой группой несколько отдельно князья Владимир, Борис и Глеб. Сзади них всадники.

---

[1] Два открытия. Журн. «София», 1914, № 2, стр. 11—17 и таблицы ненум.

[2] Ibid., стр. 12.

[3] Ibid., стр. 12 и табл. к стр. 12.

Густые ряды конных воинов, вооруженных копьями, мечами и щитами, движутся в нижней и верхней части иконы, окаймляя ее сплошной полосой. В правом верхнем углу иконы изображен объятый пламенем «град здесь пребывающий».

Датой нашего памятника Муратов считал начало XVI века.[1]

Совершенно новое объяснение этой иконы предложил в 1922 году А. Е. Пресняков, коснувшись нашего памятника лишь попутно, по случайному поводу.[2]

Вместо отвлеченно-символического объяснения Муратова, А. Е. Пресняков видит в нашем памятнике отражение идеологии, вдохновлявшей деятелей эпохи Грозного. Эта идеология, кульминирующая в апофеозе царской власти, придавая ей своеобразный теократический характер, была уже однажды символически воплощена в картинах росписи Золотой Палаты (1547—1552 гг.), где юноша-царь возвеличен, в качестве носителя высшей милости и справедливости с одной стороны и вождя-воина с другой.[3]

В фигуре юного князя нашей иконы, сопровождаемого двумя другими князьями, нельзя не узнать, по мнению А. Е. Преснякова, изображение молодого Грозного, каким он является в росписях Золотой Палаты и в миниатюрах лицевых летописей. В городе, объятом пламенем (без храмов и крестов) А. Е. Пресняков видит Казань, в «святом граде» — Москву. Вся икона в целом — апофеоз взятия Казани, первого мощного проявления окрепшей государственной силы.

Вполне разделяя новое объяснение иконы в целом, предлагаемое А. Е. Пресняковым, мы хотели бы обратить внимание лишь на некоторые частности, не отмеченные ни П. П. Муратовым, ни А. Е. Пресняковым, позволяющие иначе понять отдельные фигуры иконы.

В молодом князе, едущем рядом с двумя другими князьями, нельзя видеть Грозного, как это делает А. Е. Пресняков.[4] Фигура его явно отмечена художником, как парная с фигурой князя, едущего рядом. Одинаковые шапки с белой меховой опушкой позволяют именно в этой паре[5] видеть Бориса и Глеба, а в фигуре справа от них князя Владимира. Против предположения А. Е. Преснякова говорит также наличие у фигуры молодого князя, как и у двух, остальных, нимба, что было бы неуместно в иконе, писаной, конечно, при жизни Грозного.

---

[1] Ibid., стр. 15.

[2] Эпоха Грозного в общем историческом освещении. «Анналы». Журнал всеобщей истории, изд. Росс. Акад. Наук, 1922, № 2, стр. 197.

[3] Ibid., см. также Р. Виппер. Иван Грозный. М. 1922. Изд. «Дельфин».

[4] А. Е. Пресняков несправедливо упрекает Муратова, в том, что тот считал эту фигуру молодого князя за Владимира. Муратов, конечно, считал Владимиром князя, едущего справа, а не слева.

[5] А. Е. Пресняков неправильно считал за Бориса и Глеба двух князей, едущих справа. Они оба бородаты, что невозможно для Глеба.

Фигуру Ивана нельзя искать в числе этих трех князей, за которыми должно остаться старое определение, как князей Владимира, Бориса и Глеба. Но если принимать толкование иконы в целом, как апофеоза взятия Казани, то, конечно, естественно искать в иконе и главного героя этого события.

От внимания обоих исследователей ускользнули детали нашей иконы, которым мы придаем решающее значение. Воинство, направляющееся к «святому граду», разделяется на три пояса, причем верхний и нижний пояса в правой части иконы (в конце шествия) соединяются.[1] Все фигуры воинов этих двух поясов — нимбированы. Средний пояс, отделенный от крайних полосами рек, состоит из фигур воинов, впереди пеших, сзади конных, внешне похожих на воинов средних поясов, но их отличает одна важная особенность: в противовес последним они лишены нимбов.

Эту среднюю группу воинов ведет юный вождь,[2] едущий на коне, в воинских доспехах, в шлеме, со стягом в руках. Он изображен в энергичном повороте назад, отчего вздулся его плащ, как бы оглядывающим следующее за ним войско. И П. П. Муратов, и А. Е. Пресняков видели в этой фигуре изображение Георгия Победоносца. При изучении памятника на месте мы убедились, однако, что эта фигура, в противовес всем остальным «вождям» нашей иконы (архангел Михаил, князья Владимир, Борис и Глеб, царь Константин) не имеет нимба.

К этому нужно прибавить следующее. От «святого града» навстречу к идущему воинству летят ангелы с венцами в руках, которые они получают из рук младенца-Христа. Летящие ангелы расположены рядами по диагонали иконы.[3] И вот, в то время, как каждый венец несет один ангел, над головой юного вождя мы видим трех ангелов, в руках которых один венец, значительно бо́льших размеров, чем все остальные. Эти ангелы, к тому же, не летят стремительно, как остальные, навстречу воинству, а парят над головой вождя.

Сопоставление всех перечисленных выше фактов позволяет высказать предположение: не в этой ли фигуре юного вождя, венчаемого ангелами, но в то же время не имеющего нимба, нужно видеть молодого Грозного, ведущего свое победоносное войско из покоренной, пылающей в огне Казани.[4] Тогда объяснится и отсутствие нимбов у воинов среднего пояса. Среди этого войска, возвращающегося из Казани, не должны вызывать недоумения фигуры царя Константина Великого, князей Владимира, Бориса и Глеба. Первые два рассматриваются, как великие предшественники Грозного по распространению христианства, а Борис и Глеб, как покровители воинства.

---

1 Муратов, op. cit., табл. к стр. 12.

2 Ibid., табл. к стр. 16.

3 Ibid., табл. к стр. 16 и 17.

4 Нельзя, однако, другой город считать Москвой. В этом «святом граде» слились представления и о Сионе, и о Небесном Иерусалиме и, может быть, о Москве.

Лишь один факт можно выставить, как возражение против предлагаемого объяснения: почему фигура царя лишена каких-либо царских аттрибутов?

На это, однако, можно ответить следующее. Замена царских одежд воинскими вполне понятна у царя-воина, лично руководившего осадой и взятием Казани, возвращающегося победоносно домой. Одежды воина имеет тот же Грозный в миниатюре Казанского летописца,[1] изображающей его скачущим на коне. Но в миниатюрном изображении, в отличие от нашего, на голове царя корона. На голове нашего вождя короны нет, но ведь корону-венец, посылаемую свыше, держат три ангела, парящие над его головой.

М. Каргер.

Ленинград.
1926. XII. 31.

1 Полн. Собр. Русск. Летописей. СПб. 1903, том XIX, табл. I.

Состав Сказания о чудесах иконы Богоматери Римлянынн.

В до-никоновском церковном Уставе 1641 г. (перепечатка 1898 г.) на первую неделю великого поста положено следующее чтение: «сказа́нїе и̓звѣ́стно ѽ чюдесѣхъ прⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бⷣцы, и прⷭ҇но дв҃ы мрⷭ҇їи. е̓́же прчⷭ҇тою і҆ чтⷭ҇нóю і̓кóною ея̀ содѣ́аса. ꙗ҆́же и҆ ри́млѧныни нарица́тиса ѻ҆бы́кши». Чтение это известно по двум старопечатным изданиям: «Боговдухновенная книга сборникъ, слова избранныя о чести св. иконъ и поклоненіи» Москва, 1642 г. и «Соборникъ» Москва, 1647 г.; несколько глав дано в пересказе Иоанникием Галятовским в «Небе Новом», начиная с львовского изд. 1665 г. Текст сказания по 16 рукописям приготовлен для издания мною. Греческий подлинник его издан был в отрывках Лямбеком[1] и полностью Гедеоном,[2] а дипломатический текст издан Добшюцом;[3] заглавие его такое: «Ὑπόμνημα εἰς τὴν ἐπονυμίαν τῆς ἀχράντου καὶ προσκυνητῆς εἰκόνος τῆς παναμώμου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Ῥωμαίας».

Из списков полной редакции перевода большинство дает несходное с греческим заглавие, приведенное выше, и лишь небольшая группа поздних списков сохраняет точный перевод: «Въспомина́нїе ѽ тезоиме́нїи прчⷭ҇тыа и҆ покланѧе̓мыѧ и҆коны всенепорочныѧ влⷣчца нашеꙗ̓ бц҃а прⷭ҇нодвы марїа римлѧнины». Начиная с наиболее раннего из списков, датированного 1395 годом в рукописи Тр.-Сергиевой Лавры № 167, текст памятника не изменяется существенно. Содержание его следующее:[4] за риторическим вступлением идет рассказ о том, как Богоматерь и апостолы после вознесения Христа пребывали вместе и как апостол Лука написал изображение Богоматери (гл. 1). Во времена апостолов существовала и другая икона

---

[1] Lambecius, Comentarii de Augustiss. Bibl. Caes. Vindobon., edit. alt. stud. A. Collarii. Vind. 1792, t. VIII, pp. 692—713.

[2] «Ἐκκλησία ἀλήθ.» t. XV, (1883), pp. 209—215, 229—234.

[3] Texte u. Untersuch. zur Gesch. der altchristl. Literatur, N. F. III, Lpz. — 1899, (Dobschütz, Christusbilder, Beil. VI — B pp. 233** sqq.) cfr. Byz. Zeitschr. XII pp. 193—206 (Dobschütz, Maria Romaia).

[4] Для ясности разбиваю текст памятника на главы.

Девы Марии — в г. Лидде, явившаяся чудесно на столпе по просьбе верующих (гл. 2). Имп. Юлиан Отступник приказал стереть образ, но он отступил во глубину стены (гл. 3). В той же Лидде имелся и другой храм Богоматери, построенный исцеленным расслабленным Энеем; когда между эллинами, иудеями и христианами возник спор о том, кому этот храм должен принадлежать, на стене чудесно явилась икона Богоматери, что решило спор в пользу христиан (гл. 4). Сославшись на послание трех патриархов к имп. Феофилу, автор слова рассказывает о путешествии патриарха Германа на восток и о том, что для него была снята копия с Лиддской иконы (гл. 5). Тут рассказ уклоняется в сторону, автор излагает биографию Германа, разногласия с имп. Львом Исавром и удаление на покой (гл. 6). При этом Герман, согласно изложению, унес с собой две иконы — копию с Лиддской и Нерукотворный Спас, который он и бросил в море, прикрепив послание к папе Григорию, а тот, извещенный во сне, торжественно принял икону (гл. 7). То же случилось и с иконой Богоматери, причем папа поставил ее в соборе ап. Петра. Чрез 130 л. в Царьграде восстановлено было иконопочитание; тогда икона направилась обратно в Византию, где ее приняли с почетом, принесли царице Феодоре. Когда послы из Рима явились с просьбой вернуть икону, греки не отдали ее, а поместили в Халкопратийском храме и установили ей службу 8 сентября (гл. 8).

В риторическом заключении прославляется Богоматерь.

Вопрос об источниках этого слова был выяснен Добшюцом в его исследованиях.[1] Он издал текст краткого слова на ту же тему, более раннего, в котором идет рассказ о происхождении Лиддской иконы, о чуде с посланными стереть образ, о путешествии патриарха Германа на восток и о его копии с Лиддской иконы, которая чудесно перенеслась в Рим и вернулась обратно; к этому материалу прибавлены рассказы о чудесах, случившихся в Риме и в Константинополе.

Это краткое слово было, по мнению Добшюца, расширено, причем использована так называемая ранняя редакция послания трех восточных патриархов 836 г. к императору Феофилу о восстановлении иконопочитания; в конечном итоге появились двойные эпизоды: о построении храма в Лидде Энеем и о чуде в нем случившемся, а также о перенесении иконы Христа из Константинополя в Рим (краткая редакция этого соборного послания совпадает с кратким же словом об иконе Римляныни по своему содержанию). Вместе с тем тут, в пространном слове, были использованы некоторые исторические материалы, в том числе житие патриарха Германа.

Для центральной части памятника (гл. 8) прямого источника не установлено. Однако, можно с уверенностью сказать, что у авторов как краткого, так и пространного византийского слова, был под рукой соответствующий материал. Мотив

1 Christusbilder 107** sqq. Byz. Zeitschr. XII.

чудесного спасения чтимой иконы во времена иконоборцев был распространен; такая икона, по большей части, приписывалась ап. Луке и называлась «Одигитрией» (Путеводительницей). Сказания об ап. Луке известны во множестве западных и восточных редакций (два списка XVIII в. русской редакции изданы Обществом Любителей Древней Письменности вып. XV и XIX).

В России большинство чтимых икон Богоматери называлось «Одигитриями» в силу отожествления с «палладием» византийских императоров, сопутствовавшим во всех походах, начиная с V в. (когда Евдокия прислала Пульхерии из Иерусалима в Константинополь икону, писаную ап. Лукой).[1] Сведения о западно-европейских сказаниях такого рода найдем у Муссафии,[2] который передает, между прочим, любопытный рассказ об одной иконе, писаной ап. Лукой: папа Сергий хотел ее перенести из одного храма в другой, но это не удалось, так как она вернулась на прежнее место «velut aliquod volatile animal»; эта подробность связывает предание о Луке с преданием о чудесном переходе иконы Римской.[3]

В «Сказании» о ней легенда о Луке составляет 1 гл. Что же касается глав о Лиддской иконе и о посланных имп. Юлианом (2 и 3), то на Востоке и на Западе сказания эти тоже существовали отдельно: их чаще всего соединяли, как мы это видим в одном отрывке Андрея Критского,[4] но иногда они составляли два независимых друг от друга памятника (как это мы видим в особом сказании о посланных имп. Юлианом, сохранившемся в русских рукописях).[5] Относительно гл. 4 — сказания о храме Энея и о чуде, в нем случившемся — уже было указано, что это дублет к гл. 2-й; (неизвестно, имеет ли это сказание свою особую историю в литературе). Для глав 5 и 6 Добшюц установил исторические источники. Глава 7-я вводит нас снова в круг иконных сказаний. О чуде с иконой Спасителя, переплывшей море и принадлежавшей патр. Герману, существовало особое сказание, как это следует из текста хроники Георгия монаха (IX в.).[6] Но гораздо важнее для нас то

---

[1] Именно в V—VI вв., когда слагалось учение о богоматери — пресвятой деве, стали впервые определяться иконографические ее типы (одним из первых был тип «Одигитрии» — срв. Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. I).

[2] Mussafia, Studien zu den mittelalt. Marienlegenden I, II (Sitzungsber. der ph.-h. Kl. der Kais. Akad. der Wiss. zu Wien, t. 113, p. 965, t. 115, pp. 69—78).

[3] Тот же рассказ существует в стихах. Пересказ его находим в трех главах «Неба Новаго» Иоанникия Галятовского (Львов, 1665). См. также Ward, Catalogue of romances etc., t. II, p. 657.

[4] Migne, P. Gr., t. 97, pp. 1302—1304; см. также Ward, op. cit., t. II, pp. 611, 647, 687, 715 и Adgar, Marienlegenden hsgg. v. Neuhaus (Altfr. Biblioth. IX; № 35).

[5] Рук. XVII — XVIII вв. А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси. СПб., 1903, стр. 330.

[6] Chronicon t. IV, cap. 248,15 (стр. 635 по изд. Муральта — срв. Migne, P. Gr., t. 110, p. 921; в новом издании Де-Боора, t. II, pp. 743—744, этот эпизод считается интерполяцией, как и сказание о Лиддской иконе — см. t. II, pp. 785—786; то же место в изд. Муральта см. t. IV, cap. 262,19, p. 688).

обстоятельство, что в VIII в. не упоминается вовсе о Нерукотворном Спасе из Камулиан (Каппадокия), а в то же время имеются сведения о столь же почитаемом образе Спаса в Риме. Однако, на Востоке впоследствии несомненно считали, что икона каким-то путем вернулась, так как в 1200 г. новгородский паломник Добрыня Ядрейкович (арх. Антоний) видел в Царьграде икону Спасову, переплывшую море, а в 20-х гг. XIV в. ее видели в богородичном монастыре около Манган.[1]

Это обстоятельство указывает на то, что с течением времени появлялись две одинаковые святыни на Востоке и на Западе; появление на Западе легче было объяснить реалистически, но возвращение святыни на Восток связывалось с чудом, имевшим символическое значение.[2] Весьма возможно, что икону Спасителя, которая считалась впоследствии принадлежавшей патр. Герману, принес в Рим какой-нибудь монах, бежавший от преследования иконоборцев; это послужило поводом для появления первой половины повести об иконе, чудесно переплывшей море. Но несмотря на то, что на Востоке впоследствии показывали этот чудотворный образ, рассказывая о самом чуде, относительно чудесного возвращения его известий не сохранилось, тогда как сказание о Богоматери Римской заключает в себе и вторую часть — о возвращении святыни. Чудесное хождение иконы на Запад, несомненно, было распространенным легендарным мотивом; к сожалению, до сих пор нет прямых данных относительно происхождения нашего «Сказания», вернее 8-й гл. слова об иконе Римской, но аналогичен ей более реалистический рассказ, который нашел Ленорман в синаксарии греческой церкви в Бари (X—XI вв.).[3] Там говорится, что два монаха, желая спасти от сторонников Льва Исавра чудотворный образ Одигитрии, писаный ап. Лукой, перенесли его на один из кораблей, посланных против римского папы Григория, противника иконоборцев; флот весь был разбит бурей у берегов Италии, но корабль, на котором находилась икона, был приведен ангелом в Бари; это случилось в первый вторник марта месяца.[4] Празднование Римской иконы было устано-

---

1 Ф. Терновский, Изучение византийской истории. К. 1875, т. I, стр. 89; Х. М. Лопарев, Книга Паломник, сказание мест св. во Цареграде Антония арх. Новгор. в 1200 г. (Правосл. Палест. Сборн., СПб., 1899 г., т. XVII, в. 3), введение и стр. 2 и сл. (см. также изд. Савваитова — Путешествие арх. Антония, стр. 66—67).

2 Dobschütz, Christusbilder, pp. 58, 64; см. также Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, t. II, p. 275.

3 Время, приблизительно, появления византийских слов о Римской иконе божией матери.

4 Lenormant, La Grande Grèce. P. 1881, t. II, pp. 388—389; срв. Bury, A history of the later roman empire, L. 1889, t. II, pp. 447—449; В. Васильевский, Русско-византийские отношения. ЖМНП 1877 г., июнь, стр. 309; Н. Кондаков, Византийские церкви и памятники Константинополя, стр. 14 и сл. в Трудах VI Археологического Съезда в Одессе в 1884 г. т. III; Х. Лопарев, op. cit., стр. XC и сл. В «Иконографии Богоматери» т. II, стр. 179—180 (Пб., 1915), акад. Н. П. Кондаков указывает, что в Бари действительно имеется один из древнейших списков иконы божией матери типа «Одигитрии».

влено, согласно «Сказанию» 8 сентября, но затем перенесено на первую неделю великого поста (неделю православия), когда первоначальный смысл праздника был утрачен,[1] к этому же времени приурочивает чтение «Сказания» до-никоновский церковный Устав, изд. 1641 г. Есть указание, что празднование Римской иконы приурочивалось к 12 марта,[2] что сближается с указанной в синаксарии Барийской церкви датировкой чуда (т. е. праздника). А что мотив чудесного перехода иконы богоматери по воздуху и на воде был популярен в византийской традиции (не говоря о других народах), указывают другие аналогичные предания, напр., об Иверской иконе.

Итак, почва и аналогии для возникновения сказания о Римской иконе намечены. Что же касается дальнейшего его развития уже в древне-русской литературе, то в двух списках хронографа: Румянцовского Музея, № 457, гл. 166 (XVII в.) и Собрания Вахрамеева № 494, гл. 160 (XVIII в.) встречается краткая редакция нашего «Сказания», вернее, изложение восьмой (по нашему счету) главы, что говорит о популярности у нас этой центральной части сказания; весьма возможно, что эта редакция возникла в XVII в., так как после удачно отбитых в 1613 г. приступов шведов на Тихвинский монастырь местная икона, чудесно явившаяся в воздухе в 1383 г., стала особенно известной, и ее связывали с Римской, как об этом можно судить по некоторым легендам XVII в., относящимся к Тихвинской иконе. Так, напр., в рукописях XVII в. Соловецкого монастыря (Каз. Дух. Акад.) № 614 (52) и собрания Уварова № 1259 (804), есть прямое указание на то, что в Царьграде ко времени явления иконы на Руси благочестие пало, отчего за 70 лет до взятия города турками икона эта явилась на Тихвине.[3] По иному трактована та же тема в повести о путешествии новгородцев в Царьград, где они слышали от патриарха рассказ о Римской иконе и поняли, что она то и явилась на Тихвине.[4] Оба рассказа эти принадлежат XVII в., как и третий, в котором вслед за кратким вступлением излагается приблизительно то же, что в указанной выше краткой хронографической редакции.[5]

---

1 Dobschütz, Maria Romaia (Byz. Zeitschr. t. XII, p. 213).

2 Сергий, арх. Полный месяцеслов Востока, изд. 2-е, т. II, стр. 194.

3 Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русс. нар. слов. и искусства, изд. 2-е, т. II, стр. 278—280.

4 См. целый ряд рукописей, в том числе Соловецкого монастыря № 614 (52), XVII в., лл. 61 об. — 65 об. (срв. Буслаев — ук. соч., т. II, стр. 279).

5 См. там же. Любопытно, что вначале икона названа «Владимирской» ошибочно, так как далее определенно говорится о Тихвинской; у Ровинского (Русск. нар. карт., т. III, стр. 486—489, № 1221), указан рассказ на гравированной картинке Боголюбской иконы заимствованный из сказания о Римской (эпизоды о Луке, о хождении в Рим и возвращении в Царьград), что вместе с ошибкой, только что указанной, свидетельствует о тенденции связывать вообще русские «Одигитрии» с «Римлянкой».

Этих общих данных достаточно для суждения о живом интересе к сказанию об иконе Богоматери Римской в XVII в., причем центральная часть памятника продолжает существовать особо, как до того в византийской литературе, наряду с аналогичными сказаниями.

С. Кулаковский.

Варшава.
1926. XII. 31.

К вопросу о рефлексах праслов. *ę в северно-украинских говорах.

Известно, что в украинском языке, в говорах, которые объединяются в настоящее время в понятии южно-украинского наречия (за некоторым исключением крайних западных), праславянское *ę через ступень *ą перешло в 'a (после губных ja, после ж ч ш — a), т. е. диспалатализировалось. Напр., на месте прасл. *męso, *męsojedъ, *męti, *kolęda, *porędok, *swętъjь, *desętka, *xodętь, *ględěti, *devętь находим мнясо (мjасо), мjасоjід, мняти (мjати), коляда, порjадок (порядок), сьвjатиj (> сjатиj, сятиj), десятка, ходять, глядiти, девjать и т. д. Тогда как в говорах, объединяемых в понятии северно-украинского диалекта (в наиболее типичном их облике, т. е. не переходных к южным говорам, к белорусским и великорусским) и в крайних западных, носовое ę отразилось через ступень долгого ē, которое дифтонгизировалось в ⁱe в слогах ударяемых, а в слогах неударяемых сократилось в e и таким образом совпало с исконным e, переживая с ним в дальнейшем одинаковую судьбу, так что на месте указанных праславянских форм мы имеем мнесо, мнесоjід, мнети, коледа, порjедок, свети, десетка, ходет(ь), гледiти, деветь и т. д.

Существует общепринятый взгляд, что северно-украинское e из праслов. ę нового происхождения. А. А. Шахматов, сближая северно-великорусск. седу, взел, зеть, петь с украинск. седу, тежко и т. п., моск. зя̆ть и т. д., говорит: «эти е, ӓ несомненно нового происхождения; они явились в результате изменения звука a (не только из e, но также и исконного a) после мягких согласных, а частью только между двумя мягкими согласными».[1]

Приведенное мнение базируется на предположении, что во всей восточнословянской (русской) языковой области праслов. ę диспалатализировалось в a, и это новое a вместе с исконным a подверглось диалектически вторичной палатализации. Но как это могло произойти? Указание на то, что такому сужению подлежит и искон-

[1] Очерк др. периода истории русского языка, 110.

ное *а* с предшествующей мягкой согласной ничего не выясняет, кроме намека на известную зависимость между этими явлениями, но самой зависимости, т. е. происхождения этого явления, нам не показывает.

Правда, условием для этого явления могла бы быть наличность мягкой согласной или слога с мягкой согласной после такого *а* (что и вызвало бы его сужение); тогда формы с *є* с последующей твердой согласной объяснимы аналогией с формами с последующей мягкой согласной. Напр., форма взел под влиянием формы взєли, форма сєду под влиянием сєли и т. п. Убедительную силу это доказательство могло бы иметь, пожалуй, для исконного *а*, но уже для *а* из *ę* оно не кажется убедительным, так как *е* в форме взели из прасл. *ę* перед слогом с палатальной гласной могло не подвергнуться расширению, которое испытало *ę* перед согласной или слогом непалатальным, т. е. при взял могла еще существовать форма взели, и только позже диалектически под влиянием формы взял явилась форма взяли. Оставляя в стороне великорусские диалектические явления указанного типа, требующие специального исследования в связи с положением данного звука в слове, с местом ударения и т. д., возвращаюсь к украинским.

Приняв положение Шахматова, мы должны допустить, что при одних и тех же условиях (так как *'ę > 'ą > 'а > 'е;* носовой характер гласных в первом процессе, очевидно, значения не имеет), в одних и тех же говорах два противоположных процесса, две различные языковые тенденции: сначала расширение *'ę* в *'ą*, откуда *'а*, а позже при тех же условиях сужение этого *'а* опять в *'е* (только не носовое, разумеется), т. е. возвращение к прежнему состоянию, что кажется невероятным, так как не находит ответа вопрос, как могло произойти, что те условия, которые позже вызвали вторичное сужение (палатализацию), не помешали расширению (диспалатализации) вначале. Естественнее допустить, что праслов. *ę* в северно-украинских говорах, как полосе переходной к польской языковой области, утратило свой носовой призвук и дало в слогах ударяемых—^{i}e (позже *є*), а в неударяемых—*е* (позже *е*), т. е. совпавши с рефл. праслов. *ě* и переживая с ним одинаковую судьбу (ср.: в^{i}едра—ведро). Это *е* после палатальных втянуло в сферу своего влияния и те немногочисленные случаи, в которых было исконное *а* после палатальных (к ним я, конечно, не причисляю *е* в формах держети, кричети и т. п. из праслов. *ē*). Другими словами, палатализация исконного *а* после мягких согласных произошла именно под влиянием исконной палатальности *е* после мягких согласных, как параллельно с этим диспалатализация **ę* в *'а* в южных говорах втянула в сферу своего влияния и диспалатализировала всякое исконное *е* после мягких согласных, кроме тех случаев, где оно осталось после мягкой или позже отвердевшей согласной под влиянием психологического фактора, когда с этим *е* связывалось сознание известной грамматической категории, напр.: синiј, синя, синє (диал. сине), где *'е* характеризует категорию

среднего рода при женском на *'a*. Если это так, то формы життя, щастя и т. п. из житьјe, щастьјe находят себе объяснение в процессе диспалатализации всякого *e* в южных говорах, процессе, вызванном аналогией диспалатализации *ę* в *'a*, как с другой стороны в северных говорах всякое *a* после палатальных палатализовалось в *e* под влиянием исконной палатальности *e* из *ę*.

Е. Тимченко.

Киев.
1926. XII. 31.

Несколько новых данных к вопросу о географическом распространении диссимилятивного аканья.

Предметом настоящей заметки являются некоторые поправки и дополнения к области одного из интересных явлений южновеликорусских и белорусских говоров — так называемого «диссимилятивного аканья», наиболее архаичного, как по сравнению с сильным аканьем рязанского типа или с умеренным — тульского, так и по сравнению с своеобразным вокализмом западнобелорусских говоров. Имея в виду указание акад. А. И. Соболевского (в рецензии на 3-й вып. Трудов Московской Диалектологической Комиссии), буду рассматривать лишь «несомненные явления» диссимилятивного аканья, т. е. произношения 1-го предударного слога после твердых согласных, при котором в этом слоге слышится звук редуцированный, близкий к *ы*, или даже настоящее *ы* перед ударяемым *а* (въда́, съба́ка, пъшла́ или вычда̀, кыза́), а перед другими ударяемыми гласными произносится *а*. Данные по диссимилятивному аканью были обследованы и картографированы мной в 1914 г.[1] Эта карта была повторена в диссертации проф. Н. Н. Дурново: «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров», ч. I, М. 1917, стр. 17 — с замечаниями о ней и в других местах вып. 1 и 2, причем был указан ряд источников, не привлеченных мною, хотя и из обследованных мною местностей, а также приведено несколько собственных наблюдений Н. Н. Дурново по этому типу. Но мои диалектологические поездки последних лет и некоторые печатные материалы позволяют внести и еще кое-какие поправки к выяснению области этого явления.

Прежде всего, к территории диссимилятивного аканья надо прибавить западный угол Ржевского у. Тверской губ. (приблизительно одну треть по старому административному делению); этот угол занят говорами с сильным великорусским влиянием, но в основе своей белорусскими: кроме диссимилятивного аканья, в них — сильно выраженная лабиализация губных согласных, *ў* < *в*, *h* — гортанное в соответствии с сев.-великорусским *г* зад.-неб. взрывным и южно-великор. γ зад.-неб.

1 Труды МДК, вып. 3, стр. 182—218.

фрикативным, наконец — шепелявое произношение *с̋* и *з̋* мягких, за что весь этот угол прозван «шеплянщиной», «шепляками». Граница идет с севера на юг по бывш. волостям: Никоновской, Бурцевской и Тереховской, пересекая Белорусско-Балтийскую жел. дорогу между станциями Оленино и Чертолино, ближе к первой. На полную устойчивость диссимилятивного аканья в западном углу Ржевского у. указывает его наличность и у молодого поколения, даже в тех семьях, где есть старшие женщины, взятые из деревень с другим типом аканья; так я слышал диссимилятивное аканье у молодой женщины из Урдома Бурцевской вол., тогда как у матери ее, взятой из Старова — той же вол., но южнее, аканье недиссимилятивное. В указанной части уезда лишь один приход — Холмецкий с селениями Замошинской волости не имеет диссимилятивного аканья, являясь как бы островом, хотя и сохраняя большую часть языковых особенностей, сходных с соседними говорами, что̀ заставляет думать о переселении предков жителей этого прихода, бывших монастырских крестьян, из какой-либо белорусской местности, более западной.

В прежних материалах по Ржевскому у.[1] очень мало указаний на диссимилятивное аканье, так что в диссертации Н. Н. Дурново нет упоминаний об этом уезде. Но в ответе А. Рязанцева диссимилятивное аканье установлено с полной очевидностью для с. Селишни и прихода, в 13 *км* от ст. Оленино (к северу), а также для соседних местностей[2] «в*ы*да, с*ы*ма (точнее, нечто среднее между *а* и *ы*)» . . ., «л*ы*пату, с*ы*ва, здв*ы*ра». Значительный материал по диссимилятивному аканью в этом углу Ржевского у. собран и мной летом 1922 г. (когда я посетил до 80 селений по маршруту: Ржев, Бахмутово, Николо-Сижка, Сковоротынь, Молодой Туд, Оковцы, Спас-Перебор, Холмец, Оленино, Завидово, Чертолино; отчет доложен 20 X 1922 г. в Московской Диалектологической Комиссии). Вот некоторые примеры: пъ һлъза́м, тъва́риш, лъшъдя́ — Дворяниново Пыжевской вол.; бъи̇̆ша́јь, Бъкла́нъўкс̆ъјь, скъза́т̓ — мальчик из Кадни Пыж. в.; в мъддя́ръх, бъи̇̆ша́јь, слъ̓тня́ — Б. Слатня Молодотудской в.; мъма́шка, скъза́т̓, бъи̇̆ша́јь һълъва́, нъжа́ли, ко́лъсъм хъръша́, уръжа́й — Мол. Туд; къна́вы, пъха́т̓, лянО́к тъска́т̓ — Липовка Казинской вол.; хълмя́ни, ръска́жут̓ — Селишня около Бобровки (срв. выше — у Рязанцева); пъўсяму́, һъня́им, Бъкла́нцы, һъня́ют̓ — мальчик из Линеи около Бобровки; двъра́, зъдъла́, спръўляюс̓ — Завидово Тереховской вол. К востоку от вышеуказанной границы — аканье недиссимилятивное, напр., в Трушкове, Мишукове, Степанищеве, Летягине, Рылове, Кулешове и далее на восток. Остров с недиссимилятивным аканьем в «Холмеччине» — Кожуриха, Карзаново, Корытная,

[1] Разумихина в Этногр. Сб., I, 1851, стр. 235—283 или Попова в Известиях ОРЯС, 1913 г., кн. 3, стр. 225 и сл.

[2] Труды М. Д. К., вып. 8, М. 1919, стр. 26—28 (Свод материалов, собранных Комиссией. Серия 2-я. I. Ответы на южновеликорусскую программу, № 33, пп. 2 и 9).

Пробойка, Анисимка, Чекулино, Васильки; примеры из Холмеца — *уцара́*, ни *ръзабра́т̑*, *зътапля́т̑*. Равным образом, не имеет диссимилятивного аканья и Осташковский у., по крайней мере — посещенные мной Оковецкая и Самушкинская волости; по дороге из Молодого Туда к Оковцам вполне ясна граница «шепляншины»: Зранка — последняя деревня шепляков, затем несколько верст лес, в стороне есть и болота — очевидно, раньше общение было еще труднее (срв. Оковский лес в Летописи — Повесть врем. лет по Лаврентьевскому списку, Изд. Археогр. Ком., 1910 г., стр. 6); от Салушкина к Спас-Перебору диссимилятивное аканье начинается с Шедо-Яблонки: граница между уездами — лес и в нем речка.

Переходя к Смоленской губ., нужно сказать, что северо-восточные уезды — Бельский, Сычевский, Вяземский, Юхновский, в статье 1914 г. признанные мной из осторожности пограничными, т. е. включающими и говоры с аканьем «московского» типа, на самом деле относятся к области диссимилятивного типа на всем своем протяжении; такое же аканье (диссимилят.) и в западной части Гжатского у. — до самого г. Гжатска и несколько восточнее — до д. Мотаева (даже у младшего поколения), как показывают наблюдения группы членов Моск. Диалектологической Комиссии в августе 1925 г. при моем участии.[1]

Некоторые примеры. Бельский у. С. Татево — в сев.-вост. части уезда, от ст. Оленино в 13 *км* к юзз.: касу́ ў ру́ки-дъ пъшла́, гра́мъти ни на́дъ — лижбъ зна́лъ коси́т̑ дъ пъха́т̑; у старика из Кулаковки в 17 в. к югу от Оленина и у молодой женщины из д. Заседы на границе с Ржевским у. (около р. Лусы, притока Осуги) тоже мной отмечено диссимилятивное аканье; Болшевская вол., д. Урово (самая восточная часть у.) — в 37 *км* от ст. Ново-Дугино (по отв. слушателя Учит. Инст. Ермолаева):[2] *вы*да́, тр*ы*ва́, быр*ы*да́, с*ы*ма́, гы*лы*ва, д*ы*ва́ть, прива*ду́*, тра*ву́*. Для северной части уезда устанавливается диссимилятивное аканье на основании: 1) ответа на «полную» Академическую програму по южно-великорусск. гов., данного учителем Д. Х. Никитиным по гов. с. Дрогачева Городокской вол. (не напеч.), и 2) устного сообщения моего б. слушателя А. М. Иванова о говоре Гвоздова и его окрестностей (к югу от ст. Нелидово Б.-Балт. ж. д.). По Сычевскому у. из большого числа примеров диссимилятивного аканья в моих записях, сделанных в июле 1924 г., преимущественно в окрестностях Сычевки, с. Дугина — на Вазузе, с. Ивановского — на Касне в вост. ч. уезда и ст. Серго-Ивановской, отмечу следующие: Яковцево под Сычевкой — ˟пъжра́т̑, нъстъя́шшъ, ве́чьвъ; Растаниха около ст. Ново-Дугина — нъклъда́ют̑, ђръбля́мя (= граблями), пъза́ўтрикъўша,

[1] См. Отчет М. В. Ушакова, печ. в 9-м вып. Трудов М. Д. К., доклад его же в Комиссии 19 XI 1925.

[2] Свод материалов, собр. Комиссией, Серия 2-я. I. Отв. на южно-великорусс. прогр., № 50 — печ. в 9-м вып. Трудов М. Д. К.

пътнáриля, пътцъбля́ля; старушка 60 л. из Ларина около жел. дороги — нъзá-ўтра, дýжъ зъня́тнъјь, у кътлáх, пръшшáй. Западная часть Гжатского у., по говору сходная с Сычевским, представлена в наших записях примерами диссимилятивного аканья по Клушинской и Кармановской вол. к сев. от Гжатска, а также по Воронцовской и Черейской — к югу от него. Для Вяземского у. интересны примеры по его сев.-вост. части. Диссимилятивное аканье мне пришлось наблюдать в произношении служителя семинарского корпуса 1 Моск. Гос. Университета (средних лет) из б. Успенской вол., дер. Пчельники (близ границы с Гжатским у.): хътя́, бъ̆ішáк, дъ бъ̆іштъкá. Еще у пожилого крестьянина из Горовитки Федоровской вол. (километрах в 20 к сев.-востоку от Вязьмы) мной отмечено: хвътáит̆, спълтърá, вóзъ, нъклáдъвът̆. По Юхновскому у. у меня следующие данные: диссимилятивное аканье я слышал в произношении Копачей и нескольких женщин из 3 волостей к с.-зап. от Юхнова (по Угре) — Знаменской, Федотовской и Бутурлинской, а также Воскресенской к сев. от Юхнова; еще примеры для Подсосенской вол.: пъдһътáўливъют̆, ръўня́ют̆ мéстъ, ръзгáдъвът̆ нéчьвъ.

Вот главные дополнения по северо-восточной границе сплошного распространения диссимилятивного аканья, которая таким образом почти совпадает с границей говоров, переходных от белорусских к южновеликорусским по «Опыту диалектологической карты русского языка» Дурново, Соколова и Ушакова (срв. карточку № 2 в исправлениях на стр. 123 «Очерка русс. диал.»).

По Калужской губ. у меня новых данных нет, да и едва ли здесь граница диссимилятивного аканья проходит восточнее, чем проведена в моей прежней статье. Но для Орловской губ. можно указать кое-что новое. Так, ответ слушателя Учит. Инст. Донского[1] отмечает для г. Карачева: вы́дá, тры́вá, ды́вáй («ы — что-то среднее между ы и а»). По соседнему уезду Орловской губ. — Дмитровскому — есть примеры диссимилятивного аканья из Морева и Домахи около г. Дмитровска и из Березовки — к сев. от него — в статье В. Н. Добровольского: «Песни Дмитр. у. Орловской губ.»;[2] напр., для Березовки: деука сты́я́ла — 340, наши бы́я́ри — 351, бы́гáтества, сны́ря́дами — 356; в той же статье отмечено и для с. Шаблыкина Карачевского у. (к юго-востоку от Карачева): са пастели усты́вáл — 338. Повидимому, и в Севском у. есть диссимилятивное аканье; по крайней мере, мне приходилось слышать его у студента — уроженца гор. Севска. К этим уездам примыкает Дмитриевский у. Курской г., для которого отмечено диссимилятивное аканье С. И. Дмитриевым в д. Новом Бузуе в 25 в. к востоку от уездного города (Доклад в Диалектологической Комиссии 17 XII 1925). Но кроме этих мест, близких к основ-

---

[1] Свод мат., собр. Комиссией. Серия 2-я. I. Ответ на южновеликорусскую программу № 58, печ. в 9-м вып. Трудов МДК.

[2] Живая Старина, 1905, III — IV, стр. 290—414.

ной территории сплошного распространения диссимилятивного аканья, оно слышится в некоторых местах Курской губ. и гораздо дальше к юго-востоку, в уездах Тимском по наблюдениям Ф. Н. Афремова (Михельпольская в.), Обоянском, Курском и Щигровском по наблюдениям Н. Н. Дурново;[1] приходилось и мне слышать произношение с этим типом аканья у уроженцев Обоянского у.

Как объяснить такое распространение диссимилятивного аканья в отдельных местностях к юго-востоку от основной территории этого явления? Может быть, позволительно видеть в предках носителей этой черты переселенцев из основной области диссимилятивного аканья, что должно быть проверено по актам и другим источникам. Но, может быть, более допустимо предположение о том, что подобные говоры (с диссимилятивным аканьем, с сильно-выраженной лабиализацией губных согласных и *ў* < *в*, с звонким гортанным произношением *h*) пошли от более старого говора *радимичей,* которые продвигались с места своих основных поселений по р. Сожу и к юго-востоку, в пределы современной Курской губ.: раскопки близ с. Гочева Обоянского у. обнаружили как раз погребение радимичей.[2] Конечно, древние отношения ударяемых и неударяемых слогов могли нарушаться как влиянием соседних говоров, так и нефонетическими положениями, хотя диссимилятивное аканье и принадлежит к числу таких языковых явлений, которые очень долго не поддаются влиянию литературного произношения или других говоров.

Что касается южной, западной и северной границ диссимилятивного аканья, то некоторые материалы позволяют и здесь внести дополнения, однако собственных записей от уроженцев этих местностей у меня мало, и потому пока приходится сохранить прежнее мнение об этих границах.

И. Голанов.

Москва.
1926. XII. 31.

---

1 См. Труды М. Д. К., вып. 8, стр. 33, а также «Диалектологические разыскания»... вып. 1, стр. 27—28, где и примеры.

2 Уч. Зап. Сарат. Унив., т. I, вып. 3, стр. 39—53, статья П. Рыкова: «Юго-восточные границы Радимичей».

Молитовник великого князя Володимира й Сулакадзев.

На самому початку XIX віку імя Сулакадзева стає дуже відомим.[1] Його знали історики, палеографи і археографи. Діяльність його, як підробщика старовинних рукописів, найясніше освітлив А. Н. Пипін[2] Але, ця діяльність не обмежувалась лише «баргаминами», бомбициною, та папером. Рука його до нестерпу бажала й ширшого поля діяльности. Наслідком його плідної й невпинної тридцятирічної праці залишились і речі з инших матеріалів — дерева и металів: «Жезли» залізні й деревяні з написами, «Костыль желѣзный Добрыни дяди Владимира» та ин. Відомий купець, що торгував старовинными підробленими рукописями, Бардін[3] ніяк не може вважатися за особу рівнозначну Сулакадзеву. Бардін, оскільки можливо гадати в сучасний мент, набув собі слави власне як торговець. Сулакадзева, як купця, ніде не помітно. Цей останній є підробщик - аматор. Мабуть за принципом — «мистецтво для мистецтва». За цим же принципом він расповсюджує свої твори.[4]

На всій діяльности Сулакадзева помітно, що він багато читав, дуже цікавився російською історією, знайомився з памятками матеріяльної культури, але не як обєктами торговлі. Він мав зносини (або його так чи инше знали) зо всіма видатними представниками відповідних дисціплін свого часу, з поетами, вченими. На цьому полі своєї діяльности стає особисто відомим царям Павлові I, та Олексеандрові I.[5] Він мав дуже велику для свого часу библіотеку з різних галузів знання, особливо ж з історії та литератури. Володів збіркою старовинних рукописів в кількости 290 примірників, крім архивних документів. Крім всього цього, назбірав немалу кількість

1 Н. Барсуков. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб. 1878, стр. 237—239.

2 А. Н. Пыпин. Подделки рукописей и народных песен. В серії: Памятники Древней. Письменности. CXXVII. 1898. Виданне О. Л. Др. Письм.

3 Бартенев. Выдержка из старых бумаг Остафьевского Архива, — Русский Архив. 1866, стр. 231, 234. «Письмо Н. Карамзина». Тут Бартенев помиляется зазначивши «Боянов гимн» як работу Бардина. Це робота Сулакадзева.

4 Сочинения Г. Державина. С объяснительными примечаниями Я. Грота, т. VI, стр. 839.

5 Мав зносини з Евгеніем Болховитиновим, А.Х. Востоковим, К.М. Бороздіним, Г. Державиним, Капнистом, Румянцевим, Строевим, Устряловим та инщими.

речей старовинного срібла, особливо речей філіграиного майстерства. Очевидячки, він не лише цікавився, але й не погано знав для свого часу історію: призвіща, факти, події. Ознайомлений був з відомими вченому світові літописами. Взагалі між аматорами був людина тямуща. Не рівня Бардіну.

Ця коротенька характеристика Сулакадзева подається нами на підставі тих даних, що ми їх маємо в паперах Сулакадзева, та його дружини Софії,родженої Шредер, що потім вийшла заміж (після смерти Сулакадзева) за охвицера російських військ фон-Гочь. Далі — 1) з каталога власної библіотеки Сулакадзева, 2) з опису самих «прерѣдкихъ» рукописів, та пояснень до них, 3) з копій «з руничних», або «славеноруничних» написів на де-яких речах, та рукописях, 4) з опису збірки срібла, — до яких додані рисунки самих річей, і инших паперів.

Всі зазначені матеріяли, що повніше та яскравіше освітлюють діяльність цього видатного аматора-підробщика старовинних памяток письменства, з'являются цінним додатком до тих матеріялів, які були відомі А. Н. Пипіну. В сучасний мент (з 1906 року) вони переховуются в нашій збірці, куда перейшли від А. А. Неустроева (консерватора Ермітажу) сина відимого библіографа А. Н. Неустроева.

В каталозі библіотеки (тетрадь в аркуш = 64 арк. + 3 (чистих) + 16 + 3 (чистих) + 5 аркушів) перераховано 1438 видань російських, 15 рукописів на пергамині, 22 свитка, крім того більше як 500 свитків зазначено загальною кількістю; 198 книжок французьких; 9 — польських; 1 — жидівська; 3 — грецьких; 1 — арабська; 1 — китайська; 1 — калмуцька (рукописна?); 1 — шведська; 76 — латинських, 1 — гишпанська; 6 — італійських + 2 рукописних; 13 — англійських; 7 — голандських; 2 — польських; та 212 — німецьких. Зазначені книжки описані самим Сулакадзевим по всім правилам тогочасної библіографичної дисципліни, себ-то виписана повна назва, зазначено місце видання, його рік, скрізь проставлено розміри і виставлена ціна кожної книжки. Оцінено книжки здебільшого одиницями карбованців, але часто і десятками. Порівнюючи мало оцінених сотнями. З таких, між иншим, ч. 1339 «Книжка в (12) пѣвческая, называемая крюковая 1146-го лѣта». Це мабуть рукописна нотна, цілком природньо пізнього часу. Оцінена в 100 карбованців. Далі — в 500 карбованців оцінена книжка ч. «1325. Вѣдомости о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ знанія и памяти, случившихся въ Московскомъ государствѣ и во иныхъ окрестныхъ странахъ часть 1-я и 2-я, на 1703 и 1721 годъ. М. (8). — (рѣдкость)». Маються книжки, що їх оцінено в 1000 карбованців наприклад: ч. «1453 Собраніе разныхъ манифестовъ и указовъ. . .» — збірка рукописів.

Невідомо нам, чим керувався власник, проставляючи такі ціни: чи він зазначав звичайну «рыночную» ціну, по якій книжки купувались, чи зазначав ціну, по якій бажав їх продати? Гадаю — останнє. Каталог має таку назву: «Каталогъ ||

книгъ ‖, Россійскихъ и частью ‖ иностранныхъ ‖ печатныхъ и письменныхъ ‖ Библіотеки ‖ Александръ Сулакадзева».

Зміст библіотеки занадто ріжноманітний: історія, литература, сільське господарство; книжки природничі, економичні; книжки містичного змісту; географичні; ріжні журнали і т. п. Далі идуть більш цікаві відділи. «На пергамині книги и свитки». Тут, на першому плані: «Свиток № 1 Боянова пѣснь Словену», що писана червоним атраментом на чотирьох листиках. Тут же на окремому аркуші додано і текст її, на писаний олівцем.[1]

На полях супротив опису рукопису дається пояснення: «О древности судить ‖ нельзя кромѣ ‖ смысла, по коему ‖ должно полагать ‖ сію рукопись ‖ перваго вѣка ‖ по Р. Христовѣ». Трохи низше: «драгоцѣнный сей ‖ свиток любопы ‖ тенъ тѣмъ, что ‖ въ ономъ изъяс ‖ няются нѣкоторые ‖ древніе лицы объяс ‖ няющіе русскую ‖ исторію; упоми ‖ наются монеты, мѣста и прочее». Ще низше додається рядок: «Видъ Буквъ»: і переклад: „краса в раз$\frac{\text{ю}}{\text{я}}$ валам злати$\frac{\text{н}}{\text{в}}$ Бра ‖ = красота врагамъ, валаамъ злато собирай“».

При особливій здібности фантазувати потрібно було витратити не мало часу й енергії, аби придумати нісенітницю, подібну тій що розсипана по всьому цьому творові.[2] Ще більш дивним здається довірря Державина до цього твору в той час, коли так скептично до нього віднісся Оленин[3] і инші. І инші рукописи то цілком, то своїми приписками, які на них маються, недалеко відійшли від Боянові пісні. На жаль обмеженість місця не дозволяє нам проаналізувати еволюцію приписок до рукописів.

Автор приписок тут же в описі дає і пояснюючі нотатки. Наприклад, описуючи книгу: «Перуна и Велеса вѣщаніе въ Кіевскихъ капищахъ Жрецамъ Мовеславу, Древославу и прочимъ. Вѣка в точности опредѣлить нельзя, но видимы событія V-го вѣка или VI-го... Паргаментъ весьма древній, скорописью и *видимо не одного записывателя, и не въ одно время писано*». Все тут, як видно, передбачено: і не одна рука і ріжні часи. Тут вся рукопись, як і Боянів гімн — безглузда підроба.

В напрямку зазначених приписок, так би мовити, новотворів до старинних рукописів, цікава рукопись: Свиток 2 «*Амана* и *Мардохея* ‖ *Исторія* или полнѣйшая ‖ Книга Эсфиры Библійской ‖ На еврейскомъ. Без точекъ. ‖ ». Трохи низше:

---

[1] Списків рукописних творів між паперами де кільки. В одному спискові на першому місці—«Боянова пѣснь Словену», в другому—«αγια και καθολικη», в третьому «Молитвеникъ Св. Василія Великаго...» 999-го року. Він же Молитовник вел. кн. Володимира. Про останній твір у нас буде розмова далі.

[2] Уривки з цього «твору» надруковані Державиним, що увіровав в справжність пісні, в «Чтеніи въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» в С.-Петербурге за 1812 г., кн. 6, стр. 5—6.

[3] Сочиненія Г. Державина, т. VIII, стр. 903—904.

«На четырехъ листахъ || длины всѣ 2 арш. 2 вершк. || Ширины 8 вершковъ || строкъ по 36. въ послѣднемъ 38». Ще низше: «Надписи 1-я) Жреца Имира, 910 года || слог древній, буквы || грѣческія, принятыя || частью и славянами. 2-я) Посадника Стояна || 989 года. 3-я) Съзади свитка || Ярослава».

На другій же половині аркуша, на берегах дано таке пояснення:

«Приписи писаны || разными руками, || ибо Имирова видима || была худо, то по нѣ || которымъ буквамъ || возобновлена подпись, || Посадниковъ едва || видима, а Ярославова || покраснѣлыми чер || нилами, или родъ || краски цвѣтъ видимъ». І далі — «упомянутой въ подписи || *жрецъ* есть такое лицо, || в коемъ сомнѣваются || многіе, ибо у Нестора || сказано *старцы,* — впрочемъ || вѣроятно потому, что || всѣ народы имѣли и имѣютъ || жрецов, то почему же || славянамъ не имѣть ихъ, || ибо Кіевъ и новгородъ имѣли || требища и идоловъ, коихъ || Епископъ и дядя влади || мировъ испровергли». Далі насолода Сулакадзева своею працею підвищується: «Безцѣнны тѣ памят || ники древности, кои || объясняютъ, что нибудь || къ россійской исторіи || принадлежащее». Так описана ця рукопись і з'ясована її цінність в першому опису. Дозволю собі оглянути її в опису пізніщому. Цікаво, як наростає интерес до неї і які з'являются доповнення:

«4 (13) Амана и Мардохея Исторія или полнѣйшая книга Эсфиры Библійской, писана на Еврейскомъ языкѣ безъ точекъ — на ней имѣются надписи: 1-я Жреца Имира $\frac{6418}{910}$ года во время Олега, слогъ древній, буквы греческія, пишетъ, что получена въ Царѣградѣ. 2) Потомъ подписана Посадниками Новгородскими бывшими во время Св. Владиміра: Угончей, Язь Стоянъ, Рудъ Путята, 989 года. 3) На сборникѣ подпись Ярослава Великого Князя Кіевского: «Вда (далъ) ону былину Ларіонъ Митрополитъ Князѣ Ярославу, лѣта $\frac{6559}{1051}$ я Ярославъ на Берестіе».

В записях завжди трапляются особи не аби які, а тому, що незручно завжди оперувати з іменами великих князів та осіб занадто видатних, то иноді на берегах рукопису знаходимо і призвіща або зовсім невідомі, або фантастичні. Чого ж було не вигадати! Тому не одна книжка з такими приписами, а десятки їх. Незнати, якій дати перевагу. Що важніше. Словом embarras des richesses.

Сулакадзев помер 3 IX 1830 року[1] Куда ж і коли розійшлися його безумовно цінні збірки — бо там були і справжні старовинні речі? Відомо, що спроба їх придбати була пророблена і до і після смерти Сулакадзева,[2] але про саме придбання

---

[1] В паперах — прохання дружини, С. І. фон Гочь, про видачу пашпорта: «... послѣ смерти 1-го мужа моего титулярнаго совѣтника Александра Сулакадзева 3 сентября 1830 г. состоявшемся». Але в тому ж самому папері є й така фраза: «... о вторичномъ бракѣ моемъ 25 августа 1830 г. съ подпоручикомъ уланского полка Альбертомъ фонъ-Гочь». Деж помилка — в першій фразі, чи в другій?

[2] А. Н. Пипін, op. cit., стор. 6—7.

всіх рукописів — нічого невідомо. Щоб не казати, між рукописами, що правда попсованими приписками, були коштовні речі. Де ж вони в сучасний мент?

В 1925 році я отримав від митрополита автокефальної української церкви о. Василя Липківського прекрасні фотографичні знімки з рукописного молитовника, або служебника, який тепер належит архіепископу Української церкви Американських Сполучених Штатів та Канади, о. Івану Теодоровичу, — отримав їх з метою ознайомлення і проханням дати свої висновки з приводу рукопису, що його було виображено на цих знимках.

Тоді ж, при первісному огляді знімків лехко було спостерегти, що молитовник, який належав згідно до палеографичних особливостів його до XIV стор. (можливо, не пізніше половини цього сторіччя), було записано по берегах аркушів ріжними приписами наших часів та иншою як самий рукопис рукою. При чому приписки по змісту мали характер більш раннього твору, як самий молитовник, себ-то значно раніш XIV сторіччя, тоді як палеографичні особливости цих приписок не викликали були будь якого довірря. По фотографичним же знімкам висловитись з певністю про матеріал, про фактуру написів було неможливо. Не дивлячись на ці, так би мовити, занадто негативні дані, ясно було, що весь рукопис не може не зацікавити того, хто працює в галузі палеографії і ріжних історичних дисціплін. Листовно я побажав, аби всього рукописа було докладно описано, зафотографовано й видано. Він на це заслуговує.

Зараз же після того в одній Львівській часописі[1] з'явилась докладна стаття проф. І. Огієнка про цей же самий твір, що написана на підставі зазначених фотографичных знімків, надісланих о. І. Теодоровичем. В цій статті уважно обмірковано всі відомі по фотографичним знімкам приписки на берегах рукопису.[2] Доведено їх історична правдоподібність. Зазначено, чому згадується та чи инша особа, наприклад: чому згадується поруч з вел. кн. Володимиром — Ярослав, чому споминається Предислава (на л. 14 б), сестра Ярослава. Пробує шановний професор з'ясувати малозрозумілий напис на арк. 7-м. Взагалі про всі відомі йому приписи на берегах цього твору він каже: «вони мають дуже велике значіння. Але чи це написи того ж кінця X віку як їх зміст? Ні, написи ці XIV віку; можливо (але це треба ще добре довести), що писала ці написи та сама рука, яка написала й цілу книжку. Написи ці мають виразну патріотичну новгородську тенденцію».[3]

Добре, що автор не мав часу довести, що писала і саму книжку і приписи одна й та ж рука. Але, у всякому разі, в статті не зроблено а ні якого аналізу цих приписів. Автор увірував в їх справжність не запитавши їх, що вони є.

[1] «Стара Україна», 1925 р., ч. V, стор. 81—87: «Найстарша памятника Українського письменства в копії XIV віку».

[2] Іх більше в самому рукопису.

[3] «Стара Україна», ibid., стор. 84.

Між тим варт глянути на фотографичні знімки, аби відразуж зробити негативний висновок що до їх одночасовости. Ні палеографичні ознаки, ні техничні особливости до виконання приписок, ні мова цих приписок не на користь їх змістові.

Чим же пояснює автор появу написів, що своїм змістом вказують на X вік, а з'явились вписаними на памятнику явно XIV віку? — Копійюванням. В XIV віці ніби-то скопійовано було молитовника, чи служебника, що колись був належав вел. кн. Володимиру (Святому), при чому скопійовані були і ті приписи, що знаходились на берегах його аркушів.

Не зъясовано, чому ж тоді текст і приписки писано різними руками. І не лише иншою рукою, як помітно і на самих фотографичних знімках, а й иншим матеріалом, иншою техникою. Та й фактура приписок не та. Кому потрібно було для вжитку молитовника як такого, себ-то речі для практичного религійного вжитку, тому ледві чи потрібні були б приписи що мались на полях оригиналу, і які явно мали тимчасове (в минулому лише) практичне значіння, в противність самому текстові молитовника з постійним, завжди потрібним каноничним текстом. Чому ж техніка письма цих приписок в копії инша в палеографичному відношенні як самий текст тієї ж копії?

Не будемо довго зупинятись на цих явно фальшованих приписках до памятника явно XIV віку.

Повернемось знову назад. Папери Сулакадзева, про які вже згадано було, кинуть проміння на низку наших запитань.

В описах «рарітетів», що колись належали Сулакадзеву, добре (для того часу) описано того самого «Молитовника Володимира» про якого йде у нас мова.

В чернетці однієї з доповідних записок, що переховуются в наших паперах, (кому, куда й ким вона складалась—невідомо) молитовника описано так: 1) Молитвенник Василія Великаго писанъ красными буквами съ изображеніемъ Св. Іоанна і Св. Василья, начальныя слова писаны звѣрями и птицами, писан по Р. Х. 999 г.». Крім цього ніяких инших визначень.

От як цей молитовник описано в каталозі библіотеки Сулакадзева, на який ми вище посилались: «№ книга 7. Молитвенникъ || и служба Св. Василія. || Писан чистимъ уста || воиъ безъ разстановок, || но точки есть кое гдѣ».

Насупротив цього описання, на берегах: «Подписи: Вел. Князя Владимира || Добрыни, || Чердынца Саблича || Патріарха Никона 1661. || и прочихъ».

Далі — «Картины: Св. Іоанна писанъ красками || съ золотомъ, держащій || свитокъ || Карт. Св. Василій такъ же красками || = древность письма и || красокъ видимы».[1]

---

1 Останні чотирі слова підкреслено.

Ще далі: «Буквы заглавные фигурные || изображают иные звѣрей и || птицъ, а другіе родъ лент || или шнуров искуссно связан || ных». «Вышиною в 4 вершка || шириною — 3 вершка || на 218 страницахъ || Почти каждая стра || ница 16. строкъ».

Насупротив цього на берегах: «Письмо и пергаминъ || сходны съ славнымъ Остромировымъ Евангеліемъ — 1056. года».

Це — все, що з приводу молитовника маемо в каталозі библіотеки Сулакадзева. Але, цього досить, поки що.

Звернімося до другої записки про ту ж таки библіотеку, що її складено після смерти Сулакадзева хутким почерком доброго писара.

Цей опис має назву: «Записка о библіотекѣ Г-жи Софьи фонъ Гочь». В паперах три примірники її (чернетки і чистовий). Починается записка між иншим словами: «Извѣстный в свое время археологъ (в черновику: «Любитель наукъ» — закреслено і замінено — «архео || логъ) Александръ Соликадзевъ неуто || мимыми трудами своими болѣе || 30 лѣтъ безпрерывно продолжавши || мися, собралъ знаменитую библіотеку».

В цій другій записці молитовник з'является в иншому освітленні: «6 (1) Молитвенникъ Св. Великого Князя || Владимира которымъ его благо || словлялъ дядя его Добрыня, заключающій двѣ службы, Св. Іоанна || Златоустого, и Василія Вели || каго съ ихъ изображеніемъ краска || ми древней рисовки, — буквы за || главныя фигурныя изображаютъ || звѣрей и птицъ, а другія родъ || лентъ или шнурковъ искуссно || связанных, писанный на 218 стра || ницахъ на каждой почти страни || цѣ 16 строкъ. [обряды Литургіи во многомъ разнится отъ нонешнихъ][1] Подписанный Свя || тымъ Великимъ Княземъ Вла || димиромъ и Дядею его Добрынею || въ слѣдующихъ словахъ: «Вдаю || сю свиту кныгы стрыі нашему До || брыни на поминаніе мя грешна || раба Божія во ст҃емъ крещеныи Ва || силья преже Влодимеря 6508 (999 по Р. Х.)» ниже надпись Добрыни: «Бла || гословлю Володімряю Добрыня въ Ст҃емъ Хр҃щени Василию» — (*и древ || нимъ же*)[2] на || 1-й же стр. (этимъ же) [древнимъ тоже][3] почеркомъ || *на 1-й стр.*[5] написано SG҃Ӣ $\left(\frac{6808}{1300}\right)$ (*Князь* || *Бор оу*)[5] К изБороу Псковці пріде» Прочія подписи ||[6] Монаха Климентія Чердынца Сабрича, и Патріарха Никона въ 1652 г. что сія Книга была въ его собраніи || книгъ, потомъ у Михаила Чечетки. || Древность письма и красокъ видимы, письмо и пергаминъ сходны съ || славнымъ Остромировымъ Евангеліемъ ||

---

[1] Взяте в прямі дужки — виноска надстрочна.
[2] Підкреслене зачеркнуто.
[3] Надстрочна дописка.
[4] Закреслено.
[5] Закреслено.
[6] Перенос на другій бік аркуша.

1056 г. находящимся въ Император || ской Публичной Библіотекѣ. Подпись патріарха Никона одинакова со всѣми гдѣ либо находящимися его подписями. Объ этой драгоцѣнной рукописи читать можно въ Журналѣ: «Отечественныя Записки за 1841 годъ Май мѣсяцъ № 5 (Въ разныхъ извѣстіяхъ)».

Як видно з наведеного, ніякого сумніву не може бути в тому, що той самий Молитовник, що в минулому знаходився в збірці відомого аматора-підробщика старовинных рукописів А. Сулакадзева — було описано І. Огієнком. Самий зміст цього твору, кількість аркушів (в каталозі Сулакадзева — 218 сторінок, в статті п. Огієнко—114 листків+один загублено); кількість рядків на сторінці (16 рядків); дві миниатюры; розмір книжки (4 × 3 вершка як зазначепо в каталозі) і, нарешті характерні приписки на полях рукопису, що слово в слово повторюються в описах Сулакадзева — непохитна порука тому.

Після того, як ми переконались в тому, що маємо справу з молитовником, який колись належав Сулакадзеву, стане зрозумілим і існування приписок на берегах аркушів і та палеографично невдала і не пояснима з боку мови приписка на л. 51 про те, що князь Володимир дарує книжку *стриєві* свойому Добрині. І взагалі всі палеографичні і мовні непорозуміння в цих приписках. Походження цих новотворів на старому памятникові є продукція невтомних тридцятирічних трудів Олександра Сулакадзева.

Яким чином і коли цей рукопис зі збірки підробщика Сулакадзева, що потім перейшла до його дружины С. фон Гочь, попав на Поділля — сказати не маєм підстав. Але, не випадковим, здається нам, явищем можливо поясняти цей факт. Справа въ тому, що на Україні, крім знайденого О. І. Теодоровичем молитовника, трапився і другий рукопис, що теж колись належав Сулакадзеву, а потім опинився в збірці В. П. Науменка.[1] Це — «Кройніка, т. е. Лѣтописецъ изъ розныхъ многихъ кройникаровъ діалектомъ русскимъ написана».

Дозволимо собі закінчити наші нотатки побажанням аби молитовник — твір XIV віку, що в сучасний мент є власністю о. І. Теодоровича, був докладно досліджений фахівцями і виданий, як памятка глибокого минулого. Про приписи Сулакадзева на берегах аркушів треба забути, за винятком записи, що йде по аркушах внизу.

Микола Макаренко.

Київ.
1926. XII. 31.

---

1 Ж. М. Н. Пр. 1885, ч. 5, стор. 57—78. Ст. В. Науменка, Хронографы южно-русской редакціи.

Древности антов.

Прокопий, хорошо знакомый с южным берегом Черного моря, знал северный его берег лишь по наслышке, и потому показания его об этом крае не могут быть точными. Отсюда следует, что известие этого писателя о том, что многочисленное племя антов обитает в районе Азовского моря и далее, необходимо понимать так: где-то за Азовским морем. Вместе с тем, раз анты были оседлым племенем, район их в этой местности определяется более или менее точно — в полосе лесостепи, на черноземе. Именно в такой полосе, начиная от низовьев Днестра до верховьев Дона, известны древности, принадлежащие одной и той же культуре VI—VII в., которую и приходится признавать антскою.

Видимо, эта культура находится под сильным влиянием Византии, и вследствие мирового значения последней если не все, то очень многие ее вещи должны повторяться и у других соседних народностей как оседлых, так и кочевых. В общем антскими будут те памятники древности VI—VII в., которые встречены в их районе и имеют одинаковый характер.

Наиболее определенно эта культура при данных условиях, к удивлению, выступает в виде кладов вещей, многочисленных и богатых.

Эти клады бывают более или менее значительны по количеству вещей, доходя иногда, по слухам, до многих фунтов веса. Состав большей части таких находок (свыше 30) одинаков: большие фибулы двух типов (гладкие с головками птиц или фигурой человека и сплошь орнаментированные пальчатые), разнообразные бусы (чаще синие и зеленые, есть коричневые и янтарные), многочисленные подвески на цепочках в виде узких трапеций, схематических птичек, больших четырехугольных блях, лунниц, дисков, раковин-ужовок, зубов животных, широких колокольчиков римского типа, многочисленные трубочки-пронизки разных величин, большие проволочные петли со спиралями на концах, массивные конические пуговки, браслеты с расширенными концами (иногда с загибом в задней части) и, наконец, известные

гладкие прорезные бляшки от пояса (иногда с золотыми накладками). Вещи поразительно одинаковы и обличают массовое производство их в каком-то центре. Материал — бронза, но очень много серебряных вещей.

В Херсонской губ. клады таких вещей найдены: близ д. Сергеевки Владимирской вол. Херсонского у. (около 5 ф. круглых выпуклых бляшек, трубочек и колокольчиков), отдельные вещи на Кучугурах против Херсона. В Киевской губ.: Хоцьки (главным образом поясные бляшки, подвески-трапеции, трубочки, раковина-ужовка, браслет, все было завернуто в шелковую ткань), г. Черкасы (отличное собрание серебряных прорезных бляшек), отдельные вещи из Балаклеи, Сахновки и Гамерги Черкасского у., из Сухина Каневского и из Бужима Чигиринского. Черниговская губ.: отдельные вещи из Шестовиц Черниговского у., Новоселов Остерского и Верхн. Злобники Мглинского. Полтавская губ.: огромный клад из с. Блажки Зеньковского у., от которого сохранилось лишь несколько вещей, Лебеховка Золотоношского у. (гладкие фибулы, многочисленные трубочки, подвески-треугольники, колокольчики и отличное зеркало о четыре угла), клад одного из восточных уездов 1901 г., отдельные вещи из Поставмук Лохвицкого у., Борестовки Константиноградского и Тахтайки Кобелякского. Екатеринославская губ.: только с. Беленькое Екатеринославского у. (не очень характерные вещи в местном музее). Харьковская губ. по этим кладам занимает пока первое место: с. Козивка Богодуховского у. (большой и весьма показательный клад, едва-ли не лучший из всех данной культуры, в собрании А. С. Федоровского), клад псаломщика Кантемира из того же района (тоже очень хороший), небольшой, но прекрасный старый клад из сл. Сыроватки Сумского у., отдельные находки близ Березовки Ахтырского у., Воронцовки Купянского у., г. Валуек. В Воронежской губ. известен отличный клад д. Колосковой Валуйского у. (пальчатые фибулы, прорезные бляшки, браслеты, бусы).

В разных местах данного района обнаружилась типичная разновидность описанной культуры, соединенная с общею фибулами и браслетами, а также бусами, но в остальном особого сортимента: известные серьги с крупными бусами в виде жемчужин, серьги с подвесками, гладкие височные кольца, чаще снабженные прорезными кружками в форме снежинок или спиралей, известные височные кольца с гранчатыми головками, кольца с напущенными золотыми зернчатыми пронизками, кинжал с прорезями у рукояти и еще кое-что. Итак, главная особенность этой разновидности заключается в серьгах и височных кольцах, пока совершенно неизвестных в общей культуре. Вполне возможно, что описываемая разновидность не имеет самостоятельного значения и должна слиться с общей массой, но пока, до новых находок, приходится ее выделять. Самая значительная находка здесь — большой клад с. Пастерского Чигиринского у. (коллекция Б. И. Ханенка). Хорош также клад из хут. Зайцева под Змиевым (Харьковский музей). Тех же типов вещи найдены еще у Обухова Киев-

ского у., у Пекарей Каневского и Самгородка Черкасского, а также на Княжей Горе в устьи р. Роси. Итак, можно назвать лишь 6—7 местностей с находками этой разновидности.

Таковы данные кладов с антскими вещами. С удовольствием можем сообщить, что в районе их уже известны, правда, еще в небольшом количестве, и могильники с теми же вещами. В с. Стецовке Александрийского у. Херсонской губ. найдены были человеческие кости и кувшин с золою, в котором оказалась медная поясная пряжка и 4 каменные грузила (пряслицы?); костяк может и не иметь отношения к кувшину. О курганах с вещами данной культуры в раскопках Скадовского у Белозерки лишь упомяну, так как вряд-ли они имеют отношение к антам. У с. Балаклеи Черкасского у. найдено интересное погребение, основательно забытое (Смела III, 148), со скелетом и характерными вещами на нем в виде двух пальчатых фибул, многочисленных бус, большого колокольчика, браслета и каких-то двух «набалдашников». Близ с. Мартыновки Каневского у. найдена пальчатая фибула на костяке. Две пальчатые фибулы при остатках расстроенного погребения найдены у Березовки Ахтырского у. (Тр. Харьк. А. С. III, 428). Два могильника с вещами предполагаемой антской культуры открыта в Павловском у. Воронежской губ., именно у с. Рус. Буйловка (вещи в Самарском музее) и у с. Гороховки (сообщение С. Н. Замятина). Видимо, погребение с сожжением найдено у г. Валуек Воронежской губ. (бусы, браслеты, поясные бляшки, спиральки). По сообщению А. С. Федоровского, могильник с вещами второго типа (серьга с гранчатой головкой, поясные бляшки и пр.) обнаружен у д. Моквы в окрестностях Курска. Всего на пространстве от Днестра до верховья Дона пока обнаружено 8 могильников, и все они еще не подвергались раскопкам. Кости в них отчасти целые, отчасти сожженные. Последний признак напоминает нам о многочисленных могильниках типа Зарубинцев, открытых Хвойкою и иными лицами, главным образом в западной части Днепровского бассейна, более ранних, чем описываемые антские. Хотя найдутся и одинаковые вещи, но мы все же пока не можем решиться оба эти типа могильников соединить в одно целое; вопрос этот решится лишь в будущем.

Поля урн не составляют редкости в Полтавской (Хоцьки и Гречанники Переяславск. у., Коровницы, Артюховка, Мал. Будки и Константиново Роменского у., Барановка на Пеле и Санджаров Полтавск. у., с. Горишние Плавки Кременч. у.), Черниговской (Ичня), Харьковской (до 10 местностей), Курской (г. Курск, Шмарово Обоянского у.) и в Херсонской губ. Естественно предполагать, что многие из них принадлежат антам, но до их исследования ничего определенного нельзя сказать. Все эти могильники известны пока лишь по отдельным находкам. К данному перечню, при некотором усилии, можно было бы теперь же сделать и дополнение. Не знаем очень важного — керамики антских погребений.

В вопросе об антских древностях есть еще одна весьма деликатная тема — городища. У антов непременно должны быть городища, и наверное им принадлежит целый ряд городков Приднепровья и Донца. Городищ в этом районе известно очень большое количество, но как отличить среди них антские? Ответ затрудняется единственно тем, что городища остаются в массе не исследованными и даже не посещенными. Пока наиболее ясны и, может быть, идут к нашей теме городища Роменского типа, повидимому, все-таки несколько более поздние, чем антские клады. Керамика этих городищ не одного типа и не одного времени, но между черепками есть разряд, близкий к керамике Барано́вского могильника (вертикальные полосы и каннелюры, форма ваз); есть еще черепки с городчатым орнаментом, волнистым славянским (старейший у нас?) и гусеничным под углом. Встречены остатки жилищ (полуземлянки) с печами. В губернии есть и иные городища того же типа. В Харьковщине отметим: Хо́рошево городище, Донецкое, Катанские Вилы, Битицы близ Сум, в Черниговской — Райгород, Редичево, Спасское, Разлеты Кролевецкого у., Домотканово Новг.-Северского, Лопазна Мглинского. В Курской губ. хороший сосуд Роменского типа найден среди курганов, может быть, в погребении с сожжением. Тут есть и несколько городков.

Есть еще деликатнейшая тема в том же вопросе — о больших южно-русских городищах (Бельское, Пастерское и пр.). Так как на одном из них (Пастерском) найден был хороший клад антских вещей, то явился соблазн отнести их, предположительно, к антам. Но аналогия с огромными венгерскими городищами, принадлежащими несомненно аварам, побуждает оставить в стороне этот материал при решении вопроса об антах.

Не скроем, что очень велик соблазн поставить антов в связь с тиверцами-северянами, но здесь мы почти совершенно не имеем археологического материала, а следовательно, и права ставить свое решение.

А. Спицын.

Ленинград.
1926. XII. 31.

Послание об обретении мощей епископа Никиты.

В 1905 году А. И. Никольский опубликовал любопытный текст «Посланія о обрѣтеніи мощей епископа Никиты» анонимного автора, извлеченный из рукописного сборника № 247, конца XVI века, Археографической Комиссии.[1] Вероятно, А. И. Никольский надеялся вернуться к вопросу о житии еп. Никиты, списки которого изучал, а потому и это, по его же словам, примечательное послание оставил без разбора. Минуя внешнее описание содержащей текст рукописи, сделанное А. И. Никольским[2] и Н. И. Сидоровым,[3] решаемся высказать догадки о времени и месте написания послания, его адресате и авторе.

Автор рассказывает об открытии мощей еп. Никиты, происшедшем 30 апреля 1558 г. Эту дату нельзя принять за исходную для послания, ибо после этого «молебны пѣлись не по един день» и «настолованье было велико оу архіепископа в полатѣ, не по един день». Далее говорится, что новоявленный святой «истачает цѣлбы с вѣрою приходящим». Во 2-ой Новгородской летописи под 1558 годом после рассказа о проявлении мощей еп. Никиты читаем: «Да того же лѣта мѣсяца маіа в 19 в Вознесенье день, у телесѣ Никиты епископа простилъ Богъ женушку очима».[4] Вероятно, послание писано уже после первых случаев чудотворений, и начальной датой его будет приблизительно июнь 1558 г. Заметим, что в рукописи № 817 б. Архива Св. Синода слово на обретение мощей еп. Никиты заканчивается статьей «Чудеса святителя Никиты епископа Новгородскаго 7066 г.».[5] Всех чудес 9, и большинство их падает на июнь месяц, который и берем, как terminus post quem нашего послания. Противоположной датой является 26 июля, когда по той же 2-ой Новгородской летописи ризы еп. Никиты были увезены в Москву.

«Да того же мѣсяца іюль 26, вторник поѣхалъ архимандритъ Юрьевъской к Москвѣ, повезъ иконы тѣ, кои привезли изъ Ругодива да игуменъ Благовѣщенскаго манастыря Трифонъ, а повезъ шапку Іоанна Златоустаго Лисья манастыря да ризы

---

1 А. И. Никольский. Сказание об обретении честных мощей святителя Никиты Новгородского чудотворца. Известия Отд. Русск. Яз. и Слов., т. X, кн. 2, стр. 11—13.

2 Ibid., стр. 11.

3 Н. И. Сидоров. Рукописи Имп. Археограф. Комиссии, I прибавление, стр. 18—26.

4 Новгородские Летописи. Изд. Археограф. Комиссии, 1879, стр. 89.

5 А. И. Никольский, op. cit., стр. 8.

Никиты чюдотворца епископа Новъгородцкого к царю государю великому князю».[1] Очевидно, что части риз еп. Никиты, отправленные с посланием, были отделены до этого времени, а не после возвращения риз из Москвы. Послание говорит о прославлении, как о недавно совершившемся факте.

Устанавливая дату послания, июнь — июль 1558 г., попытаемся определить, кому оно адресовано. Адресат послания, несомненно, духовное лицо. Посылая священные реликвии «на благословеніе твоему преподобству», автор просит: «помяни нас въ святых своих молитвах». Такие обращения и просьбы обычны в посланиях к монахам. Очевидно, монахом является и наш адресат. Но, кроме того, он какое-то административное лицо. Он имеет власть распоряжаться. «И ты, господине, вели писати его епископомъ», «ты и иных сподоби таковыа благодати». Если даже «образецъ» новоявленного святого мог быть послан монаху, ведающему иконописцами, то посылка реликвий едва ли возможна в отношении частного лица. Итак, адресат — какой-то монах-начальник, могущий распоряжаться, как писать святого и сподоблять других полученной благодати. Такое лицо ближе всего видеть в игумене. Тогда понятны эти обращения, просьбы молитв и посылка реликвий и тропаря с кондаком. Естественно, что сообщаемые в послании подробности прославления, архиерейской службы с указанием сослужившего архиепископу духовенства с игуменами во главе, «молебная пѣнія» в Новгородских церквах и настолованье у владыки «не по един день», наконец, такая деталь, что «того дни архієпископъ за столомъ самъ стряпалъ, ясти и пити ставилъ въ всѣ столы» — все это должно было близко интересовать любого игумена. Итак, наш адресат игумен, но не из Новгорода (которого не было бы нужды уведомлять посланием), а повидимому какого-то монастыря Новгородской архиепископии, знакомый, однако, с церковной практикой Москвы. Какого же именно? Этот вопрос разрешает содержащая послание рукопись. На первом чистом листе ее читаем запись: «Соборник о пророцѣх васьяновский», на обороте его — «Соборник васьяновской владычня» и на л. 2 — «Кириллова монастыря».

В составе рукописи любопытны следующие статьи: на л. 76 об. «Ігумени Кирілова монастыря» (последний Кирилл[2]), л. 288 — послание игумена Кирилла вел. кн. Василию Дмитриевичу, л. 292 об. — его же послание кн. Юрию Дмитриевичу, л. 296 — его же послание кн. Андрею Дмитриевичу, л. 299 об. — «грамота духовная Кирила чюдотворца». Эти записи и состав статей ясно говорят о Кирилловском происхождении сборника. Кроме того в Археографическую Комиссию он поступил из библиотеки Новгородского Софийского собора,[3] куда

---

[1] Новгородские Летописи, стр. 91.

[2] Игумен Кирилл правил с 1564—72. См. П. Строев. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви, стр. 55.

[3] Н. И. Сидоров, op. cit., стр. 18.

в свое время частично попали рукописи Кирилло-Белозерского монастыря. На лл. 226 об.—228 об. помещено наше послание и вслед за ним на л. 228 об. «Никитѣ епископу Новогородскому чюдотворцу тропарь и кондакъ». Заметим, что в послании говорится: «таков аз и к тебѣ послал образец, да тропарь и кондак святому», а в рукописи они как раз непосредственно следуют за посланием. Такое совпадение едва ли случайное, и едва ли не сам адресат или иное лицо по его распоряжению списано их на страницы этого сборника. Заметим кстати, что список этого послания едва ли не единственный.

Все эти соображения позволяют предположить, что адресат послания Кирилловский игумен. Кирилло-Белозерский монастырь издавна находился в близких сношениях с Москвой, и для его игумена, часто бывавшего на Москве, понятны и ссылки на то, как лежат московские чудотворцы. Наконец, есть еще косвенное подтверждение нашей догадки. Мощи еп. Никиты были обретены при Новгородском архиепископе Пимене, поставленном из клириков Кирилло-Белозерского монастыря в 1552 г. Естественно, что по случаю духовной радости он и вспомнил про свое «обещание». Если справедлива наша догадка, то адресатом является Кирилловский игумен Матфей, поставленный в 1555 г. и в 1559 г. рукоположенный во епископа Крутицкого.[1] Последний вопрос о месте написания и авторе послания. «Да здѣсь, господине в Новѣграде» — ясно указывает на Новгород. Автор тоже тесно связан с Новгородом. Конечно, это не архиепископ (упомянутый в третьем лице), но это человек близко стоящий к дому св. Софии и хорошо знакомый с его жизнью. Он знает всю историю обретения мощей, видимо, знаком даже с царской грамотой, посланной по этому случаю, знает патерик, историю новгородской иерархии, высчитывает, сколько времени мощи были под спудом. Ему известно число сослужившего владыке духовенства, продолжительное настолованье со всеми его подробностями. Он как-то заинтересован в правильном писании икон еп. Никиты, для чего и посылает «образ на бумазе». Наконец, он знаком и с московскими порядками. Все это изобличает в авторе послания очевидца событий, духовное лицо, но нет особых данных видеть в нем монаха. В тоне послания не заметно подчиненности, но во всяком случае автор стоит ниже своего адресата, именуя его господином, а архиепископа — государем. Факт отправки автором частей от риз, его слова «таков аз и к тебѣ послал образец и тропарь и кондак» позволяют видеть в нем должностное лицо, близко стоящее и к св. Софии и к архиепископу, повидимому, лицо из белого духовенства. Таким духовным лицом скорее всего мог быть Софийский протопоп. Не он ли и является автором послания об обретении мощей епископа Никиты?

А. Малов.

Ленинград.
1926. XII. 31.

[1] П. Строев, op. cit., стр. 55.

Русское известие о латинском обряде.

В русских источниках, в сборниках правил и поучений и в Кормчих встречается иногда статья: «Слово свв. апостол и отец о кресте Христове. Образ крестный на земли пишущим неким несмысленным, не повелеваем верным. То бо латына деют».

Эта статья есть в Дубенском сборнике (ц. св. Николая в Дубне) XVI века, но содержание ее восходит к значительно более раннему времени, так как по содержанию своему эта статья входит в круг противолатинской пропаганды XII — XIII века, когда были распространены и многие другие статьи против латинян.

В приведенной статье указывается на какой-то обычай изображать на земле крест. Этот обычай, повидимому, существовал и в нашем быту, но подвергся запрещению на том основании, что так поступают только «латина», а нашим «несмысленным» это воспрещается. Какой обычай подразумевает эта статья, не видно из ее изложения, равно как неясно и авторитетное выражение «не повелеваем». Кто не повелевает и на основании чего?

В рукописи «Мерило праведное», относимой к XIII столетию и хранящейся в библиотеке бывшей Троице-Сергиевой Лавры, целиком еще неопубликованной, я нашел два интересных, относящихся к этому обычаю текста, из которых выясняется появление самого запрещения.

Первый текст гласит: «О кресте еже на земли пишут».

Вселенского собора ѕ҃ правило о҃г вопросити[1].

«Иже крест на земли написан или сложен да погребен будет — или раз вержен».

«Всяко почитание подобает нам имети, еже достойную честь отдавати животворящему кресту, имже ветхого преступления спасены бехом, и аще на земли образ

[1] См. Правила правосл. церкви с толкованием Никодима. Правило 73, стр. 264—5.

креста от некоего написан или сложен, да погребен будет, или развержен, да не от человек неверующих или от животен попрано будет и поругано непобедное наше оружие».

Вторая статья: «О кресте еже на земли и на леду пишут».

«Никто же не пишет на земли креста и на леду, егда воду крестят, да не укоряемо будет победное оружие наше. По крещении бо человеци ногами попирают, кони и весь скот и пси, потом порты мыют и польют сквернами. Не тем бо крестом освящается вода, досп҃ѣным на леду, но держимым священническими руками; и неции глаголют, яко освятил есмь г҃-жды и д҃-жды и крестов много связавше, воду крестити и до ѕ҃ дне в перенос носити и потом раздрешати кресты. Что сего несмысленства горѣе, чтуще не разумеем. Да мы сотонины соблазны и многими грехи обязани ищем крестом раздрешитися. Крест бо освятился есть кровью христовою и освящает вся люди и воду, а креста никто же, то како мы крест освящаем, вяжем и раздрешаем. Отселе не буди тако, аще ли, то проклинати повелеваем»[1].

Эти тексты говорят о различных обычаях и обрядах изображения креста на земле, хотя и не всегда с должной ясностью обрисовывают их.

В первом тексте лишь указывается недопустимость изображения (написания) или сложения креста на земле. Какие это были кресты и по какому поводу написаны или сложены, текст не поясняет. Относительно сложенных на земле крестов, которые должны быть развержены, можно было бы указать на случаи сложения крестов на могилах[2] и в других случаях, но все эти данные, в виду неясности текста, не могли бы его сделать удобопонятным. Что касается написанного на земле креста, то его объяснение стоит в связи с общим разбираемым обрядом. Однако, любопытно, что в этой первой статье, несмотря на запрещение писать крест на земле, не указывается, что так поступают только латина, а имеется в виду обряд церкви, свойственный как востоку, так и западу, так как правило принадлежит 4 вселенскому собору в Халкидоне.

Вторая статья отличается большей конкретностью и дает понятие о существовании на Руси в XIII столетии обрядов крещенского праздника. В ней впервые, как и в предыдущей статье, запрещается писать крест на земле без оговорки, что так поступают латиняне: «Никтоже да не пишет на земли креста». Во-вторых указывается, что нельзя изображать, т. е. писать крест на льду «егда воду крестят». Этот крещенский обычай, известный мне из статьи «Мерила праведного», в XIII веке на Руси является параллельным другому обычаю — изображать крест на земле. Из обоих приведенных статей явствует, что эти обычаи были на Руси, и, повидимому,

---

1 Рукопись «Мерило праведное» л. 346—7. Правописание не сохранено.

2 Например, Иоанн Богослов перед смертью приказывает: «Копайте рылы (т. е. лопаами) в долготу тела моего крестом». Прохорово Сказание. Срезневский, стр. 400, XLI—LXXX.

давно, при чем запрещение этих обычаев согласовано с постановлением 4 халкидонского собора. Прибавка относительно того, что так поступает латина, которая изображает кресты на земле, является укором и предостережением, чтобы не поступать так, как поступает латина.

Повидимому, на Руси были точные сведения о том, что обычай писать крест на земле у латинян практиковался, и, следовательно, можно думать, что русское духовенство знало существо этого обряда; однако, мне нигде пока не удалось найти русского сведения о латинском обряде более полного и точного, чем в упомянутой статье: «то бо латына деют».

В латинских источниках, именно, католических, сохранились сведения об одном обычае практикуемом и до настоящего дня, состоящем в том, что: «Во время освящения католического храма еще и теперь пишет празднующий епископ своим посохом латинский и греческий алфавиты на линиях крестообразно обозначенных на полу». Этот обычай, однако, известен был уже в XIII столетии и описан в Золотой легенде. Здесь сказано:

«In pavimento alphabetum scribitur, quod quidem representat conjuncturam utriusque populi scilicet gentilis et iudaei, vel paginam utriusque testamenti vel articulos nostrae fidei. Illud enim alphabetum ex litteris graecis et latinis in cruce factis representat unionem in fide populi gentilis et iudaei», т. е.: «На полу пишется алфавит, так как он знаменует единение обоих народов, т. е. язычников и иудеев, или страницу обоих заветов или параграфы нашей веры. Алфавит же из латинских и греческих букв на крест написанных знаменует единение в вере народов из язычников и иудеев через посредство христова креста осуществленное». Это объяснение алфавитов греческого и латинского считается искусственным, так как греческие буквы почему то должны обозначать иудеев.[2]

Из этих данных вытекает, что в латинской католической церкви был обычай при основании церкви изображать на земле крест из букв латинского и греческого алфавитов. Этот обряд, повидимому, очень древний, восходящий к раннему средневековью, заменил другой, существовавший еще ранее πηγνύειν τὸν σταυρὸν, crucem infixere на месте построения церкви: nullus audeat ecclesiam vel oratorium aedificare antequam civitatis episcopus veniat, et vota faciens sanctissimam crucem infixerit in eodem loco, publice procedens et rem omnibus manifestum faciens.[3]

---

1 D-r F. Friedensburg, Die Symbolik d. Mittelaltermünzen. Berlin 1913—1922, причем указывается на какую то миниатюру конца XV в. с изображением Маврикия, молящегося богу (Mauricius bidde Godt vor uns).

2 Talhofer, Handbuch d. katolischen Liturgie. B. 2, 55, 490.

3 Kraus, Real-Enc. d. chr. K. 250 и 785 о слове σταυροπηγίον т. е. месте, на котором ставится крест.

Этот обычай, существовавший повсеместно и соблюдаемый теперь, в виде постановки креста при разных постройках, был повидимому первоначальным. Русская прибавка: «то бо латына деют» относится ко второй формуле, т. е. к изображению креста на земле.

Д. Айналов.

Ленинград.
1926. XII. 31.

Легенда о происхождении павликиан.

Среди чрезвычайно богатого и интересного историко-литературного материала, содержащегося в найденном мною недавно карпато-русском сборнике конца XVII — начала XVIII века,[1] обращает на себя особое внимание небольшая легендарно-историческая статейка, анахронически соединяющая в себе заведомо фантастический эпизод из жизни и деятельности знаменитых оо. церкви Василия Великого и Иоанна Златоустого с не менее спутанным и недостоверным рассказом о происхождении и развитии павликианской ереси в Болгарии.

Вот полный текст этой замечательной и своеобразной статейки:[2]

(Л. 70). Василій с҃тый роска[за]въ[3] слузѣ своему[4] на імѧ Пайлъ написати л҇и и посла до с҃того Іѡана Златоустаго. Видѣ с҃тый Іѡа҇ писаніе, по҇на, ꙗко діѧво҇ е҇ писаре҇ у с҃го Васіліѧ. Убоѧсѧ ѕѣло Іѡа҇, пусти ко с҃тому Василію л҇и свой и рече: «Воистѣ҇ну добра грамотика (: писарѧ :) имаеши. Прихо҇ду оубо тамо да ви҇ду[5] того писарѧ и да возвеселюсѧ ѡ немъ». Діѧво҇ ту веселѧшеса (: жи҇ :) во дому Василіевѣ҇. Прійде Іѡа҇ Злотоу҇ со всѣми слугами своими и со всѣми дары цр҇ко҇ными и вънидe во до҇ Василіе҇. Василій с҃тый рече: «Ѡ, вл҇ко с҃тый, и приведу ли к҇ тебѣ грамотника моего, писарѧ, да види҇ того». Іѡа҇ рече: «Приведи его зде!» И при-

---

[1] Полууст. сборник, 111 лл. in f⁰, по всей вероятности, из бывшего православного монастыря в с. Угле, Мараморошской жупы, в Закарпатской (прежде — Угорской) Руси, приобретен мною в августе сего года в с. Сокирнице, той же жупы. Кроме значительного количества церковно-учительных слов, поучений, библейских и евангельских толковых пересказов, в нем содержится также свыше сорока отдельных, более или менее приспособленных к тем же церковно-учительным целям, апокрифов, повестей и легенд, в том числе также целый ряд весьма редких или даже совершенно неизвестных в старинной русской и славянской письменности текстов, как, напр., апокриф о крестном братстве И. Христа с Провом, повести об Ариадне и Тезее, о волшебном зеркале, о трех истуканах царя Льва, о трех мудрых советах и др. Язык сборника, за очень немногими исключениями, чисто народный, местами даже с мельчайшими диалектическими оттенками и чертами. Подробное описание сборника, равно как и более интересные его тексты приготовляются мною ныне к печати.

[2] Издается точно, за исключением знаков препинания и прописных букв проставленных по современному. Необходимые исправления и вставки отмечаются каждый раз особо.

[3] *В рукоп.:* роскавъ. [4] своимъ. [5] (: да ви҇жду :) давидѧ.

веде его с҃тый Васіліе, и видѣ его с҃тый Златоу҃, діавола оукрасишаса, и разумѣ вса[1] дѣла его. И воніде Іωа҃ во цр҃ко приати престолъ б҃жій и восплакаса горько и рече: «Г҃ди Б҃же на҃ Іи҃с Х҃е, пода҃дъ нам нб҃ную силу свою, да поперемъ[2] діавола сего». И рече къ с҃тому Василію: «Ѡ, Васіліе, воистену нигде е҃ таковый граматикь, како҃ е҃ сей». Василий рече: «Ѡ, в҃лко с҃тый Іωане, тако҃ е҃». Іωа҃ смотраше вса дѣла діаволу и прива его во цр҃ко на службу и вса дары цр҃кѡныа вонесе и затвори во цр҃кви и запечата[3] имене҃ г҃днімъ. И воніде с҃тый Іωа҃ на літоргію с҃тую, и егда рече еу҃ліе, вемн сматеса діаво҃. И видѣ Василий и убоаса. А егда пренесоша с҃тыа дары, діаволъ сотвориса страше҃ ѕѣло и удари въ верхъ цр҃кѡный и паки на землю спаде. И вси людіе смжтиху си умъ, с҃тый же Іωанъ крѣплаше ихъ. А егда рече: «Изра҃ной, пре҃стой, ч҃той», тогда с҃ты Іωа҃ умучи діавола. Повежеса на землю, надуса, ꙗ҃ Іюда прода҃ца Х҃въ. И егда рече: «Ѿче нашъ», тогда исполниса въса цр҃ковъ,[4] и егда рѣша крылосы: «Еди҃ с҃тъ, еди҃ Г҃дь», тогда діаво҃ роспуса[5] исчезе. Изьше҃шимъ убо изь цр҃кве, рече Іωанъ: «Ѡ, Василіе, видѣ ли твоего граматика (: писара :)? не вѣси ли, ѿче с҃тый, всако дѣло,[6] избрано неприключно къ люде҃, діаво҃ско е҃». И събра҃ше все кніжіе діаво[л]ское[7] писаніе и съжегоша[8] на ωгни.

Василий рече къ Іωану: «В҃лко с҃тый, сіа два еста ученіци его, што ω ні҃ повелѣва҃е?» Іωа҃ рече: «Тіи су҃ хр҃тиа[н]стіи[9] с҃нове, да соблюду҃са, егда како пойду҃ во путь хр҃тиански». Единому бѣ има Суботинъ, а другому Шутина; сущему с҃тшому діаволу, оучителю ихь, *(об.)* баше има Пайлъ.

Ѡва же воста҃ше два ученіка діаволскаа прійдоста въ землю блъга҃рскую и сътворишаса[10] ап҃лкымъ имене҃ Павелъ и учаху бо҃гары. И славаху блъгаре Павла;[11] кои людіе взаху[12] зако҃ ихъ, тіи нарѣкаюса па҃ликіане. С҃тый Іωа҃ ищаше ихъ скобащи, изыйде ѿ Цр҃игра҃ и вонійде во Петрѣ҃, где ꙗвиса ему с҃таа Б҃ца въ стемѣ (?). Ꙗко и цр҃ица посла, и приведоша ихъ изь блъга҃скіа землѣ скоро, и повелѣ ихъ мучити ѕѣло и снати из ніхъ ωбьде҃ти[13] кожу, понеже бѣ кожа на ни҃ кр҃щена. Тіи же мнаху,[14] ꙗко с҃тыи мучаса, же ωні с҃тыи, ꙗко римла[не][15] со унѣтами стыми называюса. Того ради нарѣкаюса павликиане, понеже вражію наукоу узали и писмо.

С҃тый Іωа҃ Злотоу҃ рече: Прокла҃ да е҃ злый оучителъ и ученікы его.

---

1 веса. 2 да попремъ; *на полях повторено:* (: да попре҃м :). 3 запечати. 4 *Здесь, очевидно, что-то пропущено.* 5 *Дальше повторяется опять:* роукнуса. 6 весако. 7 діавоское. 8 съжегохо҃м. 9 хр҃тиастін. 10 състворишаса. 11 *Дальше повторяется снова:* и славаху. 12 возаху. 13 *Повторено:* с них. 14 маху. 15 *В рукописи слово недописано.*

Статейка, по всей очевидности, составлена из двух различных частей, механически и внешне только связанных и объединенных друг с другом общей обличительной тенденцией. Сообразно с этим замечается в ней также и значительное внутреннее различие между обеими частями. В то время, как первая из них, содержащая в себе общеназидательный рассказ о диаволе-Паиле, проникшем под видом искусного писца-грамматика к святому Василию и обличенном затем Иоанном Златоустым, заведомо и всецело выдержана в обычном агиографически-легендарном стиле и ярко раскрашена соответственным чудесно-фантастическим элементом, вторая, наоборот, представляет собою уже более реальную и скромную, почти историческую попытку фактического и связного изложения и выяснения вопроса о происхождении и названии павликиан, причем, однако, вследствие ли недостаточного знакомства автора или компилятора статейки с соответственной хронологией и историей церкви, или же просто с целью умышленного и тенденциозного извращения, в ней допущен при этом ряд явных и грубых ошибок и анахронизмов по существу.

И так, прежде всего тут бросается в глаза основная и объединяющая обе части очевидная несообразность легенды, заключающаяся в том, что жизнь и деятельность отцов церкви IV-го века (Василий В. 329—379 г., Иоанн Зл. ок. 347—407 г.) приводятся в непосредственную, живую связь с возникновением отдаленной гностико-манихейской ереси павликиан, которое, как известно, имело место только свыше $2^1/_2$ веков спустя, причем это крупное несоответствие во времени увеличивается еще резче в отношении появления данной ереси в Болгарии, куда она впервые проникла только при императоре Иоанне Цимисхии около 970 года. Таким образом, остается только предположить, что подобное нелепое соединение столь различных и отдаленных по времени явлений могло быть — сознательно или случайно — допущено составителем нашей статейки только с той целью, чтобы придать своему обличительному писанию, посредством данных двух знаменитых и излюбленных святительских имен, наиболее авторитета и веса.

Не менее несостоятельна и неверна также наивная, повторяющаяся в статейке дважды, звуковая этимология названия павликиан от имени писца-диавола Паила, тогда как на самом деле оно, без сомнения, образовано от однозвучного с ним имени апостола Павла, послания которого легли в основание главнейших догматических уклонений секты, вследствие чего и самое имя его стало пользоваться в ней высшим и исключительным авторитетом. И не явилось ли именно это случайное созвучие имен Паил и Павел прямым и главным побудительным толчком или предлогом для подобного внешнего соединения совершенно чуждой и далекой легенды о писце-диаволе Паиле с обличительной исторической справкой о происхождении и названии павликиан?

Что касается, в частности, своеобразных личных имен обоих учеников дьявола:

Суботин и Шутина, то таковыя нам в истории данной ереси, ни на ея родине — Армении, ни затем в Цареграде, Фракии и Болгарии, даже в приблизительном созвучии не встречались, так что, быть может, их следует просто признать лишь произвольным вымыслом самой легенды, — хотя в то-же время дальнейшее упоминание ея о том, что эти ученики впоследствии «сотворишася апостольскимъ именемъ Павелъ», уже более или менее правильно и достоверно, так как главнейшие последователи и деятели секты действительно имели странное обыкновение принимать не только имя самого апостола Павла, но также и другие имена ближайших его учеников и сподвижников вообще.

Из других частностей сложного и туманного содержания легенды остается еще отметить только очевидную неудовлетворительность и спутанность текста в рассказе о розыске и преследовании павликиан в Болгарии. Не говоря уже об указанном нами раньше грубом анахронизме относительно участия в этом деле Иоанна Златоустого, нельзя признать вполне исправным и достоверным также и упоминания легенды о том, что именно болгарские, совершенно неподчиненные в то время Византии, последователи павликианской ереси были по приказанию «царицы» приведены в Цареград для мучения, хотя в общем действительно именно царица Феодора являлась главной и самой безпощадной гонительницей павликиан в Византии, о чем, повидимому, и сохранилась какая-то смутная память в нашей легенде. В этом смысле заслуживает внимания также и заключительная насмешка статейки, будто мучимые павликиане приравнивали себя при этом к святым христианским мученикам вообще, в чем нельзя, в свою очередь, не усматривать прямого отголоска подобного же замечания в известном Слове Козмы Пресвитера относительно духовных преемников павликианской ереси — богомилов, причем, однако, дальнейшее приравнение павликиан к «римлянамъ со унѣтами» должно быть уже, вероятно, приписано только личному православному усердию карпато-русского переписчика статейки, согласно резкому противокатолическому направлению всего нашего сборника вообще.

Это было-бы приблизительно все, что можно бы в данных условиях, на основании самого только текста, вкратце заметить относительно содержания и общего характера статейки, так как никаких других, вне этого текста, историко-литературных указаний и данных, — вследствие ли недостаточно полных и точных разысканий наших в области старой византийской и славяно-русской агиографической и полемической литературы, или же просто потому, что соответственные тексты и материалы вообще пока неизвестны или, по крайней мере, не изданы до сих пор, — нам, к сожалению, обнаружить и использовать не удалось. Одно лишь, во всяком случае, представляется тут не подлежащим сомнению, а именно, что наш поздний карпато-русский текст является только случайным, лишь более или менее приспособленным к местному наречию, списком с более древнего церковно-славянского и в частности,

вероятно, средне-болгарского текста, о чем явно свидетельствуют некоторые языковые и в особенности орфографические его пережитки. Не менее убедительно свидетельствует об этом, наконец, также и общая, столь резко направленная именно против болгарских павликиан, обличительная тенденция статейки, каковая была, конечно, вполне жизненной и уместной в свое время, в пылу религиозной и литературной борьбы с павликианской ересью в Болгарии, где последняя широко распространилась издавна и сохранилась отчасти и до сих пор, но совершенно не имела сколько нибудь живого и непосредственного отношения к Закарпатской Руси, в которой подобная статейка могла, очевидно, возбудить уже только чисто литературный интерес, как своего рода аналогия или дополнение к известному противокатолическому памфлету о Петре Гугнивом, или даже просто как яркая и назидательная агиографическая легенда вообще.

Ю. Яворский.

Прага.
1926. XII. 31.